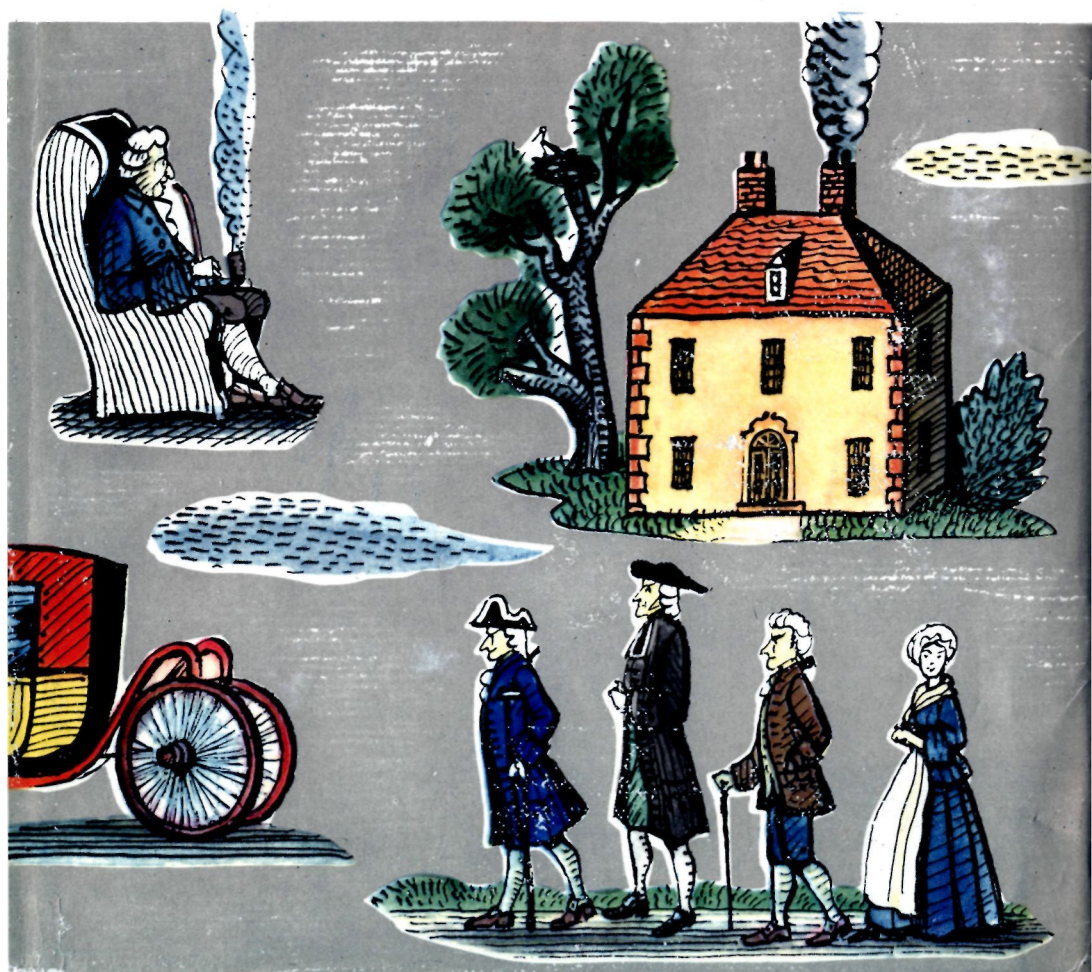


ЛОРЕНС СТЕРН

ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ

ТРИСТРАМА ШЕНДИ, ДЖЕНТЛЬМЕНА

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ





LAURENCE STERNE A.M.

Prebendary of York &c. &c.



Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.,
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербобаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзаян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЛОРЕНС СТЕРН

ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ ТРИСТРАМА ШЕНДИ,
ДЖЕНТЛЬМЕНА



СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1968

Вступительная статья
А. Елистратовой

И (Англ)
С 79

Перевод и примечания
А. Франковского

Иллюстрации
С. Пожарского

7-3-4
подп. изд.

ЛОРЕНС СТЕРН

Когда 1 января 1760 года в Лондоне поступили в продажу два первых тома «Жизни и мнении Тристрама Шенди, джентльмена», их автор, провинциальный йоркширский пастор Лоренс Стерн, был совершенно не известен ни критике, ни читающей публике. Судьба книги казалась настолько сомнительной, что столичный издатель Додсли, которому Стерн предложил свою рукопись, отказался пойти на риск и согласился только принять на комиссию небольшую часть тиража, отпечатанного Йоркским типографщиком. Сам Стерн предпочел на первых порах не раскрывать своего авторства. Однако, как пишет один из его биографов, сочинение анонимного автора произвело впечатление «литературной бомбы». Весь тираж был распродан в течение нескольких недель; приехав в Лондон, Стерн обнаружил, что стал знаменитостью. О «Тристраме» судили и рядили и в журналах, и в литературных кружках, и в великосветских гостиных. Со смешанным чувством самодовольства и иронии он писал из столицы о своем успехе: «Мои меблированные комнаты все время переполнены знатнейшими вельможами, которые наперебой стараются оказать мне внимание — даже все епископы прислали мне поздравления, и в понедельник утром я отправлюсь к ним с визитами. — На этой неделе я обедаю с лордом Честерфильдом и т. д. и т. п., а в следующее воскресенье лорд Рокингем возьмет меня ко двору». Успехи в «высшем свете», о которых Стерн пишет с долей юмористического преувеличения, не помешали ему завязать более драгоценные дружеские связи среди художественной интеллигенции Лондона. Он коротко сошелся с великим актером Гарриком и известным живописцем Рейнольдсом, написавшим замечательный портрет Стерна. Хогарт согласился иллюстрировать следующие тома «Тристрама Шенди».

Слава Стерна перекинулась и на континент Европы. Из Франции до него доходили лестные отзывы великих французских просветителей, «властителей дум» своего времени. Вольтер был так восхищен выразительностью гротескных образов братьев Шенди и доктора Слопа, что поставил Стерна-художника даже выше Рембрандта и Калло. В лице Стерна он приветствовал «второго английского Рабле» — определение, лестное вдвойне, так как первым английским Рабле для Вольтера был Свифт. И то же самое сравнение пришло в голову Дидро, едва он познакомился с первыми томами «Тристрама Шенди». «Эта книга, столь взбалмошная, столь мудрая и веселая, — настоящий английский Рабле... — писал Дидро, — Это всеобщая сатира — иного понятия о ней дать невозможно».

Во Франции, куда Стерн приехал в 1762 году, парижские энциклопедисты встретили его радушно, как собрата. А когда шестью годами позже чахотка унесла его в могилу в расцвете творческих сил, на пороге новых начинаний, великий немецкий просветитель Лессинг воскликнул, что охотно отдал бы десять лет своей жизни, чтобы продлить хоть на один год жизнь Стерна.

Что же представлял собой Стерн? И чем объясняется сенсационный успех его романа, всколыхнувшего самые различные круги европейских читателей?

Когда первые томики «Тристрама Шенди», которым предстояло провозвести такой головокружительный переворот в жизни их автора, увидели свет, Стерну было уже сорок семь лет, — из них двадцать два года он провел в своем захолустном приходе в Йоркшире. В прошлом вспоминалось невеселое, бездомное детство. Когда Стерн попытался впоследствии описать его в автобиографическом наброске, составленном для дочери, в его памяти встали бесконечные переезды из одной казармы в другую, где рождались и, по большей части, умирали в младенчестве его младшие братья и сестры. Это было полунитченское существование. Отец будущего писателя, Роджер Стерн, не был баловнем фортуны. Двадцать лет он мыкался в чине прапорщика (хотя и участвовал, под началом Мальборо, во многих кампаниях войны за Испанское наследство) и умер от желтой лихорадки на Ямайке через три месяца после того, как был, наконец, произведен в лейтенанты. Лоренс Стерн (родившийся в 1713 году в маленькой деревушке Клонмель на юге Ирландии) в это время заканчивал школу; ему шел восемнадцатый год. С помощью более обеспеченной родни ему удалось окончить Кембриджский университет. Последующее поступление в «духовное звание» было, в сущности, predetermined заранее. Стерн стал священником, так же как ими становились в подавляющем большинстве другие служители тогдашней англиканской церкви, — не по религиозному рвению или особому призванию, а по практическим житейским соображениям. Профессия священника считалась как-никак профессией «джентльменской» (чего в ту пору нельзя было

сказать о профессии актера, музыканта, рядового литератора...). При наличии протекции «посвященный в сан» мог надеяться получить достаточно доходный приход, — а кроме того, приумножить свои доходы, ведя хозяйство на церковной земле. У Стерна нашлась протекция. Его дядя, каноник Йоркского собора Жак Стерн, — человек властолюбивый, хищный и жадный и отъявленный политикан, — обратил внимание на живого и смышленного юношу, только что окончившего Кембридж, и пошел за благо приблизить его к своей особе. Лоренс Стерн получил приход в Йоркшире.

Его жизнь здесь, казалось, текла мирно и ровно, подчиняясь обычной рутине. Он не слишком утруждал себя своими «пастырскими» обязанностями, напечатал за двадцать два года всего две проповеди и занимался, с переменным успехом, сельским хозяйством: держал коров и гусей (которых ему иногда приходилось самому выгонять с соседнего кладбища), торговал, себе в убыток, сыром и маслом с собственной фермы, пытался даже, вместе с соседями-помещиками, огородить в свою пользу часть общинной земли. Самым смелым из его сельскохозяйственных экспериментов был посев мяты, которую он выгодно продал аптекарю в Йорке.

Довольно рано женившись, Стерн, по-видимому, не был счастлив в браке. Жена его, местная йоркширская дворяночка, в туповатом лице которой на сохранившемся портрете невольно хочется угадать прообраз глупенькой миссис Шенди, отличалась странностями, которые с годами перешли в помешательство: временами она воображала себя королевой Богемии. Стерн добродушно потакал ее причудам, но, как только представилась возможность, постарался жить врозь с женой¹.

Казалось бы, саттонский священник жил так же, как большинство его собратьев.

Но под поверхностью этого прозаического однообразного существования текла другая, бурная и напряженная духовная жизнь Стерна, полная интеллектуальных приключений, поисков и находок. Близость

¹ Чувствительные письма Стерна к невесте, мисс Элизабет Ламли, которые долгое время умиляли биографов Стерна (тем более что в них под датой: 1740 год — уже фигурировало словечко «сентиментальный», прославленное двадцать восемь лет спустя «Сентиментальным путешествием»), в настоящее время не без основания считаются позднейшей фабрикацией. По всей вероятности, они были сочинены предприимчивой дочерью Стерна, взявшей за образец его знаменитые, посмертно опубликованные «Письма Йорика к Элизе» (памятник увлечения стареющего Стерна молоденькой «соломенной вдовушкой», миссис Элизабет Дрейпер, женой чиновника Ост-индской компании, приехавшей в Англию для поправки здоровья, расстроенного индийским климатом и неудачным браком).

Йорка — в ту пору уже довольно большого, оживленного города, центра северной Англии, — нередко давала Стерну возможность, препоручив свой приход помощнику, потолкаться на городских ассамблеях, поболтать с книгопродавцами, послушать новости об интригах и назначениях в церковных кругах. Именно здесь, в Йорке и его окрестностях, Стерн мог из года в год наблюдать прототипы всех тех кичливых невежд и завистников в поповских рясах, которых ему предстояло изобразить в «Тристраме Шенди». «Стерн, — пишет его новейший биограф Флюшер, — пускает корни... в глубь провинциальной жизни. Он разделяет ее заботы, пропитывается ее атмосферой, подчиняется ее законам». К этому, однако, необходимо добавить еще одно: он наблюдает эту провинциальную жизнь внимательным, ироническим взглядом, посмеиваясь втихомолку и над ее нелепостями, и над самим собой и накапливая впрок, на будущее, драгоценный материал впечатлений, образов и идей.

Иногда поездка в гости к старому университетскому приятелю Холлу-Стивенсону, владельцу соседнего замка Скелтон, нарушает привычный строй уединенной, созерцательной жизни Стерна и дает ему необходимую разрядку. Холл-Стивенсон, дилетант-литератор, сочинитель «Макаронических басен» и «Сумасшедших рассказов» (по аналогии с которыми он и свое жилище переименовал в «Сумасшедший замок»), был одним из тех «эксцентриков», которыми так богата Англия конца XVIII века. Собиравшийся в его замке кружок веселых собутыльников (к которому принадлежал и Стерн) принял шуточное прозвище «демониаков»: можно догадываться, что их вольные беседы и не менее вольные забавы были весьма далеки от благочестивой англиканской ортодоксии.

Но главное, чем жил Стерн в долгие десятилетия своего уединения в Саттоне, — это были книги.

Он штудировал богословов и отцов церкви, всегда готовый с лукавой усмешкой подметить и запомнить впрок каждый забавный абсурд или разногласие в их велеречивых рассуждениях, а одновременно внимательно изучал и светских философов своего века. «Опыт о человеческом разуме» Джона Локка, отца европейского Просвещения, был его настольной книгой. Но его подлинной отрадой были труды великих гуманистов Возрождения — «дорогого моего Рабле и еще более дорогого Сервантеса», которых он так тепло помянет в «Тристраме Шенди». Он любил и Шекспира, у которого нашел для себя образ-маску — Йорика, человека бесконечной шутливости и нежного сердца... А наряду с этим он считывался и эссеистами XVII столетия — мудрыми и скептическими «Опытами» Монтеня и «Анатомией меланхолии» Бертона — этим гигантским сводом анекдотов, преданий и размышлений о всевозможных причудах и странностях человеческой природы. Превосходно знал он, конечно, и книги своих современников, английских прозаиков XVIII века. Все это —

переплавленное, переосмысленное — вошло в плоть и кровь «Тристрама Шенди».

Произведение Стерна глубоко уходило своими корнями в почву реалистических традиций английской и мировой литературы. И вместе с тем оно представляло собой акт открытого неповиновения традициям. Роман Стерна был и похож, и демонстративно непохож на все романы, которые под разными наименованиями — «Жизни и удивительных приключений...», «Похождений...» или «Истории...» такого-то героя или героини — предлагали читателям Дефо, Ричардсон, Фильдинг и Смоллет. Недаром и озаглавлен он был по-новому — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»: это неожиданное словечко «мнения» уже возвещало новый оборот, который Стерн придал повествовательному жанру.

Казалось бы, здесь было все, что обычно присутствовало в английском просветительском романе. Читатели привыкли к тому, что им рассказывалось о происхождении и воспитании героя. И Стерн с готовностью делает то же самое, — но как?! С обезоруживающей словоохотливостью он сообщает все относящиеся и не относящиеся к делу подробности, начинает свой рассказ даже не с рождения, а с зачатия героя, тратит сотни страниц на то, чтобы описать его появление на свет и на протяжении девяти томов едва-едва может довести историю воспитания злополучного Тристрама до того времени, когда ему исполнилось пять лет.

Читатель рассчитывал найти в романе любовную интригу, Стерн неукоснительно следует и этому обычаю, — но, вместо того чтобы изобразить пылкую страсть юного героя, повествует о комических злоключениях его пожилого чудака-дяди, атакованного некоей предприимчивой вдовой.

Читатель ждал, что автор выкажет и некоторую ученость. Стерн оправдывает эти надежды с лихвой, обрушивая на бедного читателя целую лавину греческих, латинских и прочих цитат из древних и новых философов, богословов, схоластов, писателей. С напускной важностью он вводит в роман целые страницы латинского текста (и какого текста!), сопровождая их параллельным переводом, который, при ближайшем рассмотрении, оказывается не слишком-то точным. Какая пища для будущих комментаторов, — или «корка для критиков», как более непочтительно определит это сам Стерн.

Наконец, в романе полагалось быть и морали: прямо или косвенно автор старался внушить читателю здравые понятия о велениях разума и законах человеческой природы. «Мораль», по-своему, есть и у Стерна. Но сколько коварного лукавства в «мнениях» Тристрама Шенди; как охотно противоречит автор самому себе, никогда не забывая об относительности всех людских представлений; и как легко ошибиться, приняв за чистую монету его иронию!

Нельзя не согласиться с замечанием американского литературоведа Дилурта, по словам которого «ропот пародии» слышится во всей оркестровке романа Стерна. В процессе бурного и блистательного развития английского романа XVIII века пародия вообще играла огромную роль. В свифтовский «Путешествиях Гулливера» ощущается пародия на «Робинзона Крузо» Дефо; Фильдинг пародировал «Памелу» Ричардсона в «Приключениях Джозефа Эндрюса». В «Тристраме Шенди» видят иногда пародию на «Историю Тома Джонса, найденйша» Фильдинга. Но вернее было бы сказать, что Стерн пародирует все просветительские романы, написанные его предшественниками.

Вся книга Стерна в этом смысле может быть воспринята как грандиозная шутка в девяти томах, как блестящая литературная мистификация, автор которой, по выразительной английской метафоре, «опрокидывает тележку с яблоками» и оставляет изумленных читателей на развалинах, казалось, столь прочного здания нравоописательного и нравоучительного романа.

Но это — только одна сторона удивительно многогранного «Тристрама Шенди».

Как бы ни подшучивал Стерн над своими предшественниками и современниками, писателями Просвещения, как бы ни пародировал их, — он и сам принадлежал к этому могучему демократическому течению, оставившему столь глубокий след в общественной мысли и искусстве XVIII столетия. Когда Тристрам Шенди, в начале второго тома своего жизнеописания, восклицает: «ведь пишу я с просветительными целями», это — не просто шутка.

Правда, во всем, что касается политики, Стерн подчеркнуто осторожен. Он сам признавался, что ему далеко до свифтовского «яростного негодования»: «Свифт сказал сотню вещей, какие мне возбраняется говорить — раз я не являюсь деканом собора св. Патрика».

И все же и в «Тристраме Шенди» прорываются иногда ядовитейшие сентенции о правителях и монархах, — вроде пророческой фразы: «Худые, значит, пришли времена для королей, коли их топчут такие маленькие люди, как я», или саркастического обращения ко всем «гонящим... а также и гонимым, как индюки на рынок, хвостистой с пунцовой тряпкой». И когда один из друзей Стерна, боясь, как бы автор «Тристрама Шенди» не скомпрометировал себя слишком вольным сочинением, напомнил ему о необходимой осторожности, писатель ответил ему твердо: «И буду осторожен, как требует благоразумие, но осторожен при этом также и в том, чтобы не испортить мою книгу». Это было написано еще в 1759 году, когда рукопись начальных томов «Тристрама» могла быть известна только небольшому кругу единомышленников Стерна.

После выхода первых томов в среде духовенства, встревоженного дерзким легкомыслием своего собрата, начались толки, посыпались даже

доносы, а епископ Глостерский Уорбертон, мнивший себя знатоком литературы, обратился к Стерну с назидательным письмом, призывая его посвятить свое перо предметам, более возвышенным и пристойным. Стерн с напускным смирением поблагодарил ученого прелата, но не только не пожелал отречься от своего вольномыслия, а закончил свой ответ вызывающе: «Я сделаю все, что смогу, но смеяться, милорд, я буду, и притом смеяться так громко, как только сумею».

И Стерн, действительно, смеется в «Тристраме Шенди» над всеми «столпами» мракобесия, косности и невежества. По страницам его романа движется целая процессия «темных людей», буквоедов-педантов, ханжей, суеверов, гонителей правды. Здесь и самоуверенный тупица доктор Слуп, едва не погубивший новорожденного Тристрама. Здесь и целая компания «духовных особ», представляющих англиканскую церковь; Стерн наделяет этих интриганов, невежд и бездельников самыми оскорбительными именами, — Гастрифер, Сомноленций, Футаторий, — намекая на их чревоугодие, лень и распущенность. А за ними на заднем плане романа теснятся и иезуиты, в чьем застенке томится честный малый, брат капрала Трима, которого злым ветром занесло в Португалию, и средневековые изуверы, сочинившие чудовищное «Эрнульфово проклятие», и лицемерно-чопорные французские монашенки, и страсбургские богословы как лютеранского, так и католического толка, столь остроумно высмеянные в фантастической истории о незнакомце с длинным носом, явившемся в Страсбург.

Стерн ненавидит и рабство и раболепие; и рисует как живой пример подлинно человеческих отношений между людьми — дружбу, связывающую капитана Тоби Шенди с его денщиком Тримом. Здесь все естественно, непритворно, бескорыстно, а потому — прекрасно, хотя иногда, может быть, и смешно. Зато сколь язвителен бывает Стерн всюду, где он видит, как схоластические хитросплетения или мертвая буква закона уродуют человеческие судьбы (вроде, например, нелепого брачного контракта супругов Шенди, имевшего столько трагикомических последствий для их сына, бедняги Тристрама)!

Ненависть ко всему мертвому, отжившему сочетается в «Тристраме Шенди» с пылким и неукротимым жизнелюбием Стерна. «Да здравствует радость! Долой печаль!» — эти слова провансальской песенки, под звуки которой Тристрам пустился в пляс с деревенской красавицей из Лангедока, могли бы также стать одним из эпиграфов романа наравне с изречениями Эпиктета или Эразма Роттердамского — так полно выражают они жизненную философию автора. Как и другие гуманисты Просвещения, Стерн убежден в естественном праве человека на все радости бытия. И не последней из них для него самого является радость познания этого земного, материального мира во всем многообразии его проявлений. «Материя и движение бесконечны», — восклицает автор «Тристрама Шенди».

И он с жадным любопытством вглядывается во все мелочи бытия — для него как художника нет жеста, нет интонации, которые не имели бы своего скрытого значения: ведь в каждом из них проступает какая-то особая, неповторимая сторона человеческой природы.

За словами он умеет слышать и молчание, которое иногда говорит больше слов. И своеобразный синтаксис, и даже сама пунктуация его повествования — эти то громоздящиеся друг на друга как торосы, то внезапно обрывающиеся фразы, эти тире, обозначающие многозначительные паузы, — служат графическим выражением его художественного новаторства.

Стерн, пожалуй, оказался первым писателем рационалистического XVIII века, для которого самый процесс мышления стал предметом эстетического переживания и наслаждения. Читая «Тристрама Шенди», видишь, с каким живым интересом всматривается художник в неожиданные «перебои» мысли, в причудливый ход ассоциации идей, в разломы и смещения различных пластов сознания. Он проявляет необычайную виртуозность, показывая, как самые тривиальные подробности повседневного быта сплетаются в головах его героев с отвлеченнейшими проблемами умозрительной философии. Он не шадит даже старика Локка и бесцеремонно подшучивает над «Опытом о человеческом разуме», этой библией просветительского рационализма.

Двойственное отношение Стерна к Локку заслуживает особого внимания: здесь наглядно обнаруживается и связь и расхождения автора «Тристрама Шенди» с просветительством. Он с восхищением пишет о Локке, который «стяжал себе славу очисткой мира от мусорной кучи ходячих ошибочных мнений». Ему дорог и близок Локк — сенсуалист, противник идеалистической мистики, отвергший существование «врожденных идей» и доказавший, что сознание человека питается чувственным опытом. Но, поверая жизнью учение Локка, Стерн и в нем находит слабые, уязвимые места и направляет в них стрелы своей сатиры.

Степенный, чопорный Локк полагал, что разум не нуждается в помощи остроумия. Он недоверчиво, даже неодобрительно относился к «шаловливым идеям», вмешивающимся в размеренный ход логических рассуждений, и предпочел бы вовсе изгнать из области разумного мышления шутку, каламбур, острое словцо. Стерн громогласно объявляет это приискорбным заблуждением великого философа, который в этом вопросе дал себя одурачить ханжам и педантам: «Травля бедных остроумцев велась, очевидно, такими густыми и торжественными голосами и при содействии больших париков, лажных физиономий и других орудий обмана стала такой всеобщей, что вела и философа в обман. ...Вместо того чтобы хладнокровно, как подобает истинному философу, исследовать положение вещей, перед тем как о нем философствовать, — он, напротив, принял

его на веру, присоединился к улюлюканью и вопил так же неистово, как и остальные».

Кислая, самодовольная, безулыбчатая рассудочность заранее вызывает подозрение у Стерна: скорее всего, ею прикрывается пустое тщеславие, педантство и ханжество. Напротив, юмор кажется ему драгоценнейшим началом: согласно Стерну, именно юмор дает человеку возможность полней всего проявить самого себя как личность, а вместе с тем и найти верную точку зрения на жизнь. Автор «Тристрама Шенди» вырабатывает и развивает на протяжении своего романа целую теорию «конька» — любимого увлечения, чудачества или странности. «Это резвая лошадка, уносящая нас прочь от действительности, — причуда, бабочка, картина, вздор — осады дяди Тоби — словом, все, на что мы стараемся сесть верхом, чтобы ускакать от житейских забот и неурядиц. — Он полезнейшее в мире животное — и я положительно не вижу, как люди могли бы без него обходиться».

Стерн предлагает судить о характере человека не иначе, как по его «коньку», — ведь именно в выборе любимой причуды раскрывается неповторимая индивидуальность человека.

Эксцентрические чудачки уже и ранее появлялись в английской литературе; их можно было в изобилии встретить и в комедиях Бена Джонсона (создавшего свою драматургическую теорию «юмор» — *humours*, — кое в чем предвзвизшую Стерна), и в нравоописательных очерках Аддисона и Стиля, и в романах Фильдинга и Смоллета... Но никогда еще ни одно произведение не было так густо заселено чудачками, как «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

На йоркширском диалекте слово «shan» или «shandy» означает человека с придурью, «без царя в голове». От него-то и произвел Стерн фамилию своих героев. А позднее, уже как производное от фамилии своих чудачков, он изобрел и новый в английском языке глагол «шендировать» и охотно пользовался им в своих письмах, говоря о самом себе. «Я шендирую в пятьдесят раз больше, чем когда-либо», — писал он, например, Гаррику из Парижа в 1762 году. Шендизм, уверяет Стерн, — наилучшее лекарство от всех болезней.

Это шутовское восхваление чудачества, как нормы поведения, столь характерное для первой книги Стерна и для всего его творчества, было по-своему и серьезным знаменем времени. В условиях тогдашней Англии, гордой своим коммерческим и промышленным процветанием, с ее прочными буржуазно-пуританскими традициями, из которых уже давно выветрился их былой революционный дух, стерновская «доктрина шендизма» звучала вызывающе.

Стерн не призывал к потрясению общественных основ. Но его «шендизм» выглядел как демонстративный жест презрительного отвержения всего, что почиталось важным и нужным в господствующих кругах его

мира. Купля-продажа и законная прибыль, доходные должности, звания и титулы, почтенная репутация — все это нимало не занимает истого «шендиста». «Шендизм» Стерна подспудно заключал в себе протест против обезличивающей нивелировки личности в буржуазном обществе. Это была попытка, — хотя бы и утопическая, — отвоевать у этого общества уголок, где каждый человек мог бы быть самим собой.

Воплощением этой утопии и был Шенди-Холл — маленький мирок, затерянный среди йоркширских болот и почти обособленный от большого мира. Каждый скачет здесь во всю прыть на своем коньке. Здесь царит комическая разногласица: все спешат, суетятся, мешают друг другу, хлопочут каждый о своем и не могут ни дослушать, ни толком понять друг друга.

Вальтер Шенди-старший, человек ученый и угрюмый, всегда терзаем мрачными предчувствиями, которые подсказывает ему его диковинная книжная эрудиция. Он долго блуждал в дебрях «носологии» — науки о носах — и убежден, что будущее человека во многом определяется формой его носа. Столь же глубокомысленно судит он и о собственных именах, и об их неотвратимом влиянии на жизненное поприще их носителей. Он имеет и свои твердые убеждения насчет того, как именно должен был бы появляться на свет новорожденный младенец, и полон решимости изменить существующий неразумный порядок, установленный природой. Столь же ревностны и труды его в области педагогики. Как истый сын века Просвещения, он решил составить капитальное руководство по воспитанию своего отпрыска Тристрама. Для мудрого сочинения найдено и достойное заглавие: «Тристрапедия». Но, увы, Тристрам растет и уже готов сменить детское платьице на мальчишечьи штаны, а «Тристрапедия», обрастая все новыми измышлениями, оказывается еще дальше от своего завершения, чем в начале работы!

Неутомимый резонер, упивающийся собственными силлогизмами, Вальтер Шенди не раз попадает в беду из-за своих «ученых» чудачеств. Но они же утешают и его горе. Пораженный известием о внезапной смерти старшего сына, он обращается за утешением к мудрецам классической древности и, с жаром декламируя патетический отрывок из письма Сервия Сульпиция к Цицерону, забывает обо всем на свете. «Философия, — язвительно замечает по этому поводу Стерн, — имеет в своем распоряжении красивые фразы для всего на свете».

Полную противоположность самодовольному резонеру Вальтеру Шенди представляет собой его брат, Тоби Шенди, — один из самых привлекательных образов, созданных английскими романистами XVIII века. Тихий, смиренный, застенчивый как красная девица, он подкупает своей непритворной, непоказной добротой. А вместе с тем, при всем своем простодушии (особенно заметном по контрасту с напыщенным всезнайством мистера Шенди-старшего), он нередко обнаруживает природный

здравый смысл, сразу улавливая фальшь и обман за громкими словами, которые могли бы сбить с толку иных умников. Дядя Тоби не произносит возвышенных рацей; но нехитрая песенка «Лиллибуллиро», которую он принимается насвистывать в знак протеста всякий раз, когда слышит о чем-то особенно злом или глупом, куда убедительнее и милее, чем тягеловесные сентенции его педанта-брата.

Насмешник Стерн не щадит и дядю Тоби и ставит его в смехотворные положения (как, например, в истории с вдовой Водмен). Но вместе с тем именно для этого старого чудака находит он самые нежные интонации, самые ласковые слова. Зеленая лужайка, где дядя Тоби вместо со своим верным оруженосцем Тримом повторяет все баталии войны за Испанское наследство, — это самый центр, святая святых гуманистической утопии Стерна. Бескровные атаки, осады и штурмы, которые с таким увлечением разыгрывают два добряка, не только смешны. В них заключен и урок человечеству, погрязшему в кровавых войнах. Детскость дяди Тоби предстает у Стерна как основа его человечности. Так семьдесят лет спустя взрослым младенцем изобразит и Диккенс своего добрейшего и благороднейшего мистера Пиквика.

Не последним среди оригиналов, населяющих Шенди-Холл и его окрестности, является и сам Тристрам Шенди — «герой» и «автор» всей книги.

В какой-то степени это — двойник самого Стерна; но вместе с тем он и не сливается вполне с писателем. Стерн умеет незаметно, между строк, обособиться от Тристрама, фигура которого отчетливо выступает на подмостках романа, освещенная отблесками стерновской иронии.

Сочинительство Тристрама Шенди — это и есть его «конек», и «кошек» норовистый, выделяющий самые неожиданные и головоломные курбеты. Как добросовестно, старательно и аккуратно принимается автор этого странного жизнеописания за свой рассказ! Он, кажется, хлопочет только о том, чтобы не упустить ни единой подробности, ничего не забыть и не перепутать. Но... чем дальше углубляется читатель в историю «жизни и мнений Тристрама Шенди», тем больше озадачивает его веселая неразбериха сбивчивых воспоминаний, двусмысленных намеков, недоконченных анекдотов... Тристрам спешит, перебивает самого себя, захлебывается словами и никак не может ввести свое растекающееся во все стороны повествование в берега логики и здравого смысла. Доводя до абсурда учение Локка об ассоциации идей, он внезапно перескакивает с одного предмета на другой, меняет порядок глав, то останавливает действие на мертвой точке, то обращается вспять, то стремительным прыжком увлекает читателя лет на двадцать вперед, чтобы снова вернуться обратно...

Как это ни парадоксально, можно сказать, что в повествовательных приемах «Тристрама Шенди» есть нечто схожее с методом киносъемки.

Крупные планы внезапно сменяют общую панораму. Объектив выхватывает из полумрака какую-то особенно выразительную деталь — тяжелые старинные часы; обивку старого кресла; бессильно опущенную руку убитого горем Вальтера Шенди; шляпу, брошенную на пол Тримом; красноречивый взмах его трости... Иногда перед нами — замедленная проекция. Миссис Шенди застывает недвижно за дверью мужнего кабинета. Братья Шенди остановлены на площадке лестницы, — пройдет несколько глав, прежде чем этот кадр сменится другим. И можно себе представить, как выразительно передал бы современный кинорежиссер — вслед за Стерном сценаристом — сбивчивую сумятицу полуосознанных мыслей и побуждений, воплощенную в «вещных», предметных образах. Вот пример. — Услышав о смерти Бобби Шенди, горничная Сузанна распинается в своем сочувствии убитой горем матери. Но на уме у нее только платье миссис Шенди, — ведь если ее барыня наденет траур, что-то из цветных нарядов, наверно, перейдет в собственность Сузанны. «— О, это сведет в гроб бедную мою госпожу! — вскричала Сузанна. — Весь гардероб моей матери пришел в движение. Что за процессия! Красное камчатное, — темно-оранжевое, белые и желтые люстрины, — тафтяное коричневое, — кружевные чепчики, спальные кофты и удобные нижние юбки. — Ни одна тряпка не осталась на месте. — Нет, она больше никогда уже не опривитсЯ, — сказала Сузанна». — Как великолепно выглядела бы эта «процессия» вождеденных, дразнящих воображение нарядов, внезапно оживших и пришедших в движение, на экране цветного кино, в гротескном контрасте со скорбными фразами Сузанны!

По своей манере письма автор «Тристрама Шенди» действительно во многих отношениях ближе к современному искусству XX века, чем кто-либо другой из романистов XVIII столетия. А за этой манерой письма стоит, конечно, и особое, новое для XVIII века восприятие и осмысление мира. К Стерну-художнику вполне применимо то, что говорит Тристрам Шенди о своем отце: «каждый предмет открывал его взорам поверхности и сечения, резко отличавшиеся от планов и профилей, видимых остальными людьми».

Дело было не только в оригинальности художественного дарования Стерна, но в том, что он считал возможным дать волю этой оригинальности.

Стерн убежден в том, что объективная истина предстает людям во множестве своих относительных воплощений. Каждый видит мир по-своему, и из пересечений этих индивидуальных ракурсов и перспектив возникает та сложная, пестрая, изменчивая панорама жизни, которая разворачивается в «Тристраме Шенди».

Через посредство своего героя-«рассказчика» Стерн до известной степени сам приобщает читателей к секретам своего писательского мастерства. «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» — это не

только анекдотическая история нескольких лет из жизни обитателей Шенди-Холла. Это в своем роде и роман о романе. Мы присутствуем при создании книги.

Вместе со Стерном мы смеемся над забавным «цейтнотом», из которого никак не может выбраться словоохотливый Тристрам Шенди, безнадежно отставший от самого себя, запутавшийся в «отступательном и поступательном» движении своего рассказа, то и дело попадающий впро�ак из-за неожиданных причуд своей памяти или воображения. Но в открывающейся нам картине мыслительной *работы* художника, — с ее особыми трудностями, вызванными необходимостью отобрать, обобщить и вложить в ограниченную форму безграничное множество жизненных впечатлений, — есть и вполне серьезный смысл. Стерн обнажает *условность* литературного повествования, показывает и его неизбежные границы, и его огромные возможности.

Лирико-юмористические перебои повествования, смещение действия во времени, свободные авторские отступления (которые, по Стерну, «подобны солнечному свету» и «составляют жизнь и душу чтения»), значение бессознательных душевных движений — эти и другие художественные открытия, сделанные в «Тристраме Шенди», были по-настоящему усвоены мировой литературой лишь много позже, в XIX столетии.

«Тристрам Шенди» выходил в свет отдельными выпусками, по два три тома, вплоть до 1767 года. На девятом томе Стерн оборвал свой роман. Был ли он закончен? На этот счет существуют разные мнения, — и это само по себе показывает, каким великим мистификатором был Стерн. Думается, однако, что заключительная реплика Йорика в ответ на недоуменный вопрос недогадливой миссис Шенди («— Господи! что это за историю они рассказывают — — ?»): «Про БЕЛОГО БЫЧКА, — — — и одну из лучших в этом роде, какие мне доводилось слышать», — и была, по замыслу Стерна, достойным финалом всего романа. (К тому же развернувшаяся напоследок, в XXXIII главе девятого тома, анекдотическая неразбериха с обманутыми надеждами работника Обадии и пленным быком мистера Шенди возвращала повествование как раз к тем самым материям, с обсуждения которых оно было начато, когда речь шла о зачати Тристрама. Таким образом, круг был замкнут.)

Но от «Тристрама Шенди» «отпочковалось» другое произведение Стерна, которому действительно суждено было остаться незавершенным. Это было «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»; первые два тома, изданные в 1768 году, незадолго до смерти Стерна, были посвящены Франции; итальянская часть не была написана.

Впрочем, реальная география играла в этих оригинальных путевых заметках самую незначительную роль. Если «Тристрам Шенди» был пародией на классический роман XVIII века, то «Сентиментальное путешествие» было не менее откровенной пародией на традиционный жанр

путешествия — один из самых устоявшихся и почтенных жанров тогдашней литературы.

До вторжения Стерна границы и задачи этого жанра казались точно определенными. Авторы путешествий ставили себе обычно информационные и дидактические цели. Они поучали, развлекали, и строгие отцы семейств, которые не рискнули бы дать в руки своим отпрыскам роман или пьесу, безбоязненно разрешали им читать путешествия Аддисона, Джонсона и других. Но «Сентиментальное путешествие» явно не было рассчитано на то, чтобы учить юнцов географии! (Недаром еще в «Тристраме Шенди» Стерн так непочтительно отозвался о поучительных путевых записках «великого Аддисона, у которого на з... висела сумка со школьными учебниками, оставлявшая при каждом толчке ссадины на крупе его лошади».)

Хотя Стерн и присваивает всем главам своей книги названия французских городов и почтовых станций, в соответствии с обычным маршрутом тогдашних путешественников-англичан, он гораздо более озабочен здесь, условно говоря, пейзажами человеческой души — анализом духовного климата личности, так легко меняющегося в зависимости от обстоятельств. Главные происшествия, описываемые Стерном, разыгрываются в *сознании* героя. Мелочи жизни: случайные дорожные встречи, мимолетные впечатления, вызывающие неожиданные ассоциации идей, — то омрачают душевный небосклон рассказчика, то, наоборот, рассеивают тучи...

В еще большей степени, чем в «Жизни и мнениях Тристрама Шенди», в «Сентиментальном путешествии» преобладает субъективное начало. «Сентиментальный путешественник» решительно отличается, как заявляет он сам, от всех других родов и видов путешественников: от путешественников пытливых, путешественников лживых, путешественников тщеславных и пр. и пр.

Сентиментальный путешественник чуток ко всем впечатлениям бытия и склонен к самоанализу. Он чувствителен? О, да! Но (как напомнил советский исследователь творчества Стерна И. Е. Верцман) один из первых русских переводчиков этой книги недаром передал ее заглавие как «*Чувственное* путешествие Стерна во Францию» (1803). Если это и был забавный словесный промах, то все же нельзя не согласиться с тем, что текст книги дает для него известные основания.

«Автор» «Сентиментального путешествия» — друг братьев Шенди, англиканский священник Йорик, которого Стерн похоронил и оплакал в «Тристраме», а теперь воскресил и сделал своим двойником, — не только чужд ханжеской набожности, но, напротив, не скрывает своего жизнелюбия и открыт всем чувственным радостям и соблазнам, которые встречаются на его пути.

Прикосновение к руке очаровательной гризетки-перчаточницы или к ножке хорошенькой горничной, у которой так кстати расстегнулась

пряжка башмака, волнуют его воображение ничуть не меньше, чем горе злополучного путника, скорбящего о кончине своего осла, или благородная гордость кавалера ордена св. Людовика, торгующего, по бедности, пирожками.

Для Стерна важен именно диапазон этих мимолетных переживаний. Созданному буржуазными моралистами прописному образу благомыслящего человека, без труда умеряющего свои страсти разумом, он противопоставляет другой, по его мнению единственно жизненный и реальный, образ человека, в сознании которого сталкиваются самые противоположные побуждения и порывы, связанные сложнейшими взаимопереходами. По Стерну, даже самый доброжелательный человек (а именно так задуман его Йорик) все же не чужд себялюбия. Выяснение взаимосвязей эгоизма и великодушия, «высокого» и «низкого» сознания и составляет главную цель психологического самоанализа, которым постоянно занят Йорик — Стерн. Беспощадно анатомируя свое собственное «я», он показывает, какую себялюбивую подкладку имеет иногда самое пылкое прекраснодушие.

Как умилительна, например, сцена прощания Йорика с нищенствующим монахом в Кале! Но мы-то знаем, что поначалу, под влиянием минутной досады, он незаслуженно оскорбил брата Лоренцо и, может быть, не пожалел бы о своей грубости, если бы не боялся уронить себя в глазах своей прекрасной попутчицы.

Как восхищались и современники и потомство тем эпизодом «Сентиментального путешествия», где Йорик, случайно услышав заученную жалобу запертого в клетке скворца: ¹ «Не могу выйти. Не могу выйти», — обращается с гневными словами обличения к Рабству — «горькой микстуре» народов, прославляет Свободу и рисует в своем воображении образ узника, чахнувшего за тюремной решеткой! Наконец, вспоминает Йорик, «я залился слезами — я не мог вынести картины заточения, нарисованной моей фантазией». Что это — бескорыстное сочувствие ближнему, ненависть к рабству, любовь к свободе? Быть может; но Йорик не забывает упомянуть, что он неприятно озабочен отсутствием паспорта и что перспектива попасть в Бастилию — ведь Франция находится в состоянии войны с Англией! — кажется ему в данный момент весьма реальной.

Так рождается у Стерна юмор относительности, которым пронизано все «Сентиментальное путешествие». Умиленная чувствительность неразлучна с лукавой усмешкой. По сравнению с «Тристрамом Шенди», здесь проливают больше слез; но смеются ничуть не меньше.

¹ В подтексте здесь заключался шуточный намек на самого Стерна: на йоркширском диалекте название скворца было однозвучно с его фамилией, и в родовом гербе Стернов был скворец.

Йорик — Стерн, так же как и Стерн — Тристрам, не прочь пошутить и над самим собой, и над читателем. Как бы дразня строгих пуритан-моралистов, он не скупится на фривольные намеки, шекотливые анекдоты, двусмысленные шутки. (Примером может служить «финал» последней главы «Сентиментального путешествия», рассказывающей о смешном происшествии на ночлеге в савойской гостинице: знай Стерн, что ему не удастся продолжить работу над «Сентиментальным путешествием», его, наверное, позабавила бы мысль о том, что до читателей так и не дойдет разгадка той оборванной на полуслове фразы — «...схватил горничную за — — », — которой он кончил свой второй том.)

«Сентиментальное путешествие» было написано умирающим, который догадывался, что жить ему остается недолго. Тем большего восхищения достойно мужество писателя, который наперекор смерти славил жизнь во всех ее проявлениях. В отличие от Свифта и Вольтера, Дидро и Руссо, Стерн не был ни социальным мыслителем, ни политическим борцом. Но он указал искусству новые пути к познанию и изображению человека.

«Сентиментальному путешествию» обязано своим названием одно из самых значительных течений в европейской литературе второй половины XVIII века — сентиментализм.

В своем развитии это течение вышло далеко за пределы «стернианства». Сентиментализм в лице Руссо, молодого Гете и Шиллера и других писателей «Бури и натиска» взрывал оптимистическую самоуспокоенность просветительства; просветительскому культу разума он противопоставлял свободное и бурное выражение мятежных страстей. По сравнению с «Исповедью» Руссо, «Страданиями юного Вертера» и «Прометеем» Гете или «Разбойниками» Шиллера, книги Стерна кажутся благодушными и «мирными». Но все же именно они — «Тристрам Шенди» и особенно популярное за пределами Англии «Сентиментальное путешествие» — положили начало эмоциональной «раскованности» и глубокому интересу к неповторимому духовному миру личности, без которых немислим сентиментализм Руссо, Гете и Шиллера.

Романтики — Жан-Поль, Гофман, Нодье и другие — восприняли и оценили у Стерна прежде всего разорванность его картины мира, резкость переходов от возвышенной поэзии чувства к «презренной» бытовой прозе, от патетического — к смешному; стернианский юмор относительности был истолкован ими в духе их романтической иронии. Генрих Гейне писал о Стерне в «Романтической школе»: «Он был баловнем бледной богини трагедии. Однажды в припадке жестокой нежности она стала целовать его юное сердце так сильно, так страстно, так любовно, что сердце начало истекать кровью и вдруг поняло все страдания этого мира и исполнилось бесконечным состраданием. Бедное юное сердце поэта! Но младшая дочь Мнемозины, розовая богиня шутки, быстро подбежала

и, схватив страждущего мальчика на руки, старалась развеселить его смехом и пением, и дала ему вместо игрушки комическую маску и шутовские бубенцы, и ласково целовала его в губы, и запечатлела на них все свое легкомыслие, всю свою озорную веселость, всю свою остроумную шаловливость.

И с тех пор сердце и губы Стерна впали в странное противоречие: когда сердце его бывает трагически взволновано и он хочет выразить свои глубочайшие, кровью истекающие, задушевные чувства, с его уст, к его собственному изумлению, вылетают забавнейше-смешные слова».

В этом поэтическом отрывке есть доля преувеличения: при всей драматичности своего восприятия мира, Стерн был далек от подлинного *трагизма*. Но характеристика Гейне драгоценна: это великолепный портрет Стерна-художника, написанный в *романтической* манере.

В России, где Стерна начали переводить с 80-х годов XVIII века, его наследие также толковалось по-разному. Следы пристального чтения «Сентиментального путешествия» сказались и в сентиментальных «Письмах русского путешественника» Карамзина, и в полном гражданского обличительного негодования «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева. И Радищев и декабристы склонны были преувеличивать значение демократического социального протеста в творчестве Стерна.

В то время как В. Одоевский и Вельтман разрабатывали в романтическом духе юмористическую сторону «стернианства», Пушкин восхищался реалистической наблюдательностью Стерна. Осуждая романтическую вычурность и цветистость, Пушкин в письме Вяземскому провозгласил, что «вся Лалла-рук» (модная в то время поэма Мура) «не стоит десяти строчек Тристрама Шенди». В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» 1827 года Пушкин, цитируя фразу Стерна из «Сентиментального путешествия»: «Живейшее из наших наслаждений кончается содроганием почти болезненным», — добавляет: «Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б».

Критически переосмысленное наследие Стерна продолжало играть свою роль и в дальнейшем развитии русской реалистической литературы. Отголоски печальной истории пастушки Марии, помешавшейся от несчастной любви (рассказанной Стерном в «Тристраме Шенди» и «Сентиментальном путешествии»), различимы в «Идиоте» Достоевского, в воспоминаниях князя Мышкина о другой, еще более несчастной пастушке — тоже Марии! — с которой он сдружился в Швейцарии. Лев Толстой в молодости с увлечением читал и «Сентиментальное путешествие» и «Тристрама Шенди».

В 1851—1852 годах Толстой принялся переводить на русский язык «Сентиментальное путешествие» и работал над этим — неоконченным — переводом довольно долго. Это была полезная литературная школа (упомянем, кстати, что и в школьных тетрадах Лермонтова сохранились

стилистические упражнения, сделанные на основе текстов Стерна). В свой дневник 14 апреля 1852 года Толстой занес особенно поразившее его суждение Стерна: «Если природа так сплела свою паутину доброты, что некоторые нити любви и некоторые нити вожделения вплетены в один и тот же кусок, следует ли разрушать весь кусок, выдергивая эти нити?» Впоследствии он ввел поразивший его образ Стерна в ткань своих «Казаков», но уже в совершенно переосмысленном виде: «Для того чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать». Интересно, как преображает Толстой взятую у Стерна метафору. У Стерна она статична, замкнута в себе — это состояние человеческой души; у Толстого речь идет уже об отношении человека к миру, и об отношении действенном: «надо раскидывать на все стороны паутину любви...»

Творчество Лоренса Стерна оставило глубокий след в мировой литературе. И обе его книги — и «Тристрам Шенди» и «Сентиментальное путешествие» — поныне представляют интерес для читателей не только как памятник прошлого, но и как живые произведения искусства.

А. ЕЛИСТРАТОВА

ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ
ТРИСТРАМА ШЕНДИ,
ДЖЕНТЛЬМЕНА

Ταράσσει τοὺς Ἀνθρώπους οὐ τὰ Πράγματα,
Ἄλλὰ τὰ περὶ τῶν Πραγμάτων Δόγματα¹

ДОСТОЧТИМОМУ МИСТЕРУ ПИТТУ

Сэр,

Никогда еще бедняга-писатель не возлагал меньше надежд на свое посвящение, чем возлагаю я; ведь оно написано в глухом углу нашего королевства, в уединенном доме под соломенной крышей, где я живу в постоянных усилиях веселостью оградить себя от недомоганий, причиняемых плохим здоровьем, и других жизненных зол, будучи твердо убежден, что каждый раз, когда мы улыбаемся, а тем более когда смеемся, — улыбка наша и смех кое-что прибавляют к недолгой нашей жизни.

Покорно прошу вас, сэр, оказать этой книге честь, взяв ее (не под защиту свою, она сама за себя постоит, но) с собой в деревню, и если мне когда-нибудь доведется услышать, что там она вызвала у вас улыбку, или можно будет предположить, что в тяжелую минуту она вас развлекла, я буду считать себя столь же счастливым, как министр, или, может быть, даже счастливее всех министров (за одним только исключением), о которых я когда-либо читал или слышал.

Пребываю, великий муж

и (что более к вашей чести)

добрый человек,

вашим благожелателем и

почтительнейшим

соотечественником,

АВТОР

¹ Людей страшат не дела, а лишь мнения об этих делах (греч.).

ГЛАВА I

Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе, — ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, — поразмыслили над тем, что они делают в то время, когда они меня зачинали. Если бы они должным образом подумали, сколь многое зависит от того, чем они тогда были заняты, — и что дело тут не только в произведении на свет разумного существа, но что, по всей вероятности, его счастливое телосложение и темперамент, быть может, его дарования и самый склад его ума — и даже, почем знать, судьба всего его рода — определяются их собственной натурой и самочувствием — — если бы они, должным образом все это взвесив и обдумав, соответственно поступили, — — то, я твердо убежден, я занимал бы совсем иное положение в свете, чем то, в котором читатель, вероятно, меня увидит. Право же, добрые люди, это вовсе не такая маловажная вещь, как многие из вас думают; все вы, полагаю, слышали о жизненных духах, о том, как они передаются от отца к сыну, и т. д. и т. д. — и многое другое на этот счет. Так вот, поверьте моему слову, девять десятых умных вещей и глупостей, которые творятся человеком, девять десятых его успехов и неудач на этом свете зависят от движений и деятельности названных духов, от разнообразных путей и направлений, по которым вы их посылаете, так что, когда они пущены в ход, — правильно или неправильно, безразлично, — они в суматохе несутся вперед, как угорелые, и, следуя вновь и вновь по одному и тому же пути, быстро обращают его в проторенную дорогу, ровную и гладкую, как садовая аллея, с которой, когда они к ней привыкнут, сам черт подчас не в силах их сбить.

— *Послушайте, дорогой,* — произнесла моя мать, — *вы не забыли завести часы?* — *Господи боже!* — воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой голос, — *бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким дурацким вопросом?* — Что же, скажите, разумел ваш батюшка? — — Ничего.

ГЛАВА II

— — Но я положительно не вижу ничего ни хорошего, ни дурного в этом вопросе. — — Но позвольте вам сказать, сэр, что он по меньшей мере был чрезвычайно неуместен, — потому что разогнал и рассеял жизненных духов, обязанностью которых было сопровождать *ГОМУНКУЛА*, идя с ним рука об руку, чтобы в целости доставить к месту, назначенному для его приема.

Гомункул, сэр, в каком бы жалком и смешном свете он ни представлялся в наш легкомысленный век взорам глупости и предубеждения, — на взгляд разума, при научном подходе к делу, признается *существом*, огражденным принадлежащими ему правами. — — Философы ничтожно малого, которые, к стати сказать, обладают наиболее широкими умами (так что душа их обратно пропорциональна их интересам), неопровержимо нам доказывают, что *гомункул* создан той же рукой, — повинуетя тем же законам природы, — наделен теми же свойствами и способностью к передвижению, как и мы; — — — что, как и мы, он состоит из кожи, волос, жира, мяса, вен, артерий, связок, нервов, хрящей, костей, костного и головного мозга, желез, половых органов, крови, флегмы, желчи и сочленений; — — — является существом столь же деятельным — и во всех отношениях точно таким же нашим ближним, как английский лорд-канцлер. Ему можно оказать услуги, можно его обидеть, — можно дать ему удовлетворение; словом, ему присущи все притязания и права, которые Туллий, Пуфендорф и лучшие писатели-моралисты признают вытекающими из человеческого достоинства и отношений между людьми.

А что, сэр, если в дороге с ним, одиноким, приключится какое-нибудь несчастье? — — или если от страха перед несчастьем, естественного в столь юном путешественнике, паренек мой достигнет места своего назначения в самом жалком виде, — — вконец измотав свою мышечную и мужскую силу, — приведя в

неописуемое волнение собственных жизненных духов, — и если в таком плачевном состоянии расстройства нервов он пролежит девять долгих, долгих месяцев сряду, находясь во власти внезапных страхов или мрачных сновидений и картин фантазии? Страшно подумать, какой богатой почвой послужило бы все это для тысячи слабостей, телесных и душевных, от которых потом не могло бы окончательно его вылечить никакое искусство врача или философа.

ГЛАВА III

Приведенным анекдотом обязан я моему дяде, мистеру Тоби Шенди, которому отец мой, превосходный натурфилософ, очень увлекавшийся тонкими рассуждениями о ничтожнейших предметах, часто горько жаловался на причиненный мне ущерб; в особенности же один раз, как хорошо помнил дядя Тоби, когда отец обратил внимание на странную косолапость (собственные его слова) моей манеры пускать волчок; разъяснив принципы, по которым я это делал, — старик покачал головой и тоном, выражавшим скорее огорчение, чем упрек, — сказал, что все это давно уже чужало его сердце и что как теперешнее, так и тысяча других наблюдений твердо его убеждают в том, что никогда я не буду думать и вести себя подобно другим детям. — *Но, увы!* — продолжал он, снова покачав головой и утирая слезу, катившуюся по его щеке, — *несчастья моего Тристрама начались еще за девять месяцев до его появления на свет.*

Моя мать, сидевшая рядом, подняла глаза, — но так же мало поняла то, что хотел сказать отец, как ее спина, — зато мой дядя, мистер Тоби Шенди, который много раз уже слышал об этом, понял отца прекрасно.

ГЛАВА IV

Я знаю, что есть на свете читатели, — как и множество других добрых людей, вовсе ничего не читающих, — которые до тех пор не успокоятся, пока вы их по посвятите от начала до конца в тайны всего, что вас касается.

Только во внимание к этой их прихоти и потому, что я по природе не способен обмануть чьи-либо ожидания, я и углу-

бился в такие подробности. А так как моя жизнь и мнения, вероятно, произведут некоторый шум в свете и, если предположения мои правильны, будут иметь успех среди людей всех званий, профессий и толков, — будут читаться не меньше, чем сам «Путь паломника», — пока им напоследок не выпадет участь, которой Монтень опасался для своих «Опытов», а именно — валяться на окнах гостиных, — то я считаю необходимым уделить немного внимания каждому по очереди и, следовательно, должен извиниться за то, что буду еще некоторое время следовать по избранному мной пути. Словом, я очень доволен, что начал историю моей жизни так, как я это сделал, и могу рассказывать в ней обо всем, как говорит Гораций, *ab ovo*.

Гораций, я знаю, не рекомендует этого приема; но почтенный этот муж говорит только об эпической поэме или о трагедии (забыл, о чем именно); — а если это, помимо всего прочего, и не так, прошу у мистера Горация извинения, — ибо в книге, к которой я приступил, я не намерен стеснять себя никакими правилами, будь то даже правила Горация.

А тем читателям, у которых нет желания углубляться в подобные вещи, я не могу дать лучшего совета, как предложить им пропустить остающуюся часть этой главы; ибо я заранее объявляю, что она написана только для людей пытливых и любознательных.

— — — — — Затворите двери. — — — — — Я был зачат в ночь с первого воскресенья на первый понедельник месяца марта, лета господня тысяча семьсот восемнадцатого. На этот счет у меня нет никаких сомнений. — А столь подробными сведениями относительно события, совершившегося до моего рождения, обязан я другому маленькому анекдоту, известному только в нашей семье, но ныне оглашаемому для лучшего уяснения этого пункта.

Надо вам сказать, что отец мой, который первоначально вел торговлю с Турцией, но несколько лет назад оставил дела, чтобы поселиться в родовом поместье в графстве *** и окончить там дни свои, — отец мой, полагаю, был одним из пунктуальнейших людей на свете во всем, как в делах своих, так и в развлечениях. Вот образчик его крайней точности, рабом которой он поистине был: уже много лет как он взял себе за правило в первый воскресный вечер каждого месяца, от начала и до конца года, — с такой же неукоснительностью, с какой наступал воскресный вечер, — собственноручно заводить большие часы, стоявшие у нас на верхней площадке черной лестницы. — А так как в пору, о которой я завел речь, ему шел шестой

десяток, — то он мало-помалу перенес на этот вечер также и некоторые другие незначительные семейные дела, чтобы, как он часто говаривал дяде Тоби, отделаться от них всех сразу и чтобы они больше ему не докучали и не беспокоили его до конца месяца.

Но в этой пунктуальности была одна неприятная сторона, которая особенно больно сказалась на мне и последствия которой, боюсь, я буду чувствовать до самой могилы, а именно: благодаря несчастной ассоциации идей, которые в действительности ничем между собой не связаны, бедная моя мать не могла слышать, как заводятся названные часы, — без того, чтобы ей сейчас же не приходили в голову мысли о кое-каких других вещах, — и *vice versa*¹. Это странное сочетание представлений, как утверждает проницательный Локк, несомненно понимавший природу таких вещей лучше, чем другие люди, породило больше нелепых поступков, чем какие угодно другие причины для недоразумений.

Но это мимоходом.

Далее, из одной заметки в моей записной книжке, лежащей на столе передо мной, явствует, что «в день Благовещения, приходившийся на 25-е число того самого месяца, которым я помечаю мое зачатие, отец мой отправился в Лондон с моим старшим братом Бобби, чтобы определить его в Вестминстерскую школу», а так как тот же источник свидетельствует, «что он вернулся к своей жене и семейству только на *второй неделе мая*», — то событие устанавливается почти с полной достоверностью. Впрочем, сказанное в начале следующей главы исключает на этот счет всякие сомнения.

— — — Но скажите, пожалуйста, сэр, что делал ваш папаша в течение всего декабря, января и февраля? — Извольте, мадам, — все это время у него был приступ ишиаса.

ГЛАВА V

Пятого ноября 1718 года, то есть ровно через девять календарных месяцев после вышеустановленной даты, с точностью, которая удовлетворила бы резонные ожидания самого придиричивого мужа, — я, *Тристрам Шенди*, джентльмен, по-

¹ Наоборот (*лат.*).

явился на свет на нашей шелудивой и злосчастной земле. — Я бы предпочел родиться на Луне или на какой-нибудь из планет (только не на Юпитере и не на Сатурне, потому что совершенно не переношу холода); ведь ни на одной из них (не поручусь, впрочем, за Венеру) мне заведомо не могло бы прийти хуже, чем на нашей грязной, дрянной планете, — которую я по совести считаю, чтобы не сказать хуже, сделанной из оскребков и обрезков всех прочих; — — она, правда, достаточно хороша для тех, кто на ней родился с большим именем или с большим состоянием или кому удалось быть призванным на общественные посты и должности, дающие почет или власть; — но это ко мне не относится; — — а так как каждый склонен судить о ярмарке по собственной выручке, — то я снова и снова объявляю землю дряннейшим из когда-либо созданных миров; — ведь, но чистой совести, могу сказать, что с той поры, как я впервые втянул в грудь воздух, и до сего часа, когда я едва в силах дышать вообще, по причине астмы, схваченной во время катанья на коньках против ветра во Фландрии, — я постоянно был игрушкой так называемой Фортуны; и хотя я не стану понапрасну пенять на нее, говоря, будто когда-нибудь она дала мне почувствовать тяжесть большого или из ряда вон выходящего горя, — все-таки, проявляя величайшую снисходительность, должен засвидетельствовать, что во все периоды моей жизни, на всех путях и перепутьях, где только она могла подступить ко мне, эта немилостивая владычица насылала на меня кучу самых прискорбных злослучений и невзгод, какие только выпадали на долю маленького *героя*.

ГЛАВА VI

В начале предыдущей главы я вам точно сообщил, *когда* я родился, — но я вам не сообщил, *как* это произошло. *Нет*; частность эта припасена целиком для отдельной главы; — кроме того, сэр, поскольку мы с вами люди в некотором роде совершенно чужие друг другу, было бы неудобно выложить вам сразу слишком много касающихся меня подробностей. — Вам придется чуточку потерпеть. Я затеял, видите ли, описать не только жизнь мою, но также и мои мнения, в надежде и в ожидании, что, узнав из первой мой характер и уяснив, что я за человек, вы почувствуете больше вкуса к последним. Когда вы

побудете со мною дольше, легкое знакомство, которое мы сейчас завязываем, перейдет в короткие отношения, а последние, если кто-нибудь из нас не сделает какой-нибудь оплошности, закончатся дружбой. — О *diem praeclarum!*¹ — тогда ни одна мелочь, если она меня касается, не покажется вам пустой или рассказ о ней — скучным. Поэтому, дорогой друг и спутник, если вы найдете, что в начале моего повествования я несколько сдержан, — будьте ко мненисходительны, — позвольте мне продолжать и вести рассказ по-своему, — и если мне случится время от времени порезвиться дорогой — или порой надеть на минутку-другую шутовской колпак с колокольчиком, — не убегайте, — но любезно вообразите во мне немного больше мудрости, чем то кажется с виду, — и смейтесь со мной или надо мной, пока мы будем медленно трусить дальше; словом, делайте что угодно, — только не теряйте терпения.

ГЛАВА VII

В той же деревне, где жили мои отец и мать, жила повивальная бабка, сухошавая, честная, заботливая, домовитая, добрая старуха, которая с помощью малой толики простого здравого смысла и многолетней обширной практики, в которой она всегда полагалась не столько на собственные усилия, сколько на госгожу Природу, — приобрела в своем деле немалую известность в свете; — только я должен сейчас же довести до сведения вашей милости, что словом *свет* я здесь обозначаю не весь круг большого света, а лишь вписанный в него маленький кружок около четырех английских миль в диаметре, центром которого служил домик нашей доброй старухи. — На сорок седьмом году жизни она осталась вдовой, без всяких средств, с тремя или четырьмя маленькими детьми, и так как была она в то время женщиной степенного вида, приличного поведения и я, — немногоречивой и к тому же возбуждавшей сострадание: безропотность, с которой она переносила свое горе, тем громче взывала к дружеской поддержке, — то над ней сжалилась жена приходского священника: последняя давно уже сетовала на неудобство, которое долгие годы приходилось терпеть пастве ее мужа, не имевшей возможности достать повивальную бабку,

¹ О славный день! (*лат.*).

даже в самом крайнем случае, ближе, чем за шесть или семь миль, каковые семь миль в темные ночи и при скверных дорогах, — местность кругом представляла сплошь вязкую глину, — обращались почти в четырнадцать, что было иногда равносильно полному отсутствию на свете всяких повивальных бабок; вот сердобольной даме и пришло на ум, каким было бы благодеянием для всего прихода и особенно для бедной вдовы немного подучить ее повивальному искусству, чтобы она могла им кормиться. А так как ни одна женщина поблизости не могла бы привести этот план в исполнение лучше, чем его составительница, то жена священника самоотверженно сама взялась за дело и, благодаря своему влиянию на женскую часть прихода, без особого труда довела его до конца. По правде говоря, священник тоже принял участие в этом предприятии и, чтобы устроить все как полагается, то есть предоставить бедной женщине законные права на занятие делом, которому она обучалась у его жены, — с большой готовностью заплатил судебные пошлины за патент, составившие в общем восемнадцать шиллингов и четыре пенса; так что с помощью обоих супругов добрая женщина действительно и несомненно была введена в обязанности своей должности со всеми связанными с нею *правами, принадлежностями и полномочиями какого бы то ни было рода.*

Эти последние слова, надо вам сказать, не совпадали со старинной формулой, по которой обыкновенно составлялись такие патенты, привилегии и свидетельства, до сих пор выдававшиеся в подобных случаях сословию повивальных бабок. Они следовали изящной формуле Дидия его собственного изобретения; чувствуя необыкновенное пристрастие ломать и создавать заново всевозможные вещи подобного рода, он не только придумал эту тонкую поправку, но еще и уговорил многих, давно уже дипломированных, матрон из окрестных мест вновь представить свои патенты для внесения в них своей выдумки.

Признаться, никогда подобные причуды Дидия не возбуждали во мне зависти, — но у каждого свой вкус. Разве для доктора Кунастрокия, этого великого человека, не было величайшим удовольствием на свете расчесывать в часы досуга ослиные хвосты и выдергивать зубами посевшие волосы, хотя в кармане у него всегда лежали щипчики? Да, сэр, если уж на то пошло, разве не было у мудрейших людей всех времен, не исключая самого Соломона, — разве не было у каждого из них своего *конька*: скаковых лошадей, — монет и ракушек,

барабанов и труб, скрипок, палитр, — — коконов и бабочек? — и покуда человек тихо и мирно скачет на своем *коньке* по большой дороге и не принуждает ни вас, ни меня сесть вместе с ним на этого конька, — — скажите на милость, сэр, какое вам или мне дело до этого?

ГЛАВА VIII

De gustibus non est disputandum¹, — это значит, что о *коньках* не следует спорить; сам я редко это делаю, да и не мог бы сделать пристойным образом, будь я даже их заклятым врагом; ведь и мне случается порой, в иные фазы луны, бывать и скрипачом и живописцем, смотря по тому, какая муха меня укусит; да будет вам известно, что я сам держу пару лошадок, на которых по очереди (мне все равно, кто об этом знает) частенько выезжаю погулять и подышать воздухом; — иногда даже, к стыду моему надо сознаться, я предпринимаю несколько более продолжительные прогулки, чем следовало бы на взгляд мудреца. Но все дело в том, что я не мудрец; — — и, кроме того, человек настолько незначительный, что совершенно не важно, чем я занимаюсь; вот почему я редко волнуюсь или кипячусь по этому поводу, и покой мой не очень нарушается, когда я вижу таких важных господ и высоких особ, как нижеследующие, — таких, например, как милорды А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П и так далее, всех подряд сидящими на своих различных коньках; — иные из них, отпустив стремяна, движутся важным размеренным шагом, — — другие, напротив, подогнув ноги к самому подбородку, с хлыстом в зубах, во весь опор мчатся, как пестрые жокеи-чертенята верхом на неприкаянных душах, — — точно они решили сломать себе шею. — Тем лучше, — говорю я себе; — ведь если случится самое худшее, свет отлично без них обойдется; — а что касается остальных, — — что ж, — — помоги им бог, — — пусть себе катаются, я им мешать не буду; ведь если их сиятельства будут выбиты из седла сегодня вечером, — — ставлю десять против одного, что до наступления утра многие из них окажутся верхом на еще худших конях.

Таким образом, ни одна из этих странностей не способна нарушить мой покой. — — Но есть случай, который, при-

¹ О вкусах не спорят (*лат.*).

знаться, меня смущает, — именно, когда я вижу человека, рожденного для великих дел и, что служит еще больше к его чести, по природе своей всегда расположенного делать добро; — когда я вижу человека, подобного вам, милорд, убеждения и поступки которого столь же чисты и благородны, как и его кровь, — и без которого по этой причине ни на мгновение не может обойтись развращенный свет; — когда я вижу, милорд, такого человека разъезжающим на своем коньке хотя бы минутой дольше срока, положенного ему моей любовью к родной стране и моей заботой о его славе, — то я, милорд, перестаю быть философом и в первом порыве благородного гнева посылаю к черту его конька со всеми коньками на свете.

Милорд,

Я утверждаю, что эти строки являются посвящением, несмотря на всю его необычайность в трех самых существенных отношениях: в отношении содержания, формы и отведенного ему места; прошу вас поэтому принять его как таковое и дозволить мне почтительнейше положить его к ногам вашего сиятельства, — если вы на них стоите, — что в вашей власти, когда вам угодно, — и что бывает, милорд, каждый раз, когда для этого представляется повод и, смею прибавить, всегда дает наилучшие результаты.

*Милорд,
вашего сиятельства покорнейший,
преданнейший
и низжайший слуга,*

Тристрам Шенди.

ГЛАВА IX

Торжественно довожу до всеобщего сведения, что вышеприведенное посвящение не предназначалось ни для какого принца, прелата, папы или государя, — герцога, маркиза, графа, виконта или барона нашей или другой христианской страны; — а также не продавалось до сих пор на улицах и не предлагалось ни великим, ни малым людям ни публично, ни частным образом, ни прямо, ни косвенно; но является подлинно девственным посвящением, к которому не прикасалась еще ни одна живая душа.

Я так подробно останавливаюсь на этом пункте просто для того, чтобы устранить всякие нарекания или возражения против способа, каким я собираюсь извлечь из него побольше выгоды, а именно — пустив его честно в продажу с публичного торга; что я теперь и делаю.

Каждый автор отстаивает себя по-своему; — что до меня, то я терпеть не могу торговаться и препираться из-за нескольких гиней в темных передних, — и с самого начала решил про себя действовать с великими мира сего прямо и открыто, в надежде, что я таким образом всего лучше преуспею.

Итак, если во владениях его величества есть герцог, маркиз, граф, виконт или барон, который бы нуждался в складном, изящном посвящении и которому подошло бы вышеприведенное (кстати сказать, если оно мало-мальски не подойдет, я его оставлю у себя), — оно к его услугам за пятьдесят гиней; — что, уверяю вас, на двадцать гиней дешевле, чем за него взял бы любой человек с дарованием.

Если вы еще раз внимательно его прочитаете, милорд, то убедитесь, что в нем вовсе нет грубой лести, как в других посвящениях. Замысел его, как видите, ваше сиятельство, превосходный, — краски прозрачные, — рисунок недурной, — или, если говорить более ученым языком — и оценивать мое произведение по принятой у живописцев 20-балльной системе, — то я думаю, милорд, что за контуры мне можно будет поставить 12, — за композицию 9, — за краски 6, — за экспрессию 13 с половиной, — а за замысел, — если предположить, милорд, что я понимаю свой замысел и что безусловно совершенный замысел оценивается цифрой 20, — я считаю, нельзя поставить меньше чем 19. Помимо всего этого — произведение мое отличается соответствием частей, и темные штрихи *конька* (который является фигурой второстепенной и служит как бы фоном для целого) чрезвычайно усиливают светлые тона, сосредоточенные на лице вашего сиятельства, и чудесно его оттеняют; — кроме того, на tout ensemble¹ лежит печать оригинальности.

Будьте добры, досточтимый милорд, распорядиться, чтобы названная сумма была выплачена мистеру Додсли для вручения автору, и я позабочусь о том, чтобы в следующем издании глава эта была вычеркнута, а титулы, отличия, гербы и добрые дела вашего сиятельства помещены были в начале предыдущей главы, которая целиком, от слов: *de gustibus non*

¹ На всем в целом (*франц.*).

est disputandum — вместе со всем, что говорится в этой книге о *коньках*, но не больше, должна рассматриваться как посвящение вашему сиятельству. — Остальное посвящаю я Луне, которая, кстати сказать, из всех мыслимых *патронов* или *матрон* наиболее способна дать книге моей ход и свести от нее с ума весь свет.

Светлая богиня,

если ты не слишком занята делами *Кандида* и мисс *Кунигунды*, — возьми под свое покровительство также *Тристрама Шенди*.

ГЛАВА X

Можно ли было считать хотя бы скромной заслугой помощь, оказанную повивальной бабке, и кому эта заслуга по праву принадлежала, — с первого взгляда представляется мало существенным для нашего рассказа; — — верно, однако же, то, что в то время честь эта была целиком приписана вышеупомянутой даме, жене священника. Но я, хоть убей, не могу отказаться от мысли, что и сам священник, пусть даже не ему первому пришел в голову весь этот план, — тем не менее, поскольку он принял в нем сердечное участие, как только был в него посвящен, и охотно отдал деньги, чтобы привести его в исполнение, — что священник, повторяю, тоже имел право на некоторую долю хвалы, — если только ему не принадлежала добрая половина всей чести этого дела.

Свету угодно было в то время решить иначе.

Отложите в сторону книгу, и я дам вам полдня сроку на сколько-нибудь удовлетворительное объяснение такого поведения света.

Извольте же знать, что лет за пять до так обстоятельно рассказанной вам истории с патентом повивальной бабки — священник, о котором мы ведем речь, сделал себя притчей во языцех окрестного населения, нарушив всякие приличия в отношении себя, своего положения и своего сана; — — он никогда не показывался верхом иначе, как на тощем, жалком одре, стоившем не больше одного фунта пятнадцати шиллингов; конь этот, чтобы сократить его описание, был вылитый брат *Росинанта* — так далеко простиралось между ними семейное сходство; ибо он решительно во всем подходил под описа-

ние коня ламанчского рыцаря, — с тем лишь различием, что, насколько мне помнится, нигде не сказано, чтобы *Росинант* страдал запалом; кроме того, *Росинант*, по счастливой привилегии большинства испанских коней, тучных и тощих, — был несомненно конем во всех отношениях.

Я очень хорошо знаю, что конь *героя* был конем целомудренным, и это, может быть, дало повод для противоположного мнения; однако столь же достоверно и то, что воздержание *Росинанта* (как это можно заключить из приключения с ингуасскими погонщиками) проистекало не от какого-нибудь телесного недостатка или иной подобной причины, но единственно от умеренности и спокойного течения его крови. — И позвольте вам заметить, мадам, что на свете сплошь и рядом бывает целомудренное поведение, в пользу которого вы больше ничего не скажете, как ни старайтесь.

Но как бы там ни было, раз я поставил себе целью быть совершенно беспристрастным в отношении каждой твари, выведенной на сцену этого драматического произведения, — я не мог умолчать об указанном различии в пользу коня Дон Кихота; — во всех прочих отношениях конь священника, повторяю, был совершенным подобием *Росинанта*, — эта тощая, эта сухопарая, эта жалкая кляча пришлась бы под стать самому *Смирению*.

По мнению кое-каких людей недалекого ума, священник располагал полной возможностью принарядить своего коня; — ему принадлежало очень красивое кавалерийское седло, подбитое зеленым плюшем и украшенное двойным рядом гвоздей с серебряными шляпками, да пара блестящих медных стремян и вполне подходящий чепрак первосортного серого сукна с черной каймой по краям, заканчивающейся густой черной шелковой бахромой, *poudré d'or*¹, — все это он приобрел в гордую весну своей жизни вместе с большой чеканной уздечкой, разукрашенной как полагается. — Но, не желая делать свою лошадь посмешищем, он повесил все эти побрякушки за дверь своего рабочего кабинета и благоразумно снабдил ее вместо них такой уздечкой и таким седлом, которые в точности соответствовали внешности и цене его скакуна.

Во время своих поездок в таком виде по приходу и в гости к соседним помещикам священник — вы это легко поймете — имел случай слышать и видеть довольно много вещей, которые не давали ржаветь его философии. Сказать по правде, он не

¹ С золотой ниткой (*франц.*).

мог показаться ни в одной деревне, не привлекая к себе внимания всех ее обитателей, от мала до велика. — Работа оставалась, когда он проезжал, — бадья повисала в воздухе на середине колодца, — прядка забывала вертеться, — даже игравшие в орлянку и в мяч стояли, разинув рот, пока он не скрывался из виду; а так как лошадь его была не из быстродходных, то обыкновенно у него было довольно времени, чтобы делать наблюдения — слышать ворчание людей серьезных — и смех легкомысленных, — и все это он переносил с невозмутимым спокойствием. — Таков уж был его характер, — от всего сердца любил он шутки, — а так как и самому себе он представлялся смешным, то говорил, что не может сердиться на других за то, что они видят его в том же свете, в каком он с такой непрерываемостью видит себя сам; вот почему, когда его друзья, знавшие, что любовь к деньгам не является его слабостью, без всякого стеснения потешались над его чудачеством, он предпочитал, — вместо того чтобы называть истинную причину, — хохотать вместе с ними над собой; и так как у него самого никогда не было на костях ни унции мяса и по части худобы он мог поспорить со своим конем, — то он подчас утверждал, что лошадь его как раз такова, какой заслуживает всадник; — что оба они, подобно кентавру, составляют одно целое. А иной раз и в ином расположении духа, недоступном соблазнам ложного остроумия, — священник говорил, что чахотка скоро сведет его в могилу, и с большой серьезностью уверял, что он без содрогания и сильнейшего сердцебиения не в состоянии взглянуть на откормленную лошадь и что он выбрал себе тощую клячу не только для сохранения собственного спокойствия, но и для поддержания в себе бодрости.

Каждый раз он давал тысячи новых забавных и убедительных объяснений, почему смиренная, запаленная кляча была для него предпочтительнее горячего коня: — ведь на такой кляче он мог беззаботно сидеть и размышлять *de vanitate mundi et fuga saeculi*¹ с таким же успехом, как если бы перед глазами у него находился череп; — мог проводить время в каких угодно занятиях, едучи медленным шагом, с такой же пользой, как в своем кабинете; — мог пополнить лишним доводом свою проповедь — или лишней дырой свои штаны — так же уверенно в своем седле, как в своем кресле, — между тем как быстрая рысь и медленное подыскание логических до-

¹ О суетности мира и быстротечности жизни (*лат.*).

водов являются движениями столь же несовместимыми, как остроумие и рассудительность. — Но на своем коне — он мог соединить и примирить все, что угодно, — мог предаться сочинению проповеди, отдаться мирному пищеварению и, если того требовала природа, мог также поддаться дремоте. — Словом, разговаривая на эту тему, священник ссылался на какие угодно причины, только не на истинную, — истинную же причину он скрывал из деликатности, считая, что она делает ему честь.

Истина же заключалась в следующем: в молодые годы, приблизительно в то время, когда были приобретены роскошное седло и уздечка, священник имел обыкновение или тщеславную прихоть, или назовите это как угодно, — впадать в противоположную крайность. — В местности, где он жил, о нем шла слава, что он любил хороших лошадей, и у него в конюшне обыкновенно стоял готовый к седлу конь, лучше которого не сыскать было во всем приходе. Между тем ближайшая повитуха, как я вам сказал, жила в семи милях от той деревни, и притом в бездорожном месте, — таким образом, не проходило недели, чтобы нашего бедного священника не потревожили слезной просьбой одолжить лошадь; и так как он не был жестокосерд, а нужда в помощи каждый раз была более острая и положение родильницы более тяжелое, — то, как он ни любил своего коня, все-таки никогда не в силах был отказать в просьбе; в результате конь его обыкновенно возвращался или с ободранными ногами, или с костным шпатом, или с подседом; — или надорванный, или с запалом, — словом, рано или поздно от животного оставались только кожа да кости; — так что каждые девять или десять месяцев священнику приходилось сбывать с рук плохого коня — и заменять его хорошим.

Каких размеров мог достигнуть убыток при таком балансе *communibus annis*¹, предоставляю определить специальному жюри из пострадавших при подобных же обстоятельствах; — но как бы он ни был велик, герой наш много лет нес его безропотно, пока, наконец, после многократного повторения несчастных случаев этого рода, не нашел нужным подвергнуть дело тщательному обсуждению; взвесив все и мысленно подсчитав, он нашел убыток не только несоразмерным с прочими своими расходами, но и независимо от них крайне тяжелым, лишавшим его всякой возможности творить другие добрые дела у себя в приходе. Кроме того, он пришел к выводу, что даже

¹ В течение года в среднем (*лат.*).

на половину проезженных таким образом денег можно было бы сделать в десять раз больше добра; — но еще гораздо важнее всех этих соображений, взятых вместе, было то, что теперь вся его благотворительность сосредоточена была в очень узкой области, притом в такой, где, по его мнению, в ней было меньше всего надобности, а именно: простиралась только на дето-производящую и деторождающую часть его прихожан, так что ничего не оставалось ни для бессильных, — ни для престарелых, — ни для множества безотрадных явлений, почти ежечасно им наблюдаемых, в которых сочетались бедность, болезни и горести.

По этим соображениям решил он прекратить расходы на лошадей, но видел только два способа начисто от них отделаться, — а именно: или поставить себе непреложным законом никогда больше не давать своего коня, невзирая ни на какие просьбы, — или же махнуть рукой и согласиться ездить на жалкой кляче, в которую обратили последнего его коня, со всеми ее болезнями и немощами.

Так как он не полагался на свою стойкость в первом случае, — то с радостным сердцем избрал второй способ, и хотя отлично мог, как выше было сказано, дать ему лестное для себя объяснение, — однако именно по этой причине брезгал прибегать к нему, готовый лучше сносить презрение врагов и смех друзей, нежели испытывать мучительную неловкость, рассказывая историю, которая могла бы показаться самовосхвалением.

Одна эта черта характера внушает мне самое высокое представление о деликатности и благородстве чувств почтенного священнослужителя; я считаю, что ее можно поставить наравне с самыми благородными душевными качествами бесподобного ламанчского рыцаря, которого, кстати сказать, я от души люблю со всеми его безумствами, и чтобы его посетить, совершил бы гораздо более далекий путь, чем для встречи с величайшим героем древности.

Но не в этом мораль моей истории: рассказывая ее, я имел в виду изобразить поведение света во всем этом деле. — Ибо вы должны знать, что, покуда такое объяснение сделало бы священнику честь, — ни одна живая душа до него не додумалась: — враги его, я полагаю, не желали, а друзья не могли. — — — Но стоило ему только принять участие в хлопотах о помощи повивальной бабке и заплатить пошлины за право заниматься практикой, — как вся тайна вышла наружу; все лошади, которых он потерял, да в придачу к ним еще две

лошади, которых он никогда не терял, и также все обстоятельства их гибели теперь стали известны наперечет и отчетливо припоминались. — Слух об этом распространился, как греческий огонь. — «У священника приступ прежней гордости; он снова собирается кататься на хорошей лошади; а если это так, то ясно как день, что уже в первый год он десятикратно покроет все издержки по оплате патента; — — каждый может теперь судить, с какими намерениями совершил он это доброе дело».

Каковы были его виды при совершении как этого, так и всех прочих дел его жизни — или, вернее, какого были об этом мнения другие люди — вот мысль, которая упорно держалась в его собственном мозгу и очень часто нарушала его покой, когда он нуждался в крепком сне.

Лет десять тому назад герою нашему посчастливилось избавиться от всяких тревог на этот счет, — как раз столько же времени прошло с тех пор, как он покинул свой приход, — — а вместе с ним и этот свет, — и явился дать отчет судье, на решения которого у него не будет никаких причин жаловаться.

Но над делами некоторых людей тяготеет какой-то рок. Как ни старайся, а они всегда проходят сквозь известную среду, которая настолько их преломляет и искажает истинное их направление, — — — что при всем праве на признательность, которую заслуживает прямодушие, люди эти все-таки вынуждены жить и умереть, не получив ее.

Горестным примером этой истины был наш священник... Но чтобы узнать, каким образом это случилось — и извлечь для себя урок из полученного знания, вам обязательно надо прочитать две следующие главы, в которых содержится очерк его жизни и суждений, заключающий ясную мораль. — Когда с этим будет покончено, мы намерены продолжать рассказ о повивальной бабке, если ничто нас не остановит по пути.

ГЛАВА XI

Йорик было имя священника, и, что всего замечательнее, как явствует из очень старинной грамоты о его роде, написанной на крепком пергаменте и до сих пор прекрасно сохранившейся, имя это писалось точно так же в течение почти — — я чуть было не сказал, девятисот лет, — — но я не

стану подрывать доверия к себе, сообщая столь невероятную, хотя и бесспорную истину, — и потому удовольствуюсь утверждением, — что оно писалось точно так же, без малейшего изменения или перестановки хотя бы одной буквы, с незапамятных времен; а я бы этого не решился сказать о половине лучших имен нашего королевства, которые с течением лет претерпевали обыкновенно столько же превратностей и перемен, как и их владельцы. — Происходило это от гордости или от стыда (означенных владельцев)? — По правде говоря, я думаю, что иногда от гордости, а иногда от стыда, смотря во тому, что ввело их в искушение. А в общем, это темное дело, и когда-нибудь оно так нас перемешает и перепутает, что никто не будет в состоянии встать и поклясться, что «человек, содежавший то-то и то-то, был его прадед».

От этого зла род Йорика с мудрой заботливостью надежно оградил себя благоговейным хранением означенной грамоты, которая далее сообщает нам, что род этот — датского происхождения и переселился в Англию еще в царствование датского короля Горвендилла, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность до самой своей смерти. Что это была за должность, грамота ничего не говорит; — она только прибавляет, что уже лет двести, как ее за полной ненадобностью упразднили не только при датском дворе, но и при всех других дворах христианского мира.

Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, — и что Йорик из Гамлета, трагедии нашего Шекспира, многие из пьес которого, вы знаете, основаны на достоверных документальных данных, — несомненно является этим самым Йориком.

Мне некогда заглянуть в Датскую историю Саксона Грамматика, чтобы проверить правильность всего этого; — но если у вас есть досуг и вам нетрудно достать книгу, вы можете это сделать ничуть не хуже меня.

В моем распоряжении при поездке по Дании со старшим сыном мистера Нодди, которого я сопровождал в 1741 году в качестве гувернера, обскакав с ним с головокружительной быстротой большинство стран Европы (об этом своеобразном путешествии, совершенном совместно, дан будет занимательнейший рассказ на дальнейших страницах настоящего произведения), — в моем распоряжении, повторяю, было при этой поездке лишь столько времени, чтобы удостовериться в справед-

ливости одного наблюдения, сделанного человеком, который долго прожил в той стране, — а именно, что «природа не была ни чрезмерно расточительна, ни чрезмерно скаредна, наделяя ее обитателей гениальными или выдающимися способностями; — но, подобно благоразумной матери, выказала умеренную щедрость к ним всем и соблюла такое равенство при распределении своих даров, что в этом отношении, можно сказать, привела их к одному знаменателю; таким образом, вы редко встретите в этом королевстве человека выдающихся способностей; но зато во всех сословиях найдете много доброго здравого смысла, которым никто не обделен», — что, по моему мнению, совершенно правильно.

У нас, вы знаете, дело обстоит совсем иначе; — все мы представляем противоположные крайности в этом отношении; — вы либо великий гений — либо, пятьдесят против одного, сэр, вы набитый дурак и болван; — не то чтобы совершенно отсутствовали промежуточные ступени, — нет, — мы всё же не настолько беспорядочны; — однако две крайности — явление более обычное и чаще встречающееся на нашем неустроенном острове, где природа так своенравно и капризно распределяет свои дары и задатки; даже удача, посещая нас своими милостями, действует не более прихотливо, чем она.

Это единственное обстоятельство, когда-либо колебавшее мою уверенность относительно происхождения Йорика; в жилах этого человека, насколько я его помню и согласно всем сведениям о нем, какие мне удалось раздобыть, не было, по-видимому, ни капли датской крови; очень возможно, что за девятьсот лет вся она улетучилась: — не хочу теряться в праздных домыслах по этому поводу; ведь отчего бы это ни случилось, а факт был тот — что вместо холодной флегмы и правильного соотношения здравого смысла и причуд, которые вы ожидали бы найти у человека с таким происхождением, — он, напротив, отличался такой подвижностью и легковесностью, — казался таким чудаком во всех своих повадках, — столько в нем было жизни, прихотей и *gaieté de cœur*¹, что лишь самый благодатный климат мог бы все это породить и собрать вместе. Но при таком количестве парусов бедный Йорик не нес ни одной унции балласта; он был самым неопытным человеком в практических делах; в двадцать шесть лет у него было ровно столько же умения править рулем в житейском море, как у шаловливой тринадцатилетней девочки, не подо-

¹ Своенравности (*франц.*).

зревающей ни о каких опасностях. Таким образом, в первое же плавание свежий ветер его воодушевления, как вы легко можете себе представить, гнал его по десяти раз в день на чей-нибудь чужой такелаж; а так как чаще всего на пути его оказывались люди степенные, люди, никуда не спешившие, то, разумеется, злой рок чаще всего сталкивал его именно с такими людьми. Насколько мне известно, в основе подобных fracas¹ лежало обыкновенно какое-нибудь злополучное проявление остроумия; — ибо, сказать правду, Йорик от природы чувствовал непреодолимое отвращение и неприязнь к строгости; — не к строгости как таковой; — когда надо было, он бывал самым строгим и самым серьезным из смертных по целым дням и неделям сряду; — но он терпеть не мог напускной строгости и вел с ней открытую войну, если она являлась только плащом для невежества или слабоумия; в таких случаях, попадись она на его пути под каким угодно прикрытием и покровительством, он почти никогда не давал ей спуска.

Иногда он говорил со свойственным ему безрассудством, что строгость — отъявленная пройдоха, прибавляя: — и опасная к тому же, — так как она коварна; — по его глубокому убеждению, она в один год выманивает больше добра и денег у честных и благонамеренных людей, чем карманные и лавочные воры в семь лет. — Открытая душа весельчака, — говорил он, — не таит в себе никаких опасностей, — разве только для него самого; — между тем как самая сущность строгости есть задняя мысль и, следовательно, обман; — это старая уловка, при помощи которой люди стремятся создать впечатление, будто у них больше ума и знания, чем есть на самом деле; несмотря на все свои претензии, — она все же не лучше, а зачастую хуже того определения, которое давно уже дал ей один французский остроумец, — а именно: строгость — это уловка, изобретенная для тела, чтобы скрыть изъяны ума; — это определение строгости, — говорил весьма опростетливо Йорик, — заслуживает начертания золотыми буквами.

Но, говоря по правде, он был человек неискушенный и неопытный в свете и с крайней неосторожностью и легкомыслием касался в разговоре также и других предметов, относительно которых доводы благоразумия предписывают соблюдать сдержанность. Но для Йорика единственным доводом было существо дела, о котором шла речь, и такие доводы он обыкновенно

¹ Сумятица (франц.).

венно переводил без всяких обиняков на простой английский язык, — весьма часто при этом мало считаясь с лицами, временем и местом; — таким образом, когда заговаривали о каком-нибудь некрасивом и неблагородном поступке, — он никогда ни секунды не задумывался над тем, кто герой этой истории, — какое он занимает положение, — или насколько он способен повредить ему впоследствии; — но если то был грязный поступок, — без околичностей говорил: — «такой-то и такой-то грязная личность», — и так далее. — И так как его замечания обыкновенно имели несчастье либо заканчиваться каким-нибудь *bon mot*¹, либо приправляться каким-нибудь шутивным или забавным выражением, то опрометчивость Йорика разносилась на них, как на крыльях. Словом, хотя он никогда не искал (но, понятно, и не избегал) случаев говорить то, что ему взбредет на ум, и притом без всякой церемонии, — в жизни ему представлялось совсем не мало искушений расточать свое остроумие и свой юмор, — свои насмешки и свои шутки. — Они не погибли, так как было кому их подбирать.

Что отсюда последовало и какая катастрофа постигла Йорика, вы прочтете в следующей главе.

ГЛАВА XII

Закладчик и заимодавец меньше отличаются друг от друга вместиельностью своих кошельков, нежели *насмешник* и *осмеянный* вместиельностью своей памяти. Но вот в чем сравнение между ними, как говорят схолиасты, идет на всех четырех (что, кстати сказать, на одну или две ноги больше, чем могут похвастать некоторые из лучших сравнений Гомера): — один добывает за ваш счет деньги, другой возбуждает на ваш счет смех, и оба об этом больше не думают. Между тем проценты в обоих случаях идут и идут; — периодические или случайные выплаты их лишь освежают память о содеянном, пока наконец, в недобрый час, — вдруг является к тому и другому заимодавец и своим требованием немедленно вернуть капитал вместе со всеми выросшими до этого дня процентами дает почувствовать обоим всю широту их обязательств.

¹ Остротой (*франц.*).

Так как (я ненавижу ваши *если*) читатель обладает основным знанием человеческой природы, то мне незачем распространяться о том, что мой герой, оставаясь неисправимым, не мог не слышать время от времени подобных напоминаний. Сказать по правде, он легкомысленно запутался во множестве мелких долгов этого рода, на которые, вопреки многократным предостережениям *Евгения*, не обращал никакого внимания, считая, что, поскольку делал он их не только без всякого злого умысла, — но, напротив, от чистого сердца и по душевной простоте, из желания весело посмеяться, — все они со временем преданы будут забвению.

Евгений никогда с этим не соглашался и часто говорил своему другу, что рано или поздно ему непременно придется за все расплатиться, и притом, — часто прибавлял он с горестным опасением, — до последней полушки. На это Йорик со свойственной ему беспечностью обыкновенно отвечал: — ба! — и если разговор происходил где-нибудь в открытом поле, — прыгал, скакал, плясал, и тем дело кончалось; но если они беседовали в тесном уголке у камина, где преступник был наглухо забаррикадирован двумя креслами и столом и не мог так легко улизнуть, — Евгений продолжал читать ему нотацию об осмотрительности приблизительно в таких словах, только немного более складно:

«Поверь мне, дорогой Йорик, эта беспечная шутливость рано или поздно вовлечет тебя в такие затруднения и неприятности, что никакое запоздалое благоразумие тебе потом не поможет. — Эти выходки, видишь, очень часто приводят к тому, что человек осмеянный считает себя человеком оскорбленным, со всеми правами, из такого положения для него вытекающими; представь себе его в этом свете, да пересчитай его приятелей, его домочадцев, его родственников, — и прибавь сюда толпу людей, которые соберутся вокруг него из чувства общей опасности; — так вовсе не будет преувеличением сказать, что па каждые десять шуток — ты приобрел сотню врагов; по тебе этого мало: пока ты не переполошишь рой ос и они тебя не пережалат до полусмерти, ты, очевидно, не успокоишься.

«Я ни капли не сомневаюсь, что в этих шутках уважаемого мной человека не заключено ни капли желчи или злонамеренности, — — — я считаю, знаю, что они идут от чистого сердца и сказаны были только для смеха. — Но ты пойми, дорогой мой, что глупцы не видят этого различия, — а негодяи не хотят закрывать на него глаза, и ты не представляешь, что значит рассердить одних или поднять на смех других: — стоит

им только объединиться для совместной защиты, и они поведут против тебя такую войну, дружище, что тебе станет тошно и ты жизни не рад будешь.

«Мечь пустит из отравленного угла позорящий тебя слух, которого не опровергнут ни чистота сердца, ни самое безупречное поведение. — Благополучие дома твоего пошатнется, — твое доброе имя, на котором оно основано, истечет кровью от тысячи ран, — твоя вера будет подвергнута сомнению, — твои дела обречены на поругание, — твое остроумие будет забыто, — твоя ученость втоптана в грязь. А для финала этой твоей трагедии *Жестокость* и *Трусость*, два разбойника-близнеца, нанятых *Злобой* и подсланных к тебе в темноте, сообща накинутся на все твои слабости и промахи. — Лучшие из нас, милый мой, против этого беззащитны, — и поверь мне, — поверь мне, Йорик, когда в угоду личной мести приносится в жертву невинное и беспомощное существо, то в любой чаше, где оно заблудилось, нетрудно набрать хворосту, чтобы развести костер и сжечь его на нем».

Когда Йорик слушал это мрачное пророчество о грозящей ему участи, глаза его обыкновенно увлажнились и во взгляде появлялось обещание, что отныне он будет ездить на своей лошадке осмотрительнее. — Но, увы, слишком поздно! — Еще до первого дружеского предостережения против него составилась большая заговор в главе с*** и с****. — Атака, совсем так, как предсказывал Евгений, была предпринята внезапно и при этом с такой беспощадностью со стороны объединившихся врагов — и так неожиданно для Йорика, вовсе и не подозревавшего о том, какие козни против него замышляются, — что в ту самую минуту, когда этот славный, беспечный человек рассчитывал на повышение по службе, — враги подрубили его под корень, и он пал, как это много раз уже случалось до него с самыми достойными людьми.

Все же некоторое время Йорик сражался самым доблестным образом, но наконец, сломленный численным перевесом и обессиленный тяготами борьбы, а еще более — предательским способом ее ведения, — бросил оружие, и хотя с виду он не терял бодрости до самого конца, все-таки, по общему мнению, умер, убитый горем.

Евгений также склонялся к этому мнению, и по следующей причине:

За несколько часов перед тем, как Йорик испустил последний вздох, Евгений вошел к нему с намерением в последний раз взглянуть на него и сказать ему последнее прости.

Когда он отдернул полог и спросил Йорика, как он себя чувствует, тот посмотрел ему в лицо, взял его за руку — и, поблагодарив его за многие знаки дружеских чувств, за которые, по словам Йорика, он снова и снова будет его благодарить, — если им суждено будет встретиться на том свете, — сказал, что через несколько часов он навсегда ускользнет от своих врагов... — Надеюсь, что этого не случится, — отвечал Евгений, заливаясь слезами и самым нежным голосом, каким когда-нибудь говорил человек, — надеюсь, что не случится, Йорик, — сказал он. — Йорик возразил взглядом, устремленным кверху, и слабым пожатием руки Евгения, и это было все, — но Евгений был поражен в самое сердце. — Полно, полно, Йорик, — проговорил Евгений, утирая глаза и пытаясь ободриться, — будь покоен, дорогой друг, — пусть мужество и сила не оставляют тебя в эту тяжелую минуту, когда ты больше всего в них нуждаешься; — кто знает, какие средства есть еще в запасе и чего не в силах сделать для тебя всемогущество божие!.. — Йорик положил руку на сердце и тихонько покачал головой. — А что касается меня, — продолжал Евгений, горько заплакав при этих словах, — то, клянусь, я не знаю, Йорик, как перенесу разлуку с тобой, — и я льщу себя надеждой, — продолжал Евгений повеселевшим голосом, — что из тебя еще выйдет епископ — и что я увижу это собственными глазами. — Прошу тебя, Евгений, — проговорил Йорик, кое-как снимая ночной колпак левой рукой, — правая его рука была еще крепко зажата в руке Евгения, — прошу тебя, взгляни на мою голову... — Я не вижу на ней ничего особенного, — отвечал Евгений. — Так позволь сообщить тебе, мой друг, — промолвил Йорик, — что она, увы! настолько помята и изуродована ударами, которые ***, **** и некоторые другие обрушили на меня в темноте, что я могу сказать вместе с Санчо Пансой: «Если бы даже я поправился и на меня градом посыпались с неба митры, ни одна из них не пришлась бы мне впору». — — Последний вздох готов был сорваться с дрожащих губ Йорика, когда он произносил эти слова, — а все-таки в тоне, каким они были произнесены, заключалось нечто сервантесовское: — и когда он их говорил, Евгений мог заметить мерцающий огонек, на мгновение загоревшийся в его глазах, — бледное отражение тех былых вспышек веселья, от которых (как сказал Шекспир о его предке) всякий раз хохотал весь стол!

Евгений вынес из этого убеждение, что друг его умирает, убитый горем: он пожал ему руку — и тихонько вышел из

комнаты, весь в слезах. Йорик проводил Евгения глазами до двери, — потом их закрыл — и больше уже не открывал.

Он покоится у себя на погосте, в приходе, под гладкой мраморной плитой, которую друг его Евгений, с разрешения душеприказчиков, водрузил на его могиле, сделав на ней надпись всего из трех слов, служащих ему вместе и эпитафией и элегией:

УВЫ, БЕДНЫЙ ЙОРИК!

Десять раз в день дух Йорика получает утешение, слыша, как читают эту надгробную надпись на множество различных жалобных ладов, свидетельствующих о всеобщем сострадании и уважении к нему: — тропинка пересекает погост у самого края его могилы, — и каждый, кто проходит мимо, невольно останавливается, бросает на нее взгляд — и вздыхает, продолжая свой путь:

Увы, бедный Йорик!

ГЛАВА XIII

Читатель этого рапсодического произведения так давно уже расстался с повивальной бабкой, что пора наконец возвратиться к ней, напомнить ему о существовании этой особы, ибо по зрелом рассмотрении моего плана, как он мне рисуется сейчас, — я решил познакомить его с ней раз и навсегда; — ведь может возникнуть какая-нибудь новая тема или случиться неожиданное дело у меня с читателем, не терпящее отлагательств, — как же не позаботиться о том, чтобы бедная женщина тем временем не затерялась? — тем более что, когда она понадобится, мы никоим образом без нее не обойдемся.

Кажется, я вам сказал, что эта почтенная женщина пользовалась в нашей деревне и во всем нашем околотке большим весом и значением, — что слава ее распространилась до самых крайних пределов и границ той сферы влияния, которую описывает вокруг себя каждая живая душа, — безразлично: имеет она на теле рубашку или не имеет, — каковую сферу, кстати сказать, когда речь заходит об особах с большим весом и влиянием в свете, — вы вольны расширять или суживать по

усмотрению вашей милости, в общей зависимости от положения, рода занятий, познаний, способностей, высоты и глубины (и ту и другую вы можете измерять) выведенного перед вами лица.

В настоящем случае, насколько мне помнится, я называл цифру в четыре или пять миль, не только весь приход в целом, но и примыкающие к нему два-три поселка соседнего прихода; что в общем составляет вещь внушительную. Я должен прибавить, что эта почтенная женщина была очень хорошо принята на одной большой мызе и еще в нескольких домах и фермах, расположенных, как я сказал, в двух или трех милях от собственной дымовой трубы. — Но я хочу здесь раз и навсегда объявить вам, что все это будет точнее обозначено и пояснено на карте, над которой в настоящее время работает гравер и которая, вместе со множеством других материалов и дополнений к этому произведению, помещена будет в конце двадцатого тома, — не для того чтобы сделать более объемистой мою работу, — мне противно даже думать об этом; — но в качестве комментария, схолий и иллюстраций, в качестве ключа к таким местам, эпизодам или намекам, которые покажутся либо допускающими различное толкование, либо темными и сомнительными, когда моя жизнь и мои мнения будут читаться всем светом (прошу не забывать, в каком значении здесь берется это слово); — на что, говоря между нами, вопреки господам критикам Великобритании и вопреки всему, что их милостям вздумается написать или сказать против этого, — я твердо рассчитываю. — Мне нет надобности говорить вашей милости, что все это говорится здесь сугубо конфиденциально.

ГЛАВА XIV

Просматривая брачный договор моей матери, чтобы уяснить себе и читателю один пункт, который непременно должен быть правильно понят, иначе мы не можем приступить к продолжению этой истории, — я, по счастью, натолкнулся как раз на то, что мне было нужно, затратив всего лишь полтора дня на беглое чтение, — ведь эта работа могла отнять у меня целый месяц; — из чего можно заключить, что когда человек садится писать историю, — хотя бы то была лишь история Счастливого Джека или Мальчика с пальчик, он не больше, чем его пятки,

знает, сколько помех и сбивающих с толку препятствий встретится ему на пути, — или какие мытарства ожидают его при том или ином отклонении в сторону, прежде чем он благополучно доберется до конца. Если бы историограф мог погонять свою историю, как погонщик погоняет своего мула, — все вперед да вперед, — ни разу, например, от Рима до Лоретто не повернув головы ни направо, ни налево, — он мог бы тогда решиться с точностью предсказать вам час, когда будет достигнута цель его путешествия. — Но это, честно говоря, неосуществимо; ведь если в нем есть хоть искорка души, ему не избежать того, чтобы раз пятьдесят не свернуть в сторону, следуя за той или другой компанией, подвернувшейся ему в пути, заманчивые виды будут притягивать его взор, и он так же не в силах будет удержаться от соблазна полюбоваться ими, как он не в силах полететь; кроме того, ему придется

согласовывать различные сведения,
разбирать надписи,
собирать анекдоты,
вплетать истории,
просеивать предания,
делать визиты (к важным особам),
наклеивать панегирики на одних дверях и
пасквили на других, — —

между тем как и погонщик и его мул от всего этого совершенно избавлены. Словом, на каждом перегоне есть архивы, которые необходимо обследовать, свитки, грамоты, документы и бесконечные родословные, изучения которых поминутно требует справедливость. Короче говоря, этому нет конца; — —

что касается меня, то довожу до вашего сведения, что я занят всем этим уже шесть недель и выбиваюсь из сил, — а все еще не родился. — Я удосужился всего-навсего сказать вам, когда это случилось, но еще не сказал, как; — таким образом, вы видите, что всё еще впереди.

Эти непредвиденные задержки, о которых, признаться, я и не подозревал, когда отправлялся в путь, — хотя, как я в этом убежден теперь, они, скорее, будут умножаться, нежели уменьшаться по мере моего продвижения вперед, — эти задержки подсказали мне одно правило, которого я решил держаться, — а именно — не спешить, — но идти тихим шагом, сочиняя и выпуская в свет по два тома моего жизнеописания в год; — — и, если мне ничто не помешает и удастся заключить сносный договор с книгопродавцем, я буду продолжать эту работу до конца дней моих.

ГЛАВА XV

Статья брачного договора, которую, как уже сказано читателю, я взял на себя труд отыскать, и теперь, когда она найдена, хочу ему представить, — изложена в самом документе куда более обстоятельно, чем это мог бы когда-нибудь сделать я сам, и было бы варварством выхватить ее из рук сочинившего ее законника. — Вот она от слова до слова.

*«И договор сей удостоверяет далее, что упомянутый Вальтер Шенди, купец, в уважение упомянутого предположенного брака, с божьего благословения имеющего быть честно и добросовестно справленным и учиненным между упомянутым Вальтером Шенди и Елизаветой Моллине, упомянутой выше, и по разным другим уважительным и законным причинам и соображениям, его к тому особо побуждающим, — допускает, договаривается, признает, одобряет, обязуется, рядится и совершенно соглашается с вышеназванными опекунами Джоном Диксоном и Джемсом Тернером, эсквайрами и т. д. и т. д., — в том, — что в случае, если впоследствии так произойдет, выйдет, случится или каким-либо образом окажется, — что упомянутый, Вальтер Шенди, купец, оставив свое дело до того времени или срока, когда упомянутая Елизавета Моллине, согласно естественному ходу вещей или по другим причинам, перестанет вынашивать и рожать детей, — и что, вследствие оставления таким образом своего дела, упомянутый Вальтер Шенди, вопреки и против добровольного согласия и желания упомянутой Елизаветы Моллине, — выедет из города Лондона с целью обосноваться и поселиться в своем поместье Шенди-Холл, в графстве *** или в каком-нибудь другом сельском жилище, замке, господском или ином доме, в усадьбе или на мызе, уже приобретенных или имеющих быть приобретенными впоследствии, или на какой-нибудь части или площади последних, — что тогда, каждый раз, когда упомянутой Елизавете Моллине случится забеременеть младенцем или имеющими быть зачатыми в утробе упомянутой Елизаветы Моллине в продолжение упомянутого замужества младенцами, — оный упомянутый Вальтер Шенди должен будет на свой собственный счет и средства и из собственных своих денег, по надлежащем и своевременном уведомлении, каковое должно быть сделано за полных шесть недель до предположительно исчисляемого срока разрешения от бремени упомянутой Елизаветы Моллине, — уплатить*

или распорядиться об уплате суммы в сто двадцать фунтов полноценной и имеющей законное хождение монетой Джону Диксону и Джемсу Тернеру, эсквайрам, или их уполномоченным, — на веру и совесть, для нижеследующих нужд и целей, употребления и применения: — то есть — дабы названная сумма в сто двадцать фунтов вручена была упомянутой Елизавете Моллине или другим способом употреблена оными упомянутыми опекунами для честного и добросовестного найма почтовой кареты с надлежащими и пригодными лошадьми, дабы довести и доставить особу упомянутой Елизаветы Моллине с младенцем или младенцами, коими она будет тогда тяжела и беременна, — в город Лондон; и для дальнейших уплат и покрытия всех других могущих возникнуть издержек, расходов и трат какого бы ни было рода — для, ради, по поводу и относительно упомянутого предполагаемого ее разрешения от бремени и родов в названном городе или его предместьях. И дабы упомянутая Елизавета Моллине время от времени, всякий раз и столько раз, как здесь условлено и договорено, — мирно и спокойно нанимала или могла нанять упомянутую карету и лошадей, а также имела или могла иметь в продолжение всего своего путешествия свободный вход, выход и вход обратно в упомянутую карету и из оной, согласно общему содержанию, истинному намерению и смыслу настоящего договора, без каких бы то ни было помех, возражений, придинок, беспокойств, докук, отказов, препятствий, взысканий, лишений, притеснений, преград и затруднений. — И дабы сверх того упомянутой Елизавете Моллине законно разрешалось время от времени, всякий раз и столько раз, как упомянутая ее беременность истинно и доподлинно подходит будет к выше установленному и оговоренному сроку, — останавливаться и жить в таком месте или в таких местах, в таком семействе или в таких семействах и с такими родственниками, знакомыми и другими лицами в пределах названного города Лондона, как она, по собственной своей воле и желанию, невзирая на ее нынешнее замужество, словно бы она была *femme sole*¹ и незамужняя, — сочтет для себя подходящим. — *И договор сей удостоверяет далее, что в обеспечение точного использования настоящего соглашения упомянутый Вальтер Шенди, купец, сим уступает, предоставляет, продает, передает и препоручает упомянутым Джону Диксону и Джемсу Тернеру, эсквайрам, их наследни-*

¹ Женщина, независимая от своего мужа в отношении имущественном (*франц.*).

кам, душеприказчикам и уполномоченным в их действительное владение в силу заключенной ныне на сей предмет между оными упомянутыми Джоном Диксоном и Джемсом Тернером, эсквайрами, и оным упомянутым Вальтером Шенди, купцом, сделки о купле-продаже сроком на один год, каковая сделка, сроком на один год, заключена накануне числа, коим помечен настоящий договор, в силу и на основании статута о передаче права пользования, — *все поместья и владения Шенди в графстве ****, со всеми правами, статьями и полномочиями; со всеми усадьбами, домами, постройками, амбарами, конюшнями, фруктовыми садами, цветниками, задними дворами, огородами, пустырями, домами фермеров, пахотными землями, лугами, поймами, пастбищами, болотами, выгонами, лесами, перелесками, канавами, топями, прудами и ручьями, — а также со всеми рентами, выморочными имуществами, сервитутами, повинностями, пошлинами, оброками, с рудниками и каменоломнями, с движимостью и недвижимостью преступников и беглых, самоубийц и преданных суду, с конфискованным в пользу бедных имуществом, с заповедниками и со всеми прочими прерогативами и сеньориальными правами и юрисдикцией, привилегиями и наследствами, как бы они ни назывались, — — *а также* с правом патроната, дарения и замещения должности приходского священника и свободного распоряжения церковным домом и всеми церковными доходами, десятинами и землями». — В двух словах: — — — Моя мать могла (если бы пожелала) рожать в Лондоне.

Но для предотвращения каких-либо неблагоприятных действий со стороны моей матери, для которых эта статья брачного договора явно открывала возможность и о которых никто бы и не подумал, не будь моего дяди, Тоби Шенди, — добавлена была клаузула в ограждение прав моего отца, которая гласила: — «что если моя мать когда-нибудь потревожит моего отца и введет его в расходы на поездку в Лондон по ложным мотивам и жалобам, — — то в каждом таком случае она лишается всех прав а преимуществ, предоставляемых ей этим соглашением, — для ближайших родов, — — но не больше; — и так далее, *toties quoties*¹, — совершенно и безусловно, — как если бы подобного рода соглашение между ними и вовсе не было заключено». — Оговорка эта, кстати сказать, была вполне разумна, — и все-таки, несмотря на ее разумность, я всегда

¹ Сколько бы раз это ни повторялось (*лат.*).

считал жестоким, что волею обстоятельств всей тяжестью она обрушилась на меня.

Но я был зачат и родился на горе себе; — был ли то ветер или дождь, — или сочетание того и другого, — или ни то, ни другое, были ли то попросту не в меру разыгравшиеся фантазия и воображение моей матери, — а может быть, она была сбита с толку сильным желанием, чтобы это случилось, — словом, была ли тут бедная моя мать обманутой или обманщицей, никоим образом не мне об этом судить. Факт был тот, что в конце сентября 1717 года, то есть за год до моего рождения, моя мать увлекла моего отца, наперекор его желанию, в столицу, — и он теперь категорически потребовал соблюдения клаузулы. — Таким образом, я обречен был брачным договором моих родителей носить настолько приплюснутый к лицу моему нос, как если бы Парки свили меня вовсе без носа.

Как это произошло — и какое множество досадных огорчений меня преследовало на всех поприщах моей жизни лишь по причине утраты или, вернее, изувеченья названного органа — обо всем этом в свое время будет доложено читателю.

ГЛАВА XVI

Легко себе представить, в каком раздраженном состоянии отец мой возвращался с матерью домой в деревню. Первые двадцать или двадцать пять миль он ничего другого не делал, как только изводил и донимал себя, — и мою мать, разумеется я, — жалобами на эту проклятую трату денег, которые, говорил он, можно было бы сберечь до последнего шиллинга; — но что больше всего его огорчало, так это избранное ею возмутительно неудобное время года, — стоял, как уже было сказано, конец сентября, самая пора снимать шпалерные фрукты, в особенности же зеленые сливы, которыми он так интересовался: — «Замани его кто-нибудь в Лондон по самому пустому делу, но только в другом месяце, а не в сентябре, он бы слова не сказал».

На протяжении двух следующих станций единственной темой разговора был тяжелый удар, нанесенный ему потерей сына, на которого он, по-видимому, твердо рассчитывал и которого занес даже в свою памятную книгу в качестве второй опоры себе под старость на случай, если бы Бобби не оправдал его надежд. «Это разочарование, — говорил он, — для умного че-

ловека в десять раз ощутительнее, чем все деньги, которых стоила ему поездка, и т. д.; — сто двадцать фунтов — пустяки, дело не в них».

Всю дорогу от Стилтона до Грентама ничто его в этой истории так не раздражало, как соболезнования приятелей и дурацкий вид, который будет у него с женой в церкви в ближайшее воскресенье; — в своем сатирическом неистовстве, вдобавок еще подогретом досадой, он так забавно и зло это изображал, — он рисовал свою дражайшую половину и себя в таком неприглядном свете, ставил в такие мучительные положения перед всеми прихожанами, — что моя мать называла потом две эти станции поистине трагикомическими, и всю эту часть дороги, от начала до конца, ее душили смех и слезы.

От Грентама и до самой переправы через Трент отец мой рвал и метал по поводу обмана моей матери и скверной шутки, которую, как он считал, она сыграла с ним в этом деле. — «Разумеется, — твердил он снова и снова, — эта женщина не могла ошибиться; — а если могла, — — какая слабость!» — — Убийственное слово! оно увлекло его воображение на тернистый путь и, прежде чем он выпутался, доставило ему большие неприятности; — — ибо едва только слово *слабость* было произнесено и вполне им осмыслено — во всем его значении, как тотчас начались бесконечные рассуждения о том, какие существуют виды слабости — — что наряду со слабостью ума существует такая вещь, как слабость тела, — после чего он на протяжении одного или двух перегонов был весь погружен в размышления о том, в какой мере причина всех этих тревожных дел могла, или не могла, заключаться в нем самом.

Короче говоря, эта несчастная поездка явилась для него источником такого множества беспокойных мыслей, что если дорога в Лондон и доставила удовольствие моей матери, то возвращение домой оказалось для нее не из приятных. — — Словом, как она жаловалась моему дяде Тоби, муж ее истощил бы и ангельское терпение.

ГЛАВА XVII

Хотя отец мой ехал домой, как вы видели, далеко не в лучшем расположении духа, — негодовал и возмущался всю дорогу, — все-таки у него достало такта затаить про себя самую неприятную часть всей этой истории, — а именно: принятое им решение отыграться, воспользовавшись правом, которое ему

давала оговорка дяди Тоби в брачном договоре; и до самой ночи, в которую я был зачат, что случилось тринадцать месяцев спустя, мать моя ровно ничего не знала о его замысле; — ибо только в ту ночь мой отец, который, как вы помните, немало рассердился и был не в духе, — воспользовался случаем, когда они потом чинно лежали рядом на кровати, разговаривая о предстоящем, — и предупредил мою мать, что пусть устраивается как знает, а только придется ей соблюсти соглашение, заключенное между ними в брачном договоре, а именно — рожать следующего ребенка дома, чтобы расквитаться за прошлогоднюю поездку.

Отец мой обладал многими добродетелями, — но его характеру была в значительной мере присуща черта, которую иногда можно, а иногда нельзя причислить к добродетелям. — Она называется твердостью, когда проявляется в хорошем деле, — и упрямством — в худом. Моя мать была превосходно о ней осведомлена и знала, что никакие протесты не приведут ни к чему, — поэтому она решила покорно сидеть дома и смириться.

ГЛАВА XVIII

Так как в ту ночь было условлено или, вернее, определено, что моя мать должна была разрешиться мною в деревне, то она приняла соответствующие меры. Дня через три после того, как она забеременела, начала она обращать взоры на повивальную бабку, о которой вы столько уже от меня слышали; и не прошло и недели, как она, — ведь достать знаменитого доктора Маннингема было невозможно, — окончательно решила про себя, — несмотря на то что на расстоянии всего лишь восьми миль от нас жил один ученый хирург, бывший автором специальной книги в пять шиллингов об акушерской помощи, где он не только излагал промахи повивальных бабок, — но и прибавил еще описание многих любопытных усовершенствований для быстреего извлечения плода при неправильном положении ребенка и в случае некоторых других опасностей, подстерегающих нас при нашем появлении на свет; — несмотря на все это, моя мать, повторяю, непреклонно решила доверить свою жизнь, а с нею вместе и мою, единственно только упомянутой старухе и больше никому на свете. — Вот это я люблю: — если уж нам отказано в том, чего мы

себе желаем, — никогда не надо удовлетворяться тем, что сортом похуже; — ни в коем случае; это мизерно до последней степени. — Не далее как неделю тому назад, считая от нынешнего дня, когда я пишу эту книгу в назидание свету, — то есть 9 марта 1759 года, — моя милая, милая Джени, заметив, что я немножко нахмурился, когда она торговала шелк по двадцати пяти шиллингов ярд, — извинилась перед лавочником, что доставила ему столько беспокойства; и сейчас же пошла и купила себе грубой материи в ярд шириной по десяти пенсов ярд. — Это образец такого же точно величия души; только заслуга моей матери немного умалялась тем, что она не шла в своем геройстве до той резкой и рискованной крайности, которой требовала ситуация, так как старая повитуха имела все-таки некоторое право на доверие, — поскользку, по крайней мере, ей давал его успех; ведь в течение своей почти двадцатилетней практики она способствовала появлению на свет всех новорожденных нашего прихода, не совершив ни одного промаха и не зная ни одной неудачи, которую ей можно было бы поставить в вину.

Эти факты, при всей их важности, все же не совсем рассеяли кое-какие сомнения и опасения, шевелившиеся в душе моего отца относительно сделанного матерью выбора. — Не говоря уже о естественных чувствах человечности и справедливости — или о тревогах родительской и супружеской любви, одинаково побуждавших его оставить в этом деле как можно меньше места случайности, — он сознавал особенную важность для него благополучного исхода именно в данном случае, — предвидя, сколько ему придется изведать горя, если с его женой и ребенком приключится что-нибудь неладное во время родов в Шенди-Холле. — Он знал, что свет судит по результатам и в случае несчастья только прибавит ему огорчений, свалив на него всю вину. — Ах, боже мой! — Если бы миссис Шенди (бедная женщина!) могла исполнить свое желание и съездить для родов в Лондон, хотя бы не надолго (говорят, она на коленях просила и молила об этом, — по моему, принимая во внимание приданое, которое мистер Шенди взял за ней, — ему было бы не так уж трудно удовлетворить ее просьбу), — и она сама и ее ребенок, верно, были бы живы и по сей час!»

На такие восклицания не найдешь ответа, и мой отец знал это, — но то, что его особенно волновало в этом деле, было не только желание оградить себя — и не исключительно лишь внимание к своему отпрыску и своей жене: — у моего отца

был широкий взгляд на вещи, — — и в добавление ко всему он принимал все близко к сердцу еще и в интересах общественного блага, он опасался дурных выводов, которые могли быть сделаны в случае неблагоприятного исхода дела.

Ему были прекрасно известны единодушные жалобы всех политических писателей, занимавшихся этим предметом от начала царствования королевы Елизаветы и до его времени, о том, что поток людей и денег, устремляющихся в столицу по тому или иному суетному поводу, — делается настолько бурным, — что ставит под угрозу наши гражданские права; — хотя заметим мимоходом, — — поток не был образом, который приходился ему больше всего по вкусу, — любимой его метафорой здесь был недуг, и он развивал ее в законченную аллегория, утверждая, что недуг этот точь-в-точь такой же в теле народном, как и в теле человеческом, и состоит в том, что кровь и жизненные духи поднимаются в голову быстрее, чем они в состоянии найти себе дорогу вниз, — — кругообращение нарушается и наступает смерть как в одном, так и в другом случае.

— Нашим свободам едва ли угрожает опасность, — говорил он обыкновенно, — французской политики или французского вторжения; — — и он не очень страшился, что мы зачухнем от избытка гнилой материн и отравленных соков в нашей конституции, — с которой, он надеялся, дело обстоит совсем не так худо, как иные воображают; — но он всерьез опасался, как бы в критическую минуту мы не погибли вдруг от апоплексии; — и тогда, — говорил он, — господь да помилует нас, грешных.

Отец мой, излагая историю этого недуга, никогда не мог одновременно не указать лекарство против него.

«Будь я самодержавным государем, — говорил он, вставая с кресла и подтягивая обеими руками штаны, — я бы поставил на всех подступах к моей столице сведущих людей и возложил на них обязанность допрашивать каждого дурака, по какому делу он едет в город; — и если бы после справедливого и добросовестного расспроса оказалось, что дело это не настолько важное, чтобы из-за него стоило оставлять свой дом и со всеми своими пожитками, с женой и детьми, сыновьями фермеров и т. д. и т. д. тащиться в столицу, то приезжие подлежали бы, в качестве бродяг, возвращению, от констебля к констеблю, на место своего законного жительства. Этим способом я достигну того, что столица не пошатнется от собственной тяжести; — что голова не будет слишком велика для туловища; — что конечности, ныне истощенные и изморожен-

ные, получают полагающуюся им порцию пищи и вернут себе прежнюю свою силу и красоту. — Я приложил бы все старания, чтобы луга и пахотные поля в моих владениях смеялись и пели, — чтобы в них вновь воцарилось довольство и гостеприимство, — а средним помещикам моего королевства досталось бы от этого столько силы и столько влияния, что они могли бы служить противовесом знати, которая в настоящее время так их обирает.

«Почему во многих прелестных провинциях Франции, — спрашивал он с некоторым волнением, прохаживаясь по комнате, — теперь так мало дворцов и господских домов? Чем объясняется, что немногие уцелевшие châteaux¹ так запущены, — так разорены и находятся в таком разрушенном и жалком состоянии? — Тем, сэ р, — говорил он, — что во французском королевстве нет людей, у которых были бы какие-нибудь местные интересы; — все интересы, которые остаются у француза, кто бы он ни был и где бы ни находился, всецело сосредоточены при дворе и во взорах великого монарха; лучи его улыбки или проходящие по лицу его тучи — это жизнь или смерть для каждого его подданного».

Другое политическое основание, побуждавшее моего отца принять все меры для предотвращения малейшего несчастья при родах моей матери в деревне, — заключалось в том, что всякое такое несчастье неминуемо нарушило бы равновесие сил в дворянских семьях как его круга, так и кругов более высоких в пользу слабейшего пола, которому и без того принадлежит слишком много власти; — обстоятельство это, наряду с незаконным захватом многих других прав, ежечасно совершаемым этой частью общества, — оказалось бы в заключение роковым для монархической системы домашнего управления, самим богом установленной с сотворения мира.

В этом пункте он всецело разделял мнение сэра Роберта Фильмера, что строй и учреждения всех величайших восточных монархий восходят к этому замечательному образцу и прототипу отцовской власти в семье; — но вот уже в течение столетия, а то и больше, власть эта постепенно выродилась, по его словам, в смешанное управление; — и как ни желательна такая форма управления для общественных объединений большого размера, — она имеет много неудобств в объединениях малых, — где, по его наблюдениям, служит источником лишь беспорядка и неприятностей.

¹ Замки (франц.).

По всем этим соображениям, частным и общественным, вместе взятым, — мой отец желал во что бы то ни стало пригласить акушера, — моя мать не желала этого ни за что. Отец просил и умолял ее отказаться на сей раз от своей прерогативы в этом вопросе и позволить ему сделать для нее выбор; — мать, напротив, настаивала на своей привилегии решать этот вопрос самостоятельно — и не принимать ни от кого помощи, как только от старой повитухи. — Что тут было делать отцу? Он истощил все свое остроумие; — — уговаривал ее на все лады; — представлял свои доводы в самом различном свете; — обсуждал с ней вопрос как христианин, — как язычник, — как муж, — как отец, — как патриот, — как человек... — Мать на всё отвечала только как женщина; — ведь поскольку она не могла укрываться в этом бою за столь разнообразными ролями, — бой был неравный: — семеро против одного. — Что тут было делать матери? — — По счастью, она получила некоторое подкрепление в этой борьбе (иначе несомненно была бы побеждена) со стороны лежавшей у нее на сердце досады; это-то и поддержало ее и дало ей возможность с таким успехом отстоять свои позиции в споре с отцом, — — что обе стороны запели *Te Deum*. Словом, матери разрешено было пригласить старую повитуху, — акушер же получал позволение распить в задней комнате бутылку вина с моим отцом и дядей Тоби Шенди, — за что ему полагалось заплатить пять гиней.

Заканчивая эту главу, я должен сделать одно предостережение моим читательницам, — а именно: — пусть не считают они безусловно доказанным, на основании двух-трех слов, которыми я случайно обмолвился, — что я человек женатый. — Я согласен, что нежное обращение *моя милая, милая Джени*, — наряду с некоторыми другими разбросанными там и здесь штрихами супружеской умудренности, вполне естественно могут сбить с толку самого беспристрастного судью на свете и склонить его к такому решению. — Всё, чего я добиваюсь в этом деле, мадам, так это строгой справедливости. Проявите ее и ко мне и к себе самой хотя бы в той степени, — чтобы не осуждать меня заранее и не составлять обо мне превратного мнения, пока вы не будете иметь лучших доказательств, нежели те, какие могут быть в настоящее время представлены против меня. — Я вовсе не настолько тщеславен или безрассуден, мадам, чтобы пытаться внушить вам мысль, будто моя милая, милая Джени является моей возлюбленной; — нет, — это было бы искажением моего истинного характера за счет другой крайности и создало бы впечатление, будто я пользуюсь

свободой, на которую я, может быть, не могу претендовать. Я лишь утверждаю, что на протяжении нескольких томов ни вам, ни самому проницательному уму на свете ни за что не догадаться, как дело обстоит в действительности. — Нет ничего невозможного в том, что моя милая, милая Дженни, несмотря на всю нежность этого обращения, приходится мне дочерью. — — Помните, — я родился в восемнадцатом году. — Нет также ничего неестественного или нелепого в предположении, что моя милая Дженни является моим другом. — — Другом! — Моим другом. — Конечно, мадам, дружба между двумя полами может существовать и поддерживаться без... — — Фи! Мистер Шенди! — Без всякой другой пищи, мадам, кроме того нежного и сладостного чувства, которое всегда примешивается к дружбе между лицами разного пола. Сблагovolите, пожалуйста, изучить чистые и чувствительные части лучших французских романов: — — вы, наверно, будете поражены, мадам, когда увидите, как богато разукрашено там целомудренными выражениями сладостное чувство, о котором я имею честь говорить.

ГЛАВА XIX

Я скорее взялся бы решить труднейшую геометрическую задачу, чем объяснить, каким образом джентльмен такого недюжинного ума, как мой отец, — — сведущий, как, должно быть, уже заметил читатель, в философии и ею интересовавшийся, — а также мудро рассуждавший о политике — и никоим образом не невежда (как это обнаружится дальше) в искусстве спорить, — мог забрать себе в голову мысль, настолько чуждую ходячим представлениям, — что боюсь, как бы читатель, когда я ее сообщу ему, не швырнул сейчас же книгу прочь, если он хоть немного холерического темперамента; не расхохотался от души, если он сангвиник; — и не предал ее с первого же взгляда полному осуждению, как дикую и фантастическую, если он человек серьезного и мрачного нрава. Мысль эта касалась выбора и наречения христианскими именами, от которых, по его мнению, зависело гораздо больше, чем то способны уразуметь поверхностные умы.

Мнение его в этом вопросе сводилось к тому, что хорошим или дурным именам, как он выражался, присуще особого рода магическое влияние, которое они неизбежно оказывают на наш характер и на наше поведение.

Герой Сервантеса не рассуждал на эту тему с большей серьезностью или с большей уверенностью, — он не мог сказать о злых чарах волшебников, порочивших его подвиги, — или об имени Дульцинеи, придававшем им блеск, — больше, чем отец мой говорил об именах Трисмегиста или Архимеда, с одной стороны, — или об именах Ники или Симкин, с другой. — Сколько Цезарей и Помпеев, — говорил он, — сделались достойными своих имен лишь в силу почерпнутого из них вдохновения. И сколько неудачников, — прибавлял он, — отлично преуспело бы в жизни, не будь их моральные и жизненные силы совершенно подавлены и уничтожены именем Никодема.

— Я ясно вижу, сэръ, по глазам вашим вижу (или по чему-нибудь другому, смотря по обстоятельству), — говорил обыкновенно мой отец, — что вы не расположены согласиться с моим мнением, — и точно, — продолжал он: — кто его тщательно не исследовал до самого конца, — тому оно, не спорю, покажется скорее фантастическим, чем солидно обоснованным; — и все-таки, сударь мой (если осмелюсь основываться на некотором знании вашего характера), я искренно убежден, что я немногим рискну, представив дело на ваше усмотрение, — не как стороне в этом споре, но как судье, — и доверив его решение вашему здравому смыслу и беспристрастному расследованию. — Вы свободны от множества мелочных предрассудков, прививаемых воспитанием большинству людей, обладаете слишком широким умом, чтобы оспаривать чье-нибудь мнение просто потому, что у него нет достаточно приверженцев. Вашего сына! — вашего любимого сына, — от мягкого и открытого характера которого вы так много ожидаете, — вашего Билли, сэръ! — разве вы решились бы когда-нибудь назвать Иудой? — Разве вы, дорогой мой, — говорил мой отец, учтивейшим образом кладя вам руку на грудь, — тем мягким и неотразимым *piano*, которого обязательно требует *argumentum ad hominem*¹, — разве вы, если бы какой-нибудь хриstopродавец предложил это имя для вашего мальчика и поднес вам при этом свой кошелек, разве вы согласились бы на такое надругательство над вашим сыном? — Ах, боже мой! — говорил он, поднимая кверху глаза, — если у меня правильное представление о вашем характере, сэръ, — вы на это не способны; — вы бы отнеслись с негодованием к этому предложению; — вы бы с отвращением швырнули соблазн в лицо соблазнителью.

¹ Довод к личности (*лат.*), то есть обращенный к убеждениям и предрассудкам лица, которому хотя что-нибудь доказать.

Величие духа, явленное вашим поступком, которым я восхищаюсь, и обнаруженное вами во всей этой истории великолепное презрение к деньгам поистине благородны; — но высшей похвалы достоин принцип, которым вы руководствовались, — а именно: ваша родительская любовь, в согласии с высказанной здесь гипотезой, подсказала вам, что если бы сын вага назван был Иудой, — то мысль о гнусном предательстве, неотделимая от этого имени, всю жизнь сопровождала бы его, как тень, и в конце концов сделала бы из него скрягу и подлеца, невзирая на ваш, сэр, добрый пример.

Я не встречал человека, способного отразить этот довод. — Но ведь если уж говорить правду о моем отце, — то он был прямо-таки неотразим, как в речах своих, так и в словоприениях; — он был прирожденный оратор: Θεοδίδακτος — Убедительность, так сказать, опережала каждое его слово, элементы логики и риторики были столь гармонически соединены в нем, — и вдобавок он столь тонко чувствовал слабости и страсти своего собеседника, — что сама Природа могла бы свидетельствовать о нем: «этот человек красноречив». Короче говоря, защищал ли он слабую или сильную сторону вопроса, и в том и в другом случае нападать на него было опасно. — — А между тем, как это ни странно, он никогда не читал ни Цицерона, ни Квинтилиана «De Oratore», ни Исократы, ни Аристотеля, ни Лонгина из древних; — — ни Фоссия, ни Скиоппия, ни Рама, ни Фарнеби из новых авторов; — и, что еще более удивительно, ни разу в жизни не высек он в уме своем ни малейшей искорки ораторских тонкостей хотя бы беглым чтением Кракенторпа или Бургередиция, или какого-нибудь другого голландского логика или комментатора; он не знал даже, в чем заключается различие между *argumentum ad ignorantiam*² и *argumentum ad hominem*; так что, я хорошо помню, когда он привез меня для зачисления в колледж Иисуса в ***, — достойный мой наставник и некоторые члены этого ученого общества справедливо поражены были, — что человек, не знающий даже названий своих орудий, способен так ловко ими пользоваться.

А пользоваться ими по мере своих сил отец мой принужден был беспрестанно; — — ведь ему приходилось защищать тысячу маленьких парадоксов комического характера, — — большая часть которых, я в этом убежден, появилась сначала

¹ Наученный богом (*греч.*).

² Довод, рассчитанный на невежество (*лат.*).

в качестве простых чудачеств на правах *vive la bagatelle*; ¹ позабавившись ими с полчаса и изощрив на них свое остроумие, он оставлял их до другого раза.

Я высказываю это не просто как гипотезу или догадку о возникновении и развитии многих странных воззрений моего отца, — но чтобы предостеречь просвещенного читателя против неосмотрительного приема таких гостей, которые, после многолетнего свободного и беспрепятственного входа в наш мозг, — в заключение требуют для себя права там поселиться, — действуя иногда подобно дрожжам, — но гораздо чаще по способу нежной страсти, которая начинается с шуток, — а кончается совершенно серьезно.

Было ли то проявлением чудачества моего отца, — или его здравый смысл стал под конец жертвой его остроумия, — и в какой мере во многих своих взглядах, пусть даже странных, он был совершенно прав, — читатель, дойдя до них, решит сам. Здесь же я утверждаю только то, что в своем взгляде на влияние христианских имен, каково бы ни было его происхождение, он был серьезен; — тут он всегда оставался верен себе; — тут он был систематичен и, подобно всем систематикам, готов был сдвинуть небо и землю и все на свете перевернуть для подкрепления своей гипотезы. Словом, повторяю опять: — он был серьезен! — и потому терял всякое терпение, видя, как люди, особенно высокопоставленные, которым следовало бы быть более просвещенными, — проявляют столько же — а то и больше — беспечности и равнодушия при выборе имени для своих детей, как при выборе кличек Понто или Купидон для своих щенков.

— Дурная это манера, — говорил он, — и особенно в ней неприятно то, что с выбранным злонамеренно или неосмотрительно дрянным именем дело обстоит не так, как, скажем, с репутацией человека, которая, если она замарана, может быть потом обелена — — — и рано или поздно, если не при жизни человека, то, по крайней мере, после его смерти, — так или иначе восстановлена в глазах света; но то пятно, — говорил он, — никогда не смывается; — он сомневался даже, чтобы постановление парламента могло тут что-нибудь сделать. — Он знал не хуже вашего, что законодательная власть в известной мере полномочна над фамилиями; — но по очень веским соображениям, которые он мог привести, она никогда еще не отваживалась, — говорил он, — сделать следующий шаг.

¹ Да здравствует дурачество (*франц.*).

Замечательно, что хотя отец мой, вследствие этого мнения, питал, как я вам говорил, сильнейшее пристрастие и отвращение к некоторым именам, — однако наряду с ними существовало еще множество имен, которые были в его глазах настолько лишены как положительных, так и отрицательных качеств, что он относился к ним с полным равнодушием. Джек, Дик и Том были именами такого сорта; отец называл их нейтральными, — утверждая без всякой иронии, что с сотворения мира имена эти носило, по крайней мере, столько же негодяев и дураков, сколько мудрых и хороших людей, — так что, по его мнению, влияния их, как в случае равных сил, действующих друг против друга в противоположных направлениях, взаимно уничтожались; по этой причине он часто заявлял, что не ценит подобное имя ни в грош. Боб, имя моего брата, тоже принадлежало к этому нейтральному разряду христианских имен, очень мало влиявших как в ту, так и в другую сторону; и так как отец мой находился случайно в Эпсоме, когда оно было ему дано, — то он часто благодарил бога за то, что оно не оказалось худшим. Имя Андрей было для него чем-то вроде отрицательной величины в алгебре, — оно было хуже, чем ничего, — говорил отец. — Имя Вильям он ставил довольно высоко, — — зато имя Нампс он опять-таки ставил очень низко, — а уж Ник, по его словам, было не имя, а черт знает что.

Но из всех имен на свете он испытывал наиболее непобедимое отвращение к Тристраму; — не было в мире вещи, о которой он имел бы такое низкое и уничтожающее мнение, как об этом имени, — будучи убежден, что оно способно произвести *in rerum natura*¹ лишь что-нибудь крайне посредственное и убогое; вот почему посреди спора на эту тему, в который, кстати сказать, он частенько вступал, — — он иногда вдруг раздражался горячей эпифонемой или, вернее, эротесисом, возвышая на терцию, а подчас и на целую квинту свой голос, — и в упор спрашивал своего противника, возьмется ли он утверждать, что помнит, — — или читал когда-нибудь, — или хотя бы когда-нибудь слышал о человеке, который назывался бы Тристрамом и совершил бы что-нибудь великое или достойное упоминания? — Н е т, — говорил он, — Тристрам! — Это вещь невозможная.

Так что же могло помешать моему отцу написать книгу и обнародовать эту свою идею? Мало пользы для тонкого спекулятивного ума оставаться в одиночестве со своими мнениями, — ему непременно надо дать им выход. — Как раз это и сделал

¹ В природе вещей (*лат.*).

мой отец: — в шестнадцатом году, то есть за два года до моего рождения, он засел за диссертацию, посвященную слову *Тристрам*, — в которой с большой прямою и скромностью излагал мотивы своего крайнего отвращения к этому имени.

Сопоставив этот рассказ с титульным листом моей книги, — благосклонный читатель разве не пожалует от души моего отца? — Видеть методичного и благонамеренного джентльмена, придерживающегося усердно хотя и странных, — однако же безобидных взглядов, — столь жалкой игрушкой враждебных сил; — узреть его на арене поверженным среди всех его толкований, систем и желаний, опрокинутых и расстроенных, — наблюдать, как события все время оборачиваются против него, и притом столь решительным и жестоким образом, как если бы они были нарочно задуманы и направлены против него, чтобы надругаться над его умозрениями! — Словом, видеть, как такой человек на склоне лет, плохо приспособленный к невзгодам, десять раз в день терпит мучение, — десять раз в день называет долгожданное дитя свое именем Тристрам! — Печальные два слога! Они звучали для его слуха в унисон с простофилей и любим другим ругательным словом. — — Клянусь его прахом, — если дух злобы находил когда-либо удовольствие в том, чтобы расстраивать планы смертных, — так именно в данном случае; — и если бы не то обстоятельство, что мне необходимо родиться, прежде чем быть окрещенным, то я сию же минуту рассказал бы читателю, как это произошло.

ГЛАВА XX

— — — — Как могли вы, мадам, быть настолько невнимательны, читая последнюю главу? Я вам сказал в ней, что моя мать не была паписткой. — — Паписткой! Вы мне не говорили ничего подобного, сэр. — Мадам, позвольте мне повторить еще раз, что я это сказал настолько ясно, насколько можно сказать такую вещь при помощи недвусмысленных слов. — В таком случае, сэр, я, вероятно, пропустила страницу. — Нет, мадам, — вы не пропустили ни одного слова. — — Значит, я проспала, сэр. — Мое самолюбие, мадам, не может предоставить вам эту лазейку. — — В таком случае, объявляю, что я ровно ничего не понимаю в этом деле. — Как раз это я и ставлю вам в вину и в наказание требую, чтобы вы сейчас же вернулись назад, то есть, дойдя до ближайшей точки, перечитали всю главу сызнова.

Я назначил этой даме такое наказание не из каприза или жестокости, а из самых лучших намерений, и потому не стану перед ней извиняться, когда она кончит чтение. — Надо бороться с дурной привычкой, свойственной тысячам людей помимо этой дамы, — читать, не думая, страницу за страницей, больше интересуясь приключениями, чем стремясь почерпнуть эрудицию и знания, которые непременно должна дать книга такого размаха, если ее прочитав как следует. — Ум надо приучить серьезно размышлять во время чтения и делать интересные выводы из прочитанного; именно в силу этой привычки Плиний Младший утверждает, что «никогда ему не случилось читать настолько плохую книгу, чтобы он не извлек из нее какой-нибудь пользы». Истории Греции и Рима, прочитанные без должной серьезности и внимания, — принесут, я утверждаю, меньше пользы, нежели история «Паризма» и «Паризмена» или «Семерых английских героев», прочитанные вдумчиво.

— — — — Но тут является моя любезная дама. — Что же, перечитали вы еще раз эту главу, как я вас просил? — Перечитали; и при этом вторичном чтении вы не обнаружили места, допускающего такой вывод? — Ни одного похожего слова! — В таком случае, мадам, благоволите хорошенько поразмыслить над предпоследней строчкой этой главы, где я беру на себя смелость сказать: «Мне необходимо родиться, прежде чем быть окрещенным». Будь моя мать паписткой, мадам, в этом условии не было бы никакой надобности¹.

¹ Римские церковные обряды предписывают в опасных случаях крещение ребенка до его рождения, — но под условием, чтобы какая-нибудь часть тела младенца была видима крестящему. — — — Однако доктор Сорбонны на совещании, происходившем 10 апреля 1733 года, — расширили полномочия повивальных бабок, постановив, что даже если бы не показалось ни одной части тела младенца, — — — крещение тем не менее должно быть совершено над ним при помощи впрыскивания — *par le moyen d'une petite canule*, — то есть шприца. — Весьма странно, что святой Фома Аквинат, голова которого так хорошо была приспособлена как для завязывания, так и для развязывания узлов схоластического богословия, — принужден был, после того как на решение этой задачи было положено столько трудов, — в заключение отказаться от нее, как от второй *chose impossible*. — «*Infantes in matris uteris existentes (пек святой Фома) baptizari possunt nullo modo*»¹). — Ах, Фома, Фома!

Если читатель любопытствует познакомиться с вопросом о крещении при помощи впрыскивания, как он представлен был докторами Сорбонны, — вместе с их обсуждением его, — то он найдет это в приложении к настоящей главе. — *Л. Стерн*.

¹) Дети, находящиеся в утробе матери, никаким способом не могут быть окрещены (*лат.*).

Ужасное несчастье для моей книги, а еще более для литературного мира вообще, перед горем которого тускнеет мое собственное горе, — что этот гаденький зуд по новым ощущениям во всех областях так глубоко внедрился в наши привычки и нравы, — и мы настолько озабочены тем, чтобы получить удовлетворить эту нашу ненасытную алчность, — что находим вкус только в самых грубых и чувственных частях литературного произведения; — тонкие намеки и замысловатые научные сообщения улетают кверху, как духи; — тяжеловесная мораль опускается вниз, — и как те, так и другая пропадают для читателей, как бы продолжая оставаться на дне чернилницы.

Мне бы хотелось, чтобы мои читатели-мужчины не пропустили множество занятых и любопытных мест, вроде того, на котором была поймана моя читательница. Мне бы хотелось, чтобы этот пример возымел свое действие — и чтобы все добрые люди, как мужского, так и женского пола, почерпнули отсюда урок, что во время чтения надо шевелить мозгами.

Mémoire, présenté à Messieurs les Docteurs de Sorbonne¹

Un Chirurgien Accoucheur represente à Messieurs les Docteurs de Sorbonne, qu'il y a des cas, quoique très rares, où une mère ne sçauroit accoucher, et même où l'enfant est tellement renfermé dans le sein de sa mere, qu'il ne fait paroître aucune partie de son corps, ce qui serait un cas, suivant le Rituel, de lui conférer, du moins sous condition, le baptême. Le Chirurgien, qui consulte, prétend, parle moyen d'une petite canule, de pouvoir baptiser immédiatement l'enfant, sans faire aucun tort à la mère. — Il demande si ce moyen, qu'il vient de proposer, est permis et légitime, et s'il peut s'en servir dans les cas qu'il vient d'exposer.

Réponse

Le Conseil estime, que la question proposée souffre de grandes difficultés. Les Théologiens posent d'un coté pour principe, que le baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une première naissance; il faut être né dans le monde, pour renaître en Jesus Christ, comme ils l'enseignent. S. Thomas, 3 part, quaest.

¹ Vide Deventer, Paris Edit. in 4° f°, 1734, p. 366. — *Л. Стерн*, См. Де-вентер, Париж, изд. ин кварто, 1734 г., стр. 366.

88, art, 11, suit cette doctrine comme une vérité constante; l'on ne peut, dit ce S. Docteur, baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leurs mères; et S. Thomas est fondé sur ce, que les enfans ne sont point nés, et ne peuvent être comptés parmi les autre hommes; d'où il conclut, qu'ils ne peuvent être l'objet d'une action extérieure, pour recevoir par leur ministère les sacremens nécessaires au salut: *Pueri in materais uteris existentes nondum prodierunt in lucem, ut cum aliis hominibus vitam ducant; unde non possunt subjici actioni humanae, ut per eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem.* Les rituels ordonnent dans la pratique ce que les théologiens ont établi sur les mêmes matières; et ils deffendent tous d'une manière uniforme, de baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leurs mères, s'ils ne font paroître quelque partie de leurs corps. Le concours des théologiens et des rituels, qui sont les règles des diocèses, paroît former une autorité qui termine la question presente; cependant le conseil de conscience considerant d'un coté, que le raisonnement des théologiens est uniquement fondé sur une raison de convenance, et que la deffense des rituels suppose que l'on ne peut baptiser immédiatement les enfans ainsi renfermés dans le sein de leurs mères, ce qui est contre la supposition presente; et d'une autre côté, considerant que les mêmes théologiens enseignent, que l'on peut risquer les sacremens que Jesus Christ a établis comme des moyens faciles, mais nécessaires pour sanctifier les hommes; et d'ailleurs estimant, que les enfans enfermés dans le sein de leurs mères pourroient être capables de salut, parce qu'ils sont capables de damnation; — pour ces considerations, et en égard à l'exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain de baptiser ces enfans ainsi renfermés, sans faire aucun tort à la mère, le Conseil estime que l'on pourroit se servir du moyen proposé, dans la confiance qu'il a, que Dieu n'a point laissé ces sortes d'enfans sans aucun secours, et supposant, comme il est exposé, que le moyen dont il s'agit est propre à leur procurer le baptême; cependant comme il s'agiroit en autorisant la pratique proposée, de changer une regle universellement établie, le Conseil croit que celui qui consulte doit s'adresser à son évêque, et à qui il appartient de juger de l'utilité et du danger du moyen proposé, et comme, sous le bon plaisir de l'évêque, le Conseil estime qu'il faudroit recourir au Pape, qui a le droit d'expliquer les régies de l'eglise, et d'y déroger dans le cas, où la loi ne sçauroit obliger, quelque sage et quelque utile que paroisse la manière de baptiser dont il s'agit, le Conseil ne pourroit l'approuver sans le concours de ces deux autorités. On

conseille au moins à celui qui consulte, de s'adresser à son évêque, et de lui faire part de la présente décision, afin que, si le prelat entre dans les raisons sur lesquelles les docteurs sous-signés s'appuient, il puisse être autorisé dans le cas de nécessité, où il risqueroit trop d'attendre que la permission fût demandée et accordée d'employer le moyen qu'il propose si avantageux au salut de l'enfant. Au reste, le Conseil, en estimant que l'on pourroit s'en servir, croit cependant, que si les enfans dont il s'agit, venoient au monde, contre l'esperance de ceux qui se seroient servis du même moyen, il seroit nécessaire de le baptiser sous condition, et en cela le Conseil se conforme à tous les rituels, qui en autorisant le baptême d'un enfant qui fait paroître quelque partie de son corps, enjoignent néanmoins, et ordonnent de le baptiser sous condition, s'il vient heureusement au monde.

Délibéré en Sorbonne, le 10 Avril, 1733.

A Le Moynes, L. De Romigny, De Marcilly ¹.

Мистер Тристрам Шенди, свидетельствуя свое почтение господам ле Муану, де Ромины и де Марсилы, надеется, что

¹ Докладная записка, представленная господам докторам Сорбонны. Некий лекарь-акушер докладывает господам докторам Сорбонны, что бывают случаи, правда очень редкие, когда мать не в состоянии разрешиться от бремени, — и бывает даже, что младенец так закупорен в утробе своей матери, что не показывает ни одной части своего тела, в каковых случаях, согласно церковным уставам, было бы позволительно совершить над ним крещение, по крайней мере, условно. Пользующий лекарь утверждает, что при помощи шприца можно непосредственно крестить младенца без всякого вреда для матери. — Он спрашивает, является ли предлагаемое им средство позволительным и законным и может ли он им пользоваться в вышеизложенных случаях.

Ответ. Совет полагает, что предложенный вопрос сопряжен с большими трудностями. Богословы принимают, с одной стороны, за основоположение, что крещение, каковое является рождением духовным, предполагает рождение первоначальное; согласно их учению, надо родиться на свет, дабы возродиться в Иисусе Христе. Св. Фома, 3-я часть, вопр. 88, ст. 11, следует этому учению как непреложной истине: нельзя, — говорит сей ученый, сей святой доктор, — крестить младенцев, заключенных в утробе матери; св. Фома основывается на том, что неродившиеся младенцы не могут быть причислены к людям; откуда он заключает, что они не могут быть предметом внешнего воздействия, чтобы принимать через посредство других людей таинства, необходимые для спасения. «Младенцы, в утробе матери пребывающие, еще не появились на свет, дабы вести жизнь с другими людьми, а посему они не могут подвергаться воздействию людей и через их посредство принимать таинство во спасение». Церковные уставы предписывают на практике то, что определено богословами (относительно этих вещей), а последние все одинаково запрещают крестить младенцев, заключенных в утробе матери, если нельзя было увидеть какую-нибудь часть их тела. Единomyслие богословов и

все они хорошо починали ночью после столь утомительного совещания.— Он спрашивает, не будет ли проще и надежнее всех гомункулов окрестить единым махом на авось при помощи впрыскивания, немедленно после церемонии бракосочетания, но до его завершительного акта; — при условии, как и в вышеприведенном документе, чтобы каждый из гомункулов, если само-

церковных уставов, полагаемых за правило в епархиях, представляет такой авторитет, что им, по-видимому, решается настоящий вопрос. Однако же Духовный совет, принимая во внимание, с одной стороны, что рассуждение богословов основано единственно на соблюдении благовидности и что запрещение церковных уставов исходит из того, что нельзя непосредственно крестить младенцев, заключенных в утробе матери, что идет вразрез с настоящим предположением; а с другой стороны, принимая во внимание, что те же богословы говорят о возможности совершать наудачу таинства, установленные Иисусом Христом, как легкие, но необходимые средства для освящения людей; и кроме того, считая, что младенцы, заключенные в утробе матери, могут получить спасение, потому что они могут быть осуждены на вечные муки; — по этим соображениям и ввиду представленного доклада, в котором заверяется, что найдено верное средство крестить заключенных таким образом младенцев без всякого вреда для матери, Совет полагает возможным пользоваться предложенным средством, в уповании, что бог не оставил этого рода младенцев без всякой помощи, и полагая, как в означенном докладе сказано, что средство, о котором идет речь, способно обеспечить совершение над ними таинства; со всем тем, поскольку дозволить применение предложенного средства значило бы изменить повсеместно установленный порядок, то Совет считает, что пользующийся лекарь обязан обратиться к своему епископу, коему и подобает судить о пригодности или об опасности предложенного средства, и так как Совет полагает, что, с соизволения епископа, следовало бы обратиться к папе, коему принадлежит право изъяснять уставы церкви и от них отступать в тех случаях, когда закон не может иметь обязательной силы, то сколь бы ни казался разумным и полезным способ крещения, о коем идет речь, Совет был бы не вправе его одобрить без согласия обеих названных властей. Во всяком случае, можно посоветовать пользующему лекарю обратиться к своему епископу и сообщить ему настоящие решения и, буде названный прелат согласится с доводами, на кои опираются нижеподписавшиеся доктора, считать лекарь полномочным во всех тех случаях, когда было бы слишком опасно ждать, пока будет испрошено и дано позволение употребить предлагаемое им средство, столь благоприятное для спасения младенца. Впрочем, Совет, допуская возможность пользоваться названным средством, полагает, однако, что, буде младенцы, о коих идет речь, появились бы на свет вопреки ожиданию тех, кои воспользовались бы названным средством, то их надлежало бы окрестить условно, в каком-либо своем мнении Совет сообразуется со всеми церковными уставами, кои, допуская крещение младенца, показывающегося наружу частью своего тела, предписывают тем не менее и наказывают окрестить его условно, буде он счастливо появится на свет.

Подвергнуто обсуждению в Сорбонне, 10 апреля 1733 года.

А. ле Муан, Л. де Ромины, де Марсилья.

чувствие его будет хорошее и он благополучно появится потом на свет, был бы окрещен вновь (*sous condition*¹) — и, кроме того, постановить, что операция будет произведена (а это мистер Шенди считает возможным) *par le moyen d'une petite canule* и *sans faire aucun tort au père*².

ГЛАВА XXI

— Интересно знать, что это за шум и беготня у них наверху, — проговорил мой отец, обращаясь после полуторачасового молчания к дяде Тоби, — который, надо вам сказать, сидел по другую сторону камина, покуривая все время свою трубку в немом созерцании новой пары красовавшихся на нем черных плисовых штанов. — Что у них там творится, братец? — сказал мой отец. — Мы едва можем слышать друг друга.

— Я думаю, — отвечал дядя Тоби, вынимая при этих словах изо рта трубку и ударяя два-три раза головкой о ноготь большого пальца левой руки, — я думаю... — сказал он. — Но, чтобы вы правильно поняли мысли дяди Тоби об этом предмете, вас надо сперва немного познакомить с его характером, контуры которого я вам сейчас набросаю, после чего разговор между ним и моим отцом может благополучно продолжаться.

— Скажите, как назывался человек, — я пишу так торопливо, что мне некогда рыться в памяти или в книгах, — впервые сделавший наблюдение, «что погода и климат у нас крайне непостоянны»? Кто бы он ни был, а наблюдение его совершенно правильно. — Но вывод из него, а именно «что этому обстоятельству обязаны мы таким разнообразием странных и чудных характеров», — принадлежит не ему; — он сделан был другим человеком, по крайней мере, лет полтора ста спустя... Далее, что этот богатый склад самобытного материала является истинной и естественной причиной огромного превосходства наших комедий над французскими и всеми вообще, которые были или могли быть написаны на континенте, — это открытие произведено было лишь в середине царствования короля Вильгельма, — когда великий Драйден (если не ошибаюсь) счастливо напал

¹ Условно (*франц.*).

² Посредством шприца и не причиняя ущерба отцу (*франц.*).

на него в одном из своих длинных предисловий. Правда, в конце царствования королевы Анны великий Аддисон взял его под свое покровительство и полнее истолковал публике в двух-трех номерах своего «Зрителя»; но само открытие принадлежало не ему. — Затем, в-четвертых и в-последних, наблюдение, что вышеотмеченная странная беспорядочность нашего климата, порождающая такую странную беспорядочность наших характеров, — в некотором роде нас вознаграждает, давая нам материал для веселого развлечения, когда погода не позволяет выходить из дому, — это наблюдение мое собственное, — оно было произведено мной в дождливую погоду сегодня, 26 марта 1759 года, между девятью и десятью часами утра.

Таким-то образом, — таким-то образом, мои сотрудники и товарищи на великом поле нашего просвещения, жатва которого зреет на наших глазах, — таким-то образом, медленными шагами случайного приращения, наши физические, метафизические, физиологические, полемические, навигационные, математические, энигматические, технические, биографические, драматические, химические и акушерские знания, с пятьюдесятью другими их отраслями (большинство которых, подобно перечисленным, кончается на *ический*), в течение двух с лишним последних столетий постепенно всползали на ту *ἀκμή*¹ своего совершенства, от которой, если позволительно судить по их успехам за последние семь лет, мы, наверно, уже недалеко.

Когда мы ее достигнем, то, надо надеяться, положен будет конец всякому писанию, — а прекращение писания положит конец всякому чтению: — что со временем, — *как война рождает бедность, а бедность — мир*, — должно положить конец всякого рода наукам; а потом — нам придется начинать все сначала; или, другими словами, мы окажемся на том самом месте, с которого двинулись в путь.

— Счастливое, трижды счастливое время! Я бы только желал, чтобы эпоха моего зачатия (а также образ и способ его) была немного иной, — или чтобы ее можно было без какого-либо неудобства для моего отца или моей матери отсрочить на двадцать — двадцать пять лет, когда перед писателями, надо думать, откроются некоторые перспективы в литературном мире.

Но я забыл о моем дяде Тоби, которому пришлось все это время вытряхивать золу из своей курительной трубки.

¹ Вершину (*греч.*).

Склад его души был особенного рода, делающего честь нашей атмосфере; я без всякого колебания отнес бы его к числу первоклассных ее продуктов, если бы в нем не проступало слишком много ярко выраженных черт фамильного сходства, показывавших, что своеобразие его характера было обусловлено больше кровью, нежели ветром или водой, или какими-либо их видоизменениями и сочетаниями. В связи с этим меня часто удивляло, почему отец мой, не без основания подмечая некоторые странности в моем поведении, когда я был маленьким, — ни разу не попытался дать им такое объяснение; ведь все без исключения семейство Шенди состояло из чудачков; — я имею в виду его мужскую часть, — ибо женские его представительницы были вовсе лишены характера, — за исключением, однако, моей двоюродной тетки Дины, которая, лет шестьдесят тому назад, вышла замуж за кучера и прижила от него ребенка; по этому поводу отец мой, в согласии со своей гипотезой об именах, не раз говорил: пусть она поблагодарит своих крестных папаш и мамаш.

Может показаться очень странным, — а ведь загадывать загадки читателю отнюдь не в моих интересах, и я не намерен заставлять его ломать себе голову над тем, как могло случиться, что подобное событие и через столько лет не потеряло своей силы и способно было нарушать мир и сердечное согласие, царившие во всех других отношениях между моим отцом и дядей Тоби. Казалось, что несчастье это, разразившись над нашей семьей, вскоре истощит и исчерпает свои силы — как это обыкновенно и бывает. — Но у нас никогда ничего не делалось, как у других людей. Может быть, в то самое время, когда это стряслось, у нас было какое-нибудь другое несчастье; но так как несчастья ниспосылаются для нашего блага, а названное несчастье не принесло *семье Шенди* решительно ничего хорошего, то оно, возможно, притаилось в ожидании благоприятной минуты и обстоятельств, которые предоставили бы ему случай сослужить свою службу. — — — Заметьте, что я тут ровно ничего не решаю. — — Мой метод всегда заключается в том, чтобы указывать любознательным читателям различные пути исследования, по которым они могли бы добраться до истоков затрагиваемых мной событий; — не педантически, подобно школьному учителю, и не в решительной манере Тацита, который так мудрит, что сбивает с толку и себя и читателя, — но с услужливой скромностью человека, поставившего себе единую цель — помогать пытливым умам. — Для них я пишу, — и они будут

читать меня, — если мыслимо предположить, что чтение подобных книг удержится очень долго, — до скончания века.

Итак, вопрос, почему этот повод для огорчений не потерял своей силы для моего отца и дяди, я оставляю нерешенным. Но как и в каком направлении он действовал, обратившись в причину размовок между ними, это я могу объяснить с большой точностью. Вот как было дело.

Мой дядя, Тоби Шенди, мадам, был джентльмен, который, наряду с добродетелями, обычно свойственными человеку безукоризненной прямоты и честности, — обладал еще, и притом в высочайшей степени, одной, редко, а то и вовсе не помещаемой в списке добродетелей: то была крайняя, беспримерная природная стыдливость: — впрочем, слово *природная* будет тут подходящим по той причине, что я не вправе предрешать вопрос, о котором вскоре пойдет речь, а именно: была ли эта стыдливость природной или приобретенной. — Но каким бы путем она ни досталась дяде Тоби, это все же была стыдливость в самом истинном смысле; притом, мадам, не в отношении слов, ибо, к несчастью, он располагал крайне ограниченным их запасом, — но в делах; и этого рода стыдливость была ему присуща в такой степени, она поднималась в нем до такой высоты, что почти равнялась, если только это возможно, стыдливости женщины: той женской взыскательности, мадам, той внутренней опрятности ума и воображения, свойственной вашему полу, которая внушает нам такое глубокое почтение к нему.

Вы, может быть, подумаете, мадам, что дядя Тоби почерпнул эту стыдливость из ее источника; — что он провел большую часть своей жизни в общении с вашим полом и что основательное знание женщин и неудержимое подражание столь прекрасным образцам — создали в нем эту привлекательную черту характера.

Я бы желал, чтобы так оно и было, а однако, за исключением своей невестки, жены моего отца и моей матери, — дядя Тоби едва ли обменялся с прекрасным полом тремя словами за три года. Нет, он приобрел это качество, мадам, благодаря удару. — Удару! — Да, мадам, он им обязан был удару камнем, сорванным ядром с бруствера одного горнверка при осаде Намюра и угодившим прямо в пах дяде Тоби. Каким образом удар камнем мог оказать такое действие? О, это длинная и любопытная история, мадам; — но если бы я вздумал вам ее излагать, то весь рассказ мой начал бы спотыкаться на все четыре ноги. — Я ее сохраняю в качестве эпизода на будущее, и каж-

дое относящееся до нее обстоятельство будет в надлежащем месте добросовестно вам изложено. — А до тех пор я не вправе останавливаться на ней подробнее или сказать что-нибудь еще сверх уже сказанного, а именно — что дядя Тоби был джентльмен беспримерной стыдливости, которая еще как бы утончалась и обострялась неугасаемым жаром скромной семейной гордости, — и оба эти чувства были так сильны в нем, что он не мог без величайшего волнения слышать какие-либо разговоры о приключении с тетей Диной. Малейшего намека на него бывало достаточно, чтобы кровь бросилась ему в лицо, — когда мой отец распространялся на эту тему в случайном обществе, что ему часто приходилось делать для пояснения своей гипотезы, — эта злосчастная порча одной из прекраснейших веток нашей семьи была как нож в сердце дяди Тоби с его преувеличенным чувством чести и стыдливостью: часто он в невообразимом смятении отводил моего отца в сторону, журил его и говорил, что готов отдать ему все на свете, только бы он оставил эту историю в покое.

Отец мой, я уверен, питал к дяде Тоби самую неподдельно нежную любовь, какая бывала когда-нибудь у одного брата к другому, и, чтобы успокоить сердце дяди Тоби в этом или в другом отношении, охотно сделал бы все, что один брат может разумно потребовать со стороны другого. Но исполнить эту просьбу было выше его сил.

— — Отец мой, как я вам сказал, был в полном смысле слова философ, — теоретик, — систематик; и приключение с тетей Диной было фактом столь же важным для него, как обратный ход планет для Коперника. Отклонения Венеры от своей орбиты укрепили Коперникову систему, названную так по его имени, а отклонения тети Дины от своей орбиты оказали такую же услугу укреплению системы моего отца, которая, надеюсь, отныне в его честь всегда будет называться *Шендиевой системой*.

Во всяком случае, другое семейное бесчестье вызвало бы у отца моего, насколько мне известно, такое же острое чувство стыда, как и у других людей, — и ни он, ни, полагаю, Коперник не предали бы огласке подмеченные ими странности и не привлекли бы к ним ничьего внимания, если бы не считали себя обязанными сделать это из уважения к истине. — Amicus Plato¹, — говорил обыкновенно мой отец, толкуя свою цитату, слово за словом, дяде Тоби, — amicus Plato (то есть Дина была

¹ Платон — мне друг (*лат.*).

моей теткой), *sed magis amica Veritas*¹ — — (но истина моя сестра).

Это несходство характеров моего отца и дяди было источником множества стычек между братьями. Один из них терпеть не мог, чтобы при нем рассказывали об этом семейном позоре, — — — а другой не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы так или иначе не намекнуть на него.

— Ради бога, — восклицал дядя Тоби, — и ради меня и ради всех нас, дорогой братец Шенди, — оставьте вы в покое эту историю с нашей теткой и не тревожьте ее праха; — — как можете вы, — — — как можете вы быть таким бесчувственным и безжалостным к доброй славе нашей семьи? — — Что такое для гипотезы слава семьи, — отвечал обыкновенно мой отец. — — И даже, если уж на то пошло, — что такое самая жизнь семьи? — — — Жизнь семьи! — восклицал тогда дядя Тоби, откидываясь на спинку кресла и поднимая вверх руки, глаза и одну ногу. — — Да, жизнь, — повторял мой отец, отстаивая свое утверждение. — — Сколько тысяч таких жизней ежегодно терпят крушение (по крайней мере, во всех цивилизованных странах) — — и ставятся ни во что, ценятся не больше, чем воздух, — при состязании в гипотезах. — На мой бесхитростный взгляд, — отвечал дядя Тоби, — каждый такой случай есть прямое убийство, кто бы его ни совершил. — — Вот в этом-то и состоит ваша ошибка, — возражал мой отец, — ибо *in foro scientiae*² не существует никаких убийств, есть только смерть, братец.

На это дядя Тоби, махнув рукой на всякие иные аргументы, насвистывал только полдюжины тактов Лилибуллиро. — — Надо вам сказать, что это был обычный канал, через который испарялось его возбуждение, когда что-нибудь возмущало или поражало его, — в особенности же, когда высказывалось суждение, которое он считал верхом нелепости.

Так как ни один из наших логиков или их комментаторов, насколько я могу припомнить, не счел нужным дать название этому особенному аргументу, — я беру здесь на себя смелость сделать это сам, по двум соображениям. Во-первых, чтобы, во избежание всякой путаницы в спорах, его всегда можно было так же ясно отличить от всех других аргументов, вроде *argumentum ad verecundiam*, *ex absurdo*, *ex fortiori*³ и любого дру-

¹ Но еще больший друг мне истина (*лат.*).

² Перед судом науки (*лат.*).

³ Довод к совестливости, приведение к нелепости, необходимость признать сильнейший довод (*лат.*).

того аргумента, — и, во-вторых, чтобы дети детей моих могли сказать, когда голова моя будет покоиться в могиле, — что голова их ученого дедушки работала некогда столь же плодотворно, как и головы других людей, что он придумал и великодушно внес в сокровищницу *Ars logica*¹ название для одного из самых неопровержимых аргументов в науке. Когда целью спора бывает скорее привести к молчанию, чем убедить, то они могут прибавить, если им угодно, — и для одного из лучших аргументов.

Итак, я настоящим строго приказываю и повелеваю, чтобы аргумент этот известен был под отличительным наименованием *argumentum fistulatorium*² и никак не иначе — и чтобы он ставился отныне в ряд с *argumentum baculinum*³ и *argumentum ad crumenam*⁴ и всегда трактовался в одной главе с ними.

Что касается *argumentum tripodium*⁵, который употребляется исключительно женщинами против мужчин, и *argumentum ad rem*⁶, которым, напротив, пользуются только мужчины против женщин, — то так как их обоих по совести довольно для одной лекции, — и так как, вдобавок, один из них является лучшим ответом на другой, — пусть они тоже будут обособлены и излагаются отдельно.

ГЛАВА XXII

Ученый епископ Холл, — я разумею знаменитого доктора Джозефа Холла, бывшего епископом Эксетерским в царствование короля Иакова Первого, — говорит нам в одной из своих Декад, которыми он заключает «Божественное искусство размышления», напечатанное в Лондоне в 1010 году Джоном Биллом, проживающим в Олдерсгейт-стрит, что нет ничего отвратительнее самовосхваления, и я совершенно с ним согласен.

Но с другой стороны, если вам в чем-то удалось достичь совершенства и это обстоятельство рискует остаться незаме-

¹ Искусство логики (*лат.*).

² Свистательный довод (*лат.*).

³ Палочный довод (*лат.*).

⁴ Довод при помощи кошелька (*лат.*).

⁵ Довод тараном (*лат.*).

⁶ Вещественный довод (*лат.*).

ченным, — я считаю, что столь же отвратительно лишиться почести и сойти в могилу, унеся тайну своего искусства.

Я нахожусь как раз в таком положении.

Ибо в этом длинном отступлении, в которое я случайно был вовлечен, равно как и во все мои отступления (за единственным исключением), есть одна тонкость отступательного искусства, достоинства которого, боюсь, до сих пор ускользали от внимания моего читателя, и не по недостатку проницательности у него, а потому, что эту замечательную черту обычно не ищут и не предполагают найти в отступлениях: — состоит она в том, что хотя все мои отступления, как вы видите, правильные, честные отступления — и хотя я уклоняюсь от моего предмета не меньше и не реже, чем любой великобританский писатель, — однако я всегда стараюсь устроиться так, чтобы главная моя тема не стояла без движения в мое отсутствие.

Так, например, я только собрался было набросать вам основные черты крайне причудливого характера дяди Тоби, — как наткнулся на тетю Дину и кучера, которые увели нас за несколько миллионов миль, в самое средоточие планетной системы. Невзирая на это, вы видите, что обрисовка характера дяди Тоби потихоньку продолжалась все это время; конечно, проводилась она не в основных своих линиях, — это было бы невозможно, — зато попутно, там и здесь, намечались кое-какие интимные черточки и легкие штришки, так что теперь вы уже гораздо лучше знакомы с дядей Тоби, чем раньше.

Благодаря такому устройству, вся внутренняя механика моего произведения очень своеобразна: в нем согласно действуют два противоположных движения, считавшихся до сих пор несовместимыми. Словом, произведение мое отступательное, но и поступательное в одно и то же время.

Это обстоятельство, сэръ, отнюдь не похоже на суточное вращение земли вокруг своей оси, совершаемое одновременно с поступательным движением по эллиптической орбите, которое, совершаясь в годовом круговороте, приводит с собой приятное разнообразие и смену времен года; впрочем, должен признаться, мысль моя получила толчок именно отсюда, — как, мне кажется, и все величайшие из прославленных наших изобретений и открытий порождены были такими же обыденными явлениями.

Отступления, бесспорно, подобны солнечному свету; — они составляют жизнь и душу чтения. — Изымите их, например, из этой книги, — она потеряет всякую цену: — холодная, беспросветная зима воцарится на каждой ее странице; отдайте их

автору, и он выступает, как жених, — всем приветливо улыбается, хлопчет о разнообразии яств и не дает уменьшиться аппетиту.

Все искусство в том, чтобы умело их состряпать и подать так, чтобы они служили к выгоде не только читателя, но и писателя, беспомощность которого в этом предмете поистине достойна жалости: ведь стоит ему только начать отступление, — и мгновенно всё его произведение останавливается как вкопанное, — а когда он двинется вперед с главной своей темой, — тогда конец всем его отступлениям.

— Ничего не стоит такая работа. Вот почему я, как вы видите, с самого начала так перетасовал основную тему и входящие части моего произведения, так переплел и перепутал отступательные и поступательные движения, зацепив одно колесо за другое, что машина моя все время работает вся целиком и, что всего важнее, проработает так еще лет сорок, если подателю здоровья угодно будет даровать мне на такой срок жизнь и хорошее расположение духа.

ГЛАВА XXIII

Я чувствую сильную склонность начать эту главу самым нелепым образом и не намерен ставить препятствий своей фантазии. Вот почему приступаю я так:

Если бы в человеческую грудь вправлено было стекло, согласно предложению лукавого критика М о м а, — то отсюда, несомненно, вытекло бы, во-первых, то нелепое следствие, — что даже самые мудрые и самые важные из нас должны были бы до конца жизни платить той или иной монетой оконный сбор.

И, во-вторых, что для ознакомления с чьим-либо характером ничего больше не требовалось бы, как, взяв портшез, потихонечку проследовать к месту наблюдения, как вы бы проследовали к прозрачному у л ь ю, — заглянуть в стеклышко, — увидеть в полной наготе человеческую д у ш у, — понаблюдать за всеми ее движениями, — всеми ее тайными замыслами, — проследить все ее причуды от самого их зарождения и до полного созревания, — подстеречь, как она на свободе скачет и резвится; после чего, уделив немного внимания более чинному ее поведению, естественно сменяющему такие порывы, — взять

перо и чернила и запечатлеть на бумаге исключительно лишь то, что вы увидели и можете клятвенно подтвердить. — Но на нашей планете писатель не обладает этим преимуществом, — на Меркурии оно (вероятно) у него есть, может быть даже, он там поставлен в еще более выгодные условия; — ведь страшная жара на этой планете, проистекающая от ее близкого соседства с солнцем и превосходящая, по вычислениям астрономов, жар раскаленного докрасна железа, — должно быть, давно уже обратила в стекло тела тамошних жителей (в качестве действующей причины), чтобы их приспособить к климату (что является причиной конечной); таким образом, пребывая в такой обстановке, вместилища их душ сверху донизу представляют собой не что иное (поскольку самая здравая философия не в состоянии доказать обратное), как тонкие прозрачные тела из светлого стекла (за исключением пупочного узла); и вот, пока тамошние жители не состарятся и не покроются морщинами, отчего световые лучи, проходя сквозь них, подвергаются чудовищному преломлению, — или, отражаясь от них, достигают глаза по таким косым линиям, что увидеть человека насквозь невозможно, души их могут (если только они не вздумают соблюдать чисто внешние приличия или воспользоваться ничтожным прикрытием, которое им представляет точка пупка) — могут, повторяю я, с равным успехом дурачиться как внутри, так и вне своего жилища.

Но, как я уже сказал выше, это не относится к обитателям земли, — души наши не просвечивают сквозь тело, — но закутаны в темную оболочку необращенных в стекло плоти и крови; вот почему, если мы хотим проникнуть в характер наших ближних, нам надо как-то иначе приступить к этой задаче.

Воистину многообразны пути, по которым вынужден был направиться человеческий ум, чтобы дать ее точное решение.

Иные, например, рисуют все свои характеры при помощи духовых инструментов. — Вергилий пользуется этим способом в истории Дидоны и Энея; но он столь же обманчив, как дыхание славы, и, кроме того, свидетельствует об ограниченном даровании. Мне не безызвестно, что итальянцы притязают на математическую точность в обрисовках одного часто встречающегося среди них характера при помощи forte или piano некоего употребительного духового инструмента, который они считают непогрешимым. Я не решаюсь привести здесь название этого инструмента: — довольно будет, если я скажу, что он есть в у н а с , — но нам в голову не приходит пользоваться им для

рисования. — Это звучит загадочно, да и с расчетом на загадочность, по крайней мере *ad populum*¹, вот почему прошу вас, мадам, когда вы дойдете до этого места, читайте как можно быстрее и не останавливайтесь для наведения каких-либо справок.

Есть, далее, такие, что при обрисовке характера какого-нибудь человека пользуются только его выделениями, не прибегая больше ни к каким средствам: — но этот способ часто дает весьма неправильное представление, — если вы не делаете одновременно наброска того, как этот человек наполняется; в таком случае, поправляя один рисунок по другому, вы составляете с помощью их обоих вполне приемлемый образ.

Я бы ничего не возражал против этого метода, — я только думаю, что он слишком отчетливо изобличает муки творчества, — и кажется еще более педантичным оттого, что заставляет вас бросить взгляд на остальные *non naturalia* человека. Почему самые натуральные жизненные отправления человека должны называться ненатуральными — это другой вопрос.

Есть, в-четвертых, еще и такие, которые относятся с презрением ко всем этим выдумкам, — не потому, что у них самих богатое воображение, но благодаря усердному применению методов, напоминающих приспособления художников-пентаграфистов² по части снимания копий. — Таковы, да будет вам известно, великие историки.

Одного из них вы увидите рисующим характер во весь рост против света: — это неблагородно, нечестно и несправедливо по отношению к характеру человека, который позирует.

Другие, чтобы исправить дело, снимают с вас портрет в камере-обскуре: — это хуже всего, — так как вы можете быть уверены, что там вас изобразят в одной из самых смешных ваших поз.

Чтобы избежать всех этих ошибок при обрисовке характера дяди Тоби, я решил не прибегать ни к каким механическим средствам, равным образом и карандаш мой не подпадает под влияние никакого духового инструмента, в который когда-либо дули как по эту, так и по ту сторону Альп, — я не стану также рассматривать, чем он наполняется и что из себя извергает, или касаться его *non naturalia*, — короче говоря, я нарисую его характер на основании его конька.

¹ Для народа, то есть для широкого читателя (*лат.*).

² Пентаграф — прибор для механического копирования гравюр и картин в любых пропорциях. — *Л. Стерн.*

ГЛАВА XXIV

Если бы я не был внутренне убежден, что читатель горит нетерпением узнать наконец характер дяди Тоби, — я бы предвзвительно постарался доказать ему, что нет более подходящего средства для обрисовки характеров, чем тот, на котором я остановил свой выбор.

Хотя я не берусь утверждать, что человек и его конек сносятся друг с другом точно таким же образом, как душа и тело, тем не менее между ними несомненно существует общение; и я склонен думать, что в этом общении есть нечто, весьма напоминающее взаимодействие наэлектризованных тел, и совершается оно посредством разгоряченной плоти всадника, которая входит в непосредственное соприкосновение со спиной конька. — От продолжительной езды и сильного трения тело всадника под конец наполняется до краев материей конька: — так что если только вы в состоянии ясно описать природу одного из них, — вы можете составить себе достаточно точное представление о способностях и характере другого.

Конек, на котором всегда ездил дядя Тоби, по-моему, вполне достоин подробного описания, хотя бы только за необыкновенную оригинальность и странный свой вид; вы могли бы проехать от Йорка до Дувра, — от Дувра до Пензенса в Корнуэльсе и от Пензенса обратно до Йорка — и не встретили бы по пути другого такого конька; а если бы встретили, то, как бы вы ни спешили, вы б непременно остановились, чтобы его рассмотреть. В самом деле, поступь и вид его были так удивительны и весь он, от головы до хвоста, был до такой степени непохож на прочих представителей своей породы, что по временам поднимался спор, — да точно ли он конек. Но, подобно тому философу, который в спорах со скептиком, отрицавшим реальность движения, в качестве самого убедительного довода вставал на ноги и прохаживался по комнате, — дядя Тоби в доказательство того, что конек его действительно конек, просто-напросто садился на него и с к а к а л, — предоставляя каждому решать вопрос по своему усмотрению.

По правде говоря, дядя Тоби садился на своего конька с таким удовольствием и тот вез дядю Тоби так хорошо, — что его очень мало беспокоило, что об этом говорят или думают другие.

Однако давно уже пора дать вам описание этого конька. — Но надо держаться определенного порядка, в потому позвольте раньше рассказать вам, как дядя Тоби им обзавелся.

Рана в паху, которую дядя Тоби получил при осаде Намюра, сделала его непригодным для службы, и ему оставалось только вернуться в Англию и там полечиться.

Целых четыре года был он прикован — сначала к своей постели, а потом к своей комнате, и во время лечения, продолжавшегося весь этот срок, он терпел невыразимые боли, — простекавшие от последовательных отслоений *os pubis*¹ и наружного края той части *coxendix*², которая называется *os ilium*³, — — — обе названные кости были у него плачевным образом раздроблены, как вследствие неправильной формы камня, который, как я вам сказал, сорвался с бруствера, — так и вследствие величины этого камня (довольно внушительной), — отчего лечивший его хирург все время склонялся к мысли, что сильные повреждения, произведенные им в паху дяди Тоби, обусловлены были скорее тяжестью камня, нежели его металлической силой, — и это было большое счастье для дяди Тоби, — часто говорил ему хирург.

Отец мой как раз в это время начинал дела в Лондоне и снял дом; а так как между двумя братьями были самые сердечные дружеские отношения и отец мой считал, что дядя Тоби нигде не мог бы получить столь внимательного и заботливого ухода, как у него в доме, — — то он предоставил ему лучшую комнату. — Но еще более красноречивым знаком его дружеских чувств было то, что стоило какому-нибудь знакомому или приятелю войти зачем-либо к нему в дом, как он брал его за руку и вел наверх, непременно желая, чтобы гость навестил его брата Тоби и поболтал часок у изголовья больного.

Рассказ о полученной ране облегчает солдату боль от нее: — так, по крайней мере, думали гости моего дяди, и часто, во время своих ежедневных визитов к нему, они из учтивости, προϊстекавшей из этого убеждения, переводили разговор на его рану, — а от раны разговор обыкновенно переходил к самой осаде.

Беседы эти были чрезвычайно приятны, и дядя Тоби получал от них большое облегчение; они помогли бы ему еще больше, если бы не вовлекали его в кое-какие неподвижные

¹ Лобковая кость (*лат.*).

² Бедренная кость (*лат.*).

³ Подвздошная кость (*лат.*).

затруднения, которые в течение целых трех месяцев сильно задерживали его лечение, так что, не попадись ему под руку средство из них выпутаться, они, наверно, свели бы его в могилу.

В чем заключались затруднения дяди Тоби, — — — вам ни за что не отгадать; — будь это вам под силу, — я бы покраснел; не как родственник, — не как мужчина, — даже не как женщина, — нет, я бы покраснел как автор, поскольку я вменяю себе в особенную заслугу именно то, что мой читатель ни разу еще не мог ни о чем догадаться. И в этом отношении, сэр, я настолько щепетилен и привередлив, что, считай я вас способным составить сколько-нибудь приближающееся к истине представление или мало-мальски вероятное предположение о том, что произойдет на следующей странице, — я бы вырвал ее из моей книги.

Ταράσσει τους Ἀνθρώπους οὐ τὰ Πράγματα
Ἄλλὰ τὰ περὶ τῶν Πραγμάτων Δόγματα.

ГЛАВА I

Я начал новую книгу, чтобы иметь достаточно места для объяснения природы затруднений, в которые вовлечен был дядя Тоби благодаря многочисленным разговорам и расспросам относительно осады Намюра, где он получил свою рану.

Если читатель читал историю войн короля Вильгельма, то я должен ему напомнить, а если не читал, — то я ему сообщаю, что одной из самых памятных атак в эту осаду была атака, произведенная англичанами и голландцами на вершину передового контрэскарпа перед воротами Святого Николая, который прикрывал большой шлюз; в этом месте англичане терпели страшный урон от огня с контргарды и полубастиона Святого Роха. Исход этой горячей схватки, в двух словах, был следующий: голландцы укрепились на контргарде, — англичане же овладели прикрытым путем перед воротами Святого Николая, несмотря на отвагу французских офицеров, которые, пренебрегая опасностью, шпагами защищали гласис.

Так как то была главная атака, очевидцем которой был дядя Тоби в Намюре, — слияние Мааса и Самбры разделяло осаждающую армию таким образом, что операции одной ее части были почти невидны для другой, — то дядя Тоби обыкновенно рассказывал с особенным красноречием и подробностями именно о ней; и его затруднения проистекали главным образом от почти непреодолимых препятствий, которые он встречал при попытках сделать свой рассказ вразумительным и дать настолько ясное представление о всех тонких различиях между эскарпом и контрэскарпом, — гласисом и прикрытым пу-

тем, — — демиллюном и равелином, — чтобы для слушателей его было совершенно понятно, что он имеет в виду и о чем ведет речь.

Даже специалистам нередко случается путать эти термины; — — так что вы не должны удивляться, если при своих стараниях объяснить их и исправить многочисленные ошибочные представления дядя Тоби нередко сбивал с толку своих гостей, а подчас сбивался и сам.

По правде говоря, если гость, которого отец приглашал наверх, не обладал достаточно ясной головой или если дядя Тоби был не в ударе, то все его усилия избежать темноты в таких разговорах обыкновенно ни к чему не приводили.

Рассказ об этом деле получался у дяди Тоби запутанным в особенности потому, — — что при атаке на контрэскарп перед воротами Святого Николая, тянувшийся от берега Мааса до большого шлюза, — — местность была во всех направлениях пересечена таким множеством плотин, канав, ручьев и шлюзов, — — он так безнадежно среди них путался и увязал, что часто не в состоянии был двинуться ни вперед, ни назад, даже для спасения своей жизни; много раз ему приходилось отказываться от атаки только по этой причине.

Эти досадные осечки причиняли моему дяде Тоби Шенди больше волнений, чем вы воображаете; а так как отец, желая сделать брату приятное, беспрерывно приводил к нему все новых и новых приятелей и любопытных, — — бедняге приходилось довольно туго.

Без сомнения, дядя Тоби был человек с большим самообладанием — и умел сохранять пристойный вид, я думаю, не хуже других; — — но понятно, если он не мог выбраться из равелина, не попав в демиллюн, или сойти с прикрытого пути, не свалившись на контрэскарп, не мог перейти плотину, не соскользнув в канаву, — — понятно, как при таких условиях он должен был внутренне раздражаться, он и раздражался, — — и хотя эти маленькие ежечасные неприятности могут показаться мало-важными и не стоящими внимания человеку, не читавшему Гиппократу, однако, кто читал Гиппократу или доктора Джемса Макензи и размышлял о действии страстей и душевного возбуждения на переваривание пищи (отчего не на переваривание раны в такой же степени, как и на переваривание обеда?), — — тот легко поймет, какое резкое обострение боли должен был испытывать дядя Тоби единственно только по этой причине.

Дядя Тоби не в состоянии был философствовать на этот счет; — довольно было, что он так чувствовал, — и, натерпевшись боли и огорчений в течение трех месяцев сряду, он решил тем или иным способом от них избавиться.

Однажды утром лежал он на спине в своей постели, — природа его раны в паху и боль от нее не позволяли ему лежать в другом положении, — как вдруг его осенила мысль, что если бы удалось купить и наклеить на доску такую вещь, как большая карта города и крепости Намюра с окрестностями, то это, вероятно, принесло бы ему облегчение. Я отмечаю здесь желание дяди Тоби иметь под рукой окрестности города и крепости по той причине, что рана была им получена в одном из траверсов, саженях в тридцати от входящего угла траншеи и против исходящего угла полубастиона Святого Роха; — — таким образом, он был почти уверен, что мог бы воткнуть булавку в то самое место, где он стоял, когда его ударило камнем.

Желание дяди Тоби исполнилось, и он, таким образом, не только избавился от массы докучных объяснений, но получил также, как вы увидите, счастливую возможность обзавестись своим коньком.

ГЛАВА II

Затрачиваясь на устройство подобного угощения, вы сделаете большую глупость, если так худо распорядитесь, что дадите вашим критикам и господам с разборчивым вкусом его разбранить; а вы их скорее всего к этому побудите, не послав им приглашения или, что ничуть не менее оскорбительно, сосредоточив все ваше внимание на остальных гостях, как будто за столом у вас не было ни одного (профессионального) критика.

— — — Я держусь настороже в отношении обеих этих оплошностей; в самом деле, я, во-первых, нарочно оставил полдюжины свободных мест, — а во-вторых, я с ними со всеми чрезвычайно обходителен. — Джентльмены, ваш покорный слуга уверяет вас, что ни одно общество не могло бы доставить ему и половины такого удовольствия, — видит бог, я рад вас принять, — прошу только вас быть как дома, садитесь без церемонии и кушайте на здоровье.

Я сказал, что оставил шесть мест, и готов был уже простереть свою любезность еще далее, освободив для них также и седьмое место, — то, у которого стою я сам; — но тут один

критик (не профессиональный, — а природный) сказал мне, что я неплохо справился со своими обязанностями, так что я немедленно его займу, в надежде, однако, что в следующем году мест у меня будет гораздо больше.

— — — Но каким же образом, скажите на милость, мог ваш дядя Тоби, который, по-видимому, был военным и которого вы изображаете вовсе не глупым, — каким образом мог он быть в то же самое время таким путаным, тупым, бестолковым человеком, как — Убедитесь воочию.

Да, я мог бы ответить вам, сэръ критик, но я считаю это ниже своего достоинства. — — — Это был бы бранный ответ, — — подходящий только для того, кто не в состоянии дать ясный и удовлетворительный отчет о предмете или проникнуть достаточно глубоко в первопричины человеческого невежества и запутанности наших мыслей. Кроме того, такой ответ был бы храбрым, и потому я его отвергаю: ибо хотя он как нельзя лучше шел бы дяде Тоби как солдату, — и не приобрети он в таких атаках привычки насвистывать Лиллибулливо, — он бы, верно, и дал его, потому что был человеком храбрым; все-таки ответ этот для меня совсем не годится. Вы же ясно видите, что я пишу как человек ученый, что даже мои сравнения, мои намеки, мои пояснения, мои метафоры все ученые, — и что я должен подобающим образом выдержать свою роль, а также подобающим образом ее оттенить, — иначе что бы со мной случилось? Да я бы погиб, сэръ! — В ту самую минуту, когда я готовлюсь затворить двери перед одним критиком, я бы пустил к себе двух других.

— — — — Поэтому я отвечаю так:

Скажите, пожалуйста, сэръ, среди прочитанных вами за вашу жизнь книг попался ли вам когда-нибудь «Опыт о человеческом разуме» Локка? — — — Не отвечайте слишком поспешно, — ведь многие, я знаю, ссылаются на эту книгу, не прочитав ее, и многие ее читали, ничего в ней не понимая. — Если вы принадлежите к числу тех или других, я в двух словах — ведь пишу я с просветительными целями — скажу вам, что это за книга. — Это история. — История! Чья? Чего? Откуда? С каких пор? — Не горячитесь. — — Книга эта, сэръ, посвящена истории (и за одно это ее можно порекомендовать каждому) того, что происходит в человеческом уме; и если вы скажете о названной книге только это и ничего больше, поверьте, вы будете в метафизических кругах далеко не последним человеком.

Но это мимоходом.

Теперь же, если вы решаетесь последовать за мной дальше и заглянуть в самый корень вопроса, то увидите, что причины темноты и путаницы в человеческом уме бывают трех родов.

Во-первых, милостивый государь, притупленность органов чувств. Во-вторых, слабость и мимолетность впечатлений, производимых предметами даже в тех случаях, когда названные органы чувств не притуплены. И в-третьих, подобная решету память, неспособная удерживать то, что она получает. — Кликните Долли, вашу горничную, и я согласен отдать вам свой колпак с колокольчиком, если мне не удастся представить дело это с такой ясностью, что даже Долли все поймет не хуже Мальбранша.

— Вот Долли написала письмо Робину и сунула руку в сумочку, висящую у нее на правом боку, — воспользуйтесь этим случаем и припомните, что на свете нет ничего более подходящего для образного представления и уяснения деятельности наших органов чувств и способностей восприятия, чем та вещица, которую отыскивает рука Долли. — Органы чувств у вас не настолько притуплены, чтобы мне надо было подсказывать вам, сэр, что это — палочка красного сургуча.

Если сургуч растопился и капнул на письмо, а Долли слишком долго шарит за наперстком, так что сургуч тем временем успевае застыть, то наперсток не оставит на нем отпечатка при умеренном нажиме, которого обыкновенно бывает достаточно. Прекрасно. Если Долли, за отсутствием сургуча, пожелает запечатать свое письмо воском, или ее сургуч окажется слишком мягким, — то хотя и получится отпечаток, однако он не сохранится — как бы сильно Долли ни прижимала конец наперстка; и, наконец, если даже сургуч и наперсток хороши, но Долли спешит и запечатывает письмо небрежно, потому что раздаеся звонок ее госпожи, — во всех трех случаях отпечаток, оставленный наперстком, будет так же мало похож на свой образец, как на медный грош.

А теперь извольте знать, что ни одна из этих причин не была причиной путаницы в речах дяди Тоби; именно поэтому я, по примеру великих физиологов, так долго на них останавливался, чтобы показать, откуда она не проистекала.

А откуда она проистекала, я дал понять выше; это обильный источник темноты — и всегда таким останется; — я разумею расплывчатое употребление слов, путавшее даже самые светлые и самые возвышенные умы.

Десять против одного (у Артура), что вы никогда не читали литературных анналов прошедших веков; — а если читали, — то знаете, какие страшные битвы, именуемые логомахиями, порождены были этим расплывчатым словоупотреблением и длились до бесконечности, сопровождаясь таким пролитием желчи и чернил, что люди отзывчивые не могут без слез читать повествования о них.

Благосклонный критик! когда ты взвесишь и применишь во внимание, как часто собственные твои знания, речи и беседы расстраивались и запутывались в разное время по этой, и только по этой, причине; — какой шум и гвалт поднимался на *соборах* по поводу *ὄψια* и *ὑπόστασις* а в *школах* ученых — по поводу силы и по поводу духа, — по поводу эссенций и по поводу квинтэссенций, — по поводу субстанций и по поводу пространства; какая получалась неразбериха на еще более обширных *подмостках* из-за самых малозначащих и неопределенных по смыслу слов; — когда ты это вспомнишь, — тебя перестанут удивлять затруднения дяди Тоби, — ты уронишь слезу жалости на его эскарпы и контрэскарпы, — на его гласисы и прикрытые пути, — на его равелины и демилюны. Отнюдь не и деи, — боже упаси! — опасностью его жизни угрожали слова.

ГЛАВА III

Раздобыв карту Намюра по своему вкусу, дядя Тоби немедленно принялся самым усердным образом ее изучать: а так как для него важнее всего было выздороветь, выздоровление же его зависело, как вы знаете, от умиротворения страстей и душевных волнений, то ему, понятно, надо было постараться настолько овладеть своим предметом, чтобы быть в состоянии говорить о нем совершенно спокойно.

После двухнедельных усердных и изнурительных занятий, которые, кстати сказать, не пошли впрок его ране в паху, — дядя Тоби способен был, с помощью некоторых примечаний на полях под текстом фолианта да переведенной с фламандского «Военной архитектуры и пиробаллогии» Гобезия, придать своей речи достаточно ясности; а не прошло и двух месяцев, — как он стал прямо-таки красноречив и не только мог повести в

¹ Сущность и субстанция (ипостась) (*греч.*).

полном порядке атаку на передовой контрэскарп, — но, проникнув за это время в военное искусство гораздо глубже, чем было необходимо для его первоначальной цели, — дядя Тоби мог также переправиться через Маас и Самбру, совершать диверсии до самой линии Вобана, аббатства Сальсин и т. д. и давать своим посетителям такое же отчетливое описание всех других атак, как и атаки на ворота Святого Николая, в которой он имел честь получить свою рану.

Но жажда знаний, подобно жажде богатств, растет вместе с ее удовлетворением. Чем больше дядя Тоби изучал свою карту, тем больше она приходилась ему по вкусу, — в силу такого же процесса электрической ассимиляции, как и тот, посредством которого, по моему мнению, уже вам изложенному, души знатоков, благодаря долгому трению и тесному соприкосновению с предметом своих занятий, имеют счастье стать под конец совершенными — картинными, — мотыльковыми, — скрипичными.

Чем больше пил дядя из этого сладостного источника знания, тем более жгучей и нестерпимой делалась его жажда: так что не истек еще до конца первый год его заключения, а уже едва ли был укрепленный город в Италии или во Фландрии, плана которого он бы не раздобыл тем или иным способом, — читая, по мере их приобретения, и тщательно сопоставляя между собой истории осад этих городов, их разрушений, перестройки и укрепления заново; все это делал он с таким глубоким вниманием и наслаждением, что забывал себя, свою рану, свое заключение и свой обед.

На другой год дядя Тоби купил Рамолли и Катанео в переводе с итальянского, — а также Стевина, Маролиса, шевалье де Виля, Лорини, Коегорна, Шейтера, графа де Пагана, маршала Вобана и мосье Блонделя вместе с почти таким же количеством книг по военной архитектуре, какое найдено было у Дон Кихота о рыцарских подвигах, когда священник и цирюльник произвели набег на его библиотеку.

К началу третьего года, а именно в августе шестьсот девяносто девятого года, дядя Тоби нашел нужным ознакомиться немного с баллистикой. — Рассудив, что лучше всего почерпнуть свои знания из первоисточника, он начал с Н. Тарталья, который первый, кажется, открыл ошибочность мнения, будто пушечное ядро производит свои опустошения, двигаясь по прямой линии. — Н. Тарталья доказал дяде Тоби, что это вещь невозможная.

— — — Нет конца разысканию истины!

Едва только дядя Тоби удовлетворил свою любознательность насчет пути, по которому не следует пушечное ядро, как незаметно он был увлечен далее и решил про себя поискать и найти путь, по которому оно следует; для этого ему пришлось снова отправиться в дорогу со стариком Мальтусом, которого он усердно проштудировал. Далее он перешел к Галилею и Торричелли и нашел у них непогрешимо доказанным при помощи некоторых геометрических выкладок, что названное ядро в точности описывает параболу — или, иначе, гиперболу — и что параметр, или *latus rectum*, конического сечения, по которому движется ядро, находится в таком же отношении к расстоянию и дальности выстрела, как весь пройденный ядром путь к синусу двойного угла падения, образуемого казенной частью орудия на горизонтальной плоскости; и что полупараметр — — — стоп! дорогой дядя Тоби, — стоп! — ни шагу дальше по этой тернистой и извилистой стезе, — опасен каждый шаг дальше! опасны излучины этого лабиринта! опасны хлопоты, в которые вовлечет тебя погоня за этим манящим призраком — Знанием! — Ах, милый дядя, прочь — прочь — прочь от него, как от змеи! — Ну разве годится тебе, добрый мой дядя, просиживать ночи напролет с раной в паху и горячить себе кровь изнурительными бессонницами? — Увы! они обострят твои боли, — задержат выделение пота, — истребят твою бодрость, — разрушат твои силы, — высушат первичную твою влагу, — создадут в тебе предрасположение к запорам, — подорвут твоё здоровье, — вызовут раньше времени все старческие немощи. — Ах, дядя! милый дядя Тоби!

ГЛАВА IV

Я бы гроша не дал за искусство писателя, который не понимает того, — что даже наилучший в мире неприятельный рассказ, если его поместить сразу после этого прочувствованного обращения к дяде Тоби, — покажется читателю холодным и бесцветным; — поэтому я и оборвал предыдущую главу, хотя еще далеко не закончил своего повествования.

— — — Писатели моего склада держатся одного общего с живописцами правила. В тех случаях, когда рабское копирование вредит эффектности наших картин, мы избираем меньшее зло, считая более извинительным погрешить против

истины, чем против красоты. — Это следует понимать *cum grano salis*¹, но, как бы там ни было, — параллель эта проведена здесь, собственно, только для того, чтобы дать остыть слишком горячему обращению, — и потому несущественно, одобряет или не одобряет ее читатель в каком-либо другом отношении.

Заметив в конце третьего года, что параметр и полупараметр конического сечения растрavляют его рану, дядя Тоби в сердцах оставил изучение баллистики и весь отдался практической части фортификации, вкус к которой, подобно напряжению закрученной пружины, вернулся к нему с удвоенной силой.

В этот год дядя впервые изменил своей привычке надевать каждый день чистую рубашку, — начал отсылать от себя цирюльника, не побрившись, — и едва давал хирургу время перевязать себе рану, о которой теперь так мало беспокоился, что за семь перевязок ни разу не спросил о ее состоянии. — Как вдруг, — совершенно неожиданно, ибо перемена произошла с быстротой молнии, — он затосковал по своему выздоровлению, — стал жаловаться моему отцу, сердился на хирурга, — и однажды утром, услышав на лестнице его шаги, захлопнул свои книги, отшвырнул прочь инструменты и стал осыпать его упреками за слишком затянувшееся лечение, которое, — сказал он, — давно уже пора было закончить. — Долго говорил он о перенесенных им страданиях и о томительности четырехлетнего печального заточения, — прибавив, что если бы не приветливые взгляды и не дружеские утешения лучшего из братьев, — он бы давно уже свалился под тяжестью своих несчастий. — Отец находился тут же. Красноречие дяди Тоби вызвало слезы у него на глазах, — настолько было оно неожиданно. — Дядя Тоби по природе не был красноречив, — тем более сильный эффект произвело его выступление. — Хирург смутился; — не оттого, что не было причин для такого или даже большего нетерпения, — но и оно было неожиданно: четыре года ходил он за больным, а еще ни разу не случилось ему видеть, чтобы дядя Тоби так себя вел; — ни разу не произнес он ни одного гневного или недовольного слова; — он весь был терпение, — весь покорность.

Проявляя терпеливость, мы иногда теряем право на то, чтобы нас пожалели, — но чаще мы таким образом утрачиваем силу жалости. — Хирург был поражен, — но он был прямо ошеломлен, когда дядя Тоби самым решительным топом потребовал, чтобы его рана была вылечена немедленно, — — иначе он

¹ С крупницей соли, то есть иносказательно (*лат.*).

обратится к мосье Ронжа, лейб-хирургу короля, чтобы тот наступил его место.

Жажда жизни и здоровья заложена в самой природе человека; — любовь к свободе и простору ее родная сестра. Оба эти чувства свойственны были дяде Тоби наравне со всеми людьми и, — и каждого из них было бы достаточно, чтобы объяснить его жгучее желание поправиться и выходить из дому; — но я уже говорил, что в нашей семье все делается не так, как у людей; — и, подумав о времени и способе, каким это страстное желание проявилось в настоящем случае, проницательный читатель догадается, что оно вызвано было еще какой-то причиной или причудой, сидевшей в голове у дяди Тоби. — Это верно, и предметом следующей главы как раз и будет описание этой причины или причуды. Надо с этим поспешить, потому что, признаюсь, пора уже вернуться к местечку у камина, где мы покинули дядю Тоби посередине начатой им фразы.

ГЛАВА V

Когда человек отдает себя во власть господствующей над ним страсти, — или, другими словами, когда его конек закусывает удила, — прощай тогда трезвый рассудок и осмотрительность!

Рана дяди Тоби почти совсем не давала о себе знать, и как только хирург оправился от изумления и получил возможность говорить, — он сказал, что ее как раз начало затягивать и что если не произойдет новых отслоений, никаких признаков которых не замечается, — то через пять-шесть недель она совсем зарубцуется. Такое же число олимпиад показалось бы дяде Тоби двенадцать часов тому назад более коротким сроком. — Теперь мысли у него сменялись быстро; — он сгорал от нетерпения осуществить свой замысел; — вот почему, ни с кем больше не посоветовавшись, — что, к слову сказать, я считаю правильным, когда вы заранее решили не слушаться ничьих советов, — он секретно приказал Триму, своему слуге, упаковать корпию и пластыри и нанять карету четверкой, распорядившись, чтобы она была подана ровно в двенадцать часов, когда мой отец, по дядиным сведениям, должен был находиться на бирже. — Затем, оставив на столе банковый билет хирургу за его труды и письмо брату с выражением сердечной благо-

дарности, — дядя Тоби уложил свои карты, книги по фортификации, инструменты и т. д. — и, при поддержке костыля с одной стороны и Трима с другой, — сел в карету и отбыл в Шенди-Холл.

Причины этого внезапного отъезда, или, вернее, поводы к нему, были следующие:

— Стол в комнате дяди Тоби, за которым он сидел накануне переворота, окруженный своими картами и т. д., — был несколько маловат для бесконечного множества обыкновенно загромождавших его больших и малых научных инструментов; — протянув руку за табакеркой, дядя нечаянно свалил на пол циркуль, а нагнувшись, чтобы его поднять, задел рукавом готовальню и щипцы для снятия нагара, — и так как ему положительно не везло, то при попытке поймать щипцы на лету — он уронил со стола мосье Блонделя, а на него графа де Пагана.

Такому калеке, как дядя Тоби, нечего было и думать о восстановлении порядка самостоятельно, — он позвонил своему слуге Триму. — Трим! — сказал дядя Тоби, — посмотри-ка, что я тут натворил. — Мне надо бы завести что-нибудь поудобнее, Трим. — Не можешь ли ты взять линейку и смерить длину и ширину этого стола, а потом заказать мне вдвое больший? — Так точно, с позволения вашей милости, — отвечал с поклоном Трим, — а только я надеюсь, что ваша милость вскоре настолько поправится, что сможет переехать к себе в деревню, а там, — коли вашей милости так по сердцу фортификация, мы эту штуку разделаем под орех.

Должен вам здесь сообщить, что этот слуга дяди Тоби, известный под именем Трима, служил капралом в дядиной роте; — его настоящее имя было Джеймс Батлер, — но в полку его прозвали Тримом, и дядя Тоби, если только не бывал очень сердит на капрала, никогда иначе его не называл.

Рана от мушкетной пули, попавшей ему в левое колено в сражении при Ландене, за два года до дела под Намюром, сделала беднягу негодным к службе; — но так как он пользовался в полку общей любовью и был вдобавок мастер на все руки, то дядя Тоби взял его к себе в услужение, и Трим оказался чрезвычайно полезен, исполняя при дяде Тоби в лагере и на квартире обязанности камердинера, стремянного, цирюльника, повара, портного и сидельца; он ходил за дядей и ему прислуживал с великой верностью и преданностью во всем.

Зато и любил его дядя Тоби, в особенности же его привязывала к своему слуге одинаковость их познаний. — Ибо кап-

рал Трим (как я его отныне буду называть), прислушиваясь в течение четырех лет к рассуждениям своего господина об укрепленных городах и пользуясь постоянной возможностью заглядывать и совать нос в его планы, карты и т. д., не только перенял причуды своего господина в качестве его слуги, хотя сам и не садился на дядиного конька, — — — сделал немалые успехи в фортификации и был в глазах кухарки и горничной не менее сведущим в науке о крепостях, чем сам дядя Тоби.

Мне остается положить еще один мазок для завершения портрета капрала Т р и м а, — единственное темное пятно на всей картине. — Человек любил давать советы, — или, вернее, слушать собственные речи; но его манера держаться была необыкновенно почтительна, и вы без труда могли заставить его хранить молчание, когда вы этого хотели; но стоило языку его завертеться, — и вы уже не в силах были его остановить: — — язык у капрала был чрезвычайно красноречив. — — Обильное уснащение речи *вашей милостью* и крайняя почтительность капрала Трима говорили с такой силой в пользу его красноречия, — что как бы оно вам ни докучало, — — вы не могли всерьез рассердиться. Что же касается дяди Тоби, то он относился к этому благодушно, — или, по крайней мере, этот недостаток Трима никогда не портил отношения между ними. Дядя Тоби, как я уже сказал, любил Трима; — кроме того, он всегда смотрел на верного слугу — как на скромного друга, — он не мог бы решиться заставить его замолчать. — Таков был капрал Трим.

— Смее просить дозволения подать вашей милости совет, — продолжал Т р и м, — и сказать, как я думаю об этом деле. — Сделай одолжение, Т р и м, — отвечал дядя Т о б и, — говори, — говори, не робей, что ты об этом думаешь, дорогой м о й. — Извольте, — отвечал Трим (не с понуренной головой и почесывая в затылке, как неотесанный мужик, а) откинув назад волосы и становясь навытяжку, точно перед своим взводом.

— — — Я думаю, — сказал Трим, выставя немного вперед свою левую, хроющую ногу — и указывая разжатой правой рукой на карту Дюнкерка, пришпиленную к драпировке, — я думаю, — сказал капрал Т р и м, — покорно склоняясь перед разумнейшим мнением вашей милости, что эти рavelины, бастионы, куртины и горнверки — жалость и убожество здесь на бумаге, — безделица по сравнению с тем, что ваша милость и я могли бы соорудить, будь мы с вами в деревне и имей мы в своем распоряжении четверть или треть акра земли, на которой мы могли бы хозяйничать как нам вздумается. Наступает

л е т о , — продолжал Т р и м , — и вашей милости можно будет выходить на воздух и давать мне нографию — — (— Говори ихнографию , — заметил дядя) — города или крепости, которые вашей милости угодно будет обложить , — и пусть ваша милость меня расстреляет на гласисе этого города, если я не укреплю его, как будет угодно вашей милости . — Я не сомневаюсь, что ты с этим справишься, Т р и м , — проговорил дядя . — Ведь вашей милости , — продолжал к а п р а л , — надо было бы только наметить мне полигон и точно указать линии и углы . — Мне бы это ничего не стоило , — перебил его дядя . — Я бы начал с крепостного рва, если бы вашей милости угодно было указать мне глубину и ширину . — Я их тебе укажу со всей точностью , — заметил дядя . — По одну руку я бы выкидывал землю к городу для эскарпа, а по другую — к полю для контрэскарпа . — Совершенно правильно, Т р и м , — проговорил дядя Т о б и . — И, устроив откосы по вашему плану , — я, с дозволения вашей милости, выложил бы гласис дерном , — как это принято в лучших укреплениях Фландрии, — — — стены и брустверы я, как полагается и как вашей милости известно, тоже отделал бы дерном . — Лучшие инженеры называют его газоном, Т р и м , — сказал дядя Т о б и . — Газон или дерн, не в а ж н о , — возразил Т р и м , — вашей милости известно, что это в десять раз лучше облицовки кирпичом или камнем. — — Я знаю, Трим, что лучше во многих отношениях , — подтвердил дядя Тоби, кивнув головой , — так как пушечное ядро зарывается прямо в газон, не разрушая стенок, которые могут засыпать мусором ров (как это случилось у ворот Святого Николая) и облегчить неприятелю переход через него.

— Ваша милость понимает эти дела , — отвечал капрал Т р и м , — лучше всякого офицера армии его величества; — — но ежели бы вашей милости угодно было отменить заказ стола и распорядиться о нашем отъезде в деревню, я бы стал работать как лошадь по указаниям вашей милости и соорудил бы вам такие укрепления, что пальчики оближешь, с батареями, крытыми ходами, рвами и палисадами , — словом, за двадцать миль кругом все бы приезжали поглядеть на них.

Дядя Тоби вспыхнул, как огонь, при этих словах Трима: — но то не была краска вины , — или стыда , — или гнева; — то была краска радости; — его воспламенили проект и описание капрала Трима . — Трим! — воскликнул дядя Т о б и , — довольно, замолчи . — Мы могли бы начать кампанию , — продолжал Т р и м , — в тот самый день, как выступят в поход его величество и союзники, и разрушать тогда город за городом с

той же быстротой. — Трим, — остановил его дядя Тоби, — ни слова больше. — Ваша милость, — продолжал Трим, — могли бы в хорошую погоду сидеть в своем кресле (при этом он показал пальцем на кресло) — и давать мне приказания, а я бы — — — Ни слова больше, Трим, — проговорил дядя Тоби — — Кроме того, ваша милость не только получили бы удовольствие и приятно проводили время, но дышали бы также свежим воздухом, делали бы моцион, нагуляли бы здоровье, — и в какой-нибудь месяц зажила бы рана вашей милости. — Довольно, Трим, — сказал дядя Тоби (опуская руку в карман своих штанов), — проект твой мне ужасно нравится. — И коли угодно вашей милости, я сию минуту пойду куплю саперный заступ, который мы возьмем с собой, и закажу лопату и кирку вместе с двумя... — Больше ни слова, Трим, — воскликнул дядя Тоби вне себя от восхищения, подпрыгнув на одной ноге, — — и, сунув гинею в руку Трима, — — Трим, — проговорил дядя Тоби, — больше ни слова, — а спустись, голубчик Трим, сию минуту вниз и мигом принеси мне поужинать.

Трим сбежал вниз и принес своему господину поужинать, — совершенно зря: — план действий Трима так прочно засел в голове дяди Тоби, что еда не шла ему на ум. — Трим, — сказал дядя Тоби, — отведи меня в постель. — Опять никакого толку. — Картина, нарисованная Тримом, воспламенила его воображение, — дядя Тоби не мог сомкнуть глаз. — Чем больше он о ней думал, тем обворожительней она ему представлялась; — так что еще за два часа до рассвета он пришел к окончательному решению и обдумал во всех подробностях план совместного отъезда с капралом Тримом.

В деревне Шенди, возле которой расположено было поместье моего отца, у дяди Тоби был собственный приветливый домик, завещанный ему одним стариком дядей вместе с небольшим участком земли, который приносил около ста фунтов годового дохода. К дому примыкал огород площадью в пол-акра, — а в глубине огорода, за высокой живой изгородью из тисовых деревьев, была лужайка как раз такой величины, как хотелось капралу Триму. — Вот почему, едва только Трим произнес слова: «четверть или треть акра земли, на которой мы могли бы хозяйничать как нам вздумается», — — как эта самая лужайка мигом всплыла в памяти и загорелась живыми красками перед мысленным взором дяди Тоби; — — — это и было материальной причиной появления румянца на его щеках, или, по крайней мере, яркости этого румянца, о которой сказано было выше.

Никогда любовник не спешил к своей возлюбленной с более пылкими надеждами, чем дядя Тоби к своей лужайке, чтобы насладиться ею наедине; — говорю: наедине, — ибо она укрыта была от дома, как уже сказано, высокой изгородью из тисовых деревьев, а с трех других сторон ее защищали от взоров всех смертных дикий остролист и густой цветущий кустарник; — таким образом, мысль, что его здесь никто не будет видеть, не в малой степени повышала предвкушаемое дядей Тоби удовольствие. — Пустая мечта! Какие бы густые насаждения ни окружали эту лужайку, — — какой бы ни казалась она укромной, — надо быть слишком наивным, милый дядя Тоби, собираясь наслаждаться вещью, занимающей целую треть а к р а , — так, чтобы никто об этом не знал!

Как дядя Тоби и капрал Трим справились с этим делом, — и как протекали их кампании, которые отнюдь не были бедны событиями, — это может составить небезынтересный эпизод в завязке и развитии настоящей драмы. — Но сейчас сцена должна перемениться — и перенести нас к местечку у камина в гостиной Шенди.

ГЛАВА VI

— — — Что у них там творится, братец? — спросил мой отец. — Я думаю, — отвечал дядя Тоби, вынув, как сказано, при этих словах изо рта трубку и вытряхивая из нее золу, — я думаю, братец, — отвечал он, — что нам не худо было бы позвонить.

— Послушай, Обадия, что значит этот грохот у нас над головой? — спросил отец. — Мы с братом едва слышим собственные слова.

— С э р , — отвечал Обадия, делая поклон в сторону своего левого плеча, — госпоже моей стало очень худо. — А куда это несется через сад Сузанна, точно ее собрались насилловать? — — С э р , — отвечал Обадия, — она бежит кратчайшим путем в город за старой повивальной бабкой. — — — Так седлай коня и скачи сию минуту к доктору Слопу, акушеру, засвидетельствуй ему наше почтение — и скажи, что у госпожи твоей начались родовые муки — и что я прошу его как можно скорее прибыть сюда с тобой.

— Очень странно, — сказал отец, обращаясь к дяде Тоби, когда Обадия затворил дверь, — что при наличии поблизости

такого сведущего врача, как доктор С л о и , — жена моя до последнего мгновения не желает отказаться от своей нелепой причуды доверить во что бы то ни стало жизнь моего ребенка, с которым уже случилось одно несчастье, невежеству какой-то старухи; — — и не только жизнь моего ребенка, братец, — но также и собственную жизнь, а с нею вместе жизнь всех детей, которых я мог бы еще иметь от нее в будущем.

— Может быть, братец, — отвечал дядя Т о б и , — моя невестка поступает так из экономии. — Это — экономия на обедах пудинга, — возразил отец: — — доктору все равно придется платить, будет ли он принимать ребенка или нет, — в последнем случае даже больше, — чтобы не выводить его из терпения.

— — В таком случае, — сказал дядя Т о б и в простоте сердца, — поведение ее не может быть объяснено ничем иным, — как только стыдливостью. — Моя невестка, по всей вероятности, — продолжал он, — не хочет, чтобы мужчина находился так близко возле ее... — Я не скажу, закончил ли на этом свою фразу дядя Т о б и или нет; — — в его интересах предположить, что закончил, — — так как, я думаю, он не мог бы прибавить ни одного слова, которое ее бы улучшило.

Если, напротив, дядя Т о б и не довел своего периода до самого конца, — то мир обязан этим трубке моего отца, которая неожиданно сломалась, — один из великолепных примеров той фигуры, служащей к украшению ораторского искусства, которую риторы именуют умолчанием. — Господи боже! Как *rosso più* и *rosso meno*¹ итальянских художников — нечувствительное *больше* или *меньше* определяет верную линию красоты в предложении, так же как и в статуе! Как легкий нажим резца, кисти, пера, смычка *et caetera*² дает ту истинную полноту выражения, что служит источником истинного удовольствия! — Ах, милые соотечественники! — будьте взыскательны; — будьте осторожны в речах своих, — — и никогда, ах! никогда не забывайте, от каких ничтожных частиц зависит ваше красноречие и ваша репутация.

— — Должно быть, моя невестка, — сказал дядя Т о б и , — не хочет, чтобы мужчина находился так близко возле ее... Поставьте здесь *тире*, — получится умолчание. — Уберите *тире* — и напишите: *за да*, — выйдет непристойность. — Зачеркните: *за да*, и поставьте: *крытого хода*, — вот вам метафора; — а так

¹ Немного больше и немного меньше (*итал.*).

² И так далее (*лат.*).

как дядя Тоби забил себе голову фортификацией, — то я думаю, что если бы ему было предоставлено что-нибудь прибавить к своей фразе, — он выбрал бы как раз это слово.

Было ли у него такое намерение или нет, — и случайно ли сломалась в критическую минуту трубка моего отца или он сам в гневе сломал ее, — выяснится в свое время.

ГЛАВА VII

Хотя отец мой был превосходным натурфилософом, — в нем было также нечто от моралиста; вот почему, когда его трубка разломалась пополам, — ему бы надо было только — в качестве такового — взять два куска и спокойно бросить их в огонь. — Но он этого не сделал; — он их швырнул изо всей силы; — и чтобы придать своему жесту еще больше выразительности, — он вскочил на ноги.

Было немного похоже на то, что он вспылил; — характер его ответа дяде Тоби показал, что так оно и случилось.

— Не хочет, — сказал отец, повторяя слова дяди Тоби, — чтобы мужчина находился так близко возле ее... Ей-богу, братец Тоби! вы истошили бы терпение Иова; — а я, и не имея его терпения, несу, кажется, все постигшие его наказания.

— — Каким образом? — Где? — В чем? — — Почему? — По какому поводу? — проговорил дядя Тоби в полнейшем недоумении. — — Подумать только, — отвечал отец, — чтобы человек дожил до вашего возраста, братец, и так мало знал женщин! — Я их совсем не знаю, — возразил дядя Тоби, — и думаю, — продолжал он, — что афронт, который я потерпел в деле с вдовой Водмен через год после разрушения Дюнкерка, — потерпел, как вы знаете, только благодаря полному незнанию прекрасного пола, — афронт этот дает мне полное право сказать, что я ровно ничего не понимаю в женщинах и во всем, что их касается, и не притязая на такое понимание. — — Мне кажется, братец, — возразил отец, — вам бы следовало, по крайней мере, знать, с какого конца надо подступать к женщине.

В шедевре Аристотеля сказано, что «когда человек думает о чем-нибудь прошедшем, — он опускает глаза в землю; — но когда он думает о будущем, то поднимает их к небу».

Дядя Тоби, надо полагать, не думал ни о том, ни о другом, — потому что взор его направлен был горизонтально. —

«С какого конца», — проговорил дядя Тоби и, повторяя про себя эти слова, машинально остановил глаза на расщелине, образованной в облицовке камина худо пригнанными изразцами. — С какого конца подступать к женщине! — — Право же, — объявил дядя, — я так же мало это знаю, как человек с луны; и если бы даже, — продолжал дядя Тоби (не отрывая глаз от худо пригнанных изразцов), — я размышлял целый месяц, все равно я бы не мог ничего придумать.

— В таком случае, братец Тоби, — отвечал отец, — я вам скажу.

— Всякая вещь на свете, — продолжал отец (набивая новую трубку), — всякая вещь на свете, дорогой братец Тоби, имеет две ручки. — Не всегда, — проговорил дядя Тоби. — По крайней мере, — возразил отец, — у каждого из нас есть две руки, — что сводится к тому же самому. — Так вот, когда усядешься спокойно и поразмыслишь относительно вида, формы, строения, доступности и сообразности всех частей, составляющих животное, называемое женщиной, да сравнишь их по аналогии — — Я никогда как следует не понимал значения этого слова, — — перебил его дядя Тоби. — — Аналогия, — отвечал отец, — есть некоторое родство и сходство, которые различные... Тут страшный стук в дверь разломал пополам определение моего отца (подобно его трубке) — и в то же самое время обезглавил самое замечательное и любопытное рассуждение, когда-либо зарождавшееся в недрах умозрительной философии; — прошло несколько месяцев, прежде чем отцу представился случай благополучно им разрешиться; — в настоящее же время представляется столь же проблематичным, как и предмет этого рассуждения (принимая во внимание запущенность и бедственное положение домашних наших дел, в которых неудача громоздится на неудаче), — удастся ли мне найти для него место в третьем томе или же нет.

ГЛАВА VIII

Прошло часа полтора неторопливого чтения с тех пор, как Дядя Тоби позвонил и Обадия получил приказание седлать лошадь и ехать за доктором Слопом, акушером; — никто поэтому не вправе утверждать, будто, поэтически говоря, а также принимая во внимание важность поручения, я не дал Обадии

достаточно времени на то, чтобы съездить туда и обратно; — — хотя, говоря прозаически и реалистически, он за это время едва ли даже успел надеть сапоги.

Если слишком строгий критик, основываясь на этом, решит взять маятник и измерить истинный промежуток времени между звоном колокольчика и стуком в дверь — и, обнаружив, что он равняется двум минутам и тринадцати и трем пятым секунды, — вздумает придаться ко мне за такое нарушение единства или, вернее, правдоподобия, времени, — я ему напомню, что идея длительности и простых ее модусов получена единственно только из следования и смены наших представлений — и является самым точным научным маятником; — и вот, как ученый, я хочу, чтобы меня судили в этом вопросе согласно его показаниям, — с негодованием отвергая юрисдикцию всех других маятников на свете.

Я бы, следовательно, попросил моего критика принять во внимание, что от Шенди-Холла до дома доктора Слопа, акушера, всего восемь жалких миль, — и что, пока Обадия ездил к доктору и обратно, я переправил дядю Тоби из Намюра через всю Фландрию в Англию, — продержал его больным почти четыре года, — а затем увез в карете четверкой вместе с капралом Тримом почти за двести миль от Лондона в Йоркшир. — Все это, вместе взятое, должно было приготовить впечатление читателя к выходу на сцену доктора Слопа — не хуже (надеюсь), чем танец, ария или концерт в антракте пьесы.

Если мой строгий критик продолжает стоять на своем, утверждая, что две минуты и тринадцать секунд навсегда останутся только двумя минутами и тринадцатью секундами, — что бы я о них ни говорил; — и что хотя бы мои доводы спасали меня драматургически, они меня губят как жизнеописателя, обращая с этой минуты мою книгу в типичный роман, между тем как ранее она была книгой в смысле жанра отреченной. — — Что же, если меня приперли таким образом к стенке, — я разом кладу конец всем возражениям и спорам моего критика, — доводя до его сведения, что, не отъехал еще Обадия шестидесяти ярдов от конюшни, как встретил доктора Слопа; и точно, он представил грязное доказательство своей встречи с ним — и чуть было не представил также доказательства трагического.

Вообразите себе... Но лучше будет начать с этого новую главу.

Вообразите себе маленькую, приземистую, мешковатую фигуру доктора Слопа, ростом около четырех с половиной футов, с такой широкой спиной и выпяченным на полтора фута брюхом, что они сделали бы честь сержанту конной гвардии.

Таков был внешний вид доктора Слопа. — Если вы читали «Анализ Красоты» Хогарта (а не читали, так советую вам прочесть), — то вы должны знать, что карикатуру на такую внешность и представление о ней можно с такой же верностью дать тремя штрихами, как и тремя сотнями штрихов.

Вообразите же себе такую фигуру, — ибо таков, повторяю, был внешний вид доктора Слопа, — медленно, шагком,ковыляющей по грязи на позвонках маленького плюгавого пони, — приятной масти, — но силы, — увы! — — едва достаточной для того, чтобы семенить ногами под такой ношей, будь даже дороги в сносном состоянии. — Они в нем не находились. — — — Вообразите теперь Обадию, взобравшегося на могучее чудовище — каретную лошадь — и скачущего во весь опор галопом навстречу.

Прошу вас, сэр, уделите минуту внимания картине, которую я вам нарисую.

Если бы доктор Слоп за милю приметил Обадию, несущегося с такой чудовищной скоростью прямо на него по узкой дороге, — — ныряющего, как черт, в топи и болота и всё обдающего грязью при своем приближении, разве подобный феномен, вместе с движущимся вокруг его оси вихрем грязи и воды, — не стал бы для доктора Слопа в его положении предметом более законного страха, нежели худшая из комет Вистона? — О ядре и говорить нечего, то есть о самом Обадии и его каретной лошади. — — — На мой взгляд, одного поднятого ими вихря было бы довольно, чтобы завертеть и унести с собой если не доктора, то, по крайней мере, его пони. Так вот вы представляете себе, — сколь сильными должны были быть ужас и страх пред морем воды, испытываемые доктором Слопом, читая (а сейчас вы именно это сделаете), что он ехал не торопясь в Шенди-Холл и находился уже в шестидесяти ярдах от дома и в пяти ярдах от крутого поворота, образованного острым углом садовой ограды, — на самом грязном участке грязной дороги, — — как вдруг из-за этого угла вылетают бешеным галопом — бац — прямо на него Обадия со своей каретной лошадью! — Кажется, во всем мире невозможно предположить

ничего страшнее подобного столкновения — так беспомощен был доктор Слор! так плохо подготовлен к тому, чтобы выдержать этот сокрушительный удар!

Что ему было делать? — Он перекрестился. — Очень глупо! — Но доктор, сэр, был папист. — Все равно, — лучше бы он держался за луку седла. — Разумеется; — а еще лучше, как показали события, если бы он вовсе ничего не делал; — ибо, осеняя себя крестом, он выронил хлыст, — и при попытке поймать его между коленями и седлом, когда хлыст туда скользнул, он потерял стремя, — а потеряв стремя, потерял равновесие; — в довершение всех этих потерь (которые, кстати сказать, показывают, как мало пользы приносит крестное знамение) несчастный доктор потерял самообладание. Поэтому, не дожидаясь наскока Обадиа, он предоставил пони своей участи, полетев с него кувырком, наподобие и по способу тюка шерсти, и без всяких других последствий от этого падения, кроме того что (опять же как тюк шерсти) дюймов на двенадцать зарылся в грязь самой широкой своей частью.

Обадиа дважды снял шапку перед доктором Слором: — — раз, когда тот падал, — и другой раз, когда он увидел его сидящим. — Несвоевременная учтивость! — — Разве не лучше было ему остановить коня, соскочить на землю и помочь доктору? — Сэр, он сделал все, что мог сделать в своем положении; — однако инерция бега упряжной лошади была так велика, что Обадиа не в состоянии был сделать это сразу; — — трижды описал он круг возле доктора Слора, прежде чем ему удалось остановить своего коня; когда же он наконец в этом успел, то произвел такое извержение грязи, что лучше бы Обадии было находиться за милю оттуда. Словом, никогда еще не бывал доктор Слор так загажен и так пресушествлен, с тех пор как пресуствления вошли в моду.

ГЛАВА X

Когда доктор Слор вошел в гостиную, где мой отец и дядя Тоби рассуждали о природе женщин, — трудно сказать, что их больше поразило: вид доктора Слора или его появление; дело в том, что несчастье случилось с ним так близко от дома, что Обадиа не счел нужным снова усадить его на пони — и привел в комнату так, как он был: не обтертого, не прибранного, не умашенного, всего покрытого пятнами и комьями гря-

зи. — — Недвижен и безгласен, как призрак из «Гамлета», целых полторы минуты стоял доктор в дверях гостиной (Обадия все еще держал его за руку) во всем величии грязи. Спина его и зад, на которые он упал, были совершенно загрязнены, — а все другие части так основательно забрызганы произведенным Обадией извержением, что вы смело могли бы поклестся (без всяких мысленных оговорок), что ни один комочек грязи не пропал даром.

Тут дяде Тоби представился прекрасный случай отыграть-ся и взять верх над моим отцом; — ибо ни один смертный, увидевший доктора Слопа в этом соусе, не стал бы спорить с дядей Тоби, по крайней мере насчет того, «что его невестка, должно быть, не хотела, чтобы такой субъект, как доктор Слор, находился так близко возле ее...». Но то был *argumentum ad hominem*, и вы можете подумать, что дядя Тоби не хотел к нему прибегать, потому что был в нем не очень искусен. — Нет; истинная причина заключалась в том, — что наносить оскорбления было не в его характере.

Появление доктора Слопа в эту минуту было не менее загадочно, чем способ его появления; хотя моему отцу стоило бы только минуту подумать, и он, наверно, разрешил бы загадку; ибо всего неделю тому назад он дал знать доктору Слопу, что мать моя на сносях; а так как с тех пор доктор не получал больше никаких вестей, то с его стороны было естественно, а также очень политично предпринять поездку в Шенди-Холл, что он и сделал, просто для того, чтобы посмотреть, как там идут дела.

Но при решении вставшей перед ним задачи мысли моего отца пошли, к несчастью, по ложному пути; как и мысли упомянутого выше строгого критика, они все вертелись вокруг звона колокольчика и стука в дверь, мерили расстояние между ними и настолько приковали все внимание отца к этой операции, что он не в состоянии был думать ни о чем другом, — обычная слабость величайших математиков, которые так усердно трудятся над доказательством своих положений и настолько при этом истощают все свои силы, что уже не способны ни на какое практически полезное применение доказанного.

Звон колокольчика и стук в дверь сильно подействовали также и на сенсории дяди Тоби, — но они дали его мыслям совсем иное направление: — эти два несовместимые сотрясения воздуха тотчас пробудили в сознании дяди Тоби мысль о великом инженере Стивине. — Какое отношение имел Стевин к этой истории — задача чрезвычайно трудная, — ее надо будет решить, но не в ближайшей главе.

ГЛАВА XI

Писание книг, когда оно делается умело (а я не сомневаюсь, что в моем случае дело обстоит именно так), равносильно беседе. Как ни один человек, знающий, как себя вести в хорошем обществе, не решится высказать в с е , — так и ни один писатель, сознающий истинные границы приличия и благовоспитанности, не позволит себе все обдумать. Лучший способ оказать уважение уму читателя — поделиться с ним по-дружески своими мыслями, предоставив некоторую работу также и его воображению.

Что касается меня, то я постоянно делаю ему эту любезность, прилагая все усилия к тому, чтобы держать его воображение в таком же деятельном состоянии, как и мое собственное.

Теперь его очередь; — я дал ему подробное описание неприглядного падения доктора Слопа и его неприглядного появления в гостиной; — пусть же теперь воображение читателя работает некоторое время без посторонней помощи.

Пусть читатель вообразит, что доктор Сл о п рассказал свое приключение, — такими словами и с такими преувеличениями, как будет угодно его фантазии. — Пусть предположит он, что Обадиа тоже рассказал, что с ним случилось, сопровождая свой рассказ такими жалостными гримасами притворного сочувствия, какие, по мнению читателя, наиболее подходят для противопоставления двух этих фигур. — Пусть он вообразит, что отец мой поднялся наверх узнать о состоянии моей матери; — и, для завершения этой работы фантазии, — пусть он вообразит себе доктора умытого, — — вычищенного, — — выслушавшего соболезнования, поздравления, — обутого в шлепанцы Обадии — и в таком виде направляющегося к дверям с намерением сейчас же приступить к делу.

Тихонько! — тихонько, почтенный доктор Сл о п! — удержи твою родовспомогательную руку; — засунь ее осторожно за пазуху, чтобы она оставалась теплой; — ты недостаточно ясно знаешь, какие препятствия, — неотчетливо представляешь себе, какие скрытые причины мешают ее манипуляциям! — Был ли ты, доктор С л о п , — был ли ты посвящен в тайные статьи торжественного договора, который привел тебя сюда? Известно ли тебе, что в эту самую минуту дочь Люцины занята своим делом у тебя над головой? Увы! — это совершенная истина. — Кроме того, великий сын Пилумна, что ты в состоянии сде-

лать? — Ты пришел сюда невооруженным; — ты оставил дома *tire-tête*, — недавно изобретенные акушерские щипцы, — крошет, — шприц и все принадлежащие тебе инструменты спасения и освобождения. — — — Боже мой! в эту минуту они висят в зеленом байковом мешке, между двумя пистолетами, у изголовья твоей кровати! — Звони; зови; — вели Обадия сестр на каретную лошадь и скакать за ними во весь опор.

— Поторопись, Обадия, — проговорил мой отец, — я дам тебе крону! — А другую, — сказал дядя Тоби.

ГЛАВА XII

— Ваше внезапное и неожиданное прибытие, — сказал дядя Тоби, обращаясь к доктору Слопу (они сидели втроем у камина, когда дядя Тоби начал говорить), — тотчас же привело мне на мысль великого Стевина, который, надо вам сказать, один из любимых моих писателей. — — В таком случае, — заявил мой отец, прибегая к доводу *ad crumenam*, — — ставлю двадцать гиней против одной кроны (которую получит Обадия, когда вернется), что этот Стевин был каким-нибудь инженером, — или писал что-нибудь — прямо или косвенно — об искусстве фортификации.

— Это правда, — отвечал дядя Тоби. — Я так и знал, — сказал отец, — хоть я, клянусь, не вижу, какая может быть связь между внезапным приходом доктора Слопа и трактатом о фортификации: — тем не менее я этого опасался. — — О чем бы мы ни говорили, братец, — пусть предмет разговора будет самым чуждым и неподходящим для вашей излюбленной темы, — вы непременно на нее собьетесь. Я не желаю, братец Тоби, — продолжал отец, — решительно не желаю до такой степени засорять себе голову куртинами и горнверками. — — — О, я в этом уверен! — воскликнул доктор Слор, перебивая его, и громко расхохотался, довольный своим каламбуром.

Даже критик Деннис не чувствовал столь глубокого отвращения, как мой отец, к каламбурам и ко всему, что их напоминало, — — они его всегда раздражали; — но прервать каламбуром серьезное рассуждение было, по его словам, все равно что дать щелчка по носу; — он не видел никакой разницы.

— Сэр, — сказал дядя Тоби, обращаясь к доктору Слопу, — — куртины, о которых говорит мой брат Шенди, не имеют

никакого отношения к кроватям, — хоть, я знаю, дю Канж говорит, что «от них, по всей вероятности, получили свое название гардины у кровати»; — равным образом горнверки, или рогатые укрепления, о которых он говорит, не имеют решительно ничего общего с рогатым украшением обманутого мужа. — Куртина, сэръ, есть термин, которым мы пользуемся в фортификации для обозначения части стены или вала, расположенной между двумя бастионами и их соединяющей. — Осаждающие редко решаются направлять свои атаки непосредственно на куртины по той причине, что последние всегда хорошо фланкированы! (Так же обстоит дело и с гардинами, — со смехом сказал доктор Слор.) Тем не менее, — продолжал дядя Тоби, — для большей надежности мы обыкновенно строим перед ними рavelины, стараясь их по возможности выносить за крепостной fossé, или ров. — Люди невоенные, которые мало понимают в фортификации, смешивают рavelин с демилюном, — хотя это вещи совершенно различные; — не по виду своему или конструкции, — мы их строим совершенно одинаково: — они всегда состоят из двух фасов, образующих выдвинутый в поле угол, с горжами, проведенными не по прямой линии, а в форме полумесяца. — В чем же тогда разница? (спросил отец с некоторым раздражением). — В их положении, братец, — отвечал дядя Тоби: — когда рavelин стоит перед куртиной, тогда он рavelин; когда же рavelин стоит перед бастионом, тогда рavelин уже не рavelин; — тогда он демилюн: — равным образом демилюн есть демилюн, и ничего больше, когда он стоит перед бастионом; — но если бы ему пришлось переменить место и расположиться перед куртиной, — он бы не был больше демилюном: демилюн в этом случае не демилюн; он всего только рavelин. — Я думаю, — сказал отец, — что ваша благородная наука обороны имеет свои слабые стороны, — как и все прочие науки.

— Что же касается горнверков (ох-ох! — вздохнул отец), о которых заговорил мой брат, — продолжал дядя Тоби, — то они составляют весьма существенную часть внешних укреплений; — французские инженеры называют их *ouvrages à cornes*, и мы их обыкновенно сооружаем для прикрытия наиболее слабых, по нашему предположению, пунктов; — они образуются двумя земляными насыпями, или полубастионами, и с виду очень красивы; — если вы ничего не имеете против маленькой прогулки, я берусь вам показать один горнверк, стоящий того, чтобы на него поглядеть. — Нельзя отрицать, — продолжал дядя Тоби, — что, будучи увенчаны, они гораздо сильнее; но тогда они обходятся очень дорого и занимают слишком много

места; таким образом, но моему мнению, они особенно полезны для прикрытия или защиты передней части укрепленного лагеря; иначе двойной теналь... — Клянусь матерью, которая нас родила, — воскликнул отец, не в силах долее сдерживаться, — вы и святого вывели бы из терпения, братец Тоби; — ведь вы не только, не понимаю каким образом, снова окунулись в излюбленный ваш предмет, но голова ваша так забита этими проклятыми укреплениями, что в настоящую минуту, когда жена моя мучится родами, — и до вас доносятся ее крики, — вы знать ничего не знаете и непременно хотите увести повивальщика. — Акушера, если вам угодно, — поправил отца доктор Слорп. — Судовольствием, — отвечал отец, — мне все равно, как вас называют, — я только хочу послать к черту всю эту фортификацию со всеми ее изобретателями; — она свела в могилу тысячи людей — и в конце концов сведет меня. — Я не желаю, братец Тоби, засорять себе мозги сапами, минами, блиндами, турами, палисадами, рavelинами, демилюнами и прочей дребеденью, хотя бы мне подарили Намюр со всеми фламандскими городами в придачу.

Дядя Тоби терпеливо сносил обиды; — не по недостатку храбрости, — я уже говорил вам в пятой главе настоящей второй книги, что он был человек храбрый, — а здесь прибавлю, что в критических случаях, когда храбрость требовалась обстоятельствами, я не знаю человека, под чьей защитой я бы сознал себя в большей безопасности. Это произошло и не от бесчувственности или от тупости его ума; — ибо он воспринимал нанесенное ему отцом оскорбление так же остро, как и самый чувствительный человек; — но он был кроткого, миролюбивого нрава, — в нем не содержалось ни капли сварливости; — все в нем дышало такой добротой! У дяди Тоби не нашлось бы жестокости отомстить даже мухе.

— Ступай, — сказал он однажды за столом большущей мухе, жужжавшей у него под носом и ужасно его изводившей в течение всего обеда, — пока наконец ему не удалось, после многих безуспешных попыток, поймать ее на лету; — я тебе не сделаю больно, — сказал дядя Тоби, вставая со стула и переходя через всю комнату с мухой в руке, — я не трону ни одного волоса на голове у тебя: — ступай, — сказал он, поднимая окошко и разжимая руку, чтобы ее выпустить; — ступай с богом, бедняжка, зачем мне тебя обижать? — Свет велик, в нем найдется довольно места и для тебя и для меня.

Мне было всего десять лет, когда это случилось; — но сами поступок дядин больше гармонировал с душевным моим

состоянием в этом склонном к жалости возрасте, так что все существо мое мгновенно замерло в блаженнейшем трепете; — или же на меня подействовало то, как и с каким выражением был он совершен, — и в какой степени и в силу какого тайного волшебства — согретые добротой тон голоса и гармония движений нашли доступ к моему сердцу, — я не знаю; — знаю только, что урок благожелательства ко всем живым существам, преподанный тогда дядей Тоби, так прочно запал мне в душу, что и до сих пор не изгладился из памяти. Нисколько не желая умалять значение всего, что дали мне в этом смысле *litterae humaniores*¹, которыми я занимался в университете, или отрицать пользу, принесенную мне дорого стоившим воспитанием как дома, так и в чужих краях, — я все же часто думаю, что половиной моего человеколюбия обязан я этому случайному впечатлению.

Рассказанный случай может заменить родителям и воспитателям целые томы, написанные на эту тему.

Я не мог положить этот мазок на портрет дяди Тоби той же кистью, какой написал остальные его части, — те части передавали в нем лишь то, что относилось к его *коньку*, — между тем как в настоящем случае речь идет о черте его нравственного характера. В отношении терпеливого перенесения обид отец мой, как, должно быть, давно уже заметил читатель, был вовсе не похож на брата; он отличался гораздо более острой и живой чувствительностью, может быть даже несколько раздражительной: правда, она его никогда не доводила до состояния, сколько-нибудь похожего на злобу, — однако, в случае маленьких трений и неприятностей, которыми так богата жизнь, склонна была проявляться в форме забавного и остроумного брюзжания. — Тем не менее человек он был открытый и благородный, — во всякое время готовый внять голосу убеждения; причем во время этих маленьких припадков раздражения против других, в особенности же против дяди Тоби, которого отец искренне любил, — сам он обыкновенно мучился в десять раз больше, нежели причинял мучений своим жертвам (исключение составляла только история с тетей Диной да случаи, когда бывала затронута какая-нибудь его гипотеза).

Характеры двух братьев, при таком их противопоставлении, взаимно освещали друг друга, в особенности же выгодно в настоящем столкновении по поводу Стевина.

¹ Словесные науки (*лат.*).

Мне нет нужды говорить читателю, если он обзавелся каким-нибудь коньком, — что конек есть самая чувствительная область и что эти незаслуженные удары по коньку дяди Тоби не могли остаться им незамеченными. — Нет, — как выше было сказано, дядя Тоби их чувствовал, и чувствовал очень остро.

Что же он сказал, сэр? — Как поступил? — О, сэр, — он проявил истинное величие! Как только отец перестал оскорблять его конька, — он без малейшего волнения отвернулся от доктора Слопа, к которому обращена была его речь, и посмотрел отцу в глаза с выражением такой доброты на лице, — так кротко, — так по-братски, — с такой неизъяснимой нежностью, — что взгляд его проник отцу в самое сердце. Поспешно поднявшись с кресла, он схватил дядю Тоби за обе руки и сказал: — — Братец Тоби, — виноват пред тобой; — извини, пожалуйста, эту горячность, она досталась мне от матери. — Милый мой, милый брат, — отвечал дядя Тоби, тоже вставая при поддержке отца, — ни слова больше об этом; — прощаю вам от всего сердца, даже если бы вы сказали в десять раз больше, брат. — Однако же неблагородно, — возразил отец, — оскорблять человека, — особенно брата; — но оскорблять такого смиренного брата, — такого безобидного, — такого незлобивого, — это низость, кланюсь небом, это подлость. — — Прощаю вам от всего сердца, брат, — сказал дядя Тоби, — даже если бы вы сказали в пятьдесят раз больше. — — Да и какое мне дело, дорогой мой Тоби, — воскликнул отец, — какое мне дело до ваших развлечений или до ваших удовольствий? Добро б еще, я был в состоянии (а я не в состоянии) умножить их число.

— Брат Шенди, — отвечал дядя Тоби, пристально посмотрев ему в глаза, — вы очень ошибаетесь на этот счет; — ведь вы доставляете мне огромное удовольствие, производя в вашем возрасте детей для семейства Шенди. — — Но этим, сэр, — заметил доктор Слорп, — мистер Шенди доставляет удовольствие также и себе самому. — — Ни капельки, — сказал отец.

ГЛАВА XIII

— Мой брат делает это, — сказал дядя Тоби, — из принципа. — Как хороший семьянин, я полагаю, — сказал доктор Слорп. — Ф! — воскликнул отец, — не стоит об этом говорить.

ГЛАВА XIV

В конце последней главы отец и дядя Тоби продолжали стоять, как Брут и Кассий в заключительной части той сцены, где они сводят между собою счеты.

Произнеся три последние слова, — отец сел; — дядя Тоби рабски последовал его примеру, но только перед тем, как опуститься на стул, он позвонил и велел капралу Триму, дождавшемуся приказаний в прихожей, сходить домой за Стевином: дом дяди Тоби был совсем близко, по другую сторону улицы.

Другой бы прекратил разговор о Стевине; — но дядя Тоби не таил злобы в сердце своем, и потому продолжал говорить на ту же тему, желая показать отцу, что он не сердится.

— Ваше внезапное появление, доктор С л о п , — сказал дядя, возвращаясь к прерванному разговору, — тотчас же привело мне на мысль Стевина. (Отец мой, можете быть уверены, не предлагал больше держать пари о том, кто такой этот Стевин.) — Дело в т о м , — продолжал дядя Т о б и , — что знаменитая парусная повозка, принадлежавшая принцу Морицу и построенная с таким замечательным искусством, что полдюжины пассажиров могли в ней сделать тридцать немецких миль в какое-то совсем ничтожное число минут, — была изобретена великим математиком и инженером Стевином.

— Вы могли б ы , — сказал доктор С л о п , — поберечь вашего слугу (ведь он, бедняга, у вас хромой) и не посылать за Стевиновым описанием этой повозки, потому что на обратном пути из Лейдена через Гаагу я сделал добрых две мили крюку, своротив в Шевенинг с целью ее осмотреть.

— Это п у с т ы к и , — возразил дядя Т о б и , — по сравнению с тем, что сделал ученый Пейреския, который прошел пешком пятьсот миль, считая от Парижа до Шевенинга и обратно, только для того, чтобы ее увидеть, — больше ни для чего.

Некоторые люди терпеть не могут, чтобы их обгоняли.

— Ну и дурак о н , — возразил доктор С л о п . Однако обратите внимание, что сказал он это вовсе не из презрения к Пейрескии, — а потому, что неутомимое мужество этого ученого, проделавшего пешком такой далекий путь единственно из любви к знанию, сводило к нулю подвиг самого доктора Слопа в этом деле. — Ну и дурак этот Пейреския, — повторил о н . —

Отчего же? — возразил отец, беря сторону брата, не только с целью поскорее загладить нанесенное ему оскорбление, которое все не выходило у отца из головы, — но отчасти и потому, что разговор начинал его серьезно интересовать. — Отчего же? — сказал он, — отчего надо бранить Пейрескию или кого-нибудь другого за желание полакомиться тем или другим кусочком подлинного знания? Сам я хоть и ничего не понимаю в этой парусной повозке, — продолжал он, — однако у ее изобретателя, наверно, были большие способности к механике; понятно, я не в силах разобраться, какими философскими принципами он руководился, — — все-таки его машина построена на принципах очень основательных, каковы бы они ни были, иначе она не могла бы обладать теми качествами, о которых говорил мой брат.

— Она ими обладала, если только не была еще более совершенной, — сказал дядя Тоби; — ведь, как изящно выражается Пейреския, говоря о скорости ее движения: *Tam citus erat, quam erat ventus*, что означает, если я не позабыл моей латыни; она была быстрая, как ветер.

— А позвольте узнать, доктор Слоп, — проговорил отец, перебив дядю (и извинившись перед ним за свою неучтивость), — на каких принципах основано было движение этой повозки? — — На очень хитрых принципах, можете быть уверены, — отвечал доктор Слоп; — — и я часто дивился, — продолжал он, обходя вопрос, — почему никто из наших помещиков, живущих на обширных равнинах, вроде нашей (я особенно имею в виду тех, чьи жены еще способны рожать детей), — не попробует какого-нибудь средства передвижения в этом роде; ведь не только оно пришлось бы чрезвычайно кстати в экстренных случаях, которым подвержен прекрасный пол, — лишь бы ветер был попутный, — но сколько также средств сберегло бы применение ветра, который ничего не стоит и которого не надо кормить, вместо лошадей, которые (черт бы их драл) и стоят и жрут ужас сколько.

— Как раз по этой причине, — возразил отец, — то есть потому, что «ветер ничего не стоит и его не надо кормить», — предложение ваше никуда не годится; — ведь именно потребление наших продуктов наряду с их производством дает хлеб голодным, оживляет торговлю, — приносит деньги и поднимает цену наших земель; — признаться, будучи принцем, я щедро награждал бы ученую голову, выдумавшую такие механизмы, — тем не менее я бы строго запретил их употреблять.

Тут отец попал в свою стихию — и пустился было так же пространно рассуждать о торговле, как дядя Тоби рассуждал перед этим о фортификации; — но, к большому ущербу для науки, судьба распорядилась, чтобы ни одно ученое рассуждение, к которому приступал в тот день мой отец, не было им доведено до конца, — — — ибо, едва только открыл он рот, чтобы начать следующую фразу, —

ГЛАВА XV

как вбежал капрал Трим со Стевином. — Но он опоздал: — предмет был полностью исчерпан в его отсутствие, и разговор пошел по другому пути.

— Можешь отнести книгу домой, Трим, — сказал дядя Тоби, кивнув ему.

— Постой, капрал, — сказал отец, желая пошутить, — раскрой-ка ее сначала и посмотри, не найдешь ли ты в ней чего-нибудь о парусной повозке.

Капрал Трим в бытность на военной службе научился повиноваться, не рассуждая; — положив книгу на столик у стены, он начал ее перелистывать. — Не во гнев будь сказано вашей милости, — проговорил Трим, — не могу найти ничего похожего на такую повозку; — все-таки, — продолжал капрал, в свою очередь желая немного пошутить, — я хочу в этом убедиться, с позволения вашей милости. — С этими словами, взяв книгу обеими руками за половинки переплета и отогнув их назад, так что листы свесились вниз, он хорошенько ее встряхнул.

— Э, да никак что-то выпало, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — только не повозка и не похоже на повозку. — Так что же тогда, капрал? — с улыбкой спросил отец. — Я думаю, — отвечал Трим, нагнувшись, чтобы подобрать упавшее, — вещь эта больше похожа на проповедь, — так как начинается она с текста из Писания, с указанием главы и стиха, — и идет дальше, не как повозка, — а как настоящая проповедь.

Все улынулись.

— Понять не могу, — проговорил дядя Тоби, — каким образом какая-то проповедь могла попасть в моего Стевина.

— Я думаю, это проповедь, — стоял на своем Трим; — почерк четкий, так, с позволения ваших милостей, я вам прочи-

таю одну страницу; — ибо, надо вам сказать, Трим любил слушать свое чтение почти так же, как и свою речь.

— Я всегда чувствовал сильное влечение, — сказал отец, — разбираться в вещах, пересекающих мне дорогу в силу вот такого странного стечения обстоятельств; — а так как делать нам больше нечего, по крайней мере до возвращения Обадии, то я был бы вам очень обязан, братец, если бы вы, — доктор Слуп, надеюсь, возражать против этого не будет, — велели капралу прочитать нам одну или две страницы из найденной проповеди, — если у него есть столько же умения, сколько он выказывает охоты. — Смею доложить вашей милости, — сказал Трим, — я целые две кампании во Фландрии исполнял обязанности причетника при полковом священнике. — Он прочитает не хуже меня, — сказал дядя Тоби. — Трим, уверяю вас, был лучшим грамотеем у меня в роте и в первую же очередь получил бы алебарду, не струсил с беднягой несчастье. — Капрал Трим приложил руку к сердцу и низко поклонился своему господину; — затем, опустив свою шляпу на пол и взяв проповедь в левую руку, чтобы правая оставалась свободной, — он выступил, ничтоже сумняшеся, на середину комнаты, где мог лучше видеть своих слушателей и они его также.

ГЛАВА XVI

— Если у вас есть какие-нибудь возражения... — сказал отец, обращаясь к доктору Слупу. — Решительно никаких, — отвечал доктор Слуп; — ведь мы не знаем, на чьей стороне автор этой проповеди; — — ее мог сочинить богослов нашей церкви с такой же вероятностью, как и ваши богословы, — так что мы подвергаемся одинаковому риску. — — Она не на нашей и не на вашей стороне, — сказал Трим, — потому что речь в ней идет только о совести, смею доложить вашим милостям.

Довод Трима развеселил слушателей, — только доктор Слуп, повернувшись лицом к Триму, посмотрел на него немного сердито.

— Начинай, Трим, — и читай внятно, — сказал отец. — Сию минуту, с позволения вашей милости, — отвечал капрал, отведывая поклон своим слушателям и привлекая их внимание легким движением правой руки.

— — Но прежде чем капрал начнет, я должен вам описать его позу, — иначе ваше воображение легко может представить вам его в принужденном положении, — подобранным, — вытянувшимся в струнку, — распределившим тяжесть своего тела на обеих ногах равномерно; — вперившим глаза в одну точку, как на карауле; — с видом решительным, зажав проповедь в левой руке, точно ружье. — Словом, вы были бы склонны нарисовать Трима так, как будто он стоял в своем взводе, готовый идти в атаку. — В действительности поза его не имела ничего общего с только что вами представленной.

Он стоял перед своими слушателями, согнув туловище и наклонив его вперед ровно настолько, чтобы оно образовало угол в восемьдесят пять с половиной градусов на плоскости горизонта; — все хорошие ораторы, к которым я сейчас обращаюсь, прекрасно знают, что это и есть самый убедительный угол падения; — вы можете говорить и проповедовать под любым другим углом; — никто в этом не сомневается; — да так оно и бывает ежедневно; — но с каким результатом, — представляю судить об этом каждому!

Необходимость именно этого угла в восемьдесят пять с половиной градусов, вымеренного с математической точностью, — разве не показывает нам, замечу мимоходом, — какую братскую помощь оказывают друг другу науки и искусства?

Каким чудом капрал Трим, не умевший даже отличить острого угла от тупого, попал прямо в точку; — — был ли то случай или природная способность, верное чутье или подражание, или что-нибудь иное, — все это будет разъяснено в той части настоящей энциклопедии наук и искусств, где подвергаются обсуждению вспомогательные средства красноречия в сенате, на церковной кафедре, в суде, в кофейной, в спальне и у камина.

Он стоял, — я это повторяю для цельности картины, — согнув туловище и немного наклонив его вперед; — правая его нога покоилась прямо под ним, неся на себе семь восьмых всего его веса; — ступня же его левой ноги, изъян которой не причинял никакого ущерба его позе, была немного выдвинута, — не вбок и не вперед, а наискосок; — колено было согнуто, — но не круто, — а так, чтобы поместиться в пределах линии красоты — и, прибавлю, линии научной также: — ибо обратите внимание, что нога должна была поддерживать восьмую часть

его туловища; — таким образом, положение ноги было в этом случае строго определенное, — потому что ни ступня не могла быть выдвинута дальше, ни колено согнуто больше, нежели это допустимо по законам механики для того, чтобы поддерживать восьмую часть его веса, — а также нести ее.

Сказанное рекомендую вниманию художников и, — надо ли добавлять? — ораторов. Думаю, что не надо; ведь если они не будут соблюдать этих правил, — то непременно бухнутя носами в землю.

Вот все, что я хотел сказать о туловище и ногах капрала Трима. — Он свободно, — но не небрежно, — держал проповедь в левой руке, чуть-чуть повыше живота и немного отставив ее от груди; — правая его рука непринужденно висела на боку, как то предписывали природа и законы тяжести, — ладонь ее, однако, была открыта и повернута к слушателям, готовая, в случае надобности, прийти на помощь чувству.

Глаза и лицевые мускулы капрала Трима находились в полной гармонии с прочими частями его тела; — взгляд его был открытый, непринужденный, — достаточно уверенный, — но отнюдь не заносчивый.

Пусть критики не спрашивают, каким образом капрал Трим мог дойти до таких тонкостей; ведь я уже сказал им, что все это получит объяснение. — Во всяком случае, так стоял он перед моим отцом, дядей Тоби и доктором Слопом, — так наклонив туловище, так расставив ноги и настолько придав себе вид оратора, — что мог бы послужить отличной моделью для скульптора; — больше того, я сомневаюсь, чтобы самый ученый кандидат богословия — и даже профессор еврейского языка — способны были внести тут сколько-нибудь существенные поправки.

Трим поклонился и прочитал следующее:

Проповедь

Послание к евреям, XIII, 18

— — — Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. — — —
«Уверены! — Уверены, что имеем добрую совесть!»

— Честное слово, Трим, — сказал отец, прерывая капрала, — ты придаешь этой фразе крайне неподходящее выражение; ты морщишь нос, любезный, и производишь ее таким насмешливым тоном, как если бы проповедник намеревался издеваться над апостолом.

— Он и намеревается, с позволения вашей милости, — отвечал Трим. — Фу! — воскликнул, улыбнувшись, отец.

— Сэр, — сказал доктор Слуп, — Трим несомненно прав; ибо автор проповеди (который, я вижу, протестант) своей колкой манерой разрывать текст апостола ясно показывает, что он намерен издеваться над ним, — если только сама эта манера не есть уже издевательство. — Но из чего же, — удивился отец, — вы так быстро заключили, доктор Слуп, что автор проповеди принадлежит к нашей церкви? — насколько я могу судить на основании сказанного, — он может принадлежать к любой церкви. — Из того, — отвечал доктор Слуп, — что если бы он принадлежал к нашей, — он бы не посмел позволить себе такую вольность, — как не посмел бы схватить медведя за бороду. — Если бы в нашей церкви, сэр, кто-нибудь вздумал оскорбить апостола, — святого, — или хотя бы только отрезанный ноготь святого, — ему бы глаза выцарапали. — Неужто сам святой? — спросил дядя Тоби. — Нет, — отвечал доктор Слуп, — его бы поместили в один старый дом. — А скажите, пожалуйста, — спросил дядя Тоби, — инквизиция — это старая постройка или же в нынешнем вкусе? — В архитектуре я ничего не понимаю, — отвечал доктор Слуп. — С позволения ваших милостей, — сказал Трим, — инквизиция — это мерзвостя... — Пожалуйста, избавь нас от ее описания, Трим, мне противно само имя ее, — сказал отец. — Это ничего не значит, — отвечал доктор Слуп, — у нее есть свои достоинства; я хоть не большой ее защитник, а все-таки в случае, о котором мы говорим, провинившийся скоро научился бы лучше вести себя; и я ему могу сказать, что если он не уймется, так будет предан инквизиции за свои художества. — Помогите ему боже! — сказал дядя Тоби. — Аминь, — прибавил Трим; — ибо господь знает, что у меня есть бедняга брат, который четырнадцать лет томится в ее тюрьмах. — Первый раз слышу, — живо проговорил дядя Тоби. — Как он туда попал, Трим? — Ах, сэр, у вас сердце кровью обольется, когда вы услышите эту печальную повесть, — как оно уже тысячу раз обливалось у меня; — но повесть эта слишком длинна для того, чтобы рассказывать ее сейчас; — ваша милость услышит ее как-нибудь от начала до конца, когда я буду работать возле вас над нашими укреплениями; — в коротких словах: — брат мой Том отправился в должности служителя в Лиссабон — и там женился на одной вдове еврея, державшей лавочку и торговавшей колбасой, что и было, не знаю уж как, причиной того, что его подняли среди ночи с постели, где он спал с женой и двумя маленькими

детьми, и потащили прямо в инквизицию, где, помоги ему б о ж е , — продолжал Трим со вздохом, — вырвавшимся из глубины его сердца, — бедный, ни в чем не повинный парень томится по сей день; — честнее е г о , — прибавил Трим (доставая носовой платок), — человека на свете не было.

— Слезы так обильно полились по щекам Трима, что он не успевал их утирать. — Несколько минут в комнате стояла мертвая тишина. — Верное доказательство сострадания!

— Полно, Т р и м , — проговорил отец, когда увидел, что у бедного парня немного отлегло от сердца, — читай дальше, — и выкинь из головы эту печальную историю; — не обижайся, что я тебя перебил; — только начни, пожалуйста, проповедь сначала: — если ее первая фраза, как ты говоришь, содержит издевательство, то мне бы очень хотелось знать, какой для этого повод подал апостол.

Капрал Трим утер лицо, положил платок в карман и, поклонившись, — начал снова.

Проповедь

Послание к евреям, XIII, 18

— Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. — — «Уверены! уверены, что имеем добрую совесть! Разумеется, если в нашей жизни есть что-нибудь, на что мы можем положиться и познания чего способны достигнуть на основе самых бесспорных показаний, так именно т о , — имеем ли мы добрую совесть или нет».

— Положительно, я п р а в , — сказал доктор Слуп.

«Если мы вообще мыслим, у нас не может быть никаких сомнений на этот счет; мы не можем не сознавать наших мыслей и наших желаний; — — мы не можем не помнить прошлых наших поступков и не обладать достоверным знанием истинных пружин и мотивов, управлявших обычно нашими поступками».

— Ну, уж это пусть он оставит, я его разобью без чьей-либо помощи, — сказал доктор Слуп.

«В других вещах мы можем быть обмануты ложной видимостью; ибо, как жалуется мудрец, *с трудом строим мы правильные предположения о том, что существует на земле, и с усилием находим то, что лежит перед нами.* Но здесь ум в себе самом содержит все факты и все данные, могущие служить доказательством; — сознает ткань, которую он соткал; — ему известны ее плотность и чистота, а также точная доля

участия каждой страсти в вышивании различных узоров, нарисованных перед ним добродетелью или пороком».

— Язык хороший, и Трим, по-моему, читает превосходно, — сказал отец.

«А так как совесть есть не что иное, как присущее уму знание всего этого в соединении с одобрительным или порицающим суждением, которое он неизбежно выносит обо всех последовательно совершавшихся нами поступках, — то ясно, скажете вы, из самых наших предпосылок ясно, что всякий раз, когда это внутреннее свидетельство показывает против нас и мы выступаем самообвинителями, — мы непременно должны быть виноваты. — И, наоборот, когда показания эти для нас благоприятны и сердце наше не осуждает нас, — то мы не просто уверены, как утверждает апостол, — а знаем достоверно, как непререкаемый факт, что совесть у нас добрая и сердце, следовательно, тоже доброе».

— В таком случае, апостол совершенно неправ, я так думаю, — сказал доктор Слуп, — а прав протестантский богослов. — Имейте терпение, сэр, — отвечал ему отец, — ибо, я думаю, вскоре окажется, что апостол Павел и протестантский богослов держатся одного и того же мнения. — Они так же далеки друг от друга, как восток и запад, — сказал доктор Слуп; — всему виною тут, — продолжал он, воздев руки, — свобода печати.

— В худшем случае, — возразил дядя Тоби, — всего только свобода проповеди; ведь эта проповедь, по-видимому, не напечатана, да вряд ли когда и будет напечатана.

— Продолжай, Трим, — сказал отец.

«С первого взгляда может показаться, что таково и есть истинное положение дела; и я не сомневаюсь, что познание добра и зла так крепко запечатлено в нашем уме, — что если бы совести нашей никогда не случилось незаметно грубеть от долгой привычки к греху (как о том свидетельствует Писание) — и, подобно некоторым нежным частям нашего тела, постепенно утрачивать от крайнего напряжения и постоянной тяжелой работы ту тонкую чувствительность и восприимчивость, которой ее наделили бог и природа; — если бы этого никогда не случилось; — или если бы верно было то, что себялюбие никогда не оказывает ни малейшего влияния на наши суждения; — или что мелкие низменные интересы никогда не всплывают наверх, не сбивают с толку наши высшие способности и не окутывают их туманом и густым мраком; — — — если бы таким чувствам, как благосклонность и расположение, закрыт был доступ в этот священный трибунал; — если бы

остроумие гнушалось там взятками — или стыдилось выступать защитником непопулярных наслаждений; если бы, наконец, мы были уверены, что во время разбора дела корысть всегда стоит в стороне — и страсть никогда не садится на судейское кресло и не выносит приговора вместо разума, которому всегда подобает быть руководителем и вершителем дела; — — если бы все это было действительно так, как мы должны предположить в своем возражении, — то религиозные и нравственные качества наши были бы, без сомнения, в точности такими, как мы сами их себе представляем; — и для оценки виновности или невинности каждого из нас не было бы, в общем, лучшего мерила, нежели степень нашего самоодобрения или самоосуждения.

«Я согласен, что в одном случае, а именно, когда совесть нас обличает (ибо в этом отношении она заблуждается редко), мы действительно виновны, и, если только тут не замешаны ипохондрия и меланхолия, мы можем с уверенностью сказать, что в таких случаях обвинение всегда достаточно обосновано.

«Но предложение обратное не будет истинным, — — именно: каждый раз, как совершена вина, совесть непременно выступает обличителем; если же она молчит, значит, мы невинны. — Это неверно. — Вот почему излюбленное утешение, к которому ежечасно прибегают иные добрые христиане, — говоря, что они, слава богу, чужды опасений, что, следовательно, совесть у них чиста, так как она спокойна, — в высшей степени обманчиво; — и хотя умозаключение это в большом ходу, хотя правило это кажется с первого взгляда непогрешимым, все-таки, когда вы присмотритесь к нему ближе и проверите его истину обыденными фактами, — вы увидите, к каким серьезным ошибкам приводит неосновательное его применение; — как часто извращается принцип, на котором оно покоится, — как бесследно утрачивается, порой даже истребляется все его значение, да вдобавок еще таким недостойным образом, что в подтверждение этой мысли больно приводить примеры из окружающей жизни.

«Возьмем человека порочного, насквозь развращенного в своих убеждениях; — ведущего себя в обществе самым предосудительным образом; человека, забывшего стыд и открыто предающегося греху, для которого нет никаких разумных оправданий; — греху, посредством которого, наперекор всем естественным побуждениям, он навсегда губит обманутую сообщницу своего преступления; — похищает лучшую часть ее приданого, и не только ей лично наносит бесчестье, но вместе с

ней повергает в горе и срамит всю ее добродетельную семью. — Разумеется, вы подумаете, что совесть отравит жизнь такому человеку, — что ее упреки не дадут ему покоя ни днем, ни ночью.

«Увы! Совесть имела все это время довольно других хлопот, ей некогда было нарушать его покой (как упрекал Илия бога Ваала) — — этот домашний бог, может быть, задумался, или занят был чем-либо, или находился в дороге, а может быть, спал и не мог проснуться.

«Может быть, она выходила в обществе Чести драться на дуэли, — заплатить какой-нибудь карточный долг; — — или внести наложнице грязные деньги, обещанные Похотью. А может быть, все это время Совесть его занята была дома, распинаясь против мелких краж и громя жалкие преступления, поскольку своим богатством и общественным положением сам он застрахован от всякого соблазна покуситься на них; вот почему живет он так же весело (Ну, принадлежи он к нашей церкви, — сказал доктор С л о п, — он не стал бы особенно веселиться), — спит у себя в постели так же крепко, — и в заключение встречает смерть так же безмятежно, — как дай бог человеку самому добродетельному».

— Все это у нас невозможно, — сказал доктор С л о п, обращившись к моему отцу; — такие вещи не могли бы случиться в нашей церкви. — — Ну, а в нашей, — отвечал отец, — случаются сплошь и рядом. — Положим, — сказал доктор С л о п (немного пристыженный откровенным признанием отца), — человек может жить так же дурно и в римской церкви; — зато он не может так спокойно умереть. — Ну, что за важность, — возразил отец с равнодушным видом, — как умирает мерзавец. — Я имею в виду, — отвечал доктор С л о п, — что ему будет отказано в благодетельной помощи последних таинств. — Скажите, пожалуйста, сколько их всех у вас, — задал вопрос дядя Т о б и, — вечно забываю. — Семь, — отвечал доктор С л о п. — Гм! — произнес дядя Т о б и, — но не соглашающимся тоном, — а придав своему междометию то особенное выражение удивления, какое бывает нам свойственно, когда, заглянув в ящик комода, мы находим там больше вещей, чем ожидали. — Гм! — произнес в ответ дядя Т о б и. Доктор С л о п, слух у которого был тонкий, понял моего дядю так же хорошо, как если бы тот написал целую книгу против семи таинств. — — Гм! — произнес, в свою очередь, доктор С л о п (применяя довод дяди Т о б и против него же), — что ж тут особенного, сэр? Есть ведь семь основных добродетелей? — — Семь смертных грехов? — — Семь золотых подсвеч-

ников? — Семь небес? — — — Этого я не знаю, — возразил дядя Тоби. — — Есть семь чудес света? — Семь дней творения? — Семь планет? — Семь казней? — Да, е с т ь , — сказал отец с напускной серьезностью. — Но, пожалуйста, Т р и м , — продолжал о н , — читай дальше твои характеристики.

«А вот вам корыстный, безжалостный» (тут Трим взмахнул правой рукой), «бессердечный себялюбец, не способный к дружбе, ни к товарищеским чувствам. Обратите внимание, как он проходит мимо убитых горем вдовы и сироты и смотрит на все бедствия, которым подвержена жизнь человека, без единого вздоха, без единой молитвы». — С позволения ваших милостей , — воскликнул Т р и м , — я думаю, что этот негодяй хуже, нежели первый.

«Ужели Совесть не проснется и не начнет его мучить в таких случаях? — Нет; слава богу, для этого нет повода. — *Я плачу каждому все, что ему полагается, — нет у меня на совести никакого прелюбодеяния, — неповинен я в нарушениях слова и в клятвопреступлениях, — я не совратил ничьей жены или дочери. — Благодарение богу, я не таков, как прочие люди, прелюбодеи, обидчики или даже как этот распутник, который стоит передо мной.*

«Третий — хитрец и интриган по природе своей. Рассмотрим всю его жизнь , — вся она лишь ловкое плетение темных козней и обманных уловок в расчете на то, чтобы низким образом обойти истинный смысл законов — и не дать нам честно владеть и спокойно наслаждаться различными видами нашей собственности. — — Вы увидите, как такой пролаза раскидывает свои сети для уловления неведения и беспомощности бедняков и нуждающихся; как он сколачивает себе состояние, пользуясь неопытностью юнца или беспечностью приятеля, готового доверить ему даже жизнь.

«Когда же приходит старость и Раскаяние призывает его оглянуться на этот черный счет и снова отчитаться перед своей Совестью, — — Совесть бегло справляется со Сводом законов , — не находит там ни одного закона, который явно нарушался бы его поступками , — убеждается, что ему не грозят никакие штрафы или конфискации движимого и недвижимого имущества , — не видит ни бича, поднятого над его головой, ни темницы, отворяющей перед ним свои ворота. — Так чего же страшиться его Совести? — Она прочно окопалась за Буквой закона и сидит себе неуязвимая, со всех сторон настолько огражденная *прецедентами и решениями*, — что никакая проповедь не в состоянии выбить ее оттуда».

Тут капрал Трим и дядя Тоби переглянулись между собой. — Да, — да, Трим! — проговорил дядя Тоби, покачав головой, — жалкие это укрепления, Трим. — — — О, совсем дрянная работа, — отвечал Трим, — по сравнению с тем, что ваша милость и я умеем сооружать. — — — Характер этого последнего человека, — сказал доктор Слуп, перебивая Трима, — более отвратителен, нежели характеры обоих предыдущих, — — — он как будто списан с одного из ваших кляузников, которые бегают по судам. — — У нас совесть человека не могла бы так долго пребывать в ослеплении, — ведь по крайней мере три раза в году каждый из нас должен ходить к исповеди. — Разве это возвращает человеку зрение? — спросил дядя Тоби. — Продолжай, Трим, — сказал отец, — иначе Обадия вернется раньше, чем ты дойдешь до конца проповеди. — Она очень короткая, — возразил Трим. — Мне бы хотелось, чтобы она была подлиннее, — сказал дядя Тоби, — потому что она мне ужасно нравится. — Трим продолжал:

«Четвертый лишен даже такого прибежища, — он отбрасывает прочь все эти формальности медленного крючкотворства, — презирует сомнительные махинации секретных происков и осторожных ходов для осуществления своих целей. — Поглядите на этого развязного наглеца, как он плутует, врет, приносит ложные клятвы, грабит, убивает! — — Ужасно! — — Но ничего лучшего и нельзя было ожидать в настоящем случае: — бедняга жил в темноте! — Совесть этого человека взял на свое попечение его священник; — а все наставления последнего ограничивались тем, что надо верить в папу; — ходить к обедне; — креститься; — почитать молитвы, перебирая четки; — — быть хорошим католиком, — и что этого за глаза довольно, чтобы попасть на небо. Как? — даже преступая клятвы? — Что ж, — ведь они сопровождались мысленными оговорками. — Но если это такой отъявленный негодяй, как вы его изображаете, — если он грабит, — если он убивает, — ужели при каждом из таких преступлений не наносит он раны своей Совести? — Разумеется, — но ведь он приводил ее на исповедь; — рана там нарывает, очищается и в короткое время совершенно вылечивается при помощи отпущения. — Ах, папизм! какую несешь ты ответственность! — Не довольствуясь том, что человеческое сердце каждый день и на каждом шагу невольно роковым образом действует предательски по отношению к самому себе, — ты еще умышленно распахнул настезь широкие ворота обмана перед этим неосмотрительным путником, — и без того,

прости господи, легко сбивающимся с пути, — и уверенно обещаешь мир душе его там, где нет никакого мира.

«Примеры, взятые мной из обыденной жизни для иллюстрации сказанного, слишком общеизвестны, чтобы требовались дальнейшие доказательства. Если же кто-нибудь в них сомневается или считает невероятным, чтобы человек мог в такой степени стать жертвой самообмана, — я попрошу такого скептика минуточку поразмыслить, после чего отважусь доверить решение его собственному сердцу.

«Пусть он только примет во внимание, как различны степени его отвращения к ряду безнравственных поступков, по природе своей одинаково дурных и порочных, — и для него скоро станет ясно, что те из них, к которым его побуждали сильное влечение или привычка, бывают обыкновенно разукрашены всяческой мишурой, какую только в состоянии надеть на них снисходительная и льстивая рука; — другие же, к которым он не чувствует никакого расположения, выступают вдруг голыми и безобразными, окруженными всеми атрибутами безрассудства и бесчестия.

«Когда Давид застал Саула спящим в пещере и отрезал край от его верхней одежды, — сердцу его, читаем мы, стало больно, что он это сделал. — Но в истории с Урией, когда верный и храбрый слуга его, которого он должен бы любить и почитать, пал, чтобы освободить место его похоти, — когда совесть имела гораздо больше оснований поднять тревогу, — сердцу его не было больно. — Прошел почти год после этого преступления до того дня, как Натан был послан укорить его; и мы ниоткуда не видим, чтобы за все это время он хоть раз опечалился или сокрушался сердцем по поводу содеянного.

«Таким образом, совесть, этот первоначально толковый советчик, — которого творец назначил на высокую должность нашего справедливого и нелицеприятного судьи, в силу несчастного стечения причин и помех часто так плохо замечает происходящее, — исправляет свою должность так нерадиво, — порой даже так нечисто, — что доверяться ей одной невозможно; и мы считаем необходимым, совершенно необходимым, присоединить к ней другой принцип, чтобы он ей помогал и даже ею руководил в ее решениях.

«Вот почему, если вы желаете составить себе правильное суждение о том, насчет чего для вас чрезвычайно важно не ошибиться, — — — а именно, как обстоит дело с вашей подлинной ценностью, как честного человека, как полезного гражданина, как верного подданного нашего короля или как искрен-

него слуги вашего бога, — зовите себе на помощь религию и нравственность. — — Посмотри, — что написано в законе бо- жием? — — Что ты читаешь там? — Обратись за советом к спо- койному разуму и нерушимым положениям правды и исти- ны; — что они говорят?

«Пусть совесть выносит свое решение на основании этих по- казаний; — и тогда, если сердце твое тебя не осуждает, — этот случай и предполагает апостол, — а правило твое непогрешимо» (тут доктор Слор заснул), — «ты можешь иметь упование на бога, — то есть иметь достаточные основания для веры в то, что суждение твое о себе есть суждение божие и представляет не что иное, как предвосхищение того праведного приговора, который будет некогда произнесен над тобой существом, которому ты должен будешь напоследок дать отчет в твоих поступках.

«Тогда действительно, как говорит автор Книги Иисуса, сына Сирахова: Блажен человек, которому не докучает множество грехов е го . — Блажен человек, сердце которого не осуждает его. Богат ли он или беден, — если у него сердце доброе (сердце та- ким образом руководимое и вразумляемое), во всякое время на лице его будет радость, — ум его скажет ему больше, нежели семь стражей, сидящих на вершине башни». — — Башня не имеет никакой с и л ы , — сказал дядя Т о б и , — если она не фланки- рована . — «Из самых темных сомнений выведет он его уверен- ное, чем тысяча казуистов, и представит государству, в котором он живет, лучшее ручательство за его поведение, чем все ого- ворки и ограничения, которые наши законодатели вынуждены множить без конца, — — вынуждены, говорю я, при нынешнем положении вещей; ведь человеческие законы не являются с са- мого начала делом свободного выбора, но порождены были не- обходимостью защиты против злонамеренных действий людей, совесть которых не носит в себе никакого закона; они ставят себе целью, путем многочисленных предупредительных мер — во всех таких случаях распущенности и уклонений с пути истины, когда правила и запреты совести не в состоянии нас удержать, — придать им силу и заставить нас им подчиняться угрозами тюрем и виселиц».

— Мне совершенно я с н о , — сказал о т е ц , — что проповедь эта предназначалась для произнесения в Темпле, — — или на выездной сессии суда присяжных . — — Мне нравится в ней ар- гументация, — — и жаль, что доктор Слор заснул раньше, чем она доказала ему ошибочность его предположения; — — — ведь теперь ясно, что священник, как я и думал с самого начала, не наносил апостолу Павлу ни малейшего оскорбления; — — и что

между ними, братец, не было ни малейшего разногласия. — — — Велика важность, если бы даже они и разошлись во мнениях, — возразил дядя Тоби; — — наилучшие друзья в мире могут иногда повздорить. — — Твоя правда, брат Тоби, — сказал отец, пожав ему руку, — мы набьем себе трубки, братец, а потом Трим может читать дальше.

— Ну, а ты что об этом думаешь? — сказал отец, обращаясь к капралу Триму, после того как достал свою табакерку.

— Я думаю, — отвечал капрал, — что семь стражей на башне, которые, верно, у них там часовые, — — это больше, с позволения вашей милости, чем было надобно; — ведь если продолжать в таком роде, то можно растрепать весь полк, чего никогда не сделает командир, любящий своих солдат, если он может без этого обойтись; ведь двое часовых, — прибавил капрал, — вполне заменяют двадцать. — Я сам раз сто разводил караулы, — продолжал Трим, выросши на целый дюйм при этих словах, — но за все время, как я имел честь служить его величеству королю Вильгельму, хотя мне приходилось сменять самые ответственные посты, ни разу не поставил я больше двух человек. — Совершенно правильно, Трим, — сказал дядя Тоби, — — но ты не принимаешь в расчет, Трим, что башни в дни Соломона были не такие, как наши бастионы, фланкированные и защищенные другими укреплениями; — все это, Трим, избрето было уже после смерти Соломона, а в его время не было ни горнверков, ни рavelинов перед куртиной, — ни таких ровов, как мы прокладываем, с кюветом посредине и с прикрытыми путями и обнесенными палисадом контрэскарпами по всей их длине, чтобы обезопасить себя против неожиданных нападений; таким образом, семь человек на башне были, вероятно, караульным отрядом, поставленным там не только для дозора, но и для защиты башни. — С позволения вашей милости, отряд этот все-таки не мог быть больше нежели капральским постом. — Отец про себя улыбнулся, — но не подал виду: — тема разговора между дядей Тоби и Тримом, принимая во внимание случившееся, была слишком серьезна и не допускала никаких шуток. — Вот почему, сунув в рот только что закуренную трубку, — он ограничился приказанием Триму продолжать чтение. Тот прочитал следующее:

«Иметь всегда страх божий и всегда руководиться в наших взаимных отношениях вечными мерилami добра и зла — вот две скрижали, первая из которых заключает религиозные обязанности, а вторая — нравственные; они так тесно между собой связаны, что их невозможно разделить, даже мысленно

(а тем более в действительности, несмотря на многочисленные попытки, которые делались в этом направлении), не разбив их и не нанеся ущерба как одной, так и другой.

«Я сказал, что такие попытки делались много раз, — и это правда; — в самом деле, что может быть зауряднее человека, лишенного всякого чувства религии — и настолько при этом честного, чтобы не делать вид, будто оно у него есть, который, однако, принял бы за жесточайшее оскорбление, если бы вы вздумали хоть сколько-нибудь заподозрить его нравственные качества, — или предположить в нем хоть малейшую недобросовестность или неразборчивость.

«Когда у нас есть какой-нибудь повод для подобного предположения, — то как ни неприятно относиться с недоверием к столь милой добродетели, как нравственная честность, — все-таки, если бы в настоящем случае нам пришлось добратся до ее корней, я убежден, что мы бы нашли мало причин завидовать благородству побуждений такого человека...

«Как бы высокопарно ни ораторствовал он на эту тему, все-таки напоследок окажется, что они сводятся всего лишь к его выгодам, его гордости, его благополучию или какой-нибудь мимолетной страстишке, которая способна дать нам лишь слабую уверенность, что он останется на высоте в случае серьезных испытаний.

«Я поясню мою мысль примером.

«Мне известно, что ни банкир, с которым я имею дело, ни врач, к которому я обыкновенно обращаюсь» (Нет никакой надобности, — воскликнул, проснувшись, доктор С л о п, — обращаться в таких случаях к врачу), — «не являются людьми набожными: их насмешки над религией и презрительные отзывы о всех ее предписаниях, которые я слышу каждый день, не оставляют на этот счет никаких сомнений. Тем не менее я вручаю мое состояние первому, — и доверяю мою жизнь, еще более драгоценное мое достояние, честному искусству второго.

«Теперь позвольте мне разобрать причины моего неограниченного доверия к этим людям. — Во-первых, я считаю невероятным, чтобы кто-нибудь из них употребил мне во вред власть, которую я им препоручаю; — на мой взгляд, честность есть недурное средство для достижения практических целей в свете; — я знаю, что успех человека в жизни зависит от незапятнанности его репутации. — Словом, я убежден, что они не могут мне повредить, не причинив себе самим еще большего вреда.

«Но допустим, что дело обстоит иначе, именно, что их выгода заключалась бы в противоположном образе действий; что

при известных обстоятельствах банкир мог бы, не портя своей репутации, присвоить мое состояние и пустить меня по миру, — а врач мог бы даже отправить на тот свет и после моей смерти завладеть моим имуществом, не пороча ни себя, ни своего ремесла. — На что же в них могу я в таких случаях положиться? — Религия, самый мощный из всех двигателей, отпадает. — Личная выгода, второе по силе побуждение, действует решительно против меня. — Что же остается мне бросить на другую чашку весов, чтобы перетянуть это искушение? — Увы! У меня нет ничего, — ничего, кроме вещи, которая легче мыльного пузыря, — я должен положиться на милость чести или другого подобного ей непостоянного чувства. — Слабая порука за два драгоценнейшие мои блага: — собственность мою и мою жизнь!

«Если, следовательно, мы не можем положиться на нравственность, не подкрепленную религией, — то, с другой стороны, ничего лучшего нельзя ожидать от религии, не связанной с нравственностью. Тем не менее совсем не редкость увидеть человека, стоящего на очень низком нравственном уровне, который все-таки чрезвычайно высокого мнения о себе как о человеке религиозном.

«Он не только алчен, мстителен, неумолим, — но оставляет даже желать лучшего по части простой честности. — Однако, поскольку он громит неверие нашего времени, — ревностно исполняет некоторые религиозные обязанности, — по два раза в день ходит в церковь, — чтит таинства — и развлекается некоторыми вспомогательными средствами религии, — он обманывает свою совесть, считая себя на этом основании человеком религиозным, исполняющим все свои обязанности по отношению к богу. Благодаря этому самообману такой человек в духовной своей гордости обыкновенно сверху вниз на других людей, у которых меньше показной набожности, — хотя, может быть, в десять раз больше моральной честности, нежели у него.

«*Это тоже тяжкий грех под солнцем*, и я думаю, что ни одно ошибочное убеждение не наделало в свое время больше зла. — В доказательство рассмотрите историю римской церкви». (— Что вы под этим понимаете? — вскричал доктор Слуп.) — «Припомните, сколько жестокости, убийств, грабежей, кровопролития» (— Пусть вина собственное упрямство, — вскричал доктор Слуп) — «освящено было религией, не руководимой строгими требованиями нравственности.

«В каких только странах на свете...» (При этих словах Трим начал делать правой рукой колебательные движения, то приб-

лижая ее к проповеди, то протягивая во всю длину, и остановился только по окончании фразы.)

«В каких только странах на свете не производил опустошений крестоносный меч сбитого с толку странствующего рыцаря, не шадившего ни возраста, ни заслуг, ни пола, ни общественного положения, сражаясь под знаменами религии, осуждавшей его от подчинения законам справедливости и человеколюбия, он не проявлял ни той, ни другого, безжалостно попирая их ногами, — не внемля крикам несчастных и не зная сострадания к их бедствиям».

— Я бывал во многих сражениях, с позволения вашей милости, — сказал со вздохом Трим, — но в таких ужасных, как это, мне быть не доводилось. — У меня рука не поднялась бы навести ружье на беззащитных людей, — хотя бы меня произвели в генералы. — Да что вы смыслите в таких делах? — сказал доктор Слуп, посмотрев на Трима с презрением, которого вовсе не заслуживало честное сердце капрала. — Что вы понимаете, приятель, в сражении, о котором говорите? — Я знаю то, — отвечал Трим, — что никогда в жизни не отказывал в пощаде людям, которые меня о ней просили; — а что до женщин и детей, — продолжал Трим, — то прежде чем в них прицелиться, я бы тысячу раз лишился жизни. — Вот тебе крона, Трим, можешь выпить сегодня с Обадией, — сказал дядя Тоби, — а Обадия получит от меня другую крону. — Бог да благословит вашу милость, — отвечал Трим, — а я бы предпочел отдать свою крону этим бедным женщинам и детям. — Ты у меня молодчина, Трим, — сказал дядя Тоби. — Отец кивнул головой. — как бы желая сказать — да, он молодец. —

— А теперь, Трим, — сказал отец, — кончай, — я вижу, что у тебя остался всего лист или два.

Капрал Трим продолжал:

«Если свидетельства прошедших веков недостаточно, — посмотрите, как приверженцы этой религии в настоящее время думают служить и угождать богу, совершая каждый день дела, покрывающие их бесчестьем и позором,

«Чтобы в этом убедиться, войдите на минуту со мной в тюрьмы инквизиции». (Да поможет бог моему бедному брату Тому.) — «Взгляните на эту *Религию*, с закованными в цепи у ног ее *Милосердием* и *Справедливостью*, — страшная, как привидение, восседает она в черном судейском кресле, подпертом дыбками и орудиями пытки. — Слушайте! — Слышите этот жалобный стон?» (Тут лицо Трима сделалось пепельно-серым.) — «Взгляните на бедного страдальца, который его издает», — (тут

слезы покатались у него) — «его только что привели, чтобы подвергнуть муче этого лжесудища и самым утонченным пыткам, какие в состоянии была изобрести обдуманная система жестокости». — (Будь они все прокляты! — воскликнул Трим, лицо которого теперь побагровело.) — «Взгляните на эту беззащитную жертву, выданную палачам, — тело ее так измучено скорбью и заточением...» (— Ах, это брат мой! — воскликнул бедный Трим в крайнем возбуждении, уронив на пол проповедь и всплеснув руками, — боюсь, что это бедняга Том. — Отец и дядя Тоби исполнились сочувствием к горю бедного парня, — даже Слуп выказал к нему жалость. — Полно, Трим, — сказал отец, — ты читаешь совсем не историю, а только проповедь; — пожалуйста, начни фразу снова.) — «Взгляните на эту беззащитную жертву, выданную палачам, — тело ее так измучено скорбью и заточением, что каждый нерв и каждый мускул внятно говорит, как он страдает.

«Наблюдайте последнее движение этой страшной машины!» — (— Я бы скорее заглянул в жерло пушки, — сказал Трим, топнув ногой.) — — «Смотрите, в какие судороги она его бросила! — — Разглядите положение, в котором он теперь простерт, — каким утонченным пыткам он подвергается!» — — (— Надеюсь, что это не в Португалии.) — «Больших мук природа не в состоянии вынести! — Боже милосердный! Смотрите, как измученная душа его едва держится на трепещущих устах!» — (— Ни за что на свете не прочитаю дальше ни строчки, — проговорил Трим. — Боюсь, с позволения вашей милости, что все это происходит в Португалии, где теперь мой бедный брат Том. — Повторяю тебе, Трим, — сказал отец, — это не описание действительного события, — а вымысел. — Это только вымысел, почтенный, — сказал Слуп, — в нем нет ни слова правды. — Ну, нет, я не то хотел сказать, — возразил отец. — Однако чтение так волнует Трима, — жестоко было бы принуждать его читать дальше. — Дай-ка сюда проповедь, Трим, — я дочитаю ее за тебя, а ты можешь идти. — Нет, я бы желал остаться и дослушать, — отвечал Трим, — если ваша милость позволит, — но сам не соглашусь читать даже за жалованье полковника. — Бедный Трим! — сказал дядя Тоби. Отец продолжал:)

«— Разглядите положение, в котором он теперь простерт, — каким утонченным пыткам он подвергается! — Больших мук природа не в состоянии вынести! — Боже милосердный! Смотрите, как измученная душа его едва держится на трепещущих устах, — готовая отлететь, — — но не получающая на это позволения! — — Взгляните, как несчастного страдальца

отводят назад в его темницу!» (— Ну, слава богу, — сказал Трим, — они его не убили.) — «Смотрите, как его снова достают оттуда, чтобы бросить в огонь и в предсмертную минуту осыпать оскорблениями, порожденными тем предрассудком, — тем страшным предрассудком, что может существовать религия без милосердия». — (Ну, слава богу, — он умер, — сказал Трим, — теперь он уже для них недосягаем, — худшее для него уже осталось позади. — Ах, господа! — Замолчи, Трим, — сказал отец, продолжая проповедь, чтобы помешать Триму сердить доктора Слопа, — иначе мы никогда не кончим.)

«Самый верный способ определить цену какого-нибудь спорного положения — рассмотреть, насколько согласуются с духом христианства вытекающие из него следствия. — Это простое и решающее правило, оставленное нам Спасителем нашим, стоит тысячи каких угодно доводов. — По плодам их узнаете их.

«На этом я и заканчиваю мою проповедь, прибавив только два или три коротеньких самостоятельных правила, которые из нее вытекают.

«Во-первых. Когда кто-нибудь распинается против религии, — всегда следует подозревать, что не разум, а страсти одержали верх над его *Верой*. — Дурная жизнь и добрая вера неуживчивые и сварливые соседи, и когда они разлучаются, поверьте, что это делается единственно ради спокойствия.

«Во-вторых. Когда вот такой человек говорит вам по какому-нибудь частному поводу, что такая-то вещь противна его совести, — вы можете всегда быть уверены, что это совершенно все равно как если бы он сказал, что такая-то вещь противна ему на вкус: — в обоих случаях истинной причиной его отвращения обыкновенно является отсутствие аппетита.

«Словом, — ни в чем не доверяйте человеку, который не руководится совестью в каждом деле своем.

«А вам самим я скажу: помните простую истину, непонимание которой погубило тысячи людей, — что совесть ваша не есть закон. — Нет, закон создан богом и разумом, которые вселили в вас совесть, чтобы она выносила решения, — не так, как азиатский кади, в зависимости от прилива и отлива страстей своих, — а как британский судья в нашей стране свободы и здравомыслия, который не сочиняет новых законов, а лишь честно применяет существующие».

Finis.¹

¹ Конец (лат.).

— Ты читал проповедь превосходно, Трим, — сказал отец. — Он бы читал гораздо лучше, — возразил доктор Слуп, — если бы воздержался от своих замечаний. — Я бы читал в десять раз лучше, сэр, — отвечал Трим, — если бы сердце мое не было так переполнено. — Как раз по этой причине, Трим, — возразил отец, — ты читал проповедь так хорошо. Если бы духовенство нашей церкви, — продолжал отец, обращаясь к доктору Слупу, — вкладывало столько чувства в произносимые им проповеди, как этот бедный парень, — то, так как проповеди эти составлены прекрасно, — (— Я это отрицаю, — сказал доктор Слуп) — я утверждаю, что наше церковное красноречие, да еще на такие волнующие темы, — сделалось бы образцом для всего мира. — Но, увы! — продолжал отец, — с огорчением должен признаться, сэр, что в этом отношении оно похоже на французских политиков, которые выигранное ими в кабинете обыкновенно теряют на поле сражения. — — Жалко было бы, — сказал дядя, — если бы проповедь эта затерялась. — Мне она очень нравится, — сказал отец, — — она драматична, — — и в этом литературном жанре, по крайней мере в искусных его образцах, есть что-то захватывающее. — — У нас часто проповедают в этом роде, — сказал доктор Слуп. — Да, да, знаю, — сказал отец, — но его тон и выражение лица при этом настолько же не понравились доктору Слупу, насколько приятно ему было бы простое согласие отца. — — Но наши проповеди, — продолжал немного задетый доктор Слуп, — — очень выгодно отличаются тем, что если уж мы вводим в них действующих лиц, то только таких, как патриархи, или жены патриархов, или мученики, или святые. — В проповеди, которую мы только что прослушали, есть несколько очень дурных характеров, — сказал отец, — но они, по-моему, несколько ее не портят. — — Однако чья бы она могла быть? — спросил дядя Тоби. — Как могла она попасть в моего Стевина? — Чтобы ответить на второй вопрос, — сказал отец, — надо быть таким же великим волшебником, как Стевин. — Первый же, — по-моему, — не так труден: — ведь если мне не слишком изменяет моя сообразительность, — — я знаю автора: конечно, проповедь эта написана нашим приходским священником.

Основанием для этого предположения было сходство прочитанной проповеди по стилю и манере с проповедями, которые отец постоянно слышал в своей приходской церкви, — — оно доказывало так неоспоримо, как только вообще априорный довод способен доказать такую вещь философскому уму, — что автором ее был Йорик и никто другой. — — — Догадка эта по-

лучила также и апостериорное доказательство, когда на другой день Йорик прислал за ней к дяде Тоби слугу своего.

По-видимому, Йорик, интересовавшийся всеми видами знания, когда-то брал Стевина у дяди Тоби; по рассеянности он сунул в книгу свою проповедь, когда написал ее, и, по свойственной ему забывчивости, отослал Стевина по принадлежности, а заодно с ним и свою проповедь.

— Злосчастливая проповедь! После того как тебя нашли, ты была вторично потеряна, проскользнув через незамеченную прореху в кармане твоего сочинителя за изодранную предательскую подкладку, — ты глубоко была втоптана в грязь левой задней ногой его Росинанта, бесчеловечно наступившего на тебя, когда ты упала; — пролежав таким образом десять дней, — ты была подобрана нищим, продана за полпенни одному деревенскому причетнику, — уступлена им своему приходскому священнику, — навсегда потеряна для ее сочинителя — и возвращена беспокойным его манам только в эту минуту, когда я рассказываю миру ее историю.

Поверит ли читатель, что эта проповедь Йорика произнесена была во время сессии суда присяжных в Йоркском соборе перед тысячей свидетелей, готовых клятвенно это подтвердить, одним пребендарием названного собора, который не постеснялся потом ее напечатать, — — и это произошло всего лишь через два года и три месяца после смерти Йорика! — Правда, с ним и при жизни никогда лучше не обращались! — — а все-таки было немного бесцеремонно этак его ограбить, когда он уже лежал в могиле.

Тем не менее, уверяю вас, я бы не стал предавать анекдот этот гласности, — ибо поступивший таким образом джентльмен был в наилучших отношениях с Йориком — и, руководясь духом справедливости, напечатал лишь небольшое количество экземпляров, назначенных для бесплатной раздачи, — а кроме того, мне говорили, мог бы и сам сочинить проповедь не хуже, если бы счел это нужным; — — и рассказываю я об этом вовсе не с целью повредить репутации упомянутого джентльмена или его церковной карьере; — предоставляю это другим; — нет, мной движут два соображения, которым я не в силах противиться.

Первое заключается в том, что, исправляя несправедливость, я, может быть, принесу покой тени Йорика, — которая, как думают деревенские — и другие — люди, — — до сих пор блуждает по земле.

Второе мое соображение то, что огласка этой истории служит мне удобным поводом сообщить: ежели бы характер священника Йорика и этот образец его проповедей пришлось кому-нибудь по вкусу, — что в распоряжении семейства Шенди есть и другие его проповеди, которые могли бы составить порядочный том к услугам публики — и принести ей великую пользу.

ГЛАВА XVIII

Обадия бесспорно заслужил две обещанные ему кроны; ибо в ту самую минуту, когда капрал Трим выходил из комнаты, явился он, гремя инструментами, заключенными в упомянутом уже зеленом байковом мешке, который висел у него через плечо.

— Теперь, когда мы в состоянии оказать некоторые услуги миссис Шенди, — сказал (просияв) доктор Слорп, — было бы не худо, я думаю, узнать о ее здоровье.

— Я приказал старой повитухе, — отвечал отец, — сойти к нам при малейшем затруднении; — — ибо надо вам сказать, доктор Слорп, — продолжал отец со смущенной улыбкой, — что в силу особого договора, торжественно заключенного между мной и моей женой, вам принадлежит в этом деле только подсобная роль, да и то лишь в том случае, если эта сухопарая старуха не управится без вашей помощи. — — У женщин бывают странные причуды, и в случаях такого рода, — продолжал отец, — когда они несут всю тяжесть и терпят жестокие мучения для блага наших семей и всего человеческого рода, — они требуют себе права решать *en souveraines*¹, в чьих руках и каким образом они предпочитали бы их вынести.

— Они совершенно правы, — сказал дядя Тоби. — Однако, сэръ, — заявил доктор Слорп, не придавая никакого значения мнению дяди Тоби и обращаясь к отцу, — лучше бы они распоряжались другими вещами; и отцу семейства, желающему продолжения своего рода, лучше, по-моему, поменяться с ними прерогативами и уступить им другие права вместо этого. — Не знаю, — отвечал отец с некоторой резкостью, показывавшей, что он недостаточно взвешивает свои слова, — не знаю, — сказал он, — какими еще правами могли бы мы поступиться за право

¹ Самовластно (*франц.*).

выбора того, кто будет принимать наших детей при появлении их на свет, — разве только правом производить их. — Можно поступиться чем угодно, — заметил доктор Слоп. — Извините, пожалуйста, — отвечал дядя Тоби. — Бы будете поражены, сэръ, — продолжал доктор Слоп, — узнав, каких усовершенствований добились мы за последние годы во всех отраслях акушерского искусства, в особенности же по части скорого и безопасного извлечения плода, — на одну эту операцию пролито теперь столько нового света, что я (тут он поднял руки) положительно удивляюсь, как это до сих пор... — Желал бы я, — сказал дядя Тоби, — чтобы вы видели, какие громадные армии были у нас во Фландрии.

ГЛАВА XIX

Я опускаю на минуту занавес над этой сценой, — чтобы кое-что вам напомнить — и кое-что сообщить.

То, что я собираюсь сообщить вам, признаться, немного несвоевременно, — ибо должно было быть сказано на сто пятьдесят страниц раньше, но я тогда уже предвидел, что это кстати будет сказать потом, и лучше всего здесь, а не где-нибудь в другом месте. — Писатели непременно должны заглядывать вперед, иначе не будет жизни и связности в том, что они рассказывают.

Когда то и другое будет сделано, — занавес снова поднимется, и дядя Тоби, отец и доктор Слоп будут продолжать начатый разговор, не встречая больше никаких помех.

Итак, скажу сначала о том, что я хочу вам напомнить. — Своеобразие взглядов моего отца, показанное на примере выбора христианских имен и еще раньше на другом примере, — мне кажется, привело вас к заключению (я, право, уже говорил об этом), что отец мой держался таких же необычайных и эксцентричных взглядов на десятки других вещей. Действительно, не было такого события в человеческой жизни, начиная от зачатия — и кончая болтающимися штанами и шлепанцами второго детства, по поводу которого он не составил бы своего любимого мнения, столь же скептического и столь же далекого от избитых путей мысли, как и два рассмотренные выше.

— Мистер Шенди, отец мой, сэръ, на все смотрел со своей точки зрения, не так, как другие; — он освещал всякую вещь

по-своему; — он ничего не взвешивал на обыкновенных весах; — нет, — он был слишком утонченный исследователь, чтобы поддаться такому грубому обману. — Если желаете получить истинный вес вещи на научном безмене, точка опоры, — говорил он, — должна быть почти невидимой, чтобы избежать всякого трения со стороны ходячих взглядов; — без этого философские мелочи, которые всегда должны что-нибудь значить, окажутся вовсе не имеющими веса. — Знание, подобно матери и, — утверждал он, — делимо до бесконечности; — грани и скрупулы составляют такую же законную часть его, как тяготение целого мира. — Словом, — говорил он, — ошибка есть ошибка, — все равно, где бы она ни случилась, — в золотнике — или в фунте, — и там и здесь она одинаково пагубна для истины, и последняя столь же неизбежно удерживается на дне своего кладезя промахом в отношении пылинки на крыле мотылька, — как и в отношении диска солнца, луны и всех светил небесных, вместе взятых.

Часто плакался он, что единственно от недостатка должного внимания к этому правилу и умелого применения его как к практической жизни, так и к умозрительным истинам на свете столько непорядков, — что государственный корабль дает крен; — и что подрывы самые основы превосходной нашей конституции, церковной и гражданской, как утверждают люди сведущие.

— Вы кричите, — говорил он, — что мы погибший, конечный народ. — Почему? — спрашивал он, пользуясь соритом, или силлогизмом Зенона и Хрисиппа, хотя и не зная, что он им принадлежал. — Почему? Почему мы погибший народ? — Потому что мы продажны. — В чем же причина, милостивый государь, того, что мы продажны? — В том, что мы нуждаемся; — не наша воля, а наша бедность соглашается брать взятки. — А отчего же, — продолжал он, — мы нуждаемся? — От пренебрежения, — отвечал он, — к нашим пенсам и полупенсовикам. Наши банковые билеты, сэр, наши гинеи, — даже наши шиллинги сами себя берегут.

— То же самое, — говорил он, — происходит во всем цикле наук; — великие, общепризнанные их положения не подвергаются нападкам. — Законы природы сами за себя постоят; — но ошибка — (прибавлял он, пристально смотря на мою мать) — ошибка, сэр, прокрадывается через мелкие скважины, через узенькие щели, которые человеческая природа оставляет неохраняемыми.

Так вот об этом образе мыслей моего отца я и хотел вам напомнить. — Что же касается того, о чем я хотел вам сообщить и что приберег для этого места, то вот оно:

в числе многих превосходных доводов, при помощи которых отец мой убеждал мою мать предпочесть помощь доктора Слопа помощи старухи, — был один очень своеобразный; обсудив с ней вопрос как христианин и собираясь вновь обсудить его с ней как философ, он вложил в этот довод всю свою силу, рассчитывая на него как на якорь спасения. — Довод подвел его; не потому, что в нем заключался какой-нибудь недостаток; но, как отец ни бился, ему так и не удалось растолковать матери всю его важность. — Вот дурацкое положение! — сказал он себе однажды вечером, выйдя из комнаты после полутора-часовых бесплодных попыток убедить свою жену, — вот дурацкое положение! — сказал он, кусая себе губы, когда затворял дверь, — владеть искусством тончайших рассуждений, — и иметь при этом жену, которой невозможно вбить в голову простейшего силлогизма, хотя бы от этого зависело спасение души твоей.

Довод этот хотя и не возымел никакого действия на мою мать, — имел, однако, в глазах отца больше силы, чем все его другие доводы, вместе взятые. — Постараюсь поэтому отдать ему должное, — изложив его со всей отчетливостью, на какую я способен.

Отец исходил из двух следующих неоспоримых аксиом:

Во-первых, что одна унция своего ума стоит больше тонны ума чужого, и

Во-вторых (аксиома эта, заметим в скобках, была основой первой, — хотя пришла ему в голову позже), что ум каждого из нас должен брать начало в собственной душе, — а не заимствоваться у других.

А так как отцу ясно было, что все души по природе равны — и что огромное различие между наиболее острыми и наиболее тупыми умами — отнюдь не обусловлено первоначальной остротой или тупостью одной мыслящей субстанции по сравнению с другой, — а проистекает единственно от удачного или неудачного строения тела в той его части, которую душа преимущественно избрала для своего пребывания, — то он поставил задачей своих исследований отыскать это место.

На основании лучших работ, какие ему удалось достать по этому предмету, он убедился, что местом этим не может быть верхушка шишковидной железы в мозгу, как думал Декарт; ибо, рассуждал отец, она представляет подушку величиной

всего с горошину; хотя, по правде сказать, догадка эта была не плохая, — поскольку в указанном месте заканчивается такое множество нервов; — так что отец, по всей вероятности, впал бы точь-в-точь в такую же ошибку, как и этот великий философ, если бы не дядя Тоби, который ее предотвратил, рассказав ему случай с одним валлонским офицером, лишившимся головного мозга, одна часть которого унесена была мушкетной пулей в сражении при Ландене, — а другая удалена французским хирургом; — и тем не менее он выздоровел и вполне исправно нес службу без мозга.

— Если смерть, — рассуждал про себя отец, — есть не что иное, как отделение души от тела; — и если правда, что люди могут ходить взад и вперед и исполнять свои обязанности без мозга, — то, конечно, седалище души находится не там. Q. E. D.¹

Что же касается того тонкого, нежного и чрезвычайно пахучего сока, который, как утверждает знаменитый миланский врач Кольонисимо Борри в письме к Бертолини, был им открыт в клетках затылочных частей мозжечка и который, по его же утверждению, является главным седалищем разумной души (ибо вы должны знать, что в последние просвещенные столетия в каждом живом человеке есть две души, — из которых одна, согласно великому Метеглингию, называется *animus*, а другая *anima*); — что касается, говорю, этого мнения Борри, — то отец никоим образом не мог к нему присоединиться; одна мысль о том, что столь благородное, столь утонченное, столь бесплотное и столь возвышенное существо, как *anima*, или даже *animus*, избирает для своего пребывания и день-деньской, лето и зиму, барахтается, точно головастик, в грязной луже, — или вообще в жидкости, хотя бы самой густой или самой эфирной, — одна эта мысль, — говорил он, — оскорбляет его воображение; он и слышать не хотел о такой нелепости.

Таким образом, меньше всего возражений, казалось ему, вызывает та гипотеза, что главный сенсорий, или главная квартира души, куда поступают все сообщения и откуда исходят все ее распоряжения, — находится внутри мозжечка или поблизости от него, или, вернее, где-нибудь возле *medulla oblongata*², куда, по общему мнению голландских анатомов, сходятся все тончайшие нервы от органов всех семи чувств, как улитки и извилистые переулочки на площадь.

¹ Quod erat demonstrandum — что и требовалось доказать (*лат.*).

² Продолговатый мозг (*лат.*).

До сих пор мнение моего отца не заключало в себе ничего особенного, — он шел рука об руку с лучшими философами всех времен и всех стран. — Но тут он избрал собственный путь, воздвигая на этих краеугольных камнях, заложенных ими для него, свою, *Шендиеву* гипотезу, — такую гипотезу, которая одинаково оставалась в силе, зависела ли subtilность и тонкость души от состава и чистоты упомянутой жидкости или же от более деликатного строения самого мозжечка; отец мой больше склонялся к этому последнему мнению.

Он утверждал, что после должного внимания, которое следует уделить акту продолжения рода человеческого, требующему величайшей сосредоточенности, поскольку в нем заключается основание того непостижимого сочетания, в коем совмещены ум, память, фантазия, красноречие и то, что обыкновенно обозначается словами «хорошие природные задатки», — что сейчас же после этого и после выбора христианского имени, каковые две вещи являются основными и самыми действительными причинами всего; — что третьей причиной или, вернее, тем, что в логике называется *causa sine qua non*¹ и без чего все, что было сделано, не имеет никакого значения, — является предохранение этой нежной и тонкой ткани от повреждений, обыкновенно причиняемых ей сильным сдавливанием и помятием головы новорожденного, которому она неизменно подвергается при нелепом способе выведения нас на свет названным органом вперед.

— — Это требует пояснения.

Отец мой, любивший рыться во всякого рода книгах, заглянув однажды в *Lithopaedus Senonensis de partu difficili*², изданную Адрианом Смелъфготом, обнаружил, что мягкость и податливость головы ребенка при родах, когда кости черепа еще не скреплены швами, таковы, — что благодаря потугам роженицы, которые в трудных случаях равняются, средним числом, давлению на горизонтальную плоскость четырехсот

¹ Причина, без которой не ... (*лат.*).

² Автор допускает здесь две ошибки, так как вместо *Lithopaedus* надо было написать: *Lithopaedii Senonensis Icon*. Вторая его ошибка та, что *Lithopaedus* совсем не автор, а рисунок окаменелого ребенка. Сообщение о нем, опубликованное Альбозием в 1580 году, можно прочитать и конце произведения Кордеуса в Спахии. Мистер Тристрам Шенди впал в эту ошибку либо потому, что увидел имя *Lithopaedus* в перечне ученых авторов в недавно вышедшем труде доктора — либо смешав *Lithopaedus* с *Trinescavellius*, — что так легко могло случиться вследствие очень большого сходства этих имен. — *Л. Стерн*.

семидесяти коммерческих фунтов, — вышеупомянутая голова в сорока девяти случаях из пятидесяти сплющивается и принимает форму продолговатого конического куска теста, вроде тех катышков, из которых кондитеры делают пироги. — Боже милосердный! — воскликнул отец, — какие ужасные разрушения должно это производить в бесконечно тонкой и нежной ткани мозжечка! Или если существует тот сок, о котором говорит Борри, — разве этого не достаточно, чтобы превратить прозрачную на свете жидкость в мутную бурду?

Но страхи его возросли еще более, когда он узнал, что сила эта, действующая прямо на верхушку головы, не только повреждает самый мозг или cerebrum, — но необходимо также давит и пихает его по направлению к мозжечку, то есть прямо к седалищу разума. — Ангелы и силы небесные, обороните нас! — вскричал отец, — разве в состоянии чья-нибудь душа выдержать такую встряску? — Не мудрено, что умственная ткань так разорвана и изодрана, как мы это наблюдаем, и что столько наших лучших голов не лучше спутанных мотков шелка, — такая внутри у них мешанина, — такая неразбериха.

Но когда отец стал читать дальше и узнал, что, перевернув ребенка вверх тормашками, — вещь нетрудная для опытного акушера, — и извлеки его за ноги, — мы создадим условия, при которых уже не мозг будет давить на мозжечок, а наоборот, мозжечок на мозг, отчего вреда не последует, — Господи боже! — воскликнул он, — да никак весь свет в заговоре, чтобы вышибить дарованную нам богом крупицу разума, — в заговор вовлечены даже профессора повивального искусства. — Не все ли равно, каким концом выйдет на свет мой сын, лишь бы потом все шло благополучно и его мозжечок избежал повреждений!

Такова уж природа гипотезы: как только человек ее придумал, она из всего извлекает для себя пищу и с самого своего зарождения обыкновенно укрепляется за счет всего, что мы видим, слышим, читаем или угадываем. Вещь великой важности.

Отец вынашивал вышеизложенную гипотезу всего только месяц, а уже почти не было такого проявления глупости или гениальности, которое он не мог бы без затруднения объяснить с ее помощью; — ему стало, например, понятно, почему старшие сыновья бывают обыкновенно самыми тупоголовыми в семье. — Несчастные, — говорило он, — им пришлось прокладывать путь для способностей младших братьев. — Его гипотеза

разрешала загадку существования простофиль и уродливых голов, — показывая аргюги, что иначе и быть не могло, — если только... не знаю уже что. Она чудесно объясняла остроту азиатского гения, а также большую бойкость ума и большую проницательность, наблюдаемые в более теплых климатах; не при помощи расплывчатых и избитых ссылок на более ясное небо, на большее количество солнечного света и т. п. — ибо все это, почем знать, могло бы своею крайностью вызвать также разжижение и расслабление душевных способностей, низвести их к нулю, — вроде того как в более холодных поясах, вследствие противоположной крайности, способности наши отяжелевают; — нет, отец восходил до первоисточника этого явления; — показывал, что в более теплых климатах природа обощалась ласковее с прекрасной половиной рода человеческого, — щедрее наградив ее радостями, — и в большей степени избавив от страданий, в результате чего давление и противодействие верхушки черепа бывают там столь ничтожны, что мозжечок остается совершенно неповрежденным; — он даже думал, что при нормальных родах ни одна ниточка в нем не разрывается и не запутывается, — значит, душа может вести себя, как ей нравится.

Когда отец дошел до этих пор, — какой яркий свет пролили на его гипотезы сведения о кесаревом сечении и о великих гениях, благополучно появившихся на свет с его помощью! — Тут вы видите, — говорил он, — совершенно неповрежденный сенсорий; — отсутствие всякого давления таза на голову; — никаких толчков мозга на мозжечок ни со стороны *os pubis*¹, ни со стороны *os coxugis*², — а теперь, спрашиваю я вас, каковы были счастливые последствия? Чего стоит, сэр, один Юлий Цезарь, давший этой операции свое имя; — или Гермес Триسمегист, родившийся таким способом даже раньше, чем она была наименована; — или Сципион Африканский; — или Манлий Торкват; — или наш Эдуард Шестой, который, проживи он дольше, сделал бы такую же честь моей гипотезе. — Люди эти, наряду с множеством других, занимающих высокое место в анналах славы, — все появились на свет, сэр, боковым путем.

Надрез брюшной полости или матки шесть недель не выходил из головы моего отца; — он где-то вычитал и проникся убеждением, что раны под ложечку и в матку не смертель-

¹ Лобковая кость (лат.).

² Копчиковая кость (лат.).

ны; — таким образом чрево матери отлично может быть вскрыто, чтобы вынуть ребенка. — Однажды он заговорил об этом с моей матерью, — просто так, вообще; — но, увидя, что она побледнела, как полотно, при одном упоминании о подобной вещи, — счел за лучшее прекратить с ней разговор, несмотря на огромные надежды, возлагавшиеся им на эту операцию; — довольно будет, — решил он, — восхищаться втихомолку тем, что бесполезно было, по его мнению, предлагать другим.

Такова была гипотеза мистера Шенди, моего отца; относительно этой гипотезы мне остается только добавить, что братец мой Бобби делал ей столько же чести (я умолчу о том, сколько чести делал он нашей семье), как и любой из только что перечисленных великих героев. — Дело в том, что он не только был крещен, как я вам говорил, но и родился в отсутствие отца, уезжавшего в Эпсом, — к тому же был первенцем у моей матери, — появился на свет головой вперед — и оказался потом мальчиком удивительно непонятливым, — все это не могло не укрепить отца в его мнении; потерпев неудачу при подходе с одного конца, он решил подступиться с другого.

Тут нечего было ожидать помощи от сословия повитух, которые не любят сворачивать с проторенного пути, — не удивительно, что отец склонился в пользу человека науки, с которым ему легче было столкнуться.

Из всех людей на свете доктор Слоп был наиболее подходящим для целей моего отца; — ибо хотя испытанным его оружием были недавно изобретенные им щипцы, являвшиеся, по его утверждению, самым надежным инструментом для помощи при родах, — однако он, по-видимому, обронил в своей книге несколько слов в пользу вещи, которая так сильно занимала воображение моего отца; — правда, говоря об извлечении младенца за ноги, он имел в виду не благо души его, которое предусматривала теория моего отца, — а руководился чисто акушерскими соображениями.

Сказанного будет достаточно для объяснения коалиции между отцом и доктором Слопом в дальнейшем разговоре, который довольно резко направлен был против дяди Тоби. — Каким образом неученый человек, руководясь только здравым смыслом, мог устоять против двух объединившихся мужей науки, — почти неосуществимо. — Вы можете строить на этот счет догадки, если вам угодно, — и раз уж воображение ваше разыгралось, вы можете еще больше его пришпорить и предоставить ему открыть, в силу каких причин и действий, каких законов природы могло случиться, что дядя Тоби обязан был своей

стыдливостью ране в паху. — Вы можете построить какую угодно гипотезу для объяснения потери мной носа по причине брачного договора между моими родителями — и показать миру, как могло случиться, что мне выпало несчастье называться Тристрамом, наперекор гипотезе моего отца и желанию всей нашей семьи, не исключая крестных отцов и матерей. — Все эти еще не распутанные вопросы, наряду с пятью десятками других, вы можете попытаться решить, если у вас есть время; — но я заранее говорю вам, что это будет напрасный труд, — ибо ни мудрый Алкиз, волшебник из Дона Бельяниса Греческого, ни не менее знаменитая Урганда, его волшебница жена (если бы они были живы) не могли бы и на милую подоить к истине.

Пусть поэтому читатель соблаговолит подождать полного разъяснения всех этих вопросов до будущего года, — когда откроется ряд вещей, о которых он и не подозревает.

Multitudinis imperitae non formido judicia;
 meis tamen, rogo, parcant opusculis — in
 quibus fuit propositi semper, a jocis ad seria,
 a seriis vicissim ad jocos transire.

*Ioan Saresberiensis,
 Episcopus Lugdun¹*

ГЛАВА I

— Желал бы я, доктор Сл о п, — проговорил дядя Тоби (повторяя доктору Сл о п у свое желание с большим жаром и живостью, чем он его выразил в первый раз)², — желал бы я, доктор Сл о п, — проговорил дядя Т о б и, — чтобы вы видели, какие громадные армии были у нас во Фландрии.

Желание дяди Тоби оказало доктору Сл о п у дурную услугу, чего никогда и в помыслах не было у моего дяди, — — — оно его смутило, с э р, — мысли доктора сперва смешались, потом обратились в бегство, так что он был совершенно бессилен снова их собрать.

Во всяких спорах, — между мужчинами или между женщинами, — касаются ли они чести, выгоды или л ю б в и, — ничего нет опаснее, мадам, желания, приходящего вот так нечаянно откуда-то со стороны. Самый верный, вообще говоря, способ обессилить такое адресованное вам желание состоит в том, чтобы сию же минуту встать на ноги — и, в свою очередь, пожелать *желателю* что-нибудь равноценное. — — Быстро выравняв таким образом счет, вы остаетесь как бы ли, — подчас даже приобретаете более выгодное положение для нападения.

¹ Я не страшусь суждения людей несведущих; но все же прошу их щадить мои писания — в которых намерением моим всегда было переходить от шуток к серьезному и обратно — от серьезного к шуткам.

*Иоанн Сольсберийский,
 епископ Лионский
 (лат.)*

² См. т. II, стр. 140. — *Л. Стен.*

Это будет полностью мной разъяснено в главе о желаниях. — — — —

Доктору Слопу этот способ защиты был непонятен, — — доктор был поставлен в тупик, и спор приостановился на целые четыре минуты с половиной; пять минут были бы для него гибельны. — Отец заметил опасность, — — — спор этот был одним из интереснейших споров на свете: «С головой или без головы родится младенец, предмет его молитв и забот?» — — — он молчал до последней секунды, ожидая, чтобы доктор Слуп, к которому адресовано было желание, воспользовался своим правом его вернуть; но приметя, повторяю, что доктор смешался и усталился растерянными, пустыми глазами, как это свойственно бывает сбитым с толку людям, — — сначала на дядю Тоби — потом на него самого — — потом вверх — потом вниз — потом на восток — — потом на северо-восток и так далее, — — пробежал взглядом вдоль плитуса стенной обшивки, пока не достиг противоположного румба компаса, — после чего принялся считать медные гвоздики на ручке своего кресла, — — приметя это, отец рассудил, что нельзя больше терять времени с дядей Тоби, и возобновил беседу следующим образом.

ГЛАВА II

«— Какие громадные армии были у нас во Фландрии!»

— Брат Тоби, — возразил отец, снимая с головы парик правой рукой, а левой вытаскивая из правого кармана своего кафтана полосатый индийский платок, чтобы утирать им голову во время обсуждения вопроса с дядей Тоби. — —

— — Образ действий моего отца в этом случае заслуживал, мне кажется, большого порицания; вот вам мои соображения по этому поводу.

Вопросы, с виду не более важные, чем вопрос: «Правой или левой рукой отец должен был снять свой парик?» — — сеяли смуты в величайших государствах и колебали короны на головах монархов, ими управлявших. — Надо ли, однако, говорить вам, сэр, что обстоятельства, коими окружена каждая вещь на этом свете, дают каждой вещи на этом свете величину и форму, — и, сжимая ее или давая ей простор, то так, то этак, делают вещь тем, что она есть, — большой — маленькой — хорошей — дурной — безразличной или не безразличной, как придется?

Так как индийский платок моего отца лежал в правом кармане его кафтана, то он никоим образом не должен был давать какую-либо работу правой своей руке: напротив, вместо того чтобы снимать ею парик, ему бы следовало поручить это левой руке; тогда, если бы вполне понятная потребность вытереть себе голову побудила его взять платок, ему стоило бы только опустить правую руку в правый карман кафтана и вынуть платок; — он это мог бы сделать без всякого усилия, без малейшего уродливого напряжения каких-либо сухожилий или мускулов на лице своем и на всем теле.

В этом случае (разве только отец мой вздумал бы поставить себя в смешное положение, судорожно зажав парик в левой руке — или делая локтем или под предплечьем какой-нибудь нелепый угол) — вся его поза была бы спокойной — естественной — непринужденной: сам Рейнольдс, который так сильно и приятно пишет, мог бы его написать в таком виде.

Ну, а так, как распорядился собой мой отец, — — — вы только поглядите, как дьявольски перекосил всю свою фигуру мой отец.

— В конце царствования королевы Анны, в начале царствования короля Георга Первого — *«карманы прорезывались очень низко на полах кафтанов»*. — — Мне нечего к этому добавить — сам отец зла, хотя бы он потрудился целый месяц, и тот не мог бы придумать худшей моды для человека в положении моего отца.

ГЛАВА III

Не легкое это дело в царствование какого угодно короля (разве только вы такой же тощий подданный, как и я) добраться левой рукой по диагонали через все ваше тело до dna вашего правого кафтанного кармана. — А в тысяча семьсот восемнадцатом году, когда это случилось, сделать это было чрезвычайно трудно; так что дяде Тоби, когда он заметил косые зигзаги апрошей моего отца по направлению к карману, мгновенно пришли на ум зигзаги, которые сам он проделывал, по долгу службы, перед воротами Святого Николая. — — Мысль эта до такой степени отвлекла его внимание от предмета спора, что он протянул уже правую руку к колокольчику, чтобы вызнать Трима и послать его за картой Намюра, а также обыкновенным и пропорциональным циркулем, так ему захотелось

измерить входящие углы траверсов этой а т а к и , — в особенности же тот, у которого он получил свою рану в паху.

Отец нахмурил брови, и когда он их нахмурил, вся кровь его тела, казалось, бросилась ему в лицо — — дядя Тоби мгновенно соскочил с коня.

— — А я и не знал, что ваш дядя Тоби сидел верхом. — —

ГЛАВА IV

Тело человека и его душа, я это говорю с величайшим к ним уважением, в точности похожи на камзол и подкладку камзола; — изомните камзол, — вы изомнете его подкладку. Есть, однако, одно несомненное исключение из этого правила, а именно, когда вам посчастливилось обзавестись камзолом из проклеенной тафты с подкладкой из тонкого флорентийского или персидского шелка.

Зенон, Клеанф, Диоген Вавилонский, Дионисий Гераклеот, Антипатр, Панэций и Посидоний среди греков; — Катон, Варрон и Сенека среди римлян; — Пантен, Климент Александрийский и Монтень среди христиан, да десятка три очень добрых, честных и беспечных шендианцев, имени которых не упомяну, — все утверждали, что камзолы их шиты именно так; — — вы можете мять и измять у них верх, складывать его вдоль и поперек, теребить и растеребить в клочки; — словом, можете над ним измываться сколько вам угодно, подкладка при этом ни капельки не пострадает, что бы вы с ним ни вытворяли.

Я думаю по совести, что и мой камзол шит как-нибудь в этом роде: — ведь никогда несчастному камзолу столько не доставалось, сколько вытерпел мой за последние девять месяцев; — — а между тем я заявляю, что подкладка его, — — сколько я могу понимать в этом деле, — ни на три пенса не потеряла своей цены; — трахтах, бух-бах, динь-дон, как они мне его отделали спереди и сзади, вкось и вкривь, вдоль и поперек! — будь в моей подкладке хоть чуточку клейкости, — — господи боже! давно бы уже она была протерта и растерзана до нитки.

— — Вы, господа ежемесечные обозреватели! — — Как решились вы настолько изрезать и искромсать мой камзол? — Почему вы знали, что не изрежете также и его подкладки?

От всего сердца и от всей души поручаю я вас и дела ваши покровительству существа, которое никому из нас зла

не сделает, — так да благословит вас бог; — а только если кто-нибудь из вас в ближайшем месяце оскалит зубы и начнет рвать и метать, понося меня, как делали иные в прошедшем мае (когда, помнится, погода была очень жаркая), — не прогневайтесь, если я опять спокойно пройду мимо, — ибо я твердо решил, пока я жив и пишу (что для меня одно и то же), никогда не обращаться к почтенным джентльменам с более грубыми речами или пожеланиями, нежели те, с какими когда-то дядя Тоби обратился к мухе, жужжавшей у него под носом в течение всего обеда: — «Ступай, — ступай с богом, бедняжка, — сказал он, — зачем мне тебя обижать? Свет велик, в нем найдется довольно места и для тебя и для меня».

ГЛАВА V

Каждый здраво рассуждающий человек, мадам, заметя чрезвычайный прилив крови к лицу моего отца, — вследствие которого (ибо вся кровь его тела, казалось, как я уже сказал, бросилась ему в лицо) он покраснел, художнически и научно выражаясь, на шесть с половиной тонов, если не на целую октаву, гуще натурального своего цвета; — каждый человек, мадам, за исключением дяди Тоби, заметя это, а также сурово нахмуренные брови моего отца и причудливо искривленное его тело во время этой операции, — заключил бы, что отец мой взбешен; а придя к такому заключению, — если он любитель гармонии, которую создают два таких инструмента, настроенные в один тон, — мигом подкрутил бы свои струны; — а когда уже сам черт вырвался бы на волю — вся пьеса, мадам, была бы сыграна подобно сиксте Авизона-Скарлатти — *con furia*¹ — в исступлении. — Помилосердствуйте! — Какое может иметь отношение к гармонии *con furia*, — *con strepito*² — или другая сумятица, как бы она ни называлась?

Каждый человек, повторяю, мадам, за исключением дяди Тоби, который по доброте сердечной толковал каждое телодвижение в самом благоприятном смысле, какой только оно допускало, заключил бы, что отец мой разгневан, и вдобавок осудил бы его. Дядя Тоби осудил только портного, сделавшего

¹ Неистово (*итал.*).

² С грохотом (*итал.*).

так низко карман; — — вот почему он спокойно сидел, пока отцу моему не удалось достать платок, и все время с невыразимым доброжелательством смотрел ему в лицо, — мой отец наконец заговорил, продолжая свою речь.

ГЛАВА VI

«Какие громадные армии были у вас во Фландрии!» — — Брат Тоби, — сказал мой отец, — я считаю тебя честнейшим человеком, добрее и прямодушнее которого бог еще не создавал; — — и не твоя вина, что все дети, которые были, будут, могут быть или должны быть зачаты, появляются на свет головой вперед; — но поверь мне, дорогой Тоби, случайностей, кои неминуемо их подстерегают в минуту зачатия, — хотя они, по-моему, вполне заслуживают внимательного отношения, — — а также опасностей и помех, коими бывают окружены наши дети после того, как они вышли на свет, более чем достаточно, — — незачем поэтому подвергать их ненужным опасностям еще и в то время, когда они туда выходят. — — Разве эти опасности, — сказал дядя Тоби, кладя отцу руку на колено и пытливо смотря ему в глаза в ожидании ответа, — — разве эти опасности нынче увеличились, брат, по сравнению с прошлым временем? — — Братец Тоби, — отвечал отец, — — лишь бы ребенок был честно зачат, родился живым и здоровым и мать оправилась после родов, — — а дальше предки наши никогда не заглядывали. — — Дядя Тоби мгновенно убрал руку с колена моего отца, мягко откинулся на спинку кресла, задрал голову настолько, чтобы видеть карниз у потолка, после чего, приказав ланитным своим мышцам вдоль щек и кольцевой мышце вокруг губ исполнить их обязанность, — стал насвистывать Лиллибуллиро.

ГЛАВА VII

Пока дядя Тоби насвистывал моему отцу Лиллибуллиро, доктор Слуп неистово топал ногами, на чем свет браня и проклиная Обадию. — — Вам было бы очень полезно его послушать, сэр, это навсегда бы вас вылечило от дрянной привычки ругаться. — — Вот почему я решил рассказать вам все, как было.

Служанка доктора Слопа, вручая Обадии зеленый байковый мешок с инструментами своего господина, очень настоятельно просила просунуть голову и одну руку через веревки, так, чтобы в дороге мешок висел у него через плечо; для этого, развязав петлю, чтобы удлинить веревки, она без дальнейших хлопот помогла его приладить. Однако отверстие мешка оказалось тогда в какой-то степени незащищенным; опасаясь, как бы при той скорости, которую Обадия грозил развить, скача обратно, что-нибудь не выпало из мешка, они решили снова его снять и с великой тщательностью и добросовестностью крепко связали оба конца веревки (стянув ими сначала отверстие мешка) при помощи полудюжины тугих узлов, каждый из которых Обадия для большей надежности закрутил и затянул изо всей силы.

Цель, которую себе поставили Обадия и служанка, была таким образом достигнута, но это не помогло против других зол, ни им, ни ею не предусмотренных. Как ни туго завязан был сверху мешок, однако (благодаря его конической форме) для инструментов оставалось на дне его довольно места, чтобы двигаться взад и вперед, и едва только Обадия пустился с ним рысью, как *tire-tête*, шипцы и шприц так отчаянно затарахтели, что, наверно, перепугали бы и обратили в бегство Гименея, если бы тот вздумал прогуляться в этих краях; а когда Обадия прибавил ходу и попробовал поднять упряжную лошадь с рыси на полный галоп, — боже ты мой, сэр, какой невероятный поднялся трезвон!

Так как Обадия был женат и имел трех детей — мерзость блуда и многие другие дурные политические следствия этого дребезжания ни разу не пришли ему в голову, — — однако у него было свое возражение, личного характера, которое он считал особенно веским, как это часто бывает с величайшими патриотами, — — *«Бедный парень, сэр, не в состоянии был слышать собственный свист»*.

ГЛАВА VIII

Всей инструментальной музыке, которую он с собой вез, Обадия предпочитал музыку духовую, — поэтому ему пришлось основательно пораскинуть умом, придумывая, как бы поставить себя в такие условия, чтобы можно было ею наслаждаться.

Во всех затруднениях (за исключением музыкальных), из которых можно выпутаться с помощью куска веревки, — ничто не приходит нам на ум с такой легкостью, как шнурок на нашей шляпе: — философия этого явления вполне очевидна — я не считаю нужным в нее углубляться.

Так как случай Обадии был смешанный, — заметьте, господя, — я говорю: смешанный; ибо он был гинекологический, — кошель-кический, клистирический, папистический и — поскольку в деле участвовала упряжная лошадь — кабал-истический — и лишь отчасти мелодический, — Обадия без всякого колебания воспользовался первым представившимся ему средством: — схватив одной рукой мешок с инструментами и крепко его зажав в ней, он вложил в зубы большим и указательным пальцами другой руки кончик шнурка со своей шляпы и спустил эту руку до середины шнурка, — после чего крепко перевязал мешок крест-накрест с одного конца до другого (как мы увязываем сундук) таким множеством перепутанных во все стороны оборотов с тугими узлами везде, где шнурки скрещивались, — что доктору Слопу понадобилось бы, по крайней мере, три пятых терпения Иова, чтобы все это размотать. — Я по совести думаю, что если бы только Природа обнаружила, как с ней это бывает, проворство и расположена была к такому соревнованию — и доктор Сноп честно начал бы его вместе с ней, — нет на свете человека, который, видев мешок и все, что с ним проделал Обадия, — а также зная, какую огромную скорость способна развить, когда она находит нужным, эта богиня, — сохранил бы в уме своем малейшее сомнение — кто из них выйдет победителем. Моя мать, мадам, безусловно разрешилась бы скорее, чем зеленый мешок, — на двадцать узлов по крайней мере. — Игрушка ничтожных случайностей — вот кто ты, Тристрам Шенди! и всегда таким будешь! Если бы соревнование это для блага твоего состоялось, а было пятьдесят шансов против одного, что оно состоится, — дела твои не были бы так придавлены (по крайней мере, вследствие придавленности твоего носа), как вышло в действительности; равным образом благополучие дома твоего и возможности его добиться, так часто тебе представлявшиеся в течение твоей жизни, не были бы так часто, так досадно, так постыдно, так безвозвратно упущены, — как ты вынужден был их упустить; — но все это кончено, — все, кроме отчета о них, который, однако, не может быть сделан любознательным читателям, пока я не появлюсь на свет.

ГЛАВА IX

Великие умы сходятся: едва только доктор Слоп бросил взгляд на свой мешок (что он сделал не прежде, чем спор с дядей Тоби о повивальном искусстве ему о нем напомнил) — как эта самая мысль пришла ему в голову. — Слава богу, — сказал он (про себя), — что миссис Шенди так трудно приходится, — иначе она успела бы семь раз родить раньше, чем половина этих узлов могла быть развязана. — Но тут надо различать — — — — мысль эта только плавала в уме доктора Слопа, без парусов и без балласта, как простое предположение, миллионы таких мыслей, как известно вашей милости, каждый день спокойно плавают в тонкой жидкости человеческого разума, не выносясь ни вперед, ни назад, пока какой-нибудь легкий порыв страсти или корысти не пригонит их к тому или иному краю.

Внезапный топот в комнате наверху, возле кровати моей матери, оказал предположению доктора услугу, о которой я говорю. — Вот несчастье, — промолвил доктор Слоп; — если я не потороплюсь, со мной действительно так и случится, как я предположил.

ГЛАВА X

В случае *узлов*, — — я прежде всего не желал бы быть понятым так, будто я под ними разумею затяжные петли, — — потому что на протяжении «моей жизни и мнений» — — мнения мои о них уместнее будет высказать, когда я коснусь катастрофы с моим двоюродным дедом, мистером Гаммондом Шенди, — — маленьким человеком, — — но с богатой фантазией: — — он впутался в заговор герцога Монмута; — — я также не имею здесь в виду узлов того особенного вида, которые называются бантами; — — для их развязывания требуется так мало ловкости, искусства или терпения, что говорить о них было бы ниже моего достоинства. — — Нет, под узлами, о которых я веду речь, поверьте мне, ваши преподобия, я разумею добротные, честные, дьявольски тугие, крепкие узлы, затянутые *bona fide*¹, как это сделал Обадия, — узлы, в которых нет никакой хитрости, вроде сдвоения веревки и продевания обоих

¹ Добросовестно (лат.).

ее концов через annulus¹ или петлю, образованную вторичным их сплетением, — дабы их можно было спустить и развязать посредством — — — — Надеюсь, вы меня понимаете.

Итак, в случае этих узлов и различных помех, которые, с позволения ваших преподобий, они бросают нам под ноги на жизненном пути, — — каждый нетерпеливый человек может выхватить свой перочинный нож и их разрезать. — — Это неправильно. Поверьте, господа, самый безукоризненный способ, предписываемый нам и разумом и совестью, — приложить к ним наши зубы или наши пальцы. — — Доктор Слуп потерял свои з у б ы , — любимый его инструмент, когда он однажды, при трудных родах, вытягивая его, неверно направил или плохо приладил, — любимый его инструмент, неудачно скользнув, выбил доктору рукояткой три лучших зуба; — он попробовал было пустить в ход пальцы — увы! ногти на его указательных и больших пальцах были коротко обстрижены. — Черт бы его побрал! Я никак не могу с ним сладить, — вскричал доктор Слуп. — — Топот над головой возле постели моей матери усилился. — Чума его порази, этого бездельника! В жизнь мне не распутать этих уз л о в . — Моя мать застонала. — Одолжите мне ваш перочинный нож — надо же мне наконец разрезать эти узлы — — фу! — — тьфу! — Господи, я разрезал себе большой палец до самой кости! — Проклятие этому остолопу — — если нет другого акушера на пятьдесят миль кругом — я приведен в негодность на этот раз — — чтоб этого мерзавца повесили — чтоб его расстреляли — — чтоб все черти в аду принялись за этого болвана. — —

Мой отец относился к Обадии с большим уважением и терпеть не мог слушать, когда его честили таким образом, — — он, сверх того, относился с некоторым уважением к самому себе — — и тоже не выносил, когда с ним обращались оскорбительно.

Обрежь себе доктор Слуп что-нибудь другое, только не большой палец — — отец оставил бы это без внимания — — восторжествовало бы его благоразумие; но при создавшемся положении он решил взять реванш.

— Малые проклятия, доктор Слуп, при больших неудачах, — сказал отец (выразив сперва доктору соболезнование по случаю постигшего его несчастья), — лишь пустая трата наших сил и душевного здоровья. — Я с вами согласен, — отвечал доктор Слуп. — — — Это все равно что стрелять бекасинником по бастиону, — заметил дядя Тоби (перестав насвистывать). — —

¹ Кольцо (лат.).

Такие проклятия, — продолжал отец, — только волнуют нашу кровь — не принося нам никакого облегчения; — что касается меня, то я редко бранюсь или проклинаю — я считаю, что это дурно, — но если уж ненароком это со мной случается, я обыкновенно настолько сохраняю присутствие духа (— Правильно, — сказал дядя Тоби), что заставляю брань служить моим целям — то есть я бранюсь, пока не почувствую облегчения. Впрочем, человек мудрый и справедливый всегда будет пытаться соразмерять количество желчи, которой он дает таким образом выход, не только со степенью своего возбуждения — но также с величиной и злонамеренностью оскорбления, на которое желчь его должна вылиться. — *Только преднамеренные обиды оскорбительны*, — заметил дядя Тоби. — По этой причине, — продолжал отец с истинно сервантесовской важностью, — я исполнен величайшего уважения к одному джентльмену, который, не полагаясь на свою умеренность в этом деле, сел и сочинил (на досуге, конечно) формулы проклятий, подходящих для любого случая, с каким мог он встретиться, начиная от самых пустых и до тяжчайших из оскорблений, — формулы эти были им тщательно взвешены, и он мог на них положиться, почему и держал всегда под рукой на камине, готовыми к употреблению. — Я никогда не предполагал, — проговорил доктор Слуп, — чтобы подобная вещь могла кому-нибудь прийти в голову, — а еще менее, чтобы она была кем-нибудь осуществлена. — Извините, пожалуйста, — отвечал отец: — еще сегодня утром я читал одно из таких произведений брату Тоби, когда он разливал чай, — правда, я им не воспользовался — оно лежит вон там на полке над моей головой: — но если память мне не изменяет, вещь эта слишком сильная для пореза пальца. — *Вовсе нет*, — сказал доктор Слуп, — черт бы побрал этого бездельника. — В таком случае, — отвечал отец, — документ весь к вашим услугам, доктор Слуп, — при условии, что вы его прочитаете вслух. — С этими словами он поднялся и достал формулу отлучения римской церкви (отцу моему, любителю коллекционировать курьезы, удалось достать копию с нее из церковной книги Рочестерского собора), написанную епископом Эрнульфом. — С выражением крайней серьезности во взгляде и в голосе, способным умилить самого Эрнульфа, — он вручил ее доктору Слупу. — Доктор Слуп обмотал свой палец уголком носового платка и с перекошенным лицом, но ни о чем не подозревая, прочитал вслух следующее — дядя Тоби тем временем изо всей силы насвистывал Лиллибуллиро.

Textus de Ecclesia Roffensi, per Ernulfum
Episcopum

CAPUT XI
Excommunicatio¹

Ex auctoritate Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et sanctorum canonum, sanctaeque et intemeratae Virginis Dei genetricis Mariae, —

— — — Atque omnium coelestium virtutum, angelorum, archangelorum, thronorum, dominationum, potestatum, cherubin ac seraphin, et sanctorum patriarchum, prophetarum, et omnium apostolorum et evangelistarum, et sanctorum innocentum, qui in conspectu Agni soli digni inventi sunt canticum cantare novum, et sanctorum martyrum, et sanctorum confessorum, et sanctarum virginum, atque omnium simul sanctorum et electorum Dei, —
vel os s vel os
Excommunicamus, et anathematizamus hunc furem, vel hunc
s
malefactorem, N. N. et a liminibus sanctae Dei ecclesiae seques-
vel i n
tramus, et aeternis suppliciiis excrucandus, mancipetur, cum Dathan et Abiram, et cum his qui dixerunt Domino Deo, Recede

¹ Так как подлинность совещания Сорбонны по вопросу о крещении была некоторыми подвергнута сомнению, а некоторыми вовсе отрицалась, — то почтено было целесообразным напечатать оригинал этого отлучения; за его список мистер Шенди приносит благодарность секретарю настоятеля и капитула Рочестерского собора. — *Л. Стрн.*

ГЛАВА XI

Рочестерский сборник, составленный епископом Эрнульфом

Отлучение

«Властию всемогущего бога, отца, сына и духа святого, и всех святых, святой и непорочной богородицы девы Марии». Я думаю, нет необходимости читать вслух, — сказал доктор Слор, опуская бумагу себе на колени и обращаясь к моему отцу, — ведь вы ее совсем недавно читали, сэ р, — а капитан Шенди, по-видимому, не очень расположен слушать — — я спокойно могу поэтому прочитать ее про себя. — Это противно нашему уговору, — возразил отец, — — а кроме того, там есть нечто настолько сумасбродное, особенно в последней части, что мне было бы жаль лишиться удовольствия прослушать вторично. — Доктору Слору это совсем не нравилось, — но так как дядя Тоби выразил в эту минуту готовность прекратить свист и прочитать документ сам, — то доктор Слор решил, что лучше уж он будет читать под прикрытием свиста дяди Тоби — чем предоставит это дяде Тоби без такого сопровождения; — — и вот, подняв бумагу повыше и держа ее на уровне лица, чтобы скрыть свою досаду, — он прочитал вслух следующее — а дядя Тоби продолжал насвистывать Лиллибуллиро, хотя и не так громко, как раньше.

«Властию всемогущего бога, отца, сына и духа святого, и непорочной богородицы девы Марии, и всех небесных сил, ангелов, архангелов, престолов, господств, владычеств, херувимов и серафимов, и всех святых патриархов, пророков, и всех святых апостолов и евангелистов, и святых праведников, кои одни только удостоены петь перед лицом Агнца новую песнь, и святых мучеников, и святых исповедников, и святых дев, и всех святых и избранников божиих, — да будет он (Обадия) проклят (за то, что завязал эти узлы). — Отлучаем злодея и грешника и предаем анафеме и изгоняем за порог святой церкви всемогущего бога, дабы он предан был на вечные муки с Дафаном и Авироном и со всеми, кто говорит господу богу:

a nobis, scientiam viarum tuarum nolumus: et sicut aqua ignis
vel eorum
extinguitur, sic extinguatur lucerna ejus in secula seculorum nisi
n n
resipuerit, et ad satisfactionem venerit. Amen.

os

Maledicat illum Deus Pater qui hominem creavit. Maledicat illum
Dei Filius qui pro homine passus est. Maledicat illum

os

Spiritus Sanctus qui in baptismo effusus est. Maledicat illum
sancta crux, quam Christus pro nostra salute hostem triumphans
ascendit.

os

Maledicat illum sancta Dei genetrix et perpetua Virgo Maria,

os

Maledicat illum sanctus Michael animarum susceptor sacrarum.
Maledicant illum omnes angeli et archangeli, principatus et po-
testates, omnisque militia coelestis.

os

Maledicat illum patriarcharum et prophetarum laudabilis

os

numerus. Maledicat illum sanctus Johannes Praecursor et Bap-
tista Christi, et sanctus Petrus, et sanctus Paulus, atque sanctus
Andreas, omnesque Christi apostoli, simul et caeteri discipuli,
quatuor quoque evangelistae, qui sua praedicatione mundum uni-

os

versum converterunt. Maledicat illum cuneus martyrum et con-
fessorum mirificus, qui Deo bonis operibus placitus inventus est.

os

Maledicant illum sacrarum virginum chori, quae mundi vana

os

causa honoris Christi respuenda contempserunt. Maledicant illum
omnes sancti qui ab initio mundi usque in finem seculi Deo
dilecti inveniuntur.

os

Maledicant illum coeli et terra, et omnia sancta in eis ma-
nentia.

отыди от нас, ибо мы не хотим знать путей твоих. И как огонь угашается водой, так да угаснет свет его до скончания веков, если он (Обадиа) не покается (в том, что завязал узлы) и не загладит (вины своей). Аминь.

«Да проклянет его бог отец, сотворивший человека! — Да проклянет его сын божий, пострадавший за нас! — Да проклянет его (Обадию) дух святой, ниспосланный нам во святом крещении! — Да проклянет его святой крест, на который возшел ради нашего спасения Христос, восторжествовав над врагом своим!

«Да проклянет его святая богородица и приснодева Мария! — Да проклянет его святой Михаил, заступник святых душ! — Да проклянут его все ангелы и архангелы, начала и власти и все воинства небесные». (Наши воинства во Фландрии были куда как горазды на проклятия, — воскликнул дядя Т о б и, — но их проклятия ничто по сравнению с э т и м. — У меня бы не хватило духу проклясть таким образом даже собаку.)

«Да проклянет его достославный сонм патриархов и пророков! — Да проклянут его святой Иоанн Предтеча и креститель господень, и святые Петр и Павел, и святой Андрей, и все Христовы апостолы, и прочие ученики его, а также четыре евангелиста, проповедью своею обратившие в истинную веру вселенную! — Да проклянет его (Обадию) дивная рать мучеников и исповедников, угодивших богу добрыми своими делами!

«Да проклянет его хор священных дев, ради славы Христовой презревших суету мирскую! — Да проклянут его все святые, от начала мира и до окончания века снискавшие благоволение божие!

«Да проклянут его (Обадию) или ее (или кого бы то ни было, кто приложил руку к завязыванию этих узлов) небеса и земля и все, что на них есть святого!

i n n
Maledictus sit ubicunque fuerit, sive in domo, sive in agro,
sive in via, sive in semita, sive in silva, sive in aqua, sive in
ecclesia.

i n
Maledictus sit vivendo, moriendo, — — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — — manducando, bibendo,
esuriendo, sitiendo, jejunando, dormitando, dormiendo, vigilando,
ambulando, stando, sedendo, jacendo, operando, quiescendo, min-
gendo, cacando, flebotamando.

i n
Maledictus sit in totis viribus corporis.

i n
Maledictus sit intus et exterius.

i n i n
Maledictus sit in capillis; maledictus sit in cerebro.

i n
Maledictus sit in vertice, in temporibus, in fronte, in auriculis,
in superciliis, in oculis, in genis, in maxillis, in naribus, in denti-
bus, mordacibus, sive molaribus, in labiis, in guttere, in humeris,
in harnis, in brachiis, in manubus, in digitis, in pectore, in corde,
et in omnibus interioribus stomacho tenus, in renibus, in inguini-
bus, in femore, in genitalibus, in coxis, in genibus, in cruribus,
in pedibus, et in unguibus.

Maledictus sit in totis compagibus membrorum, a vertice
capitis, usque ad plantam pedis — non sit in eo sanitas.

«Да будет он (Обадия) проклят, где бы он ни находился — в доме или в конюшне, в саду или в поле, на большой дороге или на глухой тропинке, в лесу или в воде, или же в храме! —

«Да будет он проклят при жизни и в минуту смерти!» (Здесь дядя Тоби, воспользовавшись половинной нотой во втором такте своей арии, держал ее непрерывно до самого конца фразы, — между тем как доктор Слуп все это время выводил густым басом свою руладу проклятий.) «Да будет он проклят за едой и за питьем, голодный, жаждущий, постящийся, засыпающий, спящий, бодрствующий, ходящий, стоящий, сидящий, лежащий, работающий, отдыхающий, мочающийся, испражняющийся и кровотокающий!

«Да будет он (Обадия) проклят во всех способностях своего тела!

«Да будет он проклят снаружи и внутри!

«Да будет он проклят в волосах главы своей! — Да будет он проклят в мозгу своем и в темени» (— Это тяжелое проклятие, — заметил мой отец), «в висках, во лбу, в ушах, в бровях, в глазах, в щеках, в челюстях, в ноздрях, в зубах, как передних, так и коренных, в губах, в гортани, в плечах, в запястьях, в руках и в кистях рук, в пальцах!

«Да будет он проклят в устах своих, в груди, в сердце и во всех внутренностях до самого желудка!

«Да будет он проклят в чреслах своих и в паху!» (— Боже избави! — воскликнул дядя Тоби) «в лядвях, в половых органах» (отец покачал головой), «в бедрах, в коленях, в голених, в ногах и в ногтях на пальцах ног!

«Да будет он проклят во всех суставах и соединениях членов своих от верхушки головы до ступней ног! Да не будет в нем ничего здорового!

Maledicat illum Christus Filius Dei vivi toto suae majestatis imperio —

— — — et insurgat adversus illum coelum cum omnibus virtutibus quae in eo moventur ad damnandum eum, nisi penituerit et ad satisfactionem venerit. Amen. Fiat, fiat. Amen.

«Да проклянет его Христос, сын бога живого, во всей славе величия своего» — — (Тут дядя Тоби, откинув назад голову, пустил чудовищное, оглушительное фьюю-ю — — нечто среднее между свистом и восклицанием Тю-тю! — —

— Клянусь золотой бородой Юпитера — и Юноны (если только ее величество носила бороду), а также бородами остальных ваших языческих светлостей, которых, к слову сказать, наберется не мало, если счесть бороды ваших небесных богов, богов воздуха и богов водяных — не говоря уже о бородах богов городских и богов сельских или о бородах небесных богинь, ваших жен, и богинь преисподней, ваших любовниц и наложниц (опять-таки, если они носили бороды) — — каковые все бороды, — говорит мне Варрон, чествуя ручаясь за свои слова, — собранные вместе, составляли не менее тридцати тысяч наличных бород в языческом хозяйстве, — — причем каждая такая борода требовала, как законного своего права, чтобы ее гладили и ею клялись, — — итак, всеми этими бородами, вместе взятыми, — — клянусь и торжественно обещаю, что из двух худых сутан, составляющих все мое достояние на свете, я бы отдал лучшую с такой же готовностью, как Сид Ахмет предлагал свою, — — только за то, чтобы присутствовать при этой сцене и слышать аккомпанемент дяди Тоби.)

— — «во всей славе величия своего!» — продолжал доктор Слуп, — — «и да восстанут против него небеса, со всеми силами, на них движущимися, да проклянут и осудят его (Обадию), если он не покается и не загладит вины своей! Аминь. Да будет т а к , — да будет так. Аминь».

— Признаюсь, — сказал дядя Т о б и , — у меня не хватило бы духу проклясть с такой злобой самого дьявола. — — Он ведь отец проклятий, — возразил доктор Слуп. — — А я н е т , — возразил дядя. — — Но он ведь уже проклят и осужден на веки в е ч н ы е , — возразил доктор Слуп.

— Жалею об э т о м , — сказал дядя Тоби.

Доктор Слуп вытянул губы и собрался было вернуть дяде Тоби комплимент в виде его «фью-ю-ю» — — или восклицательного свиста — — как поспешно отворившаяся в следующей главе дверь — положила конец этому делу.

Нечего нам напускать на себя важность и делать вид, будто ругательства, которые мы себе позволяем в нашей хваленой стране свободы, — наши собственные, — и на том основании, что у нас хватает духу произносить их вслух, — — вообразить, будто у нас достало бы также ума их придумать.

Я берусь сию же минуту доказать это всем на свете, за исключением знатоков, — хотя я объявляю, что возражения мои против знатоков ругани только такие — какие я бы сделал против знатоков живописи и т. д. и т. д. — вся эта компания настолько обвешана кругом и офетишена побрякушками и безделушками критических замечаний, — — или же, оставляя эту метафору, которой, кстати сказать, мне жаль, — — ибо я ее раздобыл в таких далеких краях, как берега Гвинеи, — — голы их, сэр, настолько загружены линейками и циркулями и чувствуют такую непреодолимую склонность прилагать их по всякому поводу, что для гениального произведения лучше сразу отправиться к черту, чем ждать, пока они его растерзают и замучат до смерти.

— А как вчера в театре Гаррик произнес свой монолог? — О, против всяких правил, милорд, — совсем не считаюсь с грамматикой! Между существительным и прилагательным, которые должны согласоваться в числе, падеже и роде, он сделал разрыв вот т а к , — остановившись, как если бы это еще требовалось выяснить, — а между именительным падежом, который, как известно вашей светлости, должен управлять глаголом, он двенадцать раз делал в эпилоге паузу в три и три пятых секунды каждый раз, по секундомеру, милорд. — — Замечательная грамматика! — — Но, разрывая свою речь, — — разрывал ли он также и смысл? Разве жесты его и мимика не заполняли пустот? — — Разве глаза его молчали? Вы смотрели внимательно? — — Я смотрел только на часы, милорд. — — Замечательный наблюдатель!

— А что вы скажете об этой новой книге, которая производит столько шума везде? — Ах, милорд, она вся перекошена, — — вне всяких правил! — ни один из ее четырех углов нельзя назвать прямым. — — У меня были в кармане линейка и циркуль, милорд. — — Замечательный критик!

— А что касается эпической поэмы, которую ваша светлость велели мне рассмотреть, — то, смерив ее длину, ширину, высоту и глубину и сличив данные у себя дома с точной шка-

лой Боссю, — я нашел, милорд, что она во всех направлениях превышает норму. — — Удивительный знаток!

— А зашли вы посмотреть на большую картину, когда возвращались домой? — — Жалкая мазня, милорд! Ни одна группа не написана по принципу *пирамиды!* — — а какая цена! — — Ведь в ней нет и признаков колорита Тициана — — выразительности Рубенса — — грации Рафаэля — — чистоты Доменикино — *корреджистости* Корреджо — познаний Пуссена — пластичности Гвидо — — вкуса Каррачи — — или смелого рисунка Анджело. — — Помилосердствуйте, бога ради! — Из всех жаргонов, на которых жаргонят в этом жаргонящем мире, — жаргон ханжей хоть и можно считать наихудшим — самым изводящим, однако, является жаргон критиков!

— Я готов пройти пятьдесят миль пешком (потому что не имею годной верховой лошади), чтобы поцеловать руку человека, благородное сердце которого охотно передает вожжи своего воображения в руки любимого писателя — — и который наслаждается чтением, не зная отчего и не спрашивая почему.

Великий Аполлон! если ты расположен дарить — — даруй мне — большего я не прошу — лишь чуточку природного юмора с искоркой собственного твоего огня в нем — — и пошли Меркурия с его *линейками* и *циркулями*, если у него найдется время, передать мои поздравления — — не важно кому.

Так вот, я берусь доказать каждому, кроме знатоков, что все ругательства и проклятия, которыми мы оглашали воздух в течение последних двухсот пятидесяти лет в качестве самобытных, — — за исключением *большого пальца апостола Павла* — — — *божьего мяса и божьей рыбы* — ругательств монархических и притом, принимая во внимание тех, кто к ним прибежал, совсем неплохих: ведь при королевских ругательствах не важно, рыба они или мясо; — — за этим исключением, я утверждаю, между ними нет ни одного ругательства или, по крайней мере, проклятия, которое не было бы тысячу раз скопировано и перекопировано с Эрнульфа; однако, подобно прочим копиям, как все они по силе и выразительности бесконечно далеки от оригинала! — — «*Прокляни тебя боже*» — считается неплохим проклятием — — и само по себе вполне приемлемо. — — Но сопоставьте его с Эрнульфовым — — «Да проклянет тебя всемогущий бог отец — да проклянет тебя бог сын — да проклянет тебя бог дух святой», — — и вы увидите все его ничтожество. — В Эрнульфовых проклятиях есть нечто восточное, до чего нам ни за что не дотянуться; кроме того,

Эрнульф куда изобретательнее — он был богаче одарен качествами богохульника — и обладал таким основательным знанием человеческого тела с его перепонками, нервами, связками, суставами и сочленениями — что, когда он проклинал, — от него не ускользал ни один орган. — Правда, в манере его есть некоторая жесткость — у него, как у Микеланджело, недостает изящества — но зато сколько gusto!¹

Отец мой, который, вообще говоря, на все смотрел совсем иначе, нежели другие люди, ни за что не хотел допустить, чтобы документ этот был оригиналом. — Он рассматривал скорее Эрнульфову анафему как некий кодекс проклятий, в котором, по его предположению, после упадка *проклинательного искусства* под более мягким управлением одного из пап, Эрнульф, по приказанию его преемника, с великой ученостью и прилежанием собрал вместе все законы проклятия: — по этим самым соображениям Юстиниан, в эпоху упадка империи, приказал своему канцлеру Трибониану собрать все римские или гражданские законы в один кодекс, или дигесты, — дабы, подвергнувшись ржавчине времени — и роковой участи всего, что предоставлено устной традиции, — они не погибли навсегда для мира.

По этой причине отец часто утверждал, что нет такого ругательства, от величественной и потрясающей божбы Вильгельма Завоевателя (*блеском божиим*) до самой низкой ругани мусорщика (*лонни твои глаза*), которого нельзя было бы найти у Эрнульфа. — — — Словом, — прибавлял он, — желал бы я видеть человека, который переругал бы его.

Гипотеза эта, подобно большинству гипотез моего отца, своеобразна, а также остроумна; — — единственное мое возражение против нее то, что она опрокидывает мою собственную гипотезу.

ГЛАВА XIII

— — Боже милостивый! — — бедная госпожа моя вот-вот лишится чувств — — и боли ее утихли — и капли кончились — — и склянка с лекарством разбилась — и сиделка порезала себе руку — — (— А я — большой палец! — вскричал доктор Слуп) — и ребенок там, где он был, — продолжала

¹ Сочности (*итал.*).

Сузанна, — — и повитуха упала навзничь на ребро подставки у камина и так зашибла себе ляжку, что она у нее черная, как ваша шляпа. — Пойду погляжу, — сказал доктор Слор. — — Она этого не стоит, — возразила Сузанна, — — вы бы лучше поглядели на мою госпожу; — — но повитухе очень бы хотелось сперва вам рассказать, как обстоит дело, почему она и просит вас пожаловать сию минуту наверх и поговорить с ней.

Природа человеческая во всех профессиях одинакова.

Повивальная бабка только что была превознесена над доктором Слором. — — Он этого не вынес. — Нет, — возразил доктор Слор, — приличнее было бы, если бы эта повитуха спустилась ко мне. — — Люблю субординацию, — сказал дядя Тоби, — — не будь ее, не знаю, что случилось бы после взятия Лилля с гарнизоном Гента во время голодного мятежа в десятом году. — — Я тоже, — подхватил доктор Слор (пародируя замечание дяди Тоби, вскочившего на своего конька, хотя и его конек, не хуже дядиного, закусил удила), — не знаю, капитан Шенди, что случилось бы с нашим гарнизоном наверху посреди мятежа и кутерьмы, поднявшихся, кажется, там сейчас, если б не субординация моих пальцев по отношению к***** — применение которых, сэр, при постигшем меня несчастье, приходится так à propos¹, что, не будь их, порез моего большого пальца, пожалуй, ощущался бы семейством Шенди до тех пор, пока семейство Шенди существует на свете.

ГЛАВА XIV

Вернемся теперь к***** — — в предыдущей главе.

Замечательная уловка красноречия состоит (по крайней мере, состояла в то время, когда красноречие процветало в Афинах и в Риме, и состояла бы донныне, если бы ораторы носили мантии) в том, чтобы не называть вещь, если вещь эту вы держите при себе *in petto*² и готовы вдруг предъявить ее, когда понадобится. Шрам, топор, меч, продырявленную нижнюю одежду, заржавленный шлем, полтора фунта золы в урне или трехкопеечный горшочек рассола — но превыше всего

¹ Кстати (*франц.*).

² В уме (*итал.*).

по-царски разодетого грудного ребенка. — Впрочем, если ребенок бывал слишком юн, а речь такой длины, как вторая филиппика Туллия, — он, разумеется, пачкал мантию оратора. — А с другой стороны, будучи переростком, — оказывался слишком громоздким и стеснял движения оратора — так что последний почти столько же терял от него, сколько выигрывал. — Когда же государственный муж нападал на нужный возраст точка в точку — когда он так ловко запрятывал своего Bambino в складках мантии, что ни один смертный не мог его учуять, — предъявлял его так своевременно, что ни одна душа не могла сказать, появился ли он головой и плечами... — О государи мои, это делало чудеса! — — — Это открывало шлюзы, кружило головы, потрясало основы и сворачивало с налаженных путей политику половины нации.

Такие штуки можно, однако, проделывать только в тех государствах, повторяю, и в те эпохи, когда ораторы носят мантии — и притом довольно просторные, братья мои, требующие ярдов двадцать или двадцать пять хорошего пурпура, отменно тонкого и вполне доброкачественного — с широкими развешивающимися складками, образующими рисунок благородного стиля. — — — Все это ясно показывает, с позволения ваших милостей, что нынешний упадок красноречия и малая от него польза как в частной, так и в общественной жизни происходят не от чего иного, как от короткого платья и выхода из употребления просторных штанов. — — — Ведь под нашими нельзя спрятать, мадам, ничего, что стоило бы показать.

ГЛАВА XV

Доктор Слуп едва не оказался исключением во всей этой цепи доказательств: зеленый байковый мешок, лежавший у него на коленях, когда он начал пародировать дядю Тоби, — был для него все равно что лучшая мантия на свете. Вот почему, предвидя, что фраза его кончится недавно им изобретенными *цитцами*, он запустил в мешок руку, чтобы иметь их наготове и выложить, когда ваши преподобия сосредоточили столько внимания на*****. Если бы ему это удалось — дядя Тоби был бы, конечно, посрамлен: фраза его и вещественный довод сходились в данном случае точка в точку, как две линии, образующие исходящий угол равелина, — доктор Слуп ни за

что бы не поступился своим инструментом — — — и дяде Тоби пришлось бы или обратиться в бегство, или брать щипцы приступом. Но доктор Слуп действовал так неуклюже, вытаскивая их из мешка, что погубил весь эффект, и, что было еще в десять раз хуже (ведь в жизни беда редко приходит одна), извлекая *щипцы*, он, к несчастью, вытащил вместе с ними также и *шприц*.

Когда предположение можно понять в двух смыслах — — — то так уж водится в спорах, что противник может возражать, взяв его в том смысле, какой ему нравится или какой он находит для себя более удобным. — — Это обстоятельство отдало все преимущества в споре дяде Тоби. — — — Господи боже! — воскликнул дядя Тоби, — *неужели детей выводят на свет с помощью шприца?*

ГЛАВА XVI

— Честное слово, сэръ, вы содрали мне вашими щипцами всю кожу с обеих рук, — вскричал дядя Тоби, — да еще в придачу расплющили в студень суставы всех моих пальцев. — Вы сами виноваты, — сказал доктор Слуп, — вам надо было плотно сжать вместе ваши кулаки в форме головы ребенка, как я вам сказал, и сидеть неподвижно. — — Я так и сделал, — отвечал дядя Тоби. — — — Стало быть, концы моих щипцов недостаточно оснащены, или заклепка ослабла, — или же от пореза большого пальца я действовал немного неловко — или, может быть — — Как хорошо, однако, — проговорил мой отец, прерывая это перечисление возможностей, — что ваш опыт сперва проделан был не над головой моего ребенка. — — — Она бы не пострадала ни на вишневую косточку, — отвечал доктор Слуп. — А я утверждаю, — сказал дядя Тоби, — что вы бы ему расплющили мозжечок (разве только череп у него крепок, как граната) и обратили все его содержимое в жижицу. — Чуть! — возразил доктор Слуп, — голова у новорожденного от природы нежная, как мякоть яблока, — — швы легко расходятся — — и, кроме того, я мог бы его вытащить и за ноги. — — Не правда, — сказала она. — Я бы предпочел, чтобы вы с этого начали, — проговорил мой отец.

— Да, пожалуйста, — прибавил дядя Тоби.

ГЛАВА XVII

— — Да на каком же, в конце концов, основании, бабушка, возьметесь вы утверждать, что это не бедро, а голова ребенка? — — Ну, разумеется, голова, — возразила повивальная бабка. — Ведь, как ни решительны утверждения этих старых дам, — продолжал доктор Слоп (обращаясь к моему отцу), — — определить это очень трудно — — хотя и чрезвычайно важно, — — потому, сэр, что если по ошибке примешь бедро за голову — то легко может случиться (если ребенок — мальчик), что щипцы *****.

— — — Что именно может случиться, — доктор Слоп тихонько прошептал на ухо сначала моему отцу, а потом дяде Тоби. — — Голове же, — продолжал он, — такая опасность не угрожает. — Разумеется, не угрожает, — проговорил отец, — а только если это может случиться с бедром — — вы свободно можете снести также и голову.

— Читателю решительно невозможно тут что-нибудь понять — — довольно того, что понял доктор Слоп. — — Взяв в руку свой зеленый байковый мешок, он с помощью туфель Обадии, весьма проворно для человека его сложения, зашагал через комнату к дверям — — а от дверей добрая повитуха проводила его в комнаты моей матери.

ГЛАВА XVIII

— Всего два часа и десять минут — не больше, — — воскликнул мой отец, взглянув на свои часы, — как прибыли сюда доктор Слоп и Обадия. — — — Не знаю, как это случается, брат Тоби, — — — а только моему воображению кажется, что прошел почти целый век.

— — Тут — — сэр, возьмите, пожалуйста, мой колпак — — да прихватите заодно колокольчик, а также мои ночные туфли.

Так вот, сэр, все это к вашим услугам, и я от всего сердца дарю это вам при условии, если вы уделите настоящей главе все ваше внимание.

Хотя отец мой сказал: *«не знаю, как это случается»*, — — однако он отлично это знал, — — и в ту самую минуту, когда он говорил это, уже принял про себя решение подробно объяснить дяде Тоби, в чем тут дело, при помощи метафизического

рассуждения на тему о *длительности и ее простых модусах*, чтобы показать дяде Тоби, в силу какого механизма и каких выкладок в мозгу вышло так, что быстрая смена их мыслей после появления в комнате доктора Слопа и постоянные переходы разговора с одного предмета на другой растянули такой короткий промежутком времени до таких непостижимых размеров. — «Не знаю, как это случается, — воскликнул мой отец, — а только мне кажется, что прошел целый век».

— Все это объясняется, — проговорил дядя Тоби, — смелой наших идей.

Отец, который, подобно всякому философу, испытывал зуд рассуждать обо всем, что ни случается, а также давать всему объяснение, — ожидал для себя величайшего удовольствия от беседы на тему о смене идей, нисколько не опасаясь, что она будет выхвачена у него из рук дядей Тоби, который (честнейшая душа!) обыкновенно все принимал так, как оно происходило, — и меньше всего на свете утруждал свои мозги путанными мыслями. — Идеи времени и пространства — или как мы доходим до этих идей — или из какого материала они образованы — рождаются ли они с нами — или мы их потом уже подбираем по дороге — еще в юбочке — или когда уже надели штаны — вместе с тысячей других изысканий и пререканий о *бесконечности, предвидении, свободе и необходимости* и так далее, на безнадежных и недоступных теориях которых свихнулось и погибло уже столько умных голов, — никогда не причиняли ни малейшего вреда голове дяди Тоби; отец мой это знал — и был крайне поражен и раздосадован нечаянным решением вопроса моим дядей.

— А понимаете ли вы теорию этого дела? — спросил отец.

— Никапельки, — отвечал дядя.

— Но есть же у вас какие-то идеи относительно того, что вы говорите? — сказал отец.

— Не больше, чем у моей лошади, — отвечал дядя Тоби.

— Боже милостивый! — воскликнул отец, возведя глаза к небу и всплеснув руками, — в твоём простодушном невежестве столько достоинства, брат Тоби, — что прямо жаль замечать его знанием. — Но я тебе расскажу. —

— Чтобы правильно понять, что такое *время*, без чего для нас навсегда останется непостижимой *бесконечность*, поскольку одно составляет часть другой, — мы должны сесть и внимательно рассмотреть, какова наша идея *длительности*, чтобы толком уяснить себе, как мы до нее дошли. — Кому и зачем это нужно? — спросил дядя Тоби. — *Ведь если вы устремите*

взор внутрь, на вашу душу, — продолжал отец, — и будете наблюдать внимательно, то вы заметите, братец, что когда мы с вами разговариваем, размышляем и курим трубки или когда мы последовательно воспринимаем идеи в нашей душе, мы знаем, что мы существуем, и таким образом существование или непрерывность существования нас самих или чего-нибудь другого, соразмерные с последовательностью каких-либо идей в нашей душе, мы считаем нашей собственной длительностью или длительностью чего-нибудь другого, сосуществующего с нашим мышлением, — и таким образом, соответственно этой предпосылке¹ — — Вы меня совсем сбили с толку, — воскликнул дядя Тоби.

— — Это объясняется тем, — возразил мой отец, — что при наших вычислениях времени мы так привыкли к минутам, часам, неделям и месяцам — — а при счете часов (провалиться бы всем часам в нашем королевстве) так привыкли вымерять для себя и для наших домашних различные их части — — что впредь смена наших идей вряд ли будет иметь для нас какое-нибудь значение или приносить нам какую-нибудь пользу.

— Однако, наблюдаем мы это или нет, — продолжал отец, — в голове каждого здорового человека происходит регулярная смена тех или иных идей, которые следуют вереницей одна за другой, точь-в-точь как... — Артиллерийский обоз? — сказал дядя Тоби. — Как вереница бредней! — продолжал отец, — которые сменяют одна другую в наших умах и следуют одна за другой на определенных расстояниях, совсем как изображения на внутренней стороне фонаря, вращающегося от теплa свечи. — А у меня, — проговорил дядя Тоби, — они, право, больше похожи на вертушку, приводимую в движение дымом из очага. — — В таком случае, братец Тоби, — отвечал отец, — мне нечего больше сказать вам по этому предмету.

ГЛАВА XIX

— — Какое удачное стечение обстоятельств пропало даром! — — Отец мой на редкость в ударе давать философские объяснения — готовый энергично преследовать любое метафизическое положение до самых областей, где его вмиг окуты-

¹ Vide Locke. — См. Локк. — Л. Стерн.

вают тучи и густой мрак; — — — дядя Тоби в отличнейшем расположении его слушать; — голова у него как дымовая вертушка: — — дымоход не прочищен, и мысли в нем кружатся да кружатся, сплошь закоптелые и зачерненные сажей! — — Клянусь надгробным камнем Лукиана — если он существует — — а если нет, так его прахом! Клянусь прахом моего дорогого Рабле и еще более дорогого Сервантеса! — — разговор моего отца и дяди Тоби о *времени* и *вечности* — был такой, что только пальчики облизать! и отец мой, сгоряча его оборвавший, похитил из *онтологической сокровищницы* такую драгоценность, которую, вероятно, не способны туда вернуть никакое стечение благоприятных случайностей и никакое собрание великих людей.

ГЛАВА XX

Хотя отец мой упорно не желал продолжать начатый разговор — а все не мог выкинуть из головы дымовую вертушку дяди Тоби; — сперва он, правда, почувствовал себя задетым, — однако сравнение это заключало в себе нечто, подстрекавшее его фантазию; вот почему, облокотясь на стол и склонив на ладонь правую сторону головы, — он пристально посмотрел на огонь — — и начал мысленно беседовать и философствовать по поводу этой вертушки. Но жизненные его духи настолько утомлены были трудной работой исследования новых областей и бесперывными усилиями осмыслить разнообразные темы, следовавшие одна за другой в их разговоре, — — что образ дымовой вертушки вскоре завертел все его мысли, опрокинув их вверх тормашками, — и он уснул прежде, чем осознал, что с ним делается.

Что же касается дяди Тоби, то не успела его дымовая вертушка сделать десяток оборотов, как он тоже уснул. — Оставим же их в покое! — — Доктор Слои сражается наверху с повивальной бабкой и моей матерью. — Трим занят превращением пары старых ботфортов в две мортиры, которые будущим летом должны быть употреблены в дело при осаде Мессины, — — и в настоящую минуту протыкает в них запалы концом раскаленной кочерги. — Всех моих героев сбыл я с рук: — — в первый раз выпала мне свободная минута, — так воспользуюсь ею и напишу предисловие.

Предисловие автора

Нет, я ни слова не скажу о ней — вот вам она! — — Издавая ее — я обращаюсь к свету — и свету ее завещаю: — пусть она сама говорит за себя.

Я знаю только то — что когда я сел за стол, намерением моим было написать хорошую книгу и, поскольку это по силам слабого моего разума, — книгу мудрую и скромную — я только всячески старался, когда писал, вложить в нее все остроумие и всю рассудительность (сколько бы их ни было), которые почел нужным отпустить мне великий их творец и податель, — так что, как видите, милостивые государи, — тут все обстоит так, как угодно господам богу.

И вот Агеласт (раскритиковав меня) говорит, что если в ней есть, пожалуй, несколько остроумия — то рассудительности нет никакой. А Триптолем и Футаторий, соглашаясь с ним, спрашивают: да и может ли она там быть? Ведь остроумие и рассудительность никогда не идут рука об руку на этом свете, поскольку две эти умственные операции так же далеко отстоят одна от другой, как восток от запада. — Да, — говорит Локк, — как выпускание газов от икания, — говорю я. Но в ответ на это Дидий, великий знаток церковного права, в своем кодексе *de fartendi et illustrandi fallaciis*¹ утверждает и ясно показывает, что пояснение примером не есть доказательство, — и я, в свою очередь, не утверждаю, что протирание зеркала дочиста есть силлогизм, — но от этого все вы, позвольте доложить вашим милостям, видите лучше — так что главнейшая польза от вещей подобного рода заключается только в прочистке ума перед применением доказательства в подлинном смысле, дабы освободить его от малейших пылинок и пятнышек мутной материи, которые, оставь мы их там плавать, могли бы затруднить понимание и все испортить.

Так вот, дорогие мои антишендианцы и трижды искушенные критики и соратники (ведь для вас пишу я это предисловие) — и для вас, хитроумнейшие государственные мужи и благоразумнейшие доктора (ну-ка — прочь ваши бороды), прославленные своей важностью и мудростью: — Монопол, мой политик, — Дидий, мой адвокат, — Кисарций, мой друг, — Футаторий, мой руководитель, — Гастрифер, хранитель моей жизни, — Сомноленций, бальзам и покой ее, — и все прочие, как мирно спящие, так и бодрствующие, как церковники, так и

¹ Об восполнении и изъяснении ошибок (*лат.*).

миряне, которых я для краткости, а совсем не по злобе, валю в одну кучу. — Верьте мне, достопочтенные.

Самое горячее мое желание и пламеннейшая за вас и за себя молитва, если это еще для нас не сделано, — состоят в том, чтобы великие дары и сокровища как остроумия, так и рассудительности, со всем, что им обыкновенно сопутствует, — вроде памяти, фантазии, гения, красноречия, сообразительности и так далее — пролились на нас в эту драгоценную минуту без ограничения и меры, без помех и препятствий, полные огня, насколько каждый из нас в силах вынести, — с пеной, осадком и всем прочим (ибо я не хочу, чтобы даже капля пропала) — в различные вместилища, клетки, клеточки, жилые помещения, спальни, столовые и все свободные места нашего мозга — да так, чтобы их можно было еще туда впрыскивать и вливать, согласно истинному смыслу и значению моего желания, пока каждый такой сосуд, как большой, так и маленький, не наполнится, не напится и не насытится ими в такой степени, что больше уже нельзя будет ни прибавить, ни убавить, хотя бы речь шла о спасении жизни человеческой.

Боже ты мой! — как бы мы прекрасно тогда поработали! — — какие чудеса я бы совершил! — — и сколько воодушевления нашел бы я в себе, принявшись писать для таких читателей! — А вы — праведное небо! — с каким восторгом засели бы вы за чтение. — — Но увь! — это чересчур — — мне худо — — при этой мысли я от упоения лишаюсь чувств! — — это больше, чем силы человеческие могут снести! — — поддержите меня — у меня голова закружилась — в глазах потемнело — — я умираю — — меня уж нет. — — На помощь! На помощь! На помощь! — Но постойте — мне опять стало лучше: я начинаю предвидеть, что когда это пройдет, все мы останемся по-прежнему великими остроумцами — и, стало быть, дня не проведем в согласии друг с другом: — — будет столько сатир и сарказмов — — издевательства и злых шуток, насмешек и колкостей — — столько выпадов из-за угла и ответных ударов, — — что ничего, кроме раздоров, у нас не выйдет. — Непорочные светила! как мы перегрыземся и перещарапаемся, какой поднимем шум и крик, сколько переломаем голов, как усердно будем бить друг друга по рукам и попадать в самые больные места — — где нам ужиться между собой!

Но ведь, с другой стороны, все мы будем также людьми чрезвычайно рассудительными и без труда будем улаживать дела, как только они начнут расстраиваться; хотя бы мы опротивели друг другу в десять раз больше, чем столько же чертей

и чертовок, все-таки мы будем, дорогие мои ближние, олицетворением учтивости и доброжелательства — молока и меда — у нас будет вторая обетованная земля — рай на земле, если только подобная вещь возможна, — так что, в общем, мы выпутаемся довольно сносно.

Все, из-за чего я волнуюсь и о чем беспокоюсь и что особенно мучит мое воображение в настоящее время, это — как мне приняться за свое дело; ведь вашим милостям хорошо известно, что упомянутых небесных даров — *остроумия* и *рассудительности*, которые я бы желал видеть щедро отпущенными вашим милостям и мне самому, — припасено на нас всех лишь определенное количество на потребу и на пользу всего человеческого рода; они ниспосылаются нашей обширной вселенной такими крохотными *дозами*, раскиданными там и здесь по разным укромным уголкам, — изливаются такими жиденькими струйками и на таких огромных расстояниях друг от друга, что диву даешься, как они еще не выдохлись или как их хватает для нужд и экстренных потребностей всех больших государств и густо населенных империй.

Правда, тут надо принимать в расчет то обстоятельство, что на Новой Земле, в северной Лапландии и во всех холодных и мрачных областях земного шара, расположенных в непосредственной близости от Арктики и Антарктики, — где все заботы человека в течение почти девяти месяцев кряду ограничены узкими пределами его берлоги — где духовная жизнь придавлена и низведена почти к нулю — и где человеческие страсти и все, что с ними связано, заморожены, как и сами те края, — там, в тех краях, вполне достаточно ничтожнейших зачатков рассудительности — а что касается остроумия — то без него обходятся совсем и совершенно — ибо поскольку ни искры его там не требуется — то ни искры его и не отпущено. Да охраняют нас ангелы господни! Какое там, должно быть, унылое занятие управлять королевством, вести сражение, или заключать договор, или состязаться в ристании, или писать книгу, или зачинать ребенка, или руководить заседанием провинциального капитула, при таком *изобильном недостатке* остроумия и рассудительности! Помилосердствуйте, не будем больше думать об этом, а отправимся как можно скорее на юг, в Норвегию — — пересечем, если вам угодно, Швецию через маленькую треугольную провинцию Ангерманию до Ботнического озера; поедем вдоль его берегов по западной и восточной Ботнии в Карелию и дальше, по государствам и провинциям, прилежащим к северной стороне Финского залива и северо-

восточной части Балтики, до Петербурга и вступим в Ингрию; — а оттуда отправимся напрямик через северные части Российской империи — оставляя Сибирь немного влево — пока не попадем в самое сердце русской и азиатской Татарии.

И вот, во время этого долгого путешествия, в которое я вас отправил, вы наблюдаете, что у местных жителей дела обстоят куда лучше, чем в только что покинутых нами полярных странах; — в самом деле, если вы приставите щитком руку к глазам и взгляните повнимательнее, то можете заметить кое-какие слабые искорки (так сказать) остроумия наряду с солидным запасом доброго простого *домашнего* разума, с помощью которого, учитывая его количество и качество, они отлично управляются, — будь у них того и другого побольше, нарушилось бы должное равновесие, и я убежден вдобавок, что им не представилось бы случая пускать эти излишки в ход.

А теперь, сэр, если я отведу вас снова домой, на наш более благодатный и более изобильный остров, вы сразу примечаете, как высоко взмывает прилив нашей крови и наших чудачеств — и насколько у нас больше честолюбия, гордости, зависти, сластолюбия и других постыдных страстей, с которыми мы должны справляться, подчиняя их нашему разуму. — Высота нашего остроумия и глубина нашего суждения, как вы можете видеть, в точности соответствуют *длине* и *ширине* наших потребностей — и, таким образом, они нам источаются в столь пристойном и похвальном изобилии, что никто не почитает себя вправе жаловаться.

Надо, однако, заметить по этому поводу, что так как погода наша по десяти раз на день меняется: то жарко, то холодно — то мокро, то сухо, — никаких правил и порядка в распределении названных способностей у нас нет; — таким образом, у нас иногда по пятидесяти лет сряду почти вовсе не видно и не слышно ни остроумия, ни здравомыслия: — их тощие ручейки кажутся совсем пересохшими — потом вдруг шлюзы открываются, и они вновь бегут бурными потоками — вы готовы думать, что они никогда больше не остановятся: — вот тогда-то ни один народ за нами не угонится в писании книг, в драчливости и в двадцати других похвальных вещах.

Пользуясь этими наблюдениями и осторожными умозаключениями по аналогии, образующими процесс доказательства, который назван был Свидой *диалектической индукцией*, — я набрасываю и выставляю, как наиболее верное и истинное положение,

— что от названных двух светильников на нас падает время от времени столько лучей, сколько полагает необходимым отпустить их для освещения пути нашего во мраке неведения тот, чья бесконечная мудрость точно отвешивает и отмеривает всякую вещь; таким образом, вашим преподобиям и вашим милостям ясно теперь и я больше ни минуты не в силах скрывать от вас, что горячее мое пожелание относительно вас, с которого я начал, было не более чем первая *вкрадчивая фраза* льстивого сочинителя предисловия, принуждающего своего читателя к молчанию, как любовник иногда принуждает к нему застенчивую возлюбленную. О, если бы светлый этот дар так легко доставался, как я выражал желание во вступлении! — Я трепещу при мысли о тысячах застигнутых тьмою путешественников (по просторам научного знания по крайней мере), которым, за отсутствием этого дара, приходится брести ощупью и сбиваться с пути в потемках каждую ночь своей жизни — стукаться головой о столбы и вышибать себе мозги, так и не достигнув никогда цели своего путешествия; — иные вертикально падают носами в клоаку — а другие горизонтально опрокидываются задами в сточные канавы. Тут одна половина учебного сословия с оружием наперевес бросается на другую его половину, после чего все смешиваются в кучу и валяются в грязи, как свиньи. — Там, напротив, собратья по другому ремеслу, которым следовало бы выступать розно друг против друга, несутся вереницей в одну сторону, подобно стае диких гусей. — Какая бестолковщина! — какие промахи! — Скрипачи в своих суждениях обращаются к зрению, а живописцы к слуху — чудесно! — доверяясь пробужденным чувствам — внимая в исполняемых ариях и изображаемых на полотне сценах голосу сердца — — вместо того чтобы вымерять их квадратом.

На переднем плане этой картины *государственный муж* вертит, как идиот, колесо политики в обратную сторону — *против* потока развращенности — о боже! — вместо того чтобы следовать *за ним*.

В правом углу сын божественного Эскулапа пишет книгу против предопределения или, еще хуже, — шупает пульс у своего пациента, вместо того чтобы щупать его у своего аптекаря, — а на заднем плане его собрат по профессии на коленях, в слезах, — раздвинув полог кровати своей искалеченной жертвы, просит у нее прощенья, — предлагает ей деньги — вместо того чтобы их брать.

А в том просторном *зале* собрание судейских разных корпораций изо всей силы и против всяких правил отталкивает

от себя гнусное, грязное, кляузное дело — и *вышвыривает* его за двери, вместо того чтобы *загнать* к себе, — — пиная его с такой бешеной ненавистью во взорах и с таким ожесточением, как если бы законы первоначально установлены были для мира и охраны человечества; — или совершен, пожалуй, еще более крупный промах: — какой-нибудь честно отложенный спорный вопрос — — например, мог ли бы нос Джона о'Нокса поместиться на лице Тома о'Снайлса без нарушения прав чужой собственности или не мог бы — поспешно решен в двадцать пять минут, между тем как при тщательном учете всех *pro* и *contra*¹, требующемся в таком запутанном деле, он мог бы занять столько же месяцев, — а если вести процесс по-военному, как и подобает вести *процессы*, вашим милостям это известно, со всеми применяемыми на войне хитростями, — как-то: ложными атаками, — форсированными маршами, — внезапными нападениями, — засадами, — прикрытыми батареями и с тысячами других стратегических уловок, при помощи которых обе стороны стремятся захватить преимущество, — — то оно по всем расчетам длилось бы столько же лет, кормя собой и одевая весь этот срок целую коллегию мастеров судебного дела.

Что же касается духовенства... — Нет — Пусть меня расстреляют, а я не скажу ни слова против него. — У меня нет никакого желания — да если бы оно и было — — я ни за что на свете не посмел бы затронуть этот предмет — — при слабости моих нервов и подавленном состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я рисковал бы жизнью, расстраивая себя и огорчая докладом о таких неприятных и грустных вещах — — так, стало быть, безопаснее будет задернуть поскорее занавес и поспешить к основному и главному вопросу, который я взялся осветить, — — а именно: каким образом выходит, что люди, вовсе лишенные *остроумия*, *слыгут* у нас людьми наиболее *рассудительными*? — — Но заметьте — я говорю: *слыгут* — ибо это, милостивые государи, всего только слух, который, подобно двадцати другим слухам, ежедневно принимаемым на веру, вдобавок является, могу вас уверить, дурным и злонамеренным слухом.

С помощью вышеприведенных замечаний, уже, надеюсь, взвешенных и обсужденных вашими преподобиями и вашими милостями, я это сейчас покажу.

Терпеть не могу ученых диссертаций — и верхом нелепости считаю, когда автор затемняет в них свой тезис, помещая

¹ «За» и «против» (лат.).

между собственной мыслью и мыслью своих читателей одно за другим, прямыми рядами, множество высокопарных, трудно понятных слов, — — тогда как, осмотревшись кругом, он почти наверно мог бы увидеть поблизости какой-нибудь стоящий или висящий предмет, который сразу пролил бы свет на занимающий его вопрос — «в самом деле, какие затруднения, вред или зло причиняет кому-либо похвальная жажда знания, если ее возбуждают мешок, горшок, дурак, колпак, рукавица, колесико блока, крышка плавильного тигля, бутылка масла, старая туфля или плетеный стул?» — — Как раз на таком стуле я сейчас сижу. Вы мне позволите пояснить вопрос об остроумии нерассудительности посредством двух шишек на верхушке его спинки? — — Они прикреплены, извольте видеть, двумя шпёнками, неплотно всажеными в просверленные для них дырочки, и прольют на то, что я собираюсь сказать, достаточно света, чтобы смысл и намерение всего моего предисловия стали для вас настолько прозрачными, как если бы каждая его точка и каждая частица состояли из солнечных лучей.

Теперь я приступаю прямо к сути.

— — Вот тут помещается *остроумие* — — а вот тут, рядышком с ним, *рассудительность*, совсем как две шишки, о которых я веду речь, на спинке того самого стула, на котором я сижу.

— — Вы видите, они являются самыми высокими частями и служат наилучшим украшением его остова — — как остроумие и рассудительность нашего — — и, подобно последним, также, несомненно, сделаны и прилажены с таким расчетом, чтобы, как говорится во всех таких случаях двойных украшений, — — *быть под пару друг другу*.

Теперь, в виде опыта и для более наглядного уяснения дела, — давайте снимем на минуту одно из этих курьезных украшений (безразлично какое) с того места, то есть с верхушки стула, где оно сейчас находится, — — нет, не смейтесь — — но видели ли вы когда-нибудь в своей жизни такую забавную штуку, как та, что у нас получилась? — — Ох, какой жалкий вид, совсем как одноухая свинья — в обоих случаях столько же смысла и симметрии. — Пожалуйста — — прошу вас, встаньте и поглядите. — — Ну разве какой-нибудь столяр, мало-мальски дорожащий своей репутацией, выпустил бы из рук свое изделие в подобном состоянии? — — Нет, вы ответьте мне, положив руку на сердце, на следующий простой вопрос: разве вот эта одинокая шишка, которая так глупо торчит здесь, годится на что-нибудь, кроме того, чтобы напоминать вам об отсутствии другой шишки? — — Позвольте мне также спросить

вас: принадлежи этот стул вам, разве вы про себя не подумали бы, что, чем оставаться таким, ему в десять раз лучше быть вовсе без шишек?

А так как две эти шишки — — или верхушечные украшения человеческого ума, увенчивающие все здание, — иными словами, остроумие и рассудительность, — являются, как было мной доказано, вещами самонужнейшими — выше всего ценимыми — — — лишение которых в высшей степени бедственно, а приобретение, стало быть, чрезвычайно трудно, — — — по всем этим причинам, вместе взятым, нет среди нас ни одного смертного, настолько равнодушного к доброй славе и преуспеянию в жизни — или настолько не понимающего, какие в них заключены для него блага, — чтобы не желать и не принять мысленно твердого решения быть, или по крайней мере слыть, обладателем того или другого украшения, а лучше всего обоих разом, если это представляется тем или иным способом достижимым или с каким-либо вероятием осуществимым.

Поскольку, однако, у важных наших господ мало или вовсе нет надежды на приобретение одного из них — если они не являются обладателями другого, — скажите на милость, что, по-вашему, должно с ними стать? — Увы, милостивые государи, несмотря на всю их важность, им надо примириться с положением людей внутренне голых, — а это выносим лишь при некотором философском усилии, коего нельзя предполагать в данном случае, — — таким образом, никто бы не вправе был на них сердиться, если бы они удовлетворялись тем немногим, что они могли бы подцепить и спрятать себе под плащи, не поднимая крика *держи! караул!* против законных собственников.

Мне нет надобности говорить вашим милостям, что это проделывалось с такой хитростью и ловкостью — что даже великий Локк, которого редко удавалось провести фальшивыми звуками, — — был тут одурачен. Трагедия *бедных остроумцев* велась, очевидно, такими густыми и торжественными голосами и при содействии больших париков, важных физиономий и других орудий обмана стала такой всеобщей, что ввела и философа в обман. — Локк стяжал себе славу очисткой мира от мусорной кучи ходячих ошибочных мнений, — — но это заблуждение не принадлежало к их числу; таким образом, вместо того чтобы хладнокровно, как подобает истинному философу, исследовать положение вещей, перед тем как о нем философствовать, — — он, напротив, принял его на веру, присоединился к улюлюканью и вопил так же неистово, как и остальные.

С тех пор это стало Magna charta¹ глупости — — но, как вы ясно видите, ваши преподобия, она была добыта таким образом, что право на нее гроша медного не стоит; — кстати сказать, это одна из многочисленных грязных плутней, за которую важным людям, со всей их важностью, придется держать ответ на том свете.

Что же касается больших париков, о которых я, может показаться, говорил слишком вольно, — — то разрешите мне смягчить все неосторожно сказанное во вред и в осуждение им заявлением общего характера. — — — Я не питаю никакого отвращения, никакой ненависти и никакого предубеждения ни против больших париков, ни против длинных бород — до тех пор, пока не обнаруживаю, что парики эти заказываются и бороды отрачиваются для прикрытия упомянутого плутовства — — какова бы ни была его цель. — Бог с ними! Заметьте только — — я пишу не для них.

ГЛАВА XXI

Каждый день в течение, по крайней мере, десяти лет отец принимал решение поправить их — — они не поправлены до сих пор; — — ни в одном доме, кроме нашего, их так не оставили бы и час у, — и что всего удивительнее, не было на свете предмета, о котором отец говорил бы с таким красноречием, как о дверных петлях. — — И все же он был, конечно, оставлен ими в величайших дураках, каких только свет производил: красноречие отца и его поступки вечно были не в ладах между собой. — — Каждый раз, когда двери в гостиную отворялись, — философия его и его принципы падали их жертвой; — — три капли масла на перышке и крепкий удар молотком спасли бы его честь навсегда.

— — Какое непоследовательное существо человек! — — Изнемогает от ран, которые имеет возможность вылечить! — — Вся жизнь его в противоречии с его убеждениями! — — Его разум, этот драгоценный божий дар, — вместо того чтобы проливать елей на его чувствительность, только ее раздражает — — умножая его страдания и повергая его в уныние и беспокойство под их бременем! — — Жалкое, несчастное создание, бессильное уйти от своей судьбы! — — Разве мало в этой жизни неизбежных

¹ Великая хартия (*лат.*).

поводов для горя, зачем же добровольно прибавлять к ним новые, увеличивая число наших бедствий, — — зачем бороться против зол, которых нам не одолеть, и покоряться другим, которые можно было бы навсегда изгнать из нашего сердца с помощью десятой части причиняемых ими хлопот?

Клянусь всем, что есть доброго и благородного! если мне удастся достать три капли масла и сыскать молоток на расстоянии десяти миль от Шенди-Холла — петли двери в гостиную будут исправлены еще в нынешнее царствование.

ГЛАВА XXII

Смастерив наконец две мортiry, капрал Трим пришел от своего изделия в неописуемый восторг; зная, какая радость будет для его господина посмотреть на эти мортiry, он не мог устоять против искушения немедленно снести их в гостиную.

Кроме урока, который я хотел преподать, рассказывая о *дверных петлях*, я намерен предложить умозрительное рассуждение, из него вытекающее. Вот оно:

если бы дверь в гостиную отворялась и ходила на своих петлях, как подобает исправной двери — —

— или, например, так ловко, как вертелось на своих петлях наше правительство, — (иначе говоря, когда его мероприятия вполне согласовались с желанием ваших милостей — в противном случае я беру назад свое сравнение), — в этом случае, говорю я, ни для господина, ни для слуги не было бы никакой опасности в том, что капрал Трим украдкой приотворил дверь: увидев отца моего и дядю Тоби крепко спящими — — капрал, по свойственной ему глубокой почтительности, тихохонько удалился бы, и оба брата продолжали бы так же мирно почивать в своих креслах, как и при его появлении; но вещь эта была, по совести говоря, совершенно неисполнима, ибо к ежечасным неудовольствиям, причинявшимся отцу в течение многих лет неисправными дверными петлями, — относилось также и следующее: едва только мой родитель складывал руки, готовясь вздремнуть после обеда, как мысль, что он непременно будет разбужен первым же, кто отворит дверь, неизменно завладевала его воображением и так упорно становилась между ним и первыми ласковыми прикосновениями надвигающейся дремоты, что похищала у него, как он часто жаловался, всю ее сладость.

Может ли быть иначе, с позволения ваших милостей, если двери ходят на негодных петлях?

— В чем дело? Кто там? — закричал отец, проснувшись, когда дверь начала скрипеть. — Непременно надо, чтобы слесарь осмотрел эти проклятые петли. — Это я, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — несу две ступы. — Нечего поднимать с ними шум здесь, — вспыхнул отец. — Если доктору Слопу надо истолочь какое-нибудь снадобье, пусть делает это в кухне. — С позволения вашей милости, — воскликнул Трим, — это только две осадные мортиры для будущей летней кампании, я их сделал из пары ботфортов, которые ваша милость изволили бросить, как сказал мне Обадия. — Фу, черт! — вскричал отец, вскакивая с кресла, — из всего моего гардероба я ничем так не дорожу, как этими ботфортами — они принадлежали нашему прадеду, братец Тоби, — они у нас были *наследственные*. — Так я боюсь, — проговорил дядя Тоби, — что Трим отрезал возможность наследственной передачи. — Я отрезал только отвороты, с позволения вашей милости, — воскликнул Трим. — Терпеть не могу никаких *неотчуждаемостей*, — воскликнул отец, — но эти ботфорты, — продолжал он (улыбнувшись, хотя и был очень сердит), — хранились в нашей семье, братец, со времени гражданской войны; — сэр Роджер Шенди был в них в сражении при Марстон-Муре. — Право, я их не отдал бы и за десять фунтов. — Я заплачу вам эти деньги, брат Шенди, — сказал дядя Тоби, с невыразимым наслаждением глядя на мортиры и опуская при этом руку в карман своих штанов, — сию минуту я с превеликой готовностью заплачу вам десять фунтов. — — —

— Брат Тоби, — отвечал отец, — переменяя тон, — как же вы, однако, беззаботно сорите и швыряетесь деньгами, ничего не жалея для какой-нибудь *осады*. — Разве у меня нет ста двадцати фунтов годового дохода, не считая половинного оклада? — воскликнул дядя Тоби. — Что все это, — с горячностью возразил отец, — если вы отдаете десять фунтов за пару ботфортов? — двенадцать гиней за ваши *понтоны*? — — в полтора раза больше за ваш голландский подъемный мост? — не говоря уже о медном игрушечном артиллерийском обозе, который вы заказали на прошлой неделе вместе с двадцатью другими приспособлениями для осады Мессины! Поверьте мне, дорогой братец Тоби, — продолжал отец, дружески беря его за руку, — все эти ваши военные операции вам не по средствам; — намерения у вас хорошие, братец, — но они вовлекают вас в большие расходы, чем вы первоначально рассчитывали; — попомните мое слово,

дорогой Тоби, они в конце концов совсем расстроят ваше состояние и превратят вас в нищего. — Не беда, братец, — возразил дядя Тоби, — ведь я же это делаю для блага родины! —

Отец не мог удержаться от добродушной улыбки — гнев его в самом худшем случае бывал не больше чем вспышкой; — усердие и простота Трима — и благородная (хотя и чудаческая) щедрость дяди Тоби моментально привели его в превосходнейшее расположение духа.

— Благородные души! — Бог да благословит вас и мортиры ваши! — мысленно проговорил мой отец.

ГЛАВА XXIII

— Все тихо и спокойно, — воскликнул отец, — по крайней мере, наверху: — не слышно, чтобы кто-нибудь двигался. — Скажи, пожалуйста, Трим, кто там в кухне? — В кухне нет ни души, — с низким поклоном отвечал Трим, — кроме доктора Слопа. — Экий сумбур! — вскричал отец (вторично вскакивая с места), — сегодня все пошло шиворот-навыворот! Если бы я верил в астрологию, братец (а кстати сказать, отец в нее верил), я голову дал бы на отсечение, что какая-нибудь двинувшаяся вспять планета остановилась над моим несчастным домом и переворачивает в нем каждую вещь вверх дном. — Помилуйте, я считал, что доктор Слор наверху, с моей женой, и вы мне так сказали. — Каким же дьяволом этот чурбан может быть занят на кухне? — Он занят, с позволения вашей милости, — отвечал Трим, — изготовлением моста. — Как это любезно с его стороны, — заметил дядя Тоби, — передай, пожалуйста, мое нижайшее почтение доктору Слопу, Трим, и скажи, что я сердечно его благодарю.

Надо вам сказать, что дядя Тоби совершил такую же грубую ошибку насчет моста — как отец мой насчет мортир; — но чтобы вы поняли, каким образом дядя Тоби мог ошибиться насчет моста, — боюсь, мне придется подробно описать вам весь путь, который привел его к нему; — — или, если опустить мою метафору (ведь нет ничего более неправомерного, чем пользование метафорами в истории), — — чтобы вы правильно поняли всю естественность этой ошибки дяди Тоби, мне придется, хотя и сильно против моего желания, рассказать вам об одном приключении Трима. Говорю: сильно против моего желания — только потому, что история эта в некотором роде здесь,

конечно, не у места; законное ее место — или между анекдотов о любовных похождениях дяди Тоби с вдовой Водмен, в которых капралу Триму принадлежит немаловажная роль, — или посреди его и дяди Тоби компаний на зеленой лужайке — ибо и здесь и там она пришлась бы в самую пору; — но если я ее приберегу для одной из этих частей моего рассказа — я испорчу мой теперешний рассказ; — если же я расскажу ее сейчас — мне придется забежать вперед и испортить дальнейшее.

— Что же прикажете мне делать в этом положении, милостивые государи?

— Расскажите ее сейчас, мистер Шенди, непременно расскажите. — Дурак вы, Тристрам, если вы это сделаете.

О невидимые силы (ведь вы — силы, и притом могущественные) — наделяющие смертного уменьем рассказывать истории, которые стоило бы послушать, — любезно показывающие ему, с чего их начинать — и чем кончать — — что туда вставлять — и что выпускать — и что оставлять в тени — и что поярче освещать! — — О владыки обширной державы литературных мародеров, видящие множество затруднений и несчастий, в которые ежечасно попадают ваши подданные, — придете вы мне на выручку?

Прошу вас и умоляю (в случае, если вы не пожелаете сделать для нас ничего лучше), каждый раз, когда в какой-нибудь части ваших владений случится, как вот сейчас, сойтись в одной точке трем разным дорогам, — ставьте вы, по крайней мере, на их пересечении указательный столб, просто из сострадания к растерявшимся рассказчикам, чтобы они знали, какой из трех дорог им надо держаться.

ГЛАВА XXIV

Хотя фронт, который потерпел дядя Тоби через год после разрушения Дюнкерка в деле с вдовой Водмен, укрепил его в решимости никогда больше не думать о прекрасном поле — — и обо всем, что к нему относится, — однако капрал Трим такого соглашения с собой не заключал. Действительно, в случае с дядей Тоби странное и необъяснимое столкновение обстоятельств неприметно вовлекло его в осаду сей прекрасной и сильной крепости. — В случае же с Тримом никакие обстоятельства не сталкивались, а только сам он столкнулся на кухне с Бригиттой; — — правда, любовь и почтение И своему госпо-

дину были так велики у Трима и он так усердно старался подражать ему во всех своих действиях, что, употреби дядя Тоби свое время и способности па прилаживание металлических наконечников к шнуркам, — честный капрал, я уверен, сложил бы свое оружие и с радостью последовал бы его примеру. Вот почему, когда дядя Тоби предпринял осаду госпожи, — капрал Трим немедленно занял позицию перед ее служанкой.

Признайтесь, дорогой мой друг Гаррик, которого я имею столько поводов уважать и почитать, — (а какие это поводы, знать не важно) — от вашей проницательности ведь не укрылось, какое множество драмделов и сочинителей пьесок неизменно пользуются в последнее время в качестве образца моими Тримом и дядей Тоби. — Мне дела нет, что говорят Аристотель, или Пакувий, или Боссю, или Риккобони — (хотя я ни одного из них никогда не читал) — но я убежден, что между простой одноколкой и vis-à-vis¹ мадам Помпадур меньше различия, чем между одиночной любовной интригой и интригой двойной, которая пышно развернута и разъезжает четверкой, гарцующей с начала до конца большой драмы. — Простая, одиночная, незамысловатая интрига, сэра, — совершенно теряется в пяти действиях; — но от этого мне ни тепло, ни холодно.

После ряда отраженных атак, которые дядя Тоби предпринимал в течение девяти месяцев и о которых дан будет в свое время самый подробный отчет, дядя Тоби, честнейший человек! счел необходимым отвести свои силы и не без некоторого возмущения снять осаду.

Капрал Трим, как уже сказано, не заключал такого соглашения ни с собой — ни с кем-либо другим; — но так как верное сердце не позволяло ему ходить в дом, с негодованием покинутый его господином, — он ограничился превращением своей части осады в блокаду, — иными словами, не давал неприятелю прохода; — правда, он никогда больше не приближался к оставленному дому, однако, встречая Бригитту в деревне, он каждый раз или кивал ей, или подмигивал, или улыбался, или ласково смотрел на нее — или (когда допускали обстоятельства) пожимал ей руку — или дружески спрашивал ее, как она поживает, — или дарил ей ленту — а время от времени, но только в тех случаях, когда это можно было сделать с соблюдением приличий, давал Бригитте... —

Точь-в-точь в таком положении вещи оставались пять лет, то есть от разрушения Дюнкерка в тринадцатом году до самого

¹ Коляска с двумя противоположными сиденьями (франц.).

окончания дядиной кампании восемнадцатого года, недель за шесть или за семь перед событиями, о которых я рассказываю. — В одну лунную ночь Трим, уложив дядю в постель, вышел, по обыкновению, посмотреть, все ли благополучно в его укреплениях, — и на дороге, отделенной от лужайки цветущими кустами и остролистом, — заметил свою Бриггиту.

Полагая, что на всем свете нет ничего более любопытного, чем великолепные сооружения, воздвигнутые им и дядей Тоби, капрал Трим вежливо и галантно взял свою даму за руку и провел ее на лужайку. Сделано это было не настолько скрытно, чтобы злаязычная труба Молвы не разнесла слух об этом из ушей в уши, пока он не достиг моего отца вместе с еще одной досадной подробностью, а именно, что в ту же ночь перекинутый через ров замечательный подъемный мост дяди Тоби, сооруженный и окрашенный на голландский манер, — был сломан и каким-то образом разлетелся на куски.

Отец мой, как вы заметили, не питал большого уважения к коньку дяди Тоби — он считал его самой смешной лошадкой, на которую когда-нибудь садился джентльмен, и если только дядя Тоби не раздражал его своей слабостью, не мог без улыбки думать о нем, — так что каждый раз, когда дядиному коньку случалось захромать или попасть в какую-нибудь беду, отец веселился и хохотал до упаду; но теперешнее злоключенье было ему особенно по сердцу, оно сделалось для него неисчерпаемым источником веселых шуток. — Нет, серьезно, дорогой Тоби, — говорил отец, — расскажите мне толком, как случилась эта история с мостом? — Что вы ко мне так пристааете с ним? — отвечал дядя Тоби. — Я ведь уже двадцать раз вам рассказывал слово в слово так, как мне рассказал Трим. — Ну-ка, капрал, как это произошло? — кричал отец, обращаясь к Триму. — Суестье это было несчастье, с позволения вашей милости: — я показывал наши укрепления миссис Бриггитте и, находясь у самого края рва, оступился и соскользнул туда — Так, так, Трим! — восклицал отец (загадочно улыбаясь и кивая головой — но не перебивая его), — и так как, с позволения вашей милости, я был крепко сцеплен с миссис Бриггиттой, идя с ней под руку, то потащил ее за собой, вследствие чего она шлепнулась задом на мост. — И так как нога Трима (кричал дядя Тоби, выхватывая рассказ изо рта у капрала) попала в кювет, он тоже повалился всей своей тяжестью на мост. — Была тысяча шансов против одного, — прибавлял дядя Тоби, — что бедняга сломает ногу. — Да, это верно! — подтверждал отец, — недолго и шею себе сломать, братец Тоби,

при таких оказиях. — И тогда, с позволения вашей милости, мост — он ведь, как известно вашей милости, был очень легкий — сломался под нашей тяжестью и рассыпался на куски.

В других случаях, особенно же когда дядя Тоби имел несчастье обмолвиться хотя бы словечком о пушках, бомбах или петардах, — отец истощал все запасы своего красноречия (а они у него были не маленькие) в панегирике *таранам* древних — *винее*, которой пользовался Александр при осаде Тира. — Он рассказывал дяде Тоби о *катапультах* сирийцев, метавших чудовищные камни на несколько сот футов и потрясавших до основания самые сильные укрепления; — описывал замечательный механизм *баллисты*, который так расхваливает Марцелин; — страшное действие *пиробол*, метавших огонь; — опасность *теревры* и *скорпиона*, метавших копья. — Но что все это, — говорил он, — по сравнению с разрушительными сооружениями капрала Трима? — Поверьте мне, братец Тоби, никакой мост, никакой бастион, никакие укрепленные ворота на свете не устоят против такой артиллерии.

Дядя Тоби никогда не пытался защищаться против этих насмешек иначе, как удвоенным усердием в курении своей трубки; однажды вечером после ужина он напустил столько густого дыма в комнате, что отец мой, немного расположенный к чахотке, задохнулся в жестоком припадке кашля. Дядя Тоби тотчас вскочил, не чувствуя боли в паху, — и с превеликим состраданием стал возле стула брата, одной рукой поколачивая его по спине, а другой поддерживая ему голову и время от времени вытирая ему глаза чистым батистовым платком, который он тут же достал из кармана. — Заботливость и участие дяди Тоби при оказании этих маленьких услуг — были как нож в сердце моему отцу, он устыдился только что нанесенного брату огорчения. — Пусть таран, катапульта или какое-либо другое орудие вышибут мне мозг, — сказал про себя отец, — если я еще раз обижу этого достойнейшего человека!

ГЛАВА XXV

Оказалось, что починить подъемный мост невозможно, и Трим получил приказание немедленно приступить к постройке нового моста — но уже по другой модели: дело в том, что как раз в то время открылись происки кардинала Альберони,

и дядя Тоби, справедливо предвидя неизбежность возникновения войны между Испанией и Империей и вероятность перенесения операций будущей кампании в Неаполь или в Сицилию, — решил остановить выбор на итальянском мосте — (дядя Тоби, кстати сказать, был недалек от истины в своих предположениях) — но отец, который был несравненно более искусным политиком и настолько же превосходил дядю Тоби в делах государственных, насколько дядя Тоби был выше его на полях сражений, — убедил брата, что если испанский король и император вцепятся друг другу в волосы, то Англия, Франция и Голландия в силу ранее принятых обязательств тоже принуждены будут принять участие в драке; — а в таком случае, — говорил он, — воюющие стороны, братец Тоби, — это так же верно, как то, что мы с вами живы, — снова бросятся врассыпную на прежнюю арену борьбы, во Фландрию; — тогда что вы будете делать с вашим итальянским мостом?

— Тогда мы его доделаем по старой модели, — воскликнул дядя Тоби.

Когда капрал Трим уже наполовину закончил мост в этом стиле — дядя Тоби обнаружил в нем один существенный недостаток, о котором никогда раньше серьезно не думал. Мост этот подвешен был с обеих сторон на петлях и растворялся посередине, так что одна его половина отводилась по одну сторону рва, а другая — по другую. Выгода тут заключалась в том, что тяжесть моста разделялась на две равные части, и дядя Тоби мог, таким образом, поднимать его и опускать концом своего костыля одной рукой, а при слабости его гарнизона это было все, чем он мог располагать, — но были также неустранимые неудобства; — ведь при таком устройстве, — говорил дядя, — я оставляю половину моего моста во власти неприятеля — какой же мне тогда прок, скажите на милость, от другой его части?

Самым простым лекарством против этого было бы, конечно, укрепить мост на петлях только с одного конца, так, чтобы он поднимался весь сразу и торчал, как столб, — — но это было отвергнуто по вышеуказанной причине.

Целую неделю потом дядя склонялся к мысли построить такой мост, который двигался бы горизонтально, так чтобы, оттягивая его назад, препятствовать переправе, а толкая вперед, ее восстанавливать, — — три знаменитых моста такого рода были милости, может быть, видели в Шпейере, перед тем как они были разрушены, — и один в Брейзахе, который, если не ошибаюсь, существует и поныне; — но так как отец мой с боль-

шой настойчивостью советовал дяде Тоби не иметь никакого дела с поворотными мостами — и дядя, кроме того, предвидел, что такой мост только увековечит память о злоключении кап-рала, — — то он переменял решение в пользу моста, изобретенного маркизом де Лопиталем, который так обстоятельно и научно описан Бернулли-младшим, как ваши милости могут убедиться, заглянув в Act. Erud. Lips. an. 1695, — такие мосты удерживаются в устойчивом равновесии свинцовым грузом, который их охраняет не хуже двух часовых, если мост выведен в форме кривой линии, как можно больше приближающейся к циклоиде.

Дядя Тоби понимал природу параболы не хуже других в Англии — но он не был таким же знатоком циклоиды; — он, правда, толковал о ней каждый день, — — мост вперед не подвигался. — — Мы расспросим кого-нибудь о ней, — сказал дядя Тоби Триму.

ГЛАВА XXVI

Когда вошел Трим и сказал отцу, что доктор Слуп занят на кухне изготовлением моста, — дядя Тоби — в мозгу которого история с ботфортами вызвала целую вереницу военных представлений — — тотчас забрал себе в голову, что доктор Слуп мастерит модель моста маркиза де Лопиталья. — — Это очень любезно с его стороны, — сказал дядя Тоби, — — передай, пожалуйста, мое нижайшее почтение доктору Слупу, Трим, и скажи, что я сердечно его благодарю.

Если бы голова дяди Тоби была ящиком с панорамой, а отец мой все время в него смотрел, — — он не мог бы иметь более отчетливого представления о работе дядиной фантазии, чем то, которое у него было; вот почему, несмотря на катапульту, тараны и свои проклятия им, он уже начинал торжествовать.

— Как вдруг ответ Трима мигом сорвал лавры с чела его и изорвал их в клочки.

ГЛАВА XXVII

— — Этот ваш злополучный подъемный мост... — проговорил отец. — Сохрани боже вашу милость, — воскликнул Трим, — это мост для носа молодого барина. — — Вытаскивая его на свет своими гадкими инструментами, доктор, говорит

Сузанна, расплющил ему нос в лепешку, вот он и мастерит теперь что-то вроде моста с помощью ваты и кусочка китового уса из Сузаннинного корсета, чтобы его выпрямить.

— Проводите меня поскорее, братец Тоби, — вскричал отец, — в мою комнату.

ГЛАВА XXVIII

С первой же минуты, как я сел писать мою жизнь для забавы света и мои мнения в назидание ему, туча нечувствительно собиралась над моим отцом. — Поток мелких неприятностей и огорчений устремился на него. — Все пошло вкривь, по его собственному выражению; теперь гроза собралась и каждую минуту готова была разразиться и хлынуть ему прямо на голову.

Я приступаю к этой части моей истории в самом подавленном и меланхолическом настроении, какое когда-либо стесняло грудь, преисполненную дружеских чувств к людям. — Нервы мои всё больше сдают во время этого рассказа. — С каждой написанной строчкой я чувствую, как пульс мой бьется все слабее, как исчезает беспечная веселость, каждый день побуждающая меня говорить и писать тысячу вещей, о которых мне следовало бы молчать. — И даже сию минуту, макая перо в чернила, я невольно подметил, с какой осмотрительностью, с каким безжизненным спокойствием и торжественностью это было мной сделано. — Господи, как это непохоже на порывистые движения и необдуманные жесты, которые так в твоих привычках, Тристрам, когда ты садишься писать в другом настроении — роняешь перо — проливаешь чернила на стол и на книги — как будто перо, чернила, книги и мебель тебе ничего не стоят!

ГЛАВА XXIX

— Я не намерен пускаться с вами в спор по этому вопросу — да, да, — но я совершенно убежден, мадам, в том, что как мужчина, так и женщина лучше всего переносят боль и горе (а также и удовольствие, насколько я знаю) в горизонтальном положении.

Едва войдя к себе в комнату, отец мой рухнул в изнеможении поперек кровати в самой беспорядочной, но в то же время в самой жалостной позе человека, сраженного горем, какая когда-либо вызывала слезы на сострадательных глазах. — — — Ладонь его правой руки, когда он упал на кровать, легла ему на лоб и, покрыв большую часть глаз, скользнула вместе с головой вниз (вслед за откинувшимся назад локтем), так что он уткнулся носом в одеяло; — левая его рука бессильно свесилась с кровати и сгибами пальцев коснулась торчавшей из-под кровати ручки ночного горшка; — — его правая нога (левую он подобрал к туловищу) наполовину вывалилась из кровати, край которой резал ему берцовую кость. — — — Он этого не чувствовал. Застывшее, окаменелое горе завладело каждой чертой его лица. — Раз он вздохнул — грудь его все время тяжело колыхалась — но не промолвил ни слова.

У изголовья кровати, с той стороны, куда отец мой повернулся спиной, стояло старое штофное кресло, обитое кругом материей в оборку и бахромой с разноцветными шерстяными помпончиками. — — Дядя Тоби сел в него.

Пока горе нами не переварено — — всякое утешение преждевременно; — — а когда мы его переварили — — утешать слишком поздно; таким образом, вы видите, мадам, как метко должен целить утешитель между двумя этими крайностями, ведь мишень его тоненькая, как волосок. Дядя Тоби брал всегда или слишком влево, или слишком вправо и часто говорил, что, по его искреннему убеждению, он скорее мог бы попасть в географическую долготу; вот почему, усевшись в кресло, он слегка подтянул полог, достал батистовый платок — слеза у него была к услугам каждого — — глубоко вздохнул — — но не нарушил молчания.

ГЛАВА XXX

— — «Не все то барыш, что попало в кошелек». — — Несмотря на то что мой отец имел счастье прочитать курьезнейшие книги на свете и сам вдобавок отличался самым курьезным образом мыслей, каким когда-либо наделен был человек, все-таки ему в конечном итоге приходилось попадать впропуск — — — ибо этот умственный склад подвергал его прекурьезным и престранным горестям; превосходным их примером может служить сразившее его теперь несчастье.

Разумеется, повреждение переносицы новорожденного акушерскими щипцами — — хотя бы даже пущенными в дело по всем правилам науки — — огорчило бы каждого, кому ребенок стоил такого труда, как моему отцу; — — — все-таки оно не объясняет размеров его горя и не оправдывает его малодушной и нехристианской покорности ему.

Чтоб это объяснить, мне придется оставить отца на полчаса в постели — — а доброго дядю Тоби в старом, обитом бахромой кресле возле него.

ГЛАВА XXXI

— — Я считаю это требование чрезмерным, — — воскликнул мой прадед, скомкав бумагу и швырнув ее на стол. — — По этому документу, мадам, у вас всего-навсего две тысячи фунтов, ни шиллинга больше — — а вы настаиваете на выплате вам по триста фунтов вдовой пенсии в год. — —

— Потому что, — отвечала моя прабабка, — у вас мало или совсем нет носа, сэр. — —

Но прежде чем я решусь употребить слово *нос* еще раз — — во избежание всякой путаницы в том, что будет сказано по этому предмету в этой интересной части моей истории, было бы, может быть, недурно пояснить, что я под ним разумею, и определить со всей возможной тщательностью и точностью желательное мне значение этого термина; ибо, по моему убеждению, единственно небрежностью писателей и их упорным нежеланием соблюдать эту предосторожность объясняется тот факт — — что ни одно богословское полемическое сочинение не является таким ясным и доказательным, как сочинения о *Блуждающих огнях* или других столь же солидных материях философии и естествознания. В таком случае, если мы не расположены блуждать наобум до Страшного суда, что же нам остается перед выступлением в путь — — — как не дать читателям хорошее определение главного слова, с которым мы больше всего имеем дело, — и твердо держаться этого определения, разменивая его, как гинею, на мелкую монету? — Когда это сделано — пусть-ка сам отец всякой путаницы попробует нас запутать — или вложить в голову нам или нашим читателям иной смысл!

В книгах безупречной нравственности и железной логики, вроде той, что лежит перед вами, — такая небрежность непротистительна; небо свидетель, как жестоко пришлось мне поплатиться за то, что я дал столько поводов для двусмысленных толкований — и чересчур полагался все время на чистоту воображения моих читателей.

— Здесь два смысла, — воскликнул Евгений во время нашей прогулки, тыкая указательным пальцем правой руки в слово *расщелина* на сто тринадцатой странице этой несравненной книги, — здесь два смысла, — — сказал он. — А здесь две дороги, — возразил я, обрывая его, — — грязная и чистая — — по какой же мы пойдем? — — По чистой, разумеется, по чистой, — отвечал Евгений. — Евгений, — сказал я, останавливаясь перед ним и кладя ему руку на грудь, — — определять — значит не доверять. — — Так посрамил я Евгения; но посрамил, по своему обыкновению, как дурак. — — Утешает меня только то, что я не упрямый дурак; и вот почему.

Я определяю нос следующим образом — — но предварительно прошу и умоляю моих читателей, как мужеского, так и женского пола, какого угодно возраста, вида и звания, ради бога и спасения души своей, остерегаться искушений и наущений дьявола и не допускать, чтобы он каким-нибудь обманом или хитростью вкладывал в умы их другие мысли, чем те, что я вкладываю в свое определение. — — Ибо под словом *нос* на всем протяжении этой длинной главы о носах и во всех других частях моего произведения, где встречается слово *нос*, — под этим словом, торжественно всем объявляю, я разумею нос, и только нос.

ГЛАВА XXXII

— — Потому что, — еще раз повторила моя прабабка, — — У вас мало или совсем нет носа, сэр. — —

— Фу ты, дьявол! — воскликнул мой прадед, хлопнув себя рукой по носу, — он вовсе не такой уж маленький — на целый дюйм длиннее, чем нос моего отца. — — А надо сказать, что нос моего прадеда был во всех отношениях похож на носы мужчин, женщин и детей, которых Пантагрюэль нашел на острове Энназин. — — Мимоходом замечу, если вы желаете узнать диковинный способ родниться, существующий у такого плосконогого

народа, — — вам надо прочитать книгу Рабле: — самостоятельно вы до этого никогда не додумаетесь. — —

— — Он имел форму трефового туза, сэр.

— — На целый дюйм, — продолжал мой прадед, приподняв кверху кончик своего носа большим и указательным пальцами и повторяя свое утверждение, — — на целый дюйм длиннее, чем нос моего отца, мадам. — Вы, должно быть, хотите сказать — вашего дяди, — возразила моя прабабка.

— — Мой прадед признал себя побежденным. — Он расправил бумагу и подписал условие.

ГЛАВА XXXIII

— — Какую незаконную вдовью пенсию, дорогой мой, выплачиваем мы из нашего маленького состояния! — проговорила моя бабушка, обращаясь к дедушке.

— У отца моего, — отвечал дедушка, — нос был не больше, с вашего позволения, дорогая моя, чем вот этот бугорок на моей руке. — —

А надо вам сказать, что моя прабабка пережила моего дедушку на двенадцать лет; таким образом, в продолжение всего этого времени отцу моему каждые полгода — (в Михайлов день и в Благовещенье) — приходилось выплачивать по сто пятьдесят фунтов вдовой пенсии.

Не было на свете человека, который выполнял бы свои денежные обязательства с большей готовностью, чем мой отец.

— — — Отсчитывая первые сто фунтов, он бросал на стол одну гинею за другой теми бойкими швырками искреннего доброжелательства, какими способны бросать деньги щедрые, и только щедрые души; но переходя к остальным пяти десяткам — он обыкновенно немедля издавал громкое «Гм!» — озабоченно потирал себе нос внутренней стороной указательного пальца — — осторожно просовывал руку за подкладку своего парика — разглядывал каждую гинею с обеих сторон, когда разлучался с ней, — и редко доходил до конца пятидесяти фунтов, не прибегая к помощи носового платка, которым он вытирал себе виски.

Избавь меня, о милостивое небо, от несносных людей, которые совершенно не считаются со всеми этими импульсивными движениями! — Пусть никогда — о, никогда — не дове-

дется мне отдыхать под шатрами таких людей, неспособных затормозить свою машину и пожалеть всякого, кто порабощен властью привычек, привитых воспитанием, и предубеждений, унаследованных от предков!

В течение, по крайней мере, трех поколений этот *догмат* о преимуществе длинных носов постепенно укоренялся в нашем семействе. — *Традиция* была все время за него, и каждое полугодие укреплению его содействовал *Карман*; таким образом, эксцентричность ума моего отца в настоящем случае не могла притязать на всю честь его изобретения, как в случае почти всех других его странных суждений. — Догмат о носах он, можно сказать, в значительной степени всосал с молоком матери. Однако он привнес и свою долю. — Если ошибочное мнение (допустим, что оно было действительно ошибочным) посажено было в нем воспитанием, отец мой его поливал и вырастил до полной зрелости.

Высказывая свои мысли по этому предмету, он часто объявлял, что не понимает, каким образом самый могущественный род в Англии мог бы устоять против непрерывного следования шести или семи коротких носов. — И обратно, — продолжал он обыкновенно, — было бы одной из величайших загадок гражданской жизни, если бы то же самое число длинных и крупных носов, следуя один за другим по прямой линии, не вознесло их обладателей на самые важные посты в королевстве. — Он часто хвастался, что семейство Шенди занимало весьма высокое положение при короле Гарри VIII, но обязано оно было своим возвышением не какой-нибудь политической интриге, — говорил он, — а только указанному обстоятельству; — однако, подобно другим семействам, — прибавлял он, — оно испытало на себе превратности судьбы и никогда уже не оправилось от удара, нанесенного ему носом моего прадеда. — Подлинно был он трфовым тузом, — восклицал отец, качая головой, — настолько же ничемным для его несчастного семейства, как карточный туз, вышедший в козыри.

— — Тихонько, тихонько, друг читатель! — — куда это тебя уносит фантазия? — — Даю честное слово, под носом моего прадеда я разумею наружный орган обоняния или ту часть человека, которая торчит на его лице — и которая, по словам художников, в хороших крупных носах и на правильно очерченных лицах должна составлять полную треть последних — если мерить сверху вниз, начиная от корней волос. — —

— — Как тяжело приходится писателю в таких положениях!

Великое счастье, что природа наделила человеческий ум такой же благодетельной глухотой и неподатливостью к убеждениям, какая наблюдается у старых собак — «к выучиванию новых фокусов».

В какого мотылька мгновенно превратился бы величайший на свете философ, если бы читаемые им книги, наблюдаемые факты и собственные мысли заставляли его непрестанно менять убеждения!

Отец мой, как я вам говорил в прошлом году, был не таков, он этого терпеть не мог. — Он подбирал какое-нибудь мнение, сэр, как первобытный человек подбирает яблоко. — Оно становится его собственностью — и если он не лишен мужества, то скорее расстанется с жизнью, чем от него откажется. —

Я знаю, что Дидий, великий цивилист, будет это оспаривать и возразит мне: откуда у вашего первобытного человека право на это яблоко? *Ex confesso*¹, скажет он, — все находилось тогда в естественном состоянии — и потому яблоко принадлежит столько же Франку, сколько и Джону. Скажите, пожалуйста, мистер Шенди, какую грамоту может он предъявить на него? с какого момента яблоко это сделалось его собственностью? когда он остановил на нем свой выбор? или когда сорвал его? или когда разжевал? или когда испек? или когда очистил? или когда принес домой? или когда переварил? — или когда — — — ? — — Ибо ясно, сэр, что если захват яблока не сделал его собственностью первобытного человека — — то и никакое последующее его действие не могло этого сделать.

— Брат Дидий, — скажет в ответ Трибоний — (а так как борода цивилиста и знатока церковного права Трибония на три с половиной и три восьмых дюйма длиннее бороды Дидия, — я рад, что он за меня заступает и больше не буду утруждать себя ответом), — ведь дело решенное, как вы можете в этом убедиться на основании отрывков из кодексов Григория и Гермогена и всех кодексов от Юстиниана и до Луи и Дез-о, — что пот нашего лица и выделения нашего мозга такая же наша собственность, как и штаны, которые на нас надеты; — — поскольку же названный пот и т. д. каплет на названное яблоко

¹ Бесспорно (*лат.*).

в результате трудов, потраченных на его поиски и срывание; поскольку, сверх того, он расточается и нерасторжимо присоединяется человеком, сорвавшим яблоко, к этому яблоку, им сорванному, принесенному домой, испеченному, очищенному, съеденному, переваренному и так далее, — то очевидно, что сорвавший яблоко своим действием примешал нечто свое к яблоку, ему не принадлежавшему, и тем самым приобрел его в собственность; — или, иными словами, яблоко является яблоком Джона.

При помощи такой же ученой цепи рассуждений отец мой отстаивал все свои суждения; он не щадил трудов на их раздобывание, и чем дальше лежали они от проторенных путей, тем бесспорнее было его право на них. — Ни один смертный на них не претендовал; вдобавок, ему стоило таких же усилий состригать их и переварить, как и вышерассмотренное яблоко, так что они с полным правом могли называться его неотъемлемой собственностью. — — Потому-то он так крепко и держался за них зубами и когтями — бросался на всё, за что только мог ухватиться, — — словом, окапывал и укреплял их кругом таким же количеством валов и брустверов, как дядя Тоби свои цитадели.

Но ему приходилось считаться с одной досадной помехой — — скудостью необходимых для защиты материалов в случае энергичного нападения, поскольку лишь немногие великие умы употребили свои способности на сочинение книг о больших носсах. Клянусь аллюром моей клячки, это вещь невероятная! и я диву даюсь, когда раздумываю, сколько драгоценного времени и талантов расточено было на куда более ничтожные темы — — и сколько миллионов книг напечатано было на всех языках самыми различными шрифтами и выпущено в самых различных переплетах по вопросам и наполювину столько не содействующим объединению и умиротворению рода человеческого. Тем большее значение придавал отец тому, что можно было еще раздобыть; и хотя он часто потешался над библиотекой дяди Тоби — — — которая, к слову сказать, была действительно забавна — но это не мешало ему самому собирать все книги и научные исследования о носсах с такой же старательностью, как добрый мой дядя Тоби собирал всё, что мог найти по фортификации. — — Правда, коллекция отца могла бы уместиться на гораздо меньшем столе — но не по твоей вине, милый мой дядя. — — —

Здесь — но почему именно здесь — — скорее, чем в какой-нибудь другой части моей истории, — — я не в состоянии

сказать; — а только здесь — — сердце меня останавливает, чтобы раз навсегда заплатить тебе, милый мой дядя Тоби, дань, к которой меня обязывает твоя доброта. — — Позволь же мне здесь отодвинуть в сторону стул и, опустившись на колени, излить самые горячие чувства любви к тебе и глубочайшего уважения к твоему превосходному характеру, какие добродетель и искренний порыв когда-либо воспламеняли в груди племянника. — — Мир и покой да осенят навеки главу твою! — Ты не завидовал ничьим радостям — — не задевал ничьих мнений. — — Ты не очернил ничьей репутации — — ни у кого не отнял куска хлеба: тихонечко, в сопровождении верного Трима, обежал ты рысцей маленький круг твоих удовольствий, никого не толкнув по дороге; — для каждого человека в горе находилась у тебя слеза — для каждого нуждающегося находился шиллинг.

Пока у меня будет чем заплатить садовнику — дорожка от твоей двери на лужайку не зарастет травой. — Пока у семейства Шенди будет хоть четверть акра земли, твои укрепления, милый дядя Тоби, останутся нетронутыми.

ГЛАВА XXXV

Коллекция моего отца была невелика, но зато она состояла из редких книг, и это показывало, что он затратил не мало времени на ее составление; отцу, правда, очень посчастливилось сделать удачный почин: достать почти за бесценок пролог Брюскамбиля о длинных носах — ибо он заплатил за своего Брюскамбиля всего три полукроны, да и то только благодаря острому зрению букиниста, заметившего, с какой жадностью отец схватил эту книгу. — Во всем христианском мире, — сказал букинист, — — не сыщется и трех Брюскамбилей, если не считать тех, что прикованы цепями в библиотеках любителей. — Отец швырнул деньги с быстротой молнии — сунул Брюскамбиля за пазуху — — и помчался с ним домой с Пикадилли на Кольмен-стрит, точно он уносил сокровище, всю дорогу крепко прижимая Брюскамбиля к груди.

Для тех, кто еще не знает, какого пола Брюскамбиль, — — ведь пролог о длинных носах легко мог быть написан и мужчиной и женщиной, — — не лишнее будет, прибегнув к сравнению, — сказать, что по возвращении домой отец мой утешался

с Брюскамбилем совершенно так же, ставлю десять против одного, как ваша милость утешалась с вашей первой любовницей — — то есть с утра до вечера — что, в скобках замечу, может быть, и чрезвычайно приятно влюбленному — но доставляет мало или вовсе не доставляет развлечения посторонним. — Заметьте, я не провожу моего сравнения дальше — глаза у отца были больше, чем аппетит, — рвение больше, чем познания, — он остыл — его увлечения разделились — — он раздобыл Пригница — приобрел Скродера, Андреа, Парея, «Вечерние беседы» Буше и, главное, великого и ученого Гафена Слокенбергия, о котором мне предстоит еще столько говорить — — что сейчас я не скажу о нем ничего.

ГЛАВА XXXVI

Ни одна из книжек, которые отец мой с таким трудом раздобывал и изучал для подкрепления своей гипотезы, не принесла ему на первых порах более жестокого разочарования, чем знаменитый диалог между Памфагом и Коклесом, написанный целомудренным пером великого и досточтимого Эразма, относительно различного употребления и подходящего применения длинных носов. — — Только, пожалуйста, голубушка, если у вас есть хоть малейшая возможность, ни пяди не уступайте Сатане, не давайте ему оседлать в этой главе ваше воображение; а если он все-таки изловчится и вскочит на него — — будьте, заклинаю вас, необъезженной кобылицей: *скачите, гариуйте, прыгайте, становитесь на дыбы — лягайтесь и брыкайтесь*, пока не порвете подпруги или подхвостника, как *Скотинка-хворостинка*, и не сбросите его милость в грязь. — — Вам нет надобности его убивать. — —

— — А скажите, кто была эта *Скотинка-хворостинка*? — Какой оскорбительный и безграмотный вопрос, сэр, это все равно как если бы спросили, в каком году (*ab urbe condita*¹) возгорелась вторая пуническая война. — Кто была Скотинка-хворостинка! — Читайте, читайте, читайте, читайте, мой невежественный читатель! читайте, и ли, — основываясь на изучении великого святого Паралипоменона — я вам посоветую лучше сразу же бросить эту книгу; ибо без обширной начитан-

¹ От основания города (то есть Рима) (*лат.*).

ности, под которой, как известно вашему преподобию, я разумею обширные познания, вы столь же мало способны будете постигнуть мораль следующей мраморной страницы (пестрой эмблемы моего произведения!), как величайшие мудрецы со всей их пронизательностью неспособны были разгадать множество мнений, выводов и истин, которые и до сих пор таинственно сокрыты под темной пеленой страницы, покрашенной черным.

ГЛАВА XXXVII

«Nihil me poenitet hujus nasi», — сказал Памфаг; — — то есть — «Нос мой вывел меня в люди». — «Nec est, cur poeniteat», — отвечает Коклес; то есть «да и каким образом, черт возьми, мог бы такой нос сплеховать?»

Вопрос, как видите, поставлен был Эразмом, как этого и желал отец, с предельной ясностью; но отец был разочарован, не находя у столь искусного пера ничего, кроме простого установления факта; оно вовсе не было приправлено той спекулятивной утонченностью или той изощренной аргументацией, которыми небо одарило человеческий ум для исследования истины и борьбы за нее со всеми и каждым.

— — — Сначала отец ужасно бранился и фыркал — ведь иметь знаменитое имя чего-нибудь да стоит. Но так как автором этого диалога был Эразм, он скоро опомнился и с великим прилежанием перечитал его еще и еще раз, тщательно изучая каждое слово и каждый слог в их самом точном и буквальном значении, — однако ничего не мог выудить из них этим способом. — Быть может, тут заключено больше, чем сказано, — проговорил отец. — Ученые люди, брат Тоби, не пишут диалогов о длинных носсах зря. — Я изучу мистический и аллегорический смысл — — тут есть над чем поломать голову, братец.

Отец продолжал читать. — — —

Тут я нахожу нужным осведомить ваши преподобия и ваши милости, что помимо разнообразных применений длинных носов в морском деле, перечисляемых Эразмом, автор диалога утверждает, что длинный нос бывает также очень полезен в домашнем обиходе; ведь в случае нужды — и при отсутствии раздувальных мехов, он отлично подойдет *ad excitandum focum* (для разжигания огня).

Природа была чрезвычайно расточительна, оделяя отца своими дарами, и заронила в него семена словесной критики так же глубоко, как и семена всех прочих знаний, — и потому он достал перочинный нож и принялся экспериментировать над фразами, чтобы посмотреть, нельзя ли врезать в них лучший смысл. — Еще одна буква, брат Т о б и, — промолвил отец, — и я доберусь до сокровенного смысла Э р а з м а. — Вы уже вплотную подошли к нему, б р а т е ц, — отвечал д я д я, — по совести вам говорю. — Какой ты быстрый! — воскликнул отец, продолжая скоблить, — я, может быть, еще в семи милях от него. — Наш е л, — проговорил отец, щелкнув пальцами. — Гляди-ка, милый брат Т о б и, — как ловко я восстановил смысл. — Но ведь вы исковеркали слово, — возразил дядя Т о б и. — Отец надел очки — прикусил губу — и в гневе вырвал страницу.

ГЛАВА XXXVIII

О Слокенбергий! правдивый изобразитель моих disgrazie¹, — о печальный предсказатель стольких превратностей и ударов, стегавших меня на самых различных поприщах моей жизни вследствие малости моего носа (другой причины я, по крайней мере, не знаю), — скажи мне, Слокенбергий, какой тайный голос и каким тоном (откуда он явился? как прозвучал в твоих ушах? — уверен ли ты, что его слышал?) — впервые тебе крикнул: — Ну же — ну, Слокенбергий! посвети твою жизнь — пренебреги твоими развлечениями — собери все силы и способности существа твоего — не жалея трудов, сослужи службу человечеству, напиши объемистый фолиант на тему о человеческих носах.

Каким образом весть об этом доставлена была в сенсорий Слокенбергия — и знал ли Слокенбергий, чей палец коснулся клавиши — и чья рука раздувала мехи, — об этом мы можем только строить догадки — ибо сам Гафен Слокенбергий скончался и уже более девяноста лет лежит в могиле.

На Слокенбергии играли, насколько мне известно, как на каком-нибудь из учеников Витфильда, — иными словами, сэр, так отчетливо распознавая, который из двух *мастеров*

¹ Несчастий (*итал.*).

упражнялся на его *инструменте*, — что всякие логические рассуждения на этот счет излишни.

— — В самом деле, Гафен Слокенбергий, излагая мотивы и основания, побудившие его потратить столько лет своей жизни на одно это произведение, — в конце своих пролегомен, которые, кстати сказать, должны бы стоять на первом месте — не помести их переплетчик по недосмотру между оглавлением книги и самой книгой, — Гафен Слокенбергий сообщает читателю, что по достижении сознательного возраста, когда он в состоянии был спокойно сесть и поразмыслить о настоящем месте и положении человека, а также распознать главную цель и смысл его существования, — — или — — чтобы сократить мой перевод, ибо книга Слокенбергия написана полатыни и в этой части довольно-таки многословна, — — с тех пор как я, — говорит Слокенбергий, — стал понимать кое-что — — или, вернее, *что есть что* — — и мог заметить, что вопрос о длинных носах трактовался всеми моими предшественниками слишком небрежно, — — я, Слокенбергий, ощутил мощный порыв и услышал в себе громкий голос, властно призывавший меня препоясаться для этого подвига.

Надо отдать справедливость Слокенбергию, он выступил на арену, вооружившись более крепким копьём и взяв гораздо больший разбег, чем все, кто до него выступали на этом поприще, — — и он действительно во многих отношениях заслуживает быть поставленным на пьедестал как образец, которого следует держаться в своих книгах всем писателям, по крайней мере авторам многотомных произведений, — — ибо он охватил, сэр, весь предмет — исследовал *диалектически* каждую его часть — он довел его до предельной ясности, осветив теми вспышками, что высекались столкновением природных его дарований, — или направив на него лучи своих глубочайших научных познаний — сличая, собирая и компилируя — — выпрашивая, заимствуя и похищая на своем пути все, что было написано и сказано по этому предмету в школах и академиях ученых, — вследствие чего книга Слокенбергия справедливо может рассматриваться не просто как образец — но как исчерпывающий *свод* и подлинный устав *о носах*, охватывающий все необходимые или могущие понадобиться сведения о них.

По этой причине я не стану распространяться о множестве (в других отношениях) ценных книг и трактатов из собрания моего отца, написанных или прямо о носах — или лишь косвенно их касающихся; — — таких, например, как лежащий

в настоящую минуту передо мной на столе Пригниц, который с бесконечной ученостью и на основании беспристрастнейшего научного обследования свыше четырех тысяч различных черепов в перешаренных им двух десятках покойницких Силезии — сообщает нам, что размеры и конфигурация костных частей человеческих носов любой страны или области, исключая Крымской Татарию, где все носы расплющены большим пальцем, так что о них невозможно составить никакого суждения, — гораздо более сходны, чем мы воображаем; — различия между ними, по его словам, настолько ничтожны, что не заслуживают упоминания; — статность же и красота каждого индивидуального носа, то, благодаря чему один нос превосходит другой и получает более высокую оценку, обусловлены хрящевыми и мясистыми его частями, в протоки и поры которых несутся кровь и жизненные духи, подгоняемые пылкостью и силой воображения, расположившегося тут же рядом (исключение составляют идиоты, которые, по мнению Пригница, много лет жившего в Турции, находятся под особым покровительством неба), — откуда следует, — говорит Пригниц, — и не может не следовать, что пышность носа прямо пропорциональна пышности воображения его носителя.

По той же самой причине, то есть потому, что все это можно найти у Скроденбергия, я ничего не говорю и о Скродерии (Андреа), который, как всем известно, с таким жаром накинулся на Пригница — доказывая на свой лад, сначала логически, а потом при помощи ряда упрямых фактов, что «Пригниц чрезвычайно удалился от истины, утверждая, будто фантазия рождает нос, тогда как наоборот — нос рождает фантазию».

— Тут ученые заподозрили Скродерия в некоем непристойном софизме — и Пригниц стал громко кричать на диспуте, что Скродерий подсунил ему эту мысль, — но Скродерий продолжал поддерживать свой тезис. — —

Отец между тем колебался, чью сторону ему принять в этом деле; как вдруг Амвросий Парей в один миг решил дело и вывел отца из затруднения, разом, ниспровергнув обе системы, как Пригница, так и Скродерия.

Будьте свидетелем. — —

Я не сообщаю ученому читателю ничего нового — дальнейшим своим рассказом я только хочу показать ученым, что и сам знаю эту историю. — —

Названный Амвросий Парей, главный хирург и носоправ французского короля Франциска IX, был в большой силе у

него и у двух его предшественников или преемников (в точности не знаю) и — если не считать промаха, допущенного им в истории с носами Тальякоция и в его способе их приставлять, — признавался всей коллегией врачей того времени наиболее сведущим по части носов, превосходившим всех, кто когда-нибудь имел с ними дело.

Этот самый Амвросий Парей убедил моего отца, что истинной и действительной причиной обстоятельства, которое привлекло к себе всеобщее внимание и на которое Пригниц и Скродерий расточили столько учености, остроумия и таланта, — является нечто совсем иное — длина и статность носа обусловлены попросту мягкостью и дряблостью груди кормилицы — так же как приплюснутость и крохотность плюгавых носов объясняется твердостью и упругостью этого питающего органа у здоровых и полных жизни кормилиц; — такая грудь хотя и украшает женщину, однако губительна для ребенка, ибо его нос настолько ею сплющивается, нажимается, притупляется и охлаждается, что никогда не доходит *ad mensuram suam legitimum*;¹ — — но в случае дряблости или мягкости груди кормилицы или матери — уходя в нее, — говорит Парей, — как в масло, нос укрепляется, вскармливается, полнеет, освежается, набирается сил и приобретает способность к непрерывному росту.

У меня есть только два замечания по поводу Парей: я отмечаю, во-первых, что он все это доказывает и объясняет с величайшим целомудрием и в самых пристойных выражениях, — да сподобится же душа его за это вечного мира и покоя!

И во-вторых, что помимо победоносного сокрушения систем Пригница и Скродерия — — гипотеза Амвросия Парей сокрушила одновременно систему мира и гармонии, царивших в нашем семействе, и в продолжение трех дней сряду не только сеяла раздор между моими отцом и матерью, но также опрокидывала вверх дном весь наш дом и все в нем, за исключением дяди Тоби.

Столь забавный рассказ о том, как поссорился муж со своей женой, верно, никогда еще, ни в какую эпоху и ни в какой стране не проникал наружу через замочную скважину выходной двери!

Моя матушка, надо вам сказать — — но мне надо сначала сказать вам пятьдесят более нужных вещей — я ведь обещал

¹ До законной своей величины (*лат.*).

разъяснить сотню затруднений — тысяча несчастий и домашних неудач кучей валяются на меня одно за другим — — корова вторглась (на другой день утром) в укрепления дяди Тоби и съела два с половиной рациона травы, вырвав вместе с ней дерн, которым обложен был его горнверк и прикрытый путь, — Трим желает во что бы то ни стало предать ее военному суду — корове предстоит быть расстрелянной — Слопу быть распятым — мне самому отристрамиться и уже при крещении обратиться в мученика — — какие же мы все жалкие неудачники! — надо меня перепеленать — — однако некогда терять время на сетования. — Я покинул отца лежащим поперек кровати с дядей Тоби возле него в старом, обитом бахромой кресле и пообещал вернуться к ним через полчаса, а прошло уже тридцать пять минут. — — В такое затруднительное положение, верно, никогда еще не попадал ни один несчастный автор; ведь мне надо, сэр, закончить фолиант Гафена Слокенбергия — передать разговор между моим отцом и дядей Тоби о том, как решают вопрос Пригниц, Скродерий, Амвросий Парей, Понократ и Грангузье, — перевести один рассказ Слокенбергия, а у меня уже просрочено целых пять минут! — Бедная моя голова! — О, если бы враги мои видели, что в ней творится!

ГЛАВА XXXIX

Более забавной сцены не бывало в нашем семействе. — — Чтобы воздать ей должное — — — я снимаю здесь колпак и кладу его на стол возле самой чернильницы: это придаст выступлению моему по затронутому вопросу больше торжественности — — быть может, моя любовь и слишком пристрастное отношение к моим умственным способностям меня ослепляют, но я искренне думаю, что верховный творец и зиждитель всех вещей никогда еще (или, по крайней мере, в тот период времени, когда я сел писать эту историю) не создавал и не собирал воедино семейства — — в котором характеры были бы вылеплены или противопоставлены в этом смысле драматически более удачно, чем в нашем, или которое было бы столь щедро наделено или одарено уменьем разыгрывать такие бесподобные сцены и способностью непрерывно их разнообразить с утра до вечера, как *семейство Шенди*.

Но самой забавной из таких сцен на нашем домашнем театре была, повторяю, сцена — частенько разыгрывавшаяся из-за этого самого вопроса о длинных носах — — — особенно когда воображение моего отца распалялось его изысканиями и он непременно желал также распалить воображение дяди Тоби.

Дядя Тоби всячески шел отцу навстречу при таких его попытках; с бесконечным терпением часами высиживал он, куря свою трубку, между тем как отец трудился над его головой, пробуя и так и этак внедрить в нее гипотезы Пригница и Скродерия.

Были ли они выше понимания дяди Тоби — — или находились с ним в противоречии — или мозг его подобен был *сырому* труту, из которого невозможно добыть ни одной искры, — или был слишком загружен подкопами, минами, блиндами, куртинами и другими военными сооружениями, мешавшими дяде ясно разобраться в доктринах Пригница и Скродерия, — я не знаю — пусть схоластики — кухонные мужики, анатомы и инженеры передерутся из-за этого между собой. — —

Худо, конечно, тут было то, что каждое слово Слокенбергия отцу приходилось переводить для дяди Тоби с латинского, в котором отец был не очень силен, отчего перевод его не всегда оказывался безукоризненным — и преимущественно там, где требовалась полная точность. — Это, естественно, влекло за собой другую беду: — когда отец особенно усердствовал в своих стараниях открыть дяде Тоби глаза — — мысли его настолько же опережали перевод, насколько перевод опережал мысли дяди Тоби; — — разумеется, как то, так и другое мало способствовало понятности наставлений моего отца.

ГЛАВА XL

Дар логически мыслить при помощи силлогизмов — я разумею у человека — ибо у высших существ, таких, как ангелы и бесплотные духи, — все это делается, с позволения ваших милостей, как мне говорят, посредством *интуиции*; — низшие же существа, как хорошо известно вашим милостям, — — умозакljučают посредством своих носов; впрочем, есть такой плавающий по морям (правда, не совсем спокойно) остров,

обитатели которого, если мои сведения меня не обманывают, одарены замечательной способностью умозаключать точно таким же способом, нередко достигая при этом отличных результатов. — Но это к делу не относится. —

Дар проделывать это подобающим для нас образом — или великая и главнейшая способность человека умозаключать состоит, как учат нас логики, в нахождении взаимного соответствия или несоответствия двух идей при посредстве третьей (называемой *medius terminus*¹); совсем так, как кто-нибудь, по справедливому замечанию Локка, с помощью ярда находит у двух кегельбанов одинаковую длину, равенство которой не может быть обнаружено путем их *сопоставления*.

Если бы этот великий мыслитель обратил взоры на дядю Тоби и понаблюдал за его поведением, когда отец развивал свои теории носов, — как внимательно он прислушивается к каждому слову — и с какой глубокой серьезностью созерцает длину своей трубки каждый раз, когда вынимает ее изо рта, — как подробно ее осматривает, держа между указательным и большим пальцем, сначала сбоку — потом спереди — то так, то этак, во всех возможных направлениях и ракурсах, — то он пришел бы к заключению, что дядя Тоби держит в руках *medius terminus* и измеряет им истинность каждой гипотезы о длинных носах в том порядке, как отец их перед ним выкладывал. Это, в скобках замечу, было больше, нежели желал мой отец, — цель его философских лекций, стоивших ему такого труда, — заключалась в том, чтобы дать дяде Тоби возможность *понять* — — а вовсе не *обсуждать*, — — в том, чтобы он мог *держат* грани и скрупулы учености — — а вовсе не взвешивать их. — Дядя Тоби, как вы увидите в следующей главе, обманул оба эти ожидания.

ГЛАВА ХLI

— Как жаль, — воскликнул в один зимний вечер мой отец, промучившись три часа над переводом Слокенбергия, — как жаль, — воскликнул отец, закладывая в книгу бумажную полосу от мотка ниток моей матери, — как жаль, брат Тоби, что истина окапывается в таких неприступных крепостях и так

¹ Средний термин (*лат.*).

стойко держится, что иногда ее невозможно взять даже после самой упорной осады. — —

Но тут случилось, как не раз уже случалось раньше, что фантазия дяди Тоби, не находя для себя никакой пищи в объяснениях моего отца по поводу Пригница, — — — унеслась незаметно на лужайку с укреплениями; — — — тело его тоже было бы не прочь туда прогуляться — — — так что, будучи с виду глубокомысленно погруженным в свой *medius terminus*, — — — дядя Тоби в действительности столь же мало воспринимал рассуждения моего отца со всеми его «за» и «против», как если бы отец переводил Гафена Слокенбергия с латинского языка на ирокезский. Но произнесенное отцом образное слово *осада* волшебной своей силой вернуло назад фантазию дяди Тоби с быстрой звуку, раздающегося влед за нажатием клавиши, — дядя насторожился — и отец, увидя, что он вынул изо рта трубку и придвигает свое кресло поближе к столу, словно желая лучше слышать, — отец с большим удовольствием повторил еще раз свою фразу — — — с той только разницей, что исключил из нее образное слово *осада*, дабы ограждать себя от кое-каких опасностей, которыми оно ему угрожало.

— Как жаль, — сказал отец, — что истина может быть только на одной стороне, брат Тоби, — если поразмыслить, сколько изобретательности проявили все эти ученые люди в своих решениях о носсах. — — Разве носы можно порешить? — возразил дядя Тоби.

Отец с шумом отодвинул стул — — встал — надел шляпу — — в четыре широких шага очутился перед дверью — толчком отворил ее — наполовину высунул наружу голову — захлопнул дверь — не обратил никакого внимания на скрипучую петлю — вернулся к столу — выдернул из книги Слокенбергия бумажную закладку от мотка моей матери — поспешно подошел к своему бюро — медленно вернулся назад — обмотал матушкину бумажку вокруг большого пальца — расстегнул камзол — бросил матушкину бумажку в огонь — раскусил пополам ее шелковую подушечку для булавок — набил себе рот отрубями — разразился проклятиями; — но заметьте! — проклятия его целили в мозг дяди Тоби — — уже и без того порядком задурманенный — — проклятия отца были заряжены только отрубями — но отруби, с позволения ваших милостей, служили не более как порохом для пули.

К счастью, припадки гнева у моего отца бывали непродолжительны; ибо, покуда они длились, они не давали ему ни

минуты покоя; и ничто так не воспламеняло моего отца, — это одна из самых неразрешимых проблем, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться при наблюдениях человеческой природы, — ничто не оказывало такого взрывчатого действия на его гнев, как неожиданные удары, наносимые его учености простодушно-замысловатыми вопросами дяди Тоби. — Даже если бы десять дюжин шершней разом ужалили его сзади в сто двадцать различных мест — он бы не мог проделать большего количества безотчетных движений в более короткое время — или прийти в такое возбуждение, как от одного несложного вопроса в несколько слов, некстати обращенного к нему, когда, позабыв всё на свете, он скакал на своем коньке.

Дяде Тоби это было все равно — он с невозмутимым спокойствием продолжал курить свою трубку — в сердце его никогда не было намерения оскорбить брата — и так как голова его редко могла обнаружить, где именно засело жало, — он всегда предоставлял отцу заботу остывать самостоятельно. — В настоящем случае для этого потребовалось пять минут и тридцать пять секунд.

— Клянусь всем, что есть на свете доброго! — воскликнул отец, когда немного пришел в себя, заимствуя свою клятву из свода Эрнульфовых проклятий — (хотя, надо отдать отцу справедливость, он реже, чем кто-нибудь, этим грешил, как правильно сказал доктору Слопу во время беседы об Эрнульфе). — Клянусь всем, что есть доброго и великого, братец Тоби, — сказал отец, — если бы не философия, которая оказывает нам такую могущественную поддержку, — вы бы вывели меня из терпения. — Помилуйте, под решениями о носах, о которых я вам говорил, я разумел, — и вы могли бы это понять, если бы удостоили меня капельки внимания, — разнообразные объяснения, предложенные учеными людьми самых различных областей знания, относительно причин коротких и длинных носов. — Есть одна только причина, — возразил дядя Тоби, — почему у одного человека нос длиннее, чем у другого: такова воля божья. — Это решение Грангузье, — сказала тетка. — Господь бог, — продолжал дядя Тоби, возведя очи к небу и не обращая внимания на слова отца, — создатель наш, творит и складывает нас в таких формах и пропорциях для таких целей, какие согласны с бесконечной его мудростью. — Это благочестивое объяснение, — воскликнул отец, — но не философское — в нем больше религии, нежели здравого смысла. — Немаловажной чертой в характере дяди Тоби было то — что

он боялся бога и относился с уважением к религии. — Вот почему, как только отец произнес свое замечание, — дядя Тоби принялся насвистывать Лиллибуллиро с еще большим усердием (хотя и более фальшиво), чем обыкновенно. — —

А что случилось с бумажной полоской от мотка ниток моей матери?

ГЛАВА XLII

Нужды нет — — в качестве швейной принадлежности бумажная полоска от мотка ниток могла иметь некоторое значение для моей матери — она не имела никакого значения для моего отца в качестве закладки в книге Слокенбергия. Каждая страница Слокенбергия была для отца неисчерпаемой сокровищницей знания — раскрыть его неудачно отец не мог — а закрывая книгу, часто говорил, что хотя бы погибли все искусства и науки на свете вместе с книгами, в которых они изложены, — — хотя бы, — говорил он, — мудрость и политика правительств забыты были из-за неприменения их на практике и было также предано забвению всё, что государственные люди писали или велели записать относительно сильных и слабых сторон дворов и королевской власти, — и остался один только Слокенбергий, — даже и в этом случае, — говорил отец, — его бы за глаза было довольно, чтобы снова привести мир в движение. Да, он был подлинным сокровищем, сводом всего, что надо было знать о носах и обо всем прочем! — — Утром, в полдень и вечером служил Гафен Слокенбергий отдохновением и усладой отца — отец всегда держал его в руках — вы бы об заклад побились, сэр, что это молитвенник, — так он был истрепан, засален, захватан пальцами на каждой странице, от начала и до конца.

Я не такой слепой поклонник Слокенбергия, как мой отец; — в нем, несомненно, есть много ценного; но, на мой взгляд, лучшее, не скажу — самое поучительное, но самое интересное в книге Гафена Слокенбергия — его повести — — а так как был он немец, то многие из них не лишены выдумки, — — повести эти составляют вторую часть, интересную почти половину его фолианта, и разделены на десять декад, по десяти повестей в каждой декаде. — — Философия зиждется не на повестях, и Слокенбергий, конечно, совершил оплошность, выпустив их в свет под таким заглавием! — Некоторые

из его повестей, входящие в восьмую, девятую и десятую декады, я согласен, являются скорее веселыми и шуточными, чем умозрительными, — но, в общем, ученым следует на них смотреть как на ряд самостоятельных фактов, которые все так или иначе вращаются вокруг главного стержня его предмета, все были собраны им с большой добросовестностью и присоединены к основному труду в качестве пояснительных примеров к учению о носах.

Времени у нас довольно — и я, если позволите, мадам, расскажу вам девятую повесть из его десятой декады.

SLAWKENBERGII FABELLA ¹

Vespera quadam frigidula, posteriori in parte mensis Augusti, peregrinus, mulo fusco colore insidens, mantica a tergo, paucis indusiis, binis calceis, braccisque sericis coccineis repleta, Argentoratum ingressus est. Militi eum percontanti, quum portas intraret, dixit, se apud Nasorum Promontorium fuisse, Francofurtum proficisci, et Argentoratum, transitu ad fines Sarmatiae mensis intervallo, reversurum.

Miles peregrini in faciem suspexit — Di boni, nova forma nasi!

At multum mihi profuit, inquit peregrinus, carpum amento extrahens, e quo pependit acinaces: Loculo manum inseruit; et magna cum urbanitate, pilei parte anteriore tacta manu sinistra, ut extendit dextram, militi florinum dedit et processit!

Dolet mihi, ait miles, tympanistam nanum et valgum alloquens, virum adeo urbanum vaginam perdidisse: itinerari haud

¹ Так как книга «Hafen Slawkenberguis de Nasis» является чрезвычайно редкостью, то ученому читателю будет, может быть, небезынтересно познакомиться с оригиналом, из которого я привожу в виде образца несколько страниц, ограничиваясь на их счет замечанием, что в повествовательных частях латынь автора гораздо более сжата, чем та, которой он пользуется как философ, — и, по-моему, отличается большей чистотой. — *Л. Стерн.*

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Multitudinis imperitae non formido iudicia;
meis tamen, rogo, parcant opusculis — in
quibus fuit propositi semper, a jocis ad seria,
a seriis vicissim ad jocos transire.

*Ioan Saresberiensis,
Episcopus Lugdun.*

ПОВЕСТЬ СЛОКЕНБЕРГИЯ

В один прохладный августовский вечер, приятно освеживший воздух после знойного дня, какой-то чужеземец, верхом на карем муле, с небольшой сумкой позади, заключавшей несколько рубашек, пару башмаков и пару ярко-красных атласных штанов, въехал в город Страсбург. На вопрос часового, остановившего его в воротах, чужеземец отвечал, что он побывал на *Мысе Носов* — направляется во Франкфурт — и через месяц будет снова в Страсбурге по пути к пределам Крымской Татарии.

Часовой посмотрел чужеземцу в лицо — — отроду никогда он не видывал такого Носа!

— Он сослужил мне превосходную службу, — сказал чужеземец, после чего высвободил руку из петли в черной ленте, на которой висела короткая сабля, пошарил в кармане и, с отменной учтивостью прикоснувшись левой рукой к переднему краю своей шапки, протянул вперед правую — сунул часовому флорин и поехал дальше.

— Как досадно, — сказал часовой, обращаясь к кривоногому карлику-барабанщику, — что такой обходительный чело-

poterit nuda acinaci; neque vaginam toto Argentorato, habilem inveniet. — Nullam unquam habui, respondit peregrinus respiciens — seque comiter inclinans — hoc more gesto, nudam acinacem elevans, mulo lento progrediente, ut nasum tueri possim.

Non immerito, benigne peregrine, respondit miles.

Nihili aestimo, ait ille tympanista, e pergamina factus est.

Prout christianus sum, inquit miles, nasus ille, ni sexties major sit, meo esset conformis.

Crepitare audivi, ait tympanista.

Mehercule! sanguinem emisit, respondit miles.

Miseret me, inquit tympanista, qui non ambo tetigimus!

Eodem temporis puncto, quo haec res argumentata fuit inter militem et tympanistam, disceptabatur ibidem tubicine et uxore sua, qui tunc accesserunt, et peregrino praetereunte, restiterunt.

Quantus nasus! aequè longus est, ait tubicina, ac tuba.

Et ex eodem metallo, ait tubicen, velut sternutamento audias.

Tantum abest, respondit illa, quod fistulam dulcedine vincit.

Aeneus est, ait tubicen.

век, видимо, потерял свои ножны; он не может продолжать свое путешествие с обнаженной саблей, и едва ли ему удастся найти во всем Страсбурге подходящие для нее ножны. — —
Никогда не было у меня ножен, — возразил чужеземец, оборачиваясь к часовому и вежливо поднося руку к шапке. — —
Я ношу ее вот так, — продолжал он, поднимая обнаженную саблю, в то время как мул его медленно двигался вперед, — для того чтобы охранять мой нос.

— Он вполне того заслуживает, любезный чужеземец, — отвечал часовой.

— Гроша он не стоит, — сказал кривоногий барабанщик, — ведь он из пергамента.

— Так же верно, как то, что я добрый католик, — сказал часовой, — нос его во всем похож на мой, он только в шесть раз больше.

— Я слышал, как он трещит, — сказал барабанщик.

— А я, ей-богу, видел, как из него идет кровь, — отвечал часовой.

— Как жаль, — воскликнул кривоногий барабанщик, — что мы его не потрогали!

В то самое время, когда происходил такой спор между часовым и барабанщиком, — тот же вопрос обсуждался трубачом и женой его, которые как раз подошли и остановились посмотреть на проезжавшего чужеземца.

— Господи боже! — Вот так нос! Длинный, как труба, — сказала трубачова жена.

— И из того же металла, — сказал трубач, — ты только послушай, как он чихает!

— Сладкогласно, как флейта, — отвечала жена.

— Настоящая медь! — сказал трубач.

Nequaquam, respondit uxor.

Rursum affirmo, ait tubicen, quod aeneus est.

Rem penitus explorabo; prius enim digito tangam, ait uxor, quam dormivero.

Mulus peregrini gradii lento progressus est, ut unumquodque verbum controversiae, non tantum inter militem et tympanistam, verum etiam inter tubicinem et uxorem ejus, audiret.

Nequaquam, ait ille, in muli collum fraena demittens, et manibus ambabus in pectus positis (mulo lente progrediente), nequaquam, ait ille respiciens, non necesse est ut res isthaec dilucidata foret. Minime gentium! meus nasus nunquam tangetur, dum spiritus hos reget artus — Ad quid agendum? ait uxor burgo-magistri.

Peregrinus illi non respondit. Votum faciebat tunc temporis sancto Nicolao; quo facto, in simun dextrum inserens, e qua negligenter pependit acinaces, lento gradu processit per piateam Argitorati latam quae ad diversorium tempio ex adversum ducit.

Peregrinus mulo descendes stabulo includit, et manticam inferri jussit: qua aperta et coccineis sericis femoralibus extractis cum argenteo laciniato περιζώματι, his sese induit, statimque, acinaci in manu, ad forum deambulavit.

— Ничего подобного! — возразила жена.

— Повторяю тебе, — сказал трубач, — что это медный нос.

— Я этого так не оставляю, — сказала трубачова жена, — не лягу спать, пока не потрогаю его пальцем.

Мул чужеземца двигался так медленно, что чужеземец слышал до последнего слова весь спор не только между часовым и барабанщиком, но также между трубачом и его женой.

— Ни в коем случае! — сказал чужеземец, опуская поводья на шею мула и скрещая на груди руки, как святой (мул его тем временем продолжал плестись тихонько вперед). — Ни в коем случае! — сказал он, возводя глаза к небу, — несмотря на все клеветы и разочарования — я не в таком долгу перед людьми — чтобы представлять им это доказательство. — Ни за что на свете! — сказал он, — я никому не позволю прикоснуться к моему носу, пока небо дает мне силу. — Для какой надобности? — спросила жена бургомистра.

Чужеземец не обратил внимания на бургомистрову жену, — он творил обет святителю Николаю; сотворив его, он расправил руки с такой же торжественностью, как скрестил их, взял поводья в левую руку и, засунув за пазуху правую с висевшей на ее запястье короткой саблей, поехал дальше на своем муле, еле волочившем ноги, по главным улицам Страсбурга, пока случай не привел его к большой гостинице на рыночной площади, против церкви.

Спешившись, чужеземец велел отвести своего мула в конюшню, а сумку внести в комнату; открыв ее и достав оттуда ярко-красные атласные штаны с отороченным серебряной бахромой — (придатком к ним, который я не решаюсь перевести) — он надел свои штаны с отороченным бахромой гульфиком и сейчас же, держа в руке короткую саблю, вышел погулять на большую городскую площадь.

Quod ubi peregrinus esset ingressus, uxorem tubicinis obviam euntem aspicit; illico cursum flectit, metuens ne nasus suus exploraretur, atque ad diversorium regressus est — exiit se vestibus; braccas coccineas sericas manticae imposuit mulumque educi iussit.

Francofurtum proficiscor, ait ille, et Argentoratum quatuor abhinc hebdomadis reverter.

Bene curasti hoc jumentum? (ait) muli faciem manu demulcens — me, manticamque meam, plus sexcentis mille passibus portavit.

Longa via est! respondet hospes, nisi plurimum esset negotii. — Enimvero, ait peregrinus, a Nasorum promontorio redii, et nasum speciosissimum, egregiosissimumque quem unquam quisquam sortitus est, acquisivi.

Dum peregrinus hanc miram rationem de seipso reddit, hospes et uxor ejus, oculis intentis, peregrini nasum contemplantur — Per sanctos sanctasque omnes, ait hospitis uxor, nasis duodecim maximis in toto Argentorato major est! — estne, ait illa mariti in aurem insusurrans, nonne est nasus praegrandis?

Dolus inest, anime mi, ait hospes — nasus est falsus.

Verus est, respondit uxor —

Ex abiete factus est, ait ille, terebinthinum olet —

Carbunculus inest, ait uxor.

Mortuus est nasus, respondit hospes.

Не успел чужеземец пройти три раза по площади, как увидел идущую ему навстречу жену трубача: — испугавшись покушения на свой нос, он круто повернулся и поспешил назад в гостиницу — переоделся, уложил в сумку ярко-красные атласные штаны и т. д. и велел подать себе мула.

— Еду во Франкфурт, — сказал чужеземец, — и ровно через четыре недели прибуду снова в Страсбург.

— Надеюсь, — продолжал чужеземец, погладив мула левой рукой по голове, перед тем как сесть на него верхом, — что вы хорошо покормили этого верного моего слугу: — — — он вез меня и мою поклажу свыше шестисот миль, — продолжал он, похлопывая мула по спине.

— Какой долгий путь, сударь, — сказал хозяин гостиницы, — — — видно, важное у вас было дело! — О, да, да, — отвечал чужеземец, — я побывал на Мысе Носов и, благодарение богу, раздобыл себе один из самых видных и пригожих носов, какие когда-либо доставались человеку.

В то время как чужеземец давал эти удивительные сведения о себе, хозяин гостиницы и хозяйка смотрели во все глаза на его нос. — Клянусь святой Радагундой, — сказала про себя жена содержателя гостиницы, — он будет побольше дюжины самых больших носов во всем Страсбурге, вместе взятых! Не правда ли, — шепнула она на ухо мужу, — не правда ли, роскошный нос?

— Тут что-то нечисто, душа моя, — сказал хозяин гостиницы, — нос поддельный. —

— Самый настоящий, — отвечала жена. —

— Еловый нос, — сказал хозяин, — от него пахнет скипидаром. —

— На нем сидит прыщ, — сказала жена.

— Мертвый нос, — возразил хозяин.

Vivus est, ait illa, — et si ipsa vivam, tangam.

Votum feci sancto Nicolao, ait peregrinus, nasum meum intactum fore usque ad — Quodnam tempus? illico respondit illa.

Minimo tangetur, inquit ille (manibus in pectus compositis) usque ad illam horam — Quam horam? ait illa. — Nullam, respondit peregrinus, donec pervenio ad — Quem locum, — obsecro? ait illa — — Peregrinus nil respondens mulo conscenso, discessit.

— Живой н о с , — и не жить мне с а м о й , — сказала жена х о з я и н а , — если я его не потрогаю.

— Я дал сегодня обет святителю Николаю , — сказал чужеземец , — что нос мой останется нетронутым до... Тут чужеземец замолчал, воздев глаза к н е б у . — До каких пор? — поспешно спросила жена хозяйина.

— Останется никем не тронутым , — сказал он (складывая на груди р у к и) , — до того часа... — До какого часа? — воскликнула жена хозяйина. — — Никогда! — — никогда! — сказал чужеземец , — пока я не достигну... — Ради бога! Какого места? — спросила хозяйка. — — Чужеземец, не ответив ни слова, сел на мула и уехал.

Не сделал он еще и полумили по дороге во Франкфурт, а уже весь город Страсбург пришел в смятение по поводу его носа. Колокола звонили повечерие, призывая страсбургцев к исполнению религиозных обрядов и завершению дневной работы молитвой; — — ни одна душа во всем Страсбурге их не слышала — город похож был на рой пчел — — мужчины, женщины и дети (под непрерывавшийся трезвон колоколов) метались туда и сюда — из одной двери в другую — взад и вперед — направо и налево — поднимаясь по одной улице и спускаясь по другой — вбегая в один переулок и выбегая из другого — — Вы видели его? Вы видели его? Вы видели его? Кто его видел? Ради бога, кто его видел?

— Вот незадача! Я ходила к вечерне! — — Я стирала, я крахмалила, я прибирала, я стегала. — Ах ты, боже мой! Я его не видела — я его не потрогала! — — Ах, кабы я была часовым, кривоногим барабанщиком, трубачом, трубачовой ж е н о й , — стоял общий крик и вопль на каждой улице и в каждом закоулке Страсбурга.

В то время как в великом городе Страсбурге царил эта суматоха и неразбериха, обходительный чужеземец ехал себе потихоньку на муле во Франкфурт, словно ему не было никакого дела до этого , — разговаривая всю дорогу обрывистыми фразами то со своим мулом — то с самим собой — — — то со своей Юлией.

— О Юлия, обожаемая моя Юлия! — Нет, я не буду останавливаться, чтобы дать тебе съесть этот репейник, — и

надо же, чтобы презренный язык соперника похитил у меня наслаждение, когда я уже готов был его отвратить. —

— Фу! — это всего только репейник — брось его — вечером ты получишь лучший ужин.

— — Изгнан из родной страны — вдали от друзей — от тебя. —

— Бедняга, до чего же тебя истомило это путешествие! — Ну-ка — чуточку поскорее — в сумке у меня только две рубашки — пара ярко-красных атласных штанов да отороченный бахромой... Милая Юлия!

— Но почему во Франкфурт! — Ужели незримая рука тайно ведет меня по этим извилистым путям и неведомым землям?

— Ты спотыкаешься! Николай-угодник! на каждом шагу — — этак мы всю ночь проковыляем, не добравшись...

— До счастья — — иль мне суждено быть игрушкой случая и клеветы — обречен на изгнание, не быв уличен — выслушан — ошупан, — если так, почему не остался я в Страсбурге, где правосудие — — но я поклялся — полно, тебя скоро напоят — святителю Николаю! — О Юлия! — — Что ты настоужил уши? — Это только путник, и т. д.

Чужеземец продолжал себе ехать, беседуя таким образом со своим мулом и с Юлией, — пока не прибыл к постоялому двору, добравшись до которого сейчас же соскочил с мула — присмотрел, согласно своему обещанию, чтобы его хорошо покормили, — снял сумку с ярко-красными атласными штанами и т. д. — — заказал себе на ужин омлет, лег около двенадцати в постель и через пять минут крепко заснул.

В этот самый час, когда поднявшаяся в Страсбурге суматоха утихла с наступлением ночи, — — страсбургцы тоже мирно улеглись в свои постели, но не с тем, чтобы дать, как он, отдых душе своей и телу; царица Мэб, эта шалунья-эльф, взяла нос чужеземца и, не уменьшая его размеров, всю ночь усердно его расщепляла и разделяла на столько носов разного покроя и фасона, сколько в Страсбурге было голов, способных вместить их. Аббатиса Кведлинбургская, приехавшая на этой неделе в Страсбург с четырьмя высшими должностными лицами своего капитула: настоятельницей, деканшей, второй уставщицей и старшей канониссой, чтобы обратиться в университет за советом по щекотливому вопросу, какие надо делать прорехи в юбках, — была больна всю эту ночь.

Нос обходительного чужеземца взобрался на верхушку шишковидной железы ее мозга и произвел такую кутерьму в

головах четырех ее почтенных спутниц, что всю ночь ни на мгновение не могли они сомкнуть глаз — ни в одной части тела не удалось им сохранить спокойствие — словом, наутро все они встали похожие на привидения.

Исповедницы третьего ордена Святого Франциска — монахини горы *Голгофы* — *премонстранки* — *клюнистки*¹ — *картезианки* и все монахини орденов со строгим уставом, лежавшие в ту ночь на шерстяных одеялах или на власяницах, были еще в худшем положении, чем аббатиса Кведлинбургская, — так они всю ночь напролет ворочались и метались, метались и ворочались с одного бока на другой — монахини некоторых общин исцарапали и искалечили себя до смерти — когда они поднялись с постели, с них была живьем содрана кожа — каждая думала, что это Святой Антоний опалил их для испытания своим огнем, — словом, ни одна из них ни разу не сомкнула глаз за всю ночь, от вечерни до заутрени.

Монахини Святой Урсулы поступили благоразумнее — они даже и не пробовали ложиться в постель.

Страсбургский декан, пребендарий, члены капитула и младшие каноники (торжественно собравшись утром для обсуждения вопроса о лепешках на масле) очень жалели, что не последовали примеру монахинь Святой Урсулы. — — — Благодаря суматохе и беспорядку, царившим накануне вечером, булочники совсем позабыли поставить тесто — во всем Страсбурге нельзя было достать к завтраку лепешек на масле — вся площадь перед собором была в непрерывном волнении — такого повода к бессоннице и беспокойству и такого рьяного расследования причин этого беспокойства в Страсбурге не бывало с тех пор, как Мартин Лютер перевернул своим учением весь этот город вверх дном.

Если нос чужеземца позволил себе забраться таким образом в миски² духовных орденов и т. д., то как же бесцеремонно вел он себя в мисках мирян! — Описать это не под силу моему изношенному вконец перу, хотя я готов признать (*восклицает* Слокенберггий *с большей шаловливостью, чем я мог от*

¹ Гафен Слокенберггий имеет здесь в виду клюнийских бенедиктинок, орден которых основан был в 940 году клюнийским аббатом Одо. — *Л. Стерн.*

² Мистер Шенди свидетельствует свое почтение ораторам и стилистам — для него совершенно явно, что Слокенберггий сбился здесь со своего образного языка — в чем он очень часто бывает повинен; — как переводчик, мистер Шенди приложил все усилия, чтобы удержать его в должных границах, — но здесь это оказалось невозможным. — *Л. Стерн.*

него ожидать), что на свете есть нынче много прекрасных сравнений, которые могли бы дать моим соотечественникам неплохое представление об этом; но в заключительной части такого солидного фолианта, написанного для них и отнявшего у меня большую часть жизни, — разве не было бы с их стороны неразумием ожидать, что у меня найдется досуг или охота искать такие сравнения, даже если я согласен, что они существуют? Довольно будет сказать, что сумятица и неразбериха, вызванные этим носом в воображении страсбургцев, достигли таких размеров — такую он забрал власть над всеми умственными способностями страсбургцев — столько диковинных вещей, ни в ком не возбуждавших сомнения, рассказывалось о нем повсюду с необыкновенным красноречием и клятвенными уверениями — что он стал единственным предметом разговоров и удивления, — все страсбургцы до единого: добрые и злые — богачи и бедняки — ученые и невежды — доктора и студенты — госпожи и служанки — благородные и простые — монахини и мирянки — только то и делали, что ловили о нем новости, — все глаза в Страсбурге жаждали его увидеть — каждый палец в Страсбурге — от большого до мизинца — сгорал желанием его потрогать.

Еще больше жару придало столь жгучему желанию, если только в этом была какая-нибудь надобность, — то, что часовой, кривоногий барабанщик, трубач, трубачова жена, вдова бургомистра, хозяин гостиницы и жена хозяина гостиницы, как ни расходились между собой их показания и описания носа чужеземца, — все сходились в двух вещах — в том, во-первых, что чужеземец поехал во Франкфурт и вернется в Страсбург только через месяц и что, во-вторых, был ли его нос настоящим или поддельным, сам он в полном смысле слова писаный красавец — что за статный мужчина — какой элегантный! — самый щедрый — самый обходительный из всех, кто когда-либо вступал в ворота Страсбурга; — проезжая по улицам с короткой саблей, свободно висевшей у него на запястье, — и прохаживаясь по площади в ярко-красных атласных штанах, — он держался с такой милой непринужденной скромностью и в то же время с таким достоинством, — что (если бы ему не стоял поперек дороги нос) он полонил бы сердца всех девиц, бросавших на него взоры.

Я не обращаюсь к сердцам, чуждым трепета и порывов настолько возбужденного любопытства, чтобы оправдать образ действий аббатисы Кведлинбургской, настоятельницы, деканши и второй уставщицы, пославших в полдень за женой трубача:

та проследовала по улицам Страсбурга с мужниной трубой в руке — лучшим инструментом, какой она могла найти в столь короткий срок для пояснения своей теории. — Жена трубача была у аббатисы всего только три дня.

А часовой и кривоногий барабанщик! — Только древние Афины могли бы тут с ними сравниться! Они читали проходим лекции под городскими воротами с торжественностью Хрисиппа и Крантора, поучавших под одним из афинских портиков.

Хозяин гостиницы со своим конюхом по левую руку ораторствовал в том же стиле — под портиком или в подворотне конюшни, — а жена его читала лекции для более узкого круга слушателей в задней комнате. Жители города валили к ним толпой — не разношерстной — но одни к одному, другие к другому, как это всегда бывает, когда людей распределяет вера и легкоеверие, — словом, каждый страсбуржец рвался за сведениями — и каждый страсбуржец получал те сведения, какие ему были желательны.

Стоит отметить для пользы всех профессоров натуральной философии и им подобных, что едва только жена трубача по окончании частных своих лекций у аббатисы Кведлинбургской выступила публично, взобравшись для этого на табурет посреди главной городской площади, — она нанесла огромный ущерб другим ученым ораторам, сразу завербовав себе в слушатели самую фешенебельную часть страсбургского населения. — Но когда профессор философии (воскликает Слокенбергий) вооружен *трубой* в качестве орудия доказательства, скажите на милость, кто из его научных соперников может рассчитывать быть услышанным рядом с ним?

В то время как люди невежественные усердно спускались по этим трубам осведомления на дно колодца, где *Истина* держит свой маленький двор, — ученые не менее деятельно выкачивали ее наверх по трубам диалектической индукции — фактами они не интересовались — они заняты были умозаключениями. —

Ни одна ученая корпорация не бросила бы на этот предмет столько света, как медицинский факультет, — если бы все его диспуты не вращались вокруг жировиков и отечных опухолей, от которых он, хоть убей, никак не мог отделаться. — Нос чужеземца не имел ничего общего с жировиками и отечными опухолями.

Было, однако, весьма убедительно доказано, что столь увесистая масса инородной материи не может накопиться и сосре-

доточиться на носу во время пребывания младенца *in utero*¹ без нарушения устойчивого равновесия плода, отчего тот непременно опрокинулся бы головой вниз за девять месяцев до срока. —

— — Оппоненты соглашались с этой теорией — они лишь отрицали выводимые из нее следствия.

И если бы в самом зародыше и при зачатках образования такого носа, еще до его появления на свет, не было заложено, — говорили о нем, — нужного количества вен, артерий и т. д. для достаточного его питания, то он не мог бы (это не касается случая с жировиками) правильно расти и держаться впоследствии.

Все это было опровергнуто в диссертации о питании и его действии на расширение сосудов, а также на рост и растяжение мышечных частей до самых фантастических размеров. — Увлечшись этой теорией, авторы ее дошли даже до утверждения, что в природе нет такой силы, которая могла бы помешать носу достигнуть величины человека.

Их противники доказали по всем правилам, что такого несчастья бояться нечего, покуда человек имеет только один желудок и одну парул е г к и х, — ибо желудок, — говорили о нем, — есть единственный орган, предназначенный для принятия пищи и превращения ее в х и л у с, — а легкие представляют единственное орудие для образования крови; — но желудок не может перерабатывать больше того, что ему доставляется аппетитом; и если даже допустить, что человек способен перегружать свой желудок, природа все же поставила границы его легким — машина эта определенной величины и силы и может совершать в определенное время лишь определенное количество работы — иными словами, она может производить ровно столько крови, сколько требуется для одного человека, не больше; таким образом о м, — доказывали о нем, — если бы нос был величиной с человека — это неизбежно привело бы к омертвлению организма; а поскольку нечем было бы поддерживать и человека и его нос, то или нос непременно отвалился бы от человека, или человек отвалился бы от своего носа.

— Природа приспособляется к таким случайностям, — возражали оппоненты, — иначе что вы скажете о целом желудке — и целой паре легких и только половине человека, когда, например, обе его ноги отхвачены пушечным ядром?

¹ В утробе (*лат.*).

— Он умирает от полнокровия, — следовал ответ, — или станет харкать кровью и в две или три недели угаснет от чахотки. —

— — Случается и совсем иное, — — возражали оппоненты. — —

— Не должно случаться, — получали они ответ.

Более пытливые и вдумчивые исследователи природы и ее произведений хотя и шли рука об руку порядочную часть пути, под конец, однако, так же разделились в своих суждениях по поводу этого носа, как и члены медицинского факультета.

Они дружески соглашались, что существует правильное геометрическое соотношение между различными частями человеческого тела и их различным назначением, различными должностями и отправлениями, которое может нарушаться лишь в известных пределах, — что Природа хотя и позволяет себе шалости — но они ограничены известным кругом — относительно диаметра которого эти естествоиспытатели не могли столкнуться.

Логика держалась существа затронутого вопроса гораздо ближе, чем все другие категории ученых; — они начинали и кончали словом *нос*; и если бы не *retitio principii*¹, на которое натолкнулся самый искусный из них, вся контroversa была бы сразу улажена.

— Н о с , — доказывал этот логик, — не может кровоточить без крови — и не просто крови — а крови, совершающей в нем обращение, при котором только и возможно следование капель — (струя есть лишь более быстрое следование капель, и потому я на ней не останавливаюсь, — сказал о н) . — А так как смерть, — продолжал логик, — есть не что иное, как застой крови —

— Я отвергаю это определение. — Смерть есть отделение души от тела, — заявил его противник. — Стало быть, между нами нет согласия относительно нашего оружия, — сказал логик. — Стало быть, не стоит и затевать этот спор, — возразил его противник.

Цивилисты были еще более лаконичны; то, что они предложили, скорее похоже было на судебное постановление — чем на доказательство.

— Если бы такой чудовищный н о с , — говорили о н и , — был настоящий нос, его не потерпело бы никакое гражданское общество, — а если бы он был поддельный — то обман общества

¹ Требование основания (*лат.*).

подобными фальшивыми знаками и эмблемами был бы еще большим нарушением его прав и оказался бы еще менее допустимым.

Единственным возражением на решение цивилистов было то, что если таким образом что-нибудь доказывалось, так только то, что нос чужеземца не был ни настоящим, ни поддельным.

Это оставляло простор для продолжения контрверзы. Адвокаты церковного суда утверждали, что нет никаких оснований для прекращения расследования, поскольку чужеземец *ex meo motu*¹ признался в том, что побывал на Мысе Носов и достал себе один из самых видных и т. д. и т. д. — На это последовал ответ: невозможно, чтобы была такая местность, как Мыс Носов, а ученые не знали бы, где она находится. Представитель страсбургского епископа взял сторону адвокатов и разъяснил суть дела в трактате об иносказательных выражениях, показав, что Мыс Носов есть просто аллегорическое выражение и означает всего-навсего, что природа наделила чужеземца длинным носом; в доказательство представитель епископа ссылаясь, обнаруживая большую эрудицию, на нижеприведенные авторитеты², и таким образом вопрос получил бы окончательное решение, если бы не обнаружилось, что девятнадцать лет тому назад с помощью этих самых ссылок решен был спор о некоторых льготах для деканских и капитульских земель.

Случилось, — не скажу, к ущербу для истины, потому что, поступая так, они косвенно ее поддерживали, — случилось, что оба страсбургских университета — лютеранский, основанный в 1538 году Яковом Стурмием, советником сената, — и папистский, основанный австрийским эрцгерцогом Леопольдом, — как раз в это время прилагали всю глубину своей учености (если

¹ По собственному почину (*лат.*).

² *Nonnulli ex nostratibus eadem loquendi formula utun. Quinimo et Logistae et Cononistae — Vid. Parce Barne Jas in d. L. Provincial. Constitut. de conjec. vid. Vol. Lib. 4. Titul. 1. n. 7 qua etiam in re conspir. Om. de Promontorio Nas. Tichmak. ff. d. tit. 3 fol. 189. passim. Vid. Glos. de contrahend. empt. etc. nec non J. Scrudr. in cap. § refut. per totum. Cum his cons. Rever. J. Tubal, Sentent. et Prov. cap. 9 ff. 11, 12. obiter. V. et Librum, cui Tit. de Terris et Phras. Belg. ad finen, cum comment. N. Bardy Belg. Vid. Scrip. Argentotarens. de Antiq. Ecc. in Episc. Archiv. fid. coll. per. Von Jacobum Koinshoven Folio Argent. 1583, praecip. ad finem. Quibus add. Rebuff in L. obvenire de Signif. Nom. ff. fol. et de jure Gent. et Civil. de prohib. aliena feud. per federa, test. Joha. Luxius in prolegom. quem velim videas, de Analy. Cap. 1, 2, 3. Vid. I d e a. — Л. Стерн.*

исключить оттуда ровно столько, сколько потребовалось для дела аббатисы Квондлинбургской о юбочных прорехах) — на решение вопроса, будет ли осужден на вечные муки Мартин Лютер.

Папистские доктора взялись доказать а priori¹, что вследствие неотвратимого влияния планет 22 октября 1483 года, — — когда Луна находилась в двенадцатом разделе зодиака, Юпитер, Марс и Венера — в третьем, а Солнце, Сатурн и Меркурий все вместе — в четвертом, — Лютер непременно и неизбежно должен быть осужден — и что, как прямое следствие отсюда, его учение тоже должно быть осуждено.

Изучение его гороскопа, на котором пять планет сразу были в сочетании со Скорпионом² (читая это место, отец всегда качал головой) в девятом разделе зодиака, отводимом арабами религии, — показало, что Мартин Лютер ни в грош не ставил это дело, — — а из гороскопа, приуроченного к сочетанию Марса, — тоже ясно было видно, что ему пришлось умереть с проклятиями и богохульствами — вихрем которых душа его (погрязшая в грехе) унесена была на всех парусах прямо в огненное озеро ада.

Лютеранские богословы сделали на это маленькое возражение, указав, что душа, принужденная уплыть таким образом с попутным ветром, принадлежала, очевидно, другому человеку, родившемуся 22 октября 1483 года, — поскольку из метрических книг города Эйслебена в графстве Мансфельд явствует, что Лютер родился не в 1483, а в 1484 году, и не

¹ Как нечто самоочевидное (*лат.*).

² *Haec mira, satsique horrenda. Planelarum coitio sub Scorpio Asterismo in nona coeli statione, quam Arabes religioni deputabant, efficit Martinum Lutherum sacrilegum hereticum, Christianae religionis hostem acerrimum atque prophanum. ex horoscopi directione ad Martis coilum, religiosissimus obiit, ejus Anima selectissima ad infernos navigavit — ab Alecto, Tisiphone et Megara, flagellis igneis cruciata perenniter.*

— *Lucas Gauricus* in *Tractatu astrologico de praeteritis multorum hominum accidentibus per genituras examinatis.* — *Л. Стерн.* — Это поразительно и весьма устрашающе. Сочетание планет под созвездием Скорпиона в девятом разделе неба, который арабы отводят религии, показывает Мартина Лютера нечестивым еретиком, злейшим и притом невежественным врагом христианской религии, а из гороскопа, приуроченного к сочетанию Марса, очевиднейшим образом явствует, что преступнейшая душа его отплыла в преисподнюю — постоянно терзаемая огненными плетьюми Алектто, Тизифоны и Мегеры.

— *Лука Гаерский* в «Астрологическом трактате о несчастьях, приключившихся со многими людьми и истолкованных посредством гороскопов».

22 октября, а 10 ноября, в канун Мартинова дня, почему и назван был Мартином.

— Я должен на минуту прервать свой перевод, ибо чувствую, что не сделаю я этого, мне, как и аббатисе Кведлинбургской, не удастся сомкнуть глаз в постели. — Надо сказать читателю, что отец всегда читал дяде Тоби это место из Слокенбергия не иначе, как с торжеством — не над дядей Тоби, который нисколько ему не противоречил, — но над целым миром.

— Вот видите, братец Тоби, — говорил он, возводя глаза к небу, — христианские имена вещь вовсе не такая безобидная; — если бы этого Лютера назвали не Мартином, а каким-нибудь другим именем, он был бы осужден на вечные муки. — Отсюда не следует, — прибавлял он, — что я считаю имя Мартин хорошим именем, — далеко нет — оно лишь чуточку лучше нейтрального имени — но хоть и чуточку, — а, вот видите, это все-таки оказало ему услугу.

Отец знал не хуже, чем ему мог бы доказать самый искусный логик, какая это слабая опора для его гипотезы, — но удивительна также слабость человека: стоит такой гипотезе подвернуться ему под руку, он уже при всех своих стараниях не может от нее отделаться; именно по этой причине, хотя в Декадах Гафена Слокенбергия есть много столь же занимательных историй, как и переводимая мною, ни одна из них не доставляла отцу и половины такого удовольствия: она угождала сразу двум его самым причудливым гипотезам — его *именам* и его *носам*. — Смею утверждать, что, перечитай он всю Александрийскую библиотеку, если бы судьба не распорядилась ею иначе, все-таки он не нашел бы ни одной книги и ни одной страницы, которые одним ударом убивали бы наповал двух таких крупных зайцев.

Оба страсбургских университета трудились в поте лица над последним плаванием Лютера. Протестантские богословы доказали, что он не встретил попутного ветра, как утверждали богословы папистов; а так как всякому известно, что прямо против ветра плыть нельзя, — то они занялись определением, на сколько румбов Мартин отклонился в сторону, если его плавание вообще состоялось; обогнул ли он мыс или был прибит к берегу; поскольку же выяснение этого вопроса было весьма назидательно, по крайней мере для тех, кто смыслил в такого рода мореплавании, они несомненно продолжали бы им заниматься, несмотря на величину носа чужеземца, если бы величина носа чужеземца не отвлекла внимание публики от

вопроса, которым они занимались, — им пришлось последовать общему примеру.

Аббатиса Кведлинбургская с четырьмя своими спутницами не была для этого препятствием; ибо огромный нос чужеземца занимал в воображении этих дам столько же места, как и щекотливый вопрос, ради которого они приехали, — дело с прорезами на юбках, таким образом, заглохло — словом, типографчики получили приказание разобрать набор — все споры прекратились.

Четырехугольная шапочка с шелковой кисточкой наверху — против ореховой скорлупы — вы уже догадались, по какую сторону носа расположатся оба университета.

— Это выше разума, — восклицали богословы, расположившиеся по одну сторону.

— Это ниже разума, — восклицали богословы, расположившиеся по другую сторону.

— Догматы, — восклицал один.

— Чепуха, — говорил другой.

— Вещь вполне возможная, — восклицал один.

— Вещь невозможная, — говорил другой.

— Могущество божие бесконечно, — восклицали носариане, — бог всё может.

— Он не может ничего такого, — возражали антиносариане, — что содержит в себе противоречие.

— Он может сделать материю мыслящей, — говорили носариане.

— Так же, как вы можете сделать бархатную шапочку из свиного уха, — возражали антиносариане.

— Он может сделать так, чтобы два да два равнялось пяти, — возражали папистские богословы. — Это ложь, — говорили их противники. —

— Бесконечное могущество есть бесконечное могущество, — говорили богословы, защищавшие реальность носа. — Оно простирается только на то, что возможно, — возражали лютеране.

— Господи боже, — восклицали папистские богословы, — он может, если сочтет нужным, сотворить нос величиной в соборную колокольню города Страсбурга.

Но колокольня страсбургского собора больше и выше всех соборных колоколен, какие можно увидеть на свете, и антиносариане отрицали, что человек, по крайней мере среднего роста, может носить нос длиной в пятьсот семьдесят пять геометрических футов. — Папистские доктора клялись, что это

возможно. — Лютеранские доктора говорили: — Н е т , — это невозможно.

Сейчас же начался новый ожесточенный диспут — о протяжении и границах атрибутов божиих. — Диспут этот, натурально, привел спорящих к Фоме Аквинату, а Фома Аквинат — к дьяволу.

В разгоревшемся споре не было больше и речи о носе чужеземца — он послужил лишь фрегатом, на котором они вышли в залив схоластического богословия — и неслись теперь на всех парусах с попутным ветром.

Горячность прямо пропорциональна недостатку подлинного знания.

Спор об атрибутах и т. д., вместо того чтобы охладить воображение страсбургцев, напротив, распалил его в высочайшей степени. — Чем меньше они понимали, тем в большем были восторге. — Они познали все муки неудовлетворенного желания — когда увидели, что их ученые доктора, пергаментарии, меднолобарии, терпентарии — по одну сторону, — папистские доктора — по другую, подобно Пантагрюэлю и его спутникам, снарядившимся на розыски бутылки, уплыли всей компанией и скрылись из виду.

— Бедные страсбургцы остались на берегу!

— Что тут было делать? — Медлить нельзя — суматоха росла — беспорядок всеобщий — городские ворота открыты настежь. —

Несчастные страсбургцы! Разве было на складах природы — разве было в чуланах учености — разве было в великом арсенале случайностей хоть одно орудие, которое осталось бы непримененным для возбуждения вашего любопытства и разжигания ваших страстей, разве было хоть одно средство, которым не воспользовалась бы рука судьбы, чтобы поиграть на ваших сердцах? Я макаю перо в чернила не для оправдания вашего поражения — а для того, чтобы написать вам панегирик. Укажите мне город, настолько изнуренный ожиданием, — который, не слушая властных голосов религии и природы, проведя без еды, без питья, без сна и без молитв двадцать семь дней сряду, мог бы выдержать еще один день!

На двадцать восьмой день обходительный чужеземец обещал вернуться в Страсбург.

Семь тысяч карет (Слокенбергй, по всей вероятности, допустил некоторую ошибку в своих числовых данных), семь тысяч карет — пятнадцать тысяч одноколок — двадцать тысяч телег, битком набитых сенаторами, советниками, синдиками —

бегинками, вдовами, женами, девицами, канониссами, наложницами, все в своих каретах. — Во главе процессии аббатиса Кведлинбургская с настоятельницей, деканшей и подуставщицей в одной карете, а по левую руку от нее страбургский декан с четырьмя высшими должностными лицами своего капитула — остальные следовали за ними в беспорядке, как попало: — кто верхом — кто пешком — кого вели — кого везли — кто спускался по Рейну — кто одной дорогой — кто другой — все высыпали с восходом солнца на большую дорогу встречать обходительного чужеземца.

Теперь мы быстро приближаемся к катастрофе моей повести — говорю катастрофе (воскликает Слокенбергий), поскольку правильно построенная повесть находит удовольствие (*gaudet*) не только в катастрофе или перипетии, свойственной драме, но также во всех существенных составных частях последней — у нее есть свои протасис, эпитасис, катастасис, своя катастрофа или перипетия, вырастающие друг из друга в том порядке, как впервые установил Аристотель. — Без этого, — говорит Слокенбергий, — лучше и не братья за рассказывание повестей, а хранить их про себя.

Во всех десяти повестях каждой из десяти моих декад я, Слокенбергий, так же твердо держался этого правила, как и в настоящей повести о чужеземце и его носе.

— Начиная от его переговоров с часовым и до отъезда из города Страсбурга, после того как он снял свои штаны из ярко-красного атласа, тянется протасис, или пролог — где вводятся *Personae Dramatis*¹ и намечается начало действия.

Эпитасис, в котором действие завязывается крепче и нарастает, пока не достигнуто высшее напряжение, называемое катастасис и для которого обыкновенно отводится второй и третий акты, охватывает тот оживленный период моей повести, что заключен между первой ночной суматохой по поводу носа и завершением лекций о нем трубачовой жены на большой городской площади; а период от начала диспута между учеными — до заключительной его части, когда доктора снялись с якоря и уплыли, оставив опечаленных страбуржцев на берегу, — образует катастасис, в котором события и страсти вызрели уже настолько, что готовы взорваться в пятом акте.

Последний начинается с выезда страбуржцев на франкфуртскую дорогу и кончается разрешением путаницы и перехо-

¹ Действующие лица (*лат.*).

дом героя из состояния волнения (как его называет Аристотель) в состояние душевного мира и спокойствия.

Это, — говорит Гафен Слокенбергский, — составляет катастрофу или перипетию моей повести — и эту ее часть я собираюсь сейчас рассказать.

Мы покинули чужеземца крепко уснувшим за пологом — теперь он снова выходит на сцену.

— Что ты насторожил уши? — Это только путник верхом на лошади, — были последние слова чужеземца, обращенные к мулу. Тогда мы не сочли уместным сказать читателю, что мул поверил на слово своему хозяину и без дальнейших *если* и *но* пропустил путешественника и его лошадь.

Этот путешественник изо всех сил торопился еще до рассвета достигнуть Страсбурга. — Как это глупо с моей стороны, — сказал он про себя, проехав еще с милою, — вообразить, будто сегодня ночью я попаду в Страсбург. — Страсбург! — великий Страсбург; — Страсбург, столица всего Эльзаса! Страсбург, имперский город! Страсбург, суверенное государство! Страсбург, с пятитысячным гарнизоном лучших войск в мире! — Увы! будь я в эту минуту у ворот Страсбурга, мне бы не удалось получить доступ в него и за дукат — даже за полтора дуката — это слишком дорого — лучше мне вернуться на постоянный двор, мимо которого я проехал, — чем лечь спать неизвестно где — или дать неизвестно сколько. — Рассудив таким образом, путник повернул коня и через три минуты после того, как чужеземец пошел спать в отведенную ему комнату, прибыл на тот же постоянный двор.

— У нас есть свиное сало, — сказал хозяин, — и хлеб — до одиннадцати часов вечера было также три яйца — но один чужеземец, приехавший час тому назад, заказал себе из них омлет, и у нас ничего не осталось. —

— Не беда! — сказал путешественник, — я так измучен; мне бы только постель. — Такой мягкой, как у меня, вам не сыскать во всем Эльзасе, — отвечал хозяин.

— Я бы ее предложил чужеземцу, — продолжал он, — потому что это лучшая моя постель, — если б не его нос. — Что же, у него насморк? — спросил путешественник. — Нет, насколько я знаю, — воскликнул хозяин. — Но это походная кровать, и Джасинта, — сказал он, взглянув на служанку, — вообразила, что в ней не найдется места для его носа. — Как так? — вскричал путешественник, отступая назад. — Такой длинный у него нос, — отвечал хозяин. — Путешественник пристально посмотрел на Джасинту, потом на пол — опустил на правое ко-

лено — и прижал руку к сердцу. — Не подшучивайте над моим беспокойством, — сказал он, вставая. — Это не шутка, — сказала Джасинта, — а роскошный нос! — Путешественник снова упал на колени — прижал руку к сердцу — и проговорил, возведя глаза к небу: значит, ты привел меня к цели моего паломничества. Это — Диего.

Путешественник был брат той самой Юлии, к которой так часто взывал чужеземец, едуци поздно вечером из Страсбурга верхом на муле; по ее поручению и предпринял он путешествие, с целью разыскать Диего. Он сопровождал сестру из Вальядолида через Пиренеи во Францию, проявив не мало изобретательности, чтобы следовать по многочисленным извилинам и крутым поворотам тернистых путей влюбленного.

— Юлия изнемогла от тяжелого путешествия — и не в состоянии была сделать ни шагу дальше Лиона, где, обессиленная тревогами чувствительного сердца, о которых все говорят — но которые мало кто испытывает, — она заболела, но нашла еще в себе силу написать Диего; взяв с брата клятву не показываться ей на глаза, пока он не разыщет Диего, Юлия вручила ему письмо и слезла.

Фернандес (это было имя ее брата) — даром что походная постель была такая мягкая, какой не сыскать во всем Эльзасе, — всю ночь пролежал в ней, не смыкая глаз. — Чуть забрезжил рассвет, он встал и, узнав, что Диего тоже встал, вошел к нему в комнату и исполнил поручение своей сестры.

Письмо было следующее:

«Сеньор Диего.

Были ли мои подозрения по поводу вашего носа основательны или нет — теперь не время разбирать — достаточно того, что я не нашла в себе твердости подвергнуть их дальнейшему испытанию.

Как же я мало знала себя, запретив вам через дуэнью появляться под моим решетчатым окном! Как мало знала я вас, Диего, вообразив, что вы останетесь хотя бы день в Вальядолиде, чтобы рассеять мои сомнения! — Ужели мне быть покинутой Диего за то, что я заблуждалась? И разве хорошо ловить меня на слове, справедливы ли были мои подозрения или нет, и оставлять меня, как вы сделали, во власти горя и неизвестности?

Как жестоко Юлия за это поплатилась — расскажет вам брат мой, когда вручит это письмо; он вам расскажет, как скоро

она раскаялась в необдуманном запрете, который вам послала, — с какой лихорадочной поспешностью бросилась к своему решетчатому окну и сколько долгих дней и ночей неподвижно просидела у него, облокотившись на руку и глядя в ту сторону, откуда обыкновенно приходил Диего.

Он вам расскажет, как упала она духом, услышав о вашем отъезде, — как тяжело ей стало на сердце — как трогательно она жаловалась — как низко опустила голову. О Диего! сколько тяжелых дорог исходила я, опираясь на сострадательную братнину руку, чтобы только напасть на ваш след! Как далеко завлекло меня мое страстное желание, не считавшееся с моими силами, — как часто в пути падала я без чувств в братнины объятия, находя в себе силу только для восклицания: — О мой Диего!

Если любезность вашего обхождения не обманула меня относительно вашего сердца, вы примчитесь ко мне с такой же быстротой, с какой вы от меня бежали. — Но как бы вы ни спешили — вы поспеете только для того, чтобы увидеть меня умирающей. — Горькая это чаша, Диего, но, увы! еще больше горечи к ней прибавляет то, что я умираю, не — — —»

Продолжать она не могла.

Слокенбергий предполагает, что недописанное слово было *не убедившись*, но упадок сил не позволил ей закончить письмо.

Сердце обходительного Диего переполнилось, когда он читал это письмо, — он приказал немедленно седлать своего мула и лошадь Фернандеса. Известно, что при подобных потрясениях проза не в состоянии так облегчить душу, как поэзия, — вот почему, когда случай, столь же часто посылающий нам лекарства, как и болезни, бросил в окошко кусочек угля, — Диего им воспользовался и, пока конюх седлал его мула, излил свои чувства на стене следующим образом:

Ода

1

Безрадостны напевы все любви,
Доколь по клавишам не грянет
Прекрасной Юлии рука.
В своих движениях легка,
Она восторгом нам всю душу наполняет.

II

О Юлия!

Стихи вышли очень естественные — ибо они не имели никакого отношения к делу, — говорит Слокенбергский, — и жаль, что их было так мало; но потому ли, что сеньор Диего был медлителен в сложении стихов, — или оттого, что конюх был проворен в седлании мулов, — точно не выяснено, только вышло так, что мул Диего и конь Фернандеса уже стояли наготове у дверей гостиницы, а Диего все еще не приготовил второй строфы; не став дожидаться окончания оды, молодые люди оба сели верхом, тронулись в путь, переправились через Рейн, проехали Эльзас, взяли направление на Лион и, прежде чем страсбургцы вместе с аббатисой Кведлинбургской выступили для торжественной встречи, Фернандес, Диего и его Юлия перевалили Пиренеи и благополучно прибыли в Вальядолид.

Нет надобности сообщать сведущему в географии читателю, что встретить обходительного чужеземца на франкфуртской дороге, когда Диего находился в Испании, было невозможно; достаточно сказать, что страсбургцы в полной мере испытали на себе могущество наисильнейшего из всех неугомонных желаний — любопытства — и что три дня и три ночи сряду метались они взад и вперед по франкфуртской дороге в бурных припадках этой страсти, прежде чем решились вернуться домой, — где, увы! их ожидало самое горестное событие, которое может приключиться со свободным народом.

Так как об этой страсбургской революции много говорят и мало ее понимают, я хочу в десяти словах, — замечает Слокенбергский, — дать миру ее объяснение и тем закончить мою повесть.

Всякий слышал о великой системе Всемирной Монархии, написанной по распоряжению мосье Кольбера и врученной Людовику XIV в 1664 году.

Известно также, что одной из составных частей этой всеобъемлющей системы был захват Страсбурга, благоприятствовавший вторжению в любое время в Швабию с целью нарушать спокойствие Германии, — и что в результате этого плана Страсбург, к сожалению, попал-таки в руки французов.

Немногие способны вскрыть истинные пружины как этой, так и других подобных ей революций. — Простой народ ищет их слишком высоко — государственные люди слишком низко — истина (на этот раз) лежит посередине.

— К каким роковым последствиям приводит народная гордость свободного города! — восклицает один историк. — Страсбургцы считали умалением своей свободы допускать к себе имперский гарнизон — вот они и попались в лапы французов.

— Судьба страсбургцев, — говорит другой, — хороший урок бережливости всем свободным народам. — Они растратили свои будущие доходы — вынуждены были обложить себя тяжелыми налогами, истощили свои силы и в заключение настолько ослабели, что были не в состоянии держать свои ворота на запоре, — французам стоило только толкнуть, и они распахнулись.

— Увы! увы! — восклицает Слокенбергский, — не французы, а любопытство распахнуло ворота Страсбурга. — Французы же, которые всегда держатся начеку, увидя, что все страсбургцы от мала до велика, мужчины, женщины и дети, выступили из города вслед за носом чужеземца, — последовали (каждый за собственным носом) и вступили в город.

Торговля и промышленность после этого стали замирать и мало-помалу пришли в полный упадок — но вовсе не по той причине, на которую указывают коммерческие головы: это обусловлено было единственно тем, что носы постоянно вертелись в головах у страсбургцев и не давали им заниматься своим делом.

— Увы! увы! — с сокрушением восклицает Слокенбергский, — это не первая — и, боюсь, не последняя крепость, взятая — или потерянная — носами.

Конец повести Слокенбергия

ГЛАВА I

При такой обширной эрудиции в области Носов, постоянно вертевшейся в голове у моего отца, — при таком множестве семейных предрассудков — с десятью декадами этаких повестей в придачу — как можно было с такой повышенной — — настоящий ли у него был нос? — — чтобы человек с такой повышенной чувствительностью, как мой отец, способен был перенести этот удар на кухне — или даже в комнатах наверху — в иной позе, чем та, что была мной описана?

— Попробуйте раз десять броситься на кровать — только сначала непременно поставьте рядом на стуле зеркало. — — Какой же все-таки нос был у чужеземца: настоящий или поддельный?

Сказать вам это заранее, мадам, значит испортить одну из лучших повестей в христианском мире, — я имею в виду десятую повесть десятой декады, которая идет сейчас же вслед за только что рассказанной.

Повесть эту, — ликующе восклицает Слокенбергий, — я приберег в качестве заключительной для всего моего произведения, отчетливо сознавая, что когда я ее расскажу, а мой читатель прочтает ее до конца, — то обоим останется только закрыть книгу; и бо, — продолжает Слокенбергий, — я не знаю ни одной повести, которая могла бы кому-нибудь прийти по вкусу после нее.

— Вот это повесть так повесть!

Она начинается с первого свидания в лионской гостинице, когда Фернандес оставил учтивого чужеземца вдвоем со своей сестрой в комнате Юлии, и озаглавлена:

Затруднения Диэго и Юлии

О небо! Какое странное ты существо, Слокенбергий! Что за причудливую картину извилин женского сердца развернул ты перед нами! Ну как все это перевести, а между тем, если приведенный образец повестей Слокенбергия и тонкой его морали понравится публике, — перевести пару томов придется. — Только как их перевести на наш почтенный язык, ума не приложу. — В некоторых местах надо, кажется, обладать шестым чувством, чтобы достойно справиться с этой задачей. — Что, например, может он разуть под мерцающей зрачковой медленного, тихого, бесцветного разговора на пять тонов ниже естественного голоса — то есть, как вы сами можете судить, мадам, лишь чуточку погромче шепота? Произнеся эти слова, я ощутил что-то похожее на трепетание струн в области сердца. — Мозг на него не откликнулся. — Ведь мозг и сердце часто не в ладу между собой — у меня же было такое чувство, как будто я понимаю. — Мыслей у меня не было. — Не могло же, однако, движение возникнуть без причины. — Я в недоумении. Ничего не могу разобрать, разве только, с позволения ваших милостей, голос, будучи в этом случае чуть погромче шепота, принуждает глаза не только приблизиться друг к другу на расстояние шести дюймов — но и смотреть в зрачки — ну разве это не опасно? — Избежать этого, однако, нельзя — ведь если смотреть вверх, в потолок, в таком случае два подбородка неизбежно встретятся — а если смотреть вниз, в подол друг другу, лбы придут в непосредственное соприкосновение, которое сразу положит конец беседе — я подразумеваю чувствительной ее части. — — Остальное же, мадам, не стоит того, чтобы ради него нагибаться.

ГЛАВА II

Мой отец пролежал, вытянувшись поперек кровати, без малейшего движения, как если бы его свалила рука смерти, добрых полтора часа, и лишь по прошествии этого времени начал постукивать по полу носком ноги, свесившейся с кровати; сердце у дяди Тоби стало легче от этого на целый фунт. — Через несколько мгновений его левая рука, сгибы пальцев которой все это время опирались на ручку ночного горшка, пришла в чувство — он задвинул горшок поглубже под кровать — поднял руку, сунул ее за пазуху — и издал звук *гм!* Мой добрый дядя Тоби с бесконечным удовольствием ответил тем же; он охотно провел бы через пробитую брешь несколько утешительных слов, но, не будучи, как я уже сказал, человеком речистым и опасаясь, кроме того, как бы не брякнуть чего-нибудь такого, что могло бы ухудшить и без того плохое положение, не проронил ни слова и только кротко оперся подбородком на рукоятку своего костыля.

Оттого ли, что укороченное под давлением костыля лицо дяди Тоби приняло более приятную овальную форму, — или же человеколюбивое дядино сердце, когда он увидел, что брат начинает выплывать из пучины своих несчастий, дало импульс к сокращению его лицевых мускулов — и таким образом давление на подбородок лишь усилило выражение благожелательности — решать не будем, — а только отец, повернув глаза, так потрясен был сиянием доброты на дядином лице, что все тяжелые тучи его горя мгновенно рассеялись.

Он прервал молчание такими словами:

ГЛАВА III

— Доставалось ли когда-нибудь, брат Тоби, — воскликнул отец, приподнявшись на локте и перевертываясь на другой бок, лицом к дяде Тоби, который по-прежнему сидел на старом, обитом бахромой кресле, опершись подбородком на костыль, — доставалось ли когда-нибудь бедному несчастливцу, брат Тоби, — воскликнул отец, — столько ударов? — Больше всего ударов, насколько мне приходилось видеть, — проговорил дядя

Тоби (дергая колокольчик у изголовья кровати, чтобы вызвать Трима), — досталось одному гренадеру, кажется, из полка Макая.

Всади дядя Тоби ему пулю в сердце, и тогда отец не так внезапно повалился бы носом в одеяло.

— Боже мой! — воскликнул дядя Тоби.

ГЛАВА IV

— Ведь это из полка Макая, — спросил дядя Тоби, — был тот бедняга гренадер, которого так беспощадно выпороли в Брюгге за дукаты? — Господи Иисусе! он был не виноват! — воскликнул Трим с глубоким вздохом. — — — И его заporоли, с позволения вашей милости, до полусмерти. — Лучше бы уж его сразу расстреляли, как он просил, бедняга бы отправился прямо на небо, ведь он был совсем не виноват, вот как ваша милость. — — Спасибо тебе, Трим, — сказал дядя Тоби. — Когда только ни подумаю, — продолжал Трим, — о его несчастьях да о несчастьях бедного моего брата Тома, — ведь мы трое были школьными товарищами, — я плачу, как трус. — Слезы не доказывают трусости, Трим. — Я и сам часто их проливаю, — воскликнул дядя Тоби. — Я это знаю, ваша милость, — отвечал Трим, — оттого мне и не стыдно плакать. — Но подумать только, с позволения вашей милости, — продолжал Трим, и слезы на-вернулись у него на глазах, — подумать только: два этаких славных парня с на что уж горячими и честными сердцами, честнее которых господь бог не мог бы создать, — сыновья честных людей, бесстрашно пустившиеся искать по свету счастья, — попали в такую беду! — Бедный Том! подвергнуться жестокой пытке ни за что — только за женитьбу на вдове еврея, торговавшей колбасой, — честный Дик Джонсон! быть заporотым до полусмерти за дукаты, засунутые кем-то в его ранец! — О! — это такие несчастья, — воскликнул Трим, вытаскивая носовой платок, — это такие несчастья, с позволения вашей милости, что из-за них не стыдно броситься на землю и зарыдать.

Мой отец невольно покраснел.

— Не дай бог, Трим, — проговорил дядя Тоби, — тебе самому изведать когда-нибудь горе, — так близко к сердцу принимаешь ты горе других. — О, будьте покойны! — воскликнул капрал с просиявшим лицом, — ведь вашей милости известно, что

у меня нет ни жены, ни детей, — — — какое же может быть у меня горе на этом свете? — Отец не мог удержаться от улыбки и . — От горя никто не застрахован, Т р и м , — возразил дядя Тоби; — я, однако, не вижу никаких причин, чтобы страдать человеку такого веселого нрава, как у тебя, разве только от нищеты в старости — когда тебя уже никто не возьмет в услужение, Т р и м , — и ты переживешь своих друз ей . — Не бойтесь, ваша милость, — весело отвечал Т р и м . — Но я хочу, чтобы и ты этого не боялся, Т р и м , — сказал дядя Тоби; — вот почему, — продолжал он, отбрасывая костыль и вставая с кресла во время произнесения слов *вот почему*, — в награду за твою верную службу, Трим, и за доброту сердца, в которой я уже столько раз убеждался, — покуда у твоего хозяина останется хотя бы шиллинг — тебе никогда не придется просить милостыню, Т р и м . — Трим попробовал было поблагодарить дядю Тоби — но не нашел для этого силы — слезы полились у него по щекам такими обильными струями, что он не успевал их утирать . — Он прижал руки к груди — сделал земной поклон и затворил за собой дверь.

— Я завещал Триму мою зеленую лужайку, — воскликнул дядя Т о б и . — Отец улыбнулся . — Я завещал ему, кроме того, пенсион, — продолжал дядя Т о б и . — Отец нахмурился.

ГЛАВА V

— Ну разве время с е й ч а с , — проворчал о т е ц , — заводить речь о пенсиях и о гренадерах?

ГЛАВА VI

Когда дядя Тоби заговорил о гренадере, мой о т е ц , — сказал я, — упал носом в одеяло, и так внезапно, словно дядя Тоби сразил его пулей; но я не добавил, что и все прочие части тела моего отца мгновенно вновь заняли вместе с его носом первоначальное положение, точь-в-точь такое же, как то, что уже было подробно описано; таким образом, когда капрал Трим вышел из комнаты и отец почувствовал расположение встать с кр о в а т и , — ему для этого понадобилось снова проделать все маленькие

подготовительные движения. Позы сами по себе ничто, ма да м , — важен переход от одной позы к другой: — подобно подготовке и разрешению диссонанса в гармонию, он-то и составляет всю суть.

Вот почему отец снова отстукал носком башмака по полу ту же самую жигу — задвинул ночной горшок еще глубже под кровать — издал *зм!* — приподнялся на локте — и уже собрался было обратиться к дяде Тоби — как, вспомнив безуспешность своей первой попытки в этой п о з е , — встал с кровати и во время третьего тура по комнате внезапно остановился перед дядей Тоби; уткнув три первых пальца правой руки в ладонь левой и немного наклонившись вперед, он обратился к дяде со следующими словами:

ГЛАВА VII

— Когда я размышляю, братец Тоби, о человеке и всматриваюсь в темные стороны его жизни, дающей столько поводов для беспокойства, — когда я раздумываю, как часто приходится нам есть хлеб скорби, уготованный нам с колыбели в качестве нашей доли наследства... — Я не получил никакого наследства, — проговорил дядя Тоби, перебивая отца, — кроме офицерского патента. — Вот тебе на! — воскликнул отец. — А сто двадцать фунтов годового дохода, которые отказал вам мой дядя? — Что бы я без них стал делать? — возразил дядя Тоби. — Это другой в о п р о с , — с досадой отвечал отец. — Я говорю только, Тоби, когда пробежишь список всех просчетов и горестных статей, которыми так перегружено сердце человеческое, просто диву даешься, сколько все же сил скрыто в душе, позволяющих ей все это сносить и стойко держаться против напастей, которым подвержена наша природа. — Нам подает помощь всемогущий, — воскликнул дядя Тоби, молитвенно складывая руки и возводя глаза к небу, — собственными силами мы бы ничего не сделали, брат Шенди, — часовой в деревянной будке мог бы с таким же правом утверждать, что он устоит против отряда в пятьдесят человек. — Нас поддерживает единственно милосердие и помощь всевышнего.

— Это значит разрубить узел, вместо того чтобы развязать его, — сказал отец. — Но разрешите мне, брат Тоби, ввести вас поглубже в эту тайну.

— От всего сердца, — отвечал дядя Тоби.

Отец сейчас же принял ту позу, в которой Рафаэль так мастерски написал Сократа на фреске «Афинская школа»; вам, как знатоку, наверно, известно, что эта превосходно продуманная поза передает даже свойственную Сократу манеру вести доказательство, — философ держит указательный палец левой руки между указательным и большим пальцами правой, как будто говоря вольнодумцу, которого он убеждает отказаться от своих заблуждений: — «Ты соглашаешься со мной в этом — и в этом; а об этом и об этом я тебя не спрашиваю — это само собой вытекающее следствие».

Так стоял мой отец, крепко зажав указательный палец левой руки между большим и указательным пальцами правой и убеждая логическими доводами дядю Тоби, сидевшего в старом кресле, обитом кругом материей в сборку и бахромой с разноцветными шерстяными помпончиками. — О Гаррик! какую великолепную сцену создал бы из этого твой изумительный талант! и с каким удовольствием я написал бы другую такую же, лишь бы воспользоваться твоим бессмертием и под его покровом обеспечить бессмертие также и себе.

ГЛАВА VIII

— Хотя человек самый диковинный из всех экипажей, — сказал отец, — он в то же время настолько непрочен и так ненадежно сколочен, что внезапные толчки и суровая встряска, которым он неизбежно подвергается по ухабистой своей дороге, опрокидывали бы его и разваливали по десяти раз в день, — не будь в нас, брат Тоби, одной скрытой рессоры. — Рессорой этой, я полагаю, — сказал дядя Тоби, — является религия. — А она выпрямит нос моему ребенку? — вскричал отец, выпустив палец и хлопнув рукой об руку. — Она все для нас выпрямляет, — отвечал дядя Тоби. — Образно говоря, дорогой Тоби, может быть, это и так, не буду спорить, — сказал отец; — но я говорю о присущей нам великой эластичной способности создавать противовес злу; подобно скрытой рессоре в искусно сделанной повозке, она хотя и не может предотвратить толчков, — по крайней мере, делает их для нас менее ощутительными.

— Так вот, дорогой братец, — продолжал отец, переходя к существу вопроса и придав указательному пальцу прежнее положение, — если бы сын мой явился на свет благополучно, не

будучи изуродован в такой драгоценной части своего тела, — то, как ни сумасбродно и причудливо может показаться свету мое мнение о христианских именах и о том магическом влиянии, которое хорошие или дурные имена неизбежно оказывают на наш характер и на наше поведение, — небо свидетель! я в самых горячих пожеланиях благоденствия моему ребенку никогда не пожелал бы большего, чем увенчать главу его славой и честью, которыми осенили бы ее имена *Джордж* или *Эдвард*.

— Но увы! — продолжал отец, — так как с ним приключилось величайшее из зол — я должен нейтрализовать и уничтожить его величайшим благом.

— Я намерен окрестить его Трисмегистом, братец.

— Желаю, чтоб это возымело действие, — отвечал дядя Тоби, вставая с кресла.

ГЛАВА IX

— Какую главу о случайностях, — сказал отец, обращаясь на первой площадке, когда спускался с дядей Тоби по лестнице, — — — какую длинную главу о случайностях развертывают перед нами происходящие на свете события! Возьмите перо и чернила, братец Тоби, и тщательно вычислите... — Я смыслю в вычислениях не больше, чем вот эта балясина, — сказал дядя Тоби (размахнувшись на нее костью, но угодив отцу прямо в ногу, по берцовой кости). — Было сто шансов против одного, — воскликнул дядя Тоби. — — А я думал, — проговорил отец (потирая ногу), — что вы ничего не смыслите в вычислениях, братец Тоби. — Это простая случайность, — сказал дядя Тоби. — Еще одна в добавление к длинной главе, — отвечал отец.

Два таких удачных ответа сразу уняли боль в ноге отца — хорошо, что так вышло, — (опять случайность!) — иначе и по сей день никто бы не узнал, что, собственно, намерен был вычислить мой отец; угадать это не было никаких шансов. — Ах, как удачно сложилась у меня невзначай глава о случайностях! Ведь она избавила меня от необходимости писать об этом особую главу, когда у меня и без того довольно хлопот. — Разве не пообещал я читателям главу об узлах? две главы о том, с какого конца следует подступать к женщинам? главу об усах? главу о желаньях? — главу о носках? — — Нет, одно обещание я выполнил — главу о стыдливости дяди Тоби. Я не упоминаю главы о главах, которую собираюсь окончить прежде, чем лягу

спать. — Клянусь усами моего прадеда, я не справлюсь и с половиной этой работы в текущем году.

— Возьмите перо и чернила, брат Тоби, и тщательно вычислите, — сказал отец. — Ставлю миллион против одного, что щипцы акушера злополучным образом заденут и разрушат не какую-нибудь другую часть тела, а непременно ту, гибель которой разрушит благополучие нашего дома.

— Могло бы случиться и хуже, — возразил дядя Тоби. — Не понимаю, — сказал отец. — Предположим, что подвернулось бы бедро, — отвечал дядя Тоби, — как предвещал доктор Слуп.

Отец подумал полминуты — посмотрел в землю — стукнул себя легонько указательным пальцем по лбу —

— Верно, — сказал он.

ГЛАВА X

Ну не срам ли занимать две главы описанием того, что произошло на лестнице по дороге с одного этажа на другой? Ведь мы добрались только до первой площадки, и до низу остается еще целых пятнадцать ступенек; а так как отец и дядя Тоби в разговорчивом расположении, то, чего доброго, потребуется еще столько же глав, сколько ступенек. — Будь что будет, сэр, я тут ничего не могу поделать, такая уж моя судьба. — Мне внезапно приходит мысль: — опусти занавес, Шенди, — я опускаю. — Проведи здесь черту по бумаге, Тристрам, — я провою, — и айда за следующую главу.

К черту всякое другое правило, которым я стал бы руководствоваться в этом деле, — если бы оно у меня было — то, так как я делаю все без всяких правил, — я бы его измял и изорвал в клочки, а потом бросил бы в огонь. — Вы скажете, я разгорячился? Да, и есть из-за чего — хорошенькое дело! Как по-вашему: человек должен подчиняться правилам — или правила человеку?

А так как, да будет вам известно, это моя глава о главах, которую я обещал написать перед тем, как пойду спать, то я почел долгом успокоить перед сном свою совесть, немедленно поведав свету все, что я об этом знаю. Ведь это же в десять раз лучше, чем наставительным тоном, щеголяя велеречивой мудростью, начать рассказывать историю жареной лошади, — главы-де дают уму передышку — приходят на помощь воображению — действуют на него — и в произведении такой драматической складки столь же необходимы, как перемена картин на

сцене, — и еще пять десятков таких же холодных доводов, способных совершенно затушить огонь, на котором упомянутая лошадь жарится. — О, чтобы это постичь, то есть раздуть огонь на жертвеннике Дианы, — вам надо прочитать Лонгина — прочитать до конца. — Если вы ни на йоту не поумнеете, прочитав его первый раз, — не робейте — перечитайте снова. — Авиценна и Лицетус сорок раз прочитали метафизику Аристотеля от доски до доски, и все-таки не поняли в ней ни одного слова. — Но заметьте, какие это имело последствия. — Авиценна сделался бесшабашным писателем во всех родах писания — и писал книги de omni re scribibili¹, а что касается Лицетуса (Фортунио), то он хотя и родился, как всем известно, недоноском², ростом не более пяти с половиной дюймов, достиг тем не менее в литературе столь поразительной высоты, что написал книгу такой же длины, как он сам, — ученые знают, что я имею в виду его Гонопсихантропологию, о происхождении человеческой души.

¹ О всех предметах (*лат.*).

² Ce Foetus n'étoit pas plus grand que la paume de la main; mais son père l'ayant examiné en qualité de Médecin, et ayant trouvé que c'étoit quelque chose de plus qu'un Embryon, le fit transporter tout vivant à Rapallo, ou il le fit voir à Jérôme Bardî et à d'autres Médecins du lieu. On trouva qu'il ne lui manquoit rien d'essentiel à la vie; et son père pour faire voir un essai de son expérience, entreprit, d'achever l'ouvrage de la Nature, et de travailler à la formation de l'Enfant avec le même artifice que celui dont on se sert pour faire éclore les Poulets en Egypte. Il instruisit une Nourrisse de tout ce qu'elle avoit à faire, et ayant fait mettre son fils dans un four proprement accomodé, il reussit à l'élever et à lui faire prendre ses accroissemens nécessaires, par l'uniformité d'une chaleur étrangère mesurée exactement sur les degrés d'un Thermomètre, ou d'un autre instrument équivalent. (Vide Mich. Giustinian, ne gli Scrit. Liguri à Gart. 223, 488).

On auroit toujours été très satisfait de l'industrie d'un père si expérimenté dans l'Art de la Génération, quand il n'auroit pû prolonger la vie à son fils que pour quelques mois, ou pour peu d'années.

Mais quand on se represente que l'Enfant a vecu près de quatre-vingts ans, et qu'il a composé quatre-vingts Ouvrages différens tous fruits d'une longue lecture — il faut convenir que tout ce qui est incroyable n'est pas toujours faux, et que la Vraisemblance n'est pas toujours du côté de la Vérité.

Il n'avoit que dix-neuf ans lorsqu'il composa Gonopsychanthropologia de Origine Animae Humanae.

(Les Enfans celebres, revûs et corrigés par M. de la Monnoye de l'Académie Française.) — *Л. Стерн*. — Недоносок этот был не больше ладони; но его отец, подвергнув его медицинскому исследованию и найдя, что он является чем-то большим, нежели зародыш, велел его перевезти живым в Рапалло, где показал Джероламо Барди и другим местным врачам. Врачи нашли, что у него нет недостатка ни в чем необходимом для жизни; тогда отец недоноска, желая показать образец своего искусства,

Этим я и заканчиваю свою главу о главах, которую считаю лучшей во всей моей книге; и поверьте моему слову, всякий, кто ее прочтет, столь же плодотворно употребит свое время, как на толчение воды в ступе.

ГЛАВА XI

— Этим мы все поправим, — сказал отец, спуская с площадки ногу на первую ступеньку. — — Ведь Трисмегист, — продолжал отец, ставя ногу на прежнее место и обращаясь к дяде Тоби, — был величайшим (Тоби) из смертных — он был величайшим царем — величайшим законодателем — величайшим философом — величайшим первосвященником. — — И инженером, — сказал дядя Тоби.

— Разумеется, — сказал отец.

ГЛАВА XII

— Ну как себя чувствует ваша госпожа? — крикнул отец, снова спуская с площадки ногу на ту же ступеньку и обращаясь к Сузанне, проходившей внизу, у лестницы, с огромной подушкой для булавок в руке. — Как себя чувствует ваша гос-

взялся завершить работу природы и заняться выращиванием ребенка тем самым способом, какой применяется в Египте для выведения цыплят. Он научил приставленную к нему няньку, что ей надо делать, и, приказав поместить своего сына в соответственно приспособленную печь, добился нормального развития и роста зародыша при помощи ровного нагревания, точно измеряя температуру градусами термометра или другого равнозначного ему прибора. (См. об этом Мик. Джустиниани. «Лигурийские писатели», 225, 488.) Даже если бы ему удалось продлить жизнь своего сына всего на несколько месяцев или на несколько лет, и тогда нельзя было бы надивиться мастерству отца, столь опытного в искусстве выращивания.

Но когда мы узнаем, что ребенок этот прожил около восьмидесяти лет и написал восемьдесят разнообразных произведений, которые все были плодами продолжительного чтения, — мы должны признать, что невероятное не всегда ложно и что правдоподобие не всегда на стороне истины.

Ему было всего девятнадцать лет, когда он написал «Gonopsychanthropologia, или О происхождении души человека». («Замечательные дети», пересмотрено и исправлено г-ном де ла Монне, членом Французской академии.)

пожа? — Хорошо, — проговорила Сузанна, не взглянув наверх и не останавливаясь, — лучше и ожидать нельзя. — Вот дурень! — воскликнул отец, снова поставив ногу на прежнее место, — ведь как бы ни обстояли дела, всегда получишь этот самый ответ. — А как ребенок, скажите? — — Никакого ответа. — А где доктор Слуп? — продолжал отец, возвысив голос и перегнувшись через перила. — Сузанна уже его не слышала.

— Из всех загадок супружеской жизни, — сказал отец, переходя на другую сторону площадки, чтобы прислониться к ступе при изложении своей мысли дяде Тоби, — из всех головоломных загадок супружества, — а поверьте, брат Тоби, оно завалено такой кучей ослиной клады, что всему ослиному стаду Иова нести ее было бы не под силу, — нет более запутанной, чем та — что едва только у хозяйки дома начинаются роды, как вся женская прислуга, от барыниной камеристки до выгребальщицы золы, вырастает на целый дюйм и напускает важности на этот единственный дюйм больше, нежели на все остальные свои дюймы, вместе взятые.

— А я думаю, — возразил дядя Тоби, — что скорее мы станем на дюйм ниже. — — Когда я встречаю женщину, ожидающую ребенка, — со мной всегда так бывает. — Тяжелое бремя приходится нести этой половине рода человеческого, брат Шенди, — сказал дядя Тоби. — Да, ужасное бремя возложено на женщин, — продолжал он, качая головой. — О, да, да, неприятная это вещь, — сказал отец, тоже качая головой, — но, верно, никогда еще, с тех пор как покачивание головой вошло в обычай, две головы не качались в одно время, сообщая, в силу столь различных побуждений.

Боже благослови } их всех, — проговорили, каждый про
Черт побери } себя, дядя Тоби и мой отец.

ГЛАВА XIII

— Эй — ты, носильщик! — вот тебе шесть пенсов — сходи-ка в эту книжную лавку и вызови ко мне критика, который нынче в силе. Я охотно дам любому из них крону, если он поможет мне своим искусством свести отца и дядю Тоби с лестницы и уложить их в постель.

— Пора, давно пора; ведь если не считать короткой дремоты, которая ими овладела в то время, как Трим протыкал

кочергой ботфорты, — и которая, к слову сказать, не принесла отцу никакой пользы из-за скрипучих дверных петель, — они ни разу не сомкнули глаз в течение девяти часов, с тех пор как Обадия ввел в заднюю гостиную забрызганного грязью доктора Слопа.

Если бы каждый день моей жизни оказался таким же хлопотливым, как этот, — и потребовал... — Пойдите.

Прежде чем кончить эту фразу, я хочу сделать замечание по поводу странности моих взаимоотношений с читателем в сложившейся сейчас обстановке — замечание, которое совершенно неприменимо ни к одному биографу с сотворения мира, кроме меня, — и, я думаю, так и останется ни к кому неприменимым до скончания века, — вот почему, хотя бы только ради своей новизны, оно заслуживает внимания ваших милостей.

В текущем месяце я стал на целый год старше, чем был в это же время двенадцать месяцев тому назад; а так как, вы видите, я добрался уже почти до середины моего четвертого тома — и все еще не могу выбраться из первого дня моей жизни — то отсюда очевидно, что сейчас мне предстоит описать на триста шестьдесят четыре дня жизни больше, чем в то время, когда я впервые взял перо в руки; стало быть, вместо того чтобы, подобно обыкновенным писателям, двигаться вперед со своей работой по мере ее выполнения, — я, наоборот, отброшен на указанное число томов назад. — Итак, если бы каждый день моей жизни оказался таким же хлопотливым, как этот... — А почему бы ему не оказаться таким? — и происшествия вместе с мнениями потребовали бы такого же обстоятельного описания... — А с какой стати мне их урезать? — то, поскольку при таком расчете я бы жил в триста шестьдесят четыре раза скорее, чем успевал бы записывать мою жизнь... — Отсюда неизбежно следует, с позволения ваших милостей, что чем больше я пишу, тем больше мне предстоит писать — и, стало быть, чем больше ваши милости изволят читать, тем больше вашим милостям предстоит читать.

Не повредит ли это глазам ваших милостей?

Моим —нисколько; и если только мои Мнения меня не погубят, то думаю, что буду вести весьма приятную жизнь за счет моей Жизни; иными словами, буду наслаждаться двумя приятными жизнями одновременно.

Что же касается плана выпускать по двенадцати томов в год, или по тому в месяц, он ни в чем не меняет моих видов на будущее: — как бы усердно я ни писал, как бы ни кидался в самую гущу вещей, как советует Гораций, — никогда мне за

собой не угнаться, хотя бы я хлестал и погонял себя изо всей мочи; в самом худшем случае я буду на день опережать мое перо — а одного дня довольно для двух томов — и двух томов довольно будет для одного года. —

Дай бог успеха в делах бумажным фабрикантам в нынешнее царствование, так счастливо для нас начинающееся, — как, я надеюсь, промысл божий пошлет успех всему вообще, что будет в это царствование предпринято.

Что же касается разведения гусей — я об этом не беспокоюсь — природа так щедра — никогда не будет у меня недостатка в орудиях моей работы.

— Так, стало быть, дружище, вы помогли моему отцу и дяде Тоби спуститься с лестницы и уложили их в постель? — Как же вы с этим справились? — Вы опустили занавес внизу лестницы — я так и знал, что другого средства у вас нет. — Вот вам корона за ваши хлопоты.

ГЛАВА XIV

— Так подайте мне штаны, вон они на том стуле, — сказал отец Сузанне. — Некогда ждать, пока вы оденетесь, сэ р, — вскричала Сузанна, — лицо у ребенка все почернело, как мой... — Как ваше что? — спросил отец, который, подобно всем ораторам, был жадным искателем сравнений. — Помилосердствуйте, сэ р, — сказала Сузанна, — ребенок лежит в судорогах. — А где же мистер Йорик? — Никогда его нет там, где ему надо быть, — отвечала Сузанна, — но младший священник, в уборной комнате с ребенком на руках, ждет меня — и госпожа моя велела мне бежать со всех ног и спросить, не прикажете ли назвать его по крестному отцу, капитану Шенди.

«Кабы знать наверно, — сказал отец про себя, почесывая бровь, — что ребенок помрет, можно было бы доставить это удовольствие брату Тоби — да и жалко было бы тогда бросать зря такое великолепное имя, как Трисмегист. — Ну, а если он здоровеет?»

— Нет, нет, — сказал отец Сузанне; — погодите, я встану. — Некогда ждать, — вскричала Сузанна, — ребенок весь черней, как мой башмак. — Трисмегист, — сказал отец. — Но стой — у тебя дырявая голова, Сузанна, — прибавил отец; — сможешь ли ты донести Трисмегиста через весь коридор, не рассыпав его? — Донесу ли я? — обидчиво воскликнула Сузан-

на, захлопывая дверь. — Голову даю на отсечение, что не донесет, — сказал отец, соскакивая в темноте с кровати и ощупью отыскивая свои штаны.

Сузанна во всю мочь бежала по коридору.

Отец старался как можно скорее найти свои штаны.

У Сузанны было преимущество в этом состязании, и она удержала его. — Узнала: Трис — и что-то еще, — проговорила она. — Ни одно христианское имя на свете, — сказал священник, — не начинается с Трис — кроме Тристрама. — Тогда Тристрам-гист, — сказала Сузанна.

— Без всякого гиста, дуреха! — ведь это мое имя, — оборвал ее священник, погружая руку в таз: — Тристрам! — сказал он, — и т. д. и т. д. и т. д. — Так был я назван Тристрамом — и Тристрамом пребуду до последнего дня моей жизни.

Отец последовал за Сузанной со шлафроком на руке, в одних штанах, застегнутых в спешке на единственную пуговицу, да и та в спешке только наполовину вошла в петлю.

— Она не забыла имени? — крикнул отец, приотворив дверь. — Нет, нет, — понимающим тоном отвечал священник. — И ребенку лучше, — крикнула Сузанна. — А как себя чувствует твоя госпожа? — Хорошо, — отвечала Сузанна, — лучше и ожидать нельзя. — Тьфу! — воскликнул отец, и в то же время пуговица на его штанах выскользнула из петли. — Таким образом, было ли его восклицание направлено против Сузанны или против пуговицы — было ли его *тьфу!* восклицанием презрения или восклицанием стыдливости — остается неясным; так это и останется, пока я не найду времени написать следующие три любимые мои главы, а именно: главу о горничных, главу о *тьфу!* и главу о пуговичных петлях.

А сейчас я могу сказать в пояснение читателю только то, что, воскликнув *тьфу!* отец поспешно повернулся — и, поддерживая одной рукой штаны, а на другой неся шлафрок, вернулся по коридору в постель, немного медленнее, чем следовал за Сузанной.

ГЛАВА XV

Эх, кабы я умел написать главу о сне!

Лучшего случая ведь не придумаешь, чем тот, что сейчас подвернулся, когда все занавески в доме задернуты — свечи потушены — и глаза всякого живого существа в нем закрыты,

кроме единственного глаза сиделки моей матери, потому что другой ее глаз закрыт вот уже двадцать лет.

Какая прекрасная тема!

И все-таки, хоть она и прекрасная, я взялся бы скорее и с большим успехом написать десяток глав о пуговичных петлях, нежели одну-единственную главу о сне.

Пуговичные петли! — — есть что-то бодрящее в одной лишь мысли о них — и поверьте мне, когда я среди них окажусь... — — Вы, господа с окладистыми бородами, — — напускайте на себя сколько угодно важности — — уж я потешусь моими петлями — я их всех приберу к рукам — это нетронутая тема — я не наткнулся здесь ни на чью мудрость и ни на чьи красивые фразы.

А что касается сна — — то, еще не приступив к нему, я знаю, что ничего у меня не выйдет, — я не мастер на красивые фразы, во-первых, — а во-вторых, хоть убей, не могу придать важный вид такой негодной теме, поведав миру — сон-де прибежище несчастных — освобождение томящихся в тюрьмах — пуховая подушка отчаявшихся, выбившихся из сил и убитых горем; не мог бы я также начать с лживого утверждения, будто из всех приятных отправлений нашего естества, которыми создателю, по великой его благодати, угодно было вознаградить нас за страдания, коими нас карает его правосудие и его произволение, — сон есть главнейшее (я знаю удовольствия в десять раз его превосходящие); или какое для человека счастье в том, что когда он ложится на спину после тревог и волнений трудового дня, душа его так в нем располагается, что, куда бы она ни взглянула, везде над ней простерто спокойное и ясное небо — никакие желания — никакие страхи — никакие сомнения не помрачат воздух — и нет такой неприятности ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, которую воображение не могло бы без труда обойти в этом сладостном убежище.

— «Богда благословит, — сказал Санчо Панса, — человека, который первый придумал вещь, называемую сном, — она вас закутывает как плащом с головы до ног». В этих словах для меня заключено больше и они говорят моему сердцу и чувствам красноречивее, нежели все диссертации на эту тему, выхваченные из голов ученых, взятые вместе.

Отсюда, впрочем, не следует, чтобы я всецело отвергал суждения о сне Монтеня — в своем роде они превосходны — — (цитирую на память).

Мы наслаждаемся сном, как и другими удовольствиями, — говорит он, — не смакуя его и не чувствуя, как он протекает и улечивается. — Нам бы надо было изучать его и размышлять

над ним, чтобы воздать должную благодарность тому, кто нам его дарует. — С этой целью я приказываю беспокоить себя во время сна, чтобы получить от него более полное и глубокое удовольствие. — И все-таки, — говорит он далее, — мало я вижу людей, которые умели бы, когда нужно, так без него обходиться, как я; тело мое способно к продолжительному и сильному напряжению, лишь бы оно не было резким и внезапным, — в последнее время я избегаю всяких резких физических упражнений — ходьба пешком никогда меня не утомляет — но с ранней молодости я не люблю ездить в карете по булыжной мостовой. Я люблю спать на жесткой постели и один, даже без жены. — Последние слова могут возбудить недоверие у читателя — но вспомните: «La Vraisemblance (как говорит Бейль по поводу Лицетуса) n'est pas toujours du côté de la Verité»¹. На этом и покончим о сне.

ГЛАВА XVI

— Если только жена моя не запротестует, — брат Тоби, Трисмегиста оденут и принесут к нам, пока мы здесь завтракаем.

— Обадия, ступай, скажи Сузанне, чтобы она пришла сюда.

— Только сию минуту, — отвечал Обадия, — она взбежала по лестнице с плачем и рыданием, ломая руки, словно над ней стряслось большое несчастье. —

— Ну и месяц нам предстоит, — сказал отец, отворачиваясь от Обадии и задумчиво глядя некоторое время в лицо дяде Тоби, — чертовский нам предстоит месяц, брат Тоби, — сказал отец, подбоченясь и качая головой: — огонь, вода, женщины, ветер, — братец Тоби! — Видно, какое-то несчастье, — проговорил дядя Тоби. — Подлинное несчастье, — воскликнул отец, — столько враждующих между собой стихий сорвалось с цепи и учиняет свистопляску в каждом уголке нашего дома. — Мало пользы, брат Тоби, семейному спокойствию от нашего с вами самообладания, от того, что мы сидим здесь молча и неподвижно, — между тем как такая буря бушует над нашей головой.

— В чем дело, Сузанна? — Окрестили дитя Тристром — и с госпожой моей только что была по этому случаю

¹ Правдоподобие не всегда на стороне истины (*франц.*).

истерика. — Нет! — я тут не виновата, — оправдывалась Сузанна, — я ему сказала: Тристрам-гист.

— — Пейте чай один, братец Тоби, — сказал отец, снимая с крючка шляпу, — но насколько звуки его голоса, насколько все его движения непохожи были на то, что воображает рядовой читатель!

Ибо он произнес эти слова самым мелодичным тоном — и снял шляпу самым грациозным движением тела и руки, какие когда-либо приводила в гармонию и согласовала между собой глубокая скорбь.

— Ступай на мою лужайку и позови мне капрала Трима, — сказал дядя Тоби Обадии, как только отец покинул комнату.

ГЛАВА XVII

Когда несчастье с моим носом так тяжело обрушилось на голову моего отца, — — он в ту же минуту, как уже знает читатель, поднялся вверх и бросился на кровать; на этом основании читатель, если он не обладает глубоким знанием человеческой природы, склонен будет ожидать от моего отца повторения таких же восходящих и нисходящих движений и после несчастья с моим именем; — — нет.

Разный вес, милостивый государь, — и даже разная упаковка двух неприятностей одинакового веса — весьма существенно меняют нашу манеру переносить их и из них выпутываться. — Всего полчаса тому назад я (благодаря горячке и спешке, свойственным бедняку, который пишет ради куска хлеба) бросил в огонь, вместо черновика, белой лист, только что мной оконченный и тщательно переписанный.

В тот же миг я сорвал с головы парик и швырнул его изо всей силы в потолок — правда, я потом его поймал на лету — но дело таким образом было сделано; не знаю, могло ли что-нибудь другое в природе принести мне сразу такое облегчение. Это она, любезная богиня, во всех таких раздражающих случаях вызывает у нас, при помощи внезапного импульса, то или иное порывистое движение — или же толкает нас в то или другое место, кладет, неизвестно почему, в то или другое положение. — Но заметьте, мадам, мы живем среди загадок и тайн — самые простые вещи, попадающиеся нам по пути, имеют темные стороны, в которые не в состоянии проникнуть самое

острое зрение; даже самые ясные и возвышенные умы среди нас теряются и приходят в тупик почти перед каждой трещиной в произведениях природы; таким образом, здесь, как и в тысяче других случаев, события принимают для нас оборот, который мы хотя и не в состоянии осмыслить, — но из которого всё же извлекаем пользу, с позволения ваших милостей, — и этого с нас довольно.

И вот, с теперешним своим горем отец ни в коем случае не мог бы броситься в постель — или унести его на верхний этаж, как давешнее, — он чинно вышел с ним прогуляться к рыбному пруду.

Даже если бы отец подпер голову рукой и целый час размышлял, какой ему избрать путь, — разум со всеми его мыслительными способностями и тогда не мог бы указать ему лучший выход: в рыбных прудах, сэр, есть нечто — а что именно, предоставляю открыть строителям систем и очистителям прудов сообща, — во всяком случае, когда вы охвачены первым бурным порывом раздражения, есть нечто столь неизъяснимо успокоительное в размеренной и чинной прогулке к одному из таких прудов, что я часто дивился, почему ни Пифагор, ни Платон, ни Солон, ни Ликург, ни Магомет и вообще никто из ваших прославленных законодателей не оставил на этот счет никаких предписаний.

ГЛАВА XVIII

— Ваша милость, — сказал Трим, затворив сначала за собой двери в гостиную, — слышали, я думаю, об этом несчастном случае. — О да, Трим! — сказал дядя Тоби, — и он меня очень огорчает. — Я тоже сильно огорчен, — отвечал Трим, — но я надеюсь, вы мне поверите, ваша милость, что я в этом совсем не виноват. — Ты — Трим? — воскликнул дядя Тоби, ласково смотря ему в лицо, — нет, это наглупила Сузанна с младшим священником. — Что же они могли вместе делать, с позволения вашей милости, в саду? — В коридоре, ты хочешь сказать, — возразил дядя Тоби.

Поняв, что он идет по ложному следу, Трим промолчал и только низко поклонился. — Два несчастья, — сказал себе капрал, — это по меньшей мере вдвое больше, чем следует говорить в один раз; — о беде, которую наделала корова, забравшаяся в наши укрепления, можно будет доложить его милости как-ни-

будь после. — Казуистика и ловкость Трима, прикрытые его низким поклоном, предотвратили всякое подозрение у дяди Тоби, и он следующим образом выразил то, что хотел сказать Триму:

— Что касается меня, Трим, то хотя я не вижу почти никакой разницы, будет ли мой племянник называться Тристрамом или Трисмегистом, — все-таки, поскольку брат мой принимает случившееся так близко к сердцу, Трим, — я бы охотно дал сто фунтов, только бы этого не случилось. — Сто фунтов, ваша милость! — воскликнул Трим, — а я бы не дал и вишневой косточки. — Не дал бы и я, Трим, если бы это дело касалось меня, — сказал дядя Тоби, — но мой брат, с которым тут спорить невозможно, — утверждает, будто от имен, которые даются при крещении, зависит гораздо больше, чем воображают люди невежественные, — от самого сотворения мира, — говорит он, — никогда не было совершено ничего великого или героического человеком, носящим имя Тристрам; он даже утверждает, Трим, что с таким именем нельзя быть ни ученым, ни мудрым, ни храбрым. — Все это выдумки, с позволения вашей милости, — возразил капрал, — когда полк называл меня Тримом, я дрался ничуть не хуже, чем тогда, когда меня называли Джемсом Батлером. — И про себя скажу, — проговорил дядя Тоби, — хоть мне и совестно хвастаться, Трим, — а все-таки, называйся я даже Александром, я бы исполнил под Намюром только свой долг. — Сущая правда, ваша милость! — воскликнул Трим, выступая на три шага вперед, — разве человек думает о своем имени, когда вдет в атаку? — Или когда стоит в траншее, Трим? — воскликнул дядя Тоби с решительным видом. — Или когда бросается в брешь? — сказал Трим, продвигаясь между двух стульев. — Или врывается в неприятельские ряды? — воскликнул дядя, вставая с места и выставляя вперед свой костыль, как пик. — Или перед взводом солдат? — воскликнул Трим, держа наизготовку свою палку, как ружье. — Или когда он взбирается на гласис? — воскликнул дядя Тоби, разгорячившись и ставя ногу на табурет. —

ГЛАВА XIX

Отец вернулся с прогулки к рыбному пруду — и отворил дверь в гостиную в самый разгар атаки, как раз в ту минуту, когда дядя Тоби взбирался на гласис. — Трим опустил свое оружие — никогда еще дядя Тоби не бывал застигнут во время

такого бешеного галопа на своем коньке! Ах, дядя Тоби! не будь всегда готовое красноречие моего отца всецело поглощено более серьезной темой — каким бы ты подвергся издевательствам вместе с несчастным твоим коньком!

Отец повесил шляпу таким же спокойным и ровным движением, как он ее снял; бросив беглый взгляд на беспорядок в комнате, он взял один из стульев, служивших составной частью бреши капрала, поставил его против дяди Тоби, сел и, как только было убрано со стола и двери в гостиную были затворены, разразился следующей жалобой.

Жалоба моего отца

— Бесплезно долее, — сказал отец, обращаясь столько же к проклятию Эрнульфа, лежавшему в углу на полке камина, — сколько и к дяде Тоби, который под камином сидел, — бесплезно долее, — сказал отец стонущим, до жути монотонным голосом, — бесплезно долее бороться, как делал я, с этим безотраднейшим из человеческих убеждений, — я теперь ясно вижу, что, за мои ли грехи, брат Тоби, или же за грехи и безрассудства семейства Шенди, небу угодно было пустить в ход против меня самую тяжелую свою артиллерию и что точкой, на которую направлена вся сила ее огня, является благополучие моего сына. — Такая канонада, брат Шенди, разнесла бы в прах вселенную, — сказал дядя Тоби, — если бы ее открыть. — Несчастный Тристрам! дитя гнева! дитя немощности! помехи! ошибки! и неудовольствия! Есть ли какое-нибудь несчастье или бедствие в книге зародышевых зол, способное расшатать твой скелет или спутать волокна твоего тела, которое не свалилось бы тебе на голову еще прежде, чем ты появился на свет? — А сколько бед по дороге туда! — сколько бед потом! — зачатый на склоне дней твоего отца — когда силы его воображения, а также силы телесные шли на убыль — — — когда первичная теплота и первичная влага, элементы, которым надлежало упорядочить твой телесный состав, остывали и высыхали, так что для закладки основ твоего бытия не оставалось ничего, кроме величин отрицательных, — — — плачевно это, брат Тоби, когда так требовались все виды маленькой помощи, которую могли подать забота и внимание с той и другой стороны! Потерпеть такое поражение! Вы знаете, как было дело, брат Тоби, — слишком грустная это история, чтобы ее повторять сейчас — когда немногочисленные жизненные духи, которыми я еще располагал и с которыми должна была быть переправлена па-

мья, фантазия и живость ума, — были все рассеяны, приведены в замешательство, расстроены, разогнаны и посланы к черту. —

— Тут, казалось бы, пора положить конец этому преследованию несчастного — и хотя бы в виде опыта испробовать — не может ли поправить дело спокойное и ровное расположение духа вашей невестки в течение девятимесячной беременности вместе с должным вниманием, брат Тоби, к опорожнениям и наполнениям и прочим ее *non naturalia*. — Но и этого лишен был мой ребенок! Сколько хлопот и неприятностей причинила она себе, а стало быть, и своему плоду, нелепым желанием рожать непременно в Лондоне! — А мне казалось, что моя невестка с величайшим терпением подчинилась, — возразил дядя Тоби, — — — я не слышал от нее ни одного гневного слова по этому поводу. — Зато все у нее кипело внутри, — воскликнул отец, — а это, позвольте вам сказать, братец, было еще в десять раз хуже для ребенка, — и кроме того, сколько мне пришлось выдержать схваток с ней, сколько было бурь из-за повивальной бабки! — Она таким образом давала выход своим чувствам, — заметил дядя Тоби. — Выход! — воскликнул отец, возведя глаза к небу. — —

— Но что все это, дорогой Тоби, по сравнению с огорчением, которое нам причинило появление ребенка на свет головой вперед, когда я так горячо желал спасти из этого страшного кораблекрушения хотя бы его головную коробку в неповрежденном и сохранном виде. —

— Несмотря на все мои предосторожности, теория моя самым жалким образом была опрокинута вверх дном вместе с ребенком в утробе матери! Голова его попала во власть грубой руки и подверглась давлению четырехсот семидесяти коммерческих фунтов, а когда такая тяжесть действует отвесно на темя — мы только на девяносто процентов можем быть уверены, что нежная мозговая ткань не лопнет и не разорвется в клочки.

— Все-таки мы могли еще выпутаться. — — Дурак, хлыщ, ветрогон — дайте ему только нос — калека, карлик, сопляк, простофиля — (наделяйте его какими угодно недостатками) двери Фортуны перед ним открыты. — О Лицетус! Лицетус! пошли мне небо недоноска в пять с половиной дюймов длины, вроде тебя, — я мог бы бросить вызов судьбе.

— Но даже и в этом случае для нашего ребенка оставался еще один счастливый выход. — О Тристрам! Тристрам! Тристрам!

— Надо будет послать за мистером Йориком, — сказал дядя Тоби.

— Можете посылать за кем угодно, — отвечал отец.

ГЛАВА XX

Каким, однако, аллюром, с какими курбетами и прыжками — два шага туда, два шага сюда — двигался я на протяжении четырех томов подряд, не оглядываясь ни назад, ни даже по сторонам — посмотреть, на кого я наступил! — Не буду ни на кого наступать, — сказал я себе, когда садился верхом, — буду ехать хорошим бойким галопом, но не задену даже самого захудалого осла по дороге. — Так пустился я в путь — по одной тропинке вверх — по другой вниз — минуя одну рогатку — перескакивая через другую — как если б сам сатана гнался за мной по пятам.

Но поезжайте вы этим аллюром даже с самыми лучшими намерениями и решениями — все-таки, миллион против одного, вы кого-нибудь да ушибете, если сами не ушибетесь. — Он свалился — он выбит из седла — он потерял шляпу — он лежит растянувшись — он сломает себе шею — глядите-ка! — да ведь он врзался на полном скаку в трибуны присяжных критиков! — он расшибет себе лоб об один из их столбов — опять он растянулся! — глядите — глядите — вот он теперь несется как угорелый, с копьём наперевес, в густой толпе живописцев, скрипачей, поэтов, биографов, врачей, законоведов, логиков, актеров, богословов, церковников, государственных людей, военных, казуистов, знатоков, прелатов, пап и инженеров. — Не бойтесь, — сказал я, — я не задену даже самого захудалого осла на королевской большой дороге. — Но ваш конь обдаёт грязью; смотрите, как вы разукрасили епископа. — Надеюсь, видит бог, то был только Эрнульф, — сказал я. — Но вы брызнули прямо в лицо господам ле Муану, де Ромињи и де Марсильи, докторам Сорбонны. — То было в прошлом году, — возразил я. — Но вы наступили сию минуту на короля. — Худые, значит, пришли времена для королей, — сказал я, — коли их топчут такие маленькые люди, как я.

— А все-таки вы наступили, — возразил мой обвинитель.

— Я это отрицаю, — сказал я, спасаясь от него, и вот стою перед вами с уздечкой в одной руке и с колпаком в другой, готовый рассказать одну историю. — Какую историю? — Вы ее услышите в следующей главе.

Однажды зимним вечером французский король Франциск I, греясь возле угольков догоравшего камина, беседовал со своим первым министром о различных государственных делах¹. — Не худо было бы, — сказал король, помешивая палочкой тлеющие угольки, — немножко упрочить добрые отношения между нами и Швейцарией. — Не имеет смысла, сир,— возразил министр, — давать деньги этому народу — он способен проглотить всю французскую казну. — Фу! фу! — отвечал король, — — есть и другие способы, господин премьер, подкупать государства, помимо денежных подачек. — — Я хочу оказать Швейцарии честь, пригласив ее в крестные отцы ребенка, которого я ожидаю. — — Поступив таким образом, ваше величество, — сказал министр, — вы наживете себе врагов в лице всех грамматиков Европы: — ведь Швейцария, будучи в качестве республики особой женского пола, ни в коем случае не может быть крестным отцом. — Так пусть тогда будет крестной матерью, — запальчиво возразил Франциск, — извольте послать туда завтра утром гонца с объявлением моих намерений.

— Меня крайне удивляет, — сказал Франциск I (две недели спустя) своему министру, когда тот входил в его кабинет, — что мы до сих пор не получили от Швейцарии никакого ответа. — Сир, — сказал господин премьер, — я как раз являюсь к вам с донесениями по этому делу. — Она, понятно, принимает мое предложение, — сказал король. — Принимает, сир, — отвечал министр, — и высоко ценит честь, оказанную ей вашим величеством, — но только республика, в качестве крестной матери, требует, чтобы ей предоставлено было право выбрать имя для ребенка.

— Само собой разумеется, — сказал король, — она его назовет Франциском, или Генрихом, или Людовиком, или каким-нибудь другим именем, которое нам будет приятно. — Ваше величество ошибается, — отвечал министр, — я сейчас получил бумагу от нашего резидента, в которой он сообщает о принятом республикой решении также и по этому вопросу. — На каком же имени для дофина остановилась республика? — Седрах, Мисах и Авденаго, — отвечал министр. — Клянусь поясом апостола Петра, не желаю иметь никакого дела с швейцарцами, — вос-

¹ См. Menagiana, vol. I. — *Л. Стерн*.

кликнул Франциск I, подтянув штаны и быстро зашагав по комнате.

— Ваше величество, — спокойно сказал министр, — не может взять назад свое предложение.

— Мы им дадим денег, — сказал король.

— Сир, у нас в казне не наберется и шестидесяти тысяч крон, — отвечал министр. — — Я заложу лучший камень моей короны, — сказал Франциск I.

— В этом деле уже заложена ваша честь, — отвечал господин премьер.

— В таком случае, господин премьер, — сказал король, — клянусь — — — мы начнем с ними войну.

ГЛАВА XXII

Как ни страстно желал я и как ни прилежно старался (по мере скудного дарования, отпущенного мне богом, и поскольку позволял мне потребный для этого досуг от других, более прибыльных дел и здоровых развлечений) достигнуть, любезный читатель, того, чтобы тоненькие книжки, которые я даю тебе в руки, заменили множество более объемистых книг, — однако мое обращение с тобой было так своенравно и непринужденно-шутливо, что мне теперь прямо-таки стыдно просить тебя всерьез о снисходительности. — Поверь же мне, молю тебя, что, излагая точку зрения моего отца на христианские имена, — я и в мыслях не имел задеть Франциска I, — а рассказывая историю о носе, — Франциска IX, — точно так же как, рисуя характер дяди Тоби, — характеризовать воинственные наклонности моих соотечественников — ведь одна его рана в паху исключает всякие сравнения в этом роде, — и выводя Трима, я не имел в виду герцога Ормондского, — поверь, что книга моя не направлена ни против предопределения, ни против свободы воли, ни против налогов. — Если она против чего-нибудь направлена, — так, с позволения ваших милостей, только против сплина — и имеет целью, посредством более частых и более судорожных поднятий и понижений диафрагмы, а также посредством сотрясения междуреберных и брюшных мускулов при смехе, погнать желчь и другие горькие соки из желчного пузыря, печени и поджелудочной железы подданных его величества в их двенадцатиперстную кишку.

ГЛАВА XXIII

— Но можно ли уничтожить сделанное, Йорик? — спросил отец. — По-моему, это невозможно. — Я плохой знаток церковного права, — отвечал Йорик, — но так как самым мучительным из всех зол является пребывание в неизвестности, мы, по крайней мере, узнаем, как нам быть в этом деле. — Ненавижу большие обеды, — сказал отец. — Дело не в размерах обеда, — отвечал Йорик, — нам надо, мистер Шенди, разобраться до конца в нашем недоумении, может ли имя быть изменено или не может. — А так как там должны будут встретиться посередине стола бороды стольких епископских делегатов, официалов, адвокатов, поверенных, регистраторов и наиболее видных наших богословов и Дидий так усиленно вас приглашал, — кто в вашем бедственном положении пропустил бы такой исключительный случай? Все, что от нас требуется, — продолжал Йорик, — это посвятить Дидия в подробности нашего дела, чтобы он мог после обеда направить разговор на эту тему. — В таком случае, — воскликнул отец, хлопая в ладоши, — с нами должен будет поехать мой брат Тоби.

— Развесь на ночь у огня, Трим, — сказал дядя Тоби, — мой старый парик с бантом и расшитый позументом полковой мундир.

ГЛАВА XXV

— Несомненно, сэр, — здесь недостает целой главы — из книги вырвано десять страниц — но переплетчик не дурак, не плут и не ветрогон — и книга ни капли не пострадала (от этого изъяна, по крайней мере) — а напротив, стала совершеннее и полнее без пропущенной главы, чем была бы с ней, что я сейчас докажу вашим преподобиям следующим образом. — Пользуясь этим случаем, я даже ставлю сначала вопрос, не окажется ли этот эксперимент столь же удачным и в отношении ряда других глав, — но если мы займемся экспериментированием над главами, с позволения ваших преподобий, конца ему не будет — довольно с нас экспериментов. — Покончим же с этим делом.

Но прежде чем приступить к доказательству, позвольте доложить вам, что вырванная много глава, которую вы все читали бы в настоящее время вместо той, что вы читаете, — содержала описание сборов и поездки моего отца, дяди Тоби, Трима и Обадии с визитом в***.

— Поедем в карете, — сказал отец. — А скажи, пожалуйста, Обадия, мой герб переделан? — Впрочем, рассказ мой сильно выиграет, если я начну его иначе. Когда к гербу рода Шенди присоединен был герб моей матери и наша семейная карета перекрашивалась к свадьбе моего отца, случилось так, что каретный живописец, — потому ли, что он выполнял все свои работы левой рукой, подобно Турпилию Римлянину или Гансу Гольбейну из Базеля, — или же в промахе этом повинна была скорее голова художника, чем его рука, — или, наконец, все, так или иначе связанное с нашим семейством, расположено было уклоняться влево, — словом, к позору нашему, вышло так, что вместо правого пояса, который законно нам полагался с царствования Гарри VIII, — в силу одной из этих роковых случайностей выведен был наискось по полю герба Шенди левый пояс. С трудом верится, чтобы такой умный и рассудительный человек, как мой отец, мог быть настолько обеспокоен подобным пустяком. Когда бы он ни услышал в нашем семействе слово *карета* — все равно чья, — или *кучер*, или *каретная* лошадь, или наем *кареты*, как сейчас же начинал жаловаться на унижительный знак незаконности, выведенный на дверцах его собственной кареты; он не мог войти в карету или выйти из нее, не обернувшись, чтобы взглянуть на герб, и не дав при этом обета, что нынче он последний раз ставит туда ногу, пока не будет убран левый пояс. — Но, подобно дверным петлям, герб принадлежал к тем многочисленным вещам, относительно которых в книге судеб постановлено — чтобы люди вечно на них ворчали (даже в более рассудительных семьях, чем наша) — но никогда их не исправляли.

— Вычищен ли левый пояс, я спрашиваю? — сказал отец. — Вычищено, сэр, — отвечал Обадия, — только сукно на подушках... — Мы поедем верхом, — сказал отец, обращаясь к Йорiku. — За исключением разве политики, духовенство меньше всего на свете смыслит в геральдике, — сказал Йорик. — Какое мне дело до этого, — воскликнул отец, — мне просто будет неприятно явиться перед ними с пятном на моем гербовом щите. — Бог с ним, с левым поясом, — сказал дядя Тоби, надевая парик е бантом. — Вам, конечно, все равно, — ну так и поезжайте делать визиты с тетей Диной и с левым поясом, коли

вам угодно. — Бедный дядя Тоби покраснел. Отец уже досадовал на себя за свою несдержанность. — Нет — милый брат Тоби, — сказал отец совсем другим тоном, — но я боюсь за свою поясницу; от сырого сукна на подушках у меня опять может разыграться ишиас, как в декабре, январе и феврале прошлой зимой, — поэтому садитесь, пожалуйста, на лошадь моей жены, братец, — а вам, Йорик, надо ведь готовить проповедь, и самое лучшее, стало быть, поехать вперед — а я уж сам позабочусь о брате Тоби; мы с ним потихонечку тронемся за вами.

Глава, которую мне пришлось вырвать, содержала далее описание этой кавалькады, возглавляемой капралом Тримом и Обадией, которые медленным шагом, как патруль, ехали бок о бок на двух каретных лошадях, — между тем как дядя Тоби в расшитом позументом полковом мундире и в парике с бантом держался рядом с отцом, погружаясь попеременно в ухабы и в рассуждения о преимуществах учености и военного дела, смотря по тому, кто из них начинал первым.

Но картинное изображение этой поездки, если его критически разобрать, оказывается по стилю и манере настолько выше всего, что мне удалось достигнуть в этой книге, что оно не могло бы в ней остаться, не причинив ущерба всем прочим сценам и не разрушив также необходимого между двумя главами равновесия и соразмерности (в добре ли или во зле), от чего проистекают правильные пропорции и гармония произведения в целом. Сам я, правда, еще новичок в литературном деле и мало в нем понимаю — но, мне кажется, написать книгу, по общему представлению, все равно что напеть вполголоса песню, — вы только не сбивайтесь с тона, мадам, а возьмете ли вы низко или высоко, это не важно. — —

— Этим и объясняется, с позволения ваших преподобий, почему некоторые низменнейшие и пошлейшие сочинения расходятся очень хорошо — (как Йорик сказал однажды вечером дяде Тоби) посредством осады. — Услышав слово *осада*, дядя Тоби насторожился, но не мог взять в толк, зачем она здесь понадобилась.

В следующее воскресенье мне предстоит проповедовать в суде, — сказал Гоменас, — так просмотрите мои заметки. — Вот я и стал напевать заметки доктора Гоменаса, — переливы отличные, — если и дальше в таком же роде, Гоменас, мне нечего вам возразить, — и я продолжал напевать — под впечатлением, что песенка в общем сносная; и до сего часа, с позволения ваших преподобий, я бы никогда не обнаружил, как она вульгарна, как пошла, как безжизненна и бессодержательна, если бы не

раздалась вдруг посреди нее одна мелодия, такая чистая, такая прелестная, такая божественная — она унесла мою душу в иной мир; между тем, если бы я (как жаловался Монтень в схожем положении) — если бы я нашел скат пологим или подъем нетрудным — я бы наверно попался в просак. — Ваши заметки, Гоменас, — сказал бы я, — хорошие заметки; — но то была такая отвесная крутизна — настолько отрезанная от остального произведения — что с первой же взятой нотой я улетел в иной мир, откуда долина, из которой я поднялся, показалась мне такой глубокой, такой унылой и безотрадней, что никогда не найду я в себе мужества снова в нее спуститься.

Карлик, который сам же дает мерку для определения своего роста, — можете быть уверены, является карликом не в одном только отношении. — На этом мы и покончим с вырванными главами.

ГЛАВА XXVI

— Глядите-ка, ведь он изрезал ее на полосы и предлагает их окружающим на раскурку трубок! — Какая мерзость, — отвечал Дидий. — Этого нельзя так оставить, — сказал доктор Кисарций (он был из нидерландских Кисарциев).

— Мне кажется, — сказал Дидий, привстав со стула, чтобы отодвинуть бутылку и высокий графин, стоявшие как раз между ним и Йориком, — мне кажется, вы могли бы воздержаться от этой саркастической выходки и выбрать более подходящее место, мистер Йорик, — или, по крайней мере, более подходящий случай, чтобы выказать свое презрение к тому, чем мы здесь заняты. Если ваша проповедь годится только на раскурку трубок, — тогда, понятно, сэръ, она не годится для произнесения перед таким ученым собранием; если же она была достаточно хороша, чтобы ее произнести перед таким ученым собранием, — тогда, понятно, сэръ, она была слишком хороша, чтобы пойти потом на раскурку трубок господ слушателей.

— Вот я его и поймал, — сказал про себя Дидий, — теперь он непременно будет подцеплен если не одним, то другим рогом моей дилеммы, — пусть выпутывается как знает.

— Я перенес такие невыразимые муки, разрешаясь нынче этой проповедью, — сказал Йорик, — что, право, Дидий, я готов тысячу раз подвергнуться какой угодно пытке — и подвергнуться

ей, если это возможно, также и моего коня, только бы меня больше не заставляли сочинять подобные вещи: я разрешился моей проповедью не так, как надо, — она вышла у меня из головы, а не из сердца — и я с ней так беспощадно разделался именно за те мучения, которых она мне стоила, когда я писал ее и когда ее произносил. — Проповедовать, чтобы показать нашу обширную начитанность или остроту нашего ума — чтобы щегольнуть перед невежественными людьми жалкими крохами грошовой учености и вправленными в нее кое-где словами, которые блестят, но дают мало света, а еще меньше тепла, — какое это бесчестное употребление коротенького получаса, предоставляемого нам раз в неделю! — Это вовсе не проповедь Евангелия — это проповедь нашего маленького я. — Что до меня, — продолжал Йорик, — я предпочел бы ей пять слов, пущенных прямо в сердце. —

При последних словах Йорика дядя Тоби поднялся с намерением что-то сказать о метательных снарядах — — — как вдруг одно только слово, брошенное с противоположной стороны стола, привлекло к себе общее внимание — слово, которого меньше всего можно было ожидать в этом месте, — слово, которое мне стыдно написать — а все-таки придется — и читателю придется его прочитать, — нелегальное слово — неканоническое. — Стройте десять тысяч догадок, перемноженных друг на друга, — напрягайте — изощрайте свое воображение до бесконечности — ничего у вас не выйдет. — Короче говоря, я вам его скажу в следующей главе.

ГЛАВА XXVII

— Чертовщина!
.
. — Ч — а! — воскликнул Футагорий, отчасти про себя — и, однако, достаточно громко, чтобы его можно было услышать, — странно было лишь, что выражение лица и тон человека, его обронившего, передавали, казалось, нечто среднее между изумлением и физическим страданием.

Два-три сотрапезника, обладавшие очень тонким слухом и способные различить экспрессию и соединение двух этих тонов также ясно, как терцию, или квинту, или любой другой

музыкальный аккорд, — были смущены и озадачены больше в с е х . — Приемлемое само по себе — созвучие это было совсем другой тональности, оно совсем не вязалось с предметом разговора, — так что при всей тонкости своего восприятия они ровно ничего не могли понять.

Другие, ничего не смыслившие в музыкальной экспрессии и сосредоточившие всё внимание на прямом смысле произнесенного слова, вообразили, будто Футаторий, человек несколько холерического темперамента, намерен сейчас выхватить дубинку из рук Дидия, чтобы по заслугам отколотить Йорика, — и будто раздраженное восклицание *с — а* служит приступом к речи, которая, если судить по этому началу, не предвещала ничего хорошего; так что доброе сердце дяди Тоби болезненно ждалось в ожидании ударов, которым предстояло посыпаться на Йорика. Но так как Футаторий остановился, не делая попытки и не выражая желаний идти дальше, — третья группа стала склоняться к мнению, что то было не более чем рефлекторное движение, выдох, случайно принявший форму двенадцатипенсового ругательства — но по существу совершенно невинный.

Четвертые, особенно два-три человека, сидевшие близко, сочли, напротив, это ругательство самым настоящим и полноценным, сознательно направленным против Йорика, которого Футаторий, как всем было известно, недолюбливал. — Означенное ругательство, — философствовал мой отец, — в это самое время бурлило и дымилось в верхней части потрохов Футатория и было естественно и сообразно нормальному ходу вещей выпихнуто наружу внезапным потоком крови, хлынувшей в правый желудочек Футаториева сердца по причине крайнего изумления, в которое он повергнут был столь странной теорией проповеди.

Как тонко мы рассуждаем по поводу ошибочно понятых фактов!

Не было ни одной души, строившей все эти разнообразные умозаключения относительно вырвавшегося у Футатория словечка, — которая не принимала бы за истину, исходя из нее как из аксиомы, что внимание Футатория направлено было на предмет спора, завязавшегося между Дидием и Йориком; и в самом деле, увидя, как он посмотрел сначала на одного, а потом на другого, с видом человека, прислушивающегося, что будет дальше, — кто бы не подумал того же? Между тем Футаторий не слышал ни одного слова, ни одного звука из происходившего — все его мысли и внимание поглощены были стран-

ным явлением, разыгравшимся как раз в эту минуту в пределах его штанов, и притом в той их части, которую он больше всего желал бы уберечь от всяких случайностей. Вот почему, хотя он с пристальнейшим вниманием смотрел прямо перед собой и подвинул каждый нерв и каждый мускул на своем лице до высшей точки, доступной этому инструменту, словно готовясь сделать язвительное возражение Йорику, сидевшему прямо против него, — все-таки, повторяю, Йорик не находился ни в одном из участков мозга Футатория, — но истинная причина его восклицания лежала, по крайней мере, ярдом ниже.

Попробую теперь объяснить вам это как можно благопристойнее.

Начну с того, что Гастрифер, спустившийся в кухню незадолго перед обедом посмотреть, как там идут дела, — заметил стоящую на буфете корзину с превосходными каштанами и сейчас же отдал распоряжение отобрать из них сотню-другую, поджарить и подать на стол — а чтобы придать своему распоряжению больше силы, сказал, что Дидий и особенно Футаторий — большие любители каленых каштанов.

Минуты за две до того, как дядя Тоби прервал речь Йорика, — эти каштаны Гастрифера были принесены из кухни — и так как слуга держал на уме главным образом пристрастие к ним Футатория, то он и положил завернутые в чистую камчатную салфетку еще совсем горячие каштаны прямо перед Футаторием.

Должно быть, когда полдюжины рук разом забрались в салфетку, было физически невозможно — чтобы не пришел в движение какой-нибудь каштан, более гладкий и более проворный, чем остальные; — во всяком случае, один из них действительно покатился по столу и, достигнув его края в том месте, где сидел, раздвинув ноги, Футаторий, — упал прямо-хонько в то отверстие на Футаториевых штанах, для которого, к стыду нашего грубоватого языка, нет ни одного целомудренного слова во всем словаре Джонсона, — волей-неволей приходится сказать — что я имею в виду то специальное отверстие, которое во всяком хорошем обществе законы приличия строжайше требуют всегда держать, как храм Януса (по крайней мере, в мирное время), закрытым.

Пренебрежение этим требованием со стороны Футатория (что да послужит, в скобках замечу, всем порядочным людям уроком) отворило двери для вышеописанной случайности. —

Случайностью я ее называю в угоду принятому обороту речи — отнюдь не намереваясь оспаривать мнение Акрита или

Мифогера по этому вопросу; я знаю, что оба они были глубоко и твердо убеждены — и остаются при своем убеждении до сих пор, что во всем этом происшествии не было ничего случайного — но что каштан, взяв именно это, а не иное, направленные как бы по собственному почину — а затем упав со всем своим жаром прямо в то место, а не в какое-нибудь другое, — явился орудием заслуженной кары Футаторию за его грязный и непристойный трактат *De concubinis retinendis*¹, который он опубликовал лет двадцать тому назад — и как раз на этой неделе собирался выпустить в свет вторым изданием.

Не мое дело ввязываться в этот спор — много, без сомнения, можно было бы написать в пользу и той и другой стороны — вся моя обязанность, как историка, заключается в правдивом описании факта и в растолковании читателю, что зияние в штанах Футатория было достаточно просторно для приема каштана — и что каштан так или иначе отвесно упал туда со всем своим жаром, причем ни сам Футаторий, ни его соседи этого не заметили.

В первые двадцать или двадцать пять секунд живительное тепло, источавшееся каштаном, не лишено было приятности — и лишь в слабой степени привлекало внимание Футатория к тому месту, — но жар все возрастал, и когда через несколько секунд он переступил границы умеренного удовольствия, с чрезвычайной быстротой двинувшись в области боли, душа Футатория, со всеми его идеями, мыслями, вниманием, воображением, суждением, решительностью, сообразительностью, рассудительностью, памятью, фантазией, а также десятью батальонами жизненных духов, беспорядочно ринулась по всевозможным узким и извилистым проходам вниз, к месту, находившемуся в опасности, оставив все верхние области этого мужа, вы сами об этом догадываетесь, пустыми, как мой кошелек.

Однако с помощью сведений, которые всем этим посланцам удалось ему доставить, Футаторий не в состоянии был проникнуть в тайну происходившего в нижней области, а также построить сколько-нибудь удовлетворительную догадку, что за дьявольщина с ним приключилась. Так или иначе, не зная истинной причины постигшей его неприятности, он рассудил, что самое благоразумное в его теперешнем положении перенести ее по возможности стоически; с помощью перекошенного лица и искривленных губ ему бы это, наверно, и удалось, оставаясь его воображение все это время безучастным; — но

¹ Об удержании наложниц (*лат.*).

мы не в состоянии управлять игрой воображения в подобных случаях — Футаторию вдруг пришло на ум, что хотя боль ощущалась им как сильный ожог — тем не менее причиной ее мог быть также укус; а если так, то уж не заползла ли к нему ящерица, саламандра или подобная им гадина, которая теперь вонзала в него свои зубы. — Эта жуткая мысль в сочетании с обострившейся в этот миг болью, виновником которой был все тот же каштан, повергла Футаторию в настоящую панику, и, как это случалось с самыми лучшими генералами на свете, он в первую минуту страха и смятения совсем потерял голову, — следствием было то, что он вскочил, не помня себя, и разразился восклицанием удивления, которое вызвало столько толков и напечатано с пропуском нескольких букв: ч — а! — Не будучи строго каноническим, оно было, однако, в его положении вполне простительным — и Футаторий, кстати сказать, был так же не в силах от него удержаться, как он не мог предотвратить вызвавшую его причину.

Хотя рассказ об этом происшествии занял порядочно времени, само оно заняло не больше времени, чем его понадобилось Футаторию на то, чтобы вытащить каштан и с ожесточением швырнуть его об пол, — а Йорику, чтобы встать со стула и подобрать этот каштан.

Любопытно наблюдать власть мелочей над человеческим умом: — до чего важную роль играют они в образовании и развитии наших мнений о людях и о вещах! — Какой-нибудь пустяк, легкий, как воздух, способен поселить в нашей душе убеждение, и так прочно его там утвердить — что даже все Эвклидовы доказательства, пущенные в ход для его опровержения, были бы бессильны его поколебать.

Йорик, повторяю, подобрал каштан, в гнев брошенный Футаторием на пол, — поступок, не стоящий внимания, — мне стыдно его объяснять — он это сделал только потому, что каштан, по его мнению, не стал ни на волос хуже от приключившейся с ним истории, — и считая, что ради хорошего каштана не грех нагнуться. — Однако ничтожный этот поступок совсем иначе преломился в голове Футатория: последний усмотрел в действиях Йорика, вставшего со стула и подобравшего каштан, явное признание, что каштан первоначально принадлежал ему — и что, конечно, только собственник каштана, а не кто-нибудь другой, мог сыграть с ним такую штуку. Сильно укрепило его в этом мнении то, что стол, имевший форму узенького параллелограмма, представлял Йорику, сидевшему как раз против Футатория, прекрасный случай вернуть ему каш-

тан — и что, следовательно, он так и сделал. Подозрительный, чтобы не сказать больше, взгляд, который Футаторий бросил Йорику прямо в лицо, когда у него возникли эти мысли, с полной очевидностью выдавал его мнение — и так как все, естественно, считали Футатория более других сведущим в этом деле, то его мнение сразу сделалось общим мнением; — а одно обстоятельство совсем иного рода, чем те, что были до сих пор представлены, — вскоре исключило на этот счет всякие сомнения.

Когда на подмостках подлунного мира разыгрываются великие или неожиданные события — человеческий ум, от природы расположенный к любознательности, натурально, бросается за кулисы посмотреть, какова причина и первоисточник этих событий. — В настоящем случае искать пришлось недолго.

Все отлично знали, что Йорик никогда не был хорошего мнения о трактате Футатория *De concubinis retinendis*, считая, что эта книжка наделала немало вреда. — Вот почему нетрудно было прийти к выводу, что проделка Йорика заключала некоторый аллегорический смысл — и швырок горячего каштана в*** — *** Футатория был ехидным щелчком по его книге — теории которой, говорили они, обожгли многих порядочных людей в том же самом месте.

Это умозаключение разбудило Сомнолента — вызвало улыбку у Агеласта — и если вы можете припомнить взгляд и выражение лица человека, старающегося разгадать загадку у, — то именно такой вид придало оно Гастриферу — словом, большинство признало проделку Йорика верхом остроумия и лукавства.

Между том домыслы эти, как видел читатель, от начала до конца, были не более основательны, чем фантазии философии. Йорик был, без сомнения, как сказал Шекспир о его предке, — «человек, неистощимый на шутки»; однако эта шутливость умерялась чем-то, что удерживало его как в настоящем, так и во многих других случаях от злобных выходок, за которые он платился совершенно незаслуженным порицанием; — но таково уж было несчастье всей его жизни: расплачиваться за тысячу слов и поступков, на которые (если только мое уважение к нему меня не ослепляет) он по природе своей был неспособен. Все, что я в нем порицаю, — или, вернее, все, что я в нем порицаю и люблю попеременно, так это странность его характера, вследствие которой он никогда не пытался выводить людей из заблуждения, хотя бы это не стоило ему никакого труда. Подвергаясь несправедливым обвинениям подобного рода, он дей-

ствовал точь-в-точь так, как в истории со своей ключей, — он легко мог бы дать ей лестное для себя объяснение, но брезгал прибегать к нему, а кроме того, смотрел на тех, кто выдумывает грязные слухи, кто их распространяет и кто им верит, как на людей, одинаково оскорблявших его, — он считал ниже своего достоинства разубеждать их — предоставляя сделать это за него времени и правде.

Столь героический склад характера часто создавал ему неудобства — в настоящем случае он навлек на себя глубочайшее негодование Футатория, который, когда Йорик доел свой каштан, вторично поднялся со стула предупредить его — правда, с улыбкой сказав только — что постарается не забыть сделанного ему одолжения.

Но прошу вас тщательно различить и разграничить в вашем сознании две вещи:

- Улыбка предназначалась для общества.
- Угроза предназначалась для Йорика.

ГЛАВА XXVIII

— Не можете ли вы мне посоветовать, — сказал Футаторий сидевшему рядом с ним Гастриферу, — не обращаться же мне к хирургу по такому пустому поводу, — не можете ли вы мне посоветовать, Гастрифер, как лучше всего вытянуть жар? — Спросите Евгения, — отвечал Гастрифер. — Это в сильной степени зависит, — сказал Евгений с видом человека, которому ничего не известно о случившемся, — какая часть воспалена. — Если это часть нежная и такая, которую удобно обернуть... — Вот-вот, эта самая, — отвечал Футаторий с выразительным кивком, кладя руку на ту часть тела, о которой шла речь, и приподнимая в то же время правую ногу, чтобы дать ей больше простору и в воздухе. — Если так, — сказал Евгений, — то я бы вам посоветовал, Футаторий, не прибегать ни к каким лекарствам; а пошлите вы к ближайшему типографщику и предоставьте лечение такой простой вещи, как только что вышедшему из-под станка мягкому бумажному листу, — вам надо всего-навсего завернуть в него воспаленную часть. — Сырая бумага, — заметил Йорик (сидевший рядом со своим приятелем Евгением), — я знаю, освежает своей прохладой — все-таки, по моему, она всего только посредник — а помогает, собственно,

масло и копоть, которыми она пропитана. — Правильно, — сказал Евгений, — из всех наружных средств, которые я бы решил рекомендовать, это самое успокоительное и безопасное.

— Если вся суть в масле и в копотях, — сказал Гастрьер, — то я бы густо смазал ими тряпку и, не долго думая, приложил ее куда надо. — Ну и получили бы настоящего черта, — возразил Йорик. — А кроме того, — прибавил Евгений, — это не отвечало бы назначению, коим является крайняя чистота и изящество рецепта, что составляет, по мнению врачей, половину дела: — сами посудите, если шрифт очень мелкий (как полагается), он обладает тем преимуществом, что целебные частицы, приходящие в соприкосновение в этой форме, ложатся тончайшим слоем с математической равномерностью (если исключить красные строки и заглавные буквы), чего невозможно достигнуть самым искусным применением шпателя. — Как все удачно сложилось, — отвечал Футаторий, — ведь в настоящее время печатается второе издание моего трактата *De concubinis retinendis*. — Вы можете взять оттуда любой лист, — сказал Евгений, — все равно как о й. — Лишь бы, — заметил Йорик, — на нем не было грязи.

— Сейчас выходит из-под станка, — продолжал Футаторий, — девятая глава — предпоследняя глава моей книги. — А скажите, пожалуйста, какой у нее заголовок? — спросил Йорик, почтительно поклонившись Футаторию. — Я полагаю, — отвечал Футаторий, — *De re concubinaria*¹.

— Ради бога, остерегайтесь этой главы, — сказал Йорик. — Всячески, — прибавил Евгений.

ГЛАВА XXIX

— Если бы, — сказал Дидий, вставая и кладя себе на грудь правую руку с растопыренными пальцами, — если бы такой промах при наречении имени случился до Реформации — (— Он случился позавчера, — сказал про себя дядя Тоби) — когда крещение совершалось по-латыни — (— Оно было совершено от первого до последнего слова по-английски, — сказал дядя), — можно было бы привлечь для сравнения обширный материал и, основываясь на многочисленных поста-

¹ О сожительстве (*лат.*).

новлениях относительно сходных случаев, объявить это крещение недействительным, с предоставлением права дать ребенку новое имя. — Если б, например, священник, по незнанию латинского языка, вещь довольно обыкновенная, окрестил ребенка Тома о'Смайла *in nomine patriae et filia et spiritum sanctos*¹ — крещение считалось бы недействительным. — Извините, пожалуйста, — возразил Кисарций, — в этом случае, поскольку ошибка была только в окончаниях, крещение имело силу — и чтобы сделать его недействительным, промах священника должен был касаться первых слогов каждого слова — а не последних, как в вашем примере. —

Мой отец, которого приводили в восторг подобного рода тонкости, слушал с напряженным вниманием.

— Допустим, например, — продолжал Кисарций, — что Гастрифер крестит ребенка Джона Стредлинга *in gomine gattris etc. etc.* вместо *in nomine patris etc.* — Имеет ли силу такое крещение? Нет, — говорят наиболее сведущие канонисты, — поскольку корень каждого слова здесь вырван, вследствие чего смысл и значение из них изъяты и заменены совершенно другими; ведь *gomine* не значат *именем*, а *gattris* — *отца*. — Что же они значат? — спросил дядя Тоби. — Ровно ничего, — сказал Йорик. — Ergo, такое крещение недействительно, — сказал Кисарций. — Разумеется, — отвечал Йорик тоном на две трети шутливым и на одну треть серьезным. —

— Но в приведенном случае, — продолжал Кисарций, — где *patriae* поставлено вместо *patris*, *filia* вместо *filii* и так далее — так как это ошибка только в склонении и корни слов остаются нетронутыми, изгибы их ветвей в ту или другую сторону никоим образом не являются помехой крещению, поскольку слова сохраняют тот же смысл, что и раньше. — Но в таком случае, — сказал Дидь, — должно быть доказано намерение священника произносить их грамматически правильно. — Я с вами совершенно согласен, уважаемый брат Дидий, — отвечал Кисарций, — и по поводу именно такого случая мы имеем постановление в декреталиях папы Льва Третьего. — Но ведь ребенок моего брата, — воскликнул дядя Тоби, — не имеет никакого отношения к папе — он законный сын протестанта, окрещенный Тристрамом, вопреки воле и желанию его отца и матери, а также всех его родных. —

— Если вопрос этот, — сказал Кисарций, перебивая дядю Тоби, — должен был решаться волей и желанием только лиц,

¹ Во имя отечества и дочери святых духа (*лат.*).

находящихся в родстве с ребенком мистера Шенди, то миссис Шенди никоим образом не принадлежит к их числу. — Дядя Тоби вынул изо рта трубку, а отец придвинул ближе к столу свой стул, чтобы послушать окончание столь странного выступления.

— Вопрос: «Родственница ли мать своего ребенка», — продолжал Кисарций, — был не только поставлен, капитан Шенди, лучшими нашими законоведами и цивилистами¹, — но, после обстоятельного беспристрастного исследования и сопоставления всевозможных доводов за и против, — он получил отрицательное решение — именно: «Мать не родственница своего ребенка»².

Тут отец быстро зажал рукой рот дяди Тоби с таким видом, будто он хочет сказать ему что-то на ухо, — а на самом деле из страха перед Лиллибуллиро; — очень желая услышать продолжение столь любопытного разговора — он упросил дядю Тоби не чинить ему препятствий. — Дядя Тоби кивнул головой — засунул в рот трубку и удовольствовался мысленным насвистыванием Лиллибуллиро. — Кисарций, Дидий и Триптолем тем временем продолжали рассуждать таким образом.

— Решение это, — сказал Кисарций, — как будто в корне противоречащее ходячим взглядам, все-таки имело за себя веские доводы, а после громкого тяжёбного дела, известного обычно под именем дела герцога Саффолкского, отпали всякие сомнения относительно его правильности. — Оно приводится у Брука, — сказал Триптолем. — И упоминается лордом Куком, — прибавил Дидий. — Вы можете также найти его у Свинберна в книге «О завещаниях», — сказал Кисарций.

— Дело это, мистер Шенди, заключалось в следующем:

— В царствование Эдуарда Шестого Чарльз, герцог Саффолкский, у которого был сын от одного брака и дочь от другого, сделал завещание, по которому отказывал свое имущество сыну, и умер; после его смерти умер также его сын — но без завещания, без жены и без детей — когда его мать и единокровная сестра (от первого брака его отца) были еще в живых. Мать вступила в управление имуществом своего сына, согласно статуту двадцать первого года царствования Генриха Восьмого, коим постановляется, что в случае смерти лица, не сделавшего завещания, управление его имуществом должно быть передано ближайшему родственнику.

¹ Vide Swinburn on Testaments., Part 7. § 8. — *Л. Стерн.*

² Vide Brooke's Abridg. Tit. Administr. N. 47. — *Л. Стерн.*

Когда же это управление было (исподтишка) предоставлено матери, единокровная сестра умершего начала тяжбу в церковном суде, ссылаясь на то, во-первых, что ближайшей родственницей является она сама, а во-вторых, что мать вовсе не родственница покойного; на этом основании она просила суд отменить передачу матери управления его имуществом и, в силу упомянутого статута, предоставить это имущество ей самой, как ближайшей родственнице покойного.

А как дело это было громкое и многое зависело от его исхода — поскольку создавался прецедент, согласно которому, вероятно, решались бы в будущем многие крупные имущественные дела, — то величайшие знатоки законов нашего королевства и гражданского права вообще держали совет касательно того, родственница ли мать своего сына или нет. — По означенному вопросу не только светские юристы — но и знатоки церковного права — *jurisconsulti* — *jurisprudentes* — цивилисты — адвокаты — епископские уполномоченные — судьи кентерберийской и йоркской консистории и палаты по разбору духовных завещаний, во главе с председателем церковного суда при архиепископе Кентерберийском, были все единодушно того мнения, что мать не родственница своего ребенка¹. —

— А что сказала на это герцогиня Саффолкская? — спросил дядя Тоби.

Неожиданный вопрос дяди Тоби привел Кисарция в большее замешательство, чем возражение самого искусного адвоката. — Он запнулся на целую минуту, уставившись на дядю Тоби и ничего ему не отвечая, — этой минутой воспользовался Триптолем, чтобы отстранить его и самому взять слово.

— Основной принцип права, — сказал Триптолем, — состоит в том, что в нем не существует восходящего движения, а только нисходящее, и в настоящем деле для меня нет никакого сомнения, что хотя ребенок, конечно, происходит от крови и семени своих родителей — последние тем не менее не происходят от его крови и семени, поскольку не родители произведены ребенком, а ребенок родителями. — Это выражено так: *Liberi sunt de sanguine patris et matris, sed pater et mater non sunt de sanguine liberorum*².

¹ *Mater non numeratur inter consanguineos. Bald. in ult. C. de Verb. signific. — Л. Стерн. — Мать не относится к числу единокровных (родных) (лат.).*

² Дети происходят от крови отца и матери, но отец и мать происходят не от крови детей (лат.).

— Ваше рассуждение, Триптолем, — воскликнул Дидий, — доказывает слишком много — ибо из цитируемых вами слов следует не только то, что мать не родственница своего ребенка, как это всеми признано, — но что и отец тоже не родственник его. — Мнение это, — сказал Триптолем, — надо признать наиболее правильным, потому что отец, мать и ребенок, хоть это и три лица, составляют, однако, только (*una caro*) одну плоть и, следовательно, не находятся ни в какой степени родства — и в природе нет никакого способа приобрести его. — Вы опять доказываете этим рассуждением слишком много, — воскликнул Дидий, — ибо не природа, а только Моисеев закон запрещает человеку иметь ребенка от своей бабушки — а такой ребенок, если предположить, что это девочка, будет находиться в родстве и с... — Но кто же когда-либо помышлял, — воскликнул Кисарций, — о связи со своей бабушкой? — Тот молодой джентльмен, — отвечал Йорик, — о котором говорит Сельден и который не только помышлял об этом, но и оправдывал перед отцом свое намерение при помощи довода, заимствованного из закона — око за око и зуб за зуб. — Вы лежите, сэр, с моей матерью, — сказал юнец, — почему же я не могу лежать с вашей? — Это *argumentum commune*¹, — добавил Йорик. — Лучшего они не стоят, — сказал Евгений, схватив шляпу.

Собрание разошлось. — —

ГЛАВА XXX

— Скажите, пожалуйста, — спросил дядя Тоби, опираясь на Йорика, который вместе с отцом помогал ему осторожно сойти с лестницы, — не приходите в ужас, мадам: нынешний разговор на лестнице гораздо короче давешнего, — скажите, пожалуйста, Йорик, — спросил дядя Тоби, — как же в конце концов эти ученые мужи решили дело с Тристрамом? — Весьма удовлетворительно, — отвечал Йорик, — оно не касается никого на свете — ведь миссис Шенди, мать ребенка, не находится ни в каком родстве с ним — а если мать, сторона более близкая, не сродни ребенку — то уж мистер Шенди и подавно. — Словом, он такой же чужой человек по отношению к нему, сэр, как и я —

— Это вполне возможно, — сказал отец, покачав головой.

¹ Вульгарный довод (*лат.*).

— Пусть себе ученые говорят что угодно, все-таки, — сказал дядя Тоби, — между герцогиней Саффолкской и ее сыном было некоторое кровное родство.

— Люди неученые, — заметил Йорик, — до сих пор так думают.

ГЛАВА XXXI

Хотя отцу доставили громадное удовольствие тонкие ходы этих ученых рассуждений — все-таки они были не больше, чем бальзам для сломанной кости. — Вернувшись домой, он почувствовал тяжесть постигших его несчастий с удвоенной силой, как это всегда бывает, когда палка, на которую мы опираемся, выскальзывает у нас из рук. — Он стал задумчив — часто прохаживался к рыбному пруду — опустил один из углов своей шляпы — то и дело вздыхал — воздерживался от резких замечаний — а так как вспышки гнева, рождающие такие замечания, весьма способствуют испарине и пищеварению, как говорит нам Гиппократ, — он бы, наверно, занемог от прекращения этих полезных функций, если бы мысли его не были вовремя отвлечены и здоровье спасено новой волной забот, завещанных ему, вместе с наследством в тысячу фунтов, тетей Диной.

Едва успев прочитать письмо, отец взялся за дело по-настоящему и немедленно начал ломать себе голову, придумывая, как бы лучше всего истратить эти деньги с честью для нашего семейства. — Сто пятьдесят диковинных планов по очереди завладевали его мозгами — ему хотелось сделать и то, и то, и это. — Он хотел бы съездить в Рим — он хотел бы начать тяжбу — он хотел бы купить доходные бумаги — он хотел бы купить ферму Джона Гобсона — он хотел бы обновить фасад нашего дома и пристроить, ради симметрии, новый флигель. — По эту сторону стояла прекрасная водяная мельница, и ему хотелось построить ей под пару по ту сторону реки, на видном месте, ветряную мельницу. — Но превыше всего на свете он хотел бы огородить большую Воловью пустошь и немедленно отправить в путешествие моего брата Бобби.

Но так как завещанная сумма была конечной, и, стало быть, на нее нельзя было сделать все это — а с выгодой, по правде говоря, лишь очень немного — то из всех проектов, рождавшихся по этому случаю, наиболее глубокое впечатление на отца произвели, по-видимому, два последние, и он непременно решил бы в пользу их обоих разом, не будь только

что указанного маленького неудобства, которое принуждало его остановить свой выбор на каком-нибудь одном из них.

Это была задача совсем не легкая; в самом деле, хотя отец давно уже высказался про себя в пользу этой необходимой части братнина воспитания и, как человек деловой, твердо решил осуществить ее на первые же деньги, которые поступят от второго выпуска акций Миссисипской компании, в которой он участвовал, — однако Воловья пустошь, принадлежавший к поместью Шенди обширный участок превосходной земли, покрытой дроком, неосушенной и невозделанной, предьявляла к нему требования почти такой же давности: отец уже много лет носился с мыслью извлекать из нее какую-нибудь выгоду.

Но так как до сих пор обстоятельства никогда еще не вынуждали его установить, не откладывая, первенство или справедливость этих требований — то он благоразумно воздерживался от сколько-нибудь тщательного и добросовестного их разбора; вот почему в эту критическую минуту, когда были отвергнуты все прочие планы, — два старых проекта относительно Воловьею пустоши и моего брата снова поселили в душе его разлад, причем силы их были настолько равные, что в уме старика происходила тяжелая борьба — который же из них надо привести в исполнение в первую очередь.

— Смейтесь, если вам угодно, — но дело обстоит так:

В семье нашей издавна существовал обычай, с течением времени сделавшийся почти что законом, предоставлять старшему сыну перед женитьбой право свободного въезда в чужие края, выезда и возвращения, — не только для укрепления своих сил посредством моциона и постоянной перемены воздуха — но и просто для того, чтобы дать юнцу потешиться пером, которое он мог бы воткнуть в свой колпак, побывав за границей, — *tantum valet*, — говорил мой отец, — *quantum sonat*¹.

А так как поблагка эта была резонной и в христианском духе, — то отказать ему в ней без всяких причин и оснований — и, стало быть, дать пищу для толков о нем, как о первом Шенди, не покружившемся по Европе в почтовой карете только потому, что он парень придурковатый, — значило бы поступить с ним в десять раз хуже, чем с турком.

С другой стороны, дело с Воловьею пустошью было ничуть не менее трудным.

Помимо первоначальных затрат на ее покупку, составлявших восемьсот фунтов, — пустошь эта стоила нашему семей-

¹ Стоит столько, сколько шумит (*лат.*).

ству еще восемьсот фунтов, затраченных на ведение тяжбы лет пятнадцать тому назад, — не считая бог знает скольких хлопот и неприятностей.

Вдобавок, хотя она находилась во владении семейства Шенди еще с середины прошлого столетия и лежала вся на виду перед домом, доходя по одну сторону до водяной мельницы, а по другую до проектируемой ветряной мельницы, о которой была речь выше, — и по всем этим причинам, казалось бы, имела больше любой части поместья право на заботу и попечение со стороны нашего семейства, — однако, по какой-то необъяснимой случайности, свойственной людем, — она, подобно земле какой-нибудь проселочной дороги, все время находилась в постыднейшем пренебрежении и, по правде говоря, столько от этого потерпела, что сердце каждого, кто смыслил в ценах на землю, обливалось бы (по словам Обадии) кровью, если бы он только увидел, проезжая мимо, в каком она состоянии.

Однако, поскольку ни покупка этого участка земли — ни тем более выбор места, которое он занимал, не были, строго говоря, делом моего отца, — он никогда не считал своей обязанностью как-нибудь о нем заботиться — до возникновения, пятнадцать лет тому назад, вышеупомянутой проклятой тяжбы (из-за границ) — которая, будучи всецело делом моего отца, естественно вооружила его множеством доводов в пользу Воловьевой пустоши; и вот, сложив все эти доводы вместе, он увидел, что не только собственная выгода, но и честь обязывает его что-то предпринять — и предпринять именно теперь — или никогда.

Я считаю прямо-таки несчастьем то, что соображения в пользу как одной, так и другой затей оказались до такой степени равносильными; хотя отец взвешивал их во всяких чувствах и условиях — провел много мучительных часов в глубочайших и отвлеченнейших размышлениях о том, как лучше всего поступить, — сегодня читал книги по сельскому хозяйству и — а на другой день описания путешествий — отрешался от всех предвзятых мыслей — рассматривал доводы в пользу как одной, так и другой стороны в самом различном свете и положении — беседовал каждый день с дядей Тоби — спорил с Йориком — и обсуждал со всех сторон вопрос о Воловьевой пустоши с Обадией, — тем не менее за все это время ему не пришло на ум в защиту одного из этих предприятий ничего такого, чего нельзя было бы или привести с такой же убедительностью в защиту другого, или, по крайней мере, настолько нейтрализовать каким-нибудь соображением равной силы, чтобы чашки весов удержались на одном уровне.

В самом деле, хотя при правильном уходе и в руках опытных людей Воловья пустошь, несомненно, приняла бы другой вид по сравнению с тем, что у нее был или мог когда-нибудь быть при нынешних условиях, — однако всё это точка в точку было верно и в отношении моего брата Бобби — что бы там ни говорил Обадия. — —

Если подойти к делу с точки зрения материальной выгоды — борьба между Воловьей пустошью и поездкой Бобби, я согласен, на первый взгляд не представлялась столь нерешительной; ибо каждый раз, когда отец брал перо и чернила и принимался подсчитывать несложный расход на расчистку, выжигание и огораживание Воловьей пустоши, и т. д. и т. д. — и верный доход, который она ему принесет взамен, — последний достигал таких фантастических размеров при его системе счета, что Воловья пустошь, можно было поклясться, смела бы все на своем пути. Ведь было очевидно, что он в первый же год соберет сто ластов рапса, по двадцати фунтов л а с т , — да превосходный урожай пшеницы через год — а еще через год, по самым скромным выкладкам, сто — — но гораздо вероятнее сто пятьдесят — если не все двести четвертей гороху и бобов — не считая прямо-таки гор картофеля. — Но тут мысль, что он тем временем растил моего брата, как поросенка, чтобы тот поедал все э т о , — снова все опрокидывала и обыкновенно оставляла старика в таком состоянии нерешительности — что, как он часто жаловался дяде Тоби , — он знал не больше своих пяток, что ему делать.

Лишь тот, кто сам ее испытал, может понять, какая это мука, когда ум человека раздирается двумя проектами равной силы, которые в одно и то же время упрямо тащат его в противоположные стороны; ведь, не говоря уже об опустошении, которое они неизбежно производят в деликатно устроенной нервной системе, переправляющей, как вы знаете, жизненных духов и более тонкие соки из сердца в голову и так далее, — — невозможно выразить, как сильно это беспорядочное трение действует на более грубые и плотные части организма, разрушая жир и повреждая крепость человека при каждом своем движении взад и вперед.

Отец несомненно зачих бы от этой напасти, как он стал чахнуть от несчастья, приключившегося с моим именем, — не приди к нему на выручку, как и в последнем случае, новое несчастье — смерть моего брата Бобби.

Что такое жизнь человека — как не метание из стороны в сторону? — от горя к горю? — — завязывание одного повода к огорчению — и развязывание другого?

С этой минуты меня следует рассматривать как законного наследника рода Шенди — и собственно отсюда начинается история моей Жизни и моих Мнений. Как я ни спешил и как ни торопился, я успел только расчистить почву для возведения постройки — и постройка эта, предвижу я, будет такой, какой никто еще не замышлял и тем более никто не воздвигал со времени Адама. Меньше чем через пять минут брошу я в огонь свое перо, а вслед за пером капельку густых чернил, оставшихся на дне моей чернильницы. — А за это время мне надо еще сделать десяток вещей. — Одну вещь мне надо назвать — об одной вещи потужить — на одну вещь понадеяться — одну вещь пообещать — и одной вещью пригрозить. — Мне надо одну вещь предположить — одну вещь объявить — об одной вещи умолчать — одну вещь выбрать — и об одной вещи спросить. — Главу эту, таким образом, я называю главой о вещах — и следующая за ней глава, то есть первая глава следующего тома, будет, если я доживу, главой об усах — для поддержания некоторой связности в моих произведениях.

Вещь, о которой я тужу, заключается в том, что вещи слишком густой толпой обступили меня, так что я никак не мог приступить к той части моего произведения, на которую все время поглядывал с таким вожделением; я имею в виду кампании, а в особенности любовные похождения дяди Тоби, эпизоды которых настолько своеобразны и такой сервантесовской складки, что если только мне удастся так с ними справиться и произвести на все прочие мозги такое же впечатление, какое эти происшествия возбуждают в моем собственном, — ручаюсь, книга моя совершит свой путь на этом свете куда успешнее, чем совершал до нее свой путь ее хозяин. — О Тристрам! Тристрам! если только это случится — литературная слава, которой ты будешь окружен, вознаградит тебя за все несчастья, выпавшие на твою долю в жизни, — ты будешь ею наслаждаться — когда давно уже будет утрачена вся их горечь и всякая память о них! — —

Не удивительно, что мне так не терпится дойти наконец до этих любовных пождений. — Они самый лакомый кусочек всей моей истории! — и когда я до них доберусь — будьте уверены, добрые люди, — (и начихать мне, если чей-нибудь слабый желудок этим побрезгует) я ни капельки не постесняюсь в выборе моих слов: — вот та вещь, которую я должен

объявить. — Ни за что мне не управиться за пять минут, вот чего я боюсь, — надеюсь же я на то, что ваши милости и преподобия не обидятся, — а если вы обиделись, то имейте в виду, что в будущем году я вам преподнесу, почтеннейшие, такую штуку, за которую можно обидеться, — это манера моей милой Дженни — а кто такая моя Дженни — и с какого конца следует подступать к женщине — это вещь, о которой я намерен умолчать, — о ней вам будет сказано через главу после главы о пуговичных петлях — ни на одну главу раньше.

А теперь, когда вы дошли до конца моих четырех томов, — вещь, о которой я хочу спросить: в каком состоянии у вас голова? У меня она ужасно болит. — О вашем здоровье я не беспокоюсь; я знаю, что оно очень поправилось. — Истинное шендианство, как бы вы ни были предубеждены против него, отворяет сердце и легкие и, подобно всем родственным ему душевным состояниям, облегчает движение крови и других жизненных соков по каналам нашего тела, оно помогает колесу жизни вертеться дольше и радостнее.

Если бы мне предоставили, как Санчо Пансе, выбрать по вкусу королевство, я бы не выбрал острова — или королевства чернокожих, чтобы добывать деньги: — нет, я бы выбрал королевство людей, смеющихся от всего сердца. А так как желчность и более мрачные чувства, расстраивая кровообращение и нарушая движение жизненных соков, действуют, я вижу, столь же вредно на тело государственное, как и на тело человека, — и так как одна только привычка к добродетели способна справиться с этими чувствами и подчинить их разуму, — то я бы попросил у бога — даровать моим подданным, наряду с веселостью, также и мудрость; тогда я был бы счастливейшим монархом, а они счастливейшим народом на свете.

Высказав это благое пожелание, я теперь, с позволения ваших милостей и ваших преподобий, расстанусь с вами ровно на год, когда (если до тех пор меня не угробит этот проклятый кашель) я снова дерну вас за бороды и выложу свету историю, какой вам, верно, и не снилось.

Dixero si quid forte jocosius, hoc mihi juris
Cum venia dabis.

*Horatius*¹

— Si quis calumniatur levius esse quam
deceat theologum, aut mordacius quam
deceat Christianum — non Ego, sed Democritus dixit,
*Erasmus*²

Si quis Clericus, aut Monachus, verba
joculatoria, risum moventia, sciebat, anathema esto³.

ДОСТОЧТИМОМУ
ЛОРДУ ВИКОНТУ ДЖОНУ СПЕНСЕРУ

Милорд.

Покорно прошу позволения поднести вам настоящие два тома: это лучшее, что могли произвести мои дарования при таком плохом здоровье, как у меня. — Если бы Провидение было ко мне щедрее, томы эти составили бы гораздо более приличный подарок вашему сиятельству.

Прошу ваше сиятельство простить мне смелость, которую я беру на себя, присоединяя в этом посвящении к вашему имени имя леди Спенсер; ей подношу я историю Лефевра в шестом томе, руководясь единственно тем, что она, как под-сказывает мне сердце, проникнута духом человечности.

Остаюсь,

Милорд,

Вашего сиятельства

Преданнейшим

И покорнейшим слугой

Лоренс Стерн

¹ Если я скажу невзначай что-нибудь чересчур смехотворное, ты снисходительно предоставишь мне это право. *Гораций*

² Если кто наклеветает, будто я легкомысленнее, чем подобает бого-слову, или язвительнее, чем подобает христианину, пусть знает, что не я это сказал, а *Демокрит. Эразм Роттердамский*

³ Если какому-нибудь священнослужителю или монаху ведомы шу-товские слова, возбуждающие смех, да будет он анафема (проклят).

ГЛАВА I

Кабы не пара ретивых лошадок и не сорванец-почтарь, который ими правил от Стилтона до Стемфорда, мысль эта никогда бы не пришла мне в голову. Он летел, как молния, по косогору в три с половиной мили — мы едва касались земли — неслись с головокружительной быстротой — как вихрь — движение передалось моему мозгу — в нем приняло участие мое сердце. — Клянусь великим богом света, — сказал я, глядя на солнце и протянув к нему руку в переднее окошко кареты, когда давал этот зарок, — сейчас же по приезде домой я запру мой кабинет и брошу ключ от него на глубину в девяносто футов от поверхности земли, в колодец за моим домом.

Лондонская почтовая карета укрепила меня в этом решении: она мерно покачивалась по дороге в гору, еле двигаясь, влекомая наверх восьмеркой грузных животных. — Изо всех сил, — сказала я, качая головой, — но и те, что получше вас, тащат таким же способом — понемногу у каждого! — Чудеса!

Скажите мне, господа ученые, вечно будем мы прибавлять так много к объему — и так мало к содержанию?

Вечно будем мы изготавливать новые книги, как аптекари изготавливают новые микстуры, лишь переливая из одной посуды в другую?

Вечно нам скручивать и раскручивать одну и ту же веревку? вечно двигаться по одной и той же дорожке — вечно одним и тем же шагом?

Обречены мы до скончания века, в праздники и в будни, выставлять остатки учености, как монахи выставляют останки

своих святых, — не творя с их помощью ни единого, даже малюсенького, чуда?

Неужели человек, одаренный способностями, во мгновение ока возносящими его с земли на небо, — это великое, это превосходнейшее и благороднейшее в мире творение — чудо природы, как назвал его Зороастр в своей книге *περὶ φύσεως*¹, *шекина* божественного присутствия, по Златоусту; — *образ божий*, по Моисею, — *луч божества*, по Платону, — *чудо из чудес*, по Аристотелю, — неужели человек создан для того, чтобы действовать, как вор — наподобие каких-нибудь сводников и крючкотворов?

Я гнушаюсь браниться по этому случаю, как Гораций, — но если мое пожелание не является слишком натянутым и не заключает в себе ничего грешного, я от души желаю, чтобы каждый подражатель в Великобритании, Франции и Ирландии покрылся коростой за свои труды — и чтобы в этих странах были хорошие дома коростовых, достаточно просторные, чтобы вместить — ну да и очистить всех их гуртом, косматых и стриженных, мужчин и женщин: это приводит меня к теме об усах — а вследствие какого хода мыслей — завещаю решить это на правах неотчуждаемого наследства Недотрогам и Тартюфам, пусть их потешатся и потрудятся, сколько душе угодно.

Об усах

Жалею, что пообещал; — более необдуманного обещания, кажется, никому еще не приходило в голову. — Глава об усах! — увы, читатели мне ее не простят, — ведь это такой щепетильный народ! — но я не знал, из какого теста они вылеплены, — и никогда не видел помещенного ниже отрывка; иначе, — это так же верно, как то, что носы есть носы, а усы есть усы (можете сколько угодно говорить обратное), — я бы держался подальше от этой опасной главы.

Отрывок

* * * * *
* * * * *

* * * * * — Вы совсем уснули, милостивая государыня, — сказал пожилой господин, взяв руку пожилой дамы и слегка пожал ее в тот момент, когда им произнесено было слово *усы*, — не переменить ли нам тему разговора? — Ни в коем случае, — возразила пожилая дама, — мне нравится ваш рас-

¹ О природе (*греч.*).

сказ об этих вещах. — Тут она накинула на голову тонкий газовый платок, прислонилась к спинке кресла, повернулась лицом к собеседнику и, вытянув немного ноги, проговорила: — Пожалуйста, продолжайте!

Пожилый господин продолжил так: — Усы! — воскликнула королева Наваррская, уронив клубок шерсти, когда ла Фосsez произнесла это слово, — Усы, мадам, — сказала ла Фосsez, припиливая клубок к переднику королевы и делая ей при этом реверанс.

У ла Фосsez от природы голос был тихий и низкий, но это был внятный голос, и каждая буква слова *усы* отчетливо дошла до ушей королевы Наваррской. — Усы! — воскликнула королева, как-то особенно подчеркивая это слово, точно она все *еще* не верила своим ушам. — Усы, — отвечала ла Фосsez, повторив слово в третий раз. — Во всей Наварре, мадам, нет ни одного кавалера его возраста, — продолжала фрейлина, с живостью поддерживая интересы пажа перед королевой, — у которого была бы такая красивая пара... — Чего? — с улыбкой спросила Маргарита. — Усов, — ответила, совсем сконфузившись, ла Фосsez.

Слово *усы* держалось стойко, и его продолжали употреблять в большинстве лучших домов маленького Наваррского королевства, несмотря на нескромный смысл, который придала ему ла Фосsez. Дело в том, что ла Фосsez произнесла это слово не только перед королевой, но и еще в нескольких случаях при дворе таким тоном, который каждый раз заключал в себе нечто таинственное. А так как двор Маргариты (все это знают) представлял в те времена смесь галантности и набожности — усы же применимы были как к первой, так и ко второй, — то слово, естественно, держалось стойко — оно выигрывало ровно столько, сколько теряло; иначе говоря, духовенство было за него — миряне были против него — а что касается женщин, то они разделились.

Стройная фигура и красивая наружность сьера де Круа начали в то время привлекать внимание фрейлин к площадке перед воротами дворца, где сменялся караул. Дама де Боссьер без памяти влюбилась в него, — ла Баттарель точно так же — этому благоприятствовала еще отличная погода, какой давно не помнили в Наварре; ла Гюйоль, ла Маронет, ла Сабатьер тоже влюбались в сьера де Круа; ла Ребур и ла Фосsez добрались до сути дела — де Круа потерпел неудачу при попытке снискать благосклонность ла Ребур, а ла Ребур и ла Фосsez были неразлучны.

Королева Наваррская сидела со своими дамами у расписного свдчатого окна, откуда видны были ворота второго двора, в то время как в них входил де Круа. — Какой красавчик, — сказала дама де Боссьер. — У него приятная наружность, — сказала ла Баттарель. — Он изящно сложен, — сказала ла Гюйоль. — Никогда в жизни не видела я офицера конной гвардии, — сказала ла Маронет, — у которого были бы такие ноги. — Или который так хорошо стоял бы на них, — сказала ла Сабатьер. — Но у него нет усов, — воскликнула ла Фосsez. — Ни волосинки, — сказала ла Ребур.

Королева пошла прямо в свою молельню, всю дорогу по галерее размышляя на эту тему, оборачивая ее и так и этак в своем воображении. — Ave Maria! что хотела сказать ла Фосsez? — спросила она себя, преклоняя колени на подушку.

Ла Гюйоль, ла Баттарель, ла Маронет, ла Сабатьер тотчас же разошлись по своим комнатам. — Усы! — сказали про себя все четверо, запираясь изнутри на задвижку.

Дама де Карнавалет незаметно, под фижмами, перебирала обеими руками четки — от святого Антония до святой Урсулы включительно через пальцы ее не прошел ни один безусый святой: святой Франциск, святой Доминик, святой Бенедикт, святой Василий, святая Бригитта — все были с усами.

У дамы де Боссьер голова пошла кругом, так усердно выжимала она *мораль* из слов ла Фосsez. — Она села верхом на своего иноходца, паж последовал за ней — мимо пронесли святые дары — дама де Боссьер продолжала свой путь.

— Один денье, — кричал монах ордена братьев милосердия, — только один денье в пользу тысячи страждущих пленников, взоры которых обращены к небу и к вам с мольбой о выкупе.

— Дама де Боссьер продолжала свой путь.

— Пожалейте несчастных, — сказал почтенный, набожный седовласый старец, смиренно протягивая иссохшими руками окованную железом кружку, — я прошу для обездоленных, милостивая дама, — для томящихся в тюрьме — для немощных — для стариков — для жертв кораблекрушения, поручительства, пожара. — Призываю бога и всех ангелов его во свидетели, я прошу на одежду для голых — на хлеб для голодных, на убежища для больных и убитых горем.

— Дама де Боссьер продолжала свой путь.

Один разорившийся родственник поклонился ей до земли.

— Дама де Боссьер продолжала свой путь.

С обнаженной головой побежал он рядом с ее иноходцем, умоляя ее, заклиная прежними узами дружбы, свойства, родства и т. д. — Кузина, тетя, сестра, мать, во имя всего доброго, ради себя, ради меня, ради Христа, вспомните обо мне — пожалейте меня!

— Дама де Боссьер продолжала свой путь.

— Подержи мои *усы*, — сказала дама де Боссьер. — Паж подержал ее *коня*. Она соскочила с него на краю площадки.

Есть такие ходы мыслей, которые оставляют штрихи возле наших глаз и бровей, и у нас есть сознание этого где-то в области сердца, которое придает этим штрихам большую отчетливость, — мы их видим, читаем и понимаем без словаря.

— Ха-ха! хи-хи! — вырвалось у ла Гюйоль и ла Сабатьер, когда они всмотрелись в штрихи друг у дружки. — Хо-хо! — откликнулись ла Батгарель и ла Маронет, сделав то же самое. — Цыц! — воскликнула одна. — Тс-тс, — сказала другая. — Ш ш, — произнесла третья. — Фи-фи, — проговорила четвертая. — Гран-мерси! — воскликнула дама де Карнавалет — та, которая наградила усами святую Бригитту.

Ла Фоссез вытащила шпильку из прически и, начертив тупым ее концом небольшой ус на одной стороне верхней губы, положила шпильку в руку ла Ребур. — Ла Ребур показала головой.

Дама де Боссьер трижды кашлянула себе в муфту — ла Гюйоль улыбнулась. — Ф у, — сказала дама де Боссьер. Королева Наваррская прикоснулась к глазам кончиком указательного пальца — как бы желая сказать: — я вас всех понимаю.

Всему двору ясно было, что слово *усы* погублено: ла Фоссез нанесла ему рану, и от хождения по всем закоулкам оно не оправилось. — Правда, оно еще несколько месяцев слабо оборонялось, но по их истечении, когда сьер де Круа нашел, что за недостатком усов ему давно пора покинуть Наварру, — стало вовсе неприличным и (после нескольких безуспешных попыток) совершенно вышло из употребления.

Наилучшее слово на самом лучшем языке самого лучшего общества пострадало бы от таких передраг. — Священник из Эстеллы написал на эту тему целую книгу, показывая опасность побочных мыслей и предостерегая против них наваррцев.

— Разве не известно всему свету, — говорил священник из Эстеллы в заключение своего труда, — что несколько столетий тому назад носы подвергались в большинстве стран Европы той же участи, какая теперь постигла в Наваррском королевстве *усы*? Зло, правда, не получило тогда дальнейшего распро-

странения, — но разве кровати, подушки, ночные колпаки и ночные горшки не стоят с тех пор всегда на краю гибели? Разве штаны, прорехи в юбках, ручки насосов, втулки и краны не подвергаются до сих пор опасности со стороны таких же ассоциаций? — Целомудрие по природе смиреннейшее душевное качество — но снимите с него узду — и оно уподобится льву, беснующемуся и рыкающему.

Цель рассуждений священника из Эстеллы не была понят а . — Пошли по ложному следу . — Свет взнуздal своего осла с хвоста. И когда крайности щепетильности и начатки похоти соберутся на ближайшем заседании провинциального капитула, они, пожалуй, и *это* объявят непристойностью.

ГЛАВА II

Когда пришло письмо с печальным известием о смерти моего брата Бобби, отец занят был вычислением расходов на поездку в почтовой карете от Кале до Парижа и дальше до Лиона.

Злополучное то было путешествие! Доведя его уже почти до самого конца, отец вынужден был проделать шаг за шагом весь путь вторично и начать свои расчеты сызнова по вине Обадии, отворившего двери с целью доложить ему, что в доме вышли дрожжи, — и спросить, не может ли он взять рано утром большую каретную лошадь и поехать за ними . — Сделай одолжение, Обадия, — сказал отец (продолжая свое путешествие), — бери каретную лошадь и поезжай с б о г о м . — Но у нее не хватает одной подковы, бедное животное! — сказал Обадия . — Бедное животное! — отозвался дядя Тоби в той же ноте, как струпа, настроенная в унисон . — Так поезжай на Шотландце , — проговорил с раздражением отец . — Он ни за что на свете не даст себя оседлать, — отвечал Обадия . — Вот чертов конь! Ну, бери Патриота, — воскликнул отец, — и ступай прочь . — Патриот продан, — сказал Обадия . — Вот вам! — воскликнул отец, делая паузу и смотря дяде Тоби в лицо с таким видом, как будто это было для него новостью . — Ваша милость приказали мне продать его еще в апреле, — сказал Обадия . — Так ступай пешком за твои труды, — воскликнул отец . — Еще и лучше: я больше люблю ходить пешком, чем ездить верхом, — сказал Обадия, затворяя за собой двери.

— Вот наказание божие! — воскликнул отец, продолжая свои вычисления. — Вода вышла из берегов, — сказал Обадия, снова отворяя двери.

До этого мгновения отец, разложивший перед собой карту Сансона и почтовый справочник, держал руку на головке циркуля, одна из ножек которого упиралась в город Невер, последнюю оплаченную им станцию, — с намерением продолжать отсюда свое путешествие и свои подсчеты, как только Обадия покинет комнату; но эта вторая атака Обадии, отворившего двери и затопившего всю страну, переполнила чашу. — Отец выронил циркуль, или, вернее, бросил его на стол наполовину произвольным, наполовину гневным движением, после чего ему ничего больше не оставалось, как вернуться в Кале (подобно многим другим) нисколько не умнее, чем он отсюда выехал.

Когда в гостиную принесли письмо с известием о смерти моего брата, отец находился уже в своем повторном путешествии, на расстоянии одного шага циркуля от той же самой станции Н е в е р . — Свашего позволения, мосье С а н с о н , — воскликнул отец, втыкая кончик циркуля через Невер в стол — и делая дяде Тоби знак заглянуть в письмо, — дважды в один вечер быть отброшенным от такого паршивого городишка, как Невер, это слишком много, мосье Сансон, для английского джентльмена и его сына. — Как ты думаешь, Тоби? — спросил игривым тоном отец. — Если это не гарнизонный город, — сказал дядя Т о б и , — в противном случае... — Видно, я останусь дураком, — сказал, улыбаясь про себя, о т е ц , — до самой смерти. — С этими словами он вторично кивнул дяде Тоби — и, все время держа одной рукой циркуль на Невере, а в другой руке почтовый справочник, — наполовину занятый вычислениями, наполовину слушая, — нагнулся над столом, опершись на него обими локтями, между тем как дядя Тоби читал сквозь зубы письмо.

— Он нас покинул, — сказал дядя Т о б и . — Где? — Кто? — воскликнул о т е ц . — Мой племянник, — сказал дядя Т о б и . — Как — без разрешения — без денег — без воспитателя? — воскликнул отец в крайнем изумлении. — Нет: он умер, дорогой брат, — сказал дядя Т о б и . — Не был больным? — продолжал изумляться о т е ц . — Нет, должно быть, он б о л е л , — сказал дядя Тоби тихим голосом, и глубокий вздох вырвался у него из самого сердца, — конечно, болел, бедняжка. Ручаюсь за него — ведь он умер.

Когда Агриппине сообщили о смерти ее сына, она, по словам Тацита, внезапно прервала свою работу, не будучи в состоянии справиться с охватившим ее волнением. Отец только глубже вонзил циркуль в город Невер. — Какая разница! Правда, он занят был вычислениями — Агриппина же, верно, занималась совсем другим делом: иначе кто бы мог претендовать на выводы из исторических событий?

А как поступил отец дальше, это, по-моему, заслуживает особой главы. —

ГЛАВА III

— — — — И главу же это составит, чертовскую главу, — так берегитесь.

Или Платон, или Плутарх, или Сенека, или Ксенофонт, или Эпиктет, или Теофраст, или Лукиан — или, может быть, кто-нибудь из живших позднее — Кардан, или Будей, или Петрарка, или Стелла — а то так, может быть, кто-нибудь из богословов или отцов церкви — святой Августин, или святой Киприан, или Бернард — словом, кто-то из них утверждает, что плач по утраченным друзьям или детям есть неудержимое и естественное душевное движение, — а Сенека (это уж я знаю наверняка) говорит нам где-то, что подобные огорчения лучше всего выливаются именно этим путем. — И мы действительно видим, что Давид оплакивал своего сына Авессалома — Адриан своего Антиноя — Ниоба детей — и что Аполлодор и Критон проливали слезы о Сократе еще до его смерти.

Мой отец справился со своим горем иначе — совсем не так, как большинство людей древнего или нового времени; он его не выплакал, как евреи и римляне, — не заглушил сном, как лопари, — не повесил, как англичане, и не утопил, как немцы, — он его не проклял, не послал к черту, не предал отлучению, не переложил в стихи и не высвистел на мотив Лиллибулливо.

— Тем не менее он от него избавился.

Не разрешите ли вы мне, ваши милости, втиснуть между этих двух страниц одну историйку?

Когда Туллий лишился своей любимой дочери Туллии, он сначала принял это близко к сердцу — стал прислушиваться к голосу природы и соразмерять с ним собственный голос. — О моя Туллия! дочь моя! дитя мое! — и опять, опять, опять: —

О моя Туллия! — моя Туллия! Мне сдается, будто я вижу мою Туллию, слышу мою Туллию, беседую с моей Туллией. — Но как только он начал заглядывать в сокровищницу философии и сообразил, сколько превосходных вещей можно сказать по этому поводу, — ни один смертный не в состоянии представить себе, — говорит великий оратор, — какое счастье, какую радость это мне доставило.

Отец гордился своим красноречием не меньше, чем Марк Туллий Цицерон, и я полагаю, покуда меня не убедят в противном, с таким же правом; красноречие было подлинно его силой, как, впрочем, и его слабостью. — Силой — потому что он был прирожденным оратором, — и слабостью — потому что оно ежечасно оставляло его в дураках. Словом, он не пропускал случая — (разве только находился в полосе неудач) — проявить свои способности или сказать что-нибудь умное, острое и язвительное — это все, что ему надо было. — Удачи, связывавшие язык моего отца, и неудачи, счастливо его развязывавшие, были для него почти равнозначны; неудачи порой даже предпочтительнее. Например, когда удовольствие произнести речь равнялось десяти, а огорчение от неудачи всего только пяти, — отец наживал сто на сто, и следовательно, выпутывался так ловко, словно ничего с ним не приключилось.

Указание это поможет разобраться в повседневных поступках моего отца, которые иначе показались бы крайне непоследовательными; оно объясняет также, почему, когда отцу случалось раздражаться небрежностью и промахами наших слуг или другими маленькими неприятностями, неизбежными в семейной жизни, гнев его или, вернее, продолжительность его гнева постоянно опрокидывали все наши предположения.

У отца была любимая кобылка, которую он распорядился случить с прекрасным арабским жеребцом, рассчитывая таким образом приобрести себе верховую лошадь. Большой оптимист во всех своих проектах, он говорил каждый день об ожидаемом жеребенке с такой несокрушимой уверенностью, как будто тот был уже выращен, обьезжен — и стоял взнузданный и оседланный у его дверей: садись только и поезжай. По небрежности или недосмотру Обадии вышло, однако, так, что надежды моего отца увенчались всего-навсего мулом, да вдобавок еще таким уродом, безобразнее которого нельзя было и представить.

Моя мать и дядя Тоби боялись, что отец сотрет в порошок Обадию — и что конца не будет этому несчастью: — Погля-

ди-ка, мерзавец, — закричал отец, показывая на мула, — что наделал! — Это не я, — отвечал Обадия. — А почему я знаю? — возразил отец.

Торжеством заблестели глаза моего отца при этом ответе — аттическая соль наполнила их влагой — и Обадия больше не услышал от него ни одного бранного слова.

А теперь вернемся к смерти моего брата.

Философия имеет в своем распоряжении красивые фразы для всего на свете. — Для смерти их у нее целое скопище; к несчастью, они все разом устремились отцу в голову, вследствие чего трудно было связать их таким образом, чтобы получилось нечто последовательное. — Отец брал их так, как они приходили.

«Это неминуемая судьба — основной закон Великой хартии — неотвратимое постановление парламента, дорогой брат, — все мы должны умереть.

«Чудом было бы, если бы сын мой мог избежать смерти, — а не то, что он умер.

«Монархи и князья танцуют в том же хороводе, что и мы.

«Смерть есть великий долг и дань природе: гробницы и монументы, назначенные для увековечения нашей памяти, и те ее платят; величественнейшая из пирамид, богатством и наукой воздвигнутая, лишилась своей верхушки и торчит обломанная на горизонте путешественника». (Тут отец почувствовал большое облегчение и продолжал:) «— Царствам и провинциям, городам и местечкам разве тоже не положены свои сроки? и когда устои и силы, первоначально их скреплявшие и объединявшие, претерпели всевозможные эволюции, они приходят в упадок». — Братец Шенди, — сказал дядя Тоби, откладывая свою трубку при слове *эволюции*. — Революции, хотел я сказать, — продолжал отец, — господи боже! я хотел сказать революции, братец Тоби, — эволюции — это бессмыслица. — Нет, не бессмыслица, — возразил дядя Тоби. — Но разве не бессмысленно прерывать нить такой речи и по такому поводу? — воскликнул отец. — Ради бога — дорогой Тоби, — продолжал он, беря его за руку, — ради бога, — ради бога, умоляю тебя, не перебивай меня в эту критическую минуту. — Дядя Тоби засунул трубку в рот.

«— Где теперь Троя и Микены, Фивы и Делос, Персеполь и Агригент? — продолжал отец, поднимая почтовый справочник, который он положил было на стол. — Что случилось, братец Тоби, с Ниневией и Вавилоном, с Кизиком и Митиленой? Красивейшие города, над которыми когда-либо всходило солнце, ныне

больше не существуют; остались только их имена, да и те (ибо многие из них неправильно произносятся) мало-помалу приходят в ветхость, пока наконец не будут забыты и не погрузятся в вечную тьму, которая все окутывает. Самой вселенной, братец Тоби, придет — непременно придет — конец.

«— По возвращении из Азии, когда я плыл от Эгины к Мегаре (Когда это могло быть? — подумал дядя Т о б и), — я начал разглядывать окрестные места. Эгина была за мной, Мегара впереди, Пирей направо, Коринф налево. — Какие цветущие города повержены ныне во прах! Увы! увь! сказал я себе, позволительно ли человеку столько убиваться из-за утраты ребенка, когда такие громады лежат перед ним в плачевных развалинах. — Помни, снова сказал я с е б е, — помни, что ты человек» . —

Дядя Тоби не знал, что последний абзац был извлечением из письма Сервия Сульпиция к Туллию по случаю постигшей последнего утраты. — Добряк был так же мало сведущ в отрывках из древних, как и в их законченных произведениях. — А так как мой отец, занимаясь торговлей с Турцией, три или четыре раза побывал в Леванте и однажды целых полтора года провел на острове Зенте, то дядя Тоби, естественно, предположил, что в одно из этих путешествий он съездил через Архипелаг в Азию и что все описанное им плавание, с Эгиной позади, Мегарой впереди, Пиреем направо и т. д. и т. д., было совершено отцом в действительности и сопровождалось вышеприведенными размышлениями. — Во всяком случае, это было в его духе, и многие предприимчивые критики возвели бы еще два этажа и на худшем фундаменте. — А скажите, пожалуйста, братец, — проговорил дядя Тоби, прикасаясь концом своей трубки к руке моего отца и деликатно перебивая его — но лишь когда тот кончил ф р а з у, — в каком это было году после рождения Христова? — Ни в к а к о м, — отвечал о т е ц. — Это невозможно! — воскликнул дядя Т о б и. — Простачок! — сказал о т е ц, — это было за сорок лет до рождения Христова.

Дядя Тоби мог сделать только два предположения — или что брат его — Вечный жид, или что несчастья повредили его рассудок. — «Да поможет ему и исцелит его господь бог, владыка неба и земли», — сказал дядя Тоби, мысленно молясь за моего отца со слезами на глазах.

Отец приписал эти слезы действию своего красноречия и продолжал с большим воодушевлением:

«Между добром и злом, братец Тоби, не такая уж большая разница, как принято думать» — (этот приступ, кстати сказать,

мало способствовал рассеянию подозрений дяди Т о б и). — «Труд, горе, огорчения, болезни, нужда и несчастья служат приправой ж и з н и ». — «Кушайте на здоровье», — сказал про себя дядя Тоби.

«Сын мой умер! — тем лучше; — стыдно во время такой бури иметь только один якорь».

«Но он ушел от нас навсегда! — Пусть. Он освободился от услуг своего цирюльника прежде, чем успел облысеть, — встал из-за стола прежде, чем объелся, — ушел с пирушки прежде, чем напился пьян».

«Фракийцы плакали, когда родился ребенок», — (— Мы тоже были очень недалеко от этого, — проговорил дядя Тоби) — «они пировали и веселились, когда человек умирал; и были правы. — Смерть отворяет ворота славы и затворяет за собой ворота зависти, — она разбивает оковы заключенных и передает в другие руки работу раба».

«Покажи мне человека, который, зная, что такое жизнь, страшился бы смерти, и я покажу тебе узника, который страшился бы свободы».

Не лучше ли, дорогой брат Тоби (ибо заметь — наши желания лишь наши болезни), — не лучше ли вовсе не чувствовать голода, нежели принимать пищу? — вовсе не чувствовать жажды, нежели обращаться к лекарствам, чтобы от нее вылечиться?

Не лучше ли освободиться от забот и горячки, от любви и уныния и прочих пароксизмов жизни, бросающих то в холод, то в жар, нежели быть вынужденным, подобно обессиленному путнику, который приходит усталый на ночлег, начинать сызнова свое путешествие?

В смерти, брат Тоби, нет ничего страшного, все свои ужасы она заимствует из стонов и судорог — из сморкания носов и утирания слез краями полога в комнате умирающего. — Удалите от нее все это, что она тогда? — Лучше умереть в бою, чем в постели, — сказал дядя Т о б и . — Уберите ее дроги, ее плакатальщиков, ее траур, ее перья, ее гербы и прочие вспомогательные средства — что она тогда? — Лучше в бою! — продолжал отец, улыбаясь, потому что совсем позабыл о моем брате Б о б б и . — В ней нет решительно ничего страшного — ну сам по суди, братец Тоби: когда существуем мы — смерти нет, — а когда есть смерть — нет нас. — Дядя Тоби отложил трубку, чтобы обдумать это положение: красноречие моего отца было слишком стремительно, чтобы останавливаться ради кого бы то ни было, — оно понеслось дальше — и потащило за собой мысли дяди Т о б и . —

— По этой причине, — продолжал отец, — уместно припомнить, как мало изменений вызывало у великих людей приближение смерти. Веспасиан умер с шуткой, сидя на судне — — — Гальба — произнося приговор, Септимий Север — составляя донос, Тиберий — притворяясь, а Цезарь Август — с комплиментом. — Надеюсь, искренним, — проговорил дядя Тоби.

— Он обращен был к жене, — сказал отец.

ГЛАВА IV

— — И в заключение — ибо из всех пикантных анекдотов, предлагаемых нам на эту тему историей, — продолжал отец, — один этот, как позолоченный купол на здании, — венчает все.

— Я разумею анекдот о Корнелии Галле, преторе, — вы, братец Тоби, наверно, его читали. — Нет, должно быть, не читал, — ответил дядя. — Он умер, — сказал отец, — во время * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

— Если со своей женой, — сказал дядя Тоби, — так тут нет ничего худого. — Ну, этого я не знаю, — отвечал отец.

ГЛАВА V

Моя мать тихонечко проходила в темноте по коридору, который вел в гостиную, как раз в то время, когда дядя Тоби произнес слово *жена*. — Оно и так звучит резко и пронзительно, а тут еще Обадия помог ему, оставив дверь немного приотворенной, так что моя мать услышала довольно, чтобы вообразить, будто речь идет о ней; и вот, приложив палец к губам — затаив дыхание и слегка наклонив голову при помощи поворота шеи — (не к двери, а в противоположную сторону, вследствие чего ее ухо приблизилось к щелке) — она стала напряженно прислушиваться: — подслушивающий раб, с богиней Молчания за спиной, не мог бы явиться лучшим сюжетом для геммы.

В этой позе я решил оставить ее на пять минут — пока не доведу до этой самой минуты (как Рапен поступает с церковными делами) событий на кухне.

ГЛАВА VI

Хотя семейство наше было в известном смысле машиной простой, потому что состояло из немногих колес, — все-таки надо сказать, что колеса эти приводились в движение таким множеством разнообразных пружин и действовали одно на другое при помощи такого большого количества странных правил и побуждений, — что машина хотя и была простая, но обладала всеми достоинствами и преимуществами машины сложной, — и в ней было столько же причудливых движений, сколько их когда-либо было видно внутри голландской шелкопрядильной фабрики.

То, о котором я собираюсь говорить, было, пожалуй, совсем не таким странным, как многие другие; оно состояло в том, что какое бы оживление: споры, речи, разговоры, планы или ученые рассуждения — ни поднималось в гостиной, в то же самое время и по тому же поводу обыкновенно происходило другое, параллельное ему, оживление на кухне.

А чтобы это осуществить, каждый раз, когда в гостиную доставлялось письмо или необыкновенное известие — или разговор приостанавливался до ухода слуги — или замечались линии недовольства, проступавшие на лбу отца или матери, — словом, когда предполагалось, что в гостиной обсуждается вещь, которую стоило узнать или подслушать, — принято было не затворять двери наглухо, а оставлять ее немного приотворенной — вот, как сейчас, — что, под прикрытием скрипучих петель (и это, может быть, одна из многих причин, почему они и до сих пор не поправлены), устраивать было нетрудно; при помощи описанной уловки во всех таких случаях оставался обыкновенно проход, не столь, правда, широкий, как Дарданеллы, но все же позволявший заниматься при попутном ветре этой торговлей в достаточных размерах для того, чтобы избавить отца от хлопот по управлению домом. — В настоящее время им пользуется моя мать; а перед ней воспользовался Обадия, после того как положил на стол письмо, извещавшее о смерти моего брата; таким образом, прежде чем отец вполне оправился от изумления и приступил к своей речи, — Трим был уже на ногах, готовый выразить свои чувства по этому предмету.

Любознательный наблюдатель природы, принадлежи ему даже все табуны Иова, — хотя, к слову сказать, у наших любознательных наблюдателей часто гроша за душой нет, — отдал бы половину их за то, чтобы послушать капрала Трима и моего отца, двух столь противоположных по природе и воспитанию

ораторов, в то время, как они произносили речи над одним и тем же гробом.

Отец — человек глубоко начитанный — с хорошей памятью — знавший Катона, и Сенеку, и Эпиктета как свои пять пальцев.

Капрал — которому нечего было припоминать — начитанный только в ведомости личного состава своего полка — и знавший как свои пять пальцев только имена, которые в ней заключались.

Один переходил от периода к периоду посредством метафор и иносказаний, попутно поражая воображение (как то свойственно людям остроумным и с богатой фантазией) занимательностью и приятностью своих картин и образов.

Другой, без всякого остроумия, без антитез, без игры слов, без замысловатых оборотов, оставляя образы по одну сторону, а картины по другую, шел прямехонько, как вела его природа, к сердцу. О Трим, зачем небо не послало тебе лучшего историка? — Зачем не даровало оно твоему историку лучшей пары штанов? — Ах, критики, критики! ужели ничем вас не разжалобить?

ГЛАВА VII

— — — Наш молодой господин умер в Лондоне! — сказал Обадия.

— Зеленый атласный капот моей матери, дважды вычищенный, первым пришел в голову Сузанне при восклицании Обадии. — Локк недаром написал главу о несовершенстве слов. — Значит, — проговорила Сузанна, — всем нам придется надеть траур. — Но обратите внимание еще раз: слово *траур*, несмотря на то что сама же Сузанна его употребила, — тоже не исполнило своей обязанности: оно не пробудило ни единой мысли, окрашенной в серое или в черное, — все было зеленое. — Зеленый атласный капот по-прежнему висел у нее в голове.

— О, это сведет в гроб бедную мою госпожу! — вскричала Сузанна. — Весь гардероб моей матери пришел в движение. Что за процессия! красное камчатное, — темно-оранжевое, белые и желтые люстрины, — тафтяное коричневое, — кружевные чепчики, спальные кофты и удобные нижние юбки. — Ни одна тряпка не осталась на месте. — — — Нет, — она больше никогда уже не оправится, — сказала Сузанна.

У нас была толстая придурковатая судомойка — отец, я думаю, держал ее за слабоумие; — всю осень она боролась с водянкой. — Он умер, — сказал Обадия, — он, без сомнения, умер! — А я нет, — сказала придурковатая судомойка.

— У нас печальные вести, Трим! — воскликнула Сузанна, утирая глаза, когда Трим вошел в кухню, — господин Бобби умер и похоронен, — похороны были интерполяцией Сузанной, — всем нам придется надеть траур, — сказала Сузанна.

— Надеюсь, нет, — сказал Трим. — Вы надеетесь, что нет! — с живостью воскликнула Сузанна. — Траур не вертелся в голове у Трима, как это было с Сузанной. — Надеюсь, — сказал Трим, поясняя свою мысль, — надеюсь, бог даст, вести окажутся неверными. — Я собственными ушами слышал, как читали письмо о, — возразил Обадия, — ох, и потрудимся мы, корчюя Воловью пустошь! — Ах, он умер! — проговорила Сузанна. — — — Так же верно, — сказала судомойка, — как то, что я жива.

— Скорблю о нем от всего сердца и от всей души, — сказал Трим, испуская вздох. — Бедное создание! — бедный мальчик! — бедный джентльмен!

— А еще на Троицу он был жив, — сказал кучер. — На Троицу! увя! — воскликнул Трим, протянув правую руку и мгновенно приняв ту же позу, в какой он читал проповедь. — — — Что такое Троица, Джонатан (это было имя кучера), или Масленица, или другие прошедшие времена и праздники по сравнению с этим! Сейчас мы здесь, — продолжал капрал (стукнув об пол концом своей перпендикулярно поставленной палки, чтобы создать таким образом представление о здоровье и устойчивости) — и вот нас — (он выронил из рук шляпу) не стало! в один миг! — Это вышло у него чрезвычайно трогательно! Сузанна разлилась в три ручья. — Мы не пни и не камни: Джонатан, Обадия, кухарка, все расчувствовались. — Даже придурковатая толстая судомойка, чистившая на коленях рыбный судок, и та оживилась. — Вся кухня столпилась вокруг капрала.

А теперь, так как для меня совершенно ясно, что сохранение нашего государственного и церковного строя — а может быть, и сохранение всего мира — или, что то же, распределение в нем и равновесие собственности и власти — могут в будущем очень много зависеть от правильного понимания этой черты капралова красноречия, — я требую от вас внимания, — ваши милости и ваши преподобия могут потом вознаградить себя за это, проспав на здоровье десять страниц сряду, взятых в любой другой части моего произведения.

Я сказал: «мы не пни и не камни», — и это, конечно, верно. Только мне следовало бы прибавить: и не ангелы, к сожалению и ю, — а люди, облеченные плотью и руководимые нашим воображением; и какое пиршество задают и той и другому семь наших чувств, особенно некоторые из них; я, по крайней мере, к стыду своему, должен в этом признаться. Достаточно сказать, что из всех чувств зрение (ибо я решительно отвергаю осязание, несмотря на то, что большинство наших бородачей, я знаю, стоит за него) быстрее всего сносится с душой, — сильнее всего поражает воображение и оставляет в нем нечто невыразимое, нечто такое, чего словами не передать, — а иногда также и не прогнать.

— Я немного отклонился в сторону, — ничего, это полезно для здоровья, — а теперь давайте вернемся к смертности Триовой шляпы. — «Сейчас мы здесь — и в один миг нас не стало». — В этой фразе не заключалось ничего особенного — это была одна из тех самоочевидных истин, какие мы имеем удовольствие слушать каждый день; и если бы Трим не доверился своей шляпе больше, нежели своей голове, — ничего бы у него не вышло.

— — — «Сейчас мы здесь, — — продолжал капрал, — и вот нас» — (тут он неожиданно выронил из рук шляпу — — помедлил и произнес) — «не стало! в один миг!» Шляпа упала так, словно в тулье у нее помещался тяжелый ком глины. — — Нельзя было лучше выразить чувство смертности, прообразом и предтечей которой была эта шляпа, — рука Трима как будто исчезла из-под нее, — она упала безжизненная, — глаза капрала остановились на ней, как на трупе, — и Сузанна разлилась в три ручья.

А теперь... — Есть тысяча и десять тысяч разных способов (ибо материя и движение бесконечны), какими можно уронить на пол шляпу без всякого результата. — — Если бы Трим ее бросил, или швырнул, или кинул, или пустил кубарем, или метнул, или дал ей выскользнуть или упасть в любом возможном направлении под небом, — или если бы в лучшем направлении, какое можно было ей дать, — он ее выронил, как гусь — как щенок — как осел, — или, роняя ее и даже уже выронив, он смотрел бы дураком — простофилей — остолопом, — все бы сорвалось, шляпа не произвела бы никакого впечатления на сердце.

Вы, управляющие нашим могущественным миром и его могущественными интересами при помощи орудий красноречия, — подогревающие его, охлаждающие, расслабляющие и размягчающие, — а потом снова закаляющие в своих целях.

Вы, поворачивающие и оборачивающие людские страсти при помощи этого могучего ворота — и, по окончании своей работы, ведущие людей, куда вам вздумается. —

— Вы, наконец, гонящие — и отчего ж е н е т , — а также и вы, гонимые, как индюки на рынок, хворостиной с пунцовой тряпкой, — поразмыслите — поразмыслите, молю вас, над Тримовой шляпой.

ГЛАВА VIII

Постойте — мне необходимо свести маленький счет с читателем, прежде чем Трим получит возможность продолжать свою р е ч ь . — Я сделаю это в две минуты.

Среди многих других книжных долгов, которые все будут мною погашены в свое время, — я признаю два — главу о горничных и о пуговичных петлях, — которые в предыдущей части моего произведения я обещал и твердо решил заплатить в нынешнем году; но я слышу от ваших милостей и ваших преподобий, что два эти предмета, особенно в таком соединении, могут оказаться опасными для общественной нравственности, — и потому прошу простить мне главу о горничных и пуговичных петлях — и принять вместо нее предыдущую главу, каковая, с позволения ваших преподобий, — является не чем иным, как главой о горничных, о зеленых платьях и о старых шляпах.

Трим поднял упавшую ш л я п у , — надел ее на голову, — после чего продолжал свою речь о смерти следующим образом:

ГЛАВА IX

— — Нам, Джонатан, не знающим, что такое нужда или забота, — живущим здесь в услужении у двух лучших на свете господ — (за исключением, про себя скажу, его величества короля Вильгельма Третьего, которому я имел честь служить в Ирландии и во Фландрии), — нам, я согласен, время от Троицы до нынешнего дня, когда через три недели Рождество, кажется коротким — его все равно что и нет; — но для тех, Джонатан, кто знает, что такое смерть и сколько она может надеться разорений и опустошений, прежде чем человек успеет оглянуться , — это целая вечность. — Ах, Джонатан, у доброго человека

сердце кровью обливается при мысли, — продолжал капрал (вытянувшись в струнку), — сколько храбрых и статных молодцов полегло за это время! — Поверь мне, Сузи, — прибавил капрал, обращаясь к Сузанне, глаза которой подернулись влагой, — прежде чем опять вернется Троица, — много светлых глазок потускнеет. — Сузанна отнесла эти слова на свой счет, — она заплакала, — но сделала также реверанс. — Все мы, — продолжал Трим, все еще глядя на Сузанну, — все мы как цветы левые, — слеза гордости подкрадывалась между каждыми двумя слезами унижения — ни один язык не мог бы описать иначе состояние Сузанны, — всякая плоть как трава, — она прах — грязь. — Все сейчас же посмотрели на судомойку, — судомойка только что чистила рыбный судок. — Это было невежливо.

— Что такое самое красивое лицо, на которое взирал когда-нибудь человек? — Я могла бы всю жизнь слушать Трима, когда он вот так говорит, — воскликнула Сузанна. — Что оно (Сузанна положила руку на плечо Трима) — как не тление? — Сузанна убрала руку.

— Как я люблю вас за это — и это, свойственное вам, прелестное смещение делает вас милыми созданиями, которыми вы являетесь, — и кто вас за это ненавидит, все, что я могу сказать о таком человеке, — или у него тыква вместо головы — или яблоко вместо сердца, — и когда он подвергнется вскрытию, вы увидите, что это так.

ГЛАВА X

Сузанна ли, слишком поспешно убрав свою руку с плеча капрала (вследствие внезапной перемены своих чувств), — немного прервала нить его размышлений —

Или капрал начал сознавать, что он вошел в роль богослова и заговорил скорее как капеллан, чем так, как подсказывало ему сердце —

Или — — — или — — — ибо во всех таких случаях человек находчивый и смысленный без труда может заполнить пару страниц предположениями — — а какое из них было истинным, пусть определит любознательный физиолог или вообще любознательный человек, — так или иначе, капрал следующим образом продолжал свою речь:

— Про себя скажу, что на открытом воздухе я ставлю смерть ни во что — ни вот в столечко, — прибавил капрал, щелкнув пальцами, — но с таким видом, который он один только

мог придать этому заявлению. — В сражении я ставлю смерть ни во что, только бы она не схватила меня предательски, как беднягу Джо Гиббонса, когда тот чистил свое ружье. — Ну что она? Дернул за спусковой крючок — пырнул штыком на дюйм правее или левее — вот и вся разница. — Окинь взглядом фронт — направо — видишь, Джек свалился — ну что ж — для него это все равно что получить кавалерийский полк. — Нет — это Дик. Тогда Джеку от этого не хуже. — Но тот или другой, — а мы марш вперед, — в пылу преследования даже смертельной раны не чувствуешь, — самое лучшее встретить смерть храбро, — бегущий подвергается в десять раз большей опасности, чем тот, кто идет ей прямо в пасть. — Я сто раз, — прибавил капрал, — смотрел ей в лицо и знаю, что она такое. — Пустяк, Обадия, это сущий пустяк на поле битвы. — Зато дома она, уж, какая страшная, — проговорил Обадия. — Мне она тоже нипочем, — сказал Джонатан, — когда я сижу на козлах. — А по-моему, она натуральнее всего в постели, — возразила Сузанна. — Если бы я мог тогда увернуться от нее, забравшись в самую паршивую телячью кожу, которая когда-либо шла на вещевые мешки, я бы так и сделал, — сказал Трим, — одно слово: натура.

— Натура есть натура, — сказал Джонатан. — Потому-то, — воскликнула Сузанна, — мне так жаль мою госпожу. — Никогда она от этого не оправится. — А я так из всего семейства больше всех жалею капитана, — отвечал Трим. — Госпожа твоя заплачется, и ей станет легче, — а сквайр выговорится, — но мой бедный господин ни слова не скажет, он все затаит в себе. — Я целый месяц буду слышать, как он вздыхает в постели совсем так, как он вздыхал по лейтенанте Лефевре. Прошу прощения у вашей милости, не вздыхайте так жалостно, — говорил я ему, бывало, лежа с ним рядом. — Ничего не могу поделать, Трим, — говорил мой господин, — такое это печальное происшествие — я не в силах изгнать его из сердца. — Ваша милость не боится даже смерти. — Надеюсь, Трим, я ничего не боюсь, — говорил он, — боюсь только делать дурное. — Но что бы ни случилось, — прибавлял он, — я позабочусь о мальчике Лефевра. — И с этими словами его милость обыкновенно засыпал, они были для него как успокоительное лекарство.

— Люблю слушать, как Трим рассказывает про капитана, — сказала Сузанна. — Он добрый господин, — сказал Обадия, — другого такого нет на свете. — Да, и самый храбрый из всех командиров, — сказал капрал, — которые водили когда-либо людей в атаку. — Во всей королевской армии не было лучшего офицера — и лучшего человека на божьем свете; он

пошел бы на жерло пушки, даже если бы видел зажженный фитиль у самого запала, — и все-таки, несмотря на это, сердце у него для других кроткое, как у дитяти. — Он не обидел бы цыпленка. — Я лучше соглашусь возить такого господина за семь фунтов в год, — сказал Джонатан, — чем других за восемь. — Спасибо тебе, Джонатан, за твои двадцать шиллингов, — сказал капрал, пожимая кучеру руку, — это все равно как если бы ты положил их мне в карман. — Я буду служить ему по гроб, так я его люблю. — Он мне друг и брат — и если бы я знал наверно, что мой бедный брат Том помер, — продолжал капрал, доставая платок, — то, будь у меня десять тысяч фунтов, я бы отказал их капитану до последнего шиллинга. — Трим не мог удержаться от слез при этом завещательном доказательстве своей преданности дяде Тоби. — Вся кухня была растрогана. — Расскажите же нам про бедного лейтенанта, — сказала Сузанна. — С превеликим удовольствием, — отвечал капрал.

Сузанна, кухарка, Джонатан, Обадия и капрал Трим сели вокруг огня, и как только судомойка затворила двери в кухне, — капрал начал.

ГЛАВА XI

Да я просто турок: так забыть родную мать, как будто ее у меня вовсе не было и природа вылепила меня собственными силами, положив голым на берегах Нила. — Ваш покорнейший слуга, мадам, — я причинил вам кучу хлопот, — желаю, чтоб они не пропали даром; однако вы оставили у меня трещину на спине, — а вот здесь спереди отвалился большой кусок, — и что прикажете делать с этой ногой? — Ни за что мне не дотачиться на ней до Англии.

Сам я никогда ничему не удивляюсь; и собственное суждение так часто меня обманывало в жизни, что я ему положительно не доверяю, справедливо это или нет, — во всяком случае, я редко горячусь по ничтожным поводам. Тем не менее я почитаю истину столько же, как и любой из вас; и когда она от нас ускользает, я благодарен каждому, кто берет меня за руку и спокойно ведет искать ее, как вещь, которую мы оба потеряли и без которой нам обоим трудно обойтись, — я готов пойти с таким доброжелателем на край света. — Но я ненавижу ученые споры, — и потому (за исключением вопросов религиозных и затрагивающих интересы общества) скорее подпишусь под всем, что не застрянет у меня в горле на первой же фразе,

нежели дам себя вовлечь в один из таких споров. — Дело в том, что я не переношу духоты — и дурных запахов в особенности. — По этим соображениям я с самого начала решил, что если когда-либо по чьей-нибудь вине увеличится рать мучеников — или образуется новая я, — я к этому руки не приложу, ни прямо, ни косвенно.

ГЛАВА XII

Но вернемся к моей матери, мадам.

Мнение дяди Тоби о том, что «в поведении римского претора Корнелия Галла не было ничего худого, если он спал со своей женой», — или, вернее, последнее слово этого мнения — (ибо это было все, что услышала моя мать) задело в ней самую уязвимую сторону женского пола. — Не поймите меня превратно: — я разумею ее любопытство; — она мгновенно вообразила, что разговор идет о ней, а когда мысль эта завладела ее сознанием, вы без труда поймете, что каждое слово отца она относилась или к себе, или к семейным своим заботам.

— — — Скажите, пожалуйста, мадам, на какой улице живет та дама, которая поступила бы иначе?

От необыкновенных обстоятельств смерти Корнелия отец совершил переход к смерти Сократа и излагал дяде Тоби сущность защитительной речи философа перед судьями; — это было неотразимо: — не речь Сократа, — а увлечение ею моего отца. — Он сам написал «Жизнь Сократа»¹ за год до того, как оставил торговлю, и я боюсь, что она-то, главным образом, и повлияла на его решение. Вот почему никто не был лучше моего отца оснащен для того, чтобы понестись с таким подъемом по морям героического красноречия. Ни один период Сократовой апологии не заключался у него словами короче, чем *перерождение* или *уничтожение*, — ни одна мысль в середине его не была ниже, чем *быть — или не быть*, — чем переход в новое и неизведанное состояние — или в долгий, глубокий и мирный сон, без сновидений, без просыпу, — чем: «И мы, и дети наши рождены для того, чтобы умереть, — а не для того, чтобы быть рабами». — Нет — тут я путаю; это взято из речи Елеазара, как

¹ Книгу эту отец ни за что не соглашался издать; рукопись ее хранится в нашем семействе вместе с некоторыми другими его сочинениями; они все, или большая часть их, в свое время будут напечатаны. — *Л. Стерн.*

ее передает Иосиф (De Bell Iudaic¹). Елеазар признается, что кое-что позаимствовал из индийских философов; по всей вероятности, Александр Великий во время своего вторжения в Индию, после покорения Персии, в числе многих украденных вещей — украл также и это изречение; таким образом, оно было привезено, если не им самим (так как все мы знаем, что он умер в Вавилоне), то, во всяком случае, кем-нибудь из его мародеров в Грецию, — из Греции попало в Рим, — из Рима во Францию, — а из Франции в Англию. — Так совершается круговорот вещей.

По суше я не могу себе представить другого пути. —

Водю изречение легко могло спуститься по Гангу в Гангский или Бенгальский залив, а оттуда в Индийский океан; по торговым путям того времени (путь из Индии через мыс Доброй Надежды был тогда неизвестен) оно могло быть потом завезено вместе с другим москательным товаром и пряностями по Красному морю в Джедду, порт Мекки, или же в Тор, или в Суэц, города, расположенные в самой глубине залива, а оттуда караваном в Копт, на расстоянии всего трех дней пути, далее по Нилу прямо в Александрию, где наше изречение выгружено было у самого подножия большой лестницы Александрийской библиотеки, — и из этого склада, я думаю, его и достали. — Господи боже! какую сложную торговлю приходилось вести ученым того времени!

ГЛАВА XIII

— У моего отца была манера, немного напоминавшая Иова (если только такой человек когда-нибудь существовал — если же нет, то и говорить не о чем. —

А впрочем, замечу мимоходом, на том основании, что ваши ученые несколько затрудняются точно установить эпоху, когда жил этот великий муж, — например, до или после патриархов и т. д., — объявить на этом основании, что он не жил вовсе, немного жестоко, — это не то, чего они хотели бы, — но как бы там ни было) — у моего отца, повторяю, была манера, когда события принимали слишком неблагоприятный для него оборот, особенно в первом порыве раздражения, — удивляться, зачем он родился, — желать себе смерти, — подчас даже худшего. —

¹ О войне с Иудеями (лат.).

А когда вызов был слишком дерзким и огорчение наделяло уста его незаурядной силой, — вы едва ли могли бы, сэр, отличить его от самого Сократа. — Каждое его слово дышало тогда чувствами человека, презирающего жизнь и равнодушного ко всякому ее исходу; вот почему, хотя мать моя не была женщиной особенно начитанной, однако содержание речи Сократа, преподносимое отцом дяде Тоби, было для нее вещью вовсе не новой. — Она слушала со спокойным вниманием и продолжала бы так слушать до конца главы, если бы отец не углубился (без всякого разумного повода) в ту часть речи, где великий философ перечисляет своих единомышленников, своих союзников и своих детей, но отказывается строить свою защиту, действуя на чувства судей. — «У меня есть друзья, — у меня есть близкие, — у меня трое заброшенных детей», — говорит Сократ. —

— Стало быть, — воскликнула моя мать, отворяя двери, — у вас одним больше, мистер Шенди, чем я знаю.

— Господи боже! Одним меньше, — сказал отец, вставая и выходя из комнаты.

ГЛАВА XIV

— Это он о детях Сократа, — сказал дядя Тоби. — Который умер сто лет тому назад, — отвечала мать.

Дядя Тоби был не силен в хронологии — поэтому, не желая ступать и шагю дальше по ненадежному грунту, он благоразумно положил свою трубку на стол, встал, дружески взял мою матушку за руку и, не говоря больше ни хорошего, ни худого слова, повел ее за отцом, чтобы тот сам дал необходимые разъяснения.

ГЛАВА XV

Будь этот том фарсом, — предположение, по-моему, совершенно праздное, если только не считать фарсом любую жизнь и любые мнения, то последняя глава, сэр, заканчивала бы первое его действие, и тогда настоящая глава должна была бы начинаться так:

Птр.. р.. инг — твинг — твенг — прут — трут — ну и препоганая скрипка. — Вы не скажете, настроена она или нет? Трут — прут. — Это, должно быть, квинты. — Как скверно натянуты струны — тр. а. е. и. о. у — твенг. — Кобылка высоченная.

а душка совсем низенькая, — иначе — трут... прут — послушайте! ведь совсем не так плохо. — Тили-тили, тили-тили, тили, тили, там. Играть перед хорошими судьями не страшно, — но вот там стоит человек — нет — не тот, что со свертком под мышкой, — а такой важный, в черном. — Нет, нет! не джентльмен при шпаге. — Сэр, я скорее соглашусь сыграть каприччо самой Каллиопе, чем провести смычком по струнам перед этим господином, — и тем не менее ставлю свою кремонскую скрипку против сопелки, — такое неравное музыкальное пари никогда еще не заключалось, — что сейчас я самым безбожным образом сфальшивлю на своей скрипке, а у него даже ни один нерв не шевельнется. — Дали-тили, дели-тили, — дили-тили, — дали-пили, — дули-пили, — прут-прут — криш-креш-краш. — Я вас убил, сэр, а ему, вы видите, хоть бы что, — если бы даже сам Аполлон заиграл на скрипке после меня, он бы не доставил ему большего удовольствия.

Тили-тили, тили-тили, тили-тили — гам — там — трам.

— Ваши милости и ваши преподобия любят музыку — и бог наделил вас всех хорошим слухом — а некоторые из вас и сами восхитительно играют — трут-прут, — прут-прут.

О, есть на свете человек — которого я мог бы слушать с утра до ночи, — который обладает даром дать почувствовать то, что он играет, — который заражает меня своими радостями и надеждами и приводит в движение самые сокровенные пружины моего сердца. — Если вы желаете занять у меня пять гиней, сэр, — то есть на десять гиней больше того, чем я обыкновенно располагаю, — или вы, господа аптекарь и портной, хотите, чтобы я оплатил ваши счета, — воспользуйтесь этим случаем.

ГЛАВА XVI

Первое, что пришло в голову моему отцу, когда волнение в нашем семействе немного улеглось и Сузанна завладела зеленым атласным капотом моей матери, — это спокойно засесть, по примеру Ксенофонта, и написать для меня Тристапедию, или систему воспитания, собрав прежде всего для этой цели собственные разбросанные мысли, взгляды и суждения и связав их вместе так, чтобы из них получился устав для руководства моим детством и отрочеством. Я был последней ставкой моего отца — он потерял моего брата Бобби совсем, — он потерял, по

его собственным выкладкам, полных три четверти меня — иными словами, был несчастлив в первых трех больших ставках на меня — ему не повезло с моим зачатием, с моим носом и с моим именем, — оставалось одно только воспитание, и отец принялся за работу с таким же усердием, с каким дядя Тоби занимался когда-нибудь изучением баллистики. — Различие между ними было то, что дядя Тоби черпал все свои познания в этой науке из Николая Тарталья, — а отец высучивал свои положения, нитка за ниткой, из собственных мозгов — или же проделывал не менее мучительную работу, перематывая все, что выпрядено было до него другими прядильщиками и пряжами.

Года через три или немного больше отец продвинулся почти до середины своего труда. — Как и всех прочих писателей, его постигли многие разочарования. — Он воображал, что ему удастся уложить все, что он собирался сказать, в очень ограниченные размеры, так что когда все произведение будет закончено и сшито, его можно будет свернуть в трубочку и держать в рабочей шкатулке моей матери. — Материал растет у нас под руками. — Остерегайтесь говорить: «Решено — я напишу книжку в двенадцатую долю листа».

Тем не менее отец отдался своей работе с чрезвычайным усердием, подвигаясь шаг за шагом, строчка за строчкой с той осторожностью и осмотрительностью (хотя я и не могу утверждать, чтобы он это делал по тем же благочестивым побуждениям), которыми отличался Джованни делла Каса, архиепископ Беневентский, сочиняя своего «Галатео»: его беневентское преосвященство потратил на него около сорока лет жизни, а когда вещь вышла в свет, то оказалась по размерам и толщине почти вдвое меньше настольного календаря Райдера. — Отчего так вышло у святого человека, если только он не потратил большую часть этого времени на расчесывание своих усов или на игру в *primero*¹ со своим капелланом, — это способно поставить в тупик всякого не посвященного в тайну смертного; — надо поэтому объяснить миру методы работы архиепископа, хотя бы лишь для поощрения тех немногих, кто пишет не столько для того, чтобы быть с *ты м*, — сколько для того, чтобы прославиться.

Будь Джованни делла Каса, архиепископ Беневентский, к памяти которого (несмотря на его «Галатео») я отношусь с величайшим почтением, — будь он, сэр, невзрачным писцом — тупоумным — непонятливым, медленно шевелящим мозгами и так далее, — то хотя бы он промешкал со своим «Галатео» до

¹ Род карточной игры (*исп.*).

Мафусаилова возраста, — феномен этот, по мне, не заслуживал бы даже белого замечания.

Но дело обстояло как раз наоборот: Джованни делла Каса был человек высокоодаренный и с богатой фантазией; и все-таки, несмотря на эти великие природные преимушества, которые должны были подгонять его вместе с «Галатее», он оказался неспособным продвинуться больше, чем на полторы строчки за весь долгий летний день. Эта немощность его пресвященства проистекала от одной не дававшей ему покоя точки зрения, — заключавшейся в том, что всякий раз, когда христианин садится писать книгу (не для собственной забавы, а) с намерением и с целью напечатать ее и выпустить в свет, первые его мысли всегда бывают искушениями лукавого. — Так обстоит дело с рядовыми писателями; когда же, по его словам, писателем делается особа почтенная и занимающая высокое положение в церкви или в государстве, — то стоит ей только взять в руку перо, — как все черти, сколько их ни есть в аду, выскакивают из своих нор, чтобы обольщать ее. — Они тогда работают вовсю, — каждая мысль, от первой и до последней, содержит в себе подвох. — Какой бы она ни казалась невинной и благовидной, — в какой бы форме или в каких бы красках она ни рисовалась воображению, — всегда это удар, направленный на пишущего одним из этих исчадий ада, который необходимо отразить. — Таким образом, жизнь писателя, хотя бы он представлял ее себе совсем иначе, вовсе не идиллия сочинительства, а состояние войны; и свою пригодность к ней он доказывает, точь-в-точь как и всякий боец на земле, не столько остротой своего ума — сколько силой своего сопротивления.

Отец был в восторге от этой теории Джованни делла Каса, архиепископа Беневентского, и (если бы она немного не задевала его верований) он, я думаю, отдал бы десять акров лучшей во всем поместье Шенди земли за то, чтобы быть ее автором. — Насколько отец верил на самом деле в диавола, это выяснится в дальнейших частях моего произведения, когда я заведу речь о религиозных представлениях моего отца; здесь достаточно будет сказать, что, не имея чести быть изобретателем этого учения в буквальном смысле, — он всецело принимал его переносный смысл — и часто говорил, особенно когда перо плохо его слушалось, что под прикрытием образных описаний Джованни делла Каса таится столько же верных мыслей, правды и знания, — сколько их можно найти в каком-либо поэтическом вымысле или загадочном сказании древних. — Предрассудок воспитания, — говорил он, — это диавол, — а множество

предрассудков, которые мы всасываем с молоком матери, — это диавол со всеми его диаволятами. — Они не дают нам покоя, братец Тоби, в наших уединенных ночных занятиях и изысканиях; и если бы глупый писатель безропотно подчинялся всему, что они нам навязывают, — что вышло бы из его книги? Ничего, — прибавил он, бросая в сердцах перо, — ничего, кроме набора нянькиных росказней и вранья старых баб (обоего пола) со всего нашего королевства.

Я не в состоянии лучше объяснить, почему Тристрапедия моего отца подвигалась так медленно; как я уже сказал, он неутомимо работал над ней три с лишним года, и все-таки, по его собственным расчетам, выполнил едва только половину задуманного. Худо было то, что я тем временем находился в полном пренебрежении, предоставленный заботам моей матери; а еще хуже то, что вследствие этой медленности первая часть произведения, на которую отец потратил больше всего труда, оказалась совершенно бесполезной, — каждый день одна или две страницы утрачивали всякое значение. —

— — — Очевидно, для посрамления гордыни человеческой мудрости мир так устроен, что величайшие наши мудрецы остаются в дураках и вечно упускают свои цели, преследуя их с неумеренным жаром.

Короче говоря, отец истратил столько времени на сопротивление — или другими словами — подвигался со своей работой так медленно, а я, напротив, начал жить и расти так быстро, что, не случись одного происшествия, — которое, когда мы до него дойдем, ни на минуту не будет утаено от читателя, если его можно будет рассказать пристойным образом, — я бы, по искреннему моему убеждению, далеко обогнал отца, оставив его за разметкой циферблата солнечных часов, пригодных только для того, чтобы быть зарытыми в землю.

ГЛАВА XVII

— То был совершенный пустяк, — я не потерял и двух капель крови — из-за этого не стоило звать хирурга, хотя бы он жил в соседнем доме, — тысячи идут добровольно на те страдания, которые я претерпел благодаря случайности. — Доктор Сноп наделал шуму в десять раз больше, чем надо было: — иные люди возвышаются с помощью искусства подвешивать тяжелые гири на тонких проволоках, и сегодня (10 августа

1761 года) я плачу свою долю в прославлении этого человека. — Камень — и тот вышел бы из терпения при виде того, что творится на свете. — Горничная не поставила * * * * * под кроватью: — Не можете ли вы изловчиться, сударь, — сказала Сузанна, поднимая одной рукой оконную раму, а другой подсаживая меня на подоконник, — не можете ли вы, миленький, справиться один разок * * * * * * * * *?

Мне было пять лет. — Сузанна не приняла в расчет, что у нас в доме все было плохо подвешено, — трах! рама упала на нас с быстротой молнии. — Мне ничего не оставалось — как бежать к себе в деревню, — сказала она.

Дом дяди Тоби был гораздо более гостеприимным убежищем; Сузанна туда и помчалась.

ГЛАВА XVIII

Когда Сузанна рассказала капралу о несчастье с подъемным окном, описав все обстоятельства, сопровождавшие мое убийство (как она это называла), — кровь отхлынула от щек бедного Трима: — ведь наказание несут все соучастники в убийстве, — совесть говорила ему, что он был виноват не меньше Сузанны, — и если мнение его было правильно, то и дяде Тоби предстояло отвечать за пролитую кровь перед всевышним так же, как и Триму с Сузанной; — словом, ни разум, ни инстинкт, взятые порознь или вместе, не могли бы направить шагов Сузанны в более подходящее убежище. Бесполезно было бы предоставлять здесь свободу воображению читателя: — чтобы построить гипотезу, которая удовлетворительно объясняла бы сошедшее положение, ему пришлось бы отчаянно поломать себе голову, — разве только голова у него такая — какой не было еще ни у одного читателя до него. — С какой же стати будучи подвергнут испытанию или мучить читателя? Ведь это мое дело: я все и объясню.

ГЛАВА XIX

— Как жаль, Трим, — сказал дядя Тоби, опираясь рукой на плечо капрала, когда они вместе осматривали свои укрепления и я, — как жаль, что нам не хватает двух полевых орудий для горловины этого нового редута; — они прикрывали бы те линии

до самого конца, и тогда атака с этой стороны была бы вполне закончена. — Отлей мне парочку, Трим.

— Они будут к услугам вашей милости, — отвечал Трим, — еще до завтрашнего утра.

Для Трима было величайшей радостью, — и его изобретательная голова умела тут найти выход из всякого затруднения, — поставлять дяде Тоби в его кампаниях все, чего бы ни, потребовала дядина фантазия; если бы понадобилось, он готов был переплавить в пушку свою последнюю крону, лишь бы предупредить малейшее желание своего господина. Уж и так, — обрезав концы водосточных труб дяди Тоби — обрубив и обтесав долотом края кровельных желобов с его дома — расплавив его оловянный тазик для бритья — и взобравшись, подобно Людовику XIV, на верхушку церкви, чтобы снять оттуда все лишнее, — капрал поставил на поле в текущую кампанию не менее восьми новых осадных орудий, не считая трех полукулеврин. Своим требованием еще двух орудий для редута дядя Тоби задал снова работу капралу; не придумав ничего лучшего, Трим снял две свинцовые гири с окна детской; а так как блоки подъемной рамы без этих гирь стали совершенно ненужными, он снял и блоки, чтобы сделать из них колеса для пушечного лафета.

Еще раньше он «обчистил» все окна в доме дяди Тоби тем же способом, — хотя не всегда в том же порядке; ибо иной раз требовались блоки, а не свинец, — тогда он начинал с блоков, — а после того как блоки были выдернуты и свинцовые гири оказывались ни к чему, — свинец тоже шел на переплавку.

— Отсюда было бы удобно извлечь отличную мораль, но у меня нет для этого времени — довольно будет сказать: с чего бы ни начиналось разорение, оно всегда было одинаково гибельно для подъемных окон.

ГЛАВА XX

Шаги, предпринятые капралом для пополнения артиллерии, были не настолько неуклюжи, чтобы он не мог сохранить всю эту историю в секрете, предоставив Сузанне выдержать весь натиск, как она знает; — однако истинное мужество не любит выпутываться подобным образом. — Капрал, в качестве ли генерала или в качестве инспектора артиллерии — это не

важно, — сделал вещь, без совершения которой, он думал, несчастье никогда бы не могло случиться, — по крайней мере, при участии Сузаннинных рук. — А вы бы как поступили, милостивые государи? — Капрал сразу же решил не укрываться за Сузанной — напротив, сам ее укрыть — и с этим решением зашагал, подняв голову, в гостиную, чтобы изложить весь маневр дяде Тоби,

Дядя Тоби как раз в то время излагал Йорику ход битвы при Стенкирке и странное поведение графа Сольмса, приказавшего пехоте остановиться, а кавалерии идти туда, где ей невозможно было действовать; это совершенно противоречило распоряжениям короля и привело к потере сражения.

В некоторых семействах создаются положения, до того соответствующие предстоящим событиям, — что лучше не придумала бы самая богатая фантазия драматурга — старого времени, разумеется. —

С помощью указательного пальца, плашмя положенного на столе и удара по нем ребром другой руки под прямым углом Триму удалось так рассказать происшествие, что его могли бы слушать священники и невинные девушки; — когда рассказ был кончен, — произошел следующий диалог:

ГЛАВА XXI

— Я скорее соглашусь умереть под шпирцрутенами, — воскликнул капрал, закончив историю, приключившуюся с Сузанной, — чем допущу, чтобы эта женщина подверглась какой-нибудь обиде, — это моя вина, смею доложить вашей милости, — она не виновата.

— Капрал Трим, — возразил дядя Тоби, надевая шляпу, которая лежала на столе, — если вообще может быть речь о вине там, где служба требует безоговорочного повиновения, то вся вина, конечно, падает на меня, — вы только повиновались полученным приказаниям.

— Если бы граф Сольмс, Трим, поступил таким образом в сражении при Стенкирке, — сказал Йорик, подшучивая над капралом, который во время отступления был опрокинут драгуном, — он бы тебя спас. — Спас! — воскликнул Трим, перебивая Йорика и заканчивая за него фразу на свой лад, — он бы спас пять батальонов, с позволения вашего преподобия, до

последнего человека: батальон Каттса, — продолжал капрал, ударя указательным пальцем правой руки по большому пальцу левой и перебрав таким образом все пять пальцев, — батальон Каттса, — Макая, — Энгеса, — Грейема — и Ливна, все были изрублены на куски; — то же случилось бы и с английской лейб-гвардией, кабы не смелое движение на выручку ей нескольких полков с правого фланга, которые приняли на себя весь огонь неприятеля, прежде чем хотя бы одному взводу удалось разрядить свои ружья, — за это они попадут на небо, — прибавил Трим. — Трим прав, — сказал дядя Тоби, кивнув Йорику, — Трим совершенно прав. — Какой смысл имело, — продолжал капрал, — пускать кавалерию туда, где ей негде было развернуться и где у французов было столько изгородей, зарослей, канав и поваленных здесь и там деревьев для прикрытия (как это они всегда устраивают)? — Граф Сольмс должен был послать нас, — мы бы схватились там насмерть, дуло против дула. — А кавалерии делать там было нечего: — за это, впрочем, ему и оторвало ногу, — продолжал капрал, — в следующую кампанию при Ландене. — Бедняга Трим там и получил свою рану, — сказал дядя Тоби. — И все по вине графа Сольмса, с позволения вашей милости, — кабы мы их отколотили по-свойски под Стенкирком, они бы не полезли драться с нами под Ланденом. — Очень может быть, что и так, Трим, — сказал дядя Тоби, — хотя это такая нация, что если только есть у них малейшее прикрытие, как, скажем, лес, или вы даете им минуту времени, чтобы окопаться, так они уж вас изведут. Нет другого средства, как хладнокровно пойти на них, — принять их огонь и броситься на них кто к а к. — Пиф-паф, — подхватил Трим. — Кавалерия и пехота, — сказал дядя Тоби. — Врассыпную, — сказал Трим. — Направо и налево, — кричал дядя Тоби. — Коли и рубли, — вопил капрал. — Битва кипела, — Йорик для безопасности отодвинул свой стул немного в сторону, и после минутной паузы дядя Тоби, понизив на один тон голос, — возобновил разговор следующим образом:

ГЛАВА XXII

— Король Вильгельм, — сказал дядя Тоби, обращаясь к Йорику, — был в таком страшном гневе на графа Сольмса за неподчинение его приказаниям, что несколько месяцев потом на глаза его к себе не допускал. — Б о ю с ь, — отвечал Йорик, —

что сквайр будет в таком же гневе на капрала, как король на графа. — Но в настоящем случае было бы крайне жестоко, — продолжал он, — если бы капрал Трим, который вел себя диаметрально противоположно графу Сольмсу, вознагражден был такой же немилостью; — хотя на этом свете вещи сплошь и рядом принимают такой оборот. — — — Я скорее соглашусь подвести мину, — вскричал дядя Тоби, срываясь с места, — и взорвать мои укрепления вместе с моим домом, и погибнуть под их развалинами, чем быть свидетелем подобной вещи.

— — — Трим сделал легкий, — но признательный поклон своему хозяину, — — — чем и кончается эта глава.

ГЛАВА XXIII

— Стало быть, Йорик, — отвечал дядя Тоби, — мы вдвоем откроем шествие, — а вы, капрал, следуйте в нескольких шагах за нами. — А Сузанна, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — пойдет в арьергарде. — Построение было превосходное, — и в этом порядке двинулись они медленным шагом, без барабанного боя и развернутых знамен, от дома дяди Тоби к Шенди-Холлу.

— Лучше бы я, — сказал Трим, когда они входили, — вместо оконных гирь обрезал водосточные трубы в церкви, как я однажды собирался. — Вы и без того довольно обрезали трубы, — возразил Йорик.

ГЛАВА XXIV

Хотя я дал уже много зарисовок моего отца, которые верно изображают его в различных видах и положениях, — ни одна из них ни в малой степени не поможет читателю составить представление о том, как бы мой отец думал, говорил или вел себя в неизвестных еще обстоятельствах или случаях жизни. — В нем было бесконечное множество странностей, он способен был подходить к вещам с самой неожиданной стороны, — это опрокидывало, сэр, всякие расчеты. — Дело в том, что пути его пролегли настолько в стороне от проторенных дорог боль-

шинства людей, — что каждый предмет открывал его взорам поверхности и сечения, резко отличавшиеся от планов и профилей, видимых остальными людьми. — Другими словами, перед ним был иной предмет, — и он, конечно, судил о нем иначе.

Это и есть истинная причина, почему моя милая Дженни и я, так же как и все люди кругом нас, вечно ссоримся из-за пустяков. — Она смотрит на свою наружность, — я смотрю на ее внутренние качества. — Можно ли в таком случае достигнуть согласия относительно ее достоинств?

ГЛАВА XXV

Вопрос давно решенный (и я о нем заговорил только для успокоения Конфуция¹, который способен запутаться, рассказывая самую простую историю), что сохраняя он только все время нить своего рассказа, он мог бы двигаться назад или вперед (по своему вкусу), — такие движения не считаются отступлением.

Напомнив об этом, я сам воспользуюсь теперь привилегией двигаться назад.

ГЛАВА XXVI

Пятьдесят тысяч корзин чертей — (я разумею чертей Рабле, а не чертей архиепископа Беневентского), если б им отрубили хвосты по самый крестец, не могли бы так адски завизжать, как завизжал я, — когда со мной случилось это несчастье: визг мгновенно привлек в детскую мою мать (Сузанна едва успела улепетнуть по задней лестнице, как мать уже бежала по передней).

Хотя я был уже достаточно взрослым, чтобы рассказать всю эту историю самостоятельно, — и еще достаточно младенцем, надеюсь, чтобы рассказать ее простосердечно, — тем не менее Сузанна, проходя через кухню, на всякий случай вкратце

¹ Мистер Шенди, надо думать, имеет здесь в виду ***, эсквайра, члена ****, а не китайского законодателя. — *Л. Стерн.*

сообщила про несчастье кухарке — кухарка рассказала о нем с некоторыми комментариями Джонатану, а Джонатан — Обадии; так что когда отец раз шесть позвонил, чтобы узнать, что такое творится наверху, — Обадия был в состоянии представить ему подробный отчет обо всем, что произошло. — Я так и думал, — сказал отец, подобрав полы своего халата, — и сейчас же отправился наверх.

Иные готовы заключить отсюда — (хотя я в этом несколько сомневаюсь) — что отец тогда уже написал ту замечательную главу Тристрапедии, которая, по-моему, является самой оригинальной во всей книге, — а именно главу о подъемных окнах, заканчивающуюся горькой филиппикой против забывчивости горничных. — У меня есть два основания думать иначе.

Во-первых, если бы вещь эта принята была во внимание до того, как она случилась, отец, наверно, заколотил бы подъемное окно раз навсегда; — что, учитывая, с каким трудом сочинял он книги, — стоило бы ему в десять раз меньше хлопот, нежели написать упомянутую главу. Правда, довод этот, я вижу ясно, сохраняет силу и против предположения, что он написал эту главу уже после того, как эта вещь случилась; но тут меня выручает второе основание, которое я имею честь представить читателям в подкрепление мнения, что в предположенное время отец не написал главы о подъемных окнах и ночных горшках, — и заключается оно в том,

что, для придания полноты Тристрапедии, — я написал эту главу сам.

ГЛАВА XXVII

Отец надел очки, — посмотрел, — снял очки, — положил их в футляр, — все это менее чем в одну астрономическую минуту, — и, не раскрыв даже рта, повернулся и поспешно спустился вниз. Моя мать вообразила, что он пошел за корпией и вытяжной мазью; но, увидя, как он возвращается с двумя фолиантами под мышкой и за ним следует Обадия с большим пюпитром, она решила, что отец принес травник, и пододвинула стул к кровати, чтобы он мог удобнее выбрать нужное средство.

— Если только операция сделана правильно, — сказал отец, открывая раздел — *De sede vel subjecto circumcisionis*¹ — — —

¹ О месте или предмете обрезания (*лат.*).

ибо он принес Спенсера De legibus Hebraeorum ritualibus¹ — и Маймонида, чтобы осмотреть и обследовать нас всех. —

— Если только операция сделана правильно, — проговорил он. — Вы только скажите нам, — воскликнула мать, перебивая его, — какие травы! — Заэтим, — отвечал отец, — вам надо обратиться к доктору Слопу.

* * * * *
Мать бросилась вниз, а отец продолжал читать раздел так:

* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * * — Превосходно, — сказал отец, —

* * * * * — ну что ж, если это имеет свое удобство... — и не затрудняя себя ни на минуту решением вопроса, евреи ли переняли его от египтян или египтяне от евреев, — он встал, потер два или три раза ладонью по лбу, как мы это делаем, чтобы стереть следы озабоченности, когда нагрянувшая беда оказалась легче, чем мы опасались, — закрыл книгу и спустился вниз. — Ну что ж, — сказал он, называя на каждой ступеньке, когда ставил на нее ногу, одно за другим имена великих народов, — если египтяне, — сирийцы, — финикияне, — арабы, — каппадокийцы, если его совершали обитатели Колхиды и троглодиты, если ему подверглись Солон и Пифагор, — то почему же не Тристрам? — С какой стати буду я волноваться по этому поводу?

ГЛАВА XXVIII

— Дорогой Йорик, — сказал с улыбкой отец (ибо Йорик нарушил построение, опередив дядю Тоби в узких дверях и первым войдя в гостиную), — нашему Тристраму, я вижу, очень трудно дается исполнение религиозных обрядов. — Никогда еще, кажется, сыновья евреев, христиан, турок или других неверных не были в них посвящены так неуклюже и неряшливо. — Но ему от этого не хуже, надеюсь, — сказал Йорик. — Уж не иначе, — продолжал отец, — как черт со всей адской братией резвились в какой-нибудь части эклиптики, когда образован был этот мой отпрыск. — В этом деле вы лучший судья,

¹ Об обрядовых законах евреев (лат.).

чем я, — отвечал Йорик. — Лучше всего, — сказал отец, — об этом знают астрологи; — аспекты в 120 градусов и в 60 градусов сошлись вкось — или противостоящие им части эклиптики не совпали, как бы надо было, — или же владыки (как их называют астрологи) играли в прятки, — словом, вверху или внизу у нас творилось что-то неладное.

— Очень возможно, — отвечал Йорик. — Но ребенку-то от этого не хуже? — воскликнул дядя Тоби. — Троглодиты говорят, что не хуже, — отвечал отец. — А ваши богословы, Йорик, что говорят нам... — По-богословски? — переспросил Йорик, — или в качестве аптекарей? ¹ — государственных людей? ² — или прачек? ³

— Не могу вам сказать с уверенностью, — отвечал отец, — но они говорят нам, братец Тоби, что это ему на пользу. — При условии, — сказал Йорик, — если вы его пошлете путешествовать в Египет. — Благо этим он насладится, — ответило отец, — когда увидит пирамиды.

— Право, каждое ваше слово, — проговорил дядя Тоби, — для меня звучит по-китайски. — Желаю, чтоб так оно было для половины человечества, — сказал Йорик.

— Ил ⁴, — продолжал отец, — обрезал однажды утром всю свою армию. — По решению полевого суда? — вскричал дядя Тоби. — Хотя ученые, — продолжал отец, — оставив без внимания вопрос дяди Тоби и обращаясь к Йорик, — сильно расходятся по вопросу, кто такой был Ил; — одни говорят, что Сатурн, — другие, что высшее существо, — а третьи, что всего только бригадный генерал под начальством фараона Нехаю.

— Кто бы он ни был, — сказал дядя Тоби, — не знаю, каким воинским уставом он мог бы это оправдать.

— Диспутанты, — отвечал отец, — приводят в пользу этого двадцать два различных основания; — правда, другие, притупившие свои перья защитой противоположного мнения, показали несостоятельность большинства из них. — Но опять-таки лучшие наши богословы-полемисты — Как бы я желал, — ска-

¹ Χαλεπῆς νόσου, καὶ δυσίατου ἀπαλλαγὴ ἢ ἐνθρακα καλοῦσιν — Избавление от тяжелой и трудно излечимой болезни, именуемой «уголь» (греч.). Филон.

² Τὰ τεμνόμενα τῶν ἐθνῶν πολυγωνώτατα καὶ πολυανθρωπώτατα εἶναι. — Обрезанные — плодovитейшие и многочисленнейшие из народов (греч.).

³ Καθαριστοῦ εἶνεκεν — ради опрятности (греч.). Бошар.

⁴ Ὁ Ἴλος τὰ αἰδοῖα περιτέμνεται, ταῦτό ποιεῖσαι καὶ τοὺς ἀμ' αὐτῷ συμμάχους καταναγκάζει. — Ил обрезает срамные органы, принудив своих соратников сделать то же (греч.). Санхуниатон. Л. Стерн.

зал Йорик, — чтобы в нашем королевстве не было ни одного богослова-полемиста; — одна унция практического богословия стоит целого корабельного груза пестрых товаров, вывезенных к нам их преподобиями за последние пятьдесят лет. — Будьте так добры, мистер Йорик, — проговорил дядя Тоби, — скажите мне, что такое богослов-полемист. — Лучшее, что я когда-либо читал, капитан Шенди, — отвечал Йорик, — это описание двух таких богословов в рассказе о единоборстве между Гимнастом и капитаном Трипе; оно у меня в кармане. — Я бы с удовольствием послушал, — просительно проговорил дядя Тоби. — Извольте, — сказал Йорик. — Однако там, за дверью, меня поджидает капрал, — и я знаю, что описание боя доставит бедняге больше удовольствия, чем ужин, — так, пожалуйста, братец, позвольте ему войти. — От всего сердца, — сказал отец. — Трим вошел, вытянутый в струнку и счастливый, как император; когда он затворил дверь, Йорик вынул книгу из правого кармана своего кафтана и стал читать, или сделал вид, что читает, следующее:

ГЛАВА XXIX

— «Услышав эти слова, многие из бывших там солдат ужаснулись и отступили назад, оставив место для нападающей стороны; все это Гимнаст хорошенько приметил и намотал себе на ус. И вот, сделав вид, будто он слезает с коня, он свесился на левый его бок, ловко переменил ногу в стремях (с помощью своей короткой шпаги), нырнул вниз, взметнулся в воздух и стал обеими ногами на седло, повернувшись задом к голове лошади. — Дела мои (сказал он) идут шиворот-навыворот. — Затем, не двигаясь с места, он подскочил на одной ноге и, сделав полный оборот влево, оказался в прежнем положении, точка в точку. — Гм, — сказал Трипе, — я этого делать сейчас не стану, — у меня есть на то причины. — Скверно, — сказал Гимнаст, — я сплоховал, — сейчас повторю этот прыжок по-другому. — Сказав это, он с изумительной силой и ловкостью сделал прыжок, как прежде, но только с поворотом направо. Потом он оперся большим пальцем правой руки о луку седла и всем корпусом поднялся на воздух, поддерживая тело мускулами и сухожилиями большого пальца; в таком положении он стал вращаться, описав три полных круга. На четвертый раз он опрокинулся всем корпусом и перекувырнулся, ни до чего не

касясь, затем выпрямился между ушей лошади, поддерживая тело на воздухе большим пальцем руки, сделал в таком положении пируэт и, хлопнув правой ладонью посередине седла, перекинулся на круп коня и сел на него...»

(— Это нельзя назвать б о е м , — сказал дядя Т о б и . — Капрал отрицательно покачал головой. — Имейте терпение, — сказал Йорик.)

«Тут (Трипе) занес правую ногу поверх седла, оставаясь все же еп соуре¹. — Однако, — сказал о н , — лучше мне сесть в седло, — и с этими словами, упершись в круп лошади большими пальцами обеих рук, мигом перекувырнулся в воздухе и очутился в нормальном положении между луками седла; затем сделал прыжок в воздух и стал на седле, сдвинув ноги; в этой позе он завертелся мельницей и проделал еще более сотни трюков». — Помилуй боже! — воскликнул Трим, потерявший всякое терпение, — меткий удар штыком лучше всех этих фокусов. — Я тоже так думаю, — отвечал Йорик. —

— А я другого мнения, — проговорил отец.

ГЛАВА XXX

— Нет, я думаю, что не сказал ничего такого, — возразил отец в ответ на вопрос, который позволил себе задать Йорик, — не сказал в Тристрапедии ничего такого, что не было бы столь же ясно, как любое положение Эвклида. — Подай-ка мне, Трим, вон ту книгу с моего бюро. — Я уже не раз собирался, — продолжал отец, — прочитать ее вам, Йорик, и моему брату Тоби; признаться, меня даже немного мучит совесть, что я так долго откладывал. — Хотите, прочтем сейчас одну-две коротеньких главы, — одну-две главы после, когда представится случай, и так далее, пока не дойдем до конца? — Дядя Тоби и Йорик поклонились в знак согласия; капрал тоже сделал почтительный поклон, приложив к груди руку, хотя отец и не обращался к нему. — Все улыбнулись. — Трим, — сказал отец, — сполна заплатил за право оставаться до конца представления. — — Пьеса ему, кажется, не понравилась, — заметил Йорик. — Ведь это просто одно шутство, с позволения вашего преподобия, этот бой капитана Трипе с другим офицером, — зачем им понадобилось

¹ На крупе (*франц.*).

выкидывать столько фокусов? — Французы, правда, любят подчас подурачиться, — но это уж чересчур.

Дядя Тоби никогда еще не испытывал такого внутреннего удовольствия, как то, что доставили ему в эту минуту замечания капрала и его собственные; — он закурил трубку, — — — Йорик пододвинул стул ближе к столу, — Трим снял нагар со свечи, — отец помешал огонь, — взял книгу, — кашлянул дважды и начал:

ГЛАВА XXXI

— Первые тридцать страниц, — сказал отец, перелистывая книгу, — немного суховаты, и так как они не имеют прямой связи с предметом, — мы их на этот раз опустим. Это введение, которое служит предисловием, — продолжал отец, — или предисловие, которое служит введением (я еще не решил, как я его назову), относительно политического или гражданского управления, основы которого надо искать в первоначальном союзе мужчины и женщины для произведения потомства; я как-то незаметно углубился в эту тему. — Это естественно, — сказал Йорик.

— Первоначальная форма общества, я в этом убежден, — продолжал отец, — такова, как нам говорит Полициан, то есть это попросту брачный союз; это всего только сожителство одного мужчины с одной женщиной, — к которым философ (в согласии с Гесиодом) присоединяет слугу; но так как, надо полагать, слуги тогда еще не родились, — — — то он закладывает общество на мужчине — женщине — и быке. — — — Я думаю, воле, — заметил Йорик, приводя соответствующее место (οἶχον μὲν πρότιστα, γυναῖκα τε, βοῦν τ' ἄροτῆρα. Бык доставил бы больше хлопот, чем пользы. — — — Есть и более веский довод, — сказал отец (макая перо в чернила), — ведь вол, будучи животным самым терпеливым и в то же время наиболее пригодным для вспашки земли и доставления супругам пропитания, — являлся самым подходящим во всей вселенной орудием и символом для новобрачных. — Есть еще более сильный довод, — заявил дядя Тоби, — в пользу вола. — Отец не решился вынуть перо из чернильницы, не выслушав довода дяди Тоби. — Ведь когда земля была вспахана, — сказал дядя Тоби, — и ее стоило огородить, участок стали обносить валами и окапывать

¹ В первую очередь — дом, и женщина, и подъяремный вол (*греч.*).

канавами, и таким образом положено было начало фортификации. — Верно, верно, дорогой Тоби, — воскликнул отец, зачеркнув быка и поставив на его место вола.

Отец сделал Триму знак снять нагар со свечи и снова взял слово.

— Я вхожу в эти умозрения, — сказал отец небрежно и наполовину закрыв книгу, — просто для того, чтобы показать основы естественных отношений между отцом и его ребенком, над которым отец приобретает право и власть следующими разными путями —

во-первых, путем брака,
во-вторых, путем усыновления,
в-третьих, путем узаконения и

в-четвертых, путем произведения на свет; все эти пути я рассматриваю по порядку.

— Одному из них я придаю мало значения, — заметил Йорик, — по-моему, последний акт, особенно когда дело им кончается, возлагает так же мало обязанностей на ребенка, как мало правдает отца. — Неправда, — запальчиво сказал отец, — по той простой причине, что * * * * *

* * * * * — Я согласен, — прибавил отец, — что на этом основании ребенок не находится в такой же безусловной зависимости от матери. — Однако ваш довод, — возразил Йорик, — имеет одинаковую силу и по отношению к матери. — Она сама подначальна, — сказал отец, — и кроме того, — продолжал он, кивнув головой и приложив палец к носу, когда приводил этот довод, — она не есть главное действующее лицо, Йорик. — В чем? — спросил дядя Тоби, набивая трубку. — Хотя безусловно, — прибавил отец (пропуская мимо ушей вопрос дяди Тоби), — сын обязан относиться к ней с почтением, как вы можете подробно об этом прочитать, Йорик, в первой книге Институций Юстиниана, глава одиннадцатая, раздел десятиый. — Я отлично могу прочитать это, — возразил Йорик, — и в катехизисе.

ГЛАВА XXXII

— Трим знает его наизусть, от слова до слова, — проговорил дядя Тоби. — Ну-у! — протянул отец, которому вовсе не хотелось, чтобы Трим перебивал его чтением катехизиса. — Честное слово, знает, — возразил дядя Тоби. — Задайте ему, мистер Йорик, какой-нибудь вопрос. —

— Пятая заповедь, Трим, — мягко сказал Йорик, — поощряя капрала кивком, как застенчивого новообращенного. Капрал не проронил ни слова. — Вы его не так спрашиваете, — сказал дядя Тоби. — — Пятая! — отрывисто скомандовал он, возвысив голос. — Я должен начать с первой, с позволения вашей милости, — сказал капрал. —

Йорик не мог удержаться от улыбки. — Ваше преподобие изволили упустить, — сказал капрал, — взяв на плечо палку наподобие ружья и выступив на середину комнаты для пояснения своей позиции, — что это точь-в-точь то же самое, что проделать полевое учение. —

— «Встать в ружье!» — скомандовал капрал, выполнив соответствующее движение.

— «На плечо!» — скомандовал капрал, исполняя одновременно обязанность командира и рядового.

— «К ноге!» — одно движение, с позволения вашего преподобия, вы видите, ведет за собой другое. — Прошу вашу милость начать команду с первой. —

— Первая! — скомандовал дядя Тоби, подбоченившись, — *

— Вторая! — скомандовал дядя Тоби и взмахнул трубкой так, как сделал бы это шпагой, стоя во главе полка. — Капрал справился со своим катехизисом отлично; «почтив отца своего и мать», он сделал низкий поклон и удалился на прежнее место в глубине комнаты.

— Все на свете, — сказал отец, — можно обратить в шутку, — и во всем есть глубокий смысл и наставление, — надо только уметь его найти.

— Вот вам леса просвещения, за которыми не скрывается никакого здания; вот вся его дурь.

— Вот вам зеркало, в котором педагоги, наставники, репетиторы, гувернеры и школьные учителя могут увидеть себя в настоящую величину. — — —

— Ах, Йорик, вместе с учением растет также шелуха и скорлупа, которую ученики, по неопытности своей, не умеют отбрасывать!

— Науки можно вызубрить, но мудрость — никогда. — Йорик решил, что на отца нашло вдохновение. — Клятвенно обещаю, — сказал отец, — сейчас же пожертвовать все наследство, полученное мной от тети Дины, на благотворительные цели (о которых отец, кстати сказать, был невысокого мнения), — если капрал связывает какое-нибудь представление хотя бы

с одним словом, которое он здесь повторил. — Скажи, пожалуйста, Трим, — обратился к нему отец, — что ты разумеешь под «почитанием отца твоего и матери»?

— Выдачу им, с позволения вашей милости, трех полупенсов в день из моего жалованья, когда они состарятся. — А ты это делал, Трим? — спросил Йорик. — Да, делал, — отвечал дядя Тоби. — В таком случае, Трим, — сказал Йорик, соскочив со стула и пожав капралу руку, — ты лучший комментатор этой части десятисловия, и за это я чту тебя, капрал Трим, больше, чем если бы ты приложил руку к составлению самого Талмуда.

ГЛАВА XXXIII

— Благословенное здоровье! — воскликнул отец, перелистывая страницы, чтобы перейти к следующей главе, — ты превыше золота и всяких сокровищ; ты расширяешь душу — и открываешь все способности ее к восприятию просвещения и наслаждению добродетелью. — Тому, кто обладает тобой, почти нечего больше желать, — а тот несчастный, который тебя лишается, лишается с тобой всего на свете.

— Я сосредоточил на очень небольшом пространстве всё, что можно было сказать по этому важному вопросу; таким образом, я вас не утомлю, прочитав эту главу целиком.

Отец прочитал следующее:

«Весь секрет здоровья зависит от соблюдения должного равновесия в борьбе между первичной теплотой и первичной влагой». — Я полагаю, вы доказали это выше, — сказал Йорик. — Убедительным образом, — отвечал отец.

Говоря это, отец закрыл книгу, — не так, словно он решил дальше не читать, потому что он держал еще указательный палец на главе; — и не с сердцем, — потому что он закрыл книгу медленно; его большой палец, когда он это сделал, покоился на верхней крышке переплета, между тем как остальные три пальца поддерживали нижнюю его крышку без малейшего нетерпеливого жима. —

— Истинность этого факта, — сказал отец, кивнув Йорик у, — я самым убедительным образом доказал в предыдущей главе.

— Если бы человеку с луны сказали, что один из людей на земле написал главу, убедительным образом доказывающую, что секрет всякого здоровья зависит от соблюдения должного равновесия в борьбе между первичной теплотой и первичной влагой, — и что этот писатель так искусно справился со своей задачей, что во всей его главе нет ни единого сочного или сухого слова относительно первичной теплоты или первичной влаги — и ни единого слога «за» или «против», прямо или косвенно, относительно борьбы между двумя этими силами в какой-либо части животного организма, —

«О вечный создатель всего сущего!» — воскликнул бы человек с луны, ударив себя в грудь правой рукой (в случае если она у него есть), — «ты, чье могущество и чья благодать в состоянии довести способности твоих тварей до такой высоты и такого безграничного совершенства, — чем прогневали тебя мы, селениты?»

ГЛАВА XXXIV

Двумя ударами, одним по Гиппократу, другим по лорду Веруламскому, отец завершил дело.

Удар по князю врачей, с которого он начал, был всего только осмеянием горькой жалобы Гиппократа о том, что *ars longa, a vita brevis*¹. — Жизнь коротка, — воскликнул отец, — а искусство врачевания требует много времени. Но кого же нам благодарить за то и за другое, как не самих же невежественных лекарей — с их полками, нагруженными лекарственными снадобьями и перепатетическим хламом, с помощью которых они во все времена сначала обнадеживали публику, а затем ее надували?

— О лорд Веруламский! — воскликнул отец, оставив Гиппократа и направляя свой второй удар в лорда, как главного торгаша лекарственными снадобьями, более всего подходившего для того, чтобы служить примером всем остальным, — что мне сказать тебе, великий лорд Веруламский? Что мне сказать о твоём внутреннем дуновении, — о твоём опиме, — о твоей селитре, — о твоих жирных мазях, — о твоих дневных слабительных, — о твоих ночных промывательных и их суррогатах?

¹ Искусство требует времени, а жизнь коротка (*лат.*).

Отец без всякого затруднения находил, что сказать кому угодно и о чем угодно, и менее всего на свете нуждался во вступлении. Как обошелся он с мнением его сиятельства, — вы увидите; — — но когда, не знаю; — — сначала нам надо посмотреть, каково было мнение его сиятельства.

ГЛАВА XXXV

«Две главные причины, сговорившиеся между собой сокращать нашу жизнь, — говорит лорд Веруламский, — это, во-первых, внутреннее дуновение, которое, подобно легкому пламени, сжигает и пожирает наше тело; и, во-вторых — внешний воздух, который иссушает тело, превращая его в пепел. — — Два эти неприятеля, атакуя нас с двух сторон одновременно, мало-помалу разрушают наши органы и делают их неспособными к выполнению жизненно необходимых функций».

При таком положении вещей путь к долголетию открыть не трудно; ничего больше не требуется, — говорит его сиятельство, — как восстановить опустошения, производимые внутренним дуновением, сгустив и уплотнив его субстанцию регулярным приемом опиатов, с одной стороны, и охладив его жар, с другой, приемом каждое утро, перед тем как встать с постели, трех с половиной гранов селитры. —

Все-таки тело наше остается еще подверженным враждебному натиску внешнего воздуха; но от него можно оборониться употреблением жирных мазей, которые настолько пропитывают все поры кожи, что ни одна пылинка не может ни войти туда — ни выйти оттуда. — Но так как это прекращение всякой испарины, ощутимой и неощутимой, служит причиной множества злокачественных болезней, — то для отвода избыточной влаги — необходимо регулярно ставить клистиры, — которыми и будет завершена вся система.

А что отец собирался сказать лорду Веруламскому о его опиатах, о его селитре, о его жирных мазях и клистирах, вы прочтете, — но не сегодня — и не завтра: время не ждет, — читатели проявляют нетерпение, — мне надо идти дальше. — Вы прочтете главу эту на досуге (если пожелаете), как только Тристрапедия будет издана. —

Теперь же довольно будет сказать, что отец сровнял с землей гипотезу его сиятельства и на ее месте, ученые это знают, построил и обосновал свою собственную.

ГЛАВА XXXVI

— Весь секрет здоровья, — сказал отец, повторяя начатую им фразу, — явно зависит от соблюдения должного равновесия в борьбе между первичной теплотой и первичной влагой; для его поддержания не требовалось бы поэтому почти никакого искусства, если бы не путаница, которую внесли сюда педанты-ученые, все время ошибочно принимавшие (как показал знаменитый химик ван Гельмонт) за первичную влагу сало и жир животных.

Между тем первичная влага не сало и не жир животных, а некое маслянистое и бальзамическое вещество; ведь жир и сало, подобно флегме и водянистым частям, холодны, тогда как маслянистые и бальзамические части полны жизни, теплоты и огня, чем и объясняется замечание Аристотеля, «quod omne animal post coitum est triste»¹.

Известно, далее, что первичная теплота пребывает в первичной влаге, но пребывает ли последняя в первой, это подвержено сомнению; во всяком случае, когда одна из них идет на убыль, идет на убыль также и другая; тогда получается или неестественный жар, вызывающий неестественную сухость, — или неестественная влажность, вызывающая водянку у . — Таким образом, если нам удастся научить подрастающего ребенка не бросаться в огонь и в воду, которые одинаково угрожают ему гибелью, — мы сделаем в этом отношении всё, что надо.

ГЛАВА XXXVII

Даже описание осады Иерихона не могло бы поглотить внимание дяди Тоби сильнее, чем поглотила его последняя глава; — дядины глаза на всем ее протяжении были прикованы к отцу; — при каждом упоминании последним первичной теплоты или первичной влаги дядя Тоби вынимал изо рта трубку и качал головой; а когда глава была окончена, он знаком пригласил капрала подойти поближе к его креслу, чтобы задать ему, — в сторону, — следующий вопрос. — * * * * *
* * * * * — Это было при осаде Лимерика, с позволения вашей милости, — ответил с поклоном капрал.

¹ Что каждое животное после соития печально (*лат.*).

— Мы с ним, — сказал дядя Тоби, — обращаясь к отцу, — были едва в силах выползти из наших палаток, — когда снята была осада Лимерика, — как раз по той причине, о которой вы говорите. — Что такое могло прийти тебе в сумасбродную твою голову, милый брат Тоби! — мысленно воскликнул отец. — Клянусь небом! — продолжал он, по-прежнему рассуждая сам с собой, — даже Эдип затруднился бы найти тут какую-нибудь связь. —

— Я думаю, с позволения вашей милости, — сказал капрал, — что если б не жженка, которую мы всякий вечер готовили, да не красное вино с корицей, которое я усердно подливал вашей милости... — И не можжевельная, Трим, — прибавил дядя Тоби, — которая принесла нам больше всего пользы. — Я истинно думаю, — продолжал капрал, — мы бы оба, с позволения вашей милости, — сложили наши жизни в траншеях, где нас бы и похоронили. — Самая славная могила, капрал, — воскликнул дядя Тоби со сверкающим взором, — какой только может пожелать солдат! — А только печальная это для него смерть, с позволения вашей милости, — возразил капрал.

Все это было для отца такой же китайской грамотой, как обряды жителей Колхиды и троглодитов были полчаса назад для дяди Тоби; отец не знал, нахмурить ли ему брови или улыбнуться. —

Между тем дядя Тоби, обратившись к Йорику, возобновил разговор о том, что случилось под Лимериком, более вразумительно, чем он его начал, — и отец сразу уловил ту связь, которой раньше не мог понять.

ГЛАВА XXXVIII

— Несомненно, — сказал дядя Тоби, — было большим счастьем для меня и для капрала, что в продолжение двадцати пяти дней, когда у нас в лагере свирепствовала дизентерия, мы все время пролежали в горячке, сопровождавшейся нестерпимой жаждой; иначе нас, как я понимаю, неизбежно одолела бы та самая дрянь, которую брат мой называет первичной влагой. — Отец набрал полные легкие воздухом и, закатив глаза в потолок, медленно его выдохнул.

— Небо, видно, смилостивилось над нами, — продолжал дядя Тоби; — капрала осенила мысль сохранить это самое равновесие между первичной теплотой и первичной влагой, подкрепляя все время лихорадку горячим вином и пряностями;

ему удалось таким способом поддержать (образно говоря) непрерывное горение, так что первичная теплота отстояла свои позиции с начала и до конца, оказавшись достойным противником влаги, несмотря на всю грозную силу последней. — Даю вам слово, братец Шенди, — прибавил дядя Тоби, — вы могли бы в двадцати сажнях слышать происшедшую внутри нас борьбу. — Если только не было перестрелки, — сказал Йорик.

— Н-да, — проговорил отец, вздохнув полной грудью и сделав после этого слова небольшую паузу. — Если бы я был судьей и законы моей страны этому не препятствовали, я бы приговаривал некоторых злейших преступников, если только они получили образование, к... — Йорик, предвидя, что приговор будет самым беспощадным, положил руку на грудь отца и попросил его повременить несколько минут, пока он не задаст капралу один вопрос. — Сделай милость, Трим, — обратился к нему Йорик, не дожидаясь позволения отца, — скажи нам по совести, каково твое мнение насчет этой самой первичной теплоты и первичной влаги?

— Почтительно подчиняясь разумнейшему суждению вашей милости... — проговорил капрал, отвесив поклон дяде Тоби. — Выкладывай смело твое мнение, капрал, — сказал дядя Тоби. — Ведь бедный малый — мне слуга, — а не раб, — добавил дядя Тоби, обращаясь к отцу. —

Сунув шляпу под левую руку, на запястье которой подвешена была черным ремешком с кисточкой его палка, капрал вышел на то самое место, где показал свои познания в катехизисе; затем он, прежде чем открыть рот, дотронулся до нижней челюсти большим и указательным пальцами правой руки и изложил свое мнение так:

ГЛАВА XXXIX

Как раз когда капрал откашливался, чтобы начать, — в комнату вошел, переваливаясь, доктор Слуп. — Беда не велика — капрал выскажет свое мнение в следующей главе, кто бы там ни вошел.

— Ну-с, добрейший доктор, — воскликнул отец шутливо, ибо душевные состояния сменялись у него с непостижимой быстротой, — что хорошего может сказать мой мальчишка? —

Даже если бы отец спрашивал о состоянии щенка, которому отрубили хвост, — он бы не мог это сделать с более беззаботным видом; принятая доктором Слупом система лечения

моей болезни никоим образом не допускала подобного рода вопросов. — Онсел.

— Скажите, пожалуйста, сэръ, — проговорил дядя Тоби тоном, который нельзя было оставить без ответа, — в каком состоянии мальчик? — Дело кончится фимозом, — ответил доктор Слоп.

— Убейте меня, если я что-нибудь понял, — проговорил дядя Тоби, засовывая в рот трубку. — Так пусть тогда капрал продолжает свою медицинскую лекцию, — сказал отец. — Капрал поклонился своему старому приятелю доктору Слопу, после чего изложил свое мнение относительно первичной теплоты и первичной влаги в следующих словах:

ГЛАВА XL

— Город Лимерик, осада которого началась под командованием самого его величества короля Вильгельма через год после того, как я определился в армию, — лежит, с позволения вашей милости, посреди дьявольски сырой, болотистой равнины. — Он со всех сторон окружен, — заметил дядя Тоби, — рекой Шанон и является по своему местоположению одной из сильнейших крепостей Ирландии.

— Это, кажется, новый способ начинать медицинскую лекцию, — проговорил доктор Слоп. — Все это правда, — отвечал Трим. — В таком случае я желал бы, чтобы господа врачи взяли за образец этот новый покррой, — сказал Йоррик. — С позволения вашего преподобия, — продолжал капрал, — там все сплошь перекроено дренажными канавами и топями; вдобавок, во время осады выпало столько дождя, что вся округа превратилась в лужу. От этого, а не от чего-либо другого и разразилась дизентерия, которая чуть было не сразила его милость и меня. По прошествии первых десяти дней, — продолжал капрал, — ни один солдат не мог бы найти сухое место в своей палатке, не окопав ее канавой для стока воды; — но этого было мало, и всякий, кто только располагал средствами, как его милость, выпивал каждый вечер по оловянной кружке жженки, которая прогоняла сырость и нагревала палатку, как печка.

— Какое же заключение выводишь ты, капрал Трим, из всех этих посылок? — вскричал отец.

— Отсуда я, с позволения вашей милости, заключаю, — отвечал Трим, — что первичная влага не что иное, как сточная вода, а первичная теплота для человека со средствами — жжен-

ка; для рядового же первичная влага и первичная теплота всего только, с позволения вашей милости, сточная вода да чарка можжевельки. — Ежели ее дают нам вдоволь и не отказывают в табачке, для поднятия духа и подавления хандры, — тогда мы не знаем, что такое страх смерти.

— Я, право, затрудняюсь определить, капитан Шенди, — сказал доктор Слуп, — в какой отрасли знания слуга ваш особенно крепок, в физиологии или в богословии. — Слуп не забыл Тримовы комментарии к проповеди. —

— Всего только час назад, — заметил Йорик, — капрал подвергся экзамену в последнем и выдержал его с честью. —

— Первичная теплота и первичная влага, — проговорил доктор Слуп, обращаясь к отцу, — являются, надо вам сказать, основой и краеугольным камнем нашего бытия, — как корень дерева является источником и первопричиной его произрастания. — Они заложены в семени всех животных и могут сохраняться разными способами, но преимущественно, по моему мнению, при помощи единосущности, вдавливания и замыкания. — А этот бедный малый, — продолжал доктор Слуп, показывая на капрала, — имел, видно, несчастье слышать какой-нибудь поверхностный эмпирический разговор об этом деликатном предмете. — Да, имел, — сказал отец. —

— Очень может быть, — сказал дядя. — Я в этом уверен, — проговорил Йорик.

ГЛАВА XLI

Воспользовавшись отсутствием доктора Слупа, который вызван был посмотреть на прописанную им припарку, отец прочитал еще одну главу из Тристрапедии. — Ну, ребята, веселей! Сейчас я покажу вам землю — — — ибо когда мы справимся с этой главой, книга эта будет закрыта целый год. — Ура! —

ГЛАВА XLII

— — — Пять лет с нагрудничком у подбородка;
четыре года на путешествие от букваря до Малахии;
полтора года, чтобы выучиться писать свое имя;
семь долгих лет и больше тупт¹-овать¹ над греческим и латынью.

¹ Биться (греч.).

Четыре года на доказательства и опровержения — а прекрасная статуя все еще пребывает в недрах мраморной глыбы, и резец, чтобы ее высечь, всего только отточен. — Какая прискорбная медлительность! — Разве великий Юлий Скалигер не был на волосок от того, чтобы инструменты его так и остались неотточенными? — Только в сорок четыре года удалось ему овладеть с греческим, — а Петр Дамиан, кардинал-епископ Ости, тот, как всем известно, даже еще читать не научился, достигнув совершеннолетия. — Сам Балльд, ставший потом знаменитостью, приступил к изучению права в таком возрасте, что все думали, будто он готовится стать адвокатом на том свете. Не удивительно, что Эвдамид, сын Архидама, услышав, как семидесятипятилетний Ксенократ спорит о мудрости, спросил озабоченно: — Если этот старец еще только спорит и разужнает о мудрости, — то когда же найдет он время ею пользоваться?

Йорик слушал отца с большим вниманием; к самым причудливым его фантазиям непонятым образом примешивалась приправа мудрости — среди самого непроглядного мрака иной раз вспыхивали у него прозрения, почти что искупавшие все его грехи. — Будьте осмотрительны, сэр, если вздумаете подражать ему!

— Я убежден, Йорик, — продолжал отец, частью читая, частью устно излагая свои мысли, — что и в интеллектуальном мире существует Северо-западный проход и что душа человека может зашасть знанием и полезными сведениями, следуя более короткими путями, чем те, что мы обыкновенно избираем. — Но увы! не у всякого поля протекает река или ручей, — не у всякого ребенка, Йорик! есть отец, способный указывать ему путь.

— — Все целиком зависит, — прибавил отец, — понизив голос, — от вспомогательных глаголов, мистер Йорик.

Если бы Йорик наступил на Вергилиеву змею, то и тогда на лице его не могло бы выразиться большее удивление. — Я тоже удивлен, — воскликнул отец, заметив это, — и считаю одним из величайших бедствий, когда-либо постигавших школьное дело, что люди, которым доверено воспитание наших детей и обязанность которых развивать их ум и с ранних лет начинать его мыслями, чтобы задать работу воображению, так мало до сих пор пользовались вспомогательными глаголами — за исключением разве Раймонда Луллия и старшего Пелегрини, который в употреблении их достиг такого совершенства, что мог в несколько уроков научить молодого джентльмена вполне удовлетворительно рассуждать о любом предмете, — за и про-

тив, — а также говорить и писать все, что можно было сказать и написать о нем, не вымарывая ни одного слова, к удивлению всех, кто это видел. — Я был бы вам благодарен, — сказал Йорик, прерывая отца, — если бы вы мне это пояснили. — Судовольствием, — сказал отец.

— Наивысшее расширение смысла, допускаемое отдельным словом, есть смелая метафора, — но, по-моему, понятие, которое с нею связано, при этом обыкновенно теряет больше, чем выигрывает; — однако, так или иначе, — если ум наш эту операцию проделал, дело кончено: ум и понятие пребывают в покое, — пока не появится новое понятие — и так далее.

— Применение же *вспомогательных* глаголов сразу позволяет душе трудиться самой над поступающими к ней материалами, а вследствие легкости вращения машины, на которую эти материалы накручены, открывает новые пути исследования и порождает из каждого понятия миллионы.

— Вы чрезвычайно раззадорили мое любопытство, — сказал Йорик.

— Что до меня, — заметил дядя Тоби, — то я рукой махнул. — Части датчан, с позволения вашей милости, — проговорил капрал, — занимавшие при осаде Лимерика левый фланг, все были вспомогательные. — И превосходные части, — сказал дядя Тоби. — А только вспомогательные части, Трим, о которых говорит мой брат, — отвечал дядя Тоби, — по-видимому, нечто совсем другое. —

— Вам так кажется? — сказал отец, поднявшись с кресла.

ГЛАВА XLIII

Отец прошелся по комнате, сел и... закончил главу.

— Вспомогательные глаголы, которыми мы здесь занимаемся, — продолжал отец, — такие: быть, иметь, допускать, хотеть, мочь, быть должным, следовать, иметь обыкновение или привычку — со всеми их изменениями в настоящем, прошедшем и будущем времени, спрягаемые с глаголом видеть — или выраженные вопросительно: — Есть ли? Было ли? Будет ли? Было ли бы? Может ли быть? Могло ли быть? И они же, выраженные отрицательно: — Нет ли? Не было ли? Не должно ли было? — или утвердительно: — Если, было, должно быть, — или хронологически: — Всегда ли было? Недавно? Как давно? —

или гипотетически: — Если бы было? Если бы не было? Что бы тогда последовало? — Если бы французы побили англичан? Если бы солнце вышло из зодиака?

— И вот, если выколоти память ребенка, — продолжал отец, — правильным употреблением и применением *вспомогательных* глаголов, ни одно представление, даже самое бесплодное, не может войти в его мозг без того, чтобы из него нельзя было извлечь целого арсенала понятий и выводов. — Видел ты когда-нибудь белого медведя? — спросил вдруг отец, обратившись к Триму, стоявшему за спинкой его кресла. — Никак нет, с позволения вашей милости, — отвечал капрал. — А мог бы ты о нем поговорить, Т р и м , — сказал о т е ц , — в случае надобности? — Да как же это возможно, б р а т е ц , — сказал дядя Т о б и , — если капрал никогда его не видел? — Вот это-то мне и н а д о , — возразил о т е ц , — и сейчас я покажу, как это возможно.

— Белый медведь? Превосходно. Видел ли я когда-нибудь белого медведя? Мог ли я когда-нибудь его видеть? Предстоит ли мне когда-нибудь его увидеть? Должен ли я когда-нибудь его увидеть? Или могу ли я когда-нибудь его увидеть?

— Хотел бы я увидеть белого медведя! (Иначе как я могу себе его представить?)

— Если бы мне пришлось увидеть белого медведя, что бы я сказал? Если бы мне никогда не пришлось увидеть белого медведя, что тогда?

— Если я никогда не видел, не могу увидеть, не должен увидеть и не увижу живого белого медведя, то видел ли я когда-нибудь его шкуру? Видел ли я когда-нибудь его изображение? — Или описание? Не видел ли я когда-нибудь белого медведя во сне?

— Видели ли когда-нибудь белого медведя мой отец, мать, дядя, братья или сестры? Что бы они за это дали? Как бы они себя вели? Как бы вел себя белый медведь? Дикий ли он? Ручной? Страшный? Косматый? Гладкий?

— Стоит ли белый медведь того, чтобы его увидеть? —

— Нет ли в этом греха? —

Лучше ли он, чем *черный медведь*?

Dixero si quid fortè jocosius, hoc mihi
juris Cum venia dabis.

Hor.

Si quis calumniatur levius esse quam
deceat theologum, aut mordacius quam
deceat Christianum — non Ego, sed De-
mocritus dixit.

Erasmus

ГЛАВА I

Мы остановимся всего на две минуты, милостивый госу-
дарь. — Одолев с вами эти пять томов (присядьте, пожа-
луй-ста, сэра, на их комплект — это лучше, чем ничего), мы только
оглянемся на страну, которую мы прошли. —

— Какие это были дебри! И какое счастье, что мы с вами
не заблудились и не были растерзаны дикими зверями.

Думали ли вы, сэра, что целый мир может вместить такое
множество ослов? — Как они рассматривали и обзревали нас,
когда мы переходили ручей в глубине этой долины! — Когда
же мы взобрались вон на тот холм и скрылись из виду, — боже
ты мой, что за рев подняли они все разом!

— Послушай, пастух, кто хозяин всех этих ослов?

— Да поможет им небо! — Как, их никогда не чистят? —
Никогда не загоняют на зиму? — Так ревите — ревите — ре-
вите! Ревите на здоровье, — свет перед вами в большом дол-
гу; — еще громче — это ничего; — правда же, с вами плохо
обращаются. — Будь я ослом, торжественно объявляю, я бы с
утра до вечера ревел соль-ре-до в ключе соль.

ГЛАВА II

Когда белый медведь отплясал взад и вперед с подюжины
страниц, отец закрыл книгу всерьез — и с торжествующим ви-
дом снова вручил ее Триму, подав знак отнести ее на прежнее
место.

— Тристам, — сказал он, — prospрягает у меня таким же манером, взад и вперед, все глаголы, какие есть в словаре; — всякий глагол, вы видите, Йорик, обращается этим способом к положение и предположение, всякое положение и предположение являются источником целого ряда предложений — и всякое предложение имеет свои следствия и заключения, каждое из которых, в свою очередь, выводит ум на новые пути изысканий и сомнений. — Невероятная у этого механизма, — прибавил отец, — сила разворачивать голову ребенка. — Вполне достаточная, брат Шенди, — воскликнул дядя Тоби, — чтобы разнести ее на тысячу кусков.

— Я полагаю, — сказал с улыбкой Йорик, — что именно благодаря такому методу — (пусть логики говорят что угодно, но это нельзя удовлетворительно объяснить одним лишь применением десяти предикаментов) — знаменитый Винченцо Квирино, наряду со многими другими изумительными достижениями своего детского возраста, о которых так обстоятельно поведал миру кардинал Бембо, способен был расклеить в общественных школах Рима, всего восьми лет от роду, не менее четырех тысяч пятисот шестидесяти различных тезисов по самым туманным вопросам самого туманного богословия — (а также защитить их и отстоять, посрамяв и приведя к молчанию своих противников). — Ну что это, — воскликнул отец, — по сравнению с подвигами Альфонса Тостадо, который, говорят, чуть ли не на руках у своей кормилицы постиг все науки и свободные искусства, не быв обучен ни одному из них. — А что сказать нам о великом Пейрескии? — Это тот самый, — воскликнул дядя Тоби, — о котором я однажды говорил вам, брат Шенди, — тот, что прошел пешком пятьсот миль, считая от Парижа до Шевенинга и от Шевенинга до Парижа, только для того, чтобы увидеть парусную повозку Стевина. — Истинно великий был человек, — заключил дядя Тоби (подразумевая Стевина). — Да, — истинно великий, брат Тоби, — сказал отец (подразумевая Пейреския), он так быстро умножил свои мысли и приобрел такое потрясающее количество познаний, что если верить одному анекдоту о нем, который мы не можем отвергнуть, не поколебав свидетельства всех анекдотов вообще, — его отец уже в семилетнем возрасте поручил всецело его заботам воспитание своего младшего сына, мальчика пяти лет, — вместе с единоличным ведением всех его собственных дел. — А скажите, этот отец был таким же умницей, как и его сын? — спросил дядя Тоби. — Я склонен думать, что нет, — сказал Йорик. — Но что всё это, — продолжал отец — (в каком-то восторженном порыве), — что всё

это по сравнению с поразительными вещами, исполненными в детском возрасте Гроцием, Скиоппием, Гейнзием, Полицианом, Паскалем, Иосифом Скалигером, Фердинандом Кордовским и другими. — Одни из них превзошли свои субстанциональные формы уже в девятилетнем возрасте, и даже раньше, и продолжали вести рассуждения без них, — другие покончили в семь лет со своими классиками — и писали трагедии в восемь; — Фердинанд Кордовский в девять лет был таким мудрецом, — что считался одержимым дьяволом; — он представил в Венеции столько доказательств своих обширных познаний и способностей, что монахи вообразили его не более и не менее как антихристом. — Иные овладели в десять лет четырнадцатью языками и, — в одиннадцать кончили курс реторики, поэзии, логики и этики, — в двенадцать выпустили в свет свои комментарии к Сербию и Марциану Капелле, — а в тринадцать получили степень докторов философии, права и богословия. — Но вы забываете великого Липсия, — сказал Йорик, — сочинившего одну вещь в самый день своего рождения¹. — Ее бы надо было уничтожить, — сказал дядя Тоби, не прибавив больше ни слова.

ГЛАВА III

Когда припарка была готова, в душе Сузанны некстати поднялось сомнение, прилично ли ей держать свечу в то время, как Слуп будет ставить эту припарку; Слуп не расположен был

¹ Nous aurions quoique intérêt, — говорит Байе, — de montrer qu'il n'a rien de ridicule, s'il étoit véritable, au moins dans le sens énigmatique que Nicius Erythraeus a tâché de lui donner. Cet auteur dit que pour comprendre comme Lipse, il a pû composer un ouvrage le premier jour de sa vie, il faut s'imaginer que ce premier jour n'est pas celui de sa naissance charnelle, mais celui au quel il a commencé d'user de la raison; il veut que c'aît été à l'âge de neuf ans; et il nous veut persuader que ce fut en cet âge, que Lipse fit un poëme. — Le tour est ingénieux, etc, e t c. — *Л. Стери.* — Представляло бы некоторый интерес, — говорит Байе, — показать, что нет ничего смешного, если бы это было верно, по крайней мере, в загадочном смысле, который постарался ему придать Никий Эритрей. Этот автор говорит, что для того, чтобы понять, каким образом Липсий мог сочинить литературное произведение в первый день своей жизни, надо предположить, что этот первый день был не днем его плотского рождения, а тем днем, когда он начал пользоваться разумом; Эритрей полагает, что это произошло в возрасте девяти лет, и желает нас убедить, что именно в этом возрасте Липсий сочинил поэму. — Прием остроумный, и т. д. и т. д.

лечить Сузаннину шепетильность успокоительными средствами, — вследствие чего между ними произошла ссора.

— О-го-го, — сказал Слор, бесцеремонно разглядывая лицо Сузанны, когда она отказала ему в этой услуге, — да я, никак, вас знаю, мадам. — Вы меня знаете, сэр? — брезгливо воскликнула Сузанна, вскинув голову — жест, которым она явно метила не в профессию доктора, а в него самого. — Вы меня знаете? — повторила свое восклицание Сузанна. — Доктор Слор в ту же минуту схватил себя за нос большим и указательным пальцами; — Сузанна едва в силах была сдержать свое негодование. — Не правда, — сказала она. — Полно, полно, госпожа скромница, — сказал Слор, чрезвычайно довольный успехом своего последнего выпада, — если вы не желаете держать свечу с открытыми глазами, — так можете держать ее зажмурившись. — Это одна из ваших папистских штучек, — воскликнула Сузанна. — Лучше хоть такая рубашка, — сказал, подмигнув, Слор, — чем совсем без рубашки, красавица. — Я вас презираю, — сказала Сузанна, спуская рукав своей рубашки ниже локтя.

Едва ли можно представить, чтобы два человека помогали друг другу в хирургической операции с более желчной любезностью.

Слор схватил припарку, — Сузанна схватила свечу. — Немножко ближе сюда, — сказал Слор. Сузанна, смотря в одну сторону и светя в другую, в один миг подожгла Слов парик; взлохмаченный, да еще и засаленный, он сгорел еще раньше, чем как следует воспламенился. — Бесстыжая шлюха, — воскликнул Слор, — (ибо что такое гнев, как не дикий зверь) — бесстыжая шлюха, — вскричал Слор, выпрямившись с припаркой в руке. — От меня ни у кого еще нос не провалился, — сказала Сузанна, — вы не имеете права так говорить. — Не имею права, — воскликнул Слор, швырнув ей в лицо припарку. — Да, не имеете, — воскликнула Сузанна, оплатив за комплимент тем, что оставалось в тазу.

ГЛАВА IV

Изложив встречные обвинения друг против друга в гостинной, доктор Слор и Сузанна удалились в кухню готовить для меня, вместо неудавшейся припарки, теплую ванну; — пока они этим занимались, отец решил дело так, как вы сейчас прочитаете.

ГЛАВА V

— Вы видите, что уже давно пора, — сказал отец, — обращаясь одинаково к дяде Тоби и к Йоррику, — взять этого юнца из рук женщин и поручить гувернеру. Марк Аврелий пригласил сразу четырнадцать гувернеров для надзора за воспитанием своего сына Коммода, — а через шесть недель пятерых рассчитал. — Я прекрасно знаю, — продолжал отец, — что мать Коммода была влюблена в гладиатора, когда забеременела, чем и объясняются многочисленные злодеяния Коммода, когда он стал императором; — а все-таки я того мнения, что те пятеро, отпущенные Марком, причинили характеру Коммода за короткое время, когда они при нем состояли, больше вреда, нежели остальные девять в состоянии были исправить за всю свою жизнь.

— Я рассматриваю человека, приставленного к моему сыну, как зеркало, в котором ему предстоит видеть себя с утра до вечера и с которым ему придется сообразовать выражения своего лица, свои манеры и, может быть, даже сокровеннейшие чувства своего сердца, — я бы хотел поэтому, Йоррик, чтобы оно было как можно лучше отшлифовано и подходило для того, чтобы в него гляделся мой сын. — «Это вполне разумно», — мысленно заметил дядя Тоби.

— Существуют, — продолжал отец, — такие выражения лица и телодвижения, что бы человек ни делал и что бы он ни говорил, по которым можно легко заключить о его внутренних качествах; и я нисколько не удивляюсь тому, что Григорий Назианзин, наблюдая порывистые и угловатые движения Юлиана, предсказал, что он однажды станет отступником, — или тому, что святой Амвросий спровадил своего писца по причине непристойного движения его головы, качавшейся назад и вперед, словно цепь, — или тому, что Демокрит сразу узнал в Протагоре ученого, когда увидел, как тот, связывая охапку хвороста, засовывает мелкие сучья внутрь. — Есть тысяча незаметных отверстий, — продолжал отец, — позволяющих зоркому глазу сразу проникнуть в человеческую душу; и я утверждаю, — прибавил он, — что стоит только умному человеку положить шляпу, войдя в комнату, — или взять ее, уходя, — и он непременно проявит себя чем-нибудь таким, что его выдаст.

— По этим причинам, — продолжал отец, — гувернер, на котором я остановлю свой выбор, не должен ни шепелявить¹, ни косить, ни моргать глазами, ни слишком громко говорить, он не должен смотреть зверем или дураком; — он не должен кусать себе губы, или скрипеть зубами, или гнусавить, или ковырять в носу, или сморкаться пальцами. —

— Он не должен ходить быстро — или медленно, не должен сидеть, скрестя руки, — потому что это лень, — не должен их опускать, — потому что это глупость, — не должен засовывать их в карманы, — потому что это не элепо. —

— Он не должен ни бить, ни шипать, ни щипать, — не должен грызть или стричь себе ногти, не должен харкать, плевать, сопеть, не должен барабанить ногами или пальцами в обществе, — не должен также (согласно Эразму) ни с кем разговаривать, когда мочится, — или показывать пальцем на падаль и на испражнения. — «Ну, это все чепуха», — мысленно заметил дядя Тоби.

— Я хочу, — продолжал отец, — чтобы он был человек веселый, любящий пошутить, жизнерадостный, но в то же время благоразумный, внимательный к своему делу, бдительный, дальновидный, проникательный, находчивый, быстрый в решении сомнений и умозрительных вопросов, — он должен быть мудрым, здравомыслящим и образованным. — А почему же не скромным и умеренным, кротким и добрым? — сказал Йорик. — А почему же, — воскликнул дядя Тоби, — не прямым и великодушным, щедрым и храбрым? — Совершенно с тобой согласен, дорогой Тоби, — отвечал отец, вставая и пожимая дяде руку. — В таком случае, брат Шенди, — сказал дядя Тоби, тоже вставая и откладывая трубку, чтобы пожать отцу другую руку, — покорно прошу позволения рекомендовать вам сына бедного Лефевра. — При этом предложении слеза радости самой чистой воды заискрилась в глазу дяди Тоби — и другая, совершенно такая же, в глазу капрала; — вы увидите почему, когда прочтете историю Лефевра. — — — Какую же я сделал глупость! Не могу вспомнить (как, вероятно, и вы), не справившись в нужном месте, что именно мне помешало позволить капралу рассказать ее на свой лад; — однако случай упущен, — теперь мне приходится изложить ее по-своему.

¹ См. Пеллегрини. — *Л. Стерн*.

ГЛАВА VI

История Лефевра

Однажды, летом того года, когда союзники взяли Дендермонд, то есть лет за семь до переезда отца в деревню, — и спустя почти столько же лет после того, как дядя Тоби с Тримом тайком убежали из городского дома моего отца в Лондоне, чтобы начать одну из превосходнейших осад одного из превосходнейших укрепленных городов Европы, — дядя Тоби однажды вечером ужинал, а Трим сидел за ним у небольшого буфета, — говорю: сидел, — ибо во внимание к изувеченному колену капрала (которое по временам у него сильно болело) — дядя Тоби, когда обедал или ужинал один, ни за что не позволял Триму стоять; — однако уважение бедного капрала к своему господину было так велико, что, с помощью хорошей артиллерии, дяде Тоби стоило бы меньше труда взять Дендермонд, чем добиться от своего слуги повиновения в этом пункте; сплошь и рядом, когда дядя Тоби оглядывался, предполагая, что нога капрала отдыхает, он обнаруживал беднягу стоящим позади в самой почтительной позе; это породило между ними за двадцать пять лет больше маленьких стычек, чем все другие поводы, вместе взятые. — Но речь ведь не об этом, — зачем я уклонился в сторону? — Спросите перо мое, — оно мной управляет, — а не я им.

Однажды вечером дядя Тоби сидел таким образом за ужином, как вдруг в комнату вошел с пустой фляжкой в руке хозяин деревенской гостиницы попросить стакан-другой канарского вина. — Для одного бедного джентльмена — офицера, так я думаю, — сказал хозяин, — он у меня занемог четыре дня назад и с тех пор ни разу не приподнимал головы и не выражал желания отведать чего-нибудь, до самой этой минуты, когда ему захотелось стакан канарского и ломтик поджаренного хлеба. — Я думаю, сказал он, отняв руку от лба, — это меня подкрепит. —

— Если бы мне негде было выпросить, занять или купить вина, — прибавил хозяин, — я бы, кажется, украл его для бедного джентльмена, так ему худо. — Но, бог даст, он еще поправится, — продолжал он, — все мы беспокоимся о его здоровье.

— Ты добрая душа, ручаюсь в этом, — вскричал дядя Тоби. — Выпей-ка сам за здоровье бедного джентльмена стаканчик канарского, — да отнеси ему парочку бутылок с поклоном от

меня и передай, пусть пьет на здоровье, а я пришло еще дюжину, если это вино пойдет ему впрок.

— Хоть я искренне считаю его, Трим, человеком весьма сострадательным, — сказал дядя Тоби, когда хозяин гостиницы затворил за собой дверь, — однако я не могу не быть высокого мнения также и о его госте; в нем наверно есть что-то незаурядное, если в такой короткий срок он завоевал расположение своего хозяина. — И всех его домочадцев, — прибавил капрал, — потому что все они беспокоятся о его здоровье. — Ступай, догони его, Трим, — сказал дядя Тоби, — и спроси, не знает ли он, как зовут этого джентльмена.

— Признаться, я позабыл, — сказал хозяин гостиницы, вернувшийся с капралом, — но я могу еще раз спросить у его сына. — Так с ним еще и сын? — сказал дядя Тоби. — Мальчик, лет одиннадцати — двенадцати, — сказал хозяин, — но бедняжка почти так же не прикасался к еде, как и его отец; он только и делает, что плачет и горюет день и ночь. — Уже двое суток он не отходит от постели больного.

Дядя Тоби положил нож и вилку и отодвинул от себя тарелку, когда все это услышал, а Трим, не дожидаясь приказа, молча вышел и через несколько минут принес трубку и табак.

— Постой немного, не уходи, — сказал дядя Тоби. —

— Трим, — сказал дядя Тоби, когда закурил трубку и раз двенадцать из нее затянулся. — Трим подошел ближе и с поклоном стал перед своим господином; — дядя Тоби продолжал курить, не сказав больше ничего. — Капрал, — сказал дядя Тоби, — капрал поклонился. — Дядя Тоби дальше не продолжал и докурил свою трубку.

— Трим, — сказал дядя Тоби, — у меня в голове сложился план — вечер сегодня ненастный, так я хочу закутаться потеплее в мой рокелор и навестить этого бедного джентльмена. — Рокелор вашей милости, — возразил капрал, — ни разу не был надеван с той ночи, когда ваша милость были ранены, неся со мной караул в траншеях перед воротами Святого Николая, — а кроме того, сегодня так холодно и такой дождь, что, с рокелором и с этой погодой, вашей милости недолго насмерть простудиться и снова нажить себе боли в паху. — Боюсь, что так, — отвечал дядя Тоби, — но я не могу успокоиться, Трим, после того, что здесь рассказал хозяин гостиницы. — Если уж я столько узнал, — прибавил дядя Тоби, — так хотел бы узнать все до конца. — Как нам это устроить? — Предоставьте дело мне, ваша милость, — сказал капрал; — я возьму шляпу и палку, раздаю все на месте и поступлю соответственно, а через час подробно.

обо всем рапортую вашей милости. — Ну, иди, Трим, — сказал дядя Тоби, — и вот тебе шиллинг, выпей с его слугой. — Я все от него выведаю, — сказал капрал, затворяя дверь.

Дядя Тоби набил себе вторую трубку; и если бы мысли его не отвлекались порой на обсуждение вопроса, надо ли вывести куртину перед *теналью* по прямой линии или лучше по изогнутой, — то можно было бы сказать, что во время курения он ни о чем другом не думал, кроме как о бедном Лефевре и его сыне.

ГЛАВА VII

Продолжение истории Лефевра

Только когда дядя Тоби вытряс пепел из третьей трубки, капрал Трим вернулся домой и рапортовал ему следующее.

— Сначала я отчаялся, — сказал капрал, — доставить вашей милости какие-нибудь сведения о бедном больном лейтенанте. — Так он действительно служит в армии? — спросил дядя Тоби. — Да, — отвечал капрал. — А в каком полку? — спросил дядя Тоби. — Я расскажу вашей милости все по порядку, — отвечал капрал, — как сам узнал. — Тогда я, Трим, набыю себе новую трубку, — сказал дядя Тоби, — и уж не буду тебя перебивать, пока ты не кончишь; усаживайся поудобнее, Трим, вон там у окошка, и рассказывай все сначала. — Капрал отвесил свой привычный поклон, обыкновенно говоривший так ясно, как только мог сказать поклон: «Ваша милость очень добры ко мне». — После этого он сел, куда ему было велено, и снова начал свой рассказ дяде Тоби почти в тех же самых словах. — Сначала я было отчаялся, — сказал капрал, — доставить вашей милости какие-нибудь сведения о лейтенанте и о его сыне, потому что когда я спросил, где его слуга, от которого я бы, наверно, разузнал все, о чем удобно было спросить... — Это справедливая оговорка, Трим, — заметил дядя Тоби. — Мне ответили, с позволения вашей милости, что с ним нет слуги, — что он приехал в гостиницу на наемных лошадях, которых на другое же утро отпустил, почувствовав, что не в состоянии следовать дальше (чтобы присоединиться к своему полку, я так думаю). — Если я поправлюсь, мой друг, — сказал он, передавая сыну кошелек с поручением заплатить вознице, — мы найдем лошадей отсюда. — Но увы, бедный джентльмен никогда отсюда не уедет, — сказала мне хозяйка, — потому что я всю ночь

слышала часы смерти, — а когда он умрет, мальчик, сын его, тоже умрет: так он убит горем.

— Я слушал этот рассказ, — продолжал капрал, — а в это время мальчик пришел в кухню заказать ломтик хлеба, о котором говорил хозяин. — Только я хочу сам его приготовить для отца, — сказал мальчик. — Позвольте мне забыть вас от этого труда, молодой человек, — сказал я, взяв вилку и предложив ему мой стул у огня на то время, что я буду поджаривать его ломтик. — Я думаю, сэр, — с большой скромностью сказал он, — что я сумею ему лучше угодить.

— Я уверен, — сказал я, — что его милости этот ломтик не покажется хуже, если его поджарит старый солдат. — Мальчик схватил меня за руку и разрыдался. — Бедняжка, — сказал дядя Тоби, — он вырос в армии, и имя солдата, Трим, прозвучало в его ушах как имя друга. — Жаль, что его нет здесь.

— Во время самых продолжительных переходов, — сказал капрал, — мне никогда так сильно не хотелось обедать, как захотелось заплакать с ним вместе. Что бы это могло со мной быть, с позволения вашей милости? — Ничего, Трим, — сказал дядя Тоби, сморкаясь, — просто ты добрый малый.

— Отдавая ему поджаренный ломтик хлеба, — продолжал капрал, — я счел нужным сказать, что я слуга капитана Шенди и что ваша милость (хоть вы ему и чужой) очень беспокоится о здоровье его отца, — и что все, что есть в вашем доме или в погребе, — (— Ты мог бы прибавить — и в кошельке моем, — сказал дядя Тоби) — все это к его услугам от всего сердца. — Он низко поклонился (вашей милости, конечно), ничего не ответил, — потому что сердце его было переполнено, — и пошел вверх с поджаренным ломтиком хлеба. — Ручаюсь вам, мой дорогой, — сказал я, когда он отворил дверь из кухни, — ваш батюшка поправится. — Священник, помощник мистера Йорика, курил трубку у кухонного очага, — но ни одним словом, ни добрым, ни худым, не утешил мальчика. — Помоему, это не хорошо, — прибавил капрал. — Я тоже так думаю, — сказал дядя Тоби.

— Откушав стакан канарского и ломтик хлеба, лейтенант почувствовал себя немного бодрее и послал в кухню сказать мне, что он рад будет, если минут через десять я к нему поднимусь. — Я полагаю, — сказал хозяин, — он хочет помолиться, — потому что на стуле возле его кровати лежала книга, и когда я затворял двери, то видел, как его сын взял подушечку. —

— А я думал, — сказал священник, — что вы, господа военные, мистер Трим, никогда не молитесь. — Прошедший вечер я

слышала, как этот бедный джентльмен молился, и очень горячо, — сказала хозяйка, — собственными ушами слышала, а то бы не поверила. — Солдат, с позволения вашего преподобия, — сказал я, — молится (по собственному почину) так же часто, как и священник, — и когда он сражается за своего короля и за свою жизнь, а также за честь свою, у него есть больше причин помолиться, чем у кого-нибудь на свете. — Ты это хорошо сказал, Трим, — сказал дядя Тоби. — Но когда солдат, — сказал я, — с позволения вашего преподобия, простоял двенадцать часов подряд в траншеях, по колени в холодной воде, — или промаялся, — сказал я, — несколько месяцев сряду в долгих и опасных переходах, — подвергаясь нечаянным нападениям с тыла сегодня — и сам нападая на других завтра; — отряжаемый туда — направляемый контрприказом сюда; — проведя одну ночь напролет под ружьем, — а другую — поднятый в одной рубашке внезапной тревогой; — продрогший до мозга костей, — не имея, может быть, соломы в своей палатке, чтобы стать на колени, — солдат поневоле молится, как и когда придется. — Я считаю, — сказал я, — потому что обижен был за честь армии, — прибавил капрал, — я считаю, с позволения вашего преподобия, — сказал я, — что когда солдат находит время для молитвы, — он молится так же усердно, как и поп, — хотя и без всяких его кривляний и лицемерия. — Ты этого не должен был говорить, Трим, — сказал дядя Тоби, — ибо только одному богу ведомо, кто лицемер и кто не лицемер: — в день большого генерального смотра всех нас, капрал, на Страшном суде (и не раньше того) видно будет, кто исполнял свой долг на этом свете и кто не исполнял; и мы получим повышение, Трим, по заслугам. — Я надеюсь, получим, — сказал Трим. — Так обещано в Священном писании, — сказал дядя Тоби, — вот завтра я тебе покажу. — А до тех пор, Трим, будем уповать на благость и нелицеприятие вседержителя, на то, что если мы исполняли свой долг на этом свете, — у нас не спросят, в красном или в черном кафтане мы его исполняли. — Надеюсь, что не спросят, — сказал капрал. — Однако же рассказывай дальше, Трим, — сказал дядя Тоби.

— Когда я взшел наверх, — продолжал капрал, — в комнату лейтенанта, что я сделал не прежде, как по истечении десяти минут, — он лежал в постели, облокотясь на подушку и подперев голову рукой, а возле него виден был чистый белый батистовый платок. — Мальчик как раз нагнулся, чтобы поднять с пола подушечку, на которой он, я так думаю, стоял на коленях, — книга лежала на постели, — и когда он выпрямился, держа в одной руке подушечку, то другой рукой взял книгу,

чтобы и ее убрать одновременно. — Оставь ее здесь, мой друг, — сказал лейтенант.

— Он заговорил со мной, только когда я подошел к самой кровати. — Если вы слуга капитана Шенди, — сказал он, — так поблагодарите, пожалуйста, вашего господина от меня и от моего мальчика за его доброту и внимание ко мне. — Если он служил в полку Ливна... — проговорил лейтенант. — Я сказал ему, что ваша милость, точно, служили в этом полку. — Так я, — сказал он, — совершил с ним три кампании во Фландрии и помню его — но я не имел чести быть с ним знакомым, и очень возможно, что он меня не знает. — Все-таки передайте ему, что несчастный, которого он так почтил своей добротой, это — некто Лефевр, лейтенант полка Энгеса, — впрочем, он меня не знает, — повторил он задумчиво. — Или знает, пожалуй, только мою историю, — прибавило он. — Послушайте, скажите капитану, что я тот самый прапорщик, жена которого так ужасно погибла под Бредой от ружейного выстрела, покоясь в моих объятиях у меня в палатке. — Я очень хорошо помню эту несчастную историю, с позволения вашей милости, — сказал я. — В самом деле? — спросил он, вытирая глаза платком, — как же мне ее тогда не помнить? — Сказав это, он достал из-за пазухи колечко, как видно висевшее у него на шее на черной ленте, и дважды его поцеловал. — Подойди сюда, Билли, — сказал он. — Мальчик подбежал к кровати — и, упав на колени, взял в руку кольцо и тоже его поцеловал — потом поцеловал отца, сел на кровать и заплакал.

— Как жаль, — сказал дядя Тоби с глубоким вздохом, — как жаль, Трим, что я не уснул.

— Ваша милость, — отвечал капрал, — слишком опечалены; — разрешите налить вашей милости стаканчик канарского ктрубке. — Налей, Трим, — сказал дядя Тоби.

— Я помню, — сказал дядя Тоби, снова вздохнув, — хорошо помню эту историю прапорщика и его жены, и особенно врезалось мне в память одно опущенное им из скромности обстоятельство: — то, что и его и ее по какому-то случаю (забыл по какому) все в нашем полку очень жалели; — однако кончай твою повесть. — Она уже окончена, — сказал капрал, — потому что я не мог дольше оставаться — и пожелал его милости покойной ночи; молодой Лефевр поднялся с кровати и проводил меня до конца лестницы; и когда мы спускались, сказал мне, что они прибыли из Ирландии и едут к своему полку во Фландрию. — Но увы, — сказал капрал, — лейтенант уже совершил свой земной путь. — Так что же тогда станет с его бедным мальчиком? — воскликнул дядя Тоби.

ГЛАВА VIII

Продолжение истории Лефевра

К великой чести дядя Тоби надо сказать, — впрочем, только для тех, которые, запутавшись между влечением сердца и требованием закона, никак не могут решить, в какую сторону им повернуть, — что, хотя дядя Тоби был в то время весь поглощен ведением осады Дендермонда параллельно с союзниками, которые благодаря стремительности своих действий едва давали ему время пообедать, — он тем не менее оставил Дендермонд, где успел уже укрепиться на контрэскарпе, — и направил все свои мысли на бедственное положение постояльцев деревенской гостиницы; распорядившись запретить на засов садовую калитку и таким образом превратив, можно сказать, осаду Дендермонда в блокаду, — он бросил Дендермонд на произвол судьбы — французский король мог его выручить, мог не выручить, как французскому королю было угодно; — дядя Тоби озачочен был только тем, как ему самому выручить бедного лейтенанта и его сына.

— Простирающий свою благодать на всех обездоленных вознаградит тебя за это.

— Ты, однако, не сделал всего, что надо было, — сказал дядя Тоби капралу, когда тот укладывал его в постель, — и я тебе скажу, в чем твои упущения, Трим. — Первым долгом, когда ты предложил мои услуги Лефевру, — ведь болезнь и дорога вещи дороге, а ты знаешь, что он всего лишь бедный лейтенант, которому приходится жить, да еще вместе с сыном, на свое жалованье, — ты бы должен был предложить ему также и кошелек мой, из которого, ты же это знаешь, Трим, он может брать, сколько ему нужно, так же, как и я сам. — Вашей милости известно, — сказал Трим, — что у меня не было на то никаких распоряжений. — Твоя правда, — сказал дядя Тоби, — ты поступил очень хорошо, Трим, как солдат, — но как человек, разумеется, очень дурно.

— Во-вторых, — правда, и здесь у тебя то же извинение, — продолжал дядя Тоби, — когда ты ему предложил все, что есть у меня в доме, — ты бы должен был предложить ему также и дом мой: — больной собрат по оружию имеет право на самую лучшую квартиру, Трим; и если бы он был с нами, — мы бы могли ухаживать и смотреть за ним. — Ты ведь большой мастер ходить за больными, Трим, — и, присоединив к твоим заботам еще заботы старухи и его сына, да мои, мы бы в два счета вернули ему силы и поставили его на ноги. —

— Через две-три недели, — прибавил дядя Тоби, улыбаясь, — он бы уже маршировал. — Никогда больше не будет он маршировать на этом свете, с позволения вашей милости, — сказал капрал. — Нет, будет, — сказал дядя Тоби, вставая с кровати, хотя одна нога его была уже разута. — С позволения вашей милости, — сказал капрал, — никогда больше не будет он маршировать, разве только в могилу. — Нет, будет, — воскликнул дядя Тоби и замаршировал обутой ногой, правда, ни на дюйм не подвинувшись вперед, — он замарширует к своему полку. — У него не хватит силы, — сказал капрал. — Его подержат, — сказал дядя Тоби. — Все-таки в конце концов он свалится, — сказал капрал, — а что тогда будет с его сыном? — Он не свалится, — сказал дядя Тоби с непоколебимой уверенностью. — Эх, что бы мы для него ни делали, — сказал Трим, отставив свои позиции, — бедняга все-таки умрет. — Он не умрет, черт побери, — воскликнул дядя Тоби.

Дух-обвинитель, полетевший с этим ругательством в небесную канцелярию, покраснел, его отдавая, — а ангел-регистратор, записав его, уронил на него слезу и смысл навсегда.

ГЛАВА IX

Дядя Тоби подошел к своему бюро — положил в карман штанов кошелек и, приказав капралу сходить рано утром за доктором, — лег в постель и заснул.

ГЛАВА X

Заключение истории Лефевра

На другое утро солнце ясно светило в глаза всех жителей деревни, кроме Лефевра и его опечаленного сына; рука смерти тяжело придавила его веки — и колесо над колодезем уже едва вращалось около круга своего — когда дядя Тоби, вставший на час раньше, чем обыкновенно, вошел в комнату лейтенанта и, без всякого предисловия или извинения, сел на стул возле его кровати; не считаясь ни с какими правилами и обычаями, он открыл полог, как это сделал бы старый друг и собрат по оружию, и спросил больного, как он себя чувствует, — как почивал ночью, — на что может пожаловаться, — где у него болит — и

что можно сделать, чтобы ему помочь; — после чего, не дав лейтенанту времени ответить ни на один из заданных вопросов, изложил свой маленький план по отношению к нему, составленный накануне вечером в сотруди́нстве с капралом. —

— Вы прямо отсюда пойдете ко мне, Лефевр, — сказал дядя Тоби, — в мой дом, — и мы пошлем за доктором, чтобы он вас осмотрел, — мы пригласим также аптекаря, — и капрал будет ходить за вами, — а я буду вашим слугой, Лефевр.

В дяде Тоби была прямота, — не результат вольного обращения, а его причина, — которая позволяла вам сразу проникнуть в его душу и показывала вам его природную доброту; с этим соединялось в лице его, в голосе и в манерах что-то такое, что неизменно манило несчастных подойти к нему и искать у него защиты; вот почему, не кончил еще дядя Тоби и половины своих любезных предложений отцу, а сын уже незаметно прижался к его коленям, схватил за отвороты кафтана и тянул его к себе. — Кровь и жизненные духи Лефевра, начинавшие в нем холодеть и замедляться и отступавшие к последнему своему оплоту, сердцу, — оправились и двинулись назад, с меркнувших глаз его на мгновение спала пелена, — с мольбой посмотрел он дяде Тоби в лицо, — потом бросил взгляд на сына, и эта связующая нить, хоть и тонкая, — никогда с тех пор не обрывалась.

Но силы жизни быстро отхлынули — глаза Лефевра снова заволоклись пеленой — пульс сделался неровным — прекратился — пошел — забился — опять прекратился — тронулся — с т а л . — Надо ли еще продолжать? — Нет.

ГЛАВА XI.

Я так рвусь вернуться к моей собственной истории, что остаток истории Лефевра, начиная от этой перемены в его судьбе и до той минуты, как дядя Тоби предложил его мне в наставники, будет в немногих словах досказан в следующей главе. — Все, что необходимо добавить к настоящей, сводится к тому, что дядя Тоби вместе с молодым Лефевром, которого он держал за руку, проводил бедного лейтенанта, во главе погребальной процессии, на кладбище — что комендант Дендермонда воздал его останкам все воинские почести — и что Йорик, дабы не отставать, — воздал ему высшую почесть церковную — похоронив его у алтаря. — Кажется даже, он произнес над ним надгробную проповедь. — Говорю: кажется, — потому

что Йорик имел привычку, как, впрочем, и большинство людей его профессии, отмечать на первой странице каждой сочиненной им проповеди, когда, где и по какому поводу она была произнесена; к этому он обыкновенно прибавлял какое-нибудь коротенькое критическое замечание относительно самой проповеди, редко, впрочем, особенно для нее лестное, — например: — Эта проповедь о Моисеевых законах — мне совсем не нравится. — Хоть я вложил в нее, нельзя не признаться, кучу ученого хлама, — но все это очень избито и сколочено самым убогим образом. — Работа крайне легковесная; что было у меня в голове, когда я ее сочинял?

— Достоинство этого текста в том, что он подойдет к любой проповеди, а достоинство проповеди в том, что она подойдет к любому тексту.

— За эту проповедь я буду повешен, — потому что украд большую ее часть. Доктор Пейдагун меня изблечил. Никто не изловит вора лучше, чем вор.

На обороте полдюжины проповедей я нахожу надпись: *так себе*, и больше ничего, — а на двух: *moderato*¹, под тем и другим (если судить по итальянскому словарю Альтиери, — но главным образом по зеленой бечевке, по-видимому выдернутой из хлыста Йорика, которой он перевязал в отдельную пачку две завещанные нам проповеди с пометкой *moderato* и полдюжины *так себе*) он разумел, можно сказать с уверенностью, почти одно и то же.

Одно только трудно совместить с этой догадкой, а именно: проповеди, помеченные *moderato*, в пять раз лучше проповедей, помеченных *так себе*; — в них в десять раз больше знания человеческого сердца, — в семьдесят раз больше остроумия и живости — и (чтобы соблюсти порядок в этом нарастании похвал) — они обнаруживают в тысячу раз больше таланта; — они, в довершение всего, бесконечно занимательнее тех, что связаны в одну пачку с ними; по этой причине, если драматические проповеди Йорика будут когда-нибудь опубликованы, то хотя я включу в их собрание только одну из числа *так себе*, однако без малейшего колебания решусь напечатать обе *moderato*.

Что мог разуметь Йорик под словами *lentamente*², *tenute*³, *grave*⁴ и иногда *adagio*⁵ — применительно к богословским про-

¹ Умеренно (*итал.*).

² Медленно, мягко (*итал.*).

³ Протяжно (*итал.*).

⁴ Важно (*итал.*).

⁵ Замедленно (*итал.*).

изведениям, когда характеризовал ими некоторые из своих проповедей, — я не берусь угадать. — Еще больше озадачен я, находя на одной *all'ottava alta*¹, на обороте другой *con strepito*², — на третьей *siciliana*³, — на четвертой *alla capella*⁴, — *con l'arco*⁵ на одной, — *senza l'arco*⁶ на другой. — Знаю только, что это музыкальные термины и что они что-то означают; а так как Йорик был человек музыкальный, то я не сомневаюсь, что, приложенные к названным произведениям, оригинальные эти метафоры вызвали в его сознании весьма различные представления о внутреннем их характере — независимо от того, что бы они вызывали в сознании других людей.

Среди этих проповедей находится и та, что, не знаю почему, завела меня в настоящее отступление, — надгробное слово на смерть бедного Лефевра, — выписанная весьма тщательно, как видно, с черновика. — Я потому об этом упоминаю, что она была, по-видимому, любимым произведением Йорика. — Она посвящена бренности и перевязана накрест тесьмой из грубой пряжи, а потом свернута в трубку и засунута в полулист грязной синей бумаги, которая, должно быть, служила оберткой какого-нибудь ежемесячного обозрения, потому что и теперь еще отвратительно пахнет лошадиным лекарством. — Были ли эти знаки уничижения умышленными, я несколько сомневаюсь, — ибо в конце проповеди (а не в начале ее) — в отличие от своего обращения с остальными — Йорик написал —

БРАВОО!

— Правда, не очень вызывающе, — потому что надпись эта помещена, по крайней мере, на два с половиной дюйма ниже заключительной строки проповеди, на самом краю страницы, в правом ее углу, который, как известно, вы обыкновенно закрываете большим пальцем; кроме того, надо отдать ей справедливость, она выведена вороньим пером таким мелким и тонким итальянским почерком, что почти не привлекает к себе внимания, лежит ли на ней ваш большой палец или нет, — так что способ ее выполнения уже наполовину ее оправдывает; будучи сделана, вдобавок, очень бледными чернилами, разбавленными настолько, что их почти незаметно, — она больше похожа на

¹ Октавой выше (*итал.*).

² С шумом (*итал.*).

³ Сицилиана (танец; *итал.*).

⁴ Без сопровождения (*итал.*).

⁵ Смычком (*итал.*).

⁶ Без смычка (*итал.*).

ritratto¹ тени тщеславия, нежели самого тщеславия, — она кажется скорее слабой попыткой мимолетного одобрения, тайно шевельнувшейся в сердце сочинителя, нежели грубым его выражением, бесцеремонно навязанным публике.

Несмотря на все эти смягчающие обстоятельства, я знаю, что, предавая поступок его огласке, я оказываю плохую услугу репутации Йорика как человека скромного, — но у каждого есть свои слабости, — и вину Йорика сильно уменьшает, почти совсем снимая ее, то, что спустя некоторое время (как это видно по другому цвету чернил) упомянутое слово было перечеркнуто штрихом, пересекающим его накрест, как если бы он отказался от своего прежнего мнения или устыдился его.

Краткие характеристики проповедей Йорика всегда написаны, за этим единственным исключением, на первом листе, который служит их обложкой, — обыкновенно на его внутренней стороне, обращенной к тексту; — однако в конце, там, где в распоряжении автора оставалось пять или шесть страниц, а иногда даже десятка два, на которых можно было развернуться, — он пускался окольными путями и, по правде говоря, с гораздо большим одушевлением, — словно ловя случай опростать себе руки для более резвых выпадов против порока, нежели те, что ему позволяла теснота церковной кафедры. Такие выпады, при всей их беспорядочности и сходстве с ударами, наносимыми в легкой гусарской схватке, все-таки являются вспомогательной силой добродетели. — Почему же тогда, скажите мне, мингер Вандер Блонедердондергьюденстронке, не напечатать их вместе со всеми остальными?

ГЛАВА XII

Когда дядя Тоби обратил все имущество покойного в деньги и уладил расчеты между Лефевром и полковым агентом и между Лефевром и всем человеческим родом, — на руках у дяди Тоби остался только старый полковой мундир да шпага; поэтому он почти без всяких препятствий вступил в управление наследством. Мундир дядя Тоби подарил капралу: — Носи его, Трим, — сказал дядя Тоби, — покуда будет держаться на плечах, в память бедного лейтенанта. — А это, — сказал дядя Тоби, взяв шпагу и обнажив ее, — а это, Лефевр, я приберегу для тебя, — это все богатство, — продолжал дядя Тоби, повесив

¹ Образ (*итал.*).

ее на гвоздь и показывая на нее, — это все богатство, дорогой Лефевр, которое бог тебе оставил; но если он дал тебе сердце, чтобы пробить ею дорогу в жизни, — и ты это сделаешь, не поступишь своей честью, — так с нас и довольно.

Когда дядя Тоби заложил фундамент и научил молодого Лефевра вписывать в круг правильный многоугольник, он отдал его в общественную школу, где мальчик и пробыл, за исключением Троицы и Рождества, когда за ним пунктуально посылался капрал, — до весны семнадцатого года. — Тут известия о том, что император двинул в Венгрию армию против турок, — зажгли в груди юноши огонь, он бросил без позволения латынь и греческий и, упав на колени перед дядей Тоби, попросил у него отцовскую шпагу и позволение пойти попытать счастья под предводительством Евгения. Дважды воскликнул дядя Тоби, позабыв о своей ране: — Лефевр, я пойду с тобой, и ты будешь сражаться рядом со мной. — И дважды поднес руку к большому паху и опустил голову, с горестью и отчаянием. —

Дядя Тоби снял шпагу с гвоздя, на котором она висела нетронутая с самой смерти лейтенанта, и передал капралу, чтобы тот вычистил ее до блеска; — потом, удержав у себя Лефевра всего на две недели, чтобы его экипировать и договориться о его проезде в Ливорно, — он вручил ему шпагу. — Если ты будешь храбр, Лефевр, — сказал дядя Тоби, — она тебе не изменит — но счастье, — сказал он (подумав немного), — счастье изменить может. — И если это случится, — прибавил дядя Тоби, обнимая его, — возвращайся ко мне, Лефевр, и мы проложим тебе другую дорогу.

Жесточайшая обида не могла бы удручить Лефевра больше, чем отеческая ласка дяди Тоби; — он расстался с дядей Тоби, как лучший сын с лучшим отцом, — оба облились слезами — и дядя Тоби, поцеловав его в последний раз, сунул ему в руку шестьдесят гиней, завязанных в старом кошельке его отца, где лежало кольцо его матери, — и призвал на него божье благословение.

ГЛАВА XIII

Лефевр прибыл в имперскую армию как раз вовремя, чтобы испытать металл своей шпаги при поражении турок под Белградом, но потом его стали преследовать одна за другой незаслуженные неудачи, гнавшие за ним по пятам в продолже-

ние четырех лет подряд; он стойко переносил эти удары судьбы до последней минуты, пока болезнь не свалила его в Марселе, откуда он написал дяде Тоби, что потерял время, службу, здоровье, словом, все, кроме шапки, — и ждет первого корабля, чтобы к нему вернуться.

Письмо это получено было недель за шесть до несчастного случая с окошком, так что Лефевра ждали с часу на час; он ни на минуту не выходил из головы у дяди Тоби, когда отец описывал ему и Йорику наставника, которого он хотел бы для меня найти; но так как дядя Тоби сначала счел несколько странными совершенства, которых отец от него требовал, то поостерегся назвать имя Лефевра, — пока характеристика эта, благодаря вмешательству Йорика, не завершилась неожиданно качествами кротости, щедрости и доброты; тогда образ Лефевра и его интересы с такой силой запечатлелись в сознании дяди Тоби, что он моментально поднялся с места; положив на стол трубку, чтобы завладеть обеими руками моего отца, — Прошу позволения, брат Шенди, — сказал дядя Тоби, — рекомендовать вам сына бедного Лефевра. — — Пожалуйста, возьмите его, — прибавил Йорик. — У него доброе сердце, — сказал дядя Тоби. — И храброе, с позволения вашей милости, — сказал капрал.

— Лучшие сердца, Трим, всегда самые храбрые, — возразил дядя Тоби. — А первые трусы в нашем полку, с позволения вашей милости, были наибольшими подлецами. — Был у нас сержант Камбер и прапорщик...

— Мы поговорим о них, — сказал отец, — в другой раз.

ГЛАВА XIV

Каким бы радостным и веселым был мир, с позволения ваших милостей, если б не этот безвыходный лабиринт долгов, забот, бед, нужды, горя, недовольства, уныния, больших приданных, плутовства и лжи.

Доктор Слуп, настоящий сын, как назвал его за это отец, — чтобы поднять себе цену, чуть не уложил меня в гроб — и наделал в десять тысяч раз больше шума по поводу оплошности Сузанны, чем она этого заслуживала; так что не прошло и недели, как уже все в доме повторяли, что бедный мальчик Шенди * * * * *
* * * * * на чистоту. — А Молва, которая лю-

бит все удваивать,— еще через три дня клялась и божилась, что видела это собственными глазами,— и весь свет, как водится, поверил ее показаниям — «что окошко в детской не только * * * * * но и * * * * * тоже».

Если бы свет можно было преследовать судом, как юридическое лицо,— отец возбудил бы против него дело за эту клевету и основательно его проучил бы; но напасть по этому поводу на отдельных лиц — — которые все без исключения, говоря о несчастье, самым искренним образом сокрушались, — значило жестоко оскорбить лучших своих друзей. — А все-таки терпеть этот слух молча — было открытым его признанием, — по крайней мере, в мнении одной половины света; опять же поднять шум его опровержением — значило столь же прочно утвердить его в мнении другой половины света. —

— Попадал ли когда-нибудь бедняга сельский джентльмен в такое затруднительное положение? — сказал отец.

— Я бы его показывал публично, — отвечал дядя Тоби, — на рыночной площади.

— Это не произведет никакого действия, — сказал отец.

ГЛАВА XV

— Пусть свет говорит что хочет, — сказал отец, — а я надену на него штаны.

ГЛАВА XVI

Есть тысяча решений, сэръ, по делам церковным и государственным, так же как и по вопросам, мадам, более частного характера, — которые, хотя они с виду кажутся принятыми и вынесенными спешно, легкомысленно и опрометчиво, были тем не менее (и если бы вы или я могли проникнуть в зал заседания или поместиться за занавеской, мы бы в этом убедились) обдуманы, взвешены и соображены — обсуждены — разобраны по косточкам — изучены и исследованы со всех сторон с таким хладнокровием, что сама богиня хладнокровия (не берусь дока-

зывать ее существование) не могла бы пожелать большего или сделать лучше.

К числу их принадлежало и решение моего отца одеть меня в штаны; хотя и принятое вдруг, — как бы в припадке раздражения, в пику всему свету, оно тем не менее уже с месяц назад подвергнуто было всестороннему обсуждению между ним и матерью, с разбором всех «за» и «против», на двух особых lits de justice, которые отец держал специально с этой целью. Природу этих постелей правосудия я разъясню в следующей главе; а в главе восемнадцатой вы пройдете со мною, мадам, за занавеску, только для того, чтобы послушать, каким образом отец с матерью обсуждали между собой вопрос о моих штанах, — отсюда вы без труда составите себе представление, как они обсуждали все вопросы меньшей важности.

ГЛАВА XVII

У древних готов, первоначально обитавших (как утверждает ученый Клуверий) в местности между Вислой и Одером, а потом вобравших в себя герулов, ругиев и некоторые другие вандалские народцы, — существовал мудрый обычай обсуждать всякий важный государственный вопрос дважды: один раз в пьяном, а другой раз в трезвом виде. — В пьяном — чтобы их постановления были достаточно энергичными, — в трезвом — чтобы они не лишены были благоразумия.

Мой отец, не пивший ничего, кроме воды, — весь извелся, ломая себе голову, как бы обратить этот обычай себе на пользу, ибо так поступал он со всем, что говорили или делали древние; только на седьмом году брака, после тысячи бесплодных экспериментов и проб, напал он на средство, отвечавшее его намерениям; — вот в чем оно состояло: когда в нашем семействе возникал какой-нибудь трудный и важный вопрос, решение которого требовало большой трезвости, а также большого воодушевления, — он назначал и отводил первую воскресную ночь месяца, а также непосредственно предшествующую субботнюю ночь на его обсуждение в постели с матерью. Благодаря этому, сэр, если вы примете в соображение * * * * *

Отец называл это в шутку своими постелями правосудия; — ибо из двух таких обсуждений, происходивших в

двух различных душевных состояниях, обыкновенно получалось некоторое среднее решение, попадавшее в самую точку мудрости не хуже, чем если бы отец сто раз напился и протрезвел.

Не буду скрывать, что этот образ действий так же хорошо подходит для литературных дискуссий, как для военных или супружеских; но не каждый автор способен последовать примеру готов или вандалов, — а если и может, то не всегда это полезно для здоровья; что же касается подражания примеру отца, — то, боюсь, не всегда это душеспасительно.

Мой метод таков: — — —

В случае деликатных и щекотливых обсуждений — (а таких в моей книге, небу известно, слишком даже много), — когда я вижу, что шагу мне не ступить, не подвергаясь опасности навлечь на себя неудовольствие или их милостей или их преподобий, — я пишу одну половину на сытый желудок, — а другую натошак, — — или пишу все целиком на сытый желудок, — а исправляю натошак, — — или пишу натошак, — — а исправляю на сытый желудок, — ведь все это сводится к одному и тому же. — — Таким образом, меньше уклоняясь от образа действий моего отца, чем он уклонялся от образа действий готов, — — я чувствую себя вровень с ним на его первой постели правосудия — и ничуть ему не уступающим на второй. — — Эти различные и почти несоместимые действия одинаково проистекают из мудрого и чудесного механизма природы, — за который — честь ей и слава. — — Все, что мы можем делать, это вращать и направлять машину к совершенствованию и лучшей фабрикации наук и искусств. — — —

И вот, когда я пишу на сытый желудок, — я пишу так, как будто мне до конца жизни не придется больше писать натошак; — — иными словами, я пишу, ни о чем на свете не заботясь и никого на свете не страшась. — — Я не считаю своих шрамов, — и воображение мое не забирается в темные подворотни и глухие закоулки, упреждая грозящие посыпаться на меня удары. — Словом, перо мое движется, как ему вздумается, и я пишу от полноты сердца в такой же степени, как и от полноты желудка. —

Но когда, с позволения ваших милостей, я сочиняю натошак, это совсем другая история. — — Тогда я оказываю свету всяческое внимание и всяческое почтение — и (пока это продолжается) бываю вооружен не хуже любого из вас той добротелью второго сорта, которую называют осмотрительностью. — — Таким образом, между постом и объединением я

легкомысленно пишу безобидную, бестолковую, веселую шендианскую книгу, которая будет благотворна для ваших сердец. — — —

— — — И для ваших голов тоже — лишь бы вы ее поняли.

ГЛАВА XVIII

— Пора бы нам подумать, — сказал отец, полуоборотясь в постели и придвинув свою подушку несколько ближе к подушке матери, чтобы открыть прения, — — пора бы нам подумать, миссис Шенди, как бы одеть нашего мальчика в штаны. — — —

— Конечно, пора, — сказала мать. — — Мы позорно это откладываем, моя милая, — сказал отец. — — —

— Я так же думаю, мистер Шенди, — сказала мать.

— Не потому, — сказал отец, — чтобы мальчик был не довольно хорош в своих курточках и рубашонках. — —

— Он в них очень хорош, — — отвечала мать. — —

— И почти грех было бы, — — прибавил отец, — снять их с него. — —

— — Да, это правда, — сказала мать. — —

— Однако мальчишка очень уж скоро растет, — продолжал отец.

— Он, в самом деле, очень велик для своих лет, — сказала мать. — —

— Ума не приложу, — сказал отец (растягивая слова), — в кого это он, к черту, пошел. — —

— Я сама не могу понять, — — сказала мать. — —

— Гм! — — сказал отец.

(Диалог на время прервался).

— Сам я очень мал ростом, — продолжал отец приподнятым тоном.

— Вы очень малы, мистер Шенди, — — сказала мать.

— Г м, — промямлил отец второй раз, отдергивая свою подушку несколько подальше от подушки матери — и снова переворачиваясь, отчего разговор прервался на три с половиной минуты.

— — Когда мы наденем на него штаны, — воскликнул отец, повышая голос, — он будет похож в них на обезьяну.

— Ему в них будет первое время очень неловко, — отвечала мать.

— Будет счастье, если не случится чего-нибудь похуже, — прибавил отец.

— Большое счастье, — отвечала мать.

— Я думаю, — продолжал отец, — сделав небольшую паузу, перед тем как высказать свое мнение, — он будет точно такой же, как и все дети. —

— Точно такой же, — сказала мать. —

— Хотя мне было бы это очень досадно, — прибавил отец.

Тут разговор снова прервался.

— Надо бы сделать ему кожаные, — сказал отец, снова переворачиваясь на другой бок. —

— Они проносятся дольше, — сказала мать.

— А подкладки к ним не надо, — сказал отец.

— Не надо, — сказала мать.

— Лучше бы их сшить из бумазеи, — сказал отец.

— Ничего не может быть лучше, — проговорила мать.

— За исключением канифасовых, — возразил отец. —

— Да, это лучше всего, — отвечала мать.

— Однако должно остерегаться, чтобы его не простудить, — прервал отец.

— Сохрани бог, — сказала мать, — и разговор снова прервался.

— Как бы там ни было, — заговорил отец, в четвертый раз нарушая молчание, — я решил не делать ему карманов.

— Они совсем не нужны, — сказала мать.

— Я говорю про кафтан и камзол, — воскликнул отец.

— Я так же думаю, — отвечала мать.

— А впрочем, если у него будет юла или волчок... — Бедные дети, для них это все равно что венец и скипетр — надо же им куда-нибудь это прятать. —

— Заказывайте какие вам нравятся, мистер Шенди, — отвечала мать.

— Разве я, по-вашему, не прав? — прибавил отец, требуя, таким образом, от матери точного ответа.

— Вполне, — сказала мать, — если это вам нравится, мистер Шенди. —

— Ну вот, вы всегда так, — воскликнул отец, потеряв терпение. — Нравится мне. — Вы упорно не желаете, миссис Шенди, и я никак не могу вас научить делать различие между тем, что нравится, и тем, что полагается. — Это происходило в воскресную ночь, — и о дальнейшем глава эта ничего не говорит.

ГЛАВА XIX

Обсудив вопрос о штанах с матерью, — отец обратился за советом к Альберту Рубению, но Альберт Рубений обошелся с ним на этой консультации еще в десять раз хуже (если это возможно), чем отец обошелся с матерью. В самом деле, Рубений написал целый ин-квартио *De re vestiaria veterum*¹, и, стало быть, его долгом было дать отцу кое-какие разъяснения. — Получилось совсем обратное: отец мог бы с большим успехом извлечь из чьей-нибудь длинной бороды семь основных добродетелей, чем выудить из Рубения хотя бы одно слово по занимавшему его предмету.

По всем другим статьям одежды древних Рубений был очень сообщителен с отцом — и дал ему вполне удовлетворительные сведения о

Тогe, или мантии,
Хламиде,
Эфode,
Тунике, или хитоне,
Синтезе,
Пенуле,
Лацерне с куколем,
Палудаменте,
Претексте,
Саге, или солдатском плаше,
Трабее, которая, согласно Светонию, была трех

родов. — —

Но какое же отношение имеет все это к штанам? — сказал отец.

Рубений выложил ему на прилавок все виды обуви, какие были в моде у римлян. — — Там находились

Открытые башмаки,
Закрытые башмаки,
Домашние туфли,
Деревянные башмаки,
Сокки,
Котурны,

И Военные башмаки на гвоздях с широкими шляпками, о которых упоминает Ювенал.

¹ Об одежде древних (*лат.*).

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Там находились | Калоши на деревянной подошве, Деревянные сандалии, Туфли, Сыромятные башмаки, Сандалии на ремешках. |
| Там находились | Войлочные башмаки, Полотняные башмаки, Башмаки со шнурками, Плетеные башмаки, Calcei incisī ¹ , Calcei rostrati ² . |

Рубений показал отцу, как хорошо все они сидели, — как они закреплялись на ноге — какими шнурками, ремешками, ремнями, лентами, пряжками и застежками. — —

— Но я хотел бы узнать что-нибудь относительно штанов, — сказал отец.

Альберт Рубений сообщил отцу, что римляне выделывали для своих платьев различные материи — — одноцветные, полосатые, узорчатые, шерстяные, затканые шелком и золотом. — — Что полотно начало входить в общее употребление только в эпоху упадка империи, когда его ввели в моду поселившиеся среди них египтяне;

— — — что лица знатные и богатые отличались тонкостью и белизной своей одежды; белый цвет (наряду с пурпуром, который присвоен был высшим сановникам) они любили больше всего и носили в дни рождения и на общественных празднествах; — — что, по свидетельству лучших историков того времени, они часто посылали чистить и белить свои платья в шерстомойни; — — но что низшие классы, во избежание этого расхода, носили обыкновенно темные платья из материй более грубой выделки — до начала царствования Августа, когда рабы стали одеваться так же, как и их господа, и были утрачены почти все различия в одежде, за исключением *latus clavus*³.

— А что это такое *latus clavus*? — спросил отец.

Рубений ему сказал, что по этому вопросу между учеными до сих пор еще идет спор. — — — Что Эгнаций, Сигоний, Боссий Тичинский, Баифий, Будей, Салмасий, Липсий, Лаций, Исаак Казабон и Иосиф Скалигер все расходятся между собой — и сам он расходится с ними. — Что великий Баифий в

¹ Башмаки с тупыми концами (подрезанные) (*лат.*).

² Башмаки с крючковатыми концами (*лат.*).

³ Широкая пурпурная полоса на тунике сенаторов (*лат.*).

своем «Гардеробе древних», глава XII, — честно признается, что не знает, что это такое — шов — запонка — пуговица — петля — пряжка — или застежка. — —

— — Отец потерял лошадь, но остался в седле. — — Это крючки и петли, — сказал отец, — и заказал мне штаны с крючками и петлями.

ГЛАВА XX

Теперь нам предстоит перенестись на новую сцену событий. — —

— — — Оставим же штаны в руках портного, который их шьет и перед которым стоит отец, опираясь на палку, читая ему лекцию о *latus clavus* и точно указывая то место пояса, где его надо пришить. — —

Оставим мою мать — (апатичнейшую из женщин) — равнодушную к этой части туалета, как и ко всему, что ее касалось, — то есть — не придававшую никакого значения тому, как вещь будет сделана, — лишь бы только она была сделана. — —

Оставим также Слопа — пусть себе извлекает все выгоды из моего бесчестия. — —

Оставим бедного Лефевра — пусть выздоравливает и выбирается из Марселя домой как знает. — — И напоследок — потому что это труднее всего — —

Оставим, если возможно, меня самого. — — Но это невозможно — я принужден сопровождать вас до самого конца этой книги.

ГЛАВА XXI

Если читатель не имеет ясного представления о клочке земли в треть акра, который примыкал к огороду дяди Тоби и на котором он провел столько восхитительных часов, — виноват не я, — а его воображение; — ведь я, право же, дал такое подробное описание этого участка, что мне почти стыдно.

Однажды под вечер, когда Судьба заглядывала вперед, в великие деяния грядущих времен, — припоминая, для каких целей назначен был непреложным ее велением этот маленький участок, — она кивнула Природе; — этого было довольно — При-

рода бросила на него пол-лопаты самого лучшего своего удобрения, — в котором было достаточно много глины для того, чтобы закрепить формы углов и зигзагов, — но в то же время слишком мало ее для того, чтобы земля не прилипала к лопате и грязь не портила столь славных сооружений в ненастную погоду.

Дядя Тоби, как уже знает читатель, привез с собой в деревню планы почти всех крепостей Италии и Фландрии; герцог Мальборо или союзники могли осадить какой угодно город, — дядя Тоби был к этому подготовлен.

Метод его был чрезвычайно прост: как только какой-нибудь город бывал обложен (— или, скорее, когда доходили известия о намерении обложить его) — дядя Тоби брал его план (какой бы это ни был город) и увеличивал до точных размеров своей лужайки, на поверхность которой и переносил, при помощи большого мотка бечевки и запаса колышков, втыкаемых в землю на вершинах углов и реданов, все линии своего чертежа; затем, взяв профиль места с его укреплениями, чтобы определить глубину и откосы рвов — покатошь гласиса и точную высоту всевозможных banquetов, брустверов и т. и. , — дядя задавал капралу работу — и она шла как по маслу. — — Характер почвы — характер самой работы — и превыше всего добрый характер дяди Тоби, сидевшего там с утра до вечера и дружески беседовавшего с капралом о делах минувших, — сообщали ей разве только название труда.

Когда крепость бывала закончена и приведена должным образом в состояние обороны, — она подвергалась обложению — и дядя Тоби с капралом закладывали первую параллель. — — Прошу не прерывать моего рассказа замечанием, что первая параллель должна быть на расстоянии, по крайней мере, трехсот саженей от главных крепостных сооружений — и что я не оставил для нее ни одного свободного дюйма; — — ибо для расширения фортификационных работ на лужайке дядя Тоби позволял себе вторгаться в примыкавший к ней огород и потому обыкновенно прокладывал свои первую и вторую параллели между рядами кочанной и цветной капусты. Удобства и неудобства такой системы будут подробно рассмотрены в истории кампаний дяди Тоби и капрала, коих то, что я ныне пишу, есть только очерк, и займет он, если расчеты мои правильны, всего три страницы (хотя бывает, что и самые мудрые расчеты опроверкиваются). — — Сами кампании займут столько же книг; поэтому боюсь, как бы эта однородная материя не оказалась слишком тяжелым грузом в столь легковесном произведении,

как настоящее, если бы я стал воспевать их в нем, как одно время собирался, — — разумеется, лучше будет напечатать их особо — мы над этим подумаем — — а тем временем удовольствуйтесь следующим очерком.

ГЛАВА XXII

Когда город с его укреплениями бывал окончен, дядя Тоби и капрал приступали к закладке своей первой параллели — — не наобум или как-нибудь — — из тех же пунктов и на тех же расстояниях, что и союзники в своей аналогичной работе; регулируя свои апроши и атаки известиями, черпавшимися дядей Тоби из ежедневных ведомостей, — дядя и капрал продвигались в течение всей осады нога в ногу с союзниками.

Когда герцог Мальборо занимал какую-нибудь позицию, — — дядя Тоби тоже занимал ее. — — И когда фас какого-нибудь бастиона или оборонительные сооружения бывали разрушены артиллерийским огнем, — — капрал брал мотыгу и производил такие же разрушения — и так далее; — — они выигрывали пространство и захватывали одно укрепление за другим, пока город не попадал в их руки.

Для того, кто радуется чужому счастью, — — не могло быть более захватывающего зрелища, как, поместившись за живой изгородью из грабов, в почтовый день, когда герцог Мальборо пробивал широкую брешь в главном поясе укреплений, — — наблюдать, в каком приподнятом состоянии дядя Тоби в сопровождении Трима выступал из дому; — — один с газетой в руке, — — другой с лопатой на плече, готовый выполнить то, что там было напечатано. — — Какое чистосердечное торжество на лице дяди Тоби, когда он шагал к крепостному валу. Каким острым наслаждением увлажнялись его глаза, когда он стоял над работавшим капралом, десять раз перечитывая ему сообщение, чтобы Трим, боже упаси, не пробил брешь дюймою шире — или не оставил ее дюймою уже. — — Но когда барабанный бой возвещал сдачу и капрал помогал дяде подняться на укрепления, следуя за ним со знаменем в руке, дабы водрузить его на крепостном валу... — Небо! Земля! Море! — — Но что толку в обращениях? — — из всех ваших стихий, сухих или влажных, никогда не приготавливали вы столь пьянящего напитка.

По этой дороге счастья многие годы, без единого перерыва, кроме тех случаев, когда по неделе или по десяти дней сряду

дул западный ветер, который задерживал фландрскую почту и подвергал наших героев на этот срок мукам ожидания, — но то были все же муки счастливых, — по этой дороге, повторяю, дядя Тоби и Трим двигались многие годы, и каждый год, а иногда даже каждый месяц, благодаря изобретательности то того, то другого, вносил в их операции какую-нибудь новую выдумку или остроумное усовершенствование, применение которых всегда открывало для них новые источники радости.

Кампания первого года проведена была от начала до конца по только что изложенному простому и ясному методу.

На второй год, после взятия Льежа и Руремонда, дядя Тоби счел себя вправе обзавестись четырьмя красивыми подъемными мостами, из которых два были уже точно описаны мной в предыдущих частях этого произведения.

В конце того же года дядя завел также пару ворот с опускаемыми решетками; — эти последние были потом усовершенствованы таким образом, что каждый прут решетки мог опускаться отдельно; а зимой того же года дядя Тоби, вместо нового платья, которое он всегда заказывал к Рождеству, угостил себя красивой караульной будкой, поставив ее в углу лужайки, там, где у основания гласиса устроена была небольшая эспланада, на которой дяди держал с капралом военные советы.

— — Караульная будка была на случай дождя.

Все это следующей весной было трижды покрыто белой краской, так что дядя Тоби мог начать кампанию с большим блеском.

Отец часто говорил Йорику, что если бы подобную вещь сделал кто-нибудь другой, а не дядя Тоби, все усмотрели бы в этом утонченнейшую сатиру на пышность и помпу, которыми Людовик XIV обставлял свои выступления в поход с самого начала войны, особенно же в том году. — — Но это не в характере моего брата Т о б и , — прибавлял о т е ц , — добряк никого не способен оскорбить.

Но давайте будем продолжать.

ГЛАВА XXIII

Я должен заметить, что хотя в кампанию первого года часто повторялось слово *город*, — однако никакого города внутри крепостного полигона в то время не было; это нововведение появилось только летом того года, когда были выкрашены

мосты и караульная будка, то есть в период третьей кампании дяди Тоби, — когда после взятия одного за другим Амберга, Бонна, Рейнсберга, Гюи и Лимбурга капралу пришлось на ум, что говорить о взятии стольких городов, не имея ни одного города, который бы их изображал, — было крайней нелепостью; поэтому он предложил дяде Тоби обзавестись небольшой моделью города, — которую можно было бы соорудить из полудюймовых планочек и потом выкрасить и поставить раз навсегда на крепостном полигоне.

Дядя Тоби сразу оценил достоинства этого проекта и сразу с ним согласился, но с добавлением двух замечательных усовершенствований, которыми он гордился почти столько же, как если бы был автором самого проекта.

Во-первых, их город должен быть построен точно в стиле тех городов, которые ему всего вероятнее предстояло изображать: — с решетчатыми окнами, с высокими треугольными фронтонами домов, выходящих на улицу, и т. д. и т. д. — как в Генте, Брюгге и прочих городах Брабанта и Фландрии.

Во-вторых, дома в этом городе не должны быть скреплены между собой, как предлагал капрал, но каждый из них должен быть самостоятельным, так чтобы их можно было прицеплять и отцеплять, располагая согласно плану любого города. К исполнению проекта было приступлено немедленно, и дядя Тоби с капралом обменялись многими, очень многими взглядами, полными взаимных поздравлений, когда плотник сидел за работой.

— — Надежды их блестяще оправдались на следующее лето — — город был в полном смысле слова Протей — — то был и Ланден, и Треребах, и Сантвлиет, и Друзен, и Гагенау — и Остенде, и Менен, и Ат, и Дендермонд. —

Верно, никогда ни один город, со времени Содомы и Гоморры, не играл столько ролей, как город дяди Тоби.

На четвертый год дядя Тоби, найдя, что у города смешной вид без церкви, поставил в нем прекрасную церковь с островерхой колокольной. — — Трим был за то, чтобы повесить в ней колокола; — — дядя Тоби сказал, что металл лучше употребить на отливку пушек.

Это привело к появлению в очередную кампанию полудюжины медных полевых орудий, — которые расставлены были по три с обеих сторон караульной будки дяди Тоби; через короткое время за этим последовало дальнейшее увеличение артиллерийского парка, — потом еще (как всегда бывает в

делах, где замешан конек) — от орудий полудюймового калибра они дошли до ботфортов моего отца.

В следующем году, когда осажден был Лилль и в конце которого попали в наши руки Гент и Брюгге, — дядя Тоби оказался в большом затруднении по части подходящих боевых припасов; — — говорю: подходящих, — — потому что его тяжелая артиллерия не выдержала бы пороха, к счастью для семейства Шенди. — — Ибо газеты от начала и до конца осады были до того переполнены непрерывным огнем, который поддерживался осаждающими, — — и воображение дяди Тоби было так разгорячено его описаниями, что он непременно разнес бы в прах всю свою недвижимость.

Чего-то, стало быть, не хватало — какого-то суррогата, который бы создавал, особенно в два-три самых напряженных момента осады, иллюзию непрерывного огня, — — и это что-то восполнил капрал (главная сила которого заключалась в изобретательности) при помощи собственной, совершенно новой системы артиллерийского огня, — — не то военные критики до скончания века попрекали бы дядю Тоби за столь существенный пробел в его военном аппарате.

Пояснение сказанного не проиграет, если я начну, по своему обыкновению, немножко издалека.

ГЛАВА XXIV

Наряду с двумя-тремя другими безделушками, незначительными сами по себе, но дорогими как память, — которые прислал капралу несчастный его брат, бедняга Том, вместе с известием о своей женитьбе на вдове еврея, — были:

шапка монтеро и две турецкие трубки.

Шапку монтеро я сейчас опишу. — — Турецкие трубки не заключали в себе ничего особенного; они были сделаны и украшены, как обыкновенно; чубуки имели гибкие сафьяновые, украшенные витым золотом и оправленные на конце: один — слоновой костью, другой — эбеновым деревом с серебряной инкрустацией.

Мой отец, подходивший к каждой вещи по-своему, не так, как другие люди, говорил капралу, что ему следует рассматривать эти два подарка скорее как доказательство разборчивости своего брата, а не как знак его дружеских чувств. —

Тому неприятно было, — говорил он, — надевать шапку еврея или курить из его трубки. — Господь с вами, ваша милость, — отвечал капрал (приведя веское основание в пользу обратного мнения), — как это можно. —

Шапка монтеро была ярко-красная, из самого тонкого испанского сукна, окрашенного в шерсти, и оторочена мехом, кроме передней стороны, где поставлено было дюйма четыре слегка расшитой шелком голубой материи; — должно быть, она принадлежала какому-нибудь португальскому каптенармусу, но не пехотинцу, а кавалеристу, как показывает самое ее название.

Капрал немало ею гордился, как вследствие ее качеств, так и ради ее дарителя, почему надевал ее лишь изредка, по самым торжественным дням; тем не менее ни одна шапка монтеро не служила для столь разнообразных целей; ибо во всех спорных вопросах, военных или кулинарных, если только капрал уверен был в своей правоте, — он ею клялся, — бился ею об заклад — или дарил ее.

— В настоящем случае он ее дарил.

— Обязуюсь, — сказал капрал, разговаривая сам с собой, — подарить мою шапку монтеро первому нищему, который подойдет к нашей двери, если я не устрою этого дела к удовольствию его милости.

Исполнение взятого им на себя обязательства последовало уже на другое утро, когда произведен был штурм контрэскарпа между Нижним шлюзом и воротами Святого Андрея — по правую сторону, — и воротами Святой Магдалины и рекой — по левую.

То была самая достопамятная атака за всю войну, — самая доблестная и самая упорная с обеих сторон, — а также, должен прибавить, и самая кровопролитная, ибо одним только союзникам она стоила в то утро свыше тысячи ста человек, — не удивительно, что дядя Тоби к ней приготовился с особенной торжественностью.

Накануне вечером, перед отходом ко сну, дядя Тоби распорядился, чтобы парик рамильи, который много лет лежал вывернутый наизнанку в уголке старого походного сундука, стоявшего возле его кровати, был вынут и положен на крышку этого сундука, приготовленный к завтрашнему утру; — и первым движением дяди Тоби, когда он соскочил с кровати в одной рубашке, было, вывернув парик волосами наружу, — надеть его. — После этого он перешел к штанам; застегнув кушак, он сразу же опоясался портупеей и засунул в нее до

половины шпагу, — но тут сообразил, что надо побриться и что будет очень неудобно заниматься бритвем со шпагой на боку, — тогда он ее снял. — А попробовав надеть полковой кафтан и камзол, дядя Тоби встретил такую же помеху в своем парике, — почему снял и парик. Таким образом, хватаясь то за одно, то за другое, как это всегда бывает, когда человек торопится, — дядя Тоби только в десять часов, то есть на целых полчаса позже положенного времени, вырвался из дому.

ГЛАВА XXV

Едва только дядя Тоби обогнул угол тисовой изгороди, отделявшей огород от его лужайки, как увидел, что капрал уже начал без него атаку. — —

Позвольте мне чуточку остановиться, чтобы наглядно изобразить вам капралово снаряжение — и самого капрала в разгар атаки именно так, как это открылось взорам дяди Тоби, когда он повернул к будке, у которой трудился капрал, — — ведь другой такой картины не сыскать в природе, — — и никакое сочетание самого причудливого и фантастического, что в ней есть, не в состоянии произвести что-либо подобное.

Капрал — —

— — Ступайте бережно на его прах, вы, люди, отмеченные печатью гения, — ибо он был вам сродни. —

Выпалывайте начисто его могилу, вы, люди добронравные, — ибо он был ваш брат. — О капрал, будь ты в живых теперь, — — теперь, когда я в состоянии накормить тебя обедом и дать тебе приют, — как бы я за тобой ухаживал. Ты носил бы шапку монтеро всякий час дня и всякий день недели, — и если бы она изнасилась, я бы купил тебе две новых.

— — Но увы, увы, увы, теперь, когда я могу это сделать, невзирая на их преподобия, — случай упущен — потому что тебя уже нет; — дух твой улетел на те звезды, с которых он спустился, — и твое горячее сердце со всеми его обильными и открытыми сосудами обратилось в прах дольний.

— — Но что всё это — — что всё это по сравнению с той страшной страницей впереди, на которой взорам моим рисуется бархатный гробовой покров, убранный военными знаками отличия твоего господина — первого — лучшего из всех когда-либо живших на свете людей; — — на которой я увижу, вер-

ный слуга, как дрожащей рукой кладешь ты крестообразно на гроб шпагу его и ножны, а потом возвращаешься к дверям, бледный как полотно, чтобы взять под уздцы покрытого траурной попоной коня его и следовать за похоронными дрогами, как он тебе приказал; — на которой — все системы моего отца будут опрокинуты его горем, и я увижу, как, наперекор своей философии, он рассматривает полированную надгробную доску, дважды сняв с носа очки, чтобы вытереть росу, которой их увлажнила природа. — — Когда я увижу, с каким безутешным видом бросает он в могилу розмарин, и в ушах моих раздастся: — — О Тоби, в каком углу вселенной сыщу я тебе подобного?

— — Силы небесные, отверзшие некогда уста немого в этом несчастье и даровавшие плавную речь языку заики, — когда я дойду до этой страшной страницы, смилуйтесь, подайте мне руку помощи.

ГЛАВА XXVI

Капрал, приняв накануне вечером решение восполнить упомянутый большой пробел посредством устройства в разгар атаки чего-нибудь, похожего на непрерывный огонь против неприятеля, — но имел в виду в то время ничего больше, как только пускать табачный дым на город из одного из шести полевых орудий дяди Тоби, поставленных по обе стороны караульной будки; а так как в ту же минуту его осенила мысль, каким образом это осуществить, то хотя он и поручился своей шапкой, однако уверен был, что ей не грозит никакой опасности от неудачи его планов.

Прикинув в уме и так и этак, капрал вскоре нашел, что посредством двух своих турецких трубок, с придачей каждой из них у нижнего конца трех замшевых чубуков поменьше, продолженных таким же количеством жестяных трубочек, которые он предполагал вставить в запальные отверстия у пушек, обмазав их в этом месте глиной, а в местах их вхождения в сафьяновые чубуки плотно обвязав вошным шелком, — он в состоянии будет открыть огонь из шести полевых орудий разом с такой же легкостью, как из одного.

— — Кто решится отрицать, что самые ничтожные мелочи подчас дают толчок для прогресса человеческого знания. Кто,

прочитав первую и вторую постели правосудия моего отца, решится встать и сказать, из столкновения каких тел возможно и каких невозможно высечь свет, содействующий совершенству наук и искусств. — — — Небо, ты знаешь, как я их люблю; ты знаешь тайны сердца моего и то, что в эту самую минуту я бы отдал мою рубашку... — — Ты, Шенди, дура л ей , — слышу я голос Е в г е н и я , — ведь их у тебя всего-навсего дю ж и н а , — и ты эту дюжину разрознишь. — —

Не беда, Евгений; я бы снял с тела рубашку и дал пере-
речь ее на трут, только бы удовлетворить пытливого исследо-
вателя, желающего сосчитать, сколько искр можно высечь ей
в зад при хорошем ударе хорошим кремнем и огнивом. — —

А не думаете вы, что, всекая искры в н е е , — он может случай-
но высечь кое-что из нее? Непременно.

Но этот проект я затрагиваю вскользь.

Капрал просидел большую часть ночи над усовершенство-
ванием собственного проекта; хорошенько проверив свои ору-
дия и зарядив их табаком до самого жерла , — он лег, доволь-
ный, спать.

ГЛАВА XXVII

Капрал выскользнул из дому минут за десять перед дядей
Тоби, чтобы наладить свое снаряжение и пальнуть раза два
по неприятелю до прихода дяди Тоби.

С этой целью он выстроил все шесть орудий тесно в ряд
перед караульной будкой, оставив лишь посередине промежу-
ток ярда в полтора, с тремя орудиями направо от него и тремя
налево, чтобы удобнее было заряжать и т. д. — а может быть
также, считая, что две батареи делают вдвое больше чести,
нежели одна.

Сам капрал мудро занял пост в тылу, лицом к проходу и
спиной к дверям караулки, дабы обезопасить себя с флан-
гов. — — Он держал трубку из слоновой кости, принадлежав-
шую к батарее справа, между указательным и большим паль-
цами правой р у к и , — а трубку из эбенового дерева с серебром,
которая принадлежала к батарее слева, между указательным
и большим пальцами левой р у к и , — и, крепко упершись в зем-
лю правым коленом, как если бы он находился в первом ряду
своего взвода, а на голову нахлобучив шапку монтера, ожесто-
ченно обстреливал перекрестным огнем, из обеих батарей одно-

временно, контрагарду напротив контрэскарпа, где должна была произойти атака в то утро. Первоначальным его намерением, как я уже сказал, было пустить на неприятеля один-два клуба табачного дыма; однако удовольствии, доставляемое капралу этим попыхиванием, было так велико, что он незаметно увлекся, затяжка следовала за затяжкой, и когда к нему подошел дядя Тоби, атака была уже в полном разгаре.

Счастье для моего отца, что дяде Тоби не пришлось составлять в тот день завещание.

ГЛАВА XXVIII

Дядя Тоби взял у капрала трубку из слоновой кости, — посмотрел на нее полминуты и отдал назад.

Меньше чем через две минуты дядя Тоби снова взял эту трубку, поднес ее почти к самым губам — и поспешно вернулся капралу во второй раз.

Капрал с удвоенной силой продолжал атаку, — дядя Тоби улыбнулся, — потом сделался серьезен, — потом снова на мгновение улыбнулся, — потом снова сделался серьезен, надолго. — Дай-ка мне трубку из слоновой кости, Трим, — сказал дядя Тоби, — Дядя Тоби поднес ее к губам, — поспешно отдернул, — бросил украдкой взгляд в сторону грабовой изгороди; — у дяди Тоби весь рот наполнился слюной: никогда еще его так не тянуло к трубке. — Дядя Тоби удалился в будку с трубкой в руке.

— Милый дядя Тоби, не ходи в будку с трубкой, — никто не может за себя поручиться с подобной штукой в таком уголке.

ГЛАВА XXIX

А теперь я попрошу читателя помочь мне откатить артиллерию дяди Тоби за сцену, — удалить его караульную будку и, если можно, очистить театр от горнверков и демилюнов, а также убрать с дороги все прочие его военные побрякушки; после этого, дорогой друг Гаррик, снимем нагар со свечей,

чтобы они горели я р ч е , — подметим сцену новой метлой, — поднимем занавес и выведем дядю Тоби в новой роли, которую он сыграет совершенно неожиданным для вас образом; а все-таки, если жалость родственница любви — и храбрость ей не чужая я , — вы достаточно видели дядю Тоби во власти двух названных чувств для того, чтобы подметить фамильное сходство между ними (если оно есть) к полному вашему удовлетворению.

Пустая наука, ты не оказываешь нам помощи ни в одном из подобных случаев — и только вечно сбиваешь с толку.

Дядя Тоби, мадам, отличался простодушием, так далеко увидившим его с извилистых тропинок, по которым обыкновенно движутся дела этого рода, что вы не можете — вам не под силу — составить об этом понятие; вдобавок ему свойственны были такой безыскусственный и наивный образ мыслей и такое чуждое всякой недоверчивости неведение складок и изгибов женского сердца, — — он стоял перед вами таким голым и беззащитным (когда не думал ни о каких осадах), что вы могли бы поместиться за одной из ваших извилистых дорожек и стрелять дяде Тоби прямо в сердце по десяти раз на день, если бы девяти раз, мадам, было недостаточно для ваших целей.

Прибавьте к тому же — — и это, в свою очередь, тоже смешивало все карты, ма да м , — беспримерную природную стыдливость дяди Тоби, о которой я вам когда-то говорил и которая, к слову сказать, стояла бессмысленным часовым на страже его чувств, так что вы могли бы скорее... Куда же, однако, я забрался? Эти размышления приходят мне в голову, по крайней мере, на десять страниц раньше, чем надо, и отнимают время, которое я должен уделить фактам.

ГЛАВА XXX

Из немногочисленных законных сыновей Адама, сердца которых никогда не знали, что такое жало любви, — (женоненавистников я отсюда исключаю, считая их всех незаконнорожденными) — — девять десятых, добившихся этой чести, составляют величайшие герои древней и новой истории; ради них я бы хотел достать со дна колодца, хотя бы только на пять минут, ключ от моего кабинета, чтобы поведать вам их име-

на — припомнить их я не в состоянии, — так благоволите пока что принять вместо них вот какие. — —

Жили на свете великий король Альдрованд, и Босфор, и Каппадокий, и Дардан, и Понт, и Азий, — — — не говоря уж о твердокаменном Карле XII, с которым ничего не могла сделать даже графиня К***. — — — Жили на свете Вавилоник, и Медитерраней, и Поликсен, и Персик, и Прусик, из которых ни один (за исключением Каппадокия и Понта, на которых падают некоторые подозрения) ни разу не склонился перед богиней любви. — — Правда, у них у всех были другие дела — — как и у дяди Тоби — пока Судьба — пока Судьба — говорю, позавидовав тому, что его покрытое славой имя перейдет в потомство наравне с именами Альдрованда и прочих, — — не состряпала предательски Утрехтского мира.

Поверьте мне, милостивые государи, это было наихудшее из всех ее дел в том году.

ГЛАВА XXXI

В числе многих дурных последствий Утрехтского мира было то, что он едва не вселил дяде Тоби отвращения к осадкам; и хотя впоследствии вкус к ним у него восстановился, однако даже Кале не оставил в сердце Марии такого глубокого шрама, как Утрехт в сердце дяди Тоби. До конца своей жизни он не мог слышать слово *Утрехт*, по какому бы поводу оно ни произносилось, — не мог даже читать известий, заимствованных из Утрехтской газеты, без тяжкого вздоха, как если бы сердце его разрывалось пополам.

Мой отец, который был великим разгадчиком мотивов и, стало быть, человеком, с которым было весьма опасно садиться рядом, — ибо когда вы смеялись или плакали, он обыкновенно знал мотивы вашего смеха или слез гораздо лучше, нежели вы сами, — отец всегда в подобных случаях утешал дядю Тоби словами, которые ясно показывали, что, по его мнению, в этом деле дядя Тоби больше всего огорчен был потерей своего конька. — — Не горюй, брат Тоби, — — говорил он, — бог даст, на днях у нас снова возгорится война; а когда она начнется, — воюющие державы, как они ни хлопочи, не могут помешать нам вступить в игру. — — Пусть-ка попробуют, дорогой Тоби, — прибавлял он, — занять страну, не заняв городов, — или занять города, не подвергнув их осаде.

Дядя Тоби никогда не принимал благосклонно этих косвенных ударов отца по его коньку. — Он находил их неблагородными; тем более что, метя в коня, отец задевал также и всадника, да вдобавок еще по самому малопочтенному месту, какое только может подвергнуться удару; вот почему в таких случаях дядя Тоби всегда клал на стол свою трубку, чтобы защищаться с большей горячностью, чем обыкновенно.

Я сказал читателю два года тому назад, что дядя Тоби не был красноречив, и на той же самой странице привел пример, опровергающий это утверждение. — Повторяю сказанное и снова привожу факт, ему противоречащий. — Дядя Тоби не был красноречив, — ему не легко давались длинные речи, — и он терпеть не мог речей цветистых; но бывали случаи, когда поток выходил из берегов и устремлялся с такой силой по неприличному руслу, что в некоторых местах дядя Тоби по меньшей мере равнялся Тертуллиану — а в других, по моему мнению, бесконечно превосходил его.

Одна из этих апологетических речей дяди Тоби, произнесенная однажды вечером перед ним и Йориком, так понравилась отцу, что он ее записал, перед тем как лечь спать.

Мне посчастливилось ее разыскать в бумагах отца со вставками там и здесь его собственных замечаний, заключенных в квадратные скобки, вот так [], и с надписью:

«Оправдание братом Тоби правил и поведения, коих он держится, желая продолжения войны».

Могу честно сказать; я перечитал эту апологетическую речь дяди Тоби сто раз и считаю ее образцом искусной защиты, проникнутой благороднейшим духом рыцарства и правилами высокой нравственности, почему и привожу ее здесь слово в слово (с приписками между строк и всем прочим), так, как я ее нашел.

ГЛАВА XXXII

Апологетическая речь дяди Тоби

Я знаю, брат Шенди, что профессиональный военный, желая войны, как желал ее я, — производит дурное впечатление в обществе — и что, как бы ни были справедливы и чисты его намерения, — нелегко ему бывает оправдаться перед людьми, на взгляд которых он это делает по эгоистическим соображениям. —

Вот почему, если солдат человек благоразумный, каковым он может быть без малейшего ущерба для своей храбрости, он, разумеется, не обмолвится о своем желании перед недругами; ибо, что бы он ни говорил, недруг ему не поверит. — Он остережется его высказать даже перед другом, — дабы не уронить себя в его мнении. — Но когда сердце его переполнено и его заветные мечты ищут выхода, он прибережет их для ушей брата, который знает его в совершенстве, которому известны его истинные взгляды, наклонности и правила чести. Каким был я, надеюсь, в этом отношении, брат Шенди, мне говорить не приходится, — гораздо хуже, я это знаю, чем должно было, — и даже, может быть, хуже, чем сам я думаю. Но каков я ни есть, дорогой брат Шенди, вы, вскормленный той же грудью, что и я, — вы, с которым я воспитывался с колыбели — и от которого с первых наших детских игр и до сего времени я не утаил ни одного поступка в моей жизни и даже, пожалуй, ни одного помысла, — каков я ни есть, братец, вы не можете не знать меня со всеми моими пороками, а также со всеми слабостями, присущими моему возрасту, моему характеру, моим страстям или моему разумению.

Скажите же мне, дорогой брат Шенди, который из этих недостатков дает вам право предполагать, будто брат ваш, осудив Утрехтский мир и жалея, что война не продолжалась с должной решительностью еще некоторое время, руководился недостойными соображениями; — или же право считать его желание воевать желанием продолжать избивание своих ближних, — желанием увеличить число рабов и изгнать еще больше семейств из мирных жилищ — просто для собственного удовольствия? — Скажите мне, брат Шенди, на каком моем проступке вы основываете свое неблагоприятное мнение? — [Ей-богу, милый Тоби, я не знаю за тобой никаких проступков, кроме одного: ты взял у меня в долг сто фунтов на продолжение этих проклятых осад.]

Если, будучи школьником, я не мог слышать бой барабана без того, чтобы не забилося сердце, — разве это моя вина? — Разве я насадил в себе эту наклонность? — Разве я забил в душе моей тревогу, а не Природа?

Когда «Гай граф Ворик», «Паризм», «Паризмен», «Валентин и Орсон» и «Семь английских героев» ходили по рукам в нашей школе, — разве я не купил их все на мои карманные деньги? Разве это было своекорыстно, братец Шенди? Когда мы читали про осаду Трои, длившуюся десять лет и восемь месяцев, — хотя с той артиллерией, какой мы располагали

под Намюром, город можно было взять в одну неделю, — разве не был я опечален гибелью греков и троянцев столько же, как и другие наши школьники? Разве не получил я трех ударов ферулой, двух по правой руке и одного по левой, за то, что обозвал Елену стервой? Разве кто-нибудь из вас пролил больше слез по Гекторе? И когда царь Приам пришел в греческий стан просить о выдаче его тела и с плачем вернулся в Трою, ничего не добившись, — вы знаете, братец, я не мог есть за обедом.

— — Разве это свидетельствовало о моей жестокости? И если кровь во мне закипела, брат Шенди, а сердце замирало при мысли о войне и о походной жизни, — разве это доказательство, что оно не может также скорбеть о бедствиях войны?

О брат! Одно дело для солдата стяжать лавры — и другое дело разбрасывать кипарисы. — [Откуда узнал ты, милый Тоби, что древние употребляли кипарис в траурных обрядах?]

— — Одно дело для солдата, брат Шенди, рисковать своей жизнью — прыгать первым в траншею, зная наверно, что его там изрубят на куски; — — одно дело из патриотизма и жажды славы первым ворваться в пролом, — держаться в первых рядах и храбро маршировать вперед под бой барабанов и звуки труб, с развевающимися над головой знаменами; — — одно дело, говорю, вести себя таким образом, брат Шенди, — и другое дело размышлять о бедствиях войны — и сокрушаться о разорении целых стран и о невыносимых тяготах и лишениях, которые приходится терпеть самому солдату, орудию этих зол (за шесть пенсов в день, если только ему удастся их получить).

Надо ли, чтобы мне говорили, дорогой Йорик, как это сказали вы в надгробном слове о Лефевре, что столь кроткое и мирное создание, как человек, рожденное для любви, милосердия и добрых дел, к этому не предназначено?

— — Но отчего не прибавили вы, Йорик, что если мы не предназначены к этому природой, — то нас к этому принуждает необходимость? — Ибо что такое война? что она такое, Йорик, если вести ее так, как мы ее вели, на началах свободы и на началах чести? — что она, как не объединение спокойных и безобидных людей, со шпагами в руках, для того, чтобы держать в должных границах честолюбцев и буянов? И небо свидетель, брат Шенди, что удовольствие, которое я нахожу в этих вещах, — и в частности, бесконечные восторги, которые

были мне доставлены моими осадами на зеленой лужайке, проистекали у меня и, надеюсь, также и у капрала, от присутствующего нам обоим сознания, что, занимаясь ими, мы служили великим целям мироздания.

ГЛАВА XXXIII

Я сказал читателю-христианину — — говорю: христианину — — — в надежде, что он христианин, — если же нет, мне очень жаль — — я прошу его только спокойно поразмыслить и не валить всю вину на эту к н и г у . —

Я сказал ему, с э р , — — ведь, говоря начистоту, когда человек рассказывает какую-нибудь историю таким необычным образом, как это делаю я, ему постоянно приходится двигаться то вперед, то назад, чтобы держать всё слаженным в голове читателя, — — и если я не буду теперь в отношении моего собственного рассказа вести себя осмотрительнее, чем раньше, — — теперь, когда мною изложено столько расплывчатых и двусмысленных тем с многочисленными перерывами и проблемами в н и х , — — и когда так мало проку от звездочек, которые я тем не менее представляю в некоторых самых темных местах, зная, как легко люди сбиваются с пути даже при ярком свете полуденного солнца — — ну вот, вы видите, что теперь и сам я сбился. — — —

Но в этом виноват мой отец; и если когда-нибудь будет анатомирован мой мозг, вы без очков разглядите, что отец оставил там толстую неровную нитку вроде той, какую можно иногда видеть на бракованном куске батиста: она тянется во всю длину куска, и так неровно, что вы не в состоянии выкроить из него даже ** (здесь я снова поставлю пару звездочек) — — или ленточку, или напальник без того, чтобы она не показалась или не чувствовалась. — —

Quanto id diligentius in liberis procreandis cavendum¹, говорит Кардан. Сообразив все это и приняв во внимание, что, как вы видите, для меня физически невозможно возвращение к исходному пункту — — — —

Я начинаю главу сызнава.

¹ Сколь тщательно следует этого остерегаться, производя детей (лат.).

и крепостных валах или главных укреплениях города. — — Нет, — это никуда не годится, капрал, — — сказал дядя Тоби, — ведь если мы возьмемся за работу таким образом, то английский гарнизон в городе ни одного часу не будет в безопасности, ибо если французы вероломны... — Они вероломны, как дьяволы, с позволения вашей милости, — сказал капрал. — — Мне всегда больно это слышать, Трим, — сказал дядя Тоби, — ведь у них нет недостатка в личной храбрости, и если в крепостных валах сделан пролом, они могут в него проникнуть и завладеть крепостью, когда им вздумается. — — Пусть только сунутся, — промолвил капрал, поднимая обеими руками заступ, словно намереваясь сокрушить все кругом, — пусть только сунутся — — с позволения вашей милости — — если посмеют. — — В таких случаях, капрал, — сказал дядя Тоби, скользнув правой рукой до середины своей трости и поднимая ее перед собой наподобие маршальского жезла, с протянутым вперед указательным пальцем, — — в таких случаях коменданту не приходится разбирать, что посмеет сделать неприятель — и чего он не посмеет; он должен действовать осмотрительно. Мы начнем с внешних укреплений, как со стороны моря, так и со стороны суши, в частности с форта Людовика, наиболее удаленного из всех, и сроем его в первую очередь, — а затем разрушим и все остальные, один за другим, по правую и по левую руку, по мере нашего приближения к городу; — — потом разрушим мол — и засыплем гавань, — — потом отступим в крепость и взорвем ее; а когда все это будет сделано, капрал, мы отплывем в Англию. — Да ведь мы в Англии, — проговорил капрал, приходя в себя. — — Совершенно верно, — сказал дядя Тоби, — — взглянув на церковь.

ГЛАВА XXXV

Все такие обманчивые, но усладительные совещания между дядей Тоби и Тримом относительно разрушения Дюнкерка — на миг возвращали дяде Тоби ускользавшие от него удовольствия. — — Все-таки — все-таки тягостное то было время — померкшее очарование расслабляло душу, — Тишина в сопровождении Безмолвия проникла в уединенный покой и окутала густым флером голову дяди Тоби, — а Равнодушие с обмяклыми мускулами и безжизненным взглядом спокойно уселось рядом с ним в его кресло. — — Амберг, Рейнсберг, Ли-

бург, Гюи, Бонн в одном году и перспектива Ландена, Требаха, Друзена, Дендермонда на следующий год теперь уже не учащали его пульса; — сапы, мины, заслоны, туры и палисады не держали больше в отдалении этих врагов человеческого покоя; — дядя Тоби не мог больше, форсировав французские линии за ужином, когда он ел свое яйцо, прорваться оттуда в сердце Франции, — — переправиться через Уазу и, оставив открытой в тылу всю Пикардию, двинуться прямо к воротам Парижа, а потом заснуть, убаюканный мечтами о славе; — ему больше не снилось, как он водружает королевское знамя на башне Бастилии, и он не просыпался с его плеском в ушах. — — Образы более нежные — — более гармонические вибрации мягко прокрадывались в его сон; — — военная труба выпала у него из рук, — — он взял лютню, сладкогласный инструмент, деликатнейший, труднейший из всех, — — как-то ты заиграешь на нем, милый дядя Тоби?

ГЛАВА XXXVI

По свойственной мне неосмотрительности я раза два выразил уверенность, что последующие заметки об уходе за вдовой Водмен, если я найду когда-нибудь время написать их, окажутся одним из самых полных компендиев основ и практики любви и волокитства, какие когда-либо были выпущены в свет. — — Так неужели вы собираетесь отсюда заключить, что я намерен определять, что такое любовь? Сказать, что она отчасти бог, а отчасти диавол, как утверждает Плотин — — —

— — — Или же, при помощи более точного уравнения, обозначив любовь в целом цифрой десять, — — определить вместе с Фичино, «сколько частей в ней составляет первый и сколько второй»; — — или не является ли вся она, от головы и до хвоста, одним огромным диаволом, как взял на себя смелость провозгласить Платон, — — самонадеянность, относительно которой я не выскажу своего мнения, — — но мое мнение о Платоне то, что он, по-видимому, судя по этому примеру, очень напоминал по складу своего характера и образу мыслей доктора Бейнярда, который, будучи большим врагом вытяжных пластырей и считая, что полдюжины таких пластырей, поставленных одновременно, так же верно способны стащить человека в могилу, как запряженные шестеркой похоронные дроги, — — немного поспеш-

но заключал, что сам сатана есть не что иное, как огромная шанская муха. — —

Людам, которые позволяют себе такие чудовищные вольности в доказательствах, я могу сказать только то, что Назианзин говорил (в полемическом задоре, конечно) Филагрию — —

«Ἔγγυε!» Чудесно. Замечательное рассуждение, сэр, ей-богу, ὅτι φιλοσοφεῖς ἐν Πάθεισι — вы весьма благородно стремитесь к истине, философствуя о ней в сердцах и в порыве страсти.

По этой же причине не ждите от меня, чтобы я стал терять время на исследование, не является ли любовь болезнью, — — или же ввязался в спор с Разием и Диоскоридом, находится ли ее седалище в мозгу или в печени, — — потому что это вовлекло бы меня в разбор двух прямо противоположных методов лечения страдающих названной болезнью, — — метода Аэция, который всегда начинал с охлаждающего клистира из конопляного семени и растертых огурцов, — — после чего давал легкую настойку из водяных лилий и портулака, — — в которую он бросал шепотку размельченной в порошок травы Ганея — и, когда решался рискнуть, — — свой топазовый перстень.

— — — — — И метода Гордония, который (в пятнадцатой главе своей книги De amore¹) предписывает колотить пациентов «ad putorem usque» — — пока они не испортят воздух.

Все это изыскания, которыми отец мой, собравший большой запас знаний подобного рода, будет усердно заниматься по время любовной истории дяди Тоби. Я только скажу наперед, что от своих теорий любви (которыми, кстати сказать, он успел измучить дядю Тоби почти столько же, как сама дядина любовь) — — он сделал только один шаг в область практики: — — — — — при помощи пропитанной камфорой клеенки, которую ему удалось всучить вместо подкладочного холста портному, когда тот шил дяде Тоби новую пару штанов, он добился Гордониева действия на дядю Тоби, но только не таким униженным способом.

Какие от этого произошли изменения, читатель узнает в свое время; к рассказанному анекдоту тут можно добавить лишь то, — — что, каково бы ни было действие этого средства на дядю Тоби, — — оно имело крайне неприятное действие на воздух в комнатах, — — и если бы дядя Тоби не заглушал его табачным дымом, оно могло бы иметь неприятное действие также и на моего отца.

¹ О любви (лат.).

ГЛАВА XXXVII

— — Это постепенно выяснится само собой. — Я только настаиваю на том, что я не обязан давать определение, что такое любовь; и до тех пор, пока я буду в состоянии рассказывать понятно мою историю, пользуясь просто словом *любовь* и не связывая его с иными представлениями, кроме тех, что свойственны мне наряду с остальными людьми, зачем мне вступать с ними в разногласие раньше времени? — — Когда двинуться таким образом дальше будет невозможно — и я совсем запутаюсь в этом таинственном лабиринте, — ну, тогда мое мнение, разумеется, придет мне на выручку — и выведет меня из него.

Теперь же, надеюсь, меня достаточно поймут, если я скажу читателю, что дядя Тоби влюбился.

Не то чтобы это выражение было мне сколько-нибудь по душе; ведь сказать, что человек влюбился, — или что он глубоко влюблен, — или по уши влюблен, — а иногда даже ушел в любовь с головой, — значит создать представление, что любовь в некотором роде ниже человека. — Мы возвращаемся, таким образом, к мнению Платона, которое, при всей божественности этого автора, — я считаю заслуживающим осуждения и еретическим. — Но довольно об этом.

Итак, пусть любовь будет чем ей угодно, — дядя Тоби влюбился.

И весьма возможно, друг читатель, что при таком искушении — и ты бы влюбился; ибо никогда глаза твои не созеркали и вожделение твое не желало ничего более вожделенного, чем вдова Водмен.

ГЛАВА XXXVIII

Чтобы правильно это представить. — велите подать перо и чернила, — бумага же к вашим услугам. — — Садитесь, сэр, и нарисуйте ее по вашему вкусу — — как можно более похожей на вашу любовницу — — и настолько непохожей на вашу жену, насколько позволит вам совесть, — мне это все равно — — делайте так, как вам нравится.

— — — Бывало ли когда-нибудь на свете что-нибудь столь прелестное! — столь совершенное!

В таком случае, милостивый государь, мог ли дядя Тоби устоять против такого искушения?

Трижды счастливая книга, в тебе будет, по крайней мере, одна страница, которую не очернит Злоба и не сможет превратно истолковать Невежество.

ГЛАВА XXXIX

Так как еще за две недели до того, как это случилось, Сузанна извещена была особым посланием миссис Бригитты о том, что дядя Тоби влюбился в ее госпожу, — и на другой день изложила содержание этого послания моей матери, — то и я вправе заняться любовными похождениями дяди Тоби за две недели до того, как они начались.

— Я скажу вам новость, мистер Шенди, — проговорила моя мать, — которая вас очень удивит. —

Отец держал в то время одну из своих вторых постелей правосудия и размышлял про себя о тягостях супружества, когда мать нарушила молчание.

— Мой деверь Т о б и , — сказала м а т ь , — собирается жениться на миссис Водмен.

— Стало бы т ь , — сказал о т е ц , — ему уже до конца жизни не удастся полежать в своей постели диагонально.

Отца ужасно раздражало то, что моя мать никогда не спрашивала значения вещей, которых она не понимала.

— — — Что она женщина неученая, — говорил о т е ц , — такое у ж е е несчастье, — но она могла бы задавать вопросы. —

Моя мать никогда их не задавала. — — — Короче говоря, она покинула землю, так и не узнав, вращается ли она или стоит неподвижно. — — — Отец тысячу раз с большой готовностью ей это объяснял, — но она всегда забывала.

По этой причине разговор между ними редко складывался больше чем из предложения — ответа — и возражения; после чего обыкновенно следовала передышка в несколько минут (как в случае со штанами), и затем он снова продолжался.

— Если он женится, нам от этого будет х у ж е , — проговорила мать.

— Ни капельки, — сказал о т е ц , — он может ведь пустить свои средства на ветер как этим, так и любым другим способом.

— — — Разумеется, — сказала мать; на этом и кончились предложение — ответ — и возражение, как я вам сказал.

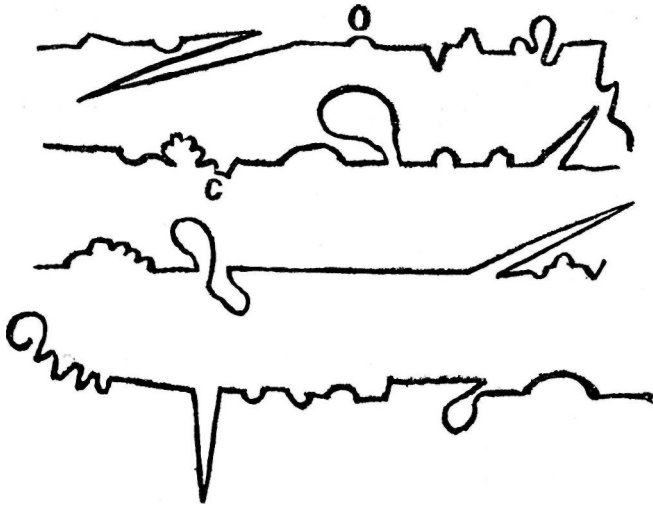
— Это доставит ему также некоторое развлечение, — сказал отец.

— Очень большое, — отвечала м а т ь , — если у него будут дети. — —

— — — Помилуй б о г , — сказал про себя о т е ц , — * * * * *
* * * * *
* * * * *

ГЛАВА XL

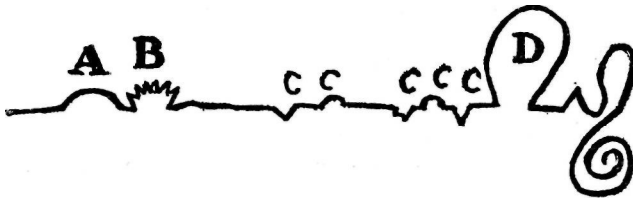
Теперь я начинаю входить по-настоящему в мою работу и не сомневаюсь, что при помощи растительной пищи и воздержания от горячих блюд мне удастся продолжать историю дяди Тоби и мою собственную по сносной прямой линии. До сих пор же



luv. T.S.

Scul. T.S.¹

таковы были четыре линии, по которым я двигался в первом, втором, третьем и четвертом томе. — В пятом я держался молодцом — точная линия, по которой я следовал, была такова:



откуда явствует, что, исключая кривой, обозначенной буквой *A*, когда я совершил путешествие в Наварру, — и зубчатой кривой *B*, обозначающей мою коротенькую прогулку там с дамой де Боссьер и ее пажом, — я не позволил себе ни малейшего отклонения в сторону, пока черти Джованни делла Каса не завертели меня по кругу, который вы видите обозначенным буквой *D*, — что же касается *ссссс*, то это только небольшие вводные предложения — грешки, заурядные в жизни даже величайших государственных людей; по сравнению с тем, что

¹ Сочинил Т[ристрам] Ш[енди], вырезал Т[ристрам] Ш[енди] (лат.).

делали эти люди, — или с моими собственными проступками в местах, обозначенных буквами *A*, *B*, *D*, — это совершенные пустяки.

В последнем томе я справился со своей задачей еще лучше, — ибо по окончании эпизода с Лефевром и до начала кампаний дяди Тоби — я едва ли даже на ярд уклонился в сторону.

Если исправление мое пойдет таким темпом, то нет ничего невозможного, — с любезного позволения чертей его беневентского преосвященства, — что я наоструюсь настолько, что буду двигаться вот так:

то есть по такой прямой линии, какую только я в состоянии был провести при помощи линейки учителя чистописания (нарочно для этого у него взятой), не сворачивая ни вправо, ни влево.

— Эта прямая линия — стезя, по которой должны ходить христиане, — говорят богословы. — —

— Эмблема нравственной прямоты, — говорит Цицерон.

— Наилучшая линия, — говорят сажатели капусты. — —

— Кратчайшая линия, — говорит Архимед, — которую можно провести между двумя данными точками. — —

Я бы желал, любезные дамы, чтобы вы серьезно об этом подумали, когда будете заказывать себе платье к будущему дню вашего рождения.

— Какое путешествие.

Не можете ли вы мне сказать — до того, как я напишу задуманную главу о прямых линиях, — только, пожалуйста, не сердитесь, — — благодаря какому промаху — — кто вам это сказал — — или как это вышло, что вы, остроумные и талантливые люди, все время смешивали эту линию с линией тяготения?

Non enim excursus hip ejus, sed opus ipsum est.

*Plin. Lib. quintus Epistola sexta*¹

ГЛАВА I

Нет — — кажется, я сказал, что буду писать по два тома каждый год, если только позволит мучивший меня тогда проклятый кашель, которого я и по сей час боюсь пуще черта, — а в другом месте (но где, не могу теперь припомнить) — сравнив мою книгу с машиной и положив на стол крестообразно перо и линейку, дабы придать моей клятве больше веса, — я поклялся, что она будет двигаться этим ходом в течение сорока лет, если источнику жизни угодно будет даровать мне на такой срок здоровье и хорошее расположение духа.

Что касается расположения духа, то я очень мало могу на него пожаловаться, — наоборот (если не ставить ему в вину того, что девятнадцать часов из двадцати четырех я сижу верхом на палочке и валяю дурака), я должен быть ему премного-премного благодарен; ведь это оно позволило мне весело пройти жизненный путь и пронести на спине все тягости жизни (не зная ее забот); насколько помню, оно ни на минуту меня не покидало и никогда не окрашивало предметов, попадавших мне по пути, в черные или землисто-зеленые цвета; во время опасности оно златило горизонт мой лучами надежды, и даже когда Смерть постучалась в мои двери, — оно велело ей прийти в другой раз, сказав это таким веселым, таким беспечно-равнодушным тоном, что ту взяло сомнение, туда ли она попала.

— «Должно быть, произошла какая-то ошибка», — проговорила она.

¹ Это не отступление его, а само произведение. *Плиний Младший, книга V, письмо VI (лат.)*.

Я же, признаться, терпеть не могу, когда меня перебивают посреди начатой истории, — а как раз в ту минуту я рассказывал Евгению забавную историю в моем роде про монахиню, вообразившую себя ракушкой, и монаха, осужденного за то, что он съел моллюска, и показывал ему основательность и разумность такого образа действий. —

— «Бывало ли когда-нибудь, чтобы такая важная персона так постыдно садилась в лужу?» — сказала Смерть. — Ты дешево отделался, Тристрам, — сказал Евгений, пожимая мне руку, когда я кончил мою историю. — —

— Но какая же может быть жизнь, Евгений, при таких условиях, — возразил я: — ведь если эта шлюхина дочь проведала ко мне дорогу...

— Ты правильно ее величаешь, — сказал Евгений: — твердят же люди, что она вошла в мир благодаря греху. — — Мне дела нет, каким путем она в него вошла, — отвечал я, — лишь бы она не торопила меня из него выйти — ведь мне предстоит написать сорок томов, а также сказать и сделать сорок тысяч вещей, которых, кроме тебя, никто на свете за меня не скажет и не сделает; но ты видишь, что она схватила меня за горло (Евгений едва мог расслышать мои слова с другой стороны стола) и что в открытом бою мне с ней не справиться, так не лучше ли мне, пока у меня еще есть жалкие остатки сил и вот эти паучьи ноги (тут я протянул к нему одну из них) еще способны меня носить, — не лучше ли мне, Евгений, искать спасения в бегстве? — Я того же мнения, Тристрам, — сказал Евгений. — — Тогда, клянусь небом! я так ее загоняю, как ей и не снилось, ибо поскачу галопом, — сказал я, — ни разу не оглянувшись назад до самых берегов Гаронны, и если услышу за собой ее топот — — удеру на верхушку Везувия — — оттуда в Яффу, а из Яффы на край света; если же она и туда за мной последует, я упрошу господа бога сломать ей шею. — —

— — Там она подвергается большей опасности, — сказал Евгений, — нежелиты.

Остроумие и дружеское участие Евгения вернули румянец на щеки, с которых он уже несколько месяцев сошел, — тяжелая то была минута для расставания; Евгений проводил меня до почтовой кареты. — — Allons! ¹ — сказал я; почттарь хлопнул бичом — — я полетел, как бомба, и в шесть прыжков очутился в Дувре.

¹ Здесь: трагай! (франц.).

ГЛАВА II

— Черт побери! — сказал я, посмотрев в сторону французского берега, — следовало бы узнать получше собственную страну, прежде чем ехать в чужие края, — а между тем я ни разу не заглянул в Рочестерский собор, не посетил дока в Четеми и не побывал у святого Фомы в Кентербери, хотя все они лежали на моей дороге. — —

Но мой случай, надо сказать, совсем особенный. — —

Итак, не вступая в дальнейшие споры ни с Фомой Бекетом и ни с кем другим, — я прыгнул на корабль, и через пять минут мы подняли паруса и понеслись как ветер.

— Скажите, пожалуйста, капитан, — проговорил я, спускаясь в каюту, — случилось, что кого-нибудь застигала смерть в этом проливе?

— Помилуйте, тут не успеешь даже захворать, — возразил он. — — Противный лгун! — воскликнул я, — ведь я уже болен, как лошадь. — Что с моей головой? — — все полетело вверх тормашками! — — О! клетки в мозгу порвались и перепутались, а кровь, лимфа и жизненные соки смешались в одну массу с летучими и связанными солями — — боже милостивый! все в глазах завертелось, как тысяча вихрей, — — я дал бы шиллинг, чтобы узнать, способствует ли это ясности моего рассказа. — —

Тошнит! тошнит! тошнит! тошнит! — —

— Когда же наконец мы приедем, капитан? — У этих моряков не сердца, а камни. — Ах, как меня тошнит! — — подай-ка мне эту штуку, юнга, — — нет ничего гаже морской болезни — — я предпочел бы лежать на дне моря. — Как вы чувствуете себя, мадам? — Ужасно! Ужасно! У — — О, ужасно, сэръ. — Неужели это с вами в первый раз? — — Нет, второй, третий, шестой, десятый, сэръ. — О — — что за топот над головой! — Эй! юнга! что там творится? —

Ветер переменился! — — Я погиб! — стало быть, я встречаюсь с ним лицом к лицу.

Какое счастье! — он снова переменился, сэръ. — — Черт переменил его! — —

— Капитан, — взмолилась она, — ради бога, пристанем к берегу.

ГЛАВА III

Большое неудобство для человека, который спешит знать, что существует три разных дороги между Кале и Парижем, в пользу которых вам столько наговорят представители городов, на них лежащих, что легко потерять полдня, выбирая, по какой из них поехать.

Первая дорога, через Лилль и Аррас — самая длинная, — — но самая интересная и поучительная.

Вторая, через Амьен, по которой вы можете поехать, если желаете осмотреть Шантильи — —

Есть еще дорога через Бове, по которой вы можете поехать, если вам она нравится.

По этой причине большинство предпочитает ехать через Бове.

ГЛАВА IV

«Но прежде чем покинуть Кале, — сказал бы путешественник-писатель, — не худо бы кое-что о нем рассказать». — А помоему, очень худо — что человек не может спокойно проехать через город, не потревожив его, если город его не трогает, но ему непременно надо оглядываться по сторонам и доставать перо у каждой канавы, через которую он переходит, просто для того, по совести говоря, чтобы его достать; ведь если судить по тому, что было написано в таком роде всеми, кто писал и скакал галопом — или кто скакал галопом и писал, что не совсем одно и то же, — или кто, для большей скорости, писал, скача галопом, как это делаю я в настоящую минуту, — — начиная от великого Аддисона, у которого на з... висела сумка со школьными учебниками, оставлявшая при каждом толчке ссадины на крупе его лошади, — нет среди всех этих наших наездников ни одного, который не мог бы проехаться спокойной иноходью по собственным владениям (если они у него есть) и, не замочив сапог, с таким же успехом описать все, что ему надо.

Что до меня, то, бог мне судья (к которому я всегда буду обращаться как к верховному трибуналу), — в настоящую минуту я знаю о Кале (если не считать мелочей, о которых мне

рассказал цирюльник, когда точил бритву) не больше, чем о Большом Каире; ведь я сошел с корабля уже в сумерках, а выехал рано утром, когда еще ни зги не было видно; тем не менее готов побиться о какой угодно дорожный заклад, что, взявшись за дело умеючи, зарисовав то да се одной части города и взяв кое-что на заметку в другой, — я сию минуту настрою главу о Кале длиной в мою руку; и притом с такими обстоятельными подробностями о каждой диковинке этого города, что вы меня примете за секретаря городского управления Кале, — и удивляться тут нечему, сэр, — разве Демокрит, смеявшийся в десять раз больше, чем я, — не был секретарем Абдеры? и разве этот... (я позабыл его имя), гораздо более рассудительный, чем мы оба, не был секретарем Эфеса? — Больше того, все это будет описано, сэр, с таким знанием дела, с такой основательностью, правдивостью и точностью...

Ладно, если вы мне не верите, извольте в наказание прочитать следующую главу.

ГЛАВА V

Кале, Calatium, Calisium, Calesium.

Город этот, если верить его архивам, а в настоящем случае я не вижу никаких оснований сомневаться в их подлинности, — был некогда всего лишь небольшой деревней, принадлежавшей одному из первых графов де Гинь; а так как в настоящее время он хвалится не меньше чем четырнадцатью тысячами жителей, не считая четырехсот двадцати отдельных семейств в *la basse ville*¹, или в пригородах, — то, надо предполагать, он достиг нынешней своей величины не сразу и не вдруг.

Хотя в этом городе есть четыре монастыря, в нем только одна приходская церковь. Я не имел случая точно измерить ее величину, но составить себе удовлетворительное представление о ней не трудно — ибо если церковь вмещает всех четырнадцать тысяч жителей города, то она должна быть внушительных размеров, — а если нет, — то очень жаль, что у них нет другой. — Построена она в форме креста и посвящена деве Марии; колокольня, увенчанная шпиком, возвышается над серединой церкви и водружена на четырех столбах, легких и

¹ Буквально: нижний город (*франц.*).

изящных, но в то же время достаточно прочных. — Церковь украшена одиннадцатью алтарями, большинство которых скорее нарядно, нежели красиво. Главный алтарь в своем роде шедевр; он из белого мрамора и, как мне говорили, около шестидесяти футов в высоту — будь он еще выше, то равнялся бы самой Голгофе — поэтому я по совести считаю его достаточно высоким.

Ничто меня так не поразило, как большая площадь, хотя я не могу сказать, чтобы она была хорошо вымощена или красиво застроена, но она расположена в центре города, и на нее выходит большинство улиц, особенно этой его части. Если бы можно было устроить фонтан в Кале, что, по-видимому, невозможно, то, поскольку подобный предмет служит большим украшением, жители города, несомненно, поместили бы его в самом центре этой площади, которая, в отличие от наших скверов, не квадратная, а прямоугольная, — потому что с востока на запад она на сорок футов длиннее, чем с севера на юг.

Ратуша с виду довольно невзрачное здание и содержится далеко не образцово; иначе она была бы другим большим украшением городской площади; впрочем, она удовлетворяет своему назначению и отлично подходит для приема членов магистрата, которые время от времени в ней собираются; таким образом, надо полагать, правосудие в Кале отправляется исправно.

Мне много говорили о Кургене, но в нем нет ровно ничего достойного внимания, это особый квартал, населенный исключительно матросами и рыбаками; он состоит из нескольких узеньких улиц, застроенных чистенькими, по большей части кирпичными домиками, и чрезвычайно многолюден, но так как это многолюдство нетрудно объяснить характером пищи, — то и в нем тоже нет ничего любопытного. — Путешественник может посетить его, чтобы в этом удостовериться, — но он ни под каким предлогом не должен оставить без внимания la tour de guet;¹ башня эта названа так вследствие своего особого назначения: во время войны она служит для того, чтобы обнаруживать и возвещать приближение неприятеля как с моря, так и с суши; — — но она такой чудовищной высоты и так бросается в глаза отовсюду, что вы, даже если бы желали, не можете не обратить на нее внимания.

Я был чрезвычайно разочарован тем, что мне не удалось получить разрешение снять точный план укреплений, которые

¹ Сторожевую башню (франц.).

являются сильнейшими в мире и которые в общей сложности, то есть со времени их закладки Филиппом Французским, графом Булонским, и до нынешней войны, когда они подверглись многочисленным переделкам, обошлись (как я узнал потом от одного гасконского инженера) — свыше ста миллионов ливров. Замечательно, что на tête de Gravelines¹ и там, где город слабее всего защищен природой, было израсходовано больше всего денег; таким образом, внешние укрепления простираются очень далеко в поле и, следовательно, занимают очень обширную площадь. — Однако, что бы там ни говорили и ни делали, надо признать, что сам по себе Кале никогда ни по какому случаю не имел большого значения, а важен только по своему местоположению, оттого что при любых обстоятельствах открывал нашим предкам легкий доступ во Францию; правда, это сопряжено было также и с неудобствами, ибо он доставил тогдашней Англии не меньше хлопот, чем доставил нам впоследствии Дюнкерк. Таким образом, он вполне заслуженно считался ключом обоих королевств, что, несомненно, явилось причиной стольких распрей из-за того, кому он должен принадлежать; самой памятной из них была осада или, вернее, блокада Кале (ибо город был заперт с суши и с моря), когда он целый год противился всем усилиям Эдуарда III и под конец сдался только благодаря голоду и крайним лишениям; храбрость Эсташ де Сен-Пьера, великодушно предложившего себя в жертву ради спасения своих сограждан, поставила имя его в ряд с именами героев. Так как это займет не больше пятидесяти страниц, то было бы несправедливо не дать читателю подробного описания этого романтического подвига, а также самой осады в подлинных словах Рапена:

ГЛАВА VI

— — Но ободрись, друг читатель! — я гнушаюсь подобными вещами — довольно, чтобы ты был в моей власти, — злоупотреблять же преимуществом, которое дает мне над тобой перо мое, было бы слишком. — — Нет! — — клянусь всемогущим огнем, который разгорячает мозги фантазеров и озаряет ум на химерических путях его! скорее, чем возложу на бес-

¹ Головной участок (дороги) в Гравелин (*франц.*).

помощное создание столь тяжелую работу и заставлю тебя, беднягу, заплатить за пятьдесят страниц, которые я не имею никакого права продавать тебе, — я предпочту, какой я ни на есть голыш, щипать траву на склонах гор и улыбаться северному ветру, который не принесет мне ни крова, ни ужина.

— Ну, вперед, паренек! постарайся привезти меня поскорее в Булонь.

ГЛАВА VII

— Булонь! — а! — мы здесь все вместе — — должники и грешники перед небом; веселенькая компания — но я не могу остаться и распить с вами бутылочку — за мной сумасшедшая погоня, я буду настигнут прежде, чем успею переменить лошадей. — Ради всего святого, торопись. — Это государственный преступник, — сказал маленький человек еле слышным шепотом, обращаясь к высоченному детине, стоявшему рядом с ним. — Или убийца, — сказал высокий. — Ловкий бросок: Шестерка и Очко! — сказал я. — Нет, — проговорил третий, — этот джентльмен совершил — —

— Ah! ma chère fille!¹ — сказал я, — когда она проходила мимо, возвращаясь от утрени, — вы вся розовая, как утро (взошло солнце, и комплимент мой оказался тем более уместен). — Нет, тут что-то не так, — сказал четвертый, — (она сделала мне реверанс — я послал ей воздушный поцелуй) он спасается от долгов, — продолжал он. — Разумеется, от долгов, — сказал пятый. — Я бы не взялся заплатить долги этого джентльмена, — сказала Очко, — и за тысячу фунтов. — А я и за шесть тысяч, — сказала Шестерка. — Снова ловкий бросок, Шестерка и Очко! — сказал я; — но у меня нет других долгов, кроме долга Природе, пусть она только потерпит, и я заплачу ей свой долг до последнего фартинга. — Как можете вы быть такой жестокой, мадам? вы задерживаете бедного путешественника, который едет по своим законным делам, никому не делая зла. Лучше остановите этот скелет, этого длинноногого бездельника, пугало грешников, который несется за мной во весь опор. — Он бы за мной не гнался, если б не вы — — — позвольте мне сделать с вами один-два

¹ Ах, дорогая моя девица! (франц.).

перегона, умоляю вас, мадам — — — — — Пожалуйста, любезная дама. — —

— — Жалею, от всего сердца жалею, — сказал мой хозяин, ирландец, — столько учтивостей пропало даром; ведь эта молодая дама ушла так далеко, что ничего не слышала. — —

— — Простофиля! — сказал я.

— — Так у вас больше ничего нет в Булони, на что стоило бы посмотреть?

— — Клянусь Иисусом! у нас есть превосходная семинария гуманитарных наук. — —

— Лучшей не может б ы т ь , — сказала я.

ГЛАВА VIII

Когда стремительность ваших желаний гонит ваши мысли в девяносто раз скорее, нежели движется ваша повозка, — горе тогда истине! и горе повозке со всем ее оснащением (из какого бы материала оно ни было сделано), на которое вы изливаете неудовольствие души своей!

Так как в состоянии гнева я никогда не делаю широких обобщений ни о людях, ни о вещах, то единственным моим выводом из происшествия, когда оно случилось в первый раз, было: «поспешись, людей насмешишь»; — во второй, в третий, в четвертый и в пятый раз я по-прежнему держался в рамках факта и, следовательно, винил за него только второго, третьего, четвертого и пятого почтаря, не простирая своих прицаний дальше; но когда несчастье повторилось со мной после пятого в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый и в десятый раз, без единого исключения, я не могу уже не охватить в своем суждении всей нации, выразив его такими словами:

— У французской почтовой кареты всегда что-нибудь не в порядке, когда она трогается в путь.

Мысль эту можно выразить еще и так:

— Французский почтарь, не отъехав даже трехсот ярдов от города, непременно должен слезть с козел.

Какая там беда опять? — Diable!¹ — — веревка оборвалась, узел развязался! — — скоба выскочила! — — колышек

¹ Черт! (франц.).

Плутовка! Повторяя их в течение пяти минут, что я стоял и смотрел на нее, она спустила, по крайней мере, дюжину петель на белом нитяном чулке. — Да, да, — я вижу, лукавая девчонка! — он длинный и узкий — тебе не надо закалывать его булавкой у колена — он несомненно твой — и придется тебе как раз в пору. —

— — Ведь научила же Природа это создание держать большой палец, как у статуи! — —

Но так как этот образец стоит больших пальцев всех статуй — — не говоря о том, что у меня в придачу все ее пальцы, если они могут в чем-нибудь мне помочь, — и так как Жанетон (так ее зовут) вдобавок так удачно сидит для зарисовки, — — то не рисовать мне больше никогда или, вернее, быть мне в рисовании до скончания дней моих упряжной лошадей, которая тащит изо всей силы, — если я не нарисую ее с сохранением всех пропорций и таким уверенным карандашом, как если б она стояла передо мной, обтянутая мокрым полотном. — —

— Но ваши милости предпочитают, чтобы я представил им длину, ширину и высоту здешней приходской церкви или нарисовал фасад аббатства Сент-Остреберт, перенесенный сюда из Артуа, — — которые, я думаю, находятся в том же положении, в каком оставлены были каменщиками и плотниками, — и останутся такими еще лет пятьдесят, если вера в Христа просуществует этот срок, — стало быть, у ваших милостей и ваших преподобий есть время измерить их на досуге — — но кто хочет измерить тебя, Жанетон, должен это сделать теперь, — ты несешь в себе самой начала изменения; памятуя превратности скоротечной жизни, я бы ни на минуту за тебя не поручился; прежде нежели дважды пройдут и канут в вечность двенадцать месяцев, ты можешь растолстеть, как тыква, и потерять свои формы — — или завянуть, как цветок, и потерять свою красоту — больше того, ты можешь сбиться с пути — и потерять себя. — — Я бы не поручился и за тетю Дину, будь она в живых, — — да что говорить, не поручился бы даже за портрет ее — — разве только он написан Рейнольдсом. —

— Но провалиться мне на этом месте, если я стану продолжать свой рисунок после того, как назвал этого сына Аполлона.

Придется вам удовольствоваться оригиналом; если во время вашего проезда через Монтрей вечер выпадет погожий, вы его увидите из дверей вашей кареты, когда будете менять лошадей; но лучше бы вам, если у вас нет таких скверных при-

чин торопиться, как у меня, — лучше бы вам остаться. — Жанетон немного набожна, но это качество, сэр, на три девятых в вашу пользу. —

— Господи, помоги мне! Я не в состоянии был взять ни одной взятки: проигрался в пух и прах.

ГЛАВА X

Приняв все это в соображение и вспомнив, кроме того, что Смерть, может быть, гораздо ближе от меня, чем я воображал, — Я бы желал быть в Аббевиле, — сказал я, — хотя бы только для того, чтобы поглядеть, как расчесывают и прядут шерсть, — мы тронулись в путь — —

De Montreuil à Nampont — — — poste et demi ¹

De Nampont à Bernay — — — poste ²

De Bernay à Nouvion — — — poste ³

De Nouvion à Abbeville — poste ⁴

— — но все чесальщики и пряжи уже были в постелях.

ГЛАВА XI

Какие неисчислимые выгоды дает путешествие! Правда, оно иногда горячит; но против этого есть лекарство, о котором вы можете вывести из следующей главы.

ГЛАВА XII

Имей я возможность выговорить условия в контракте со Смертью, как я договариваюсь сейчас с моим аптекарем, где и как я воспользуюсь его клистиром, — я бы, конечно, решительно возражал против того, чтобы она за мной явилась в присутствии моих друзей; вот почему, стоит мне только серьезно

¹ От Монреа до Нампона — полторы станции (*франц.*).

² От Нампона до Берне — одна станция (*франц.*).

³ От Берне до Нувьона — одна станция (*франц.*).

⁴ От Нувьона до Аббевила — одна станция (*франц.*). См. Справочник французских почтовых дорог, стр. 36, издание 1762 года. — *Л. Стерн.*

призадуматься о подробностях этой страшной катастрофы, которые обыкновенно угнетают меня и мучат не меньше, нежели сама катастрофа, как я неизменно опускаю занавес и молю распорядителя всего сущего устроить так, чтобы она настигла меня не дома, — а в какой-нибудь порядочной гостинице. — Дома, я знаю, — огорчение друзей и последние знаки внимания, которые пожелает оказать мне дрожащая рука бледного участия, вытирая мне лоб и поправляя подушки, так истерзают мне душу, что я умру от недуга, о котором и не догадывается мой лекарь. — В гостинице же немногие услуги, которые мне потребуются, обойдутся мне в несколько гиней и будут оказаны мне без волнения, но точно и внимательно. — Одно заметьте: гостиница эта должна быть не такая, как в Аббевиле, — даже если бы в целом мире не было другой гостиницы, я бы вычеркнул ее из моего контракта; итак...

Подать лошадей ровно в четыре утра. — Да, в четыре, сэр. — Или, клянусь Женевиевой, я подниму такой шум, что мертвые проснутся.

ГЛАВА XIII

«Уподобь их колесу» — изречение это, как известно всем ученым, горькая насмешка над *большим турне* и над тем беспокойным желанием совершить его, которое, как пророчески предвидел Давид, овладеет сынами человеческими в наши дни; вот почему великий епископ Холл считает его одним из суровейших проклятий, когда-либо обрушенных Давидом на врагов господних; — это все равно как если бы он сказал: «Не желаю им ничего лучшего, как вечно катиться». — Чем больше движения, — продолжает он (а епископ был человек очень тучный), — тем больше тревог, и чем больше покоя, — если держаться той же аналогии, — тем больше небесного блаженства.

Ну, а я (человек очень тощий) думаю иначе; по-моему, чем больше движения, тем больше жизни и больше радости — — — а сидение на месте и медленная езда это смерть дьявол. —

— Эй! Гей! — весь дом спит! — — — Выведите лошадей — — — смажьте колеса — — привяжите чемодан — — вбейте гвоздь в эту подпорку — я не хочу терять ни минуты...

Колесо, о котором мы ведем речь и в которое (но не на которое, потому что тогда получилось бы колесо Иксиона)

Давид обращал своим проклятием врагов своих, для епископа, в соответствии с его сложением, должно было быть колесом почтовой кареты, независимо от того, были ли тогда в Палестине почтовые кареты или их там не было. — Для меня, наоборот, в силу противоположных причин, оно должно было быть, разумеется, колесом скрипучей арбы, совершающим один оборот в столетие; и уж если бы мне довелось стать комментатором, я бы, не задумываясь, сказал, что в этой гористой стране арб было сколько угодно.

Люблю я пифагорейцев (гораздо больше, чем решаюсь высказать моей милой Дженни) за их «χωρισμὸν ἀπὸ τοῦ σώματος, εἰς τὸ καλῶς φιλοσοφεῖν» (отрешение от тела, дабы хорошо мыслить). Ни один человек не мыслит правильно, пока он заключен в теле; свойственные ему от природы кровь, флегма и желчь ослепляют его, а чрезмерная дряблость или чрезмерное напряжение тянут в разные стороны, как это видно на примере епископа и меня. — Разум есть наполовину чувство, и мера самого неба есть лишь мера теперешнего нашего аппетита и пищеварения. — — — Но кто же из нас двоих в настоящем случае, по-вашему, более неправ?

— Вы, конечно, — сказала она, — взбудоражить целый дом в такую рань!

ГЛАВА XIV

— Но она не знала, что я дал обет не бриться, пока не приеду в Париж, — однако я терпеть не могу делать тайну из пустяков, — эта осторожность прилична тем мелким душам, на которых (Lib. 13, De moribus divinis, cap. 24) строил свои вычисления Лессий, утверждая, что одна кубическая голландская миля достаточно просторна, — даже слишком просторна, — для восьмисот тысяч миллионов, если допустить, что таково самое большее число душ, которые могут быть осуждены (от грехопадения Адама) до скончания века.

На чем он основывал этот второй расчет — если не на отеческой благодати бога — я не знаю — и еще больше затрудняюсь сказать, что творилось в голове у Франсиско Риверы, утверждавшего, будто для вмещения подобного числа требуется не меньше двухсот итальянских миль, помноженных на самих себя. — Наверное, в своих выкладках он отправлялся от древнеримских душ, о которых читал в книгах,

упустив из виду, что, благодаря постепенному истощению и упадку в течение восемнадцати веков, они неизбежно должны были сильно скрючиться и к тому времени, когда он писал, обратиться почти в ничто.

В эпоху Лессия, человека, по-видимому, более хладнокровного, они были совсем махонькие — — —

Нынче — они куда меньше — — —

А в ближайшую зиму мы обнаружим, что они еще больше уменьшились; словом, если мы будем и дальше двигаться от малого к меньшему и от меньшего к нулю, то я могу безоговорочно утверждать, что через полстолетия такого хода у нас вообще не останется душ; а так как дольше этого срока вера христианская едва ли просуществует, то вот вам и выгода: и те и другая изнасятся одновременно. — —

Слава тебе, Юпитер! слава всем прочим языческим богам и богиням! ибо тогда вы снова выйдете на сцену, ведя за собой и Приапа, — — вот веселое наступит время! — Но где я? в какую восхитительную суматоху собираюсь я кинуться? Я — — — я, дни которого уже сочтены, способный наслаждаться радостями будущего разве только в своей фантазии — — к тому же не в меру разыгравшейся! Успокойся же, глупышка, не мешай продолжать.

ГЛАВА XV

— — — Так как, повторяю, «я терпеть не могу делать тайну из пустяка», — — то я и поделился со своим почтарем, едва только мы съехали с булыжной мостовой; за это изъятие доверия он щелкнул бичом; коренная пустилась рысью, пристяжная чем-то средним между рысью и галопом, и так мы отплясали до Эйи-о-клоше, славившегося некогда гармоничнейшим в мире звоном колоколов; но мы проплясали через него без музыки, ибо колокола в этом городе (как, правду сказать, и повсюду во Франции) были сильно расстроены.

Итак, двигаясь со всей доступной для меня скоростью, из Эйи-о-клоше я прибыл в Фликскур, из Фликскура я прибыл в Пекиньи и из Пекиньи я прибыл в Амьен, город, относительно которого мне нечего вам сообщить сверх того, что я уже сообщил раньше — — а именно — что Жанетон ходила там в шк о л у . —

ГЛАВА XVI

Во всем списке мелких неприятностей, которым случается надувать паруса путешественника, нет более надоедливой и изводящей, чем та, которую я собираюсь описать — и от которой (если только для ее предупреждения вы не посылаете вперед курьера, как это делают многие) нет спасенья, она заключается в том,

что, будь вы в счастливейшем расположении поспать — — хотя бы вы проезжали по прекраснейшей местности — по наилучшим дорогам — и в покойнейшей в мире карете — — больше того, будь вы даже уверены, что могли бы проспать пятьдесят миль подряд, ни разу не открыв глаза — — да что я говорю: если бы вам было доказано с такой же убедительностью, с какой вам может быть доказана какая-нибудь истина Эвклида, что, уснув, вы бы чувствовали себя во всех отношениях так же хорошо, как и бодрствуя, — — может быть, даже лучше, — — все-таки неуклонно повторяющаяся на каждой станции плата прогонных — — необходимость засовывать с этой целью руку в карман, доставать оттуда и отсчитывать три ливра пятнадцать су (по одному су) кладут конец вашему благому намерению, — во всяком случае, вы не в состоянии его осуществить свыше шести миль (или свыше девяти, если едете полторы станции) — — хотя бы дело шло о спасении вашей души.

— Но я разделаюсь с ними, — сказал я, — заверну три ливра пятнадцать су в бумажку и буду всю дорогу держать их наготове, зажав в кулак. Теперь от меня потребуется всего лишь, — сказал я (расположившись соснуть), — спокойно опустить это в шляпу моего почтаря, ни слова ему не сказав. — Но тут недостает двух су на чай — — или попалась монета в двенадцать су Людовика XIV, которая не имеет хождения, — или с последней станции осталось долгу ливр и несколько лианов, о которых мосье позабыл, эти пререкания (так как во сне невозможно спорить по-настоящему) вас будят, все-таки сладкий сон еще можно воротить, плоть еще может взять верх над духом и оправиться от этих ударов — но тут оказывается, о боже! что вы заплатили только за одну станцию — а проехали полторы; это заставляет вас вынуть справочник почтовых дорог, печать в котором такая мелкая, что поневоле приходится открыть глаза, тогда господин кюре угощает вас щепоткой

табаку — — или бедный солдат показывает вам свою ногу — — или монах протягивает свою кружку — — или жрица водоема желает смочить ваши колеса — — они в этом не нуждаются — — но она клянется своим жреческим достоинством (возвращая вам ваше выражение), что смочить их необходимо. — — Таким образом, вам приходится рассуждать по всем этим вопросам или мысленно их обсуждать; ваши интеллектуальные способности от этого совсем проснулись — — попробуйте-ка теперь снова их усыпить, если можете.

Не будь одного из таких злосключений, я бы проехал, ничего не заметив, мимо конюшен Шантильи. — —

— — Но так как почтарь сначала высказал предположение, а потом стал утверждать мне прямо в лицо, что на монете в два су нет клейма, то я открыл глаза, чтобы самому удостовериться, — и, увидя клеймо так же ясно, как свой нос, — в гневе выскочил из кареты и увидел все в Шантильи в мрачном свете. — Я сделал пробу на расстоянии всего трех с половиной станций, но считаю это лучшим в мире стимулом быстрой езды; ведь поскольку в таком состоянии мало что кажется вам привлекательным, — у вас нет ничего или почти ничего, что бы вас останавливало; вот почему я проехал Сен-Дени, даже не повернув головы в сторону аббатства — —

— — Великолепие их сокровищницы! какой вздор! — — если не считать драгоценностей, которые, вдобавок, все фальшивые, я бы не дал трех су ни за одну вещь, которая там находится, кроме фонаря Иуды, — — да и за него дал бы только потому, что уже смеркается и он мог бы мне пригодиться.

ГЛАВА XVII

— Хлоп-хлоп — — хлоп-хлоп — — хлоп-хлоп — — так это Париж! — сказал я (все в том же мрачном расположении духа!), — — это Париж! — — гм! — — Париж! — воскликнул я, повторив это слово в третий раз — —

Первый, красивейший, блистательнейший. — —

Улицы, однако же, грязные.

Но вид его, я полагаю, лучше, чем запах — — хлоп-хлоп — хлоп-хлоп. — — Сколько шуму ты поднимаешь! — как будто этим добрым людям очень нужно знать, что некий бледнолицый мужчина, одетый в черное, имеет честь приехать в Париж

в девять часов вечера с почтарем в буро-желтом кафтане с красными атласными обшлагами — хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп. — Я бы желал, чтобы твой бич — —

— Но таков уж дух твоей нации; хлопай же — хлопай.

Как? — — никто не уступает дороги? — — Но будь вы даже в школе учтивости, — — если стены загажены, — как бы вы поступили иначе?

Послушай, когда же здесь зажигают фонари? Что? — никогда в летние месяцы! — — А, это время салатов! — — Вот прелесть! салат и суп — — суп и салат — салат и суп, encore¹. —

— — Это слишком много для грешников.

Нет, я не могу вынести подобного варварства; какое право имеет этот беззастенчивый кучер говорить столько непристойностей этой сухопарой кляче? Разве ты не видишь, приятель, какие безобразно узкие здесь улицы, так что во всем Париже негде тачки повернуть? В величайшем городе мира не худо было бы оставить их чуть пошире; ну настолько, чтобы в каждой улице прохожий мог знать (хотя бы только для собственного удовлетворения), по которой стороне ее он идет.

Одна — две — три — четыре — пять — шесть — семь — восемь — девять — десять. — Десять кухмистерских! два десятка цирюльников! и все на пространстве трех минут езды! Можно подумать, повара всего мира, встретившись на большой веселой пирушке с цирюльниками, — столкнулись между собой и сказали: — Двинем все в Париж и там поселимся: французы любят хорошо покушать — — они все гурманы — — мы достигнем у них чинов; если их бог брюхо — — повара у них должны быть важными господами; поскольку же парик делает человека, а парикмахер делает парик — — ergo², сказали цирюльники, мы получим еще больше чести — мы будем выше всех в а с, — мы будем, по крайней мере, capitouls³ — pardi!⁴ Мы все будем носить шпаги. — — И вот, готов поклясться (при свечах по крайней мере, — но на них положиться нельзя), они это делают по сей день.

¹ Еще (франц.).

² Значит, следовательно (лат.).

³ Члены муниципального совета в Тулузе и т. д. и т. д. и т. д. — Л. Стерн.

⁴ Ей-ей! (франц.).

Французов, конечно, плохо понимают — — — но их ли это вина, поскольку они объясняются неудовлетворительно и не говорят с той безукоризненной точностью и определенностью, которой мы бы ожидали по вопросу такой важности и вдобавок чрезвычайно для нас спорному, — — — или же вина падает всецело на нас, поскольку мы не всегда достаточно хорошо понимаем их язык, чтобы знать, куда они гнут, — — решать не буду; но для меня очевидно, что, утверждая: «Кто видел Париж, тот все видел», они, должно быть, подразумевают людей, которые осматривали Париж при дневном свете.

Осматривать же его при свечах — я отказываюсь — — я уже говорил, что на свечи нельзя полагаться, и повторю это снова, не потому, что свет и тени при свечах слишком резки — краски смешиваются — пропадают красота и соответствие частей и т. д. ...Все это неправда — но освещение это ненадежно в том смысле, что при наличии пятисот барских особняков, которые вам насчитают в Париже, — и — по самым скромным подсчетам — пятисот красивых вещей (ведь это значит считать только по одной красивой вещи на особняк), которые при свечах можно лучше всего «разглядеть, почувствовать, воспринять и понять» (это, в скобках замечу, цитата из Лили), — — вряд ли один человек из пятидесяти сможет как следует в них разобратся.

Ниже я не буду касаться французских подсчетов, я просто отмечу, что, согласно последней описи, произведенной в тысяча семьсот шестнадцатом году (а ведь позже имели место значительные приращения), Париж заключает в себе девятьсот улиц (а именно):

- В части, называемой С и т е , — пятьдесят три улицы.
- В части Сен-Жак, или Б о й н и , — пятьдесят пять улиц.
- В части Сент-Оппортюн — тридцать четыре улицы.
- В части Лувр — двадцать пять улиц.
- В части Пале-Рояль, или Сент-Оноре, — сорок девять улиц.
- На Монмартре — сорок одна улица.
- В части Сент-Эсташ — двадцать девять улиц.
- В части Рынка — двадцать семь улиц.
- В части Сен-Дени — пятьдесят пять улиц.
- В части Сен-Мартен — пятьдесят четыре улицы.
- В части Сен-Поль, или Мортеллери, — двадцать семь улиц.
- В части Сент-Авуа, или Беррери, — девятнадцать улиц.

В части Маре, или Тампль, — пятьдесят две улицы.

В части Сент-Антуан — шестьдесят восемь улиц.

В части площадь Мобер — восемьдесят одна улица.

В части Сен-Бенуа — шестьдесят улиц.

В части Сент-Андре дез'Арк — пятьдесят одна улица.

В части Люксембург — шестьдесят две улицы.

И в части Сен-Жермен — пятьдесят пять улиц;

по каждой из которых можно ходить; и вот, когда вы их хорошенько осмотрите при дневном свете со всем, что к ним принадлежит, — с воротами, мостами, площадями, статуями — — — — обойдете, кроме того, все приходские церкви, не пропустив, конечно, святого Роха и святого Сульпиция, — — — — и увенчаете все это посещением четырех двorcов, которые можно осматривать со статуями и картинами или без оных, как вам вздумается —

— — Тогда вы увидите — —

— — Впрочем, продолжать мне незачем, потому что вы сами можете прочесть на портике Лувра следующие слова:

Нет на земле подобных нам! — и у кого

Есть, как у нас, Париж? — Эй-ли, эй-ля, го-го! ¹

Французам свойственно веселое отношение к великому, вот все, что можно по этому поводу сказать.

ГЛАВА XIX

Слово *веселое*, встретившееся в конце предыдущей главы, приводит нам (то есть автору) на ум слово *хандра*, — особенно если у нас есть что сказать о ней; не то чтобы в результате логического анализа — или в силу какой-нибудь выгоды или родственной близости оказалось больше оснований для связи между ними, чем между светом и тьмою или другими двумя нам более враждебными по природе противоположностями, — — — а просто такова уловка писателей для поддержания доброго согласия между словами, вроде того как политики поддерживают его между людьми, — не зная, когда именно им понадобится поставить их в определенные отношения друг к

¹ Non orbis gentem, non urbem gens habet ullam... ulla parem. — Л. Стерн. — Мир не имеет подобного народа, ни один народ не имеет города... равного этому.

другу. — Такая минута теперь наступила, и для того, чтобы поставить мое слово на определенное место в моем сознании, я его здесь выписываю. —

Хандра

Покидая Шантильи, я объявил, что он — лучший в мире стимул быстрой езды; но я высказал это лишь в качестве предположения. Я и до сих пор продолжаю так думать, — но тогда у меня не было достаточно опыта относительно последствий, иначе я бы прибавил, что, поспешая туда с бешеной скоростью, вы этим только причините себе беспокойство, а посему я ныне отказываюсь от скачки раз и навсегда, от всего сердца предоставляя ее к услугам желающих. Она помешала мне переvarить хороший ужин и вызвала желчную диарею, нагнавшую на меня то самочувствие, в котором я отправился в путь — — и в котором я буду теперь удирать на берега Гаронны.

— — Нет; — — не могу остановиться ни на минуту, чтобы описать вам характер этого народа — дух его — нравы — обычаи — законы — религию — образ правления — промышленность — торговлю — финансы, со всеми средствами и скрытыми источниками, которые их питают, — несмотря на то что я к этому вполне подготовлен, проведя среди французов три дня и две ночи и все это время ничем другим не занимаясь, как только собиранием сведений и размышлениями об этом предмете. — —

И все-таки — все-таки я должен уезжать — — дороги мощенные — станции короткие — дни длинные — сейчас всего только полдень — я поспею в Фонтенебло раньше короля. — —

— Разве он туда собирался? — Откуда же мне это знать...

ГЛАВА XX

Терпеть не могу, когда кто-нибудь, особенно путешественник, жалуется, что во Франции мы передвигаемся не так быстро, как в Англии, между тем как мы *consideratis considerandis*¹ — передвигаемся там гораздо быстрее; я хочу сказать, что если принять в соображение французские повозки с горами поклажи, которую на них наваливают и спереди и сзади, — да

¹ Если принять в соображение все, что следует (*лат.*).

посмотреть на тамошних невзрачных лошадей и чем их кормят, — то разве не чудо, что они еще волочат ноги! Обращаются с ними совсем не по-христиански, и для меня очевидно, что французская почтовая лошадь с места не двинулась бы, если б не два словечка и , в которых содержится столько же подкрепляющей силы, как в горсти овса. А так как слова эти денег не стоят, то я от души желал бы сообщить их читателю, но тут есть одно затруднение. — Их надо сказать напрямик и очень отчетливо, иначе ничего не получится. — Однако если я их скажу напрямик, — то их преподобия хотя и посмеются про себя в опочивальне, но зато (я прекрасно это знаю) в приемной они меня обругают; вот почему я с некоторых пор ломаю себе голову — — но все напрасно — — как бы мне половчее и позабавнее их модулировать, то есть угодить тому уху читателя, которое он пожелает мне сосудить, и не оскорбить его другого уха, которое он хранит про себя.

— — Чернила обжигают мне пальцы — — меня так и подмывает попробовать — — но если я напишу — — выйдет хуже — — они сожгут (боюсь я) бумагу.

— — Нет; — — не смею. — —

Но если вы пожелаете узнать, каким образом аббатиса Андуьетская и одна послушница ее монастыря справились с этим затруднением (но только сперва пожелайте мне всяческого успеха), — я расскажу вам это без малейшего колебания.

ГЛАВА XXI

Аббатисе Андуьетской, монастырь которой, как вы увидите на одной из больших карт французских провинций, ныне издаваемых в Париже, расположен в горах, отделяющих Бургундию от Савойи, — аббатисе Андуьетской угрожал анкилоз — иначе неподвижность суставов (суставная влага ее колена затвердела от продолжительных утрень); она перепробовала все лекарства — сначала молитвы и молебны — потом обращения ко всем святым без разбора — — потом к каждому святому в отдельности, у которого бывали когда-нибудь до нее одеревеневшие ноги. — — Прикладывала к больному месту все мощи, какие были в монастыре, преимущественно же берцовую кость мужа из Листры, не владевшего ногами с самого рождения, —

заворачивала ногу в свое покрывало, ложась в постель, — — клала на нее крестообразно свои четки, — — потом, призывая на помощь мирскую руку, умащала сустав растительными маслами и топленным жиром животных, лечила его смягчительными и рассасывающими примочками — припарками из алтея, мальвы, дикой лебеды, белых лилий и божьей травки — — применяла дрова или, вернее, их дым, держа на коленях свой нарамник, — — декоктами из дикого цикория, жерухи, кербеля, жабрицы и ложечника, — — но так как ни одно из названных средств не помогало, решила в заключение испробовать горячие воды Бурбона. — — И вот, испросив предварительно разрешение генерального визитатора на уврачеванье недуга, — она распорядилась, чтобы все было приготовлено для поездки. Одна монастырская послушница лет семнадцати, у которой на среднем пальце образовалась ногтосада от постоянного погружения его в припарки и примочки, в такой мере расположила к себе аббатису, что, устранив старую подагрическую монахиню, которую горячие воды Бурбона, вероятно, поставили бы на ноги, она выбрала себе в спутницы Маргариту, юную послушницу.

Приказано было выкатить на солнце подбитый зеленым фризом старый рыдван аббатисы; — монастырский садовник, произведенный в погонщики, вывел двух старых мулов, чтобы подстричь им хвосты, — а две белицы приставлены были: одна — к штопанью подбивки, а другая — к пришивке лоскутов желтого басона, изгрызенного зубами времени. — — Младший садовник отпарил в горячей винной гуще шляпу погонщика, — а портной занялся музыкой под навесом против монастыря, подбирая четыре дюжины бубенцов для упряжи и подсвистывая в тон каждому бубенцу, когда привязывал его ремешком. — —

— — Плотник и кузнец Андуйета сообща осмотрели колеса, и на другой день в семь часов утра чистенький нарядный рыдван стоял у ворот монастыря, готовый к поездке на горячие воды Бурбона, — еще за час выстроились наготове в два ряда нищие.

Аббатиса Андуйетская, поддерживаемая послушницей Маргаритой, медленно проследовала к рыдвану; обе они одеты были в белое, на груди у обеих висели черные четки. — —

— — Простота этого контраста заключала в себе нечто торжественное; они вошли в рыдван; монахини в такой же одежде (сладостная эмблема невинности) расположились у окошка, и когда аббатиса с Маргаритой подняли головы, — каждая (за исключением бедной подагрической старухи) — каждая,

взмахнув концом покрывала, поцеловала свою лилейную руку, проделавшую это движение. Добрая аббатиса с Маргаритой, набожно скрестив руки на груди, возвели очи к небу и потом перевели взгляд на монахинь, словно говоря: «Бог да благословит вас, дорогие сестры».

Должен сказать, что история эта меня занимает, и я сам желал бы там быть.

Садовник, которого я отныне буду называть погонщиком, был маленький, коренастый, добродушный здоровяк, любивший покалякать и выпить и не очень утруждавший себя прозаическими размышлениями о *как* и *когда*, а поэтому, взяв под залог своего месячного монастырского жалованья бурдюк — или мех — вина, он укрепил его на задке рыдвана, покрыв большим рыжеватым дорожным кафтаном для предохранения от солнца; — — а так как было очень жарко, и парень, не скупясь на труды, в десять раз чаще шагал, чем сидел на козлах, — то он нашел гораздо больше поводов побывать в тылу коляски, чем того требовала природа; — и вот, благодаря непрестанному хождению взад и вперед, случилось так, что все его вино вытекло из *законного* отверстия бурдюка раньше, нежели была сделана половина пути.

Человек есть существо, приверженное привычкам. День выдался знойный — вечер настал восхитительный — вино было отменное — бургундский холм, его производящий, страшил крутизной — приманчивая ветвь над дверью прохладного домика, стоявшего у самой подошвы, покачивалась в полной гармонии с чувствами — ветерок, играя листьями, отчетливо шептал: «Войди, — войди, томимый жаждой погонщик, — войди сюда!»

— — Погонщик был сын Адама. К этому мне не надо прибавлять ни одного слова. Он отпустил полновесный удар каждому из мулов, взглянул на аббатису и на Маргариту — словно сказав им: «Я здесь», — еще раз хлопнул изо всей силы бичом — словно сказав мулам: «Пошли вперед» — — и, незаметно ступив назад, юркнул в кабачок у подошвы горы.

Погонщик, как я уже сказал, был веселый, говорливый паренек, не думавший о завтрашнем дне и не печалившийся ни о том, что было, ни о том, что будет, лишь бы только не переводилось бургундское да можно было покалякать за стаканчиком о м . — Вот он и пустился в длинные разговоры о том, что он — мол — главный садовник в Андуьетском монастыре и т. д. и т. д., что из приязни к аббатисе и мадемуазель Маргарите, — которая еще только послушница, — он с ними едет от границ Савойи и т. д. — и т. д. — — и что аббатиса от великой набожности

нажила себе опухоль на коленном суставе — — а какое множество трав он для нее собрал, чтобы размягчить затвердевшие ее соки и т. д. и т. д.! — — и что если бурбонские воды не помогут этой ноге, — она легко может захромать на обе — и т. д. и т. д. — Он так увлекся своей историей, что совершенно позабыл о ее героине — и о молоденькой послушнице и — — что еще непростительнее — — о своих мулах. А последние, будучи животными, которые норовят провести всякого, по примеру своих родителей, которые провели их с а м и х , — и не будучи в состоянии дать помет (подобно всем мужчинам, женщинам и прочим животным) — они мечутся вбок, вдоль, назад — в гору, под гору, куда только могут. — — Философы, со всей их этикой, никогда должным образом этого вопроса не рассматривали — как же мог это предусмотреть бедняга погонщик за стаканом вина? Он даже и не подумал ни о чем таком. Настало время подумать нам самим. Оставим же этого счастливейшего и беззаботнейшего из смертных в вихре его стихии — — и займемся на минуту мулами, аббатисой и Маргаритой.

Под действием двух последних ударов погонщика мулы продолжали спокойно и добросовестно подвигаться в гору, пока не одолели половины ее; как вдруг старший из них, хитрый и сметливый старый черт, скосив глаза на повороте дороги и заметив, что сзади нет погонщика — —

«Клянусь наростом под моим копытом! — сказал он, выругавшись, — дальше я не пойду». — — «А если я сделаю еще хоть шаг, — отвечал другой, — пусть мою кожу сдерут на барабан». — —

Уговорившись таким образом, они остановились. — —

ГЛАВА XXII

— — Пошли вперед, эй вы! — сказала аббатиса.

— — Но — — но — — но, — — кричала Маргарита.

Пш — — пш — — и — — пш — и — ш, — — пшикала аббатиса.

— — Вью-у-у — — вью-у-у, — — вьюкала Маргарита, сложив колючком свои пухленькие губы почти как для свиста.

Туп-туп-туп, — стучала аббатиса Андуйетская концом своего посоха с золотым набалдашником о дно рыдвана. — —

— — Старый мул пустил...

ГЛАВА XXIII

— Мы погибли, конец нам, дитя мое, — сказала аббатиса, — мы простоим здесь всю ночь — нас ограбят — нас изнасилуют. —

— Нас изнасилуют, — сказала Маргарита, — как бог свят, изнасилуют.

— Sancta Maria! — возопила аббатиса (забыв прибавить *O!*), — зачем я дала увлечь себя этому проклятому суставу? Зачем покинула монастырь Андуйетский? Зачем не позволила ты служанке твоей сойти в могилу неоскверненной?

— О палец! палец! — воскликнула послушница, вспыхнув при слове *служанка*; — почему бы мне не сунуть его туда либо сюда, куда угодно, только бы не в эту теснину?

— Теснину? — сказала аббатиса.

— Теснину, — ответила послушница; страх помутил у них разум — одна не соображала, что она говорит, — а другая — что она отвечает.

— О мое девство! девство! — воскликнула аббатиса,

— евство! — евство! — повторяла, всхлипывая, послушница.

ГЛАВА XXIV

— Дорогая матушка, — проговорила послушница, приходя немного в себя, — существуют два верных слова, которые, мне говорили, могут заставить любого коня, осла или мула взойти на гору, хочет ли он или не хочет; — как бы он ни был упрям или злонамерен, но, услышав эти слова, он сейчас же послушается. — Значит, это магические слова! — воскликнула аббатиса, вне себя от ужаса. — Нет! — спокойно возразила Маргарита, — но они грешные. — Какие это слова? — спросила аббатиса, прерывая ее. — Они в высшей степени грешные, — отвечала Маргарита, — произнести их смертный грех — и если нас изнасилуют и мы умрем, не получив за них отпущения, мы обе будем в . . . — Но мне-то все-таки ты можешь их назвать? — спросила аббатиса Андуйетская. — Их вовсе нельзя назвать, дорогая матушка, — сказала послушница, — кровь изо всего тела бросится в лицо. — Но ты можешь шепнуть их мне на ухо, — сказала аббатиса.

Боже! Неужели не нашлось у тебя ни одного ангела-хранителя, которого ты мог бы послать в кабачок у подошвы горы? не нашлось ни одного подведомственного благородного и доброжелательного духа — не нашлось в природе такой силы, которая, проникнув своим вразумляющим трепетом в жилы, в сердце погонщика, пробудила бы его и увела с попойки? — не нашлось сладостной музыки, которая оживила бы в его душе светлый образ аббатисы и Маргариты с их черными четками?

Пробудись! Пробудись! — — но, увы! уже поздно — — ужасные слова произносятся в эту самую минуту. — —

— — Но как их выговорить? — Вы, умеющие сказать все на свете, не оскверняя уст своих, — — наставьте меня — — укажите мне путь. — —

ГЛАВА XXV

— Все грехи без изъятия, — сказала аббатиса, которую бедственное их положение превратило в казуиста, — признаются духовником нашего монастыря или грехами смертными, или грехами простительными; другого деления не существует. А так как грех простительный является легчайшим и наименьшим из грехов, — то при делении пополам — все равно, содеян ли он только наполовину или содеян полностью в дружеской доле с другим лицом, — он настолько ослабляется, что вовсе перестает быть грехом.

— Я не вижу никакого греха в том, чтобы сказать: bou, bou, bou, bou, bou хоть сто раз подряд; и нет ничего зазорного в том, чтобы повторять слог gre, gre, gre, gre, gre от утрени до вечерни. Вот почему, дорогая дочь моя, — продолжала аббатиса Андуйетская, — я буду говорить bou, а ты говори gre; и так как в слове fou содержится не больше греха, чем в bou, — ты говори fou — а я буду приговаривать (как фа, соль, ля, ре, ми, до на наших повечериях) с t r e . — И вот аббатиса, задавая тон, начала так:

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| Аббатиса. | } | Bou — — bou — — bou — — |
| Маргарита. | | — — gre — — gre — — gre. |
| Маргарита. | } | Fou — — fou — — fou — — |
| Аббатиса. | | — — tre — — tre — — tre. |

Оба мула ответили на эти знакомые звуки помахиванием хвостов; но дальше дело не пошло. — — Понемножку наладится я, — сказала послушница.

Аббатиса. } Bou — bou — bou — bou — bou — bou —
Маргарита. } — — gre,— gre,— gre,— gre,— gre,— gre,— gre.

— Скорей! — крикнула Маргарита.

— Fou,— fou,— fou,— fou,— fou,— fou,— fou,— fou,— fou,— fou.

— Еще скорей! — крикнула Маргарита.

— Vou,— vou,— vou,— vou,— vou,— vou,— vou,— vou,— vou,— vou.

— Еще скорей! — господи помилуй! — сказала аббатиса. —

Они нас не понимают! — воскликнула Маргарита. — Зато дьявол понимает, — сказала аббатиса Андуйетская.

ГЛАВА XXVI

Какое огромное пространство я проехал! — на сколько градусов приблизился к теплому солнцу и сколько красивых приветливых городов перевидал в то время, как вы, мадам, читали эту историю и размышляли над ней! Я побывал в Фонтенебло, в Сансе, в Жуаньи, в Оксере, в Дижоне, столице Бургундии, в Шелоне, в Маконе, столице Маконии, и еще в двух десятках городов, расположенных на пути в Лион, — — и теперь, когда я их миновал, я могу сказать вам о них столько же, как о городах на луне. Ничего не поделаешь: главу эту (а может быть, и следующую) нужно считать совершенно пропащей. — —

— Вот так странная история, Тристрам!

— — — Увы, мадам! Имей я дело с каким-нибудь меланхолическим поучением о кресте — о миролюбии кротости или об отраде смирения — — я бы не испытал затруднений; или если бы я задумал написать о таких чистых отвлеченностях, как мудрость, святость и созерцание, которыми духу человеческому (по отделении от тела) предстоит питаться веки вечные, — — вы бы остались вполне удовлетворены. — — — — Я бы хотел, чтобы глава эта вовсе не была написана; но так как я никогда ничего не вычеркиваю, попробуем каким-нибудь пристойным способом немедленно выкинуть ее из головы.

— — Передайте мне, пожалуйста, мой дурацкий колпак; боюсь, вы на нем сидите, мадам, — — он у вас под подушкой — — я хочу его надеть. — — —

Боже мой! да ведь он уже полчаса у вас на голове. — — —
Так пусть он там и останется вместе с

Фа-ра дидл-ди
и фа-ри дидл-д
и гай-дум — дай-дум
Фидл — — — дум-бум.

А теперь, мадам, мы можем, надеюсь, потихоньку продолжать наш путь.

ГЛАВА XXVII

— — Все, что вам надо сказать о Фонтенебло (в случае если вас спросят), это то, что он расположен милях в сорока (почти прямо на юг) от Парижа, посреди большого леса. — — Что в нем есть некоторое величие — — что раз в два или три года туда наезжает король со всем своим двором, чтобы развлекаться охотой, — — и что в течение этого охотничьего карнавала любой светский английский джентльмен (не исключая и вас) может рассчитывать, что ему предоставят там лошадь для участия в охоте, однако с условием не обскакивать ко-роля. — — —

Об этом, впрочем, вам никому не следует громко говорить по двум причинам.

Во-первых, потому, что тогда труднее будет достать упомянутых лошадей, и

во-вторых, потому, что тут нет ни слова правды. —
Allons!¹

Что касается Санса — — то вы можете разделаться с ним одной фразой — — Это архиепископская резиденция».

— — А что до Луаньи — то, я думаю, чем меньше вы о нем скажете, тем лучше.

Но об Оксере — я бы мог говорить без конца; дело в том, что во время моего большого турне по Европе, когда отец мой (никому не желавший меня доверить) сопровождал меня сам, с дядей Тоби, Тримом, Обадией и большей частью нашего семейства, за исключением матери, которая, задавшись мыслью связать отцу пару шерстяных шаровар — (вещь самая обыкновенная) — и не желая отрываться от начатой работы, осталась дома, в Шенди-Холле, смотреть за хозяйством в наше отсут-

¹ Здесь: вперед! (франц.).

ствие; — во время этого большого турне, повторяю, отец задержал нас на два дня в Оксере, а так как разыскания его всегда были такого рода, что пища для них нашлась бы и в пустыне, — он оставил мне довольно материала, чтобы поговорить об Оксере. Словом, куда бы отец ни приезжал, — и это сказало в тогдашнем нашем путешествии по Франции и Италии больше, нежели в другие периоды его жизни, — пути его с виду настолько пролегли в стороне от тех, по которым двигались все прочие путешественники до него, — он видел королей, дворы и шелка всех цветов в таком необычном свете — его замечания и рассуждения о характере, нравах и обычаях стран, по которым мы проезжали, были настолько противоположны впечатлениям и мыслям всех прочих смертных, особенно же дяди Тоби и Трима — (не говоря уже обо мне) — и в довершение всего — происшествия и затруднения, с которыми мы постоянно встречались и в которые постоянно попадали по милости его теорий и его упрямства, — были такими нелепыми, нескладными и трагикомическими — а все в целом рисовалось в оттенках и тонах, настолько отличных от любого кем-либо предпринятого турне по Европе, — что если это путешествие не будет читаться и перечитываться всеми путешественниками и читателями путешествий до окончания путешествий — или, что сводится к тому же, — до той поры, когда свет не примет наконец решения угомониться и не трогаться с места, — то, решусь я утверждать, вина падает на меня, и только на меня. — — —

— Но этот объемистый тюк еще не время развязывать; я хочу выдернуть из него две-три ниточки, просто для того, чтобы распутать тайну остановки моего отца в Оксере.

— Раз уж я о ней заговорил — нельзя оставлять эту мелочь висящей в воздухе; я живо с ней покончу.

— Пойдем-ка, братец Тоби, пока варится обед, — сказал отец, — в Сен-Жерменское аббатство, хотя бы только для того, чтобы посетить тех господ, которых так рекомендует нашему вниманию мосье Сегье. — — Я готов посетить кого угодно, — сказал дядя Тоби; он был воплощенной любезностью от начала и до конца этого путешествия. — — Но помните, — продолжая отец, — всё это мумии. — — Стало быть, не надо бриться, — проговорил дядя Тоби. — — Бриться! нет, не надо, — воскликнул отец, — будет более по-семейному, если мы пойдем бородастые. — Так мы и отправились в Сен-Жерменское аббатство; капрал, поддерживая своего господина под руку, замыкал это шествие.

— Все это очень красиво, очень богато, пышно, великолепно, — сказал отец, обращаясь к ризничему, молодому монаху-бenedиктинцу, — но нас привело сюда желание посетить особ, которые с такой точностью описаны господином Сегье. — Ризничий поклонился и, зажегши факел, который для этой цели у него всегда лежал наготове в ризнице, повел нас к гробнице святого Эребальда. — — — Здесь, — сказал ризничий, кладя руку на гроб, — покоится знаменитый принц баварского дома, который в течение трех последовательных царствований Карла Великого, Людовика Благочестивого и Карла Лысого играл весьма важную роль в управлении и больше всех содействовал установлению повсюду порядка и дисциплины. — —

— Значит, он был так же велик, — сказал дядя, — на поле сражения, как и в совете, — — надо думать, он был храбрый солдат. — — Он был монах, — сказал ризничий.

Дядя Тоби и Трим искали утешения в глазах друг у друга — но не нашли его. Отец хлопнул себя обеими руками по животу, как всегда делал, когда что-нибудь доставляло ему большое удовольствие; правда, он терпеть не мог монахов, и самый дух монашеский был ему мерзее всех чертей в преисподней, — — но так как ответ ризничего задевал дядю Тоби и Трима гораздо больше, нежели его, это все-таки было для отца некоторым торжеством и привело его в отличное расположение духа.

— — А скажите, как вы зовете вот этого джентльмена? — спросил отец несколько шутливым тоном. — Гробница эта, — отвечал молодой бенедиктинец, опустив глаза, — заключает кости святой Максимы, которая пришла сюда из Равенны с намерением приложиться к телу — —

— — Святого Максима, — сказал отец, забегая вперед со своим святым, — это были двое величайших святых во всем мученикослове, — прибавил отец. — — Извините, пожалуйста, — сказал ризничий, — — — с намерением приложиться к костям святого Жермена, основателя этого аббатства. — — — А что она этим снискала? — спросил дядя Тоби. — — — Что этим может снискать женщина вообще? — спросил отец. — — Мученичество, — отвечал молодой бенедиктинец, сделав земной поклон и произнеся это слово самым смиренным, но уверенным тоном, который на минуту обезоружил моего отца. — Предполагают, — продолжал бенедиктинец, — что святая Максима покоится в этой гробнице четыреста лет, из них двести лет до причтения ее к лику святых. — — Как, однако, медленно идет производ-

ство в этой армии мучеников, — сказал отец, — не правда ли, братец Тоби? — — — Отчаянно медленно, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — если кто не может купить себе чин. — — Я бы скорее совсем его продал, — сказал дядя Тоби. — — Я вполне разделяю ваше мнение, братец Тоби, — сказал отец.

— — Бедная Максима! — тихонько сказал себе дядя Тоби, когда мы отошли от ее гробницы. — Она была одной из привлекательнейших и красивейших дам во всей Италии и Франции, — продолжал ризничий. — — Но кто, к черту, положен здесь, рядом с ней? — спросил отец, показывая своей тростью на большую гробницу, когда мы пошли дальше. — — Святой Оптат, сэ р, — отвечал ризничий. — — Какое подходящее место для святого Оптата! — сказал отец. — Кто же такой был святой Оптат? — спросил он. — Святой Оптат, — отвечал ризничий, — был епископом...

— — Я так и думал, ей-ей! — воскликнул отец, перебивая монаха. — — Святой Оптат! — — Разве мог святой Оптат быть неудачником? — с этими словами он выхватил свою памятную книжку и при свете факела, услужливо поднесенного ему молодым бенедиктинцем, записал святого Оптата в качестве нового подтверждения своей теории христианских имен; осмелюсь сказать, его разыскания истины были настолько бескорыстны, что, найди он даже клад в гробнице святого Оптата, клад этот и вполтину его бы так не обогатил, никогда еще посещение покойников не бывало более удачным, и отец остался так доволен всем случившимся, — что тут же решил провести еще один день в Оксере.

— Завтра я dokonчу осмотр этих почтенных господ, — сказал отец, когда мы переходили площадь. — А в это время, брат Шенди, — сказал дядя Тоби, — мы с капралом поднимаемся на городской вал.

ГЛАВА XXVIII

— — — Такой путаницы у меня никогда еще не получалось. — — — Ведь в последней главе, по крайней мере поскольку она провела меня через Оксер, я совершил два разных путешествия одновременно и одним и тем же взмахом пера — причем в том путешествии, которое я пишу сейчас, я совсем уехал из Оксера, а в том, которое напишу позже, я только наполю-

вину из него выехал. — — Каждой вещи доступна только известная степень совершенства; перестав с этим считаться, я поставил себя в такое положение, в каком никогда еще не находился ни один путешественник до меня: ведь в настоящую минуту я перехожу с отцом и дядей Тоби рыночную площадь в Оксере, возвращаясь из аббатства в гостиницу пообедать, — — и в эту же самую минуту вхожу в Лион с каретой, разбившейся на тысячу кусков, — а кроме того, в это же время я сижу в красивом павильоне, выстроенном Принджелло¹ на берегах Гаронны, предоставленном мне мосье Слиньяком, воспевая все эти происшествия.

— — Позвольте мне собраться с мыслями и продолжить мой путь. —

ГЛАВА XXIX

— Я этому рад, — сказал я, мысленно произведя подсчет, когда входил в Лион, — — — обломки кареты были кое-как свалены вместе со всеми моими пожитками в телегу, которая медленно тащилась впереди меня, — — — я искренне рад, — сказал я, — что она разбилась вдребезги, ибо теперь я могу доехать водой до самого Авиньона и приблизиться таким образом на сто двадцать миль к цели моего путешествия, не истратив на дорогу и семи ливров, — — — а оттуда, — продолжал я, производя дальнейший подсчет, — я могу нанять пару мулов — или ослов, если пожелаю, ведь никто меня не знает, и проехать равнины Лангедока почти даром. — — Благодаря этому несчастью я сперегу четыреста ливров, которые останутся у меня в кармане, — а удовольствия? — Удовольствий я получу на вдвое большую сумму. С какой скоростью, — продолжал я, хлопая в ладоши, — помчусь я вниз по быстрой Роне, оставляя Виваре по правую руку и Дофине по левую и едва взглянув на старинные города Вьенн, Валанс и Вивье! Как ярко разгорится мой светильник, когда я сорву на лету румяную гроздь с Эрмитажа и Кот-Роти, стрелой проносаясь мимо их склонов! и как освежит мою кровь вид приближающихся и удаляющихся прибрежных романтических замков, откуда некогда куртуазные рыцари освобождали

¹ Тот самый дон Принджелло, знаменитый испанский архитектор, о котором кузен мой Антоний с такой похвалой отзывается в пояснении к посвященной ему повести. См. стр. 129 малого изд. — *Л. Стерн*.

страдалиц, — — и головокружительное зрелище скал, гор, водопадов и всей этой хаотичности Природы со всеми ее великими произведениями. — —

По мере того как я углублялся в эти размышления, карета моя, крушение которой сначала мне показалось большим бедствием, понемногу утрачивала в моих глазах свои достоинства, свежие ее краски поблекли — позолота потускнела, и вся она представилась мне такой убогой — такой жалкой! — такой невзрачной! — словом, настолько хуже рыдвана аббатисы Андуйетской, — что я открыл уже рот с намерением послать ее к черту — как вдруг один разбитной каретных дел мастер, проворно перейдя улицу, спросил, не прикажет ли мосье починить свою карету. — Нет, н е т, — сказала, отрицательно мотнув головой. — Так, может быть, мосье угодно ее продать? — продолжал каретник. — С превеликим удовольствием, — сказал я, — железные части стоят сорок ливров — стекла столько же — а кожу вы можете взять в придачу даром.

— Эта карета оказалась для меня прямо золотым дном, — сказал я, — когда каретник отсчитывал мне деньги. — Такая уж у меня манера вести хозяйство, по крайней мере в отношении жизненных бедствий — — я стараюсь извлечь хоть грошовый (а все-таки!) доход из каждого из них, когда они меня постигают.

— — Пожалуйста, милая Дженни, расскажи за меня, как я себя вел во время одного несчастья, самого угнетающего, какое могло случиться со мной — мужчиной, гордящимся, как и подобает, своей мужской силой. — —

— Этого довольно, — сказала ты, подходя ко мне вплотную, когда я стоял со своими подвязками в руке, размышляя о том, чего *не* произошло, — — Этого довольно, Тристрам, и я удовлетворена, — сказала ты, прошептав мне на ухо * * * * *. — — Другой бы мужчина на моем месте сквозь землю провалился. — —

— — Из всего на свете можно извлечь какую-нибудь выгоду, — сказала ты.

— — Поеду в Уэльс месяца на полтора и буду там пить козье молоко — это происшествие прибавит мне семь лет жизни. — Вот почему я не могу себе простить, что столько бранил Фортуна за множество мелких неприятностей, которыми она меня преследовала всю жизнь подобно злой принцессе, как я ее называл. Право, если у меня есть за что на нее сердиться, так только за то, что она не посылала мне тяжелых несчастий, —

два десятка основательных увесистых ударов были бы для меня все равно что хорошая пенсия.

— Сотня фунтов в год или около того — вот все, чего и желаю, — необходимость платить налог с более крупной суммы меня совсем не прельщает.

ГЛАВА XXX

Для тех, кто в этом разбирается и называет досадные обстоятельства досадными обстоятельствами, ничего не может быть досаднее, как провести лучшую часть дня в Лионе, самом богатом и цветущем городе Франции, наполненном остатками античности, — и не быть в состоянии его осмотреть. Встретить какую-нибудь помеху, конечно, досадно; но когда этой помехой бывает досада — получается то, что философия справедливо называет

ДОСАДА НА ДОСАДЕ

Я выпил две чашки кофе на молоке (что, к слову сказать, очень полезно для чахоточных, но молоко и кофе надо варить вместе — иначе будет только кофе с молоком) — и так как было не более восьми часов утра, а бот отходил в полдень, я имел время так впиться глазами в Лион, что впоследствии истощил терпенье всех моих друзей рассказами о нем. — Я пойду в собор, — сказал я, заглянув в свой список, — и осмотрю в первую очередь замечательный механизм башенных часов работы Липпия из Базеля. —

Однако меньше всего на свете я смыслю в механике — у меня нет к ней ни способностей, ни вкуса, ни расположения — мозг мой настолько непригоден к уразумению вещей этого рода, что — объявляю это во всеуслышание — я до сих пор не в состоянии уразуметь устройство беличьей клетки или обыкновенного точильного колеса, хотя много часов моей жизни взирал с благоговейным вниманием на первую — и простоял с истинно христианским терпением у второго. —

— Пойду посмотреть изумительный механизм этих башенных часов, — сказал я, — вот первое, что я сделаю, а потом поеду Большую библиотеку иезуитов и попрошу, чтобы мне

показали, если это возможно, тридцатитомную всеобщую историю Китая, написанную (не по-татарски, а) по-китайски и, вдобавок, китайскими буквами.

В китайском языке я понимаю не больше, чем в часовом механизме Липпия; почему эти две вещи протолкались на первое место моего списка — предоставляю любителям разгадывать эту загадку Природы. Признаться, она смахивает на каприз ее светлости, и для тех, кто за ней ухаживает, еще важнее, чем для меня, проникнуть в тайны ее причуд.

— Когда эти достопримечательности будут осмотрены, — сказал я, обращаясь наполовину к моему *valet de place*¹, стоявшему за мной, — не худо бы нам сходить в церковь святого Иринья и осмотреть столб, к которому привязан был Христос, — а после этого дом, где жил Понтий Пилат. — Это не здесь, а в соседнем городе, — сказал *valet de place*, — во Вьенне. — Очень рад, — сказал я, сорвавшись со стула и делая по комнате шаги вдвое больше обыкновенных, — тем скорее попаду я к гробнице двух любовников.

Что было причиной моего движения и почему я заходил таким широким шагом, произнося приведенные слова, — я мог бы и этот вопрос предоставить решению любопытных, но так как тут не замешаны никакие часовые механизмы — читатель не понесет ущерб, если я сам все объясню.

ГЛАВА XXXI

О, есть сладостная пора в жизни человека, когда (оттого, что мозг еще нежен, волокнист и больше похож на кашицу, нежели на что-нибудь другое) — полагается читать историю двух страстных любовников, разлученных жестокими родителями и еще более жестокой судьбой — —

Он — — Амандус

Она — — Аманда — —

оба не ведающие, кто в какую сторону пошел.

Он — — на восток

Она — — на запад.

Амандус взят в плен турками и отвезен ко двору марокканского императора, где влюбившаяся в него марокканская

¹ Гостиничный лакей (*франц.*).

принцесса томит его двадцать лет в тюрьме за любовь к Аманде. — —

Она — (Аманда) все это время странствует босая, с распущенными косами по горам и утесам, разыскивая Амандус а . — — Амандус! Амандус! — оглашает она холмы и долины его именем — — —

Амандус! Амандус!

присаживаясь (несчастливая!) у ворот каждого города и местечка. — — Не встречал ли кто Амандуса? — не входил ли сюда мой Амандус? — пока наконец, — — после долгих, долгих, долгих скитаний по свету — — однажды ночью неожиданный случай не приводит обоих в одно и то же время — — хотя и разными дорогами — — к воротам Лиона, их родного города. Громко воскликнув хорошо знакомыми друг другу голосами:

Амандус, жив
Моя Аманда, жива } ли ты еще?

они бросаются друг к другу в объятия, и оба падают мертвыми от радости. — —

Есть прелестная пора в жизни каждого чуткого смертного, когда такая история дает больше пищи мозгу, нежели все обломки, остатки и объедки античности, какими только могут угостить его путешественники.

— — — Это все, что застряло в правой части решета собственного моего мозга из описаний Лиона, которые пропустили через него Спон и другие; кроме того, я нашел в чьих-то «Путевых заметках», — — а в чьих именно, бог ведает, — — что в память верности Амандуса и Аманды была сооружена за городскими воротами гробница, у которой до сего времени любовники призывают их в свидетели своих клятв, — — и стоило мне когда-нибудь попасть в затруднение такого рода, как эта гробница любовников так или иначе приходила мне на ум — — — больше скажу, она забрала надо мной такую власть, что я почти не мог думать или говорить о Лионе, иногда даже просто видеть лионский камзол, без того, чтобы этот памятник старины не вставал в моем воображении; и я часто говорил со свойственной мне необдуманностью — а также, боюсь, некоторой непочтительностью: — — Я считаю это святилище (несмотря на всю его заброшенность) столь же драгоценным, как Кааба в Мекке, и так мало уступающим (разве только по богатству) самой Санта Каса, что рано или поздно совершу паломничество (хотя бы у меня не было другого дела в Лионе) с единственной целью его посетить.

Таким образом, хотя памятник этот стоял на последнем месте в моем списке лионских *videnda*¹, — он не был, как вы видите, самым незначительным; сделал поэтому десятка два более широких, чем обыкновенно, шагов по комнате, в то время как на меня нахлынули эти мысли, я спокойно направился было в *la basse cour*² с намерением выйти на улицу; не зная наверно, вернусь ли я в гостиницу, я потребовал счет, заплатил сколько полагалось — — дал сверх того служанке десять су — и уже выслушивал последние любезные слова мосье ле Блана, желавшего мне приятного путешествия по Роне, — — как был остановлен в воротах...

ГЛАВА XXXII

— — Бедным ослом, только что завернувшим в них, с двумя большими корзинами на спине, подобрать милостыню — ботву репы и капустные листья; он стоял в нерешительности, переступив передними ногами через порог, а задние оставив на улице, как будто не зная хорошенько, входить ему или нет.

Надо сказать, что (как бы я ни торопился) у меня не хватает духу ударить это животное — — безропотное отношение к страданию, простодушно отображенное в его взорах и во всей его фигуре, так убедительно говорит в его защиту, что всегда меня обезоруживает; я не способен даже с ним грубо заговорить, наоборот, где бы я его ни встретил — в городе или в деревне — в повозке или с корзинами — на свободе или в рабстве, — — мне всегда хочется сказать ему что-нибудь учтивое; мало-помалу (если ему так же нечего делать, как и мне) — — я завязываю с ним разговор, и никогда воображение мое не работает так деятельно, как угадывая его ответы по выражению его физиономии. Когда последняя не дает мне удовлетворительного ключа, — — я переносюсь из собственного сердца в его ослиное сердце и соображаю, что в данном случае естественнее всего было бы подумать ослу (равно как и человеку). По правде говоря, он единственное из всех стоящих ниже меня созданий, с которым я могу это делать; что касается попугаев, галок и т. и. — — я никогда не обмениваюсь с ними ни одним сло-

¹ Достопримечательностей (*лат.*).

² Задний двор (*франц.*).

вом — — так же как с обезьянами и т. и. и по той же причине: последние делают, а первые говорят только зазубренное — — чем одинаково приводят меня к молчанию; скажу больше: ни моя собака, ни кошка — — хотя я очень люблю обеих — — (что касается собаки, она бы, конечно, говорила, если бы могла) — не обладают, не знаю уж почему, способностью вести разговор. — — При всех стараниях беседа моя с ними не идет дальше предложения, ответа и возражения и — — точь-в-точь разговоры моего отца и матери «в постели правосудия» — — когда эти три фразы сказаны, диалогу — — конец.

— Но с ослом я могу беседовать веки вечные.

— Послушай, почтенный! — сказал я, — увидев, что невозможно пройти между ним и воротами, — ты — вперед или назад?

Осел поворотил голову назад, чтобы взглянуть на улицу.

— Ладно, — отвечал я, — подождем минуту, пока не придет погонщик.

— — Он в раздумье повернул голову и внимательно посмотрел в противоположную сторону. — —

— Я тебя понимаю вполне, — отвечал я, — — если ты делаешь ложный шаг в этом деле, он тебя исколотит до смерти. — — Что ж! минута есть только минута, и если она избавит моего ближнего от побоев, ее нельзя считать дурно проведенной.

Во время этого разговора осел жевал стебель артишока; пища явно невкусная, и голод, видно, напряженно боролся в нем с отвращением, потому что раз шесть ронял он этот стебель изо рта и снова подхватывал. — Бог да поможет тебе, Джек! — сказал я, — горький у тебя завтрак — горькая изо дня в день работа — и еще горче многочисленные удары, которыми, боюсь я, тебе за нее платят, — — и вся-то жизнь, для других тоже не сладкая, для тебя сплошь — сплошь горечь. — — Вот и сейчас во рту у тебя, если дознаться правды, так, думаю, горько, точно ты поел с а ж и, — (осел в конце концов выбросил стебель) и у тебя нет, верно, друга на целом свете, который угостил бы тебя печеньем. — Сказав это, я достал только что купленный кулек с миндальным печеньем и дал ему одно — — но теперь, когда я об этом рассказываю, сердце укоряет меня за то, что в затее моей было больше желанья позабавиться и посмотреть, как осел будет есть печенье, — нежели подлинного участия к нему.

Когда осел съел печенье, я стал уговаривать его пройти — бедное животное было тяжело навьючено — — видно было, что его ноги дрожали. — — Он быстро попятился назад, а когда я

потянул его за повод, последний оборвался, оставшись в моей руке. — — Осел грустно посмотрел на меня. — «Не бей меня им — а? — — впрочем, как тебе угодно». — — Если я тебя ударю, будь я прокл..

Бранное слово было произнесено только наполовину — подобно словам аббатисы Андуйетской — (так что согрешить я не успел), — а вошедший в ворота человек уже осыпал градом палочных ударов круп бедняги осла, положив тем конец церемонии.

Какой срам! —
воскликнул я — — но восклицание это оказалось двусмысленным, и, думается мне, неуместным — ибо прут, торчавший из навьюченной на осле корзины, зацепился концом за карман моих штанов, — когда осел бросился вперед, мимо меня, — и разорвал его в самом несчастном направлении, какое вы можете вообразить, — — так что

Какой срам! — по-моему, вполне подошел бы сюда — — но вопрос этот я предоставляю решить

ОБОЗРЕВАТЕЛЯМ
МОИХ ШТАНОВ,

которые я предусмотрительно привез с этой целью в Англию.

ГЛАВА XXXIII

Когда все было приведено в порядок, я снова прошел в la basse cour со своим valet de place, чтобы отправиться к гробнице двух любовников и т. д., — но был вторично остановлен в воротах — не ослом — а человеком, который его избил и тем самым завладел (как это обыкновенно бывает после одержанной победы) позицией, которую занимал осел.

Он явился ко мне посланцем с почтового двора, неся в руке постановление об уплате шести ливров и нескольких су.

— Это чей же счет? — осведомился я. — — Счет его величества короля, — ответил посланец, пожав плечами. — —

— — Друг м о й, — сказал я, — — если истинно, что я — это я — — а вы — это вы — —

(— А вы кто такой? — спросил он. — Не перебивайте меня, — сказала.)

— То не менее истинно, — продолжал я, обращаясь к посланцу и меняя только форму своего утверждения, — что королю Франции я не должен ничего, кроме дружеского расположения; ведь он превосходнейший человек, и я от души желаю ему здоровья и приятнейшего времяпрепровождения.

— Pardonnez-moi¹, — возразил посланец, — вы должны ему шесть ливров четыре су за ближайший перегон отсюда до Сен-Фонса на пути в Авиньон. — Так как почта в этих краях королевская, вы платите вдвойне за лошадей и почтаря — иначе это стоило бы всего три ливра два су. —

— Но я не еду сухим путем, — сказал я.

— Пожалуйста, если вам угодно, — ответил посланец. — Ваш покорнейший слуга, — — — сказал я, низко ему поклонившись. — —

Посланец со всей искренностью и достоинством человека благовоспитанного — отвесил мне такой же низкий поклон. — —

Никогда еще вежливость не приводила меня в большее замешательство.

— — Черт бы побрал серьезность этого народа! — сказал я (в сторону); французы понимают иронию не больше, чем этот — — —

— Сравнение, нагруженное корзинами, стояло тут же рядом — но что-то замкнуло мне уста — я не в силах был выговорить это слово. —

— С э р, — сказал я, овладев собой, — у меня нет намерения ехать почтой. — —

— Но ведь вы можете, — упорствовал он по-прежнему, — вы можете ехать почтой, если пожелаете. — — —

— Я могу также, если пожелаю, посолить соленую селедку у, — сказал я. — — Но я этого не желаю...

— Вы должны, однако, заплатить за нее, сделаете вы это или не сделаете. — —

— Да! за соль, — сказал я, — я знаю...

— И за почтут а к же, — прибавил он. —

— Помилосердствуйте, — воскликнул я. — — — Я еду водой — я отправляюсь вниз по Роне сегодня в полдень — мой багаж уже погружен — я заплатил за проезд девять ливров наличными. — —

¹ Извините меня (франц.).

— C'est tout égal, — это все равно, — сказал он.

— Bon Dieu! ¹ Как? — платить за дорогу, по которой я еду, и за дорогу, по которой я не еду!

— C'est tout égal, — возразил посланец. — —

— — Это черт знает что! — сказал я, — да я скорее дам посадить себя в десять тысяч Бастилий. — —

— О Англия! Англия! Страна свобод, страна здравого смысла, нежнейшая из матерей — и заботливейшая из нянек, — воскликнул я патетически, опустившись на одно колено. — —

Но вдруг в эту самую минуту вошел духовник мадам ле Блан и, увидя стоящего в молитвенной позе человека с пепельно-бледным лицом, — казавшимся еще бледнее по контрасту с его черной потрепанной одеждой, — спросил, не нуждаюсь ли я в помощи церкви — —

Я еду по воде, — сказал я, — а вот этот господин, пожалуйста, еще потребует от меня платы за масло.

ГЛАВА XXXV

Теперь, когда я убедился, что посланец хочет непременно получить свои шесть ливров четыре су, мне ничего другого не оставалось, как сказать ему по этому поводу какую-нибудь колкость, стоившую загубленных денег.

Я приступил к делу так. — —

— — Скажите, пожалуйста, сэр, по какому закону учтивости вы поступаете с беззащитным иностранцем как раз обратно тому, как вы обходитесь в подобных случаях с французами?

— Никоим образом, — сказал он.

— Простите, — сказал я, — ведь вы начали, сэр, с того, что разорвали мои штаны, — а теперь покушаетесь на мой карман — — тогда как — если бы вы сначала опорожнили мой карман, как вы поступаете с вашими соотечественниками, — а потом оставили меня без штанов, — я был бы невежей, вздумав жаловаться. — —

Ваше поведение — —

— — противно закону природы,

— — противно разуму,

¹ Праведный боже! (франц.).

бережнее со своими заметками) — но мои заметки были украдены. — — Никогда огорченный путешественник не поднимал такого шума и гвалта по поводу своих заметок, какой поднял я.

— Небо! земля! море! огонь! — вопил я, призывая себе на помощь все на свете, кроме того, что мне следовало бы призвать. — — Мои заметки украдены! — что я буду делать? — Господин посыльный! ради бога, не обронил ли я каких-нибудь заметок, когда стоял возле вас?

— Вы обронили немало весьма странных замечаний, — отвечал он. — — Бог с вами! — сказал я, — то было несколько замечаний, стоящих не больше шести ливров четырех с у, — а я говорю о толстой пачке. — — Он отрицательно покачал головой. — — Мосье ле Блан! Мадам ле Блан! Вы не видели моих бумаг? — Эй, горничная, бегите наверх! Франсуа, ступайте за ней! —

— — Я должен во что бы то ни стало получить мои заметки. — — То были, — кричал я, — лучшие заметки из всех, когда-либо сделанных, — самые мудрые — самые остроумные. — — Что я буду делать? — где мне их искать?

Санчо Панса, потеряв сбрую своего осла, и тот не оглашал воздух более горестными воплями.

ГЛАВА XXXVII

Когда первое возбуждение улеглось и письма моего мозга начали проступать немного явственнее из путаницы, в которую привела их эта куча досадных приключений, — меня вскоре осенила мысль, что я оставил свои заметки в ящике разбитой кареты, — — продав карету, я продал вместе с ней каретному мастеру также и свои заметки.

Я оставляю здесь пустое место, чтобы читатель мог заполнить его любимейшим своим ругательством. — — Надо сказать, что если я когда-нибудь в своей жизни заполнял пустоту полновесными ругательствами, то, думаю, это случилось именно здесь. — * * *, — сказал я. — Стало быть, мои заметки о Франции, в которых содержалось столько же остроумия, сколько сытной снеди в яйце, и которые стоили четыреста гиней так же верно, как яйцо стоит пенни, — — я продал здешнему каретнику — за четыре луидора — да оставил ему в придачу (ах ты, господи!)

карету ценою в шесть луидоров. Добро бы еще Додсли, Бекету или какому-нибудь другому заслуживающему доверия книгопродавцу, который, удаляясь от дел, нуждался бы в карете или, начиная дело, — нуждался бы в моих заметках, а то и в двух или трех гинеех, — я бы еще мог это стерпеть, — но каретник у! . . . — Ведите меня к нему сию минуту, Франсуа, — сказал я. — Le valet de place надел шляпу и пошел вперед — я же, сняв шляпу перед посланцем, последовал за ним.

ГЛАВА XXXVIII

Когда мы подошли к дому каретника, оказалось, что его дом и лавка на запоре; было восьмое сентября, рождество пресвятой богородицы, девы Марии. — —

— — Тантарра — ра — тан — тиви — — все пошли сажать майское дерево — попрыгать — поскакать! — — никому не было никакого дела ни до меня, ни до моих заметок: волей-неволей пришлось опуститься на скамью у дверей и пофилософствовать о своей участи. Судьба оказалась ко мне милостивее, чем обыкновенно: — не прождал я и получаса, как пришла хозяйка, чтобы снять папильотки, перед тем как идти на гулянье. — —

Француженки, к слову сказать, любят майские деревья à la folie¹ — то есть не меньше, чем ранние мессы. — — Дайте им только майское дерево (все равно, в мае, в июне, в июле или в сентябре — с временем года они не считаются) — и оно всегда будет иметь у них успех — — оно для них пища, питье, стирка, жилище. — — И будь мы, с позволения ваших милостей, людьми настолько политичными, чтобы посылать им в изобилии (ибо лесов во Франции немного) майские деревья...

Француженки стали бы их сажать, а посадив, пустились бы вокруг них в пляс (с французами за компанию) до умопомрачения.

Жена каретника вернулась домой, как я вам сказал, чтобы снять папильотки. — — Присутствие мужчины отнюдь не препятствует женскому туалету — — поэтому она сорвала свой чепчик, чтобы приступить к делу, едва отворив дверь; при этом одна папильотка упала на пол — — я сразу же узнал свой почерк. — —

¹ До безумия (франц.).

— О, Seigneur!¹ — воскликнул я, — все мои заметки у вас на голове, мадам! — J'en suis bien mortifiée², — сказала она. — «Хорошо еще, — подумал я, — что они застряли в волосах, — ибо, заберись они поглубже, они произвели бы такой кавардак в голове француженки — что лучше бы ей до скончания века ходить без завивки».

— Tenez³, — сказала она — и, не уясняя себе природы моих мучений, стала снимать их с локонов и с самым серьезным видом — одна за другой — сложила их в мою шляпу — — одна была скручена вдоль, другая поперек. — — Что делать! Когда я их издам, — сказала, — —

— — им зададут перекрутку похуже.

ГЛАВА XXXIX

— А теперь к часам Липпия! — сказал я с видом человека, избавившегося от всех своих затруднений, — — теперь уже ничто нам не помешает осмотреть эти часы, китайскую историю и т. д. — Кроме времени, — сказал Франсуа, — потому что скоро одиннадцать. — Стало быть, мы должны поспешить, — сказала я, зашагав по направлению к собору.

Не могу, по совести, сказать, чтобы я почувствовал какое-нибудь огорчение, когда один из младших каноников сказал мне, выйдя из западных дверей собора, — что большие часы Липпия совсем расстроились и не ходят уже несколько лет. — — Тем больше останется у меня времени, — подумал я, — на обозрение китайской истории, и, кроме того, я лучше справлюсь с описанием часов, пришедших в упадок, нежели я мог бы это сделать, найдя их в цветущем состоянии. — —

— — И, не теряя и минуты, я помчался в коллегию иезуитов.

Однако с моим намерением бросить взгляд на историю Китая, написанную китайскими буквами, дело обстояло так же, как со многими другими замыслами, которые прельщают воображение только на расстоянии; по мере того как я приближался

¹ О господи (*франц.*).

² Мне очень прискорбно (*франц.*).

³ Натя (*франц.*).

к своей цели — кровь во мне остывала — прихоть моя постепенно теряла всякую привлекательность, пока наконец не сделалась мне до такой степени безразличной, что за исполнение ее я бы не дал даже вишневой косточки. — По правде говоря, времени оставалось очень мало, а сердце мое рвалось к гробнице любовников. — Дал бы бог, — сказал я, взявшись за дверной молоток, — чтобы ключ от библиотеки был потерян; вышло, однако, не хуже...

Потому что у всех иезуитов приключились колики — да такие, каких не запомнят самые старые лекаря на свете.

ГЛАВА XL

Так как местоположение гробницы любовников мне было известно с такою точностью, словно я двадцать лет прожил в Лионе, — а именно, я знал, что она находится сейчас же направо за воротами, ведущими в предместье Вэз, — то я отослал Франсуа на бот, не желая, чтобы так давно переполнявшее меня благоговейное чувство прорвалось в присутствии свидетеля моей слабости. — Вне себя от восторга я двинулся по направлению к заветному месту. — Когда я завидел ворота, преграждавшие путь к гробнице, у меня дух захватило от волнения. —

— Нежные, верные сердца! — воскликнул я, обращаясь к Амандусу и Аманде, — долго-долго я медлил пролить эти слезы над вашей гробницей — — — иду — — — иду. — — —

Когда я пришел, оказалось, что гробницы, которую я мог бы оросить своими слезами, уже больше не существует.

Чего бы я не дал, чтобы услышать в эту минуту дядино Лиллибуллиро!

ГЛАВА XLI

Не важно, как и в каких чувствах, — но я мчался во весь опор от гробницы любовников — или, вернее, не от нее (потому что такой гробницы не существовало) — и едва-едва поспел на бот; — не отплыли мы и на сотню ярдов, как Рона и Сена соединились и весело понесли меня вниз по течению.

Но я уже описал это путешествие по Роне, прежде чем совершил его. — — —

— — — Вот я и в Авиньоне. — И так как здесь нечего смотреть, кроме старого дома, в котором жил герцог Ормондский, и не для чего останавливаться (разве только для коротенького замечания об этом городе), то вы через три минуты увидите, как я переезжаю через мост на муле в обществе Франсуа, едущего верхом на лошади с моей дорожной сумкой за седлом, в то время как хозяин обоих животных шагает по дороге перед нами с длинным ружьем на плече и шпагой под мышкой, из опасения, как бы мы невзначай не удрали вместе с его скотиной. Если бы вы видели мои штаны, когда я въезжал в Авиньон, — — хотя, мне кажется, на них интереснее было взглянуть, когда я заносил ногу в стремя, — — вы бы сочли предосторожность вполне уместной; у вас духу не хватило бы рассердиться; что касается меня, то я ни капельки не был обижен и даже решил по окончании путешествия подарить ему эти штаны, заставившие его вооружиться с головы до пят.

Прежде чем ехать дальше, дайте мне развязаться с моим замечанием об Авиньоне, которое сводится к тому, что я нахожу несправедливым, когда вы, потому только, что у вас случайно сдуло с головы шляпу при вступлении вашем в Авиньон, — — считаете себя вправе утверждать, будто «Авиньон больше всех городов Франции подвержен сильным ветрам», по этой причине я не придавал особого значения досадному происшествию, пока не расспросил хозяина гостиницы, и, лишь узнав от него, что так оно и есть, — — и услышав, кроме того, что авиньонские ветры вошли в поговорку в окрестных местах, — записал это себе, просто для того, чтобы спросить у ученых, какая тому может быть причина. — — Следствие я сам увидел — ибо все здесь герцоги, маркизы и графы — — едва ли сыщется хоть один барон во всем Авиньоне — так что почти нет возможности с ними поговорить в ветреный день.

— Послушай, приятель, — сказал я, — поддержи минуточку моего мула, — — потому что мне надо было снять сапог, натиравший мне пятку. — Человек, к которому я обратился, стоял без всякого дела у дверей гостиницы, и я, вообразив, что он несет какие-нибудь обязанности по дому или конюшне, сунул ему повод, а сам занялся своим сапогом. — Покончив с ним, я обернулся, чтобы взять мула у незнакомца и поблагодарить его...

— — Но Monsieur le Marquis¹ тем временем вошел в дом.

¹ Господин маркиз (франц.).

ГЛАВА XLII

Я мог теперь проехать верхом на муле весь юг Франции от берегов Роны до берегов Гаронны, не торопясь — совсем не торопясь, — — ибо оставил Смерть, — — ты, господи, веши — — (и только ты!) — как далеко позади. — «За многими я следовала по Франции, — сказала она, — но так отчаянно гнаться мне еще не приходилось». — — Однако она по-прежнему за мной следовала, — — и я по-прежнему убегал от нее — — но убегал весело — — по-прежнему она меня преследовала, — но как охотник, отчаявшийся поймать свою добычу, — — каждый шаг, на который она отставала, смягчал ее суровые черты. — — Зачем же мне было убегать от нее сломя голову?

Вот почему, несмотря на все, что мне наговорил посланец почтовой конторы, я еще раз переменял способ передвижения и после торопливой и суматошной езды тешил теперь свою фантазию мыслями о муле и о том, как я прокачусь по богатым равнинам Лангедока на его спине, пустив его самым медленным шагом.

Нет ничего приятнее для путешественника — — и ничего ужаснее для описывающих путешествие, нежели обширная богатая равнина, особенно когда не видно на ней ни больших рек, ни мостов, ничего, кроме однообразной картины изобилия; ведь сказав вам однажды, что она восхитительна! или очаровательна! (как придется) — что почва здесь плодородна, а природа расточает все свои дары и т. д., они не знают, что им дальше делать с обширной равниной, которая осталась у них на руках — и годится разве только для того, чтобы привести их в какой-нибудь город, тоже, может быть, ни для чего больше не годный, как только вывести их на соседнюю равнину и так далее.

— Ужасное занятие! Судите сами, лучше ли мне удалось справиться с моими равнинами.

ГЛАВА XLIII

Не сделал я и двух с половиной лье, как мужчина с ружьем начал осматривать его замок.

Целых три раза я ужасно замешкивался, отставая каждый раз, по крайней мере, на полмили. Один раз по случаю глубокомысленного разговора с мастером, изготовлявшим барабаны

для ярмарок в Бокере и Тарасконе, — механики его я так и не постиг. — Другой раз я, собственно, даже не задержался — — ибо, встретив двух францисканцев, больше меня дороживших временем и неспособных сразу разобрать, что мне, собственно, надо, — я повернул назад и поехал вместе с ними. — —

В третий раз меня задержала торговая операция с одной кумушкой, продавшей мне корзинку прованских фиг за четыре су. Сделка была бы заключена тотчас же, если бы ее не осложнило в последнюю минуту одно щекотливое обстоятельство. Когда за фиги было уже заплачено, то обнаружилось, что на дне корзины лежат две дюжины яиц, покрытых виноградными листьями. — Так как у меня не было намерения покупать яйца, то я на них и не притязал; что же касается до занятого ими в корзине места — то это не имело значения. Я получил достаточно фиг за мои деньги. — —

— Но я имел намерение завладеть корзинкой, а кумушка имела намерение удержать ее, ибо без корзинки она не знала, что делать с яйцами. — — Впрочем, и я, не располагая корзинкой, не знал, что делать с фигами, которые уже перезрели и большею частью потрескались. На этой почве между нами произошел коротенький спор, закончившийся рядом соображений о том, что нам обоим делать. — — —

— Как мы распорядились нашими яйцами и фигами, ни вам, ни самому черту, если бы его тут не было (а я твердо уверен, что он при этом был), ввек не составит сколько-нибудь правдоподобной догадки. Все это вы прочитаете — — — не в нынешнем году, потому что я спешу перейти к истории любовных походов дяди Тоби, — — все это вы прочитаете в сборнике историй, выросших из моего путешествия по Лангедокской равнине и названных мною по этой причине моими

Равнинными историями.

Насколько перо мое утомилось, подобно перьям других путешественников, в этих странствиях по столь однообразной дороге, пусть судят сами читатели, — а только впечатления от них, все разом затрепетавшие в эту минуту, говорят мне, что они составляют самую плодотворную и деятельную эпоху в моей жизни. В самом деле, так как я не уговаривался относительно времени с моим вооруженным спутником — то, останавливаясь и заговаривая с каждым встречным, если он не скакал во всю прыть, — догоняя всякого, кто ехал впереди, — поджидая тех, кто был позади, — окликаая прохожих на перекрестках, —

останавливая всякого рода нищих, странников, скрипачей, монахов, — расхваливая ножки каждой женщины, сидевшей на тутовом дереве, и вовлекая ее в разговор с помощью щепотки табаку, — словом, хватаясь за каждую ручку, все равно какой величины и формы, которую случай предлагал мне во время этого путешествия, — я превратил свою равнину в город — я всегда находился в обществе, и притом обществе разнообразном; а так как мул мой был столько же общителен, как и я, и всегда находил, что сказать каждому встречному животному, — то я глубоко убежден, что, расхаживая мы целый месяц взад и вперед по Пель-Мель или Сент-Джемс-стрит, мы бы не встретили столько приключений — и нам не представилось бы столько случаев наблюдать человеческую природу.

О, здесь царит та живая непринужденность, что мигом управляет все складки на одежде лангедокцев! — Что бы под ней ни таили люди, а все у них удивительно смахивает на невинную простоту той золотой поры, которую воспевают поэты. — Мне хочется создать себе иллюзию и поверить, что это так.

Это случилось по дороге из Нима в Люнель, где лучшее во всей Франции мускатное вино, которое, к слову сказать, принадлежит почтенным каноникам Монпелье, — и срам тому, кто, напившись за их столом, отказывает им в капле вина.

— — Солнце закатилось — работа кончилась; деревенские красавицы заплели наново свои косы, а парни готовились к танцу. — — Мой мул остановился как вкопанный. — — Это флейта и тамбурин, — сказал я. — — — Я до смерти перепугался, — сказал он. — — — Они собираются повеселиться, — сказал я, — пришпоривая его. — — Клянусь святым Богаром и всеми святыми, оставшимися за дверями чистилища, — сказал он (принимая то же решение, что и мулы аббатисы Андуйетской), — я не сделаю и шагу дальше. — — — Превосходно, с э р , — сказал я, — я поставил себе за правило не вступать в спор ни с кем из вашей породы. — С этими словами я соскочил с него и — — швырнув один сапог в канаву направо, другой — в канаву налево, — Пойду потанцевать, — сказал я, — — а ты стой здесь.

Одна загорелая дочь Труда отделилась от группы и пошла мне навстречу, когда я приблизился; ее темно-каштановые волосья, почти совсем черные, были скреплены узлом, кроме одной непослушной пряди.

— Нам не хватает кавалера, — сказала она, — протягивая вперед руки и как бы предлагая их взять. — — Кавалер у вас будет, — сказала я, — беря протянутые руки.

Ах, Нанетта, если бы тебя разодеть, как герцогиню!

— — Но эта проклятая прореха на твоей юбке!

Нанетта о ней не беспокоилась.

— У нас ничего бы не вышло без в а с , — сказала о н а , — выпуская с врожденной учтивостью одну мою руку и ведя меня за другую.

Хромой подросток, которого Аполлон наградила свирелью и который по собственному почину прибавил к ней тамбурин, присев на пригорок, сыграл мелодичную прелюдию. — —

— Подвяжите мне поскорее этот л о к о н , — сказала Нанетта, сунув мне в руку шнурочек. — — Я сразу позабыл, что я иностранец. — Узел распустился, вся коса упала. — — Мы точно семь лет были знакомы.

Подросток ударил в тамбурин — потом заиграл на свирели, и мы пустились в пляс — — «черт бы побрал эту прореху!»

Сестра подростка, с неба похитившая свой голос, запела, чередуясь с братом, — — то была гасконская хороводная песня:

Viva la joia!
Fidon la tristessa!¹

Девушки подхватили в унисон, а парни октавой ниже. — — —

Я дал бы крону за то, чтобы она была за ш и т а , — Нанетта не дала бы и одного с у . — Viva la joia! — было на губах у н е е . — Viva la joia! — было в ее глазах. Искра дружелюбия мгновенно пересекла разделявшее нас пространство. — — Какой она казалась милой! — Зачем я не могу жить и кончить дни свои таким образом? О праведный податель наших радостей и горестей, — воскликнул я, — почему нельзя здесь расположиться в лоне Довольства — танцевать, петь, творить молитвы и подняться на небеса с этой темноволосой девушкой? — Капризно склонив голову к плечу, она задорно плясала. — — Настала пора пляс а т ь , — сказал я; и вот, меняя все время дам и музыку, я проплясал от Люнеля до Мопелье, — а оттуда до Безье и Песна . — — Я проплясал через Нарбонну, Каркасон и Кастельнодари, пока не домчался до павильона Пердрильо, где, достав разлинованную бумагу, чтобы без всяких отступлений и вводных предложений перейти прямо к любовным похождениям дяди Тоби, — —

я начал так — — —

¹ Да здравствует радость! Долой печаль! (прованс.).

Non enim excursus hic ejus, sed opus ipsum est.

Plin. Lib. quintus, Epistola sexta

ГЛАВА I

Но полегонечку — — ибо на этих веселых равнинах, где в настоящую минуту всякая плоть устремилась с флейтами, скрипками и плясками на сбор винограда и где на каждом шагу рассудок бывает сбит с толку воображением, пусть-ка попробует, невзирая на все, что было сказано о *прямых линиях*¹ в разных местах моей книги, — пусть-ка попробует лучший сажатель капусты, какой когда-либо существовал, все равно, сажает ли он назад или вперед, это составляет мало разницы в счете (исключая того, что в одном случае ему придется нести больше ответственности, нежели в другом), — пусть-ка он попробует двигаться хладнокровно, осмотрительно и канонически, сажая свою капусту одну за другой по прямым линиям и на стоических расстояниях, особенно когда прорехи на юбках не зашиты, — не раскорячиваясь на каждом шагу и не уклоняясь незаконным образом вбок. — — В Гренландии, в Финляндии и в некоторых других хорошо мне известных странах — это, пожалуй, возможно, — —

Но под этим ясным небом, в стране фантазии и потовыделения, где каждая мысль, связная и бессвязная, получает выход, — в этой стране, дорогой мой Евгений, — в этой плодородной стране рыцарских подвигов и романов, где я ныне сижу, развинчивая свою чернильницу, чтобы приступить к описанию любовных походов дяди Тоби, между тем как из окна моей рабочей комнаты открывается широкий вид на все извивы

¹ См. стр. 397. — *Л. Стерн.*

путей Юлии, блуждавшей в поисках за своим Диего, — если ты не придешь и не возьмешь меня за руку...

В какое произведение обещает все это вылиться!
Давайте, однако, начнем.

ГЛАВА II

В любви так же, как и в *рогоношении*...

— Но вот я собираюсь начать новую книгу, а на уме у меня давно уже одна вещь, которой я хочу поделиться с читателями, и если не поделюсь сейчас, то, может быть, в моей жизни больше не представится случая это сделать (тогда как мое *сравнение* можно будет развить в любой час дня). — Минуточку задержавшись, я начну совершенно всерьез.

Вещь вот такая.

Я убежден, что из всех различных способов начинать книгу, которые нынче в употреблении в литературном мире, мой способ наилучший, — я уверен также, что он и самый благодетельный — ведь я начинаю с того, что пишу первую фразу, — а в отношении второй всецело полагаюсь на господа бога.

Писатели навсегда бы излечились от привычки открывать с шумом и треском двери на улицу и созывать своих соседей, приятелей и родных, заодно с чертом и всеми его чертенятами, вооруженными молотками и прочим снарядами, если бы только они понаблюдали, как у меня одна фраза следует за другой и как план вытекает из целого.

Я бы желал, чтобы вы видели, с какой уверенностью смотрю я вверх, встав с кресла и уцепившись за его ручку, — чтобы ловить мысли, иногда прежде даже, чем они до меня долетают. —

Думаю, по совести говоря, что я при этом перехватываю много мыслей, которые небо предназначало другому.

Поп и его Портрет¹ ничто против меня. — Нет мученика, который был бы так полон веры и огня (хотелось бы еще прибавить: добрых дел), но у меня нет ни

Пристрастия, ни Гнева — ни

Гнева, ни Пристрастия — — —

и пока боги и люди не согласятся назвать их одним и тем же

¹ См. «Портрет Попа». — *Л. Стерн*.

именем — отъявленнейший Гартюф в науке, политике или в религии не зажжет во мне даже искорки негодования, не встретит более нелюбезного приема и не услышит от меня более грубых слов, чем те, что он прочитает в следующей главе.

ГЛАВА III

— — Bonjour!¹ — — Доброе утро! — — Как вы рано надели теплое платье! — — Впрочем, утро сегодня холодное, и вы благоразумно поступаете — — лучше ехать верхом на хорошей лошади, нежели идти пешком, — — и закупорка желез вещь опасная... — — А как поживает ваша сожительница — ваша жена — и ваши дети от них обеих? Давно получали известия от ваших стариков — от вашей сестры, тети, дяди и прочих родственников? — — Надеюсь, они поправились после насморка, кашля, триппера, зубной боли, лихорадки, задержки мочи, ишиаса, злокачественных опухолей и болезни глаз. — — Вот чертов лекарь! выпустить столько крови — дать такое мерзкое слабительное — и все эти рвотные — припарки — пластыри — декокты — клистиры — мушки! — — И зачем столько гранов каломели? Santa Maria!² такую дозу опиума! да ведь он едва не отравил — pardi! — все ваше семейство, от мала до велика. — — Клянусь старой черной бархатной маской покойной тети Дины, для этого, по-моему, не было никаких оснований.

Так как упомянутая маска немного облезла на подбородке от частого снятия и надевания ее моей теткой, еще до грехопадения с кучером, — то никто из нашего семейства не хотел потом надевать ее. Покрыть *маску* новым бархатом стоило дороже самой маски — — носить же облезлую маску, которая наполовину просвечивает, было все равно что ходить вовсе без маски. — —

Это и есть причина, с позволения ваших преподобий, вследствие которой многочисленное семейство наше насчитывает в четырех последних поколениях всего лишь одного архиепископа, одного валлийского судью, трех-четыре олдерменов и одного-единственного скомороха. — — —

В шестнадцатом столетии мы могли похвалиться не меньше чем дюжиной алхимиков.

¹ Здравствуйте! (*франц.*).

² Святая Мария! (*итал.*).

ГЛАВА IV

В любви так же, как и в рогиношении, — — страдающая сторона в лучшем случае бывает третьим (обыкновенно же последним) лицом в доме, которое что-нибудь узнает о случившемся. Происходит это, как всему свету известно, оттого, что для одной и той же вещи у нас существует полдюжины слов; и до тех пор, пока то, что для одного сосуда человеческого тела есть Любовь — для другого может быть Ненавистью — — Чувством для органа на пол-ярда выше — — и Глупостями... (— — Нет, мадам, не там; — я имею в виду то место, на которое я показываю сейчас пальцем) — — что мы можем поделать?

Из всех смертных, а также, не прогневайтесь, и бессмертных, которые когда-либо рассуждали про себя об этом мистическом предмете, дядя Тоби был наименее способен основательно разобратся в такой распре чувств; он бы непременно предоставил им идти собственным ходом, как мы предоставляем это вещам похуже, чтобы посмотреть, что из этого получится, — — если бы предуведомление, посланное Бригиттой Сузанне, и широкое разглашение Сузанной полученной новости не заставили дядю Тоби вникнуть в это дело.

ГЛАВА V

Почему ткачи, садовники и борцы — а также люди с отнявшимися ногами (вследствие какой-нибудь болезни в *ступне*) — всегда располагали к себе сердце какой-нибудь нежной красоти, втайне изнывавшей от любви к н и м , — все это точно установлено и должным образом объяснено древними и новыми физиологами.

Человек, пьющий только воду, если только он делает это по внутреннему убеждению, без всякого обмана или мошенничества, попадает в эту же самую категорию; правда, на первый взгляд, нет никакой последовательности или логической доказательности в том, «чтобы ручеек холодной воды, сочащийся в моих внутренностях, зажигал факел в моей Д ж е н н и ». —

— — Подобное утверждение неубедительно; наоборот, оно кажется противоречащим естественной связи между причиной и действием. — —

Но это свидетельствует лишь о слабости и немощности человеческого разума.

— — «И вы пребываете в совершенном здравии при этом?»
— В самом лучшем, мадам, — какого сама дружба могла бы мне пожелать. — —

— — «И не пьете ничего? — ничего, кроме воды?»

— Бурная стихия! Стоит тебе подступить к шлюзам мозга — — гляди, как они открываются перед тобой! — —

Вот приплывает *Любознательность*, знаками приглашая своих подруг следовать за не й, — они ныряют в самую середину потока. — —

Фантазия сидит в задумчивости на берегу и, следя взором за течением, превращает соломинки и тростинки в мачты и бушприты. — — А *Похоть*, поддерживая одной рукой подобранное до колен платье, ловит их другой, когда они проплывают мимо. — —

О люди, пьющие только воду! Неужели посредством этой обманчивой жидкости вы так часто управляли миром, вертя его, как мельничное колесо, — измалывая физиономии слабых — стирая в порошок их ребра — расквашивая им носы — и даже иногда меняя форму и лицо природы. — —

— На вашем месте, Евгений, — сказал Йорик, — я бы пил больше воды. — И я на вашем месте, Йорик, — отвечал Евгений, — делал бы то же самое.

Это показывает, что оба они читали Лонгина. — —

Что до меня, то я решил никогда в жизни не читать никаких книг, кроме моих собственных.

ГЛАВА VI

Я бы желал, чтобы дядя Тоби пил только воду; тогда бы ясно было, почему вдова Водмен, едва только увидев его, почувствовала, как что-то в ней шевельнулось в его пользу! — Что-то! — что-то.

— Что-то, может быть, большее, чем дружба, — меньшее, чем любовь, — что-то — (все равно что — все равно где) . — Я бы не дал и волоска из хвоста моего мула, который мне пришлось бы вырвать самому (а их у него немного осталось, и он, разбойник, вдобавок еще с норовом), за то, чтобы ваши милости посвятили меня в эту тайну. — —

Но дело в том, что дядя Тоби не был из числа людей, пьющих только воду; он не пил воды ни в чистом, ни в смешанном

виде, никак и нигде, разве только случайно на каком-нибудь аванпосте, где нельзя было достать ничего лучшего, — или во время своего лечения, когда хирург ему сказал, что вода будет растягивать мышечные волокна и это ускорит их сращивание, — дядя Тоби пил тогда воду спокойствия ради.

Однако всем известно, что действия без причины в природе не бывает, и все знают также, что дядя Тоби не был ни ткачом — ни садовником — ни борцом, — разве только вы непременно пожелаете отнести его к числу последних как капитана, — но ведь он был всего только пехотный капитан — и, кроме того, все это покоится на двусмысленности. — Нам ничего не остается, как предположить, что нога дяди Тоби — но такое предположение помогло бы нам только в том случае, если бы слабость ее происходила от какой-нибудь болезни *в ступне*, — между тем как дядина нога не усыхала ни от какого повреждения ступни — ибо она и вообще не была усохшей. Она только немного одеревенела и плохо слушалась от полной неподвижности в течение трех лет, когда дядя лежал в постели у моего отца в Лондоне; но она была полная и мускулистая и во всех других отношениях такая же крепкая и многообещающая, как и другая его нога.

Положительно, я не помню случая из литературной своей практики, когда я так затруднялся бы свести концы с концами и подогнать главу, которую я писал, к следующей за ней главе, как вот сейчас; можно подумать, будто мне нравится создавать себе затруднения подобного рода единственно для того, чтобы изобретать новые способы из них вывертываться.

— Неосмотрительный ты человек! Разве мало тебе забот и печалей, которые и без того обступают тебя со всех сторон как писателя и человека, — разве их мало тебе, Тристрам, что ты непременно хочешь еще больше запутаться?

Разве не довольно тебе того, что ты кругом в долгах, что десять возов твоего пятого и шестого тома до сих пор еще — до сих пор еще не распроданы и что ты истощил почти все свое остроумие, придумывая, как их сбыть с рук?

Разве не мучит тебя до сего часа проклятая астма, схваченная тобой во время катания на коньках против ветра во Фландрии? и разве всего два месяца назад не порвал ты себе сосуд в легких, разразившись хохотом при виде кардинала, мочившегося, как простой певчий (обеими руками), вследствие чего за два часа потерял две кварты крови; и если б ты потерял еще столько, разве господа медики не сказали тебе — что это составило бы целый галлон. —

ГЛАВА VII

Но ради бога, не будем говорить о квартрах и галлонах — а двинем нашу историю прямо вперед; она такая деликатная и запутанная, что вряд ли выдержит перестановку даже одной запятой; не знаю, как это вышло, но вы меня толкнули в самую середину ее. —

— Пожалуйста, поосторожнее.

ГЛАВА VIII

Дядя Тоби и капрал с такой поспешностью и в такой горячке помчались из Лондона в деревню, чтобы вступить во владение клочком земли, о котором мы столько раз уже говорили, и открыть свою кампанию не позже остальных союзников, что забыли взять с собой один из самых необходимых предметов своего хозяйства; то не был саперный заступ, или кирка, или лопата. —

— То была обыкновенная кровать, на которой люди спят; так как Шенди-Холл в то время был не обставлен, а маленькой гостиница, в которой умер бедный Лефевр, еще не была выстроена, то дяде Тоби пришлось согласиться переночевать в доме миссис Водмен два-три раза, пока капрал Трим (который с дарованиями превосходного слуги, стремянного, повара, портного, хирурга и инженера совмещал также способности превосходного обойщика) не смастерил ему с помощью плотника и двух портных собственную кровать.

Дочь Евы, ибо ею была вдова Водмен (и я не намерен сказать о ней ничего больше, как то —

— *«Что она была женщиной во всех отношениях»*) — лучше бы находилась в пятидесяти милях оттуда — или в своей теплой постели — или играла поварским ножом — словом, все, что угодно — только бы не делала предметом своего внимания мужчину, расположившегося в доме, который ей принадлежал со всей обстановкой.

На открытом воздухе и среди бела дня, когда женщина имеет возможность, физически говоря, видеть мужчину под различными углами зрения, это ничего, — но у себя в доме, под каким бы углом зрения она на него ни смотрела, она не может не сочетать с ним той или иной части своего имущества — —

пока, наконец, вследствие повторения таких сочетаний она его не включает в свой инвентарь. — —

— И тогда покойной ночи.

Но это не есть вопрос *Системы*, ибо ее я изложил выше — — или вопрос *Требника* — — ибо мне дела нет до верований других людей — — или вопрос *Факта* — — по крайней мере, насколько я знаю; нет, это рассказано только для связи и служит введением к последующему.

ГЛАВА IX

Я говорю не в отношении их грубости или чистоты — или прочности их ластовиц, — — но, скажите, разве дамские ночные рубашки не отличаются от рубашек дневных, столь же заметно, как и во всех других отношениях, тем, что они гораздо длиннее последних, так что когда вы в них лежите, они опускаются настолько же ниже ваших пяток, насколько дневные рубашки до них не доходят?

Ночные рубашки вдовы Водмен (как требовала, полагаю, мода времен короля Вильгельма и королевы Анны) были, во всяком случае, скроены именно так; и если эта мода переменилась (ибо в Италии они почти вовсе вышли из употребления), — — тем хуже для публики; они были длиной в два с половиной фламандских эла; таким образом, если считать средний рост женщины в два эла, у вдовы осталось пол-эла, с которым она могла делать что угодно.

Между тем маленькие поблажки, которые она разрешала себе одну за другой в холодные и дышавшие декабрем ночи своего семилетнего вдовства, незаметно привели к установлению такого порядка, обратившегося за последние два года в один из спальных ее обрядов, — что как только миссис Водмен ложилась в постель и вытягивала ноги до самого края, о чем она всегда давала знать Бригитте, — Бригитта со всей подобающей пристойностью, откинув сначала одеяло в ногах постели, брала пол-эла полотна, о котором идет речь, и осторожно отводила его обеими руками вниз, во всю длину, после чего собирала этот кусок в пять или шесть ровных складок, извлекала из рукава большую булавку и, повернув ее к себе острым концом, крепко скалывала все складки вместе немного повыше рубца; проделав это, она аккуратно подтыкала одеяло в ногах своей госпожи и желала ей спокойной ночи.

Операция эта совершалась постоянно и без всяких отступлений, кроме следующего: когда в ненастные, бурные ночи Бригитта раскрывала в ногах постель и т. д., чтобы приступить к своей работе, — она считалась лишь с термометром своих чувств, и потому выполняла ее стоя — опустившись на колени — или сидя на корточках, в соответствии с различными степенями веры, надежды и любви, которыми она бывала проникнута в тот вечер к своей госпоже. Во всех прочих отношениях *этикет* соблюдался свято и мог поспорить с пунктуальнейшим этикетом самой чопорной опочивальни в христианском мире.

В первый вечер, как только капрал проводил дядю Тоби наверх, что случилось часов около десяти, — миссис Водмен бросилась в кресло, закинула левую ногу на правую, образовав таким способом опору для своего локтя, оперлась щекой на ладонь, наклонилась вперед и размышляла до полуночи, подвергнув вопрос обоюдостороннему обсуждению.

На второй вечер она подошла к своему бюро и, приказав Бригитте принести и поставить на стол две непочатые свечи, вынула свой брачный договор и благоговейно его перечитала; на третий же вечер (последний вечер дядиногo пребывания в ее доме), когда Бригитта оттянула нижний конец ее ночной рубашки и собралась было воткнуть большую булавку...

— — Пинком обеих пяток сразу (самым естественным, однако, какой можно было сделать в ее положении — — ибо, если принять * * * * * за полуденное солнце, пинок ее был северо-восточным) она вышибла булавку из пальцев Бригитты — — и висевший на ней *этикет* упал — упал и разбился вдребезги.

Из всего этого ясно было, что вдова Водмен влюбилась в дядю Тоби.

ГЛАВА X

Голова дяди Тоби занята была в то время другими вещами, так что только после разрушения Дюнкерка, когда все прочие европейские дела были улажены, у него нашелся досуг вернуть и этот долг вежливости.

Установившееся таким образом перемирие (если говорить с точки зрения дяди Тоби — ибо, на взгляд миссис Водмен, это было напрасно потерянное время) — продолжалось около одиннадцати лет. Но так как во всех делах подобного рода настоя-

щий бой разгорается только после второго удара, какой бы промежуток времени ни отделял его от первого, — то я предпочитаю назвать эту любовную историю интригой дяди Тоби с миссис Водмен, а не интригой миссис Водмен с дядей Тоби.

Различие это немаловажное.

Это не то, что различие между *старой треугольной шляпой* — — и *треугольной старой шляпой*, из-за которого между вашими преподобиями так часто возгораются споры, — — разница здесь в самой природе вещей. — —

И, позвольте мне сказать вам, господа, громадная разница.

ГЛАВА XI

Итак, вдова Водмен любила дядю Тоби — — а дядя Тоби не любил вдовы Водмен, стало быть, вдове Водмен ничего не оставалось, как продолжать любить дядю Тоби — — — или оставить его в покое.

Вдова Водмен не пожелала сделать ни то, ни другое. — —

— — Боже милосердный! — — я забываю, что и сам немало похож на нее; ведь каждый раз, когда какой-нибудь земной богине, нередко в пору равноденствия, случается быть и той, и другой, и этой, так что из-за нее я не в состоянии прикоснуться к своему завтраку — — хотя ей и горя мало, съел ли я его или не т, —

— — Будь она проклята! — — говорю я и посылаю ее в Татарию, из Татари на Огненную Землю и так далее, к самому дьяволу. Словом, нет такого уголка в преисподней, куда бы я не загнал мою богиню.

Но так как сердце у меня нежное и чувства в такую пору приливают и отливают по десяти раз в минуту, то я мигом вывожу ее оттуда; но я всегда впадаю в крайности, и потому помещаю ее в самом центре Млечного Пути. — —

Ярчайшая из звезд! ты будешь излучать власть твою на...

— — Черт бы ее взял со всей ее властью — — ибо при этом слове я теряю всякое терпение — — пусть себе наслаждается своим сокровищем! — — Клянусь всем волосатым и страшным! — — восклицаю я, срывая с себя меховую шапку и оборачивая ее вокруг пальца, — — я бы не дал и шести пенсов за дюжину таких, как она!

— — Но все-таки она отличная шапка (говорю я, нахлобучивая ее на голову по самые уши) — теплая — и липкая, осо-

бенно когда вы ее гладите по шерсти, — но увы! никогда мне это не будет суждено — (тут моя философия снова терпит крушение).

— Нет; никогда я не прикоснусь к этому пирогу (опять новая метафора).

Корка и мякиш,

Середка и край,

Верх и низ — — — терпеть его не могу, ненавижу его, отвергаю — — меня тошнит от одного его вида — —

Ведь это сплошной перец,

чеснок,

лук,

соль и

чертово дерьмо. — — Клянусь великим архиповаром, который, должно быть, только и делает с утра до вечера, что, сидя у очага, придумывает для нас воспаляющие кушанья, я ни за что на свете к ним не прикоснусь. — —

— — О Тристрам! Тристрам! — воскликнула Дженни.

— О Дженни! Дженни! — отвечаю я, перейдя таким образом к главе двенадцатой.

ГЛАВА XII

— — «Не прикоснусь к ним ни за что на свете», — сказала я. — —

Господи, как распалил я свое воображение этой метафорой.

ГЛАВА XIII

Отсюда ясно, что бы ваши преподобия и ваши милости ни говорили об этом (я не говорю *думали*, — — ибо всякий, кто вообще думает, — думает почти одинаково как об этом, так и о других предметах), — — ясно, что *любовь* (по крайней мере, если определять ее в алфавитном порядке) есть, несомненно, одно из самых

А житирующих,

Б успокоящих,

В олнующих,

Г орячащих,
 Д ьявольских дел в жизни — — она самая
 Е рническая,
 Ж гучая,
 З анозистая (на *И* сказать нечего),
 К апризная,
 Л ирическая из всех человеческих страстей; в то же время она самая
 М аловерная,
 Н адоедливая,
 О путывающая,
 П роказливая,
 С уматощная,
 Р аспотешная — (хотя, в скобках замечу, *Р* должно стоять перед *С*) . — Короче говоря, природу ее лучше всего схватил мой отец, сказав однажды дяде Тоби в заключение длинного рассуждения на эту тему: — — Вы не в состоянии связать о ней двух мыслей, братец Тоби, без гипаллага. — — Это что такое? — воскликнул дядя Тоби. — —
 — Телега впереди ко н я , — отвечал отец. — —
 — Что же ему делать в таком положении? — воскликнул дядя Тоби.
 — Ничего другого, — отвечал о т е ц , — как только впрячься в нее — — или оставить ее в покое.
 Между тем вдова Водмен, как я вам уже сказал, не пожелала сделать ни то, ни другое.
 Она держалась, однако, наготове в полном боевом вооружении, выжидая событий.

ГЛАВА XIV

Парки, несомненно предвидевшие всю эту любовную историю вдовы Водмен и дяди Тоби, протянули с самого сотворения материи и движения (притом с большей учтивостью, чем им свойственно бывает обыкновенно в делах этого рода) такую цепь причин и действий, тесно между собой связанных, что едва ли у дяди Тоби была возможность поселиться в каком-нибудь другом доме или владеть каким-нибудь другим садом в христианском мире, кроме тех дома и сада, которые прилегали к дому и саду миссис Водмен. Это соседство, вместе с преимуществом густой беседки в саду миссис Водмен, устроенной

возле живой изгороди дяди Тоби, предоставляло к услугам вдовы все, что было нужно для ее любовной стратегии: она могла наблюдать маневры дяди Тоби, а также присутствовать на его военных советах; вдобавок дядя, в простоте сердечной, позволил капралу, которого просила об этом Бригитта, соединить их владения ивовой калиткой, чтобы было больше простора для прогулок вдовы, и это дало ей возможность довести свои апроши до самых дверей караульной будки, и даже иногда, в знак признательности, предпринимать атаки и пытаться взорвать дядю Тоби в этой самой его караулке.

ГЛАВА XV

Печальная это истина — — но повседневные наблюдения свидетельствуют, что человека можно, как свечку, зажечь с двух концов — лишь бы фитиль достаточно выходил наружу; если этого нет — ничего у нас не выйдет; если же фитиля вдоволь — но мы зажигаем его снизу, то, к несчастью, пламя в этом случае обыкновенно само себя тушит — и опять ничего не выйдет.

Про себя же скажу, что, если бы всегда было в моей власти назначать, с какого конца я хочу быть зажженным, — ибо для меня невыносима мысль загореться по-скотски, — я бы заставлял хозяйку постоянно зажигать меня сверху; ведь тогда я бы пристойно сгорел до розетки, то есть от головы до сердца, от сердца до печени, от печени до желудка и так далее, по венам и артериям брыжейки, через все извивы и боковые крепления кишок и их оболочек, до слепой кишки. — —

— — Прошу вас, доктор С л о и, — сказал дядя Тоби, прерывая доктора, когда последний упомянул *слепую кишку* в разговоре с моим отцом в тот вечер, как моя мать родила меня, — — прошу в а с, — сказал дядя Т о б и, — объясните мне, что такое слепая кишка; хоть я уже старик, а, признаться, до сего дня не знаю, где она находится.

— *Слепая кишка*, — отвечал доктор С л о и, — находится между *подвздошной костью* и *ободочной кишкой*. — —

— — У мужчины? — спросил отец.

— — В том же самом месте, — воскликнул доктор С л о п, — она находится и у женщины. — —

— Этого я не з н а л, — сказал отец.

ГЛАВА XXI

— И вот, чтобы действовать наверняка, миссис Водмен решила заечь дядю Тоби не с одного какого-нибудь конца, а, по возможности, с обоих концов сразу, как жжет свою свечу расточитель.

Если бы даже миссис Водмен семь лет подряд шарила с помощью Бригитты по всем свалкам военного снаряжения, как пехотного, так и кавалерийского, от большого венецианского арсенала до лондонского Тауэра, она бы не нашла там ни одного *щита* или *мантелета*, так хорошо подходившего для ее целей, как тот, что сам дядя Тоби дал ей в руки, заботясь о своих удобствах.

Кажется, я вам не говорил, — впрочем, не помню — может быть, и говорил — но все равно: есть вещи, которые лучше пересказать, чем спорить из-за них, — что всякий раз, когда капрал трудился над сооружением города или крепости во время их кампаний, первой заботой дяди Тоби было иметь на внутренней стене своей будки, по левую руку от себя, план этого города, приколотый сверху двумя или тремя булавками, снизу же ничем не прикрепленный, чтобы, в случае надобности, удобнее было подносить его к глазам и т. и. Таким образом, решившись предпринять атаку, миссис Водмен подходила к двери караулки, и там уж ей оставалось только протянуть правую руку и, незаметно переступив при этом левой ногой порог, схватить чертеж, план или профиль, что бы ни висело на стене, после чего, изогнув навстречу шею, — поднести его к себе; при этом маневре страсти дяди Тоби всегда разгорались, — ибо он мгновенно хватал левой рукой другой угол карты и концом своей трубки, которую держал в правой руке, начинал объяснение.

Когда атака подвигалась до этой точки, — следующий маневр миссис Водмен, целесообразность которого, я думаю, оценит всякий, — заключался в том, чтобы как можно скорее выхватить из рук дяди Тоби трубку; под тем или иным предлогом, обыкновенно под предлогом более точного указания на карте какого-нибудь редута или бруствера, ей это удавалось прежде, чем дядя Тоби (бедный дядя!) проходил своей трубкой пять-шесть саженей.

— Это заставляло дядю Тоби пускать в ход указательный палец.

Проистекавшее отсюда различие в атаке было таково. Двигаясь, как в первом случае, концом своего указательного пальца бок о бок с концом дядиной трубки, миссис Водмен могла бы пройти по линиям карты от Дана до Вирсавии, если бы линии дяди Тоби простирались так далеко, без всякой для себя пользы: ведь на конце табачной трубки не было никакой артериальной или жизненной теплоты, она не могла бы возбудить никакого чувства — — она не могла ни зажечь огня посредством пульсации — — ни сама загореться посредством симпатии — — она не давала ничего, кроме дыма.

Тогда как, следуя вплотную своим указательным пальцем за указательным пальцем дяди Тоби по всем извилам и зигзагам его укреплений — — прижимаясь иногда к нему — — наступая ему на ногу — — преграждая ему путь — — прикасаясь к нему то здесь — — то там — — вдова, по крайней мере, приводила кое-что в движение.

Хотя это была лишь легкая схватка, вдали от главных сил, она вскоре вовлекала в дело все прочие части; ибо тут карта обыкновенно выскальзывала у них из рук и ложилась обратной стороной на стену караулки; дядя Тоби, в простоте душевной, клал на нее ладонь, чтобы продолжать свои объяснения, а миссис Водмен с быстротой молнии повторяла его маневр и помещала рядом свою руку. Это сразу открывало дорогу, достаточно широкую для того, чтобы по ней могло двигаться взад и вперед всякое чувство, в котором встречает надобность особа, искушенная в теоретической и практической стороне любви. — — —

Подвигая (как и раньше) свой указательный палец параллельно пальцу дяди Тоби — — она неизбежно вовлекала в дело большой палец — — а вслед за указательным и большим пальцами натурально оказывалась занятой вся рука. Твоя, милый дядя Тоби, никогда не бывала теперь там, где ей следовало быть. — — Миссис Водмен все время ее приподымала или, при помощи легчайших подталкиваний, подпихиваний и двусмысленных пожатий, какие только способна воспринять рука, которую нужно переместить, — старалась сдвинуть хоть на волосок с ее пути.

В то время как это делалось, она, понятно, не забывала дать дяде почувствовать, что это ее нога (а не чья-нибудь чужая) слегка прижимается в глубине будки к икре его ноги. — — Надо ли удивляться, что от таких атак на дядю Тоби, от такого решительного натиска на оба его фланга — — время от времени приходил в расстройство также и его центр? — —

— — Черт поberi! — говорил дядя Тоби.

ГЛАВА XVII

Эти атаки миссис Водмен, легко себе представить, были разнообразны; они отличались одна от другой, подобно атакам, которых полна история, и по тем же причинам. Рядовой наблюдатель едва ли даже признал бы их атаками — а если бы признал, не делал бы между ними никакого различия — — но я пишу не для него. У меня еще будет время описать их немного точнее, когда я к ним подойду, что случится только через несколько глав; здесь же мне остается добавить лишь то, что в связке оригинальных бумаг и рисунков, которые отец мой сложил особо, содержится в отличной сохранности (и будет содержаться, пока у меня достанет силы сохранить что бы то ни было) план Бушена, на правом нижнем углу которого и до сих пор заметны знаки запачканных табаком большого и указательного пальцев, — пальцев миссис Водмен, как есть все основания думать, ибо противоположный угол, находившийся, я полагаю, в распоряжении дяди Тоби, совершенно чист. Перед нами, очевидно, вещественное доказательство одной из описанных атак, потому что на верхнем краю карты остались хотя и заровнявшиеся, но еще видимые следы двух проколов, бесспорно являющихся дырами от булавок, которыми план приколот был к стене караулки. —

Клянусь всеми поповскими святынями! Я дорожу этой драгоценной реликвией с ее *стигматами* и *уколами* больше, нежели всеми реликвиями римской церкви, — — за неизменным исключением всякий раз, как я пишу об этих материях, уколов, поразивших тело святой Радагунды в пустыне, которую вам охотно покажут клюнийские монахи по дороге из *Фесса* в *Клюни*.

ГЛАВА XVIII

— Я думаю, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — что укрепления наши теперь совершенно разрушены — — и бассейн сравнялся с молом. — Я так же думаю, — отвечал дядя Тоби с полуподавленным вздохом, — — но пойдю, Трим, в гостиную и принеси мне договор — он лежит на столе.

— Он лежал там шесть недель, — сказал капрал, — но сегодня утром наша старуха употребила его на растопку. —

— Стало быть, — сказал дядя Тоби, — наших услуг больше не требуется. — Очень жаль, с позволения вашей милости, — сказал капрал; произнеся эти слова, он бросил заступ в стоявшую подле него тачку с видом самого безутешного горя, какое только можно вообразить, и уныло озирался, ища глазами кирку, лопату, колья и прочие мелочи военного снаряжения, чтобы увезти их с поля битвы, — как был остановлен возгласом *ох-ох-ох!* из караульной будки, который, благодаря ее тонким дощатым стенкам, как-то особенно жалобно отдался в его ушах.

— Нет, — сказал себе капрал, — я этим займусь завтра утром, когда его милость будет еще почивать. — И с этими словами, взяв из тачки заступ и немного земли на нем, как бы с намерением выровнять одно место у основания гласиса, — но на самом деле желая попросту подойти ближе к своему господину, чтобы его развлечь, — он разрыхлил две-три дернины — подрезал их края заступом и, слегка прибив их оборотной его стороной, сел у ног дяди Тоби и начал так:

ГЛАВА XIX

— Ах, как было жалко, — хотя солдату и глупо, с позволения вашей милости, говорить то, что я собираюсь сказать — —

— Солдату, Трим, — воскликнул дядя Тоби, перебивая его, — случается сказать глупость так же, как и человеку ученому. — Но не так часто, с позволения вашей милости, — возразил капрал. — Дядя Тоби кивнул головой в знак согласия.

— Ах, как было жалко, — сказал капрал, окидывая взором Дюнкерк и мол, совсем так, как Сервий Сульпиций по возвращении из Азии (когда он плыл из Эгины в Мегару) окидывал взором Коринф и Пирей — —

— Ах, как было жалко, с позволения вашей милости, срывать эти укрепления — — но было бы не менее жаль оставить их нетронутыми. — —

— Ты прав, Трим, в обоих случаях прав, — сказал дядя Тоби. — Оттого-то, — продолжал капрал, — сначала их разрушения и до конца — — я ни разу не свистел, не пел, не смеялся, не плакал, не говорил о прошедших наших делах и не

рассказал вашей милости ни одной истории, ни хорошей, ни плохой. — —

— У тебя много превосходных качеств, Трим, — сказал дядя Тоби, — и не на последнее место я ставлю твои способности рассказчика, потому что из многочисленных историй, которые ты мне рассказывал, желая развеселить в тяжелые минуты или развлечь, когда мне бывало скучно, — ты редко когда рассказывал плохую. — —

— — Это оттого, с позволения вашей милости, что, за исключением истории о *короле богемском и семи его замках*, — все они правдивы; ведь все они про меня. — —

— В моих глазах это ничуть их не роняет, Трим, — сказал дядя Тоби. — Но скажи, что это за история? Ты подстегнул мое любопытство.

— Извольте, я расскажу ее вашей милости, — сказал капрал. — Лишь бы только, — сказал дядя Тоби, снова задумчиво посмотрев на Дюнкерк и на мол, — лишь бы только она не была веселая; в такие истории, Трим, слушателю надо всегда половину забавности вносить от себя, а в теперешнем моем состоянии, Трим, я бы не мог воздать должное ни тебе, ни твоей истории. — — Она совсем не веселая, — возразил капрал. — И в то же время я не хотел бы, — продолжал дядя Тоби, — чтобы она была мрачная. — — Она не веселая и не мрачная, — возразил капрал, — а как раз подойдет вашей милости. — — Тогда я от всего сердца поблагодарю тебя за нее, — воскликнул дядя Тоби, — сделай милость, Трим, начинай.

Капрал поклонился; и хотя снять пристойным образом мягкую высокую шапку монтеро вовсе не так легко, как вы воображаете, а ответить исполненный почтительности поклон, как это было в правилах капрала, вещь, на мой взгляд, довольно трудная, когда вы сидите на земле, поджав под себя ноги, — тем не менее, предоставив ладони своей правой руки, обращенной к дяде Тоби, скользнуть назад по траве на некотором расстоянии от туловища с целью сообщить ей больший размах — — и в то же время непринужденно зажав тулью своей шапки большим, указательным и средним пальцами левой руки, отчего диаметр ее укоротился и она, можно сказать, скорее незаметно была выжата — чем неуклюже сдернута, — — капрал справился с обеими задачами ловчее, нежели можно было ожидать от человека в его позе; прокашлявшись раза два, чтобы найти тон, наиболее подходивший для его истории и наиболее согласный с чувствами его господина, — он обменялся с ним ласковым взглядом и приступил к своему рассказу так:

История о короле богемском и семи его замках

— Жил-был король бо — — ге — — —

Когда капрал вступал таким образом в пределы Богемии, дядя Тоби заставил его на минутку остановиться; капрал отправился в путь с обнаженной головой, оставив свою шапку монтеро на земле возле себя, после того как снял ее в конце последней главы.

— — Глаза доброты все подмечают — — — поэтому не успел капрал вымолвить пять слов своей истории, как дядя Тоби дважды вопросительно дотронулся до его шапки монтеро концом своей трости — — словно говоря: «Почему ты ее не наденешь, Трим?» Трим взял ее с самой почтительной неторопливостью и, бросив при этом сокрушенный взгляд на украшавшее ее переднюю часть шитье, которое плачевным образом выцвело да еще вдобавок обтрепалось на некоторых главных листьях и самых бойких частях узора, снова положил на землю между ног своих, чтобы поразмыслить о ее судьбе.

— — Всё до последнего слова совершенная правда, — воскликнул дядя Тоби, — все, что ты собираешься сказать. —

«Ничто не вечно на этом свете, Трим».

— — Но когда этот залог твоей любви и памяти, дорогой Том, износится, — проговорил Трим, — что нам тогда сказать?

— Сказать больше нечего, Трим, — отвечал дядя Тоби. — Хотя бы мы ломали голову до Страшного суда, все равно, Трим, мы ничего бы не придумали.

Признав, что дядя Тоби прав и что напрасны были бы все усилия человеческого ума извлечь более высокую мораль из этой шапки, капрал не стал больше утруждать себя и надел ее на голову, после чего провел рукой по лбу, чтобы разгладить морщину глубокомыслия, порожденную текстом и наставлением вместе, и, придав лицу своему прежнее выражение, вернулся в прежнем тоне к истории о короле богемском и семи его замках.

Продолжение истории о короле богемском и семи его замках

— Жил-был король в Богемии, но в какое царствование, кроме как в его собственное, не могу сказать вашей милости. — —

— Я этого вовсе и не требую от тебя, Трим, — воскликнул дядя Тоби.

— Это было, с позволения вашей милости, незадолго до того, как перевелись на земле великаны; — но в каком году от рождества Христова?..

— — Я бы и полпенса не дал за то, чтобы это узнать, — сказал дядя Тоби.

— — Все-таки, с позволения вашей милости, история от этого как-то выигрывает. — —

— — Ведь это твоя история, Трим, так и украшай ее по твоему вкусу; а год возьми любой, — продолжал дядя Тоби, с улыбкой посмотрев на капрала, — год возьми какой тебе угодно и приставь его к ней — я тебе предоставляю полную свободу. — —

Капрал поклонился; ведь все столетия и каждый год каждого столетия от сотворения мира до Ноева потопа, и от Ноева потопа до рождения Авраама, через все странствования патриархов до исхода израильтян из Египта — — и через все династии, олимпиады, *урбекондита* и другие памятные эпохи разных народов мира до пришествия Христа, и от пришествия Христа до той минуты, когда капрал начал свою историю, — — весь этот необъятный простор времени со всеми его пучинами повергал к его ногам дядя Тоби; но, подобно тому как *Скромность* едва дотрагивается пальцем до того, что обеими руками подает ей *Щедрость*, — капрал удовлетворялся *самым худшим годом* из всего этого вороха; опасаясь, как бы ваши милости из *большинства* и *меньшинства* не повыцарапали друг другу глаза в пылу спора о том, не является ли этот год всегда последним годом прошлогоднего календаря, — — скажу вам напрямик: да; но совсем не по той причине, как вы думаете. — —

— — То был ближайший к нему год — — от рождества Христова тысяча семьсот двенадцатый, когда герцог Ормондский вел такую скверную игру во Фландрии. — — Вооружившись им, капрал снова предпринял поход в Богемию.

Продолжение истории о короле богемском и семи его замках

— В тысяча семьсот двенадцатом году после рождества Христова жил-был, с позволения вашей милости — —

— — Сказать тебе правду, Трим, — остановил его дядя Тоби, — я бы предпочел любой другой год, не только по причине позорного пятна, замазанного в этом году нашу историю отступлением английских войск и отказом прикрыть осаду Кенуа, несмотря на невероятное напряжение, с которым Фагель продолжал фортификационные работы, — но и в интересах твоей

собственной истории; ведь если в ней есть, — а некоторые твой слова внушают мне это подозрение, — если в ней есть великаны — —

— Только один, с позволения вашей милости. — —

— — Это все равно что двадцать, — возразил дядя Тоби, — ты бы лучше лет на семьсот или восемьсот отодвинул ее в прошлое, чтобы обезопасить ее от критиков и других людей, и я бы тебе посоветовал, если ты будешь еще когда-нибудь ее рассказывать — —

— — Коли я проживу, с позволения вашей милости, столько, чтоб хоть один раз досказать ее до конца, я больше никогда и никому не стану ее рассказывать, ни мужчине, ни женщине, ни ребенку. — — Фу-фу! — — сказал дядя Тоби, — но таким ласковым, поощрительным тоном, что капрал продолжал свою историю с большим жаром, чем когда бы то ни было.

Продолжение истории о короле богемском и семи его замках

— Жил-был, с позволения вашей милости, — сказал капрал, возвысив голос и радостно потирая руки, — один король богемский...

— — Пропусти год совсем, Трим, — сказал дядя Тоби, наклоняясь к капралу и кладя ему руку на плечо, как бы в знак извинения за то, что он его остановил, — — пропусти его совсем, Трим; история может отлично обойтись без этих тонкостей, если рассказчик не вполне в них уверен. — — Уверен в них! — — проговорил капрал, качая головой. — —

— Ты прав, — отвечал дядя Тоби; — не легко, Трим, человеку, воспитанному, как ты да я, для военного дела, который редко заглядывает вперед дальше конца своего мушкета, а назад дальше своего ранца, не легко такому человеку все это знать. — — Где же ему это знать, ваша милость! — — сказал капрал, покоренный манерой рассуждения дяди Тоби столько же, как и самим его рассуждением, — у него довольно других забот; когда он не в деле, не в походе и не несет гарнизонной службы — ему надо, с позволения вашей милости, чистить свой мундир — самому бриться и мыться, чтобы всегда иметь такой вид, как на параде. Какая надобность солдату, с позволения вашей милости, — торжествуяще прибавил капрал, — смыслить что-нибудь в географии?

— — Ты, верно, хотел сказать в хронологии, Трим, — отвечал дядя Тоби; — ибо знание географии и для солдата совершенно необходимо; он должен быть основательно знаком со

всеми странами, в которые приведет его долг службы, а также с их границами; он должен знать каждый город, местечко, деревню и поселок со всеми ведущими к ним каналами, дорогами и окольными путями; с первого же взгляда, Трим, он должен назвать тебе каждую большую или малую реку, через которую он переходит, — в каких горах берет она начало — по каким местам протекает — до каких пор судоходна — где ее можно перейти вброд — и где нельзя; он должен знать урожай каждой долины не хуже, чем крестьянин, который ее обрабатывает, и уметь сделать описание или, если потребуется, начертить точную карту всех равнин и ущелий, укреплений, подъемов, лесов и болот, через которые или по которым предстоит пройти его армии; он должен знать, что каждая страна производит, ее растения, минералы, воды, животных, погоду, климат, температуру, ее жителей, обычаи, язык, политику и даже религию.

— Иначе разве мыслимо было бы понять, капрал, — продолжал дядя Тоби, разгораясь и поднимаясь на ноги в своей будке, — как мог Мальборо совершить со своей армией поход от берегов Мааса до Бельбурга; от Бельбурга до Керпенорда — (тут уж и капрал не мог дольше усидеть на месте); от Керпенорда, Трим, до Кальсакена; от Кальсакена до Нейдорфа; от Нейдорфа до Ланденбурга; от Ланденбурга до Мильденгейма; от Мильденгейма до Эльхингена; от Эльхингена до Гингена; от Гингена до Бальмерсгофена; от Бальмерсгофена до Шелленберга, где он прорвал неприятельские укрепления, форсировал переход через Дунай, переправился через Лех, — проник со своими войсками в самое сердце империи, пройдя во главе их через Фрейбург, Гокенверт и Шенефельд до равнин Бленгейма и Гохштета? — Какой он ни великий полководец, капрал, а шагу ступить бы не мог, не мог бы сделать даже дневного перехода без помощи *географии*. — Что же касается *хронологии*, Трим, — продолжал дядя Тоби, снова спокойно усаживаясь в караулке, — то я, признаться, думаю, что солдат легче всего мог бы обойтись без этой науки, если бы не надежда, что она когда-нибудь определит ему время изобретения пороха, ибо страшное его действие, подобно грому все перед собой низвергающее, ознаменовало для нас новую эру в области военного дела, изменив самым коренным образом характер нападения и обороны, как на суше, так и на море, и потребовав от военных такого искусства и ловкости, что не жаль никаких усилий для точного определения времени его открытия — и установления, какой великий человек и при каких обстоятельствах совершил это открытие.

— Я не собираюсь, — продолжал дядя Тоби, — вступить в спор с историками, которые все согласны, что в тысяча триста восьмидесятом году после рождения Христа, в царствование Венцеслава, сына Карла Четвертого,

— некий священник, по имени Шварц, научил употреблению пороха венецианцев в их войнах с генуэзцами, но, несомненно, он не был первым, ибо, если верить дон Педро, епископу Леонскому... — Как это вышло, с позволения вашей милости, что священники и епископы столько утруждали свои головы порохом? — Бог его знает, — отвечал дядя Тоби, — провидение отовсюду извлекает добро. — Итак, дон Педро утверждает в своей хронике о короле Альфонсе, завоевателе Толедо, что в тысяча триста сорок третьем году, то есть за целых тридцать семь лет до вышеупомянутой даты, секрет изготовления пороха был хорошо известен, и его уже в то время с успехом применяли как мавры, так и христиане, не только в морских сражениях, но и при многих достопамятных осадах в Испании и Берберии. — Всем известно также, что монах Бекон обстоятельно писал о порохе и великодушно оставил миру рецепт его изготовления еще за сто пятьдесят лет до рождения Шварца — и что китайцы, — прибавил дядя Тоби, — еще больше сбивают нас с толку и запутывают все наши расчеты, похваляясь, будто это изобретение было им известно за несколько столетий даже до Бекона. —

— Это шайка лгунов, я думаю, — воскликнул Трим.

— Не знаю, уж по какой причине, — сказал дядя Тоби, — но они на этот счет заблуждаются, как показывает жалкое состояние, в котором находится у них в настоящее время фортификация: ведь они знают из нее только fossé¹ с кирпичной стеной, да вдобавок еще не фланкированный, — а то, что они выдают нам за бастион на каждом его углу, построено так варварски, что всякий это примет...

— За один из семи моих замков, с позволения вашей милости, — сказал Трим.

Дядя Тоби хотя и крайне нуждался в каком-нибудь сравнении, однако вежливо отклонил предложение Трима — но когда последний ему сказал, что у него есть в Богемии еще полдюжины замков, от которых он не знает, как отделаться, — дядя Тоби был так тронут простодушной шуткой капрала — — — что прервал свое рассуждение о порохе — — — и попросил капрала продолжать историю о короле богемском и семи его замках.

¹ Ров (франц.).

Продолжение истории о короле богемском
и семи его замках

— Этот *несчастный* король богемский... — сказал Трим. — — Значит, он был несчастен? — воскликнул дядя Тоби, который так погрузился в свое рассуждение о порохе и других военных предметах, что хотя и попросил капрала продолжать, все-таки многочисленные замечания, которыми он прерывал беднягу, не настолько отчетливо отсутствовали в его сознании, чтобы сделать для него понятным этот эпитет. — — Значит, он был *несчастен*, Трим? — с чувством сказал дядя Тоби. — — Капрал, послав первым делом это *злосчастное слово* со всеми его синонимами к черту, мысленно пробежал главнейшие события из истории короля богемского; но все они показывали, что король был счастливейший человек, когда-либо живший на земле, — — и это поставило капрала в тупик; не желая, однако, брать назад свой эпитет — — еще меньше — объяснять его — — и меньше всего — искажать факты (как делают это люди науки) в угоду предвзятой теории, — — он посмотрел на дядю Тоби, ища от него помощи, — — но увидя, что дядя Тоби ждет от него того же самого, — — прокашлялся и продолжал. — —

— Этот король богемский, с позволения вашей милости, был *несчастен* оттого — что очень любил мореплавание и морское дело — — а *случилось* так, что во всем богемском королевстве не было ни одного морского порта. — —

— Откуда же, к дьяволу, ему там быть, Трим? — воскликнул дядя Тоби. — — Ведь Богемия страна континентальная, и ничего другого в ней случиться не могло бы. — — — Могло бы, — — возразил Трим, — — если бы так угодно было господу богу. — — —

Дядя Тоби никогда не говорил о сущности и основных свойствах бога иначе, как с неуверенностью и нерешительностью. — —

— — Не думаю, — возразил дядя Тоби, немного помолчав, — — ибо, будучи, как я сказал, страной континентальной и гранича с Силезией и Моравией на востоке, с Лузацией и Верхней Саксонией на севере, с Франконией на западе и с Баварией на юге, Богемия не могла бы достигнуть моря, не перестав быть Богемией, — — так же как и море, с другой стороны, не могло бы дойти до Богемии, не затопив значительной части Германии и не истребив миллионы несчастных ее жителей, которые не в состоянии были бы от него спастись. — — Какой ужас! — воскликнул Трим. — — Это свидетельствовало бы, — — мягко прибавил дядя Тоби, — — о такой безжалостности отца всякого

милосердия — что, мне кажется, Трим, — подобная вещь никоим образом не могла бы случиться.

Капрал поклонился в знак своего полного согласия и продолжал:

— Итак, в один прекрасный летний вечер королю богемскому *случилось* пойти погулять с королевой и придворными. — Вот это другое дело, Трим, здесь слово *случилось* вполне уместно, — воскликнул дядя Тоби, — потому что король богемский мог пойти погулять с королевой, а мог и не пойти, — это было дело случая, могло произойти и так и этак, смотря по обстоятельствам.

— Король Вильгельм, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — был того мнения, что все predetermined на этом свете, а потому часто говаривал своим солдатам: «У каждой пули свое назначение». — Он был великий человек, — сказал дядя Тоби. — И я по сей день считаю, — продолжал Трим, — что выстрел, который вывел меня из строя в сражении при Ландене, направлен был в мое колено только затем, чтобы уволить меня со службы его величеству и определить на службу к вашей милости, где я буду окружен большей заботливостью, когда состарюсь. — Иначе этого никак не объяснить, Трим, — сказал дядя Тоби.

Сердца господина и слуги были одинаково расположены к внезапному перепополнению чувством, — последовало короткое молчание.

— Кроме того, — сказал капрал, возобновляя разговор, — но более веселым тоном, — не будь этого выстрела, мне никогда бы не довелось, с позволения вашей милости, влюбиться. —

— Вот что, ты был влюблен, Трим, — с улыбкой сказал дядя Тоби. —

— Еще как! — отвечал капрал, — по уши, без памяти! с позволения вашей милости. — Когда же? Где? — и как это случилось? — Я первый раз слышу об этом, — проговорил дядя Тоби. — Смею сказать, — отвечал Трим, — что в полку все до последнего барабанщика и сержантских детей об этом знали. — Ну, тогда и мне давно пора знать, — сказал дядя Тоби.

— Ваша милость, — сказал капрал, — верно, и до сих пор с сокрушением вспоминаете о полном разгроме нашей армии и расстройстве наших рядов в деле при Ландене; не будь полков Виндама, Ламли и Голвея, прикрывших отступление по мосту Неерспекена, сам король едва ли мог бы до него до-

браться — — его ведь, как вашей милости известно, крепко стеснили со всех сторон. — —

— Храбрый воин! — воскликнул дядя Тоби в порыве восторга, — и сейчас еще, когда все потеряно, я вижу, капрал, как он галопом несется мимо меня налево, собирая вокруг себя остатки английской кавалерии, чтобы поддержать наш правый фланг и сорвать, если это еще возможно, лавры с чела Люксембурга — — вижу, как с развевающимся шарфом, бант которого только что отхватила пуля, он одушевляет на новые подвиги полк бедного Голвея — скачет вдоль его рядов — и затем, круто повернувшись, атакует во главе его Конти. — — Храбрец! храбрец! — воскликнул дядя Тоби, — клянусь небом, он заслуживает короны. — — Вполне — как вор веревки, — радостным возгласом поддержал дядю Трим.

Дядя Тоби знал верноподданнические чувства капрала; — иначе сравнение пришлось бы ему совсем не по вкусу — — капралу оно тоже показалось неудачным, когда он его высказал, — — но сказанного не воротить — — поэтому ему ничего не оставалось, как продолжать.

— Так как число раненых было огромное и ни у кого не хватало времени подумать о чем-нибудь, кроме собственной безопасности... — Однако же Толмеш, — сказал дядя Тоби, — отвел пехоту с большим искусством, — Тем не менее я был оставлен на поле сражения, — сказал капрал. — — Да, ты был оставлен, бедняга! — воскликнул дядя Тоби. — — Так что только на другой день в двенадцать часов, — продолжал капрал, — меня обменяли и поместили на телегу с тринадцатью или четырнадцатью другими ранеными, чтобы отвезти в наш госпиталь.

— Ни в одной части тела, с позволения вашей милости, рана не вызывает такой невыносимой боли, как в колене. — —

— Исключая паха, — сказал дядя Тоби. — С позволения вашей милости, — возразил капрал, — боль в колене, на мой взгляд, должна быть, разумеется, самая острая, ведь там находится столько сухожилий и всяких, как бишь они называются...

— Как раз по этой причине, — сказал дядя Тоби, — пах бесконечно более чувствителен — — ведь там находится не только множество сухожилий и всяких, как бишь они зовутся (я так же мало знаю их названия, как и ты), — — но еще кроме того и...

Миссис Водмен, все это время сидевшая в своей бе-седке, — — разом затаила дыхание — вынула булавку, которой был заколот на подбородке ее чепчик, и привстала на одну ногу. — —

Спор между дядей Тоби и Тримом дружески продолжался еще некоторое время с равными силами, пока наконец Трим, вспомнив, как часто он плакал над страданиями своего господина, но не пролил ни одной слезы над своими собственными, — не изъявил готовности признать себя побежденным, с чем, однако, дядя Тоби не пожелал согласиться. — — Это ничего не доказывает, Т р и м , — сказал о н , — кроме благородства твоего характера. — —

Таким образом, сильнее ли боль от раны в паху (*caeteris paribus*¹), нежели боль от раны в колене — или, наоборот, боль от раны в колене сильнее, нежели боль от раны в паху — вопросы эти и по сей день остаются нерешенными.

ГЛАВА XX

— Боль в колене, — продолжал капрал, — была и сама по себе крайне мучительна, а тряская телега и неровные, страшно изрытые дороги — ухудшая то, что и без того было скверно, — на каждом шагу грозили мне смертью; вместе с потерей крови, отсутствием всяких забот обо мне и начинающейся лихорадкой — — (Бедный парень! — сказал дядя Тоби) — все это, с позволения вашей милости, было больше, чем я мог выдержать.

— Я рассказал о своих страданиях молодой женщине в крестьянском доме, возле которого остановилась наша телега, последняя из всей вереницы; мне помогли войти, и молодая женщина накапала на кусочек сахара лекарство, которое нашлось у нее в кармане; увидев, что оно меня приободрило, она дала мне его второй и третий раз. — — Итак, я ей рассказал, с позволения вашей милости, о своих мучениях, которые настолько нестерпимы, — сказал я, — что я предпочел бы лечь вон на ту кровать, — тут я указал глазами на кровать, стоявшую в углу комнаты, — и умереть, только бы не двигаться дальше, — — как вдруг, при ее попытке подвести меня к кровати, я лишился чувств в ее объятиях. Доброе у нее было сердце, — сказал капрал, вытирая слезы, — как ваша милость сейчас услышит.

— Я думал, любовь вещь радостная, — заметил дядя Тоби.

— Это (иногда), с позволения вашей милости, самая серьезная вещь на свете.

— По просьбе молодой женщины, — продолжал капрал, —

¹ При прочих равных условиях (*лат.*).

телега с ранеными уехала без меня; она их убедила, что я немедленно скончаюсь, если меня снова в нее положат. Итак, когда я пришел в себя — я обнаружил, что нахожусь в тихом, спокойном сельском домике, где, кроме молодой женщины, крестьянина и его жены, никого не было. Я лежал поперек кровати в углу комнаты, с раненой ногой на стуле, а молодая женщина стояла возле меня, одной рукой держа у моего носа кончик смоченного в уксусе носового платка, а другой растирая мне виски.

— Сначала я ее принял за дочь крестьянина (потому что то не была гостиница) — и предложил ей кошелек с восемнадцатью флоринами; его прислал мне на память мой бедный брат Том (тут Трим вытер слезы), через одного рекрута, перед самым своим отъездом в Лиссабон. —

— Я никогда еще не рассказывал вашей милости этой жалостной истории, — тут Трим в третий раз вытер слезы. — Молодая женщина позвала в комнату старика с женой и показала им деньги для того, чтобы мне была предоставлена кровать и разные мелочи, которые мне понадобятся, пока я не поправлюсь настолько, что меня можно будет перевезти в госпиталь. — Вот и отлично, — сказала она, завязывая кошелек, — я буду вашим банкиром, — но так как должность эта не возмет у меня много времени, я буду также вашей сиделкой.

— По тому, как она это сказала, а также по ее платью, которое я начал тогда разглядывать внимательнее, я убедился, что молодая женщина не может быть дочерью крестьянина.

— Она была вся в черном до самых пят, а волосы ее закрывала батистовая повязка, плотно стянутая на лбу; это была, с позволения вашей милости, одна из тех монахинь, которых, как известно вашей милости, много есть во Фландрии, где им позволяют жить не в монастыре. — Из твоего описания, Трим, — сказал дядя Тоби, — я заключаю, что то была молодая бегинка; их можно встретить только в испанских Нидерландах — да еще, пожалуй, в Амстердаме — они отличаются от других монахинь тем, что могут оставлять свой монастырь, если пожелают вступить в брак; они посещают больных и ухаживают за ними по обету — я бы предпочел, чтобы они это делали по доброте сердца.

— Она мне часто повторыла, — сказал Трим, — что ухаживает за мной ради Христа, — мне это не нравилось. — Я думаю, Трим, мы оба не правы, — сказал дядя Тоби, — надо будет спросить мистера Йорика сегодня вечером у брата Шенди — ты мне напомни, — прибавил дядя Тоби.

— Не успела молодая бегинка, — продолжал капрал, — сказать, что она будет моей сиделкой, как уже приступила к исполнению своих обязанностей, удалившись приготовить что-то для меня. — Через короткое время — которое мне показалось, однако, долгим — она вернулась с бинтами и т. д. и т. д. и в течение двух часов усердно согревала мне колено припарками и т. д., потом приготовила мне на ужин мисочку жидкой каши — и, пожелав покойной ночи, обещала снова быть у меня рано утром. — Она пожелала, с позволения вашей милости, то, чего мне не было дано. Всю ночь я метался в жестокой горячке — образ бегинки все во мне перевернул — каждую минуту я делил мир пополам — чтобы отдать ей половину — и каждую минуту сокрушался, что мне нечего разделить с ней, кроме солдатского ранца и восемнадцати флоринов. — Всю ночь прекрасная бегинка стояла, как ангел, у моей постели, приподнимая полог и предлагая мне лекарство, — меня пробудила от этого сна только сама она, явившись в назначенный час и протянув мне лекарство наяву. Признаться, она почти не отлучалась от меня, и я до того привык получать жизнь из ее рук, что сердце мое замирало и кровь отливала от лица, когда она выходила из комнаты; и все-таки, — продолжал капрал (делая чрезвычайно странное заключение) — — —

— — *то не была любовь* — — так как в течение трех недель, что она почти безотлучно находилась со мной, собственными руками ставя ночью и днем припарки на мое колено, — я по совести могу сказать вашей милости — что * * * *
* * * * * * * * * * ни разу.

— Это очень странно, Т р и м , — проговорил дядя Т о б и . — —

— «Я так же думаю», — сказала миссис Водмен.

— Ни одного р а з у , — сказал капрал.

ГЛАВА XXI

— — Но в этом нет ничего удивительного, — продолжал капрал — увидя, что дядя Тоби задумался, — ведь Любовь, с позволения вашей милости, точь-в-точь как война — в том отношении, что солдат, хотя бы ему удалось уцелеть три недели сряду до вечера субботы, — может тем не менее быть поражен в сердце в воскресенье утром. — — *Как раз это и случилось со мной*, с позволения вашей милости, с той только разницей — что я вдруг без памяти влюбился в воскресенье после полу-

дня — — любовь, с позволения вашей милости, разорвалась надо мной, как бомба, — — едва дав мне время выговорить: «Господи помилуй».

— Я никогда не думал Т р и м , — сказал дядя Т о б и , — чтобы можно было влюбиться так вдруг.

— Можно, с позволения вашей милости, когда вы на пути к т о м у , — возразил Трим.

— Сделай милость, — сказал дядя Т о б и , — расскажи мне, как это случилось.

— — С превеликим удовольствием, — сказал капрал, низко поклонившись.

ГЛАВА XXII

— Все это время, — продолжал капрал, — мне удавалось избежать любви, и удалось бы миновать ее вовсе, если бы судьба не постановила иначе, — — а от судьбы не уйдешь.

— Случилось это в воскресенье, после полудня, как я уже сказал вашей милости. — —

— Старик и жена его куда-то ушли. — —

— Все в доме было тихо и спокойно, как в полночь. — —

— Не было даже утки или утенка на дворе.

— — Когда прекрасная бегинка вошла проведать меня.

— Моя рана начала уже заживать — — воспаление прошло, но сменилось таким нестерпимым зудом выше и ниже колена, что я из-за него всю ночь не смыкал глаз.

— Дайте-ка я погляжу, — сказала она, опустившись на колени у моей кровати и положив руку на больное место. — — Надо только чуточку растереть, — сказала бегинка, и с этими словами, покрыв мою ногу простыней, принялась растирать ниже колена, водя указательным пальцем правой руки взад и вперед у самого края бинта, которым были стянуты повязки.

Через пять-шесть минут я почувствовал легкое прикосновение кончика ее второго пальца — — скоро он лег плашмя рядом с первым, и она продолжала тереть таким образом довольно долго; вот тогда-то я и подумал, что не миновать мне любви, — — кровь бросилась мне в лицо, когда я увидел, какая белая у нее рука, — — никогда в жизни, с позволения вашей милости, не увижу я больше такой белой руки. — —

— — На таком месте, — сказал дядя Тоби. — —

Хотя дело это было для капрала совсем не шуточное — — он не мог удержаться от улыбки.

— Увидя, какую мне это приносит пользу, молодая бегинка а , — продолжал капрал , — от растирания двумя пальцами — перешла через некоторое время к растиранию тремя — потом мало-помалу пустила в ход четвертый палец — и наконец стала тереть всей рукой. Больше я ни слова не скажу о руках, с позволения вашей милости, — а только рука ее была мягче атласа. — —

— — Сделай одолжение, Трим, расхваливай ее сколько угодно, — сказал дядя Тоби , — я с еще большим удовольствием буду слушать твою историю. — — Капрал самым искренним образом поблагодарил своего господина, но так как больше ему нечего было сказать о руке бегинки — он, чтобы не повторяться, перешел к описанию действия, которое она на него произвела.

— Прекрасная бегинка, — сказал капрал, — продолжала усердно растирать всей рукой мою ногу ниже колена — так что я стал даже опасаться, как бы такое рвение не утомило ее. — — Я готова сделать ради Христа, — сказала она, — в тысячу раз больше, — — и с этими словами переместила свою руку выше колена, где я тоже жаловался на зуд, и стала растирать это место.

Я заметил тогда, что начинаю влюбляться. — —

— Пока она таким образом тер-тер-терла — я чувствовал, как любовь, с позволения вашей милости, распространяется из-под ее руки по всем частям моего тела. — —

— Чем усерднее она растирала и чем дальше забирала ее рука — тем сильнее разгорался огонь у меня в жилах — — пока наконец два-три особенно широких ее движения — — не довели моей страсти до высшей точки — — я схватил ее руку...

— — Прижал к своим губам, Трим, — сказал дядя Тоби, — — — а потом объяснился ей.

Завершилась ли любовь капрала именно так, как описал дядя Тоби, это не важно; довольно того, что она содержала в себе сущность всех любовных романов, когда-либо написанных с начала мира.

ГЛАВА XXIII

Как только капрал — или, вернее, дядя Тоби за него — окончил историю своей любви — миссис Водмен молча вышла из беседки, заколола булавкой чепчик, прошла через ивовую калитку во владения дяди Тоби и медленно направилась к его

караульной будке: душевное расположение дяди Тоби после рассказа Трима было таково, что ей нельзя было упускать столь благоприятный, случай. — —

— — Атака была решена немедленно, и дядя Тоби еще более облегчил ее, отдав приказание капралу увезти саперную лопату, заступ, кирку, колья и прочие предметы военного снаряжения, разбросанные на том месте, где стоял Дюнкерк. — Капрал двинулся в путь — поле было чисто.

А теперь посудите, сэр, как нелепо, в сражении ли, в сочинении или в других делах (рифмуются ли они или нет), которые нам предстоят, — действовать по плану; ведь если какой-нибудь план, независимо от всяких обстоятельств, заслуживал быть записанным золотыми буквами (я разумею, в архивы Готама) — так, уж конечно, план атаки миссис Водмен на дядю Тоби в его караулке посредством Плана. — — Однако План, висевший там в настоящем случае, был планом Дюнкерка — история осады которого была историей расслабляющей, и это разрушало всякое впечатление, которое вдова могла произвести; кроме того, если бы даже ей удалось справиться с этим препятствием, — маневр пальцев и рук в атаке на будку был настолько превзойден маневром прекрасной бегинки в Тримовой истории — что, несмотря на все прежние успехи этой достопримечательной а т а к и , — она в настоящем случае оказывалась самой безнадежной, какую только можно было предпринять. — —

О, в таких случаях вы можете положиться на женщин! Не успела миссис Водмен открыть новую калитку, как ее гений уже овладел пережившейся обстановкой.

— — В одно мгновение она составила новый план атаки.

ГЛАВА XXIV

— — Я совсем обезумела, капитан Шенди, — сказала миссис Водмен, поднеся свой батистовый платок к левому глазу, когда подошла к двери дядиной будки, — — соринка — — или песчинка — — я не знаю что — попала мне в глаз — — посмотрите, пожалуйста, — — только она не на белке...

Говоря это, миссис Водмен подошла вплотную к дяде Тоби и присела рядом с ним на краю скамейки, чтобы он мог исполнить ее просьбу, не вставая с места. — — Пожалуйста, посмотрите, что там т а к о е , — сказала она.

Честная душа! ты заглянул ей в глаз так же чистосердечно, как ребенок заглядывает в стеклышко панорамы, и было так же грешно злоупотребить твоей простотой.

— — О тех, кто заглядывает в подобного рода предметы по собственному почину, — — я ни слова не говорю. — —

Дядя Тоби никогда этого не делал; и я ручаюсь, что он мог бы спокойно просидеть на диване с июня по январь (то есть период времени, охватывающий самые жаркие и самые холодные месяцы) рядом с такими же прекрасными глазами, какие были у фракиянки Родопы¹, не будучи в состоянии сказать, черные они или голубые.

Трудность заключалась в том, чтобы побудить дядю Тоби заглянуть туда.

Она была преодолена. И вот...

Я вижу, как он сидит в своей будке с повисшей в руке трубкой, из которой сыплется пепел, — и смотрит — смотрит — потом протирает себе глаза — — и снова смотрит вдвое добросовестнее, нежели Галилей смотрел на солнце, отыскивая на нем пятна.

— — Напрасно! Ибо, клянусь силами, одушевляющими этот орган, — — левый глаз вдовы Водмен сияет в эту минуту так же ясно, как и ее правый глаз, — — в нем нет ни соринки, ни песчинки, ни пылинки, ни соломинки, ни самой малой частицы непрозрачной материи. — — В нем нет ничего, мой милый, добрый дядя, кроме горящего негой огня, который украдкой перебегает из каждой его части по всем направлениям в твои глаза. — —

— — Еще мгновение, дядя Т о б и , — — если ты еще одно мгновение будешь искать эту соринку — — ты погиб.

ГЛАВА XXV

Глаз в точности похож на пушку в том отношении, что не столько глаз или пушка сами по себе, сколько установка глаза — — и установка пушки есть то, в силу чего первый и второй способны производить такие опустошения. По-моему, срав-

¹ *Rodope Thracia tam inevitabili fascino instructa, tam exacte oculis intuens attrahit, ut si in illam quis incidisset, fieri non posset, quin caperetur.* — — Не знаю кто. — — *Л. Стерн.* — Фракиянка Родопа наделена была таким неотразимым очарованием, так властно привлекала своими взглядами, что, с нею встретившись, невозможно было ею не плениться (*лат.*).

нение не плохое; во всяком случае, раз уж я его сделал и поместил в начале главы как для пользования, так и для украшения, все, чего я прошу взамен, это — чтобы вы держали его в уме всякий раз, как я буду говорить о глазах миссис Водмен (за исключением только следующей фразы).

— Уверяю вас, мадам, — сказал дядя Тоби, — я ровно ничего не могу обнаружить в вашем глазу.

— Это не на белке, — сказала миссис Водмен. Дядя Тоби изо всей силы стал вглядываться в зрачок. — —

Но из всех глаз, когда-либо созданных, — — начиная от ваших, мадам, и кончая глазами самой Венеры, которые, конечно, были самыми сладострастными глазами, какие когда-либо помещались на лице, — — ни один так не подходил для того, чтобы лишить дядю Тоби спокойствия, как тот самый, в который он смотрел, — — то не был, мадам, кокетливый глаз — — развязный или игривый — — то не был также глаз сверкающий — — нетерпеливый или повелительный — — с большими претензиями и устрашающими требованиями, от коих сразу же свернулось бы молоко, на котором замешано было вещество дяди Тоби, — — нет, то был глаз, полный приветливости — — уступчивый — — разговаривающий — — не так, как трубы плохого органа, грубым тоном, свойственным многим глазам, к которым я обращаюсь, — — но мягким шепотом — — похожим на последние тихие речи умирающего святого. — «Как можете вы жить так неудобно, капитан Шенди, в одиночестве, без подруги, на грудь которой вы бы склоняли голову — — или которой бы доверяли свои заботы?»

То был глаз — —

— Но если я скажу еще хоть слово, я сам в него влюблюсь.

Он погубил дядю Тоби.

ГЛАВА XXVI

Ничто не показывает характеров моего отца и дяди Тоби в таком любопытном свете, как их различное поведение в одном и том же случае, — — я не называю любви несчастьем, будучи убежден, что она всегда служит ко благу человеческого сердца. — — Великий боже! что же она должна была сделать с сердцем дяди Тоби, когда он и без нее был олицетворением доброты!

Мой отец, как это видно из многих оставшихся после него бумаг, был до женитьбы очень подвержен любовной страсти — — но вследствие присущего его натуре комического нетерпения, несколько кислотатого свойства, он никогда ей не подчинялся по-христиански, а плевался, фыркал, шумел, брыкался, делался сущим чертом и писал против победительных глаз самые едкие филиппики, какие когда-либо были писаны. — — Одна из них, написанная в стихах, направлена против чьего-то глаза, который в течение двух или трех ночей сряду не давал ему покоя. В первом порыве негодования против него он начинает так:

Вот чертов глаз — — наделал ты вреда
Похуже турка, нехрестя, жида¹.

Словом, пока длился припадок, отец только и делал, что ругался, сквернословил, сыпал проклятиями — — — однако не с такой методичностью, как Эрнульф, — — он был слишком горяч; и без Эрнульфовой политичности — — ибо отец хотя и проклинал направо и налево с самой нетерпимой страстностью всё на свете, что так или иначе содействовало и благоприятствовало его любви, — — однако никогда не заключал главы своих проклятий иначе, как ругнув и себя в придачу, как одного из самых отъявленных дураков и хлыщей, — — говорил о н, — — каких только свет производил.

Дядя Тоби, напротив, принял случившееся, как ягненок, — — сидел смиренно и давал яду разлиться в своих жилах без всякого сопротивления — — при самых сильных обострениях боли в своей ране (как и в то время, когда его мучила рана в паху) он ни разу не обронил ни одного раздражительного или недовольного слова — — он не хулил ни себя, ни земли — — не думал и не говорил дурно ни о ком и ни в каком отношении; одиноко и задумчиво сидел он со своей трубкой — — смотрел на свою хроющую ногу — — да выпускал по временам горестное *охохо!* звуки которого, мешаясь с табачным дымом, не беспокоили никого на свете.

Повторяю — — он принял случившееся, как ягненок.

Сначала он, правда, допустил на этот счет ошибку; ибо в то самое утро он ездил с моим отцом спасать красивую рошу, которую декан и капитул распорядились срубить в пользу

¹ Эти стихи будут напечатаны вместе с «Жизнью Сократа» моего отца и т. д. и т. д. — *Л. Стерн.*

нищих ¹, между тем как названная роща, будучи хорошо видна из дома дяди Тоби, оказывала ему неоценимые услуги при описании битвы под Виннендалем, — — и от слишком крупной рыси (дядя торопился спасти рощу) — на неудобном седле — — никуда негодной лошади и т. д. и т. д. — случилось то, что под кожу нижней части туловища дяди Тоби стала проникать серозная часть крови — — первые скопления которой дядя Тоби (не имевший еще никакого опыта в любви) принял за составную часть своей страсти. — Но когда волдырь, натертый седлом, лопнул — а внутренний остался, — — дядя Тоби сразу понял, что рана его не накожная — — а прошла в самое сердце.

ГЛАВА XXVII

Свет стыдится быть добродетельным. — — Дядя Тоби мало знал свет; поэтому, почувствовав себя влюбленным в миссис Водмен, он совсем не думал, что из этого надо делать больше тайны, чем, например, в том случае, если бы миссис Водмен порезала ему палец зазубренным ножом. Но хотя бы даже дядя Тоби думал иначе — — все равно, он настолько привык видеть в Тримере преданного друга и находил каждый день столько новых доказательств его преданности — — что не мог бы переменить своего отношения к нему и не оповестить его о случившемся.

— Я влюблен, капрал! — сказал дядя Тоби.

ГЛАВА XXVIII

— Влюблены! — воскликнул Трим, — ваша милость были еще совсем здоровы позавчера, когда я рассказывал вашей милости историю о короле богемском. — Богемском! — проговорил дядя Тоби — и задумался. — Что случилось с этой историей, Трим?

— Она у нас как-то затерялась, с позволения вашей милости, — но ваша милость были тогда так же далеки от любви,

¹ Мистер Шенди, должно быть, хочет сказать нищих *духом*, так как преподобные отцы поделили деньги между собой. — *Л. Стерн*.

как вот я. — — Это случилось сейчас же после того, как ты ушел с тачкой, — — — с миссис Водмен, — проговорил дядя Тоби. — — Она мне всадила пулю вот сюда, — прибавил дядя Тоби — показывая пальцем на грудь. — —

— — Она так же не может выдержать осаду, с позволения вашей милости, как не может летать, — воскликнул капрал. — —

— — Но поскольку мы соседи, Т р и м , — лучше всего, по-моему, сначала учтивым образом ее предупредить, — сказал дядя Тоби.

— Если б у меня достало смелости, — сказал капрал, — не согласиться с вашей милостью...

— — Зачем же тогда я разговариваю с тобой, Трим? — мягко заметил дядя Тоби. — —

— Так я бы первым делом, с позволения вашей милости, сам повел на нее сокрушительную атаку — и уж потом заговорил учтиво — ведь если она наперед что-нибудь знает о том, что ваша милость влюблены... — Спаси бог! — воскликнул дядя Т о б и , — она сейчас знает об этом не больше, Т р и м , — чем неродившееся дитя. — —

Золотые сердца! — — —

Миссис Водмен уже двадцать четыре часа назад самым обстоятельным образом рассказала о случившемся миссис Бригитте — и в эту самую минуту держала с ней совет по случаю легких опасений относительно исхода дела, которые Дьявол, никогда не дрыхнувший где-нибудь в канаве, заронил ей в голову — не дав ей допеть и до половины благодарственное слово. — —

— Я ужасно боюсь, — сказала вдова Водмен, — что если я выйду за него замуж, Бригитта, — бедный капитан не будет наслаждаться здоровьем из-за своей страшной раны в паху. — —

— Может быть, мадам, она не такая уж большая, — возразила Бригитта, — как вы опасаетесь, — — и кроме того, я думаю, — прибавила Бригитта, — что она засохла. — —

— — Я бы хотела знать наверно — просто ради него же , — сказала миссис Водмен. — —

— Мы всё узнаем досконально не позже как через десять дней, — ответила миссис Бригитта: — ведь покамест капитан будет ухаживать за вами — я уверена, мистер Трим приволокнется за мной — и я позволю ему все, чего он пожелает, — прибавила Бригитта, — лишь бы всё у него выведать. — —

Меры были приняты немедленно — — дядя Тоби и капрал, со своей стороны, продолжали приготовления.

— И так, — проговорил капрал, подбоченясь левой рукой, а правой сделав размах, обещавший успех — никак не меньше, — — если ваша милость позволит мне изложить план нашей атаки...

— Ты мне доставишь огромное удовольствие, Трим, — сказал дядя Тоби, — и так как я предвижу, что ты будешь в этой атаке моим адъютантом, вот тебе для начала крона, капрал, чтобы спрыснуть свой офицерский патент.

— И так, с позволения вашей милости, — сказал капрал (сперва поблагодарив поклоном за офицерский патент), — мы перво-наперво достанем из большого походного сундука шитые мундиры вашей милости, чтобы хорошенько их проветрить и переставить рукава на голубом с золотом — кроме того, я наново завью ваш белый парик рамильи — и пошлю за портным, чтобы он вывернул тонкие пунцовые штаны вашей милости. — —

— Я бы предпочел надеть красные плисовые, — заметил дядя Тоби. — — Они худо сидят на вас, — сказал капрал.

ГЛАВА XXIX

— — Тебе надо будет немного почистить мелом мою шапку. — — Она будет только мешать вашей милости, — возразил Трим.

ГЛАВА XXX

— — Зато мы выправим пару бритв вашей милости — и я подновлю свою шапку монтеро да надену полковой мундир бедняги лейтенанта Лефевра, который ваша милость велели мне носить на память о нем, — и как только ваша милость чисто побреется — да наденете чистую рубашку и голубой с золотом или тонкий пунцовый мундир — — иногда один, иногда другой — и все будет готово для атаки, — мы смело пойдем на приступ, точно против бастиона, и в то же время, как ваша милость завяжет бой с миссис Водмен в гостиной, на правом фланге, — — я атакую миссис Бригитту в кухне, на левом фланге; когда же мы овладеем этим проходом, ручаюсь, — сказал капрал, прищелкнув пальцами над головой, — что победа будет наша.

— Хотелось бы мне выйти с честью из этого дела, — сказал дядя Тоби, — но клянусь, капрал, я бы предпочел подойти к самому краю неприятельской траншеи...

— Женщина — вещь совсем иного рода, — сказал капрал,
— Да, я думаю, — проговорил дядя Тоби.

ГЛАВА XXXI

— Если какая-нибудь из словесных выходок моего отца способна была рассердить дядю Тоби в период его влюбленности, так это вошедшее у отца в привычку превратное употребление одной фразы Илариона-пустынника, который, повествуя о своем воздержании, о своих бдениях, бичеваниях и прочих вспомогательных средствах своей религии, — говорил (с несколько большим балагурством, нежели подобало пустыннику), что он употребляет эти средства с целью отучить своего *осла* (разумея под ним свое тело) становиться на дыбы.

Отец был в восторге от этого изречения; оно не только лаконично выражало — но еще и порочило желания и вождения нашей низшей части; в течение многих лет жизни моего отца оно было излюбленным его выражением — он никогда не употреблял слова *страсть* — постоянно заменяя его словом *осел*. — Таким образом, с полным правом можно сказать, что все это время он провел на костях или на спине своего или чужого осла.

Здесь я должен обратить ваше внимание на разницу между

ослом моего отца

и моим коньком — дабы вы их тщательно обособляли в вашем сознании, когда о них заходит речь.

Ведь мой конек, если вы еще помните его, животное совершенно безобидное; у него едва ли найдется хоть один ослиный волос или хоть одна ослиная черта. — Это резвая лошадка, уносящая нас прочь от действительности — причуда, бабочка, картина, вздор — осады дяди Тоби — словом, всё, на что мы стараемся сесть верхом, чтобы ускакать от житейских забот и неурядиц. — Он полезнейшее в мире животное — и я положительно не вижу, как люди могли бы без него обходиться. — —

— Но осел моего отца — — — ради бога, не садитесь — не садитесь — не садитесь — (я трижды повторил, не правда ли?) — не садитесь на него — это животное похотливое — и горе человеку, который не препятствует ему становиться на дыбы.

ГЛАВА XXXII

— Ну, дорогой Т о б и , — сказал отец, увидя его в первый раз после того, как дядя влюбился, — как поживает ваш Осел?

Дядя Тоби больше думал о том *месте*, где у него вскочил волдырь, чем о метафоре Илариона, — а так как занимающие нас мысли (как вы знаете) имеют такую же большую власть над звуками слов, как и над формой предметов, то ему показалось, будто отец, не очень церемонившийся в отношении выбора слов, спросил о состоянии большого места, назвав его этим именем; поэтому, несмотря на присутствие в комнате моей матери, доктора Слопа и мистера Йорика, он решил, что учтивее всего будет употребить слово, произнесенное отцом. Когда человек поставлен перед альтернативой совершить ту или иную неблагодарность, то какую бы из них он ни совершил, свет — по моим наблюдениям — всегда его осудит — поэтому я несколько не буду удивлен, если он осудит дядю Тоби.

— Моему О с л у , — отвечал дядя Т о б и , — гораздо лучше, брат Шенди. — Отец возлагал большие надежды на своего Осла при этой атаке и непременно возобновил бы ее, если бы раскатистый смех доктора Слопа — и вырвавшееся у моей матери восклицание: — О боже! — не прогнали его Осла с поля сражения — после чего смех сделался общим — так что в течение некоторого времени не могло быть и речи о том, чтобы повести его снова в атаку. — —

Поэтому разговор продолжался без него.

— Все говорят, — сказала моя м а т ь , — вы влюблены, братец Т о б и , — и мы надеемся, что это правда.

— Мне кажется, сестрица, — отвечал дядя Т о б и , — я влюблен столько же, как всякий человек бывает влюблен. — — Гм! — произнес о т е ц . — — Когда же вы в этом убедились? — спросила матушка. — —

— — Когда лопнул мой волдырь, — отвечал дядя Тоби.

Ответ дяди Тоби развеселил отца — и он повел атаку спешившись.

— Древние, братец Т о б и , — сказал о т е ц , — единодушно признают, что есть два резко различных между собой рода любви, смотря по тому, какой поражен ею орган — мозг или печень — и потому, я думаю, когда человек влюблен, ему следует немножко разобрататься, какого рода его любовь.

— Не все ли равно, брат Ш е н д и , — возразил дядя Т о б и , — какого она рода, лишь бы человек женился, любил свою жену и имел от нее нескольких детей.

— Несколько детей! — воскликнул отец, встав со стула и посмотрев прямо в глаза матери, когда прокладывал себе дорогу между ней и доктором Слопом, — нескольких детей! — повторил отец слова дяди Тоби, расхаживая взад и вперед по комнате. — —

— Однако не думай, дорогой брат Т о б и , — воскликнул отец, разом опомнившись и подойдя к спинке дядиного стула , — не думай, что я бы огорчился, если бы ты народил их хоть два десятка, — наоборот, я бы радовался — и обращался бы, Тоби, с каждым из них, как ласковый о т е ц . —

Дядя Тоби неприметно протянул руку за спинку стула, чтобы пожать руку отца. — —

— Скажу больше, — продолжал отец, удерживая руку дяди Т о б и , — в тебе так много, дорогой мой Тоби, сладостных свойств человеческой природы и так мало ее корявости — жаль, что земля не заселена существами, на тебя похожими! Будь я азиатским монархом, — прибавил отец, увлекшись своим новым проектом, — я бы тебя обязал, если бы только это не истощило твоих сил — или не иссушило слишком быстро первичной твоей влаги — и не ослабило, братец Тоби, твоей памяти и способности воображения, к чему нередко приводит увлечение этого рода гимнастикой, — я бы свел тебя, дорогой Тоби, с красивейшими женщинами моего царства и обязал, *nolens volens* ¹, производить мне по одному подданному каждый *месяц*. — —

Когда отец произнес последнее слово этой ф р а з ы , — мать моя понюхала табаку.

— Но я бы не с т а л , — проговорил дядя Т о б и , — производить детей *nolens volens*, то есть подневольно, даже в угоду самому могущественному монарху на земле. — —

— — И было бы жестоко с моей стороны, братец Тоби, тебя принуждать, — сказал о т е ц . — Я на этом остановился с

¹ Хочешь не хочешь (*лат.*).

целью показать тебе, что не в отношении деторождения — если ты к нему способен — а в отношении твоей теории любви и брака мне бы хотелось тебя исправить. — —

— Во всяком случае, — заметил Йорик, — в суждении капитана Шенди о любви много правды и здравого смысла; кстати сказать, к числу дурно проведенных часов моей жизни, за которые мне придется держать ответ, принадлежат и те, что ушли на чтение множества цветистых поэтов и риториков, из которых я никогда не мог столько почерпнуть. — —

— Я бы желал, Йорик, — сказал отец, — чтобы вы прочли Платона; вы бы узнали из него, что существуют *две любви*. — Я знаю, что у древних было *две религии*, — возразил Йорик, — — — одна для простого народа, а другая для людей образованных; но, мне кажется, *одна любовь* могла бы вполне удовлетворить и тех и других. —

— Нет, не могла бы, — возразил отец, — и по тем же самым причинам; ведь, согласно комментарию Фичино к Веласию, одна любовь *разумная* — —

— — а другая *естественная*; — — первая, древнейшая — — не знающая матери — — в ней Венере нечего было делать; вторая порождена Юпитером и Дионой. —

— — Послушайте, братец, — сказал дядя Тоби, — какое до всего этого дело человеку, верующему и бога? — Отец не мог остановиться, чтобы ответить, из боязни потерять нить своего рассуждения. — —

— Эта последняя, — продолжал он, — имеет все Венерины свойства.

— Первая, золотая цепь, спущенная с неба, возбуждает любовь героическую, которая содержит в себе и, в свою очередь, возбуждает желание философии и истины, — — вторая возбуждает просто *желание*. — —

— — Я считаю произведение потомства столь же благотельным для мира, — сказал Йорик, — как и определение долготы. — —

— — Конечно, — сказала мать, — *любовь* поддерживает доброе согласие в мире. — —

— — В *доме* — дорогая моя, вы правы. — — — Она наполняет землю, — сказала мать. — —

— Но она оставляет пустым небо — дорогая моя, — возразил отец.

— — Девство, — торжествуяще воскликнул Слуп, — вот что населяет рай.

— Ловко пущено, монашенка! — сказал отец.

Отцу свойственна была такая задорная, резкая и хлесткая манера вести споры, он так усердно колот и рубил направо и налево, оставляя у каждого по очереди память о своих ударах, — что меньше чем в полчаса непременно восстанавливал против себя все общество — хотя бы оно состояло из двадцати человек.

Немало содействовала тому, что он оставался таким образом без союзников, его привычка всегда поспешно занимать позицию, которую труднее всего было отстаивать; и надо отдать ему справедливость: утвердившись на ней, он защищал ее так доблестно, что человеку храброму и доброму больно было видеть, когда его оттуда выбивали.

Вот почему Йорик хотя и часто нападал на отца — однако никогда не позволял себе пускаться при этом в ход все свои силы.

Девство доктора Слопа в заключительной части предыдущей главы побудило его на этот раз стать на сторону осажденного отца, и он собирался уже обрушить все христианские монастыри на голову доктора Слопа, как в комнату вошел капрал Трим доложить дяде Тоби, что его тонкие пунцовые штаны, в которых предполагалось совершить атаку на миссис Водмен, не подойдут; ибо портной, распоров их, чтобы вывернуть наизнанку, обнаружил, что они уже были выворочены. — Ну так выворотите их снова, братец, — с живостью проговорил отец, — ведь придется еще не один раз их выворачивать, прежде чем дело будет сделано. — Они уже насквозь прогнили, — сказал капрал. — Тогда во что бы то ни стало, — сказал отец, — закажите, братец, новую пару — ибо, хотя мне известно, — продолжал отец, обращаясь ко всему обществу, — что вдова Водмен уже много лет по уши влюблена в брата Тоби и пускала в ход всякие женские уловки и хитрости, чтобы пробудить в нем ответное чувство, однако теперь, когда она его поймаала, — лихорадка ее пойдет на убыль. —

— Она достигла своей цели. —

— В этом положении, — продолжал отец, — о котором Платон, я убежден, никогда не думал, — *любовь*, видите ли, не столько *чувство*, сколько *должность*, в которую вступает человек, как брат Тоби вступил бы в какой-нибудь армейский *корпус*, — все равно, любит ли он военную службу или нет — состоя в ней — он ведет себя так, как если бы он ее любил, и

пользуется каждым случаем, чтобы показать себя человеком доблестным.

Эта гипотеза, как и все гипотезы моего отца, была в достаточной степени приемлема, и дядя Тоби хотел сделать только одно возражение — встречавшее у Трима полную поддержку — — однако отец еще не вывел своего заключения. — —

— Вот почему, — продолжал отец (возвращаясь к своей теме), — хотя всем известно, что миссис Водмен *расположена* к моему брату Тоби, — и мой брат Тоби, с своей стороны, расположен к миссис Водмен, и в природе вещей ничто не препятствует музыке загреметь хоть сегодня же вечером, однако я ругаюсь, что пройдет год, а они всё еще не сыграются.

— Мы худо распорядились, — проговорил дядя Тоби, впросительно посмотрев в лицо Триму.

— Я бы поставил в заклад мою шапку монтеро, — сказал Трим. — — Эта шапка монтеро, как я вам уже сказал, была постоянной ставкой Трима, и так как он ее подновил в тот самый вечер, собираясь идти в атаку, — это сильно поднимало ее цену. — — Я бы, с позволения вашей милости, поставил в заклад мою шапку монтеро против шиллинга — ежели бы прилично было, — продолжал Трим (делая поклон), — предлагать пари вашим милостям. — —

— — Ничего неприличного в этом нет, — сказал отец, — это просто оборот речи; ведь говоря, что ты поставил бы в заклад шапку монтеро против шиллинга, — все, что ты хочешь сказать, обозначает, что по-твоему...

— — Ну-ка, что по-твоему?

— По-моему, вдова Водмен, с позволения вашей милости, не продержится и десяти дней. — —

— Откуда у тебя, — насмешливо воскликнул доктор Слоп, — это знание женщин, приятель?

— Из любовной истории с одной папистской церковницей, — сказал Трим.

— С бегинкой, — пояснил дядя Тоби.

Доктор Слоп был слишком разгневан, чтобы прислушаться к дядиному пояснению; вдобавок отец воспользовался этой критической минутой, чтобы обрушиться на всех монахинь и бегинок без разбора, называя их тупоумными, протухшими бездельницами, — — Слоп не мог это перенести — — а так как дяде Тоби и Йоррику тоже надо было принять кое-какие меры, первому — в отношении своих штанов, а второму — в отношении четвертого раздела своей проповеди — для успеха

предстоявшей каждому из них на другой день атаки, — то общество разошлось, и отец остался один. Чтобы заполнить полчаса свободного времени до отхода ко сну, он велел подать себе перо, чернила и бумагу и написал дяде Тоби следующее наставительное письмо:

Дорогой брат Тоби.

Я собираюсь сказать тебе кое-что о природе женщин и о том, как за ними ухаживать; и счастье, может быть, для тебя, — хотя и не такое уж счастье для меня, — что ты имеешь возможность получить наставительное письмо по этому предмету, а я в состоянии его написать.

Если бы так угодно было распорядителю наших судеб — и твои познания достались тебе не слишком дорогой ценой, я бы предпочел, чтобы ты вместо меня макал в эту минуту перо в чернила; но так как вышло иначе — — — — пока миссис Шенди здесь рядом готовится лечь в постель, — — я набросаю тебе в беспорядке, как они пришли мне на ум, ряд полезных для тебя, на мой взгляд, советов и наставлений, которые я привожу в знак любви к тебе, не сомневаясь, дорогой Тоби, в том, как они будут тобою приняты.

Во-первых, в отношении всего, что касается в этом деле религии — — хотя жар на щеке моей свидетельствует, что я покраснел, заговорив с тобой об этом предмете, ибо, несмотря на нелицемерное старание твое держать такие вещи втайне, мне хорошо известно, как мало ты пренебрегаешь исполнением ее предписаний, — но я все-таки желал бы отметить одно из ее правил в особенности, о котором (в продолжение твоего ухаживания) ты забывать не должен, а именно: никогда не выступай в поход, будь то утром или после полудня, не поручив себя сначала покровительству всевышнего, дабы он охранял тебя от лукавого.

Гладко брей себе голову по меньшей мере раз в каждые четыре или пять дней и даже чаще, для того чтобы, если по рассеянности случится тебе снять перед ней парик, она не в состоянии была приметить, сколько волос снято у тебя Временем — — и сколько Тримом.

— Еще лучше удалить из ее воображения всякую мысль о плешивости.

Всегда держи в уме, Тоби, и действуй в согласии с твердо установленной истиной — —

что женщины робки. И слава богу, что они такие, — — иначе с ними житья бы не было.

Смотри, чтобы штаны твои были не слишком узкие, но не давай им также чересчур свободно висеть на бедрах, подобно шароварам наших предков.

— — Золотая середина предотвращает всякие выводы.

Что бы ты ни собирался сказать, много или мало, не забывай, что всегда надо говорить тихим, мягким тоном. Молчание и все, что к нему приближается, вселяет в мозг мечты о полуночных тайнах. Поэтому, если можешь, никогда не бросай щипцов и кочерги.

Избегай всяких шуток и балагурства в разговоре с ней и в то же время принимай все доступные для тебя меры, чтобы ей не попадали в руки книги и писания, проникнутые этим духом; существуют книги душеспасительные, и хорошо, если бы тебе удалось приохотить ее к ним; но ни в коем случае не позволяй ей заглядывать ни в Рабле, ни в Скаррона, ни в «Дон Кихота». — —

— — Все эти книги возбуждают смех, а ты знаешь, дорогой Тоби, нет страсти серьезнее плотского наслаждения.

Втыкай булавку в грудь твоей рубашки, перед тем как войти в ее комнату.

Если тебе дозволяется сесть рядом с ней на диван и она дает тебе случай положить твою руку на свою — остерегайся им воспользоваться — — ты не можешь это сделать так, чтобы она не узнала состояния твоих чувств. Оставляй ее на этот счет и на счет как можно большего числа других вещей в полном неведении: поступая таким образом, ты привлечешь на свою сторону ее любопытство; но если она все-таки не сдастся, а осел твой по-прежнему будет становиться на дыбы, как есть все основания предположить... Тебе следует первым делом выпустить несколько унций крови из-под ушей, как было в обычае у древних скифов, которые вылечивались таким способом от самых бурных приступов возжелания.

Авиценна, далее, стоит за то, чтобы смазывать соответственное место настоем чемерицы, производя надлежащие опорожнения и прочищения желудка, — — и я считаю, что он прав. Но ты должен есть поменьше или вовсе не есть козлятины или оленины — — не говоря уже о мясе ослят или жеребят — — и тщательно воздерживаться — — поскольку, разумеется, ты в силах — от павлинов, журавлей, лысух, нырков и болотных курочек. — —

Что же касается напитков — мне нет надобности рекомендовать тебе настой из вербены и травы ганеа, замечательное действие которого описывает Элиан, — — но если бы ты потерял к

нему вкус — оставь его на время и замени огурцами, дынями, портулаком, водяными лилиями, жимолостью и латуком.

Сейчас мне больше не приходит в голову ничего полезного для тебя, кроме разве... объявления новой войны. — — Итак, пожелав тебе, дорогой Тоби, всего наилучшего,

остаюсь твоим любящим братом,

Вальтером Шенди.

ГЛАВА XXXV

Между тем как отец писал это наставительное письмо, дядя Тоби и капрал заняты были деятельными приготовлениями к атаке. Когда они отказались (по крайней мере, на теперешний раз) от мысли вывернуть тонкие пунцовые штаны, не было больше никаких оснований откладывать эту атаку дальше завтрашнего утра, и она назначена была на одиннадцать часов.

— Знаете, дорогая м о я , — сказал отец м а т е р и , — мы только исполним долг брата и сестры, если зайдем к нашему Тоби — — чтобы подбодрить беднягу в этой его атаке.

Дядя Тоби и капрал были уже совсем одеты, когда вошли отец с матерью, и так как часы били одиннадцать, они в эту самую минуту трогались в путь — но рассказ об этом заслуживает, чтобы ему отведено было более почетное место, чем на задворках восьмого тома такого произведения. — — Отец едва успел сунуть свое наставительное письмо в карман дядино-го кафтана — — и присоединиться к матери в пожелании успеха его атаке.

— Мне бы хотелось, — сказала моя м а т ь , — посмотреть в замочную скважину *из любопытства*. — — Назовите это настоящим именем, дорогая м о я , — сказал о т е ц . — *И смотрите тогда в замочную скважину, сколько вам угодно.*

Si quid urbaniuscule lusum a nobis, per
Musas et Charitas et omnium poetarum
Numina, oro te, ne me male capias¹.

ПОСВЯЩЕНИЕ
ВЕЛИКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Вознамерившись a priori² посвятить любовные похождения дяди Тоби мистеру *** — я a posteriori³ нахожу больше оснований посвятить их лорду ***.

Я бы от души скорбел, если бы это возбудило ко мне ревность их преподобий; ведь на придворной латыни a posteriori означает целовать руки с целью добиться повышения по службе или вообще какого-нибудь блага.

О лорде *** я не лучшего и не худшего мнения, чем был о мистере ***. Почести, подобно оттискам на монетах, могут придать идеальную и местную ценность куску неблагородного металла; но золото и серебро будут иметь хождение повсюду без всякой иной рекомендации, кроме собственного веса.

То же самое благорасположение, которое внушило мне мысль обеспечить получасовое развлечение мистеру ***, когда он был не у дел, — руководит мной еще сильнее в настоящее время, поскольку получасовое развлечение будет более полезным и освежающим после работы и огорчений, чем после философской трапезы.

¹ Если мне случилось пошутить слишком вольно, заклинаю тебя музами, харитами и всеми божествами поэтов, не осуждай меня (*лат.*).

² Здесь: в смысле «наперед» (*лат.*).

³ Здесь: в смысле «после, поразмыслив» (*лат.*).

Нет лучшего развлечения, нежели полная перемена мыслей; ничьи мысли не разнятся полнее, чем мысли министров и невинных любовников, вот почему, когда я завожу речь о государственных деятелях и патриотах и обозначаю их признаками, которые способны будут предотвратить на будущее время путаницу и ошибки на их счет, — я имею в виду посвятить этот том некоему любезному пастуху.

Словом, рисуя таким образом его воображению новый круг предметов, я неизбежно дам *отвлечение* его пылким любовным мечтаниям. А тем временем

пребываю

АВТОРОМ.

ГЛАВА I

Призываю все силы времени и случая, ставящие столько помех на нашем жизненном поприще, быть мне свидетелями, что я никак не мог приступить всерьез к любовным похождениям дяди Тоби до настоящей минуты, когда *любопытство* моей матери, как она его назвала, — или некоторое другое побуждение, как склонен был думать отец, — внушило ей желание подглядеть в замочную скважину.

«Назовите это настоящим именем, дорогая моя, — проговорил отец, — и смотрите тогда в замочную скважину, сколько вам угодно».

Только брожение той кислоты, небольшая доза которой, как я уже не раз говорил, была в крови у моего отца, могло дать вырваться подобному намеку — отец был, однако, по природе человек прямой и благородный, во всякое время готовый внять голосу убеждения, поэтому, едва он произнес последнее слово своей нелюбезной реплики, как почувствовал укор совести.

Моя мать шла в это время колыхающимся супружеским шагом, просунув левую руку под правую руку мужа, так что ладонь ее лежала на тыльной стороне его руки, — она приподняла пальцы и опустила их — движение это едва ли можно было назвать легким ударом; а если это был удар — то даже казуист затруднился бы сказать, был ли он знаком протеста или покаянным признанием; отец, который с головы до ног был самой чувствительностью, определил его правильно. — Совесть укорила его с удвоенной силой — он поспешно отвернул лицо свое прочь, а мать, вообразив, что вслед за головой

повернется и его туловище, чтобы идти домой, занесла наискось правую ногу, пользуясь левой в качестве точки опоры, и оказалась прямо перед отцом, так что, повернув голову, он встретился с ее глазами. — — Новый конфуз! он увидел полную неосновательность своего упрека и тысячу оснований упрекнуть самого себя — — тонкий голубой холодный кристалл пребывал со всеми влагами в таком безмятежном покое, что в глубине его можно было бы увидеть малейшую частицу или крупинку желанья, если бы оно было, — — но его не было — — и каким образом вышло, что я так сластолюбив, в особенности незадолго до весеннего и осеннего равноденствия, — — один бог ведает. — — Моя мать — мадам — — никогда такой не была, ни по природе, ни в силу воспитания, ни вследствие примера.

Всякий месяц года и во все критические минуты как дня, так и ночи кровь бежала по ее жилам размеренным, ровным потоком, и она ни в малейшей степени не горячила ее чересчур усердным чтением душеспасительных книг, которые, имея мало или вовсе не имея смысла, часто понуждают природу разыскивать таковой. — — Что же касается моего отца, то он не только не возбуждал и не поощрял ее к подобным вещам своим примером, но поставил делом своей жизни удалять от нее все соблазны этого рода. — — Природа всё сделала, чтобы избавить его от этого труда, и, что было довольно-таки непоследовательно, отец это знал. — — И вот сегодня, 12 августа 1766 года, я сижу в лиловом камзоле и желтых туфлях, без парика и без колпака — — ни дать ни взять — живое трагикомическое воплощение его пророчества о том, что «по вышеуказанной причине никогда я не буду думать и вести себя подобно всем остальным детям».

Ошибка моего отца заключалась в том, что он обрушился на мотив поступка матери, вместо того чтобы обрушиться на самый поступок: ведь, разумеется, замочные скважины сделаны для других целей; и если рассматривать этот поступок как противоречащий прямому назначению вещи и не признающий замочной скважины тем, что она есть, — — он оказывался насилием над природой и постольку был, как видите, преступным.

Вот почему, с позволения ваших преподобий, замочные скважины дают больше поводов для греха и беззакония, нежели все прочие скважины на этом свете, вместе взятые — — — — что и приводит меня к любовным похождениям дяди Тоби.

Хотя капрал, верный своему слову, приложил все старания получше завить дядин парадный парик рамильи, но за недостатком времени не мог добиться больших результатов: последний слишком много лет пролежал сплюснутый в углу старого походного сундука дяди Тоби, а так как складки сжавшихся вещей расправить не легко и употребление огарков требует известного умения, то дело шло не столь гладко, как было бы желательно. Чтобы внушить парикю вид более выигрышный, капрал раз двадцать откидывался назад, сощуривая глаза и вытягивая руки. — Даже ее сиятельство *хандра*, бросив на него взгляд, не могла бы удержаться от улыбки — парик завивался где угодно, только не там, где его хотел завить капрал; легче было воскресить мертвого, нежели взбить два-три локона там, где, по мнению капрала, они послужили бы к его украшению.

Вот какой он был — или, вернее, вот каким он показался бы на ком-нибудь другом; но мягкое выражение доброты, разлитое на лбу дяди Тоби, так властно уподобляло себе все окружающее и Природа, вдобавок, написала таким красивым почерком на каждой дядиной черте *джентльмен*, что ему были к лицу даже выцветшая шляпа с золотым позументом и огромная кокарда из поредшей тафты; сами по себе они гроша не стоили, но как только дядя Тоби их надевал, они принимали праздничный вид, они как будто выбраны были рукою Искусства, чтобы показать его в самом выгодном свете.

Ничто в мире не могло бы содействовать этому могущественнее, нежели голубой с золотом мундир дяди Тоби, — *если бы для излишества не было необходимо в какой-то мере количество*: за пятнадцать или шестнадцать лет, прошедших с тех пор, как он был сшит, благодаря совершенно бездельному образу жизни дяди Тоби, редко ходившего дальше своей заветной лужайки, — голубой с золотом мундир сделался ему до того узок, что капрал лишь с величайшим трудом мог натянуть его на дядины плечи; переделка рукавов делу не помогла. — Он был, однако, покрыт позументами спереди и сзади, а также вдоль боковых швов и т. д., согласно моде времени короля Вильгельма; словом (я сокращаю описание), он так ярко сверкал на солнце в то утро и имел такой металлический и воинственный вид, что если бы дядя Тоби вздумал произве-

сти атаку в доспехах, ничто не могло бы лучше заменить их в его воображении.

Что касается тонких пунцовых штанов, то портной, распоров их в шагу, оставил в *великом беспорядке*. — —

— — Да, мадам, — — но надо обуздать свое воображение. Довольно, если я скажу, что штаны эти накануне вечером признаны были негодными, и так как другого выбора в гардеробе у дяди Тоби не было, то он вышел из дому в красных плисовых.

Капрал нарядился в полковой мундир бедного Лефевра; подобрав волосы под шапку монтеро, которую он подновил по этому случаю, Трим следовал за своим господином на расстоянии трех шагов; дух воинской гордости вспучил его рубашку у запястья, где на черном кожаном ремешке, завязанном в узел и кончавшемся кисточкой, висела его капральская палка. — — Дядя Тоби нес свою трость, как пику.

— — «Во всяком случае, выглядит это недурно», — сказал про себя отец.

ГЛАВА III

Дядя Тоби не раз оборачивался назад, чтобы посмотреть, каково поддерживает его капрал, — капрал каждый раз при этом кружил в воздухе своей палкой — но легонько, без хвастовства — и самым мягким тоном почтительнейшего поощрения говорил его милости: «Не робейте».

Однако дядя Тоби испытывал страх, и страх нешуточный: ведь он совершенно не знал (в чем упрекал его отец), с какого конца надо подступать к женщинам, и потому никогда не чувствовал себя непринужденно ни с одной из них — — разве только они бывали в горе или в беде; жалость его не имела тогда границ; самый куртуазный герой рыцарских романов не проскакал бы дальше, особенно на одной ноге, чтобы осушить слезы на женских глазах, и все-таки, если не считать единственного раза, когда миссис Водмен удалось этого добиться от него хитростью, он никогда не смотрел пристально женщинам в глаза и в простоте сердца часто говорил отцу, что это почти столько же и даже столько же дурно, как говорить непристойности. — —

— — А хотя бы и так? — отвечал отец.

ГЛАВА IV

— Она не может, — проговорил дядя Тоби, остановившись в двадцати шагах от дверей миссис Водмен, — она не может истолковать это в дурную сторону.

— — Она это истолкует, с позволения вашей милости, — сказал капрал, — совершенно так же, как вдова еврея в Лиссабоне истолковала посещение моего брата Тома. — —

— — А как она его истолковала? — спросил дядя Тоби, поворачиваясь лицом к капралу.

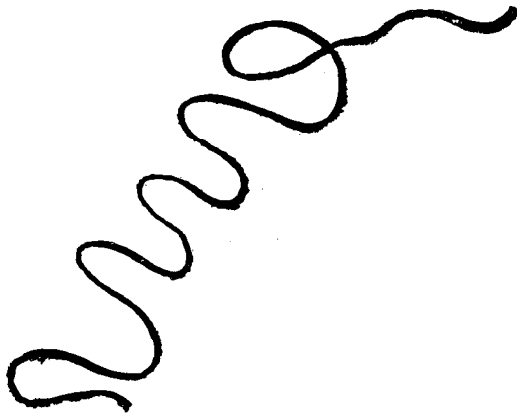
— Ваша милость, — отвечал капрал, — знает постигшее Тома несчастье, но это дело не имеет с ним ничего общего, кроме того, что если бы Том не женился на вдове — — или если бы богу угодно было, чтобы они после свадьбы начинали свиной свои колбасы, честного парня никогда бы не подняли с теплой постели и не потащили в инквизицию. — — Проклятое это место, — примолвил капрал, качая головой, — если уж какой-нибудь несчастный туда попал, он остается там, с позволения вашей милости, навсегда.

— Совершенно верно, — сказал дядя Тоби, пасмурно посмотрев на дом миссис Водмен.

— Ничего не может быть хуже пожизненного заключения и я, — продолжал капрал, — и милее свободы, с позволения вашей милости.

— Ничего, Трим, — сказал дядя Тоби задумчиво. —

— Когда человек свободен, — с этими словами капрал описал в воздухе концом своей палки такую линию — —



Тысячи самых замысловатых силлогизмов моего отца не могли бы доказать убедительнее преимущество холостой жизни.

Дядя Тоби внимательно посмотрел в сторону своего дома и своей заветной лужайки.

Капрал необдуманно вызвал своей палочкой духа размышления, и ему ничего больше не оставалось, как снова его заклясть своим рассказом, что капрал и сделал, прибегнув к следующей совершенно не канонической форме заклинания.

ГЛАВА V

— Место у Тома, с позволения вашей милости, было хорошее — и погода стояла теплая — вот он и начал серьезно подумывать о том, чтобы зажить своим домом; тут как раз случилось, что один еврей, державший в той же улице колбасную лавку, умер от закупорки мочевого пузыря, оставив вдове своей бойкую торговлю. — Том и подумал (так как все в Лиссабоне по мере сил заботились о своих выгодах), что не худо бы предложить этой женщине свою помощь в ее работе. И вот, без всяких других рекомендаций к вдове, кроме намерения купить в ее лавке фунт колбасы, — Том вышел из дому — рассуждая про себя по дороге, что, пусть даже случится самое худшее, он все-таки получит за свои деньги фунт колбасы, — если же счастье ему улыбнется, он устроится на всю жизнь, получив, с позволения вашей милости, не только фунт колбасы — но также жену — и колбасную лавку в придачу.

— Все слуги в доме, от первого до последнего, пожелали Тому успеха; я, с позволения вашей милости, как сейчас вижу: Том весело идет по улице в белом канифасовом камзоле и в белых штанах, сдвинув шляпу набок, помахивая тросточкой и находя для каждого встречного улыбку и дружеские слова. — Но увы, Том, ты больше не улыбнешься, — воскликнул капрал, опустив глаза, словно он обращался к томившемуся в подземелье брату.

— Бедный парень! — сказал растроганный дядя Тоби.

— О, это был, с позволения вашей милости, честнейший, беззаботнейший юноша, в жилах которого текла когда-нибудь горячая кровь. — —

— — Значит, он похож был на тебя, Т р и м , — с живостью сказал дядя Тоби.

Капрал покраснел до кончиков пальцев — слеза застенчивости — слеза благодарности дяде Тоби — и слеза сокрушения о несчастиях брата выступили у него на глазах и тихонько покатались по щекам; глаза дяди Тоби загорелись, как свеча загорается от другой свечи; взявшись за отворот Тримова кафтана (некогда принадлежавшего Лефевру) как будто для того, чтобы дать отдых хромо́й ноге своей, а в действительности чтобы доставить удовлетворение более деликатному чувству, — он молча простоял полторы минуты, по истечении которых отнял свою руку, а капрал, поклонившись, продолжал рассказ о Томе и вдове еврея.

ГЛАВА VI

— Когда Том, с позволения вашей милости, подошел к лавке, там никого не было, кроме бедной девушки-негритянки с пучком белых перьев, привязанных к концу длинной палки, которым она отгоняла мух — не убивая их. — — Прелестная картина! — сказал дядя Т о б и , — она натерпелась преследований, Трим, и научилась милосердию. — —

— — Она была добра, с позволения вашей милости, и от природы, и от суровой жизни; в истории этой бедной заброшенной девчурки есть обстоятельства, способные тронуть и каменное сердце, — сказал Трим; — как-нибудь в ненастный зимний вечер, когда у вашей милости будет охота послушать, я вам их расскажу вместе с остальной частью истории Тома, потому что они с нею связаны. — —

— — Смотри же, не забудь, Т р и м , — сказал дядя Тоби.

— — Есть у негров душа? смею спросить вашу милость, — проговорил капрал (с сомнением в голосе).

— Я не очень сведущ, капрал, в вещах этого рода, — сказал дядя Т о б и , — но мне кажется, бог не оставил бы их без души, так же как тебя или меня. — —

— — Ведь это значило бы чересчур превознести одних над другими, — проговорил капрал.

— — Разумеется, — сказал дядя Т о б и . — Почему же тогда, с позволения вашей милости, обращаться с черной девушкой хуже, чем с белой?

— Я не вижу для этого никаких оснований, — сказал дядя Тоби. —

— Только потому, — воскликнул капрал, покачав головой, — что за нее некому заступиться. —

— Именно поэтому, Трим, — сказал дядя Тоби, — мы и должны оказывать покровительство ей — и ее братьям также: *сейчас* военное счастье вручило хлыст нам — у кого он может очутиться в будущем, господь ведает! — но в чьих бы руках он ни был, люди храбрые, Трим, не воспользуются им бессердечно.

— Сохрани боже! — сказал капрал.

— Аминь, — отвечал дядя Тоби, положив руку на сердце.

Капрал вернулся к своему рассказу и продолжал его — но с некоторым замешательством, природа которого для иных читателей, может быть, непонятна: дело в том, что, благодаря многочисленным внезапным переходам от одного доброго и сердечного чувства к другому, он утратил, дойдя до этого места, шуточный тон, придававший его рассказу осмысленность и одушевление; дважды попробовал он взять его снова, но не добился желательных результатов. Наконец, громко кашлянув, чтобы остановить обратившихся в бегство духов веселой шутки, и в то же время пособив Природе с одной стороны левой рукой, которой он уперся в бок, и поддерживав ее с другой стороны правой, которую он немного вытянул вперед, — капрал кое-как напал на прежний тон; в этой позе он и продолжал свой рассказ.

ГЛАВА VII

— Так как у Тома, с позволения вашей милости, не было в то время никакого дела к мавританке, то он перешел в соседнюю комнату поговорить с вдовой еврея о любви — и о фунте колбасы; как я сказал вашей милости, будучи человеком открытой души и веселого нрава, все помыслы которого были написаны на лице его и в каждом движении, он взял стул и без долгих церемоний, но в то же время с большой учтивостью, придвинул его к столу и сел возле вдовы.

— Нет ничего затруднительнее, как ухаживать за женщиной, с позволения вашей милости, когда она начинает колбасы. — Том завел о них разговор; сперва серьезно: — «как они начиняются — каким мясом, какими травами и

пряностями», — потом с некоторой шутливостью: — «Какие для них берутся кишки — не бывает ли, что они лопаются. — — Правда ли, что самые толстые всегда самые лучшие», — — и так далее — стараясь только скорее недосолить, нежели пересолить то, что он говорил о колбасах, — — чтобы сохранить за собой свободу действий. — —

— Пренебрегли именно этой предосторожностью, — сказал дядя Тоби, положив руку на плечо Трима, — граф де ла Мот проиграл сражение под Виннендалем; он слишком поспешно устремился в лес; не сделай он этого, Лилль не попал бы в наши руки, так же как Гент и Брюгге, следовавшие его примеру; надвигалась зима, — продолжал дядя Тоби, — и погода настолько испортилась, что если бы не такой оборот событий, наши войска наверно погибли бы в открытом поле. — —

— — После этого разве нельзя сказать, с позволения вашей милости, что битвы, подобно бракам, совершаются на небесах? — Дядя Тоби задумался. — —

Религия склоняла его сказать одно, высокое представление о военном искусстве побуждало сказать другое; не будучи в состоянии сочинить ответ, который в точности выражал бы его мысль, — — дядя Тоби ничего не ответил; тогда капрал закончил свой рассказ.

— Заметив, с позволения вашей милости, что он имеет успех и что все сказанное им о колбасах принято благосклонно, Том принялся понемногу помогать вдове в ее работе. — — Сперва он держал колбасу сверху, в то время как она своей рукой проталкивала начинку в низ, — — потом нарезал веревочек требуемой длины и держал их в руке, откуда она их брала одну за другой, — — потом клал их ей в рот, чтобы она брала их по мере надобности, — — и так далее, действуя все смелее и смелее, пока наконец не отважился сам завязать колбасу, между тем как она придерживала открытый ее конец. — —

— — Вдовы, с позволения вашей милости, всегда выбирают себе во вторые мужья человека, как можно менее похожего на их первого мужа; поэтому дело было больше чем наполовину слажено ею про себя прежде, нежели Том завел о нем речь.

— Однако она попыталась было притворно защищаться, схватив одну из колбас, но Том моментально схватил другую...

— Заметив, однако, что в колбасе Тома больше хрящей ей, — — она подписала капитуляцию, — — Том приложил печать, и дело было сделано.

ГЛАВА VIII

— Все женщины, — продолжал Трим (комментируя рассказанную историю), — от самой знатной до самой простой, с позволения вашей милости, любят шутку: трудность в том, чтобы ее скроить по их вкусу; вроде того, как мы пробуем нашу артиллерию на поле сражения, поднимая или опуская казенные части орудий, пока не попадем в цель. — —

— — Твое сравнение, — сказал дядя Тоби, — мне нравится больше, чем сама вещь. — —

— — Оттого что ваша милость, — проговорил капрал, — больше любите славу, нежели удовольствие.

— Мне думается, Трим, — отвечал дядя Тоби, — что еще больше я люблю людей: а так как военное искусство, по всей видимости, стремится к благу и спокойствию мира — — и в особенности та его отрасль, которой мы занимались на нашей лужайке, ставит себе единственной целью укорачивать шаги *честолюбия* и ограждать жизнь и имущество *немногих* от хищничества многих — — то я надеюсь, капрал, у нас обоих найдется довольно человеколюбия и братских чувств для того, чтобы, слышав барабанный бой, повернуться кругом и двинуться в поход.

С этими словами дядя Тоби повернулся кругом и двинулся твердым шагом, как бы во главе своей роты, — — а верный капрал, взяв палку на плечо и хлопнув рукой по поле своего кафтана, когда трогался с места, — — зашагал за ним в ногу вдоль по аллее.

— — Что там затеяли эти два чудака? — воскликнул отец, обращаясь к матери. — Ей-богу, они приступили к форменной осаде миссис Водмен и обходят вокруг ее дома, чтобы наметить линии обложения.

— Я думаю, — проговорила моя мать... — — Но постойте, милостивый государь, — — ибо что сказала матушка по этому случаю — — и что сказал, в свою очередь, отец — — вместе с ее ответами и его возражениями — будет читаться, перечитываться, пересказываться, комментироваться и обсуждаться — — или, выражая все это одним словом, пожираться потомством — в особой главе — — говорю: потомством — и ничуть не стесняюсь повторить это слово — ибо чем моя книга провинилась больше, нежели *Божественная миссия Моисея* или *Сказка про бочку*, чтобы не поплыть вместе с ними в потоке Времени?

Я не стану пускаться в рассуждения на эту тему: Время так быстротечно; каждая буква, которую я вывожу, говорит мне, с какой стремительностью Жизнь несется за моим пером; дни и часы ее, более драгоценные, милая Дженни, нежели рубины на твоей шее, пролетают над нами, как легкие облака в ветреный день, чтобы никогда уже не вернуться, — — все так торопится — — пока ты завиваешь этот локон, — — гляди! он поседел; каждый поцелуй, который я запечатлеваю на твоей руке, прощаясь с тобой, и каждая разлука, за ним следующая, являются прелюдией разлуки вечной, которая нам вскоре предстоит. — —

— — Боже, смилуйся над нею и надо мной!

ГЛАВА IX

А что до мнения света об этом возгласе — — так и гроша за него не дам.

ГЛАВА X

Моя мать, обхватив левой рукой правую руку отца, дошла с ним до того рокового угла старой садовой ограды, где доктор Слуп был опрокинут Обадией, мчавшимся на каретной лошади. Угол приходился прямо против дома миссис Водмен, так что отец, подойдя к нему, бросил взгляд через ограду и увидел в десяти шагах от дверей дядю Тоби и капрала. — — Остановимся на минутку, — сказал он, оборотившись, — и посмотрим, с какими церемониями братец Тоби и слуга его Трим совершат первый свой вход. — — Это нас не задержит, — добавил отец, — и на минуту.

— — Не беда, если и на десять минут, — проговорила матушка.

— — Это нас не задержит и на полминуты, — сказал отец.

Как раз в это время капрал приступая к рассказу о своем брате Томе и вдове еврея; рассказ продолжался — продолжал-

ся — — отклонялся в сторону — — возвращался назад и снова продолжался — — продолжался; конца ему не было — — читатель нашел его очень длинным. — —

— — Боже, помоги моему отцу! Он плевался раз по пятидесяти при каждой новой позе капрала и посылал капральскую палку со всеми ее размахиваниями и вензелями к стольким чертям, сколько их, по его мнению, расположено было принять этот подарок.

Когда исход событий, подобный тому, которого ждет мой отец, лежит на весах судьбы, мы, к счастью, бываем способны трижды менять стимул ожидания, иначе у нас не хватило бы сил его вынести.

В *первую минуту* господствует любопытство; вторая вся подчинена бережливости, дабы оправдать издержки первой — что же касается третьей, четвертой, пятой и шестой минуты и так далее до Страшного суда — то это уже дело *Чести*.

Я отлично знаю, что моралисты относят все это на счет *Терпения*; но у этой *Добродетели*, мне кажется, есть свои обширные владения, в которых ей довольно работы и без вторжения в несколько неукрепленных замков, еще оставшихся на земле в руках *Чести*.

При поддержке этих трех помощников отец кое-как дождался окончания Тримова рассказа, а потом окончания панегирика дяди Тоби военной службе, помещенного в следующей главе; но когда господин и слуга, вместо того чтобы двинуться к дверям дома миссис Водмен, повернулись кругом и зашагали по аллее в направлении, диаметрально противоположном его ожиданиям, — в нем сразу прорвалась та болезненная кислота характера, которая в иных жизненных положениях так резко отличала его от других людей.

ГЛАВА XI

— — Что там затеяли эти два чудака? — воскликнул отец, — — и т. д. — — — —

— Я думаю, — сказала мать, — что они действительно возводят укрепления. — —

— — Всё же не в усадьбе миссис Водмен! — воскликнул отец, отступая назад. — —

— Думаю, что нет, — проговорила мать.

— Ну ее черту, — сказал отец, возвысив голос, — всю эту фортификацию со всеми ее сапами, минами, блиндами, габионами, фосбреями, кюветами и прочей дребеденью. — —

— — Все это глупости, — — согласилась мать.

Надо сказать, что мать моя имела обыкновение (и я готов, в скобках замечу, сию минуту отдать свой лиловый камзол — и желтые туфли в придачу, если кто-нибудь из ваших преподобий последует ее примеру), — мать моя имела обыкновение никогда не отказывать в своем одобрении и согласии, какое бы положение ни высказал перед ней отец, просто потому, что она его не понимала или не вкладывала никакого смысла в главное слово или в технический термин, на котором вращалось это мнение или положение. Она довольствовалась выполнением всего, что за нее пообещали ее крестные отец и мать, — но дальше не шла, и потому могла употреблять трудное слово двадцать лет подряд — а также отвечать на него, если то был глагол, во всех временах и наклонениях, не утруждая себя вопросами о его значении.

Эта манера являлась неиссякаемым источником досады моего отца, ибо с первой же фразы она убивала насмерть столько интересных разговоров, сколько никогда не могло бы сразить самое резкое противоречие; к числу немногих уцелевших тем относятся разговоры *о кюветах*. — —

«— Все это глупости», — сказала мать.

— — В особенности же *кюветы*, — отвечал отец.

Этого было довольно — он вкусил сладость торжества — и продолжал.

— Впрочем, строго говоря, усадьба эта не собственность миссис Водмен, — сказал отец, частично поправляя себя, — она владеет ею только пожизненно. — —

— Это большая разница, — сказала мать. — —

— В глазах дурака, — отвечал отец. — —

— Разве только у нее будет ребенок, — сказала мать. — —

— — Но сперва она должна убедить моего брата Тоби помочь ей в этом. — —

— — Разумеется, мистер Шенди, — проговорила мать.

— — Впрочем, если для этого понадобится убеждение, — сказал отец, — господь да помилует их.

— Аминь, — сказала мать.

— Аминь, — воскликнул отец.

— Аминь, — сказала мать еще раз, но уже горестным тоном, в который она вложила столько личного чувства, что отца

всего передернуло, — он моментально достал свой календарь; по прежде, чем он его раскрыл, паства Йорика, расхोдившаяся из церкви, дала ему исчерпывающий ответ на половину того, о чем он хотел справиться, — а матушка, сказав ему, что сегодня день причастия, — разрешила все его сомнения относительно другой половины. — Он положил календарь в карман.

Первый лорд казначейства, раздумывающий о государственных доходах, не мог бы вернуться домой с выражением большей озабоченности на лице.

ГЛАВА XII

Оглядываясь на конец последней главы и обзревая все, написанное мной, я считаю необходимым заполнить эту и пять следующих страниц изрядным количеством инородного материала, дабы поддержано было то счастливое равновесие между мудростью и дурачеством, без которого книга и года не протянула бы; и не какое-нибудь жалкое бесцветное отступление (которое, если бы не его название, можно было бы сделать, не покидая столбовой дороги) способно выполнить эту задачу — нет; коль уж отступление, так бойкое, шаловливое и на веселую тему, да такое, чтобы ни коня, ни всадника невозможно было поймать иначе, как с наскока.

Вся трудность в том, чтобы привести в действие силы, способные помочь в этом деле. *Фантазия* своенравна — *Остроумие* не любит, чтобы его и скали, — *Шутливость* (хотя она и добрая девчурка) не придет по зову, хотя бы мы сложили царство у ног ее.

— — Самый лучший способ — сотворить молитву. — —

Но если тогда придут нам на ум наши слабости и немощи, душевные и телесные, — то в этом отношении мы почувствуем себя после молитвы скорее хуже, чем до нее, — но в других отношениях лучше.

Что касается меня самого, то нет под небом такого средства, о котором я бы в этом случае не подумал и которого не испытал бы на себе, иной раз обращаясь прямо к душе и на все лады обсуждая с ней вопрос о пределах ее способностей. — —

— — Мне ни разу не удалось расширить их даже на дюйм! — — иной раз, меняя систему и пробуя, чего можно достигнуть обузданием тела: воздержанием, трезвостью и целомудрием. Сами по себе, — говорил я, — они хороши — они хороши абсолютно — хороши и относительно; — они хороши для здоровья — хороши для счастья на этом свете — хороши для счастья за гробом. — —

Словом, они были хороши для чего угодно, но не для того, что мне было надобно; тут они годились только на то, чтобы оставить душу точно такой, как ее создало небо. Что до богословских добродетелей веры и надежды, то они, конечно, дают душе мужество; однако кротость, эта плаксивая добродетель (как всегда называл ее отец), отнимает его начисто, так что вы снова оказываетесь на том самом месте, откуда тронулись в путь.

И вот я нашел, что во всех обыкновенных и заурядных случаях нет ничего более подходящего, как...

— — Право же, если мы можем сколько-нибудь полагаться на логику и если меня не ослепляет самолюбие, во мне есть кое-что от подлинной гениальности, судя хотя бы по тому ее симптому, что я совершенно не знаю зависти; в самом деле, стоит мне только сделать какое-нибудь открытие или напасть на какую-нибудь выдумку, которые ведут к усовершенствованию писательского искусства, как я сейчас же предаю их гласности, искренне желая, чтобы все писали так же хорошо, как пишу я.

— — Что, конечно, и последует, если пишущие будут так же мало думать.

ГЛАВА XIII

Итак, в обыкновенных случаях, то есть когда я всего только туп и мысли рождаются трудно и туго сходят с пера — —

Или когда на меня, непонятно каким образом, находит мерзкая полоса холодного и лишнего всякой образности слога и я не в силах из нее выбрать даже ценою *спасения души моей*, так что вынужден писать, как голландский комментатор, до самого конца главы, если не случится чего-нибудь — —

— — я ни минуты не трачу на переговоры с моим пером

и чернилами; если делу не помогают щепотка табаку и несколько шагов по комнате — я немедленно беру бритву и пробую на ладони ее лезвие, после чего без дальнейших церемоний намазываю себе подбородок и бреюсь, следя лишь за тем, чтобы случайно не оставить седого волоса; по окончании бритья я меняю рубашку — выбираю лучший кафтан — посылаю за самым свежим моим париком — надеваю на палец кольцо с топазом; словом, наряжаюсь с ног до головы самым тщательным образом.

Если и это не помогает, значит, впутался сам сатана: ведь сами рассудите, сэр, — поскольку каждый обыкновенно присутствует при бритье своей бороды (хотя и нет правила без исключения) и уж непременно просиживает в течение этой операции лицом к лицу с самим собой, если производит ее собственноручно, — это особенное положение внушает нам, как и всякое другое, свои особенные мысли. — —

— — Я утверждаю, что образы фантазии небритого человека после одного бритья прихорашиваются и молодеют на семь лет; не подвергайся они опасности быть совсем сбритыми, их можно было бы довести путем постоянного бритья до высочайшего совершенства. — Как мог Гомер писать с такой длинной бородой, мне непостижимо — — и коль это говорит против моей гипотезы, мне мало нужды. — — Но вернемся к туалету. Ludovicus Sorbonensis считает оный исключительно делом тела, *ἐξωτερικὴ πράξις* как он его называет, — — но он заблуждается: душа и тело соучастники во всем, что они предпринимают; мы не можем надеть на себя новое платье так, чтобы вместе с нами не приоделись и наши мысли; и если мы наряжаемся джентльменами, каждая из них предстает нашему воображению такой же нарядной, как и мы сами, — так что нам остается только взять перо и писать вещи, похожие на нас самих.

Таким образом, когда ваши милости и ваши преподобия желаете узнать, опрятно ли я пишу и удобно ли меня читать, вы так же хорошо будете об этом судить, рассмотрев счет моей прачки, как и подвергнув разбору мою книгу; могу вам засвидетельствовать, что был один такой месяц, когда я переменял тридцать одну рубашку — так чисто я старался писать; а в результате меня бранили, проклинали, критиковали и поносили

¹ Внешнее предприятие, то есть в данном месте — не касающееся души (*греч.*).

больше, и больше было таинственных покачиваний головой по моему адресу за то, что я написал в этом месяце, нежели за все, написанное мной в прочие месяцы того года, вместе взятые.

— — Но их милости и их преподобия не видели моих счетов.

ГЛАВА XIV

Так как у меня никогда в мыслях не было начать отступление, для которого я делаю все эти приготовления, прежде чем я дойду до главы пятнадцатой, — — — то я вправе употребить эту главу, как я сочту удобным, — — в настоящую минуту у меня двадцать разных планов на этот счет — — я мог бы написать главу о *Пуговичных петлях*. — —

Или главу о *ТЬфу!* которая должна за ними следовать — —

Или главу об *Узлах*, в случае если их преподобия с ними справятся, — — но темы эти могут вовлечь меня в беду; самое верное следовать путем ученых и самому выдвинуть возражения против написанного мной, хотя, наперед объявляю, я знаю не больше своих пяток, как их опровергнуть.

Прежде всего можно было бы сказать, что существует презренный род *Ферситовой* сатиры, черной, как чернила, которыми она написана, — — (к слову сказать, кто так говорит, обязан поблагодарить генерального инспектора греческой армии за то, что тот не вычеркнул из своей ведомости личного состава имя столь уродливого и злоязычного человека, как Ферсит, — — ибо эта небрежность снабдила вас лишним эпитетом) — — в подобных произведениях, можно утверждать, никакие умывания и оттирания на свете не пойдут на пользу опустившемуся гению — — наоборот, чем грязнее этот субъект, тем больше он обыкновенно преуспевает.

На это у меня только тот ответ — — — по крайней мере, под рукой — — что архиепископ Беневентский, как всем известно, написал свой *грязный* роман *Галатео* в лиловом кафтане и камзоле и в лиловых штанах и что наложенная на него за это епитимья (написать комментарий к Апокалипсису) хотя и показалась некоторым чрезвычайно суровой, другие совсем не сочли ее такой, единственно по причине упомянутого *облачения*.

Другим возражением против моего средства является его недостаточная универсальность; ведь поскольку бритвенная его

часть, на которую возлагается столько надежд, совершенно недоступна, в силу непреложного закона природы, для половины человеческого рода, — я могу сказать лишь, что писатели женского пола, как в Англии, так и во Франции, поневоле должны обходиться без бритья. —

Что же касается испанских дам — за них я ни капельки не тревожусь. —

ГЛАВА XV

Вот, наконец, и пятнадцатая глава; она не приносит с собой ничего, кроме печального свидетельства о том, как быстро ускользают от нас радости на этом свете!

Но поскольку у нас шла речь о моем отступлении — торжественно объявляю: я его сделал! — Что за странное существо человек! — сказала она.

Я с вами совершенно согласен, — отвечал я, — но лучше нам выкинуть все эти вещи из головы и вернуться к дяде Тоби.

ГЛАВА XVI

Дойдя до конца аллеи, дядя Тоби и капрал спохватились, что им не туда была дорога, повернули кругом и направились прямо к дверям миссис Водмен.

— Ручаюсь вашей милости, — сказал капрал, поднеся руку к шапке монтеро, в то время как он проходил мимо дяди, чтобы постучать в дверь, — дядя Тоби, в противность своей неизменной манере обращения с верным слугой, ничего не сказал, ни хорошего, ни худого; дело в том, что он не привел как следует в порядок своих мыслей; ему хотелось устроить еще одно совещание, и когда капрал всходил на три ступени перед дверями — он дважды кашлянул, — при каждом покашливании горсть самых застенчивых духов дяди Тоби отлетала от него по направлению к капралу; последний целую минуту в нерешительности стоял с молотком в руке, сам не зная почему. Истомленная ожиданием, за дверью притаилась Бригитта, держа на щеколде большой и указательный пальцы, а миссис Водмен, с написанной во взгляде готовностью вновь лишиться не-

винности, сидела ни жива ни мертва за оконной занавеской, подстерегая приближение наших воинов.

— Трим! — сказал дядя Тоби — — но когда он произносил это слово, минута истекла, и Трим опустил молоток.

Увидя, что все его надежды на сошествие сокрушены этим ударом, — дядя Тоби принялся насвистывать Лиллибулливо.

ГЛАВА XVII

Так как указательный и большой пальцы миссис Бригитты покоились на шеколде, капралу не пришлось стучать столько раз, сколько приходится, может быть, портному вашей милости, — — я мог бы взять пример и поближе, ибо сам задолжал своему портному, по крайней мере, двадцать пять фунтов и дивлюсь терпению этого человека. — —

— — Впрочем, дела мои никому не интересны; а только препоганая это вещь залезть в долги, и, видно, рок тяготеет над казней некоторых бедных принцев, в особенности нашего дома, ибо никакая бережливость не в состоянии удержать ее под замком. Что же касается меня самого, то я убежден, что нет на земле такого принца, прелата, папы или государя, великого или малого, который искреннее, чем я, желал бы держать в порядке все свои расчеты с людьми — — и принимал бы для этого более действенные меры. Я никогда не дарю больше полугинеи — не ношу сапог — — не трачусь на зубочистки — — и не расходую даже шиллинга в год на картонки с модным товаром; а шесть месяцев, что я в деревне, я живу на такую скромную ногу, что преспокойнейшим образом затыкаю за пояс Руссо, — — я не держу ни лакея, ни мальчика, ни лошади, ни коровы, ни собаки, ни кошки и вообще никакой твари, способной есть и пить, кроме одной жалкой тощей весталки (чтобы поддержать огонь в моем очаге), у которой обыкновенно такой же плохой аппетит, как и у меня, — — но если вы думаете, что описанный образ жизни обращает меня в философа, — — то за ваше суждение, добрые люди, я гроша ломаного не дам.

Истинная философия — — но о ней немисливо вести речь, пока мой дядя насвистывает Лиллибулливо.

— — Войдемте лучше в дом.

ГЛАВА XVIII

ГЛАВА XIX

ГЛАВА XX

— — — * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * — — —

— — Вы увидите это место собственными глазами, мадам, — сказал дядя Тоби.

Миссис Водмен покраснела — — посмотрела в сторону двери — — побледнела — — снова слегка покраснела — — пришла в себя — — покраснела пуще прежнего; для непосвященного читателя я переведу это так:

*«Господи! мне невозможно смотреть на это — —
 «Что скажет свет, если я посмотрю на это?»
 «Я упаду в обморок, если посмотрю на это — —
 «А мне хотелось бы посмотреть — —
 «Ничуть не грешно посмотреть на это.
 «— — Я непременно посмотрю».*

Пока все это проносилось в сознании миссис Водмен, дядя Тоби поднялся с дивана и вышел из гостиной, чтобы отдать Триму приказание о ней в коридоре. — —

* * * * * * * — — —

Мне кажется, она на чердаке, — сказал дядя Тоби. — — Я ее видел там, с позволения вашей милости, сегодня поутру, — отвечал Трим. — — Так сделай милость, Трим, сходи сейчас же за ней, — сказал дядя Тоби, — и принеси сюда.

Капрал не одобрял этого приказания, но повиновался ему с величайшей готовностью. Одобрение от него не зависело — повиновение было в его воле; он надел свою шапку монтеро и пошел со всей быстротой, какую позволяло ему изувеченное колено. Дядя Тоби вернулся в гостиную и снова сел на диван.

— — Вы поставите палец на это место, — сказал дядя Тоби. — — Нет, я не притронусь к нему, — сказала про себя миссис Водмен.

Это снова требует перевода: — отсюда ясно, как мало знания можно почерпнуть из одних слов, — нам приходится добираться до их первоисточника.

Чтобы рассеять туман, нависший над этими страницами, я приложу все старания быть как можно более ясным.

Трижды потрите себе лоб — выморкайтесь — утрите себе нос — прочихайтесь, друзья мои! — — На здоровье. — —

А теперь подайте мне помощь по мере ваших сил.

ГЛАВА XXI

Так как существует пятьдесят различных целей (если считать их все — — гражданские и религиозные), для которых женщина берет мужа, то она первым делом тщательно их взвешивает, а потом мысленно разделяет и разбирает, которая из всех этих целей ее цель; далее, посредством разговоров, расспросов, выкладок и умозаключений она выведывает и доискивается, правильный ли она сделала выбор, — — и если он оказывается правильным — — она в заключение, дергая полегоньку предмет своего выбора так и этак, проверяет, не порвется ли он от натяжения.

Образы, посредством которых Слокенбергий запечатлевает это в уме читателей в начале третьей своей Декады, настолько потешны, что из уважения к прекрасному полу я не позволю себе воспроизвести их — — а жаль, они не лишены юмора.

«Первым делом, — говорит Слокенбергий, — она останавливает осла и, держа его левой рукой за повод (чтобы не ушел), правую опускает на самое дно корзины, чтобы сыскать... — Что? — Вы не узнаете скорее, — говорит Слокенбергий, — если будете прерывать меня. — —

«У меня нет ничего, милостивая государыня, кроме пустых бутылок», — говорит осел.

«Я нагружен требухой», — говорит второй.

— — А ты немногим лучше, — обращается она к третьему, — ведь в твоих корзинах можно найти только просторные штаны да комнатные туфли, — и она обшаривает четвертого и пятого, словом, весь ряд, одного за другим, пока не доходит до осла, который несет то, что ей нужно, — тогда она опрокидывает корзину, смотрит на него — разглядывает — исследует — вытягивает — смачивает — сушит — пробует зубами его уток и основу. — —

— — Чего? ради Христа!

— Никакие силы на земле, — отвечал Слокенбергий, — не вырвут из меня этой тайны, — решение мое бесповоротно.

Мы живем в мире, со всех сторон окруженном тайной и загадками, — и потому не задумываемся над этим — — иначе нам показалось бы странным, что Природа, которая изготавливает каждую вещь в полном соответствии с ее назначением и никогда или почти никогда не ошибается, разве только для забавы, придавая всему проходящему через ее руки такую форму и такие свойства, что, назначает ли она для плуга, для шествия в караване, для телеги — или для любого другого употребления — существо, ею вылепленное, будь то даже осленок, вы наверно получите то, что вам нужно; — иначе нам показалось бы, говорю, странным, что в то же самое время она совершает столько промахов, изготавливая такую простую вещь, как жена-того человека.

Зависит ли это от выбора глины — — или последняя обычно портится во время обжигания: муж (как вам известно) может выйти, с одной стороны, пересушенный при избытке жара — — а с другой стороны, обмяклый, если огня мало, — — или же эта великая Искусница уделяет недостаточно внимания маленьким платоническим надобностям *той части* нашего вида, для употребления которой она изготавливает *эту его часть*, — — или, наконец, ее сиятельство подчас сама не знает хорошенько, какого рода муж будет подходящим, — — мне неведомо; поговорим об этом после ужина.

Впрочем, ни само это наблюдение, ни то, что по его поводу было сказано, здесь совершенно некстати — — скорее можно было бы утверждать обратное, поскольку в отношении пригодности к супружескому состоянию дела дяди Тоби обстояли как нельзя лучше: Природа вылепила его из самой лучшей, самой мягкой глины — — подмешав к ней своего молока и вдохнув в нее кротчайшую душу — — она сделала его обходительным, великодушным и отзывчивым — — наполнила его сердце искренностью и доверчивостью и приспособила все доступы к этому органу для беспрепятственного проникновения самых обязательных чувств — — сверх того, она предусмотрела и другие цели, для коих установлен был брак. — —

Вот почему * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Дар этот не потерпел никакого ущерба от дядиной раны.

Последняя статья была, впрочем, несколько проблематичной, и Дьявол, великий смутитель наших верований в сем мире, заронил относительно нее сомнения в мозгу миссис Водмен; с истинно бесовским лукавством он сделал свое дело, обратив достоинства дяди Тоби в этом отношении в одни лишь *пустые бутылки, требуху, просторные штаны и комнатные туфли*.

ГЛАВА XXIII

Миссис Бригитта поручилась всем скромным запасом чести, каким располагает на этом свете бедная горничная, что в десять дней она доберется до самой сути дела; ее расчеты построены были на весьма естественном и легко допустимом постулате, а именно: в то время как дядя Тоби будет ухаживать за ее госпожой, капрал не может придумать ничего лучшего, как приволокнуться за ней самой. — *«И я позволю ему все, чего он пожелает, — сказала Бригитта, — лишь бы все у него выведал»*.

Дружба носит две одежды: верхнюю и нижнюю. В первой Бригитта служила интересам своей госпожи — а во второй делала то, что ей самой больше всего нравилось; таким образом, она, подобно самому Дьяволу, поставила на рану дяди Тоби двойную ставку. — Миссис Водмен поставила на нее всего лишь одну — и так как ставка эта могла оказаться ее последней ставкой, то она решила (не обескураживая миссис Бригитты и не пренебрегая ее способностями) разыграть свою игру самостоятельно.

Она не нуждалась в поощрении: ребенок мог бы разгадать игру дяди Тоби — было столько безыскусственности и простодушия в его манере разыгрывать свои козыри — он так мало думал о том, чтобы придержать старшие карты, — таким безоружным и беззащитным сидел на диване рядом с вдовой Водмен, что человек благородный заплакал бы, обыврав его.

Однако оставим эту метафору.

ГЛАВА XXIV

— А также и нашу историю — с вашего позволения; правда, я все время с живейшим нетерпением спешил к этой ее части, хорошо зная, что она составляет самый лакомый кусочек, который я могу предложить читателям, однако нынче, когда я до нее добрался, я бы с удовольствием передал перо любому желающему и попросил продолжать вместо меня — я вижу все трудности описаний, к которым мне надо приступить, — и чувствую недостаточность моих сил.

Меня, по крайней мере, утешает, что на этой неделе я потерял унций восемьдесят крови во время самой несуразной лихорадки, схватившей меня, когда я начинал эту главу; таким образом, у меня остается еще надежда, что я потерпел ущерб более по части серозных частей крови или кровяных шариков, нежели в отношении тонких паров мозга, — но как бы там ни было — *Воззвание к поэтическому божеству* не может повредить делу — и я всецело предоставляю *призываемому* вдохновить или «накачать» меня, как ему заблагорассудится.

Воззвание

Любезный Дух сладчайшего юмора, некогда водивший легким пером горячо любимого мной Сервантеса, — ежедневно прокрадывавшийся сквозь забранное решеткой окно его темницы и своим присутствием обращавший полумрак ее в яркий полдень — — растворявший воду в его кружке небесным нектаром и все время, пока он писал о Санчо и его господине, прикрывавший волшебным своим плащом обрубок его руки¹ и широко расстилавший этот плащ над всеми невзгодами его жизни — — —

— — Заверни сюда, молю тебя! — — погляди на эти штаны! — — единственные мои штаны — — прискорбным образом разодранные в Лионе. — — —

Мои рубашки! посмотри, какая непоправимая приключилась с ними беда. — Подол — в Ломбардии, а все остальное здесь. — Всего-то было у меня полдюжины, а одна хитрая шельма-прачка в Милане окорнала пять из них спереди. — Надо

¹ Сервантес лишился своей руки в битве при Лепанто. — *Л. Стерн.*

отдать ей справедливость, она сделала это с некоторым толком — ибо я возвращался *из* Италии.

Тем не менее, несмотря на все это, несмотря на пистолетную трутницу, которую у меня стащили в Сиене, несмотря на то, что я дважды заплатил по пяти паоли за два крутых яйца, раз в Раддиккоффины и другой раз в Капуе, — я не считаю путешествие по Франции и Италии, если вы вею дорогу сохраняете самообладание, такой плохой вещью, как иные желали бы нас убедить; без *косогоров* и *ухабов* не обойтись, иначе как, скажите на милость, могли бы мы достигнуть долин, где Природа расставляет для нас столько пиршественных столов? — Нелепо воображать, чтобы они даром предоставляли вам ломать свои повозки; и если вы не станете платить по двенадцати су за смазку ваших колес, то на какие средства бедный крестьянин будет намазывать себе масло на хлеб? — Мы чересчур требовательны — неужто из-за лишнего ливра или двух за ваш ужин и вашу постель — это составит самое большее шиллинг и девять с половиной пенсов — вы готовы отступить от вашей философии? — Ради неба и ради самих себя, заплатите — — заплатите этот пустяк обеими руками, только бы не оставлять унылого *разочарования* во взорах вашей пригожей хозяйки и ее прислужниц, вышедших к воротам при вашем отъезде, — — и кроме того, милостивый государь, вы получите от каждой из них братский поцелуй. — — По крайней мере, так было со мной! — —

— — Ибо любовные похождения дяди Тоби, всю дорогу вертевшиеся в моей голове, произвели на меня такое действие, как если бы они были моими собственными, — — я был олицетворением щедрости и доброжелательства, я ощущал в себе трепет приятнейшей гармонии, с которой согласовалось каждое качание моей коляски; поэтому мне было все равно, гладкая дорога или ухабистая; все, что я видел и с чем имел дело, затрагивало во мне некую скрытую пружину сочувствия или восхищения.

— — То были мелодичнейшие звуки, какие я когда-либо слышал; я в тот же миг опустил переднее окошко, чтобы яснее их расслышать. — — Это Мария, — сказал ямщик, заметив, что я прислушиваюсь. — — — Бедная Мария, — продолжал он (отодвигаясь вбок, чтобы дать мне увидеть ее, потому что он помещался как раз между нами), — сидит на пригорке с козлом возле себя и играет на свирели вечерние молитвы.

Тон, которым мой юный ямщик произнес эти слова, и выражение его лица были в таком совершенном согласии с

чувствами души, что я тут же поклялся дать ему монету в двадцать четыре су по приезде в Мулен. — —

— — — А кто такая эта бедная Мария? — спросил я.

— Предмет любви и жалости всех окрестных селений, — сказал ямщик, — — еще три года назад солнце не светило на девушку, которая была бы краше, быстрее умом и милее ее; Мария заслуживала лучшей участи; свадьба ее была расстроена по проискам приходского кюре, который производил оглашение. — —

Он собирался продолжать, когда Мария, сделавшая коротенькую паузу, поднесла свирель к губам и возобновила игру, — — то был тот же напев — — но в десять раз упоительнее. — Это вечерняя служба пресвятой девы, — сказал юноша, — — но кто научил бедняжку играть ее — и как она раздобыла себе свирель, никто не знает: мы думаем, что господь ей помог в том и другом, ибо с тех пор как она повредилась в уме, это, по-видимому, единственное ее утешение — — она не выпускает свирели из рук и играет на ней эту *службу* ночью и днем.

Ямщик изложил это с таким тактом и с таким непринужденным красноречием, что я не мог не расшифровать на лице его что-то незаурядное для его состояния и непременно вывела бы его собственную историю, если бы всего меня не захватила история бедной Марии.

Тем временем мы доехали почти до самого пригорка, на котором сидела Мария; на ней была тонкая белая кофта, ее волосы, кроме двух локонов, были подобраны в шелковую сетку, несколько листьев сливы в причудливом беспорядке влетено было сбоку — — она была красавица; никогда еще сердце мое так не сжималось от честной скорби, как в ту минуту, когда я ее увидел. — —

— — Помоги ей боже! бедная девушка! — воскликнул ямщик. — Больше сотни месс отслужили за нее в окрестных церквах и монастырях, — — но без всякой пользы; минуты просветления, которые у нее бывают, подают нам надежду, что пресвятая дева вернет наконец ей рассудок; но родители Марии, знающие ее лучше, отчаялись на этот счет и думают, что она потеряла его навсегда.

Когда ямщик это говорил, Мария сделала перелив — такой грустный, такой нежный и жалобный, что я выскочил из кареты и подбежал к ней на помощь; еще не придя в себя после этого восторженного порыва, я нашел себя сидящим между нею и ее козлом.

Мария задумчиво посмотрела на меня, потом перевела взгляд на своего козла — — потом на меня — — потом снова на козла, и так несколько раз. — —

— — Ну, Мария, — сказал я ласково. — — В чем вы находите сходство?

Умоляю беспристрастного читателя поверить мне, что лишь вследствие искреннейшего своего убеждения в том, какая человек *скотина*, — — задал я этот вопрос и что я никогда бы не отпустил неуместной шутки в священном присутствии Гора, даже обладая всем остроумием, когда-либо расточавшимся Рабле, — — и все-таки, должен сознаться, я почувствовал укор совести, и одна мысль об этом была для меня так мучительна, что я поклялся посвятить себя Мудрости и до конца дней моих говорить только серьезные вещи — — никогда — — никогда больше не позволяя себе пошутить ни с мужчиной, ни с женщиной, ни с ребенком.

Ну, а писать для них глупости — — тут я, кажется, допустил оговорку — но предоставляю судить об этом читателям.

Прощай, Мария! — — прощай, бедная незадачливая девушка! — — когда-нибудь, но не *теперь*, я, может быть, услышу о твоих горестях из твоих уст. — — Но я ошибся; ибо в это мгновение она взяла свою свирель и рассказала мне на ней такую печальную повесть, что я встал и шатающейся, неверной походкой тихонько побрел к своей карете.

— — — Какая превосходная гостиница в Мулене!

ГЛАВА XXV

Когда мы доберемся до конца этой главы (но не раньше), нам придется вернуться к двум незаполненным главам, из-за которых вот уже полчаса истекает кровью моя честь. — — Я останавливаю кровотечение и, сорвав одну из моих желтых туфель и швырнув ее изо всей силы в противоположный конец комнаты, заявляю ее пятке:

— — Какое бы здесь ни нашлось сходство с половиной глав, которые когда-либо были написаны или, почем я знаю, пишутся в настоящее время, — оно настолько же случайно, как пена на коне Зевксиса; кроме того, я смотрю с уважением на главу, в которой *только ничего нет*; а если принять во внима-

ние, сколько есть на свете вещей похуже, — так это и вовсе неподходящий предмет для сатиры. — —

— — Почему же они были оставлены в таком виде? Если тут кто-нибудь, не дожидаясь моего ответа, обзовет меня болваном, дурнем, тупицей, остолопом, простофилей, пентюхом, чурбаном, паскудником — и другими крепкими словами, которыми пекари из Лерне угощали пастухов короля Гаргантюа, — пусть обзывает — (как говорила Бригитта) сколько душе его угодно, я ему ничего не скажу; ибо как мог такой ругатель предвидеть, что мне пришлось написать двадцать пятую главу моей книги раньше восемнадцатой и т. д.

— — — Вот почему я на это не обижаюсь. — — Я желаю только, чтобы отсюда извлечен был тот урок, что «следует предоставить каждому рассказывать свои повести на свой лад».

Восемнадцатая глава

Так как миссис Бригитта отворила дверь прежде, чем капрал как следует постучал, то срок между ударом молотка и появлением дяди Тоби в гостиной был такой коротенький, что миссис Водмен едва успела выйти из-за занавески — — положить на стол Библию и сделать шаг или два по направлению к двери, чтобы принять гостя.

Дядя Тоби поклонился миссис Водмен так, как мужчине полагалось кланяться женщинам в лето господне тысяча семьсот тринадцатое, — — затем, повернувшись кругом, направился бок о бок с ней к дивану и в двух простых словах — — хотя не прежде, чем он сел, — — и не после того, как он сел, — — но в самое то время, как садился, — — сказал ей, что *он влюблен*, — — зайдя, таким образом, в своем изъяснении дальше, чем было необходимо.

Миссис Водмен, натурально, опустила глаза на прореху в своем переднике, которую тогда зашивала, в ожидании, что дядя Тоби скажет дальше; но последний был вовсе лишен способностей развивать тему, и *любовь*, вдобавок, была темой, которой он владел хуже всего, — — поэтому, признавшись миссис Водмен в любви, он ограничился сказанным и предоставил своим словам действовать самостоятельно.

Отец мой всегда был в восторге от этой системы дяди Тоби, как он ошибочно называл ее, и часто говорил, что если бы брат

его присовокуплял сюда еще трубку табаку — — он этим нашел бы дорогу, если верить одной испанской пословице, к сердцам половины женщин земного шара.

Дядя Тоби никогда не мог понять, что хотел сказать мой отец; я тоже не берусь извлечь отсюда больше, чем осуждение одного заблуждения, в котором пребывает большинство людей — за исключением французов, которые все до одного верят, как в *реальное присутствие*, в то, *«что говорить о любви значит любить на деле»*.

— — Хотел бы я сделать кровяную колбасу по этому рецепту.

Пойдемте дальше. Миссис Водмен все сидела в ожидании, что дядя Тоби поступит именно так, почти до самого начала той минуты, когда молчание с одной или с другой стороны становится обыкновенно неприличным; вот почему, придвинувшись к нему поближе и подняв глаза (при этом щеки ее чуть зарделись), — — она подняла перчатку — — или взяла слово (если вам это больше нравится) и повела с дядей Тоби такой разговор:

— Заботы и беспокойства супружеского состояния, — сказала миссис Водмен, — очень велики. — Да, я думаю, — сказал дядя Тоби. — Поэтому, когда человек, — продолжала миссис Водмен, — живет так покойно, как вы, — когда он так доволен, как питан Шенди, собой, своими друзьями и своими развлечениями, — я недоумеваю, какие у него могут быть причины стремиться к этому состоянию. — — —

— — Они написаны, — проговорил дядя Тоби, — в нашем тревнике.

Дядя Тоби осторожно дошел до этих пор и не стал дальше углубляться, предоставив миссис Водмен плавать над пучиной, как ей будет угодно.

— Что касается детей, — сказала миссис Водмен, — то хотя они составляют, может быть, главную цель этого установления и естественное желание, я полагаю, всех родителей, — однако кто же не знает, сколько они приносят нам несомненных горестей, являясь весьма сомнительным утешением? И что в них, милостивый государь, может возместить наши страдания — чем вознаграждают они болящую и беззащитную мать, которая дает им жизнь, за все нежные ее заботы, беспокойства и страхи? — Право, не знаю, — сказал растроганный дядя Тоби, — разве только удовольствием, которое богу угодно было...

— — Вот вздор! — воскликнула миссис Водмен.

Существует несметное множество тонов, ладов, выговоров, напевов, выражений и манер, какими в подобных случаях может быть произнесено слово *вздор*, и все они придают ему смысл и значение, настолько же отличные друг от друга, как *грязь* отличается от *опрятности*. — Казуисты (ибо под таким углом зрения это является делом совести) насчитывают не менее четырнадцати тысяч случаев употребления его в хорошем или в дурном смысле.

Миссис Водмен произнесла слово *вздор* так, что вся стыдливая кровь дяди Тоби бросилась ему в лицо, — он смутно почувствовал, что теряет почву под ногами, и остановился; не углубляясь дальше ни в горести, ни в радости супружества, он приложил руку к сердцу и выразил готовность принять их такими, как они есть, и разделить их с нею.

Сказав это, дядя Тоби не возымел желаний повторять сказанное; бросив взгляд на Библию, положенную на стол миссис Водмен, он взял ее, раскрыл наудачу и, попав, милая душа, на самое интересное для него место — на осаду Иерихона, — принялся читать — предоставив своему предложению, как ранее объяснению в любви, действовать на вдову самостоятельно. А оно не подействовало ни как вяжущее, ни как слабительное; ни так, как действует опий, или хина, или ртуть, или подорожник, или другое какое-нибудь лекарственное средство, которым природа одарила мир, — короче говоря, оно совсем на нее не подействовало — по той причине, что в это время на нее уже действовало нечто другое. — Ах я, болтун! Ведь я уже двадцать раз проговаривался, что это такое; но огонь еще не потух, у меня есть еще кое-что сказать на эту тему. — Allons!

ГЛАВА XXVI

Человеку, едущему в первый раз из Лондона в Эдинбург, вполне естественно перед отправлением в путь задать вопрос, сколько миль до Йорка, который лежит приблизительно на половине дороги, — и никто не удивится, если он пойдет дальше и пожелает узнать о городских учреждениях и т. д. — —

Столь же естественно было желание миссис Водмен, первый муж которой все время болел ишиасом, узнать, далеко ли от бедра до паха и насколько больше или меньше пострадает она в своих чувствах от раны в паху, чем от ишиаса.

С этой целью она от доски до доски прочитала анатомию Дрейка. Она просмотрела также книгу Вортона о мозге и усвоила сочинение Граафа о костях и мускулах;¹ но ничего не могла из них извлечь.

Она обращалась также к собственному уму — — рассуждала — — доказывала теоремы — — выводила следствия — — и не пришла ни к какому заключению.

Чтобы все выяснить, она дважды спрашивала доктора Слопа, «есть ли надежды, что бедный капитан Шенди когда-нибудь выздоровеет от своей раны — —?»

— — Он уже выздоровел, — отвечал доктор Слор. — —

— Как! Совсем?

— — Совсем, мадам. — —

— Но что вы разумеете под выздоровлением? — спрашивала миссис Водмен.

Доктор Слор был совсем не мастер давать определения, так что миссис Водмен и тут не могла добиться ничего толкового. Словом, у нее не было другого способа разрешить свои сомнения, как обратившись к самому дяде Тоби.

В расспросах этого рода бывает нотка человеколюбия, усыпляющая *подозрение*, — — и я почти убежден, что она достаточно отчетливо звучала у змия в его разговоре с Евой; ибо склонность прекрасного пола поддаваться обману не так велика, чтобы наша прародительница набралась без этого смелости поболтать с дьяволом. — — Но бывает нотка человеколюбия — — как мне ее описать? — это та нотка, что накидывает на деликатный предмет покровы и дает допрашивающему право входить в такие подробности, как если бы он был вашим хирургом.

— — — И никогда не бывало облегчения? — —

— — — Легче ли было в постели?

— — — Мог ли он лежать с ней и на том и на другом боку?

— В состоянии ли был он сесть на лошадь?

— Не вредно ли для нее было движение? et caetera² — —

сказано было ему таким нежным тоном и так искусно направ-

¹ Это, должно быть, ошибка мистера Шенди, потому что Грааф писал о панкреатическом соке и о половых органах. — *Л. Стерн.*

² И прочее (*лат.*).

лено в сердце дяди Тоби, что каждый из этих вопросов проникал туда в десять раз глубже, нежели самая острая боль. — Но когда миссис Водмен завернула окольной дорогой в Намюр, чтобы добраться до паха дяди Тоби, и пригласила его атаковать вершину передового контрэскарпа и взять при поддержке голландцев, со шпагой в руке, контргарду Святого Роха — а затем, касаясь его слуха самыми нежными тонами своего голоса, вывела его, окровавленного, за руку из траншеи, утирая слезы на своих глазах, когда его относили в палату, — Небо! Земля! Воды! — все в нем встрепенулось — все природные источники вышли из берегов — ангел милосердия сидел возле дяди Тоби на диване — сердце его запылало — и будь у него даже тысяча сердец, он их сложил бы у ног миссис Водмен.

— Где же, дорогой мой, — проговорила миссис Водмен довольно настойчивым тоном, — получили вы этот прискорбный удар? — Задавая свой вопрос, миссис Водмен бросила беглый взгляд на пояс у красных плисовых штанов дяди Тоби, естественно ожидая, что последний самым лаконическим образом ответит ей, ткнув указательным пальцем в это самое место. — Случилось иначе — — ибо дядя Тоби, раненный перед воротами Святого Николая в одном из траверсов траншеи, против исходящего угла бастиона Святого Роха, мог во всякое время воткнуть булавку в то самое место, где он стоял, когда его поразило камнем. Это соображение мгновенно поразило сенсорий дяди Тоби — — и в памяти у него всплыла большая карта города и крепости Намюра с окрестностями, которую он купил и с помощью капрала наклеил на доску во время своей долгой болезни, — — теперь она лежала на чердаке вместе с прочим военным хламом, почему капрал и был отправлен за ней на чердак.

Отмерив ножницами миссис Водмен тридцать саженей от входящего угла перед воротами Святого Николая, дядя Тоби с такой девической стыдливостью поставил палец вдовы на роковое место, что богиня Благопристойности, если она была там самолично — а если нет, так ее тень, — покачала головой и, погрозив пальцем перед глазами миссис Водмен, — запретила ей выводить дядю Тоби из заблуждения.

Несчастливая миссис Водмен! — —

— — Ибо единственно только сочувственным обращением к тебе можно тепло закончить эту главу. — — Однако сердце говорит мне, что в такую критическую минуту обращение яв-

ляется лишь замаскированным оскорблением, и скорее, чем нанести его опечаленной женщине, — я готов отправить всю эту главу к черту, с тем условием, однако, чтобы какой-нибудь отпетый критик *на содержании* позаботился взять ее с собой.

ГЛАВА XXVII

Карта дяди Тоби снесена на кухню.

ГЛАВА XXVIII

— Вот здесь Маас — а это Самбра, — сказал капрал, показывая слегка вытянутой правой рукой на карту, а левую положив на плечо миссис Бригитты — но не на то, которое было ближе к нему, — а это, — сказал он, — город Намюр — а это крепость — вон там были французы — а здесь его милость со мной — а вот в этой проклятой траншее, миссис Бригитта, — проговорил капрал, беря ее за руку, — получил он рану, которая так ужасно изуродовала его *вот здесь*. — Произнося эти слова, капрал легонько прижал руку Бригитты тыльной стороной к тому месту, по поводу которого он сокрушался, — и отпустил ее.

— Мы думали, мистер Трим, что это ближе к середине, — сказала миссис Бригитта. —

— Это бы нас вконец погубило, — сказал капрал.

— И бедная госпожа моя тоже была бы огорчена, — сказала Бригитта.

На это замечание капрал ответил только тем, что поцеловал миссис Бригитту.

— Полно — полно, — сказала Бригитта — держа ладонь своей левой руки параллельно плоскости горизонта и скользя над ней пальцами другой руки на таком близком расстоянии, что это движение было бы невыполнимо, находишь там малейшая бородавка или опухоль. — Все это ложь от начала до конца, — воскликнул капрал, прежде чем она успела закончить начатую фразу. —

— Я слышала от верных людей, — сказала Бригитта, — что это правда.

— Клянусь честью, — сказал капрал, кладя руку на сердце и покраснев от благородного негодования, — история эта, миссис Бригитта, адская л о ж ь . — Положим, — сказала Бригитта, перебивая е г о , — ни мне, ни госпоже моей нет ровно никакого дела, так ли это или не так, — а только когда женишься, так желательно все же иметь такую вещь при себе. —

Было несколько опрометчиво со стороны миссис Бригитты начать атаку, пустив в ход руки; ибо капрал тотчас же * * * * *

ГЛАВА XXIX

Это было похоже на мимолетную борьбу во влажных веках апрельского утра: «Рассмеется Бригитта или расплачется?»

Она схватила скалку — было десять шансов против одного, что она рассмеется, — она положила скалку — и заплакала. Окажись хоть одна ее слеза с привкусом горечи, сердце капрала было бы глубоко опечалено тем, что он прибегнул к такому доводу, но капрал знал прекрасней пол лучше, чем дядя Т о б и , — у него было преимущество, по крайней мере, *большой квартиры против терции* — и потому он подступил к миссис Бригитте вот каким образом.

— Я знаю, миссис Бригитта, — сказал капрал, почтительнейше ее поцеловав, — что ты девушка по природе добрая и скромная и вместе с тем настолько великодушная, что если я верно сужу о тебе, ты и насекомое бы не обидела, а тем более не пожелала бы оскорбить честь такого благородного и достойного человека, как мой господин, даже за графское достоинство. — Но тебя подговорили, ты поддалась обману, милая Бригитта, как это часто бывает с женщинами, чтобы доставить удовольствие скорее другим, чем самой себе. —

От возбужденных капралом ощущений из глаз Бригитты хлынули слезы.

— Скажи мне — скажи, моя милая Бригитта, — продолжал капрал, взяв ее за руку, безжизненно висевшую у нее на боку (и вторично поцеловав ее), — чьи подозрения сбили тебя с толку?

Бригитта всхлипнула раза два — потом открыла глаза — (капрал утер их кончиком ее передника) — а затем открыла свое сердце и рассказала ему все.

ГЛАВА XXX

Дядя Тоби и капрал в течение большей части кампании вели свои операции врозь и были совершенно лишены всякой коммуникации между собой, словно их отделяли друг от друга Маас или Самбра.

Дядя Тоби, со своей стороны, являлся к вдове каждый день под вечер в красном с серебром и в голубом с золотом мундирах попеременно и выдержал в них несметное множество атак, не подозревая, что то были а т а к и , — таким образом, ему нечего было сообщить. — —

Капрал, со своей стороны, взяв Бригитту, добился значительных успехов — и, следовательно, мог бы сообщить многое — — но повествование о том, каковы были эти успехи — — и каким способом он их одержал, требовало столь взыскательного рассказчика, что капрал на него не отваживался; как ни чувствителен он был к славе, все-таки скорее бы согласился навсегда лишиться лавров, чем нанести стыдливости своего господина хотя бы малейшее оскорбление. — —

— — О лучший из честных и бравых слуг! — — Но я уже однажды обращался с похвальным словом к тебе, Т р и м , — — и если б я мог также превознести тебя до небес (понятно, в хорошем обществе) — — то сделал бы это без церемонии на следующей странице.

ГЛАВА XXXI

Однажды вечером дядя Тоби, положив на стол свою трубку, пересчитывал про себя по пальцам (начиная с большого) все совершенства миссис Водмен одно за другим; так как два или три раза сряду, оттого ли что он пропускал некоторые из них или сосчитывал другие дважды, ему случилось досадным образом сбиваться, прежде чем он доходил до среднего пальца. — — Сделай милость, Трим! — сказал он, снова беря свою трубку, — — принеси мне перо и чернила. — Трим принес также бумагу.

— Возьми целый лист — — Трим! — сказал дядя Тоби, сделав ему в то же время трубкой знак взять стул и сесть подле него к столу. Капрал повиновался — — разложил перед собой бумагу — — взял перо и обмакнул его в чернила.

— У нее тысячи добродетелей, Трим, — сказал дядя Тоби. —

— Прикажете их записать, ваша милость? — проговорил капрал.

— Сначала надо их разместить по порядку, — возразил дядя Тоби; — ибо из всех ее совершенств, Трим, меня больше всего подкупает и служит в моих глазах порукой за все остальные сострадательный склад ее характера и удивительное ее человеколюбие. — Объявляю во всеуслышание, — прибавил дядя Тоби, устремив при этих словах глаза в потолок, — что, будь я тысячу раз ее братом, Трим, и тогда она не могла бы настойчивее и трогательнее расспрашивать о моих страданиях, — хотя теперь она этого больше не делает.

В ответ на это торжественное заверение дяди Тоби капрал только отрывисто кашлянул. — Он вторично погрузил перо в чернильницу, и когда дядя Тоби указал концом своей трубки на самый верх листа в левый его угол, — капрал вывел слово Ч Е Л О В Е К О Л Ю Б И Е — — — — вот так.

— Скажи, пожалуйста, капрал, — проговорил дядя Тоби, когда Трим кончил, — — — часто ли миссис Бригитта расспрашивает тебя о ране в коленную чашку, которую ты получил в сражении при Ландене?

— Она никогда меня о ней не спрашивает, с позволения вашей милости.

— В этом, капрал, — проговорил дядя Тоби с торжеством, какое позволяла природная доброта его, — — в этом сказывается различие характеров госпожи и служанки — — если бы превратности войны послали мне такое же несчастье, миссис Водмен сто раз расспросила бы обо всех относящихся до него обстоятельствах. — — Она, с позволения вашей милости, расспрашивала бы в десять раз чаще про пах вашей милости. — — Боль, Трим, в обоих случаях одинаково мучительна — — и Сострадание проявилось бы одинаково. —

— — Господь с вами, ваша милость! — воскликнул капрал, — — какое дело состраданию женщин до раны в коленную чашку мужчины? Раздробись она у вашей милости на десять тысяч кусков в деле при Ландене, миссис Водмен так же мало о ней беспокоилась бы, как и Бригитта; потому что, — прибавил капрал, понизив голос и очень четко излагая свои основания, — —

Колено находится на большом расстоянии от главных сил — между тем пах, как известно вашей милости, помещается на самой *куртине крепости*.

Дядя Тоби издал продолжительный свист — — но так тихо, что его едва можно было слышать по другую сторону стола.

Капрал зашел слишком далеко, чтобы отступить, — — в трех словах он досказал остальное. — —

Дядя Тоби так осторожно положил свою трубку на каминную решетку, как будто последняя была соткана из самой тонкой паутины. — —

— — Пойдем к брату Шенди, — сказал он.

ГЛАВА XXXII

Пока дядя Тоби и Трим идут к дому моего отца, я как раз успею сообщить вам, что миссис Водмен уже несколько месяцев как поверила свою тайну моей матери — и что миссис Бригитта, которой, помимо тайн своей госпожи, приходилось также нести бремя собственных тайн, счастливо освободилась от этой двойной тяжести за садовой оградой, взвалив ее на Сузанну.

Что касается моей матери, то она не видела здесь ничего такого, из-за чего стоило бы поднимать малейший шум, — — зато Сузанна вполне подходила для всех целей и видов, какие только у вас могут быть при разглашении семейной тайны; она немедленно знаками сообщила ее Джонатану — — — а Джонатан, тоже знаками, кухарке, когда та жарила баранью ногу; кухарка продала ее, вместе с остатками кухонного жира, за несколько пенсов фореитору, который променял ее скотнице на вещь, стоившую почти столько же, — — и хотя он говорил шепотом на сеновале, медная труба Молвы подхватила еле слышные звуки и разнесла их по всей окрестности. — Словом, не было старухи в деревне и на пять миль кругом, которая не понимала бы трудностей предпринятой дядей Тоби осады и не знала бы секретных статей, которые задерживали сдачу. — —

Мой отец, имевший обыкновение подводить все, что ни случалось в природе, под какую-нибудь гипотезу, вследствие чего никто так не распиная Истины, как он, — — узнал новость как раз в то время, когда дядя Тоби отправился в путь; внезапно восплавав негодованием при вести о нанесенной брату обиде, он доказывал Йорику, несмотря на присутствие моей

матери, — не только что «в каждой женщине сидит бес и что все дело тут в сластолюбии», но что всякое зло и неустройство в мире, каковы бы они ни были, от грехопадения Адама до грехопадения дяди Тоби (включительно) так или иначе обусловлены этим необузданным желанием.

Только что Йорик приступил к некоторому смягчению гипотезы моего отца, как в комнату вошел дядя Тоби с выражением бесконечного доброжелательства и всепрощения на лице и тем снова разжег красноречие отца против страсти, на которую он ополчился. — Будучи разгневан, отец никогда особенно не стеснялся по части выбора слов — так что, когда дядя Тоби сел у огня и набил свою трубку, он разразился следующей тирадой:

ГЛАВА XXXIII

— Что надо было как-то обеспечить продолжение рода у столь великого, столь возвышенного и богоподобного существа, как человек, — я этого нисколько не отрицаю, — но философия обо всем говорит свободно, и потому я остаюсь при своем мнении и считаю прискорбным, что его приходится осуществлять посредством страсти, принижающей наши способности и изгоняющей всякую мудрость, умозрения и высшую душевную деятельность, — посредством страсти, дорогая моя, — продолжал отец, обращаясь к матери, — которая спаривает и равняет умных людей с дураками и заставляет нас выходить из наших пещер и тайников похожими больше на сатиров и четвероногих тварей, нежели на людей.

— Я знаю, мне скажут, — продолжал отец (прибегая к риторической фигуре, называемой *пролеписом*), — что сама по себе, взятая в простом виде, она — подобно голоду, жажде или сну — не бывает ни хорошей, ни дурной — ни постыдной, ни какой-либо иной. — Почему же тогда деликатность Диогена и Платона так восставала против нее? и почему, намереваясь произвести человека и дать ему жизнь, мы задуваем свечу? чем, наконец, объяснить, что все, к ней причастное — входящее в нее — приготовления к ней — ее орудия, все, что так или иначе ей служит, невозможно передать чистому уму ни на каком языке, ни прямо, ни иносказательно?

— Акт убийства и истребления человека, — продолжал отец, возвышая голос — и обращаясь к дяде Тоби, — вы знаете, всеми прославляется — и оружие, коим мы его совершаем, окружено почетом. — Мы гордо носим его на плече. — Мы важничаем, нацепив его себе на бок. — Мы его поглащаем. — Мы его разделяваем резьбой. — Мы его покрываем инкрустацией. — Мы его выкладываем дорогими камнями. — Больше того, даже если это *мерзавка* пушка, и у той мы отливаем на казенной части какое-нибудь украшение.

— Дядя Тоби отложил свою трубку, чтобы похлопотать о более милостивом эпитете, — а Йорик встал, чтобы разбить эту гипотезу —

— как вдруг в комнату ворвался Обадия с жалобой, которая требовала немедленного выслушания.

Дело было такое:

Мой отец, по установленному издавна в нашем поместье обычаю и как владелец большой десятины, обязан был держать быка для обслуживания прихода, и Обадия как-то раз прошлым летом приводил к нему свою корову — говорю: как-то раз — потому что случаю угодно было, чтобы это произошло в тот самый день, когда он женился на горничной моего отца, — таким образом, одно из этих событий было отправной точкой для исчисления другого. Поэтому, когда жена Обадии родила, — Обадия возблагодарил бога. —

— Теперь, — сказал Обадия, — у меня будет теленок. — И Обадия ежедневно ходил навещать свою корову.

Она отелится в понедельник — во вторник — или в среду самое позднее. —

Корова не отелилась — нет — она отелится только на будущей неделе — корова ужасно замешкалась — и наконец, по прошествии шести недель, подозрения Обадии (как отца семейства) пали на быка.

Приход наш был очень велик и, по правде говоря, далеко не по плечу быку моего отца, он, однако, так или иначе ввязался в это дело — и исполнял свою должность с большим достоинством, так что отец был о нем высокого мнения.

— Почти все односельчане, с позволения вашей милости, — проговорил Обадия, — возлагают вину на быка. —

— А разве корова не может быть бесплодной? — возразил отец, обращаясь к доктору Слопу.

— Этого никогда не бывает, — сказал доктор Сл о п, — зато жена этого человека могла разрешиться преждевременно, вещь

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ

— Во Франции, — сказал я, — это устроено лучше.

— А вы бывали во Франции? — спросил мой собеседник, быстро повернувшись ко мне с самым учтивым победоносным видом. — «Странно, — сказал я себе, размышляя на эту тему, — что двадцать одна миля пути на корабле, — ведь от Дувра до Кале никак не дальше, — способна дать человеку такие права. — Надо будет самому удостовериться». — Вот почему, прекратив спор, я отправился прямо домой, уложил полдюжины рубашек и пару черных шелковых штанов. — Кафтан, — сказал я, взглянув на рукав, — и этот сойдет, — взял место в дуврской почтовой карете, и, так как пакетбот отошел на следующий день в девять утра, — в три часа я уже сидел за обеденным столом перед фрикасе из цыпленка, столь неоспоримо во Франции, что, умри я в эту ночь от расстройства желудка, весь мир не мог бы приостановить действие Droits d'aubaine;¹ мои рубашки и черные шелковые штаны — чемодан и все прочее — достались бы французскому королю, — даже миниатюрный портрет, который я так давно ношу и хотел бы, как я часто говорил тебе, Элиза, унести с собой в могилу, даже его сорвали бы с моей шеи. — Сутыга! Завладеть останками опрометчивого путешественника, которого заманили к себе на берег ваши подданные, — ей-богу, ваше величество, нехорошо так

¹ В силу этого закона, конфискуются все вещи умерших во Франции иностранцев (за исключением швейцарцев и шотландцев), даже если при этом присутствовал наследник. Так как доход от этих случайных поступлений отдан на откуп, то изъятий ни для кого не делается. — *Л. Стерн.*

поступать! В особенности неприятно мне было бы тягаться с государем столь просвещенного и учтивого народа, столь прославленного своей рассудительностью и тонкими чувствами —
Но едва я вступил в ваши владения —

КАЛЕ

Пообедав и выпив за здоровье французского короля, чтобы убедить себя, что я не питаю к нему никакой неприязни, а, напротив, высоко чтю его за человеколюбие, — я почувствовал себя выросшим на целый дюйм благодаря этому примирению.

— Нет, — сказал я, — Бурбоны совсем не жестоки; они могут заблуждаться, подобно другим людям, но в их крови есть нечто кроткое. — Признав это, я почувствовал на щеках более нежный румянец — более горячий и располагающий к дружбе, чем тот, что могло вызвать бургундское (по крайней мере, то, которое я выпил, заплатив два ливра за бутылку).

— Праведный боже, — сказал я, отшвырнув ногой свой чемодан, — что же таится в мирских благах, если они так озлобляют наши души и постоянно ссорят насмерть столько добросердечных братьев-людей?

Когда человек живет со всеми в мире, насколько тогда тяжелейший из металлов легче перышка в его руке! Он достает кошелек и, держа его беспечно и небрежно, озирается кругом, точно отыскивая, с кем бы им поделиться. — Поступая так, я чувствовал, что в теле моем расширяется каждый сосуд — все артерии бьются в радостном согласии, а жизнедеятельная сила выполняет свою работу с таким малым трением, что это смутило бы самую сведущую в физике *précieuse*¹ во Франции: при всем своем материализме она едва ли назвала бы меня машиной —

— Я уверен, — сказал я себе, — что опроверг бы ее убеждения.

Появление этой мысли тотчас же вознесло естество мое на предельную для него высоту — если я только что примирился с внешним миром, то теперь пришел к согласию с самим собой —

— Будь я французским королем, — воскликнул я, — какая подходящая минута для сироты попросить у меня чемодан своего отца!

¹ Жеманница (франц.).

Едва произнес я эти слова, как ко мне в комнату вошел бедный монах ордена святого Франциска с просьбой пожертвовать на его монастырь. Никому из нас не хочется обращать свои добродетели в игрушку случая — щедры ли мы, как другие бывают могущественны, — *sed non quo ad hanc*¹ — или как бы там ни было, — ведь нет точно установленных правил приливов или отливов в нашем расположении духа; почему я знаю, может быть, они зависят от тех же причин, что влияют на морские приливы и отливы, — для нас часто не было бы ничего зазорного, если бы дело обстояло таким образом; по крайней мере, что касается меня самого, то во многих случаях мне было бы гораздо приятнее, если бы обо мне говорили, будто «я действовал под влиянием луны, в чем нет ни греха, ни срама», чем если бы поступки мои почитались исключительно моим собственным делом, когда в них заключено столько и срама и греха.

— Но как бы там ни было, взглянув на монаха, я твердо решил не давать ему ни одного су; поэтому я опустил кошелек в карман — застегнул карман — приосанился и с важным видом подошел к монаху; боюсь, было что-то отталкивающее в моем взгляде: до сих пор образ этого человека стоит у меня перед глазами, в нем, я думаю, было нечто, заслуживавшее лучшего обращения.

Судя по остаткам его тонзуры, — от нее уцелело лишь несколько редких седых волос на висках, — монаху было лет семьдесят, — но по глазам, по горевшему в них огню, который приглушался, скорее, учтивостью, чем годами, ему нельзя было дать больше шестидесяти. — Истина, надо думать, лежала посредине. — Ему, вероятно, было шестьдесят пять; с этим согласовался и общий вид его лица, хотя, по-видимому, что-то положило на него преждевременные морщины.

Передо мной была одна из тех голов, какие часто можно увидеть на картинах Гвидо, — нежная, бледная — проникновенная, чуждая плоских мыслей откормленного самодовольного невежества, которое смотрит сверху вниз на землю, — она смотрела вперед, но так, точно взор ее был устремлен на нечто

¹ Но не в применении к данному случаю (*лат.*).

потустороннее. Каким образом досталась она монаху его ордена, ведает только небо, уронившее ее на монашеские плечи; но она подошла бы какому-нибудь брамину, и, попадись она мне на равнинах Индостана, я бы почтительно ей поклонился.

Прочее в его облике можно передать несколькими штрихами, и работа эта была бы под силу любому рисовальщику, потому что все сколько-нибудь изящное или грубое обязано было здесь исключительно характеру и выражению: то была худошавая, тщедушная фигура, ростом немного повыше среднего, если только особенность эта не скрадывалась легким наклонением вперед — но то была поза просителя; как она стоит теперь в моем воображении, фигура монаха больше выигрывает от этого, чем теряет.

Сделав три шага, вошедший ко мне монах остановился и, положив левую руку на грудь (в правой был у него тоненький белый посох, с которым он путешествовал), — представился, когда я к нему подошел, вкратце рассказав о нуждах своего монастыря и о бедности ордена, — причем сделал он это с такой безыскусственной грацией, — и столько прикинутости было в его взоре и во всем его облике — видно, я был зачарован, если все это на меня не подействовало —

Правильнее сказать, я заранее твердо решил не давать ему ни одного су.

МОНАХ

КАЛЕ

Совершенно верно, — сказал я в ответ на брошенный сверху взгляд, которым он закончил свою речь, — совершенно верно — и да поможет небо тем, у кого нет иной помощи, кроме мирского милосердия, запас которого, боюсь, слишком скуден, чтобы удовлетворить все те многочисленные *громadные требования*, которые ему ежечасно предъявляются.

Когда я произнес слова *громadные требования*, монах бросил беглый взгляд на рукав своего подрясника — я почувствовал всю силу этой аппелляции. — Согласен, — сказал я, — грубая одежда, да и та одна на три года, вместе с постной пищей — не бог весть что; и поистине достойно сожаления, что эти вещи, которые легко заработать в миру небольшим трудом, орден ваш хочет урвать из средств, являющихся собственностью хромых, слепых, престарелых и немощных — узник, про-

стертый на земле и считающий снова и снова дни своих бедствий, тоже мечтает получить оттуда свою долю; все-таки, если бы вы принадлежали к *ордену братьев милосердия*, а не к ордену святого Франсиска, то при всей моей бедности, — продолжал я, показывая на свой чемодан, — я с радостью открыл бы его перед вами для выкупа какого-нибудь несчастного. — Монах поклонился мне. — Но из всех несчастных, — заключил я, — прежде всего имеют право на помощь, конечно, несчастные нашей собственной страны, а я оставил в беде тысячи людей на родном берегу. — Монах участливо кивнул головой, как бы говоря: без сомнения, горя довольно в каждом уголке земли так же, как и в нашем монастыре. — Но мы различаем, — сказал я, кладя ему руку на рукав в ответ на его немое оправдание, — мы различаем, добрый мой отец, тех, кто хочет есть только хлеб, заработанный своим трудом, от тех, кто ест хлеб других людей, не имея в жизни иных целей, как только просуществовать в лености и невежестве *ради Христа*.

Бедный францисканец ничего не ответил; щеки его на мгновение покрыл лихорадочный румянец, но удержаться на них не мог. — Природа в нем, видно, утратила способность к негодованию; он его не выказал, — но, выронив свой посох, безропотно прижал к груди обе руки и удалился.

МОНАХ

КАЛЕ

Сердце мое упало, как только монах затворил за собою дверь. — Вздор! — с беззаботным видом проговорил я три раза подряд, — но это не подействовало: каждый произнесенный мною нелюбезный слог настойчиво возвращался в мое сознание. — Я понял, что имею право разве только отказать бедному францисканцу и что для обманувшегося в своих расчетах человека такого наказания достаточно и без добавления нелюбезных речей. — Я представил себе его седые волосы — его почтительная фигура как будто вновь вошла в мою комнату и кротко спросила: чем он меня оскорбил? — и почему я так обошелся с ним? — Я дал бы двадцать ливров адвокату. — Я вел себя очень дурно, — сказал я про себя, — но я ведь только начал свое путешествие и по дороге успею научиться лучшему обхождению.

ДЕЗОБЛИЖАН

КАЛЕ

Когда человек недоволен собой, в этом есть, по крайней мере, та выгода, что его душевное состояние отлично подходит для заключения торговой сделки. А так как во Франции и в Италии нельзя путешествовать без коляски — и так как природа обыкновенно направляет нас как раз к той вещи, к которой мы больше всего приспособлены, то я вышел на каретный двор купить или нанять что-нибудь подходящее для моей цели. Мне с первого же взгляда пришелся по вкусу один старый дезоближан¹ в дальнем углу двора, так что я сразу же сел в него и, найдя его достаточно гармонирующим с моими чувствами, велел слуге позвать мосье Дессена, хозяина гостиницы; — но мосье Дессен ушел к вечерне, и так как мне вовсе не хотелось встречаться с францисканцем, которого я увидал на противоположном конце двора разговаривающим с только что приехавшей в гостиницу дамой, — я задернул разделявшую нас тафтяную занавеску и, задумав описать мое путешествие, достал перо и чернила и написал к нему предисловие в дезоближане.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ДЕЗОБЛИЖАНЕ

Вероятно, не одним философом-перипатетиком замечено было, что природа верховной своей властью ставит нашему недовольству известные границы и преграды; она этого достигает самым тихим и спокойным образом, исключив для нас почти всякую возможность наслаждаться нашими радостями и переносить наши страдания на чужбине. Только дома помещает она нас в благоприятную обстановку, где нам есть с кем делить наше счастье и на кого перекладывать часть того бремени, которое везде и во все времена было слишком тяжелым для одной пары плеч. Правда, мы наделены несовершенной

¹ Коляска, называемая так во Франции потому, что в ней может поместиться только один человек. — *Л. Стерн.*

способностью простираť иногда наше счастье за поставленные *ею* границы; но вследствие незнания языков, недостатка связей и знакомств, а также благодаря различному воспитанию и различию обычаев и привычек, мы обыкновенно встречаем столько помех, желая поделиться нашими чувствами за пределами нашего круга, что часто желание наше оказывается вовсе неосуществимым.

Отсюда неизбежно следует, что баланс обмена чувствами всегда будет не в пользу попавшего на чужбину искателя приключений: ему приходится покупать то, в чем он мало нуждается, по цене, которую с него запрашивают, — разговор его редко принимается в обмен на тамошний без большой скидки — обстоятельство, кстати сказать, вечно побуждающее его обращаться к услугам более дешевых маклеров, чтобы завязать разговор, который он может вести, так что не требуется большой проницательности, чтобы догадаться, каково его общество —

Это приводит меня к существу моей темы, и здесь естественно будет (если только качанье *дезоближана* позволит мне продолжать) вникнуть как в действующие, так и в конечные причины путешествий.

Если праздные люди почему-либо покидают свою родину и отправляются за границу, то это объясняется одной из следующих общих причин:

Немощами тела,
Слабостью ума или
Непреложной необходимостью.

Первые два подразделения охватывают всех путешественников по суше и по морю, снedaемых гордостью, тщеславием или сплином, с дальнейшими подразделениями и сочетаниями *in infinitum*¹.

Третье подразделение заключает целую армию скитальцев-мучеников; в первую очередь тех путешественников, которые отправляются в дорогу с церковным напутствием или в качестве преступников, путешествующих под руководством надзирателей, рекомендованных судьей, — или в качестве молодых джентльменов, сосланных жестокостью родителей или опекунов и путешествующих под руководством надзирателей, рекомендованных Оксфордом, Эбердином и Глазго.

¹ До бесконечности (*лат.*).

Существует еще четвертый разряд, но столь малочисленный, что не заслуживал бы обособления, если бы в задуманном труде не надо было соблюдать величайшую точность и тщательность во избежание путаницы. Люди, о которых я говорю, это те, что переплывают моря и по разным соображениям и под различными предлогами остаются в чужих землях с целью сбережения денег; но так как они могли бы также уберечь себя и других от множества ненужных хлопот, сберегая свои деньги дома, и так как мотивы их путешествия наименее сложны по сравнению с мотивами других видов эмигрантов, то я буду отличать этих господ, называя их

— Простодушными путешественниками.

Таким образом, весь круг путешественников можно свести к следующим *главам*:

Праздные путешественники,
Пытливые путешественники,
Лгущие путешественники,
Гордые путешественники,
Тщеславные путешественники,
Желчные путешественники.

Затем следуют:

Путешественники поневоле,
Путешественник правонарушитель и преступник,
Несчастный и невинный путешественник,
Простодушный путешественник

и на последнем месте (с вашего позволения) Чувствительный путешественник (под ним я разумею самого себя), предпринявший путешествие (за описанием которого я теперь сию) *поневоле* и вследствие *besoin de voyager*¹, как и любой экземпляр этого подразделения.

При всем том, поскольку и путешествия и наблюдения мои будут совсем иного типа, чем у всех моих предшественников, я прекрасно знаю, что мог бы настаивать на отдельном уголке для меня одного, но я вторгся бы во владения *тщеславного* путешественника, если бы пожелал привлечь к себе внимание, не имея для того лучших оснований, чем простая *новизна моей повозки*.

Если читатель мой путешествовал, то, прилежно поразмыслив над сказанным, он и сам может определить свое место и положение в приведенном списке — это будет для него шагом к самопознанию: ведь по всей вероятности, он и посейчас

¹ Потребности путешествовать (*франц.*).

сохраняет некоторый привкус и подобие того, чем он напитался на чужбине и оттуда вывез.

Человек, впервые пересадивший бургундскую лозу на мыс Доброй Надежды (заметьте, что он был голландец), никогда не помышлял, что он будет пить на Капской земле такое же вино, какое эта самая лоза производила на горах Франции, — он был слишком флегматичен для этого; но он, несомненно, рассчитывал пить некую винную жидкость; а хорошую ли, плохую или посредственную, — он был достаточно опытен, чтобы понимать, что это от него не зависит, но успех его решен будет тем, что обычно зовется *случаем*; все-таки он надеялся на лучшее, и в этих надеждах, чрезмерно положившись на силу своих мозгов и глубину своего суждения, Мунхеер¹, по всей вероятности, своротил в своем новом винограднике то и другое и, явив свое убожество, стал посмешищем для своих близких.

Это самое случается с бедным путешественником, пускающимся под парусами и на почтовых в наиболее цивилизованные королевства земного шара в погоне за знаниями и опытностью.

Знания и опытность можно, конечно, приобрести, пустившись за ними под парусами и на почтовых, но полезные ли знания и действительную ли опытность, все это дело случая, — и даже когда искатель приключений удачлив, приобретенный им капитал следует употреблять осмотрительно и с толком, если он хочет извлечь из него какую-нибудь пользу. — Но так как шансы на приобретение такого капитала и его полезное применение чрезвычайно ничтожны, то, я полагаю, мы поступим мудро, убедив себя, что можно прожить спокойно без чужеземных знаний и опытности, особенно если мы живем в стране, где нет ни малейшего недостатка ни в том, ни в другом. — В самом деле, очень и очень часто с сердечным сокрушением наблюдал я, сколько грязных дорог приходится испотать пылливому путешественнику, чтобы полюбоваться зрелищами и посмотреть на открытия, которые все можно было бы увидеть, как говорил Санчо Панса Дон Кихоту, у себя дома, не замочив сапог. Мы живем в столь просвещенном веке, что едва ли в Европе найдется страна или уголок, лучи которых не перекрещивались и не смешивались бы друг с другом. — Знание, в большинстве своих отраслей и в большинстве жизненных положений, подобно музыке на итальянских улицах,

¹ Господин (голл.).

которую можно слушать, не платя за это ни гроша. — Между тем нет страны под небом — и свидетель бог (перед судом которого я должен буду однажды предстать и держать ответ за эту книгу), что я говорю это без хвастовства, — нет страны под небом, которая изобиловала бы более разнообразной ученостью, — где заботливее ухаживали бы за науками и где лучше было бы обеспечено овладение ими, чем наша Англия, — где так поощряется и вскоре достигнет высокого развития искусство, — где так мало можно положиться на природу (взятую в целом) — и где, в довершение всего, больше остроумия и разнообразия характеров, способных дать пищу уму. — Так куда же вы направляетесь, дорогие соотечественники? —

— Мы хотим только осмотреть эту коляску, — отвечали они. — Ваш покорнейший слуга, — сказала я, выскакивая из дезоближана и снимая шляпу. — Мы недоумевали, — сказал один из них, в котором я признал *пытливого путешественника*, — что может быть причиной ее движения. — Возбуждение, — отвечал я холодно, — вызванное писанием предисловия. — Никогда не слышал, — сказал другой, очевидно *простодушный путешественник*, — чтобы предисловие писали в *дезоближане*. — Оно вышло былучше, — отвечал я, — *в визави*.

— Но так как англичанин *путешествует не для того, чтобы видеть англичан*, я отправился в свою комнату.

КАЛЕ

Я заметил, что, кроме меня, еще что-то затемняет коридор, по которому я шел; действительно, то был мосье Дессен, хозяин гостиницы, только что вернувшийся от вечерни и чрезвычайно учтиво следовавший за мной, со шляпой под мышкой, чтобы напомнить мне о необходимых покупках. Я дописался в *дезоближане* до того, что он мне порядком опротивел; когда же мосье Дессен заговорил о нем, пожав плечами, как о предмете совершенно для меня неподходящем, то у меня тотчас мелькнула мысль, что он, видно, принадлежит какому-нибудь *невинному путешественнику*, который по возвращении домой оставил его на попечение мосье Дессена, чтобы тот повыгоднее его сбыл. Четыре месяца прошло с тех пор, как он кончил свои скитанья по Европе в углу каретного двора мосье Дес-

сена; с самого начала он выехал оттуда, лишь наспех поправленный, и хотя дважды разваливался на Мон-Сени, мало выиграл от своих приключений, — а всего меньше от многомесячного стоянья без призора в углу каретного двора мосье Дессена. Действительно, нельзя было много сказать в его пользу — но кое-что все-таки можно было; когда же довольно нескольких слов, чтобы выручить несчастного из беды, я ненавижу человека, который на них поскупится.

— Будь я хозяином этой гостиницы, — сказал я, прикоснувшись концом указательного пальца к груди мосье Дессена, — я непременно поставил бы себе делом чести избавиться от этого несчастного *дезоближана* — он стоит перед вами колыхающимся упреком каждый раз, когда вы проходите мимо —

— Mon Dieu!¹ — отвечал мосье Дессен, — для меня это не представляет никакого интереса. — Кроме интереса, — сказал я, — который люди известного душевного склада, мосье Дессен, проявляют к собственным чувствам. Я убежден, что если вы принимаете невзгоды других так же близко к сердцу, как собственные, каждая дождливая ночь, — скрывайте, как вам угодно, — должна действовать угнетающе на ваше расположение духа. — Вы страдаете, мосье Дессен, не меньше, чем эта машина —

Я постоянно замечал, что когда в комплименте *кислоты* столько же, сколько *сладоcти*, то англичанин всегда затрудняется, принять его или пропустить мимо ушей; француз же — никогда; мосье Дессен поклонился мне.

— C'est bien vrai², — сказал он. — Но в таком случае я только променял бы одно беспокойство на другое, и притом с убытком. Представьте себе, милостивый государь, что я дал бы вам экипаж, который рассыплется на куски, прежде чем вы сделаете половину пути до Парижа, представьте себе, как бы я мучился, оставив о себе дурное впечатление у почтенного человека и отдавшись на милость, как мне пришлось бы, d'un homme d'esprit³.

Доза была отпущена в точности по моему рецепту, так что мне ничего не оставалось, как принять ее, — я вернул мосье Дессену поклон, и, оставив казуистику, мы вместе направились к его сараю осмотреть стоявшие там экипажи.

¹ Боже мой! (*франц.*)

² Совершенно верно (*франц.*)

³ Человека остроумного (*франц.*)

НА УЛИЦЕ

КАЛЕ

Как сильно мир должен быть проникнут духом вражды, если покупатель (хотя бы жалкой почтовой кареты), стоит ему только выйти с продавцом на улицу для окончательного сговора с ним, мгновенно приходит в такое состояние и смотрит на своего контрагента такими глазами, как если бы он направлялся с ним в укромный уголок Гайд-парка драться на дуэли. Что касается меня, то, плохо владея шпагой и никоим образом не будучи в силах состязаться с мосье Дессеном, я почувствовал, что все в голове моей завертелось, как это всегда случается в таких положениях. — Я пронизывал мосье Дессена взглядом, снова и снова — смотрел на него, идя с ним рядом, то в профиль, то en face — решил, что он похож на еврея, потом — на турка, возненавидел его парик — проклинал его на чем свет стоит — посылал его к черту —

— И все это загорелось в моем сердце из-за жалких трех или четырех луидоров, на которые он самое большее мог меня обсчитать? — Низкое чувство! — сказал я, отворачиваясь, как это невольно делает человек при внезапной смене душевных движений, — низкое, грубое чувство! Рука твоя занесена на каждого, и рука каждого занесена на тебя. — Избави боже! — сказала она, поднимая руку ко лбу, потому что, повернувшись, я оказался лицом к лицу с дамой, которую видел занятой разговором с монахом, — она незаметно шла за нами следом. — Конечно, избави боже! — сказал я, предложив ей руку, — дама была в черных шелковых перчатках, открывавших только большой, указательный и средний пальцы, так что она без колебания приняла мою руку, — и повел ее к дверям сарая.

Мосье Дессен больше пятидесяти раз чертыхнулся, возясь с ключом, прежде чем заметил, что ключ не тот; мы с не меньшим нетерпением ждали, когда он откроет, и так внимательно наблюдали за его движениями, что я почти бессознательно продолжал держать руку своей спутницы; таким образом, когда мосье Дессен оставил нас, сказав, что вернется через пять минут, рука ее покоилась в моей, а лица наши обращены были к дверям сарая.

Пятиминутный разговор в подобном положении стоит пяти-векового разговора, при котором лица собеседников обращены к улице: ведь в последнем случае он питается внешними предметами и происшестввами — когда же глаза ваши устремлены

на пустое место, вы черпаете единственно из самого себя. Один миг молчания по уходе мосье Дессена был бы роковым в подобном положении: моя дама непременно повернулась бы — поэтому я начал разговор немедленно —

— Но каковы были мои искушения (ведь я пишу не для оправдания слабостей моего сердца во время этой поездки, а для того, чтобы дать в них отчет), — это следует описать с такой же простотой, с какой я их почувствовал.

ДВЕРИ САРАЯ

КАЛЕ

Я сказал читателю, что не пожелал выйти из *дезоближана*, так как увидел монаха, тихонько разговаривавшего с только что прибывшей в гостиницу дамой, — я сказал читателю правду; но я не сказал ему всей правды, ибо в такой же степени удержали меня внешность и осанка дамы, с которой разговаривал монах. В мозгу моем мелькнуло подозрение, не рассказывает ли он ей о случившемся; что-то как бы резнуло меня внутри — я бы предпочел, чтобы он оставался у себя в монастыре.

Когда сердце опережает рассудок, оно избавляет его от множества трудов — я уверен был, что дама принадлежит к существам высшего порядка, — однако я больше о ней не думал, а продолжал заниматься своим делом и написал предисловие.

При встрече с ней на улице первоначальное впечатление возобновилось; скромность и прямодушие, с которыми она подала мне руку, свидетельствуют, подумал я, о ее хорошем воспитании и здравомыслии; а идя с ней об руку, я чувствовал в ней приятную податливость, которая наполнила покоем все мое существо —

— Благодный боже, как было бы отраднo обойти кругом света рука об руку с таким созданием!

Я еще не видел ее лица — это было несущественно; ведь портрет его мгновенно был набросан; и задолго до того, как мы подошли к дверям сарая, *Фантазия* уже закончила всю голову, не нарадуясь тому, что она так хорошо подошла к ее богине, точно она достала ее *со дна Тибра*. — Но ты обольщенная и обольстительная девчонка; хоть ты и обманываешь нас по семи

раз на день своими картинами и образами, ты делаешь это с таким очаровательным искусством и так щедро уснащаешь свои картины ангелами света, что порывать с тобою стыдно.

Когда мы дошли до дверей сарая, дама отняла руку от лица и дала мне увидеть оригинал — то было лицо женщины лет двадцати шести, — чистое, прозрачно-смуглое — прелестное само по себе, без румян или пудры — оно не было безупречно красиво, но в нем заключалось нечто привлекавшее меня в моем тогдашнем состоянии сильнее, чем красота — оно было интересно; я вообразил себе на нем черты вдовства в тот его период, когда скорбь уже пошла на убыль, когда первые два пароксизма горя миновали и овдовевшая начинает тихо мириться со своей утратой, — но тысяча других бедствий могли провести такие же борозды; я пожелал узнать, что под ними кроется, и готов был спросить (если бы это позволил bon ton разговора, как в дни Ездры): *«Что с тобой? Почему ты так опечалена? Чем озабочен твой ум?»* — Словом, я почувствовал к ней расположение и решил тем или иным способом внести свою лепту учтивости — если не услужливости.

Таковы были мои искушения — и, очень склонный поддаться им, я был оставлен наедине с дамой, когда рука ее покоилась в моей, а лица наши придвинулись к дверям сарая ближе, чем было безусловно необходимо.

ДВЕРИ САРАЯ

КАЛЕ

— Право, прекрасная дама, — сказал я, чуточку приподнимая ее руку, — престранная это затея Фортуны: взять за руки двух совершенно незнакомых людей — разного пола и прибывших, может быть, с разных концов света — и в один миг поставить их в такое положение сердечной близости, которое вряд ли удалось бы создать для них самой Дружбе, хотя бы она его подготавливала целый месяц —

— И ваше замечание по этому поводу показывает, как сильно, мосье, она вас смутила своей проделкой —

Когда положение в точности соответствует нашим желаниям, ничто не бывает так некстати, как намек на создавшие его обстоятельства. — Вы благодарите Фортуну, — продолжала она, — и вы были правы — сердце это знало и осталось доволь-

но; кто же, кроме английского философа, довел бы об этом до сведения мозга, чтобы тот отменил приговор сердца?

С этими словами она освободила свою руку, бросив на меня взгляд, в котором я увидел достаточно ясный комментарий к тексту.

Какую жалкую картину слабости моего сердца дам я, признавшись, что оно ощутило боль, которой не могли бы вызвать в нем более достойные поводы. — Я был глубоко огорчен тем, что лишился руки своей спутницы, и манера, какой она ее отняла, не проливая на мою рану ни вина, ни елея: никогда в жизни мне не было так тягостно сознание сделанной оплошности.

Однако истинно женское сердце недолго упивается торжеством, нанося такие поражения. Через несколько секунд она положила руку на обшлаг моего кафтана, чтобы закончить свой ответ; словом, бог знает как это вышло, но только рука ее снова очутилась в моей.

— Ей нечего было добавить.

Я сейчас же начал придумывать другую тему для разговора с моей дамой, заключив из смысла и морали происшедшего, что я ошибся относительно ее характера; но когда она повернулась ко мне лицом, дух, оживлявший ее ответ, отлетел — мускулы больше не были напряжены, и я заметил то беспомощное выражение скорби, которое с первого взгляда пробудило во мне участие к ней — о, как грустно видеть такую жизнерадостность во власти горя! — Я от души пожалел ее, и хотя это может показаться довольно смешным зачерствелому сердцу — я способен был, не краснея, заключить ее в свои объятия и приласкать тут же на улице.

Биение крови в моих пальцах, прижавшихся к ее руке, поведало ей, что происходит во мне; она потупила глаза — на несколько мгновений воцарилось молчание.

Должно быть, в этот промежуток я сделал слабую попытку крепче сжать ее руку — так я заключаю по легкому движению, которое я ощутил на своей ладони — не то чтобы она намеревалась отнять свою руку — но она словно подумала об этом — и я неминуемо лишился бы ее вторично, не подкажи мне скорее инстинкт, чем разум, крайнего средства в этом опасном положении — держать ее нетвердо и так, точно я сам каждое мгновение готов ее выпустить; словом, дама моя стояла не шевелясь, пока не вернулся с ключом мосье Дессен; тем временем я принялся обдумывать, как бы мне изгладить дурное впечатление, наверно оставленное в ее сердце происшествием с монахом, в случае если он рассказал ей о нем.

ТАБАКЕРКА

КАЛЕ

Добрый старенький монах был всего в шести шагах от нас, когда я вдруг вспомнил о нем; он к нам приближался не совсем по прямой линии, словно был не уверен, вправе ли он прервать нас или нет. — Однако, поравнявшись с нами, он остановился с самым радушным видом и поднес мне открытую роговую табакерку, которую держал в руке. — Отведайте из моей, — сказал я, доставая свою табакерку (она была у меня черепаховая) и кладя ее в руку монаха. — Табак отменный, — сказал он. — Так сделайте милость, — ответил я, — примите эту табакерку со всем ее содержимым и, когда будете брать из нее щепотку, вспоминайте иногда, что она поднесена была вам в знак примирения человеком, который когда-то грубо обошелся с вами, но зла к вам не питает.

Бедный монах покраснел как рак. — Mon Dieu! — сказал он, сжимая руки, — никогда вы не обращались со мной грубо. — По-моему, — сказала дама, — это на него не похоже. — Теперь пришел мой черед покраснеть, а почему — предоставляю разобратся тем немногим, у кого есть к этому охота. — Простите, мадам, — возразил я, — я обошелся с ним крайне нелюбезно, не имея к тому никакого повода. — Не может быть, — сказала дама. — Боже мой! — воскликнул монах с горячностью, казалось, ему совсем несвойственной, — вина лежит всецело на мне; я был слишком навязчив со своим рвением. — Дама стала возражать, и я к ней присоединился, утверждая, что такой дисциплинированный ум никого не может оскорбить.

Я не знал, что спор способен оказать столь приятное и успокоительное действие на нервы, как это испытал тогда. — Мы замолчали, не чувствуя и следа того нелепого возбуждения, которым вы бываете охвачены, когда в таких случаях по десяти минут глядите друг другу в лицо, не произнося ни слова. Во время этой паузы монах старательно тер свою роговую табакерку о рукав подрясника, и, как только на ней появился от трения легкий блеск, — он низко мне поклонился и сказал, что было бы поздно разбирать, слабость ли или доброта душевная повлекли нас в этот спор, — но как бы там ни было — он просит меня обменяться табакерками. Говоря это, он одной рукой поднес мне свою, а другой взял у меня мою; поцеловав ее, он спрятал у себя на груди — из глаз его струились целые потоки признательности — и распрощался.

Я храню эту табакерку наравне с предметами культа моей религии, чтобы она способствовала возвышению моих помыслов; по правде сказать, без нее я редко отправляюсь куда-нибудь; много раз вызывал я с ее помощью образ ее прежнего владельца, чтобы внести мир в свою душу среди мирской суеты; как я узнал впоследствии, он был весь в ее власти лет до сорока пяти, когда, не получив должного вознаграждения за какие-то военные заслуги и испытав в то же время разочарование в нежнейшей из страстей, он бросил сразу и меч и прекрасный пол и нашел убежище не столько в монастыре своем, сколько в себе самом.

Грустно у меня на душе, ибо приходится добавить, что, когда я спросил о патере Лоренцо на обратном пути через Кале, мне ответили, что он умер месяца три тому назад и похоронен, по его желанию, не в монастыре, а на принадлежащем монастырю маленьком кладбище, в двух лье отсюда. Мне очень захотелось взглянуть, где его похоронили, — и вот, когда я вынул маленькую роговую табакерку, сидя на его могиле, и сорвал в головах у него два или три кустика крапивы, которым там было не место, это так сильно подействовало на мои чувства, что я залился горячими слезами, — но я слаб, как женщина, и прошу моих читателей не улыбаться, а пожалеть меня.

ДВЕРИ САРАЯ КАЛЕ

Все это время я ни на секунду не выпускал руки моей дамы; я держал ее так долго, что было бы неприлично выпустить ее, не прижав сперва к губам. Когда я это сделал, кровь и оживление, сбегавшие с ее лица, потоком хлынули к нему снова.

Случилось, что в эту критическую минуту проходили мимо два путешественника, заговорившие со мной в каретном дворе; увидев наше обращение друг с другом, они, естественно, забрали себе в голову, что мы, по крайней мере, *муж и жена*; вот почему, когда они остановились, подойдя к дверям сарая, один из них, а именно пыльный путешественник, спросил нас, не отправляемся ли мы завтра утром в *П а р и ж*. — Я сказал, что могу ответить утвердительно только за себя, а дама прибавила, что она едет в *А м ь е н*. — Мы вчера там обедали, — ска-

зал простодушный путешественник. — Ваша дорога в Париж проходит прямо через этот город, — прибавил его спутник. Я собирался было рассыпаться в благодарностях за сообщение, *что Амьен лежит на дороге в Париж*, но, вытащив роговую табакерку бедного монаха с целью взять из нее щепотку табаку, — я спокойно поклонился им и пожелал благополучно доехать до Ду в р а, — и они нас покинули.

— А что будет плохого, — сказал я себе, — если я попрошу эту удрученную горем даму занять половину моей кареты? — Какие великие беды могут от этого произойти?

Все грязные страсти и гадкие наклонности естества моего всполошились, когда я высказал это предположение. — Тебе придется тогда взять третью лошадь, — сказала *Скупость*, — и за это карман твой поплатится на двадцать ливров. — Ты не знаешь, кто о н а, — сказала *Осмотрительность*, — и в какие пердряги может вовлечь тебя твоя з а т е я, — шепнула *Трусость*.

— Можешь быть уверен, Йорик, — сказала *Благоразумие*, — что пойдет слух, будто ты отправился в поездку с любовницей и с этой целью сговорился встретиться с ней в Кале.

— После этого, — громко закричало *Лицемерие*, — тебе невозможно будет показаться в свете, — или сделать церковную карьеру, — прибавила *Низость*, — и быть чем-нибудь побольше паршивого препендаря.

— Но ведь этого требует вежливость, — сказал я, — и так как в поступках своих я обыкновенно руковожусь первым побуждением и редко прислушиваюсь к подобным наговорам, которые, насколько мне известно, способны только обратить сердце в камень, — то я мигом повернулся к даме —

— Но пока шла эта тяжба, она незаметно ускользнула и к тому времени, когда я принял решение, успела сделать по улице десять или двенадцать шагов; я поспешно бросился вдогонку, чтобы как-нибудь поискуснее сделать ей свое предложение; однако, заметив, что она идет, опершись щекой на ладонь и потупив в землю глаза — медленными, размеренными шагами человека, погруженного в раздумье, — я вдруг подумал, что и она обсуждает тот же вопрос. — Помогите ей, боже! — сказал я, — верно, у нее, как и у меня, есть какая-нибудь ханжачетка, свекровь или другая вздорная старуха, с которыми ей надо мысленно посоветоваться об этом деле. — Вот почему, не желая ей мешать и решив, что галантнее будет взять ее скромностью, а не натиском, я повернул назад и два раза прошелся перед дверями сарая, пока она продолжала свой путь, погруженная в размышления.

НА УЛИЦЕ

КАЛЕ

При первом же взгляде на даму решив в своем воображении, «что она существо высшего порядка», — и выставив затем вторую аксиому, столь же неоспоримую, как и первая, а именно, что она — вдова, удрученная горем, — я дальше не пошел: я и так достаточно твердо занимал положение, которое мне нравилось — так что, пробудь она бок о бок со мной до полуночи, я остался бы верен своим догадкам и продолжал рассматривать ее единственно под углом этого общего представления.

Но не отошла она еще от меня и двадцати шагов, как что-то во мне стало требовать более подробных сведений — навело на мысль о предстоящей разлуке — может быть, никогда больше не придется ее увидеть — сердцу хочется сберечь, что можно; мне нужен был след, по которому желания мои могли бы найти путь к ней в случае, если бы мне не довелось больше с ней встретиться; словом, я желал узнать ее имя — ее фамилию — ее общественное положение; так как мне известно было, куда она едет, то захотелось узнать, откуда она приехала; но не было никакого способа подступиться к ней за всеми этими сведениями: деликатность воздвигала на пути сотню маленьких препятствий. Я строил множество различных планов. — Нечего было и думать о том, чтобы спросить ее прямо, — это было невозможно.

Бойкий французский офицерик, проходивший по улице приплясывая, показал мне, что это самое легкое дело на свете; действительно, проскользнув между нами как раз в ту минуту, когда дама возвращалась к дверям сарая, он сам мне представился и, не успев еще как следует отрекомендоваться, попросил меня сделать ему честь и представить его даме. — Я сам не был представлен, — тогда, повернувшись к ней, он сделал это самостоятельно, спросив ее, не из Парижа ли она приехала? — Нет; она едет по направлению к Парижу, — сказала дама. — Vous n'êtes pas de Londres?¹ — Нет, не из Лондона, — отвечала она. — В таком случае мадам прибыла через Фландрию. Apparemment vous êtes Flamande?² — спросил французский офицер. — Дама ответила утвердительно. — Peut-être de Lisle?³ —

¹ Вы не из Лондона? (франц.).

² Очевидно, вы фламандка? (франц.).

³ Может быть, из Лилля? (франц.).

продолжал о н . — Она сказала, что не из Л и л л я . — Так, может быть, из Арраса? — или из Камбре? — или из Гента? — или из Брюсселя? — Дама ответила, что она из Брюсселя.

Он имел честь, — сказал офицер, — находиться при бомбардировке этого города в последнюю войну. Брюссель прекрасно расположен *pour cela*¹ и полон знати, когда имперцы вытеснены из него французами (дама сделала легкий реверанс); рассказав ей об этом деле и о своем участии в нем, — он попросил о чести узнать ее имя — и откланялся.

— *Et Madame a son mari?*² — спросил он, оглянувшись, когда уже сделал два шага — и, не дожидаясь ответа, — понесся дальше своей танцующей походкой.

Даже если бы я семь лет обучался хорошим манерам, все равно я бы не способен был это переделать.

САРАЙ

КАЛЕ

Когда французский офицерик ушел, явился мосье Дессен с ключом от сарая в руке и тотчас впустил нас в свой склад повозок.

Первым предметом, бросившимся мне в глаза, когда мосье Дессен отворил двери, был другой старый ободранный *дезоближан*; но хотя он был точной копией того, что лишь час назад пришелся мне так по вкусу на каретном дворе, — теперь один его вид вызвал во мне неприятное ощущение; и я подумал, каким же скаредом был тот, кому впервые пришла в голову мысль соорудить такую штуку; не больше снисхождения оказал я человеку, у которого могла явиться мысль этой штукой воспользоваться.

Я заметил, что дама была столь же мало прельщена *дезоближаном*, как и я; поэтому мосье Дессен подвел нас к двум стоявшим рядом каретам и, рекомендуя их нашему вниманию, сказал, что они куплены были лордами А. и Б. для *grand tour*³, но дальше Парижа не бывали и, следовательно, во всех отношениях так же хороши, как и новые. — Они были слишком

¹ Для этого (*франц.*).

² Мадам замужем? (*франц.*).

³ Большое путешествие (*франц.*).

хороши, — почему я перешел к третьей карете, стоявшей позади, и сейчас же начал сговариваться о цене. — Но в ней едва ли поместятся двое, — сказал я, отворив дверцу и войдя в карету. — Будьте добры, мадам, — сказал мосье Дессен, предлагая руку, — войдите и вы. — Дама поколебалась с полсекунды и вошла; в это время слуга кивком подозвал мосье Дессена, и тот захлопнул за нами дверцу кареты и покинул нас.

САРАЙ

КАЛЕ

— C'est bien comique, это очень забавно, — сказала дама, улыбаясь при мысли, что уже второй раз мы остались наедине благодаря нелепому стечению случайностей. — C'est bien comique, — сказала она.

— Чтобы получилось совсем забавно, — сказал я, — не хватает только комичного употребления, которое сделала бы из этого французская галантность: сначала объясниться в любви, а затем предложить свою особу.

— В этом их сила, — возразила дама.

— Так, по крайней мере, принято думать, — а почему это случилось, — продолжал я, — не знаю, но, несомненно, французы стяжали славу людей, наиболее понимающих в любви и наилучших волокит на свете; однако что касается меня, то я считаю их жалкими пачкунами и, право же, самыми дрянными стрелками, какие когда-либо испытывали терпение Купидона.

Надо же такое выдумать: объясняться в любви при помощи sentiments!¹

— С таким же успехом я бы выдумал сшить изящный костюм из лоскутков. — Объясниться — хлоп — с первого же взгляда признанием — значит подвергнуть свое предложение и самих себя вместе с ним, со всеми rougs и contres², суду холодного разума.

Дама внимательно слушала, словно ожидая, что я скажу еще.

¹ Чувств (франц.).

² «За» и «против» (франц.).

— Возьмите, далее, во внимание, мадам, — продолжал я, — кладя свою ладонь на ее руку —

Что серьезные люди ненавидят Любовь из-за самого ее имени —

Что люди себялюбивые ненавидят ее из уважения к самим себе —

Лицемеры — ради неба —

И что, поскольку все мы, и старые и молодые, в десять раз больше напуганы, чем задеты, самым звуком этого слова —

Какую неосведомленность в этой области человеческих отношений обнаруживает тот, кто дает слову сорваться со своих губ, когда не прошло еще, по крайней мере, часа или двух с тех пор, как его молчание об этом предмете стало мучительным. Ряд маленьких немых знаков внимания, не настолько подчеркнутых, чтобы вызвать тревогу, — но и не настолько неопределенных, чтобы быть неверно понятыми, — да время от времени нежный взгляд, брошенный без слов или почти без слов, — оставляет Природе права хозяйки, и она все обделаает по своему вкусу. —

— В таком случае, — сказала, зардевшись, дама, — я вам торжественно объявляю, что все это время вы объяснялись мне в любви.

САРАЙ

КАЛЕ

Мосье Дессен, вернувшись, чтобы выпустить нас из кареты, сообщил даме о прибытии в гостиницу графа Л., ее брата. Несмотря на все свое расположение к спутнице, не могу сказать, чтобы в глубине сердца я этому событию обрадовался — я не выдержал и признался ей в этом: ведь это губительно, мадам, — сказал я, — для предложения, которое я собирался вам сделать. —

— Можете мне не говорить, что это было за предложение, — прервала она меня, кладя свою руку на обе мои. — Когда мужчина, милостивый государь мой, готовится сделать женщине любезное предложение, она обыкновенно заранее об этом догадывается. —

— Оружие это, — сказал я, — природа дала ей для самосохранения. — Но я думаю, — продолжала она, глядя мне в лицо, — мне нечего было опасаться — и, говоря откровенно, я решила

принять ваше предложение. — Если бы я это сделала — (она минуточку помолчала), — то, думаю, ваши добрые чувства выманили бы у меня рассказ, после которого единственной опасной вещью в нашей поездке была бы жалость.

Говоря это, она позволила мне дважды поцеловать свою руку, после чего вышла из кареты с растроганным и опечаленным взором — и попрощалась со мной.

НА УЛИЦЕ

КАЛЕ

Никогда в жизни не случилось мне так быстро заключать сделку на двадцать гиней. Когда я лишился дамы, время потянулось для меня томительно-медленно; вот почему, зная, что теперь каждая минута будет равняться двум, пока я сам не приду в движение, — я немедленно заказал почтовых лошадей и направился в гостиницу.

— Господи! — сказал я, услышав, как городские часы пробили четыре, и вспомнив, что нахожусь в Кале всего лишь час с небольшим —

— Какой толстый том приключений может выйти из этого ничтожного клочка жизни у того, в чьем сердце на все находится отклик и кто, приглядываясь к каждой мелочи, которую помещают на пути его время и случай, не упускает ничего, чем он может *со спокойной совестью завладеть* —

— Из одного ничего не выйдет, выйдет — из другого — все равно — я сделаю пробу человеческой природы. — Вознаграждением мне служит самый мой труд — с меня довольно. — Удовольствие, доставляемое мне этим экспериментом, держало в состоянии бодрого напряжения мои чувства и лучшую часть моих жизненных сил, усыпляя в то же время их более изменную часть.

Жаль мне человека, который способен пройти от *Дана* до *Вирсавиш*, восклицая: «Как все бесплодно кругом!» — ведь так оно и есть; таков весь свет для того, кто не хочет возделывать приносимых им плодов. Ручаюсь, — сказал я, весело хлопая в ладоши, — что, окажись я в пустыне, я непременно отыскал бы там что-нибудь способное пробудить во мне приятные чувства. — Если бы не нашлось ничего лучшего, я бы сосредоточил их на душистом мирте или отыскал меланхоличный кипарис.

чтобы привязаться к нему — я бы вымаливал у них тень и дружески их благодарил за кров и защиту — я бы вырезал на них мое имя и покаялся, что они прекраснейшие деревья во всей пустыне; при увядании их листьев я научился бы горевать, и при их оживлении ликовал бы вместе с ними.

Ученый *Смельфунгус* совершил путешествие из Булони в Париж — из Парижа в Рим — и так далее, — но он отправился в дорогу, страдая сплином и разлитием желчи, отчего каждый предмет, попадавший к нему на пути, обесцвечивался или искажался. — Он написал отчет о своей поездке, но то был лишь отчет о его дрянном самочувствии.

Я встретил Смельфунгуса в большом портике Пантеона — он только что там побывал. — Да ведь это только огромная площадка для петушинных боев¹, — сказал он. — Хорошо, если вы не сказали чего-нибудь похуже о Венере Медицейской, — ответил я, так как, проезжая через Флоренцию, слышал, что он непристойно обругал богиню и обошелся с ней хуже, чем с уличной девкой, без малейшего к тому повода.

Я снова столкнулся со Смельфунгусом в Турине, когда он уже возвращался домой; он мог рассказать лишь печальную повесть о злоключениях, в которой «говорил о бедствиях на суше и на морях, о каннибалах, что едят друг друга: антропофагах», — на каждой станции, где он останавливался, с него живого сдирали кожу, его терзали и мучили хуже, чем святого Варфоломея. —

— Я расскажу об этом, — кричал Смельфунгус, — всему свету! — Лучше бы вы рассказали, — сказал я, — вашему врачу.

Мундунгус, обладатель огромного состояния, совершил длинное круговое путешествие: он проехал из Рима в Неаполь — из Неаполя в Венецию — из Венеции в Вену — в Дрезден, в Берлин, не будучи в состоянии рассказать ни об одном великодушном поступке, ни об одном приятном приключении; он ехал прямо вперед, не глядя ни направо, ни налево, чтобы ни Любовь, ни Жалость не совратили его с пути.

Мир им! — если они могут его найти; но само небо, хотя бы туда открыт был доступ людям такого душевного склада, не имело бы возможности его дать, — пусть даже все блаженные духи прилетели бы на крыльях любви приветствовать их прибытие, — и ничего не услышали бы души Смельфунгуса и Мундунгуса, кроме новых гимнов радости, новых восторгов

¹ Смотри «Путешествия С[моллет]а». — *Л. Стерн*.

любви и новых поздравлений с общим для всех их блаженством. — Мне их сердечно жаль: они не выработали никакой восприимчивости к нему; и хотя бы даже Смельфунгусу и Мундунгусу отведено было счастливейшее жилище на небесах, они чувствовали бы себя настолько далекими от счастья, что души Смельфунгуса и Мундунгуса веки вечные предавались бы там сокрушению.

МОНТРЕЙ

В дороге я потерял с задка кареты чемодан и дважды выходил под дождем, один раз увязнув по колена в грязи, чтобы помочь кучеру вновь привязать его, но все не мог понять, чего мне недостает. — Только по приезде в Монтрей, когда хозяин гостиницы спросил, не нужен ли мне слуга, я вдруг сообразил, что мне недостает именно слуги.

— Слуга! До зарезу нужен, — сказал я. — Дело в том, мосье, — продолжал хозяин, — что здесь есть смысленный парень, который почел бы за большую честь служить у англичанина. — Но почему у англичанина предпочтительнее, чем у кого-нибудь другого? — Англичане так щедрь, — сказал хозяин. — Голову отдам на отсечение, — сказал я про себя, — если мне не придется поплатиться за это лишним ливром сегодня же вечером. — Но они могут себе это позволить, — прибавил он. — За это выкладывай еще один ливр, — подумал я. — Не далее, как прошедшую ночь, — продолжал хозяин, — un Mylord Anglais présentait un écu à la fille de chambre. — Tant pis pour Mademoiselle Jeanneton¹, — сказал я.

Жаннетон была хозяйской дочерью, и хозяин, подумав, что я не силен во французском, взял на себя смелость осведомить меня, что мне следовало сказать не tant pis, а tant mieux. — Tant mieux, toujours, Monsieur², — сказал он, — когда что-нибудь получаешь, tant pis — когда ничего не получаешь. — Да ведь это сводится к одному и тому же, — сказал я. — Pardonnez-moi³, — сказал хозяин.

Едва ли представится мне более подходящий случай раз навсегда заметить, что поскольку tant pis и tant mieux явля-

¹ Один английский милорд подарил эку горничной. — Тем хуже для мадемуазель Жаннетон (*франц.*).

² Не «тем хуже», а «тем лучше». Тем лучше всегда, мосье (*франц.*).

³ Извините (*франц.*).

ются двумя стержнями французского разговора, иностранцам перед приездом в Париж надо хорошенько освоиться с правильным их употреблением.

Один шустрый французский маркиз за столом у нашего посла спросил мистера Ю., не он ли поэт Ю. — Нет, — мягко ответил Ю. — *Tant pis*, — сказал маркиз.

— Это историк Ю., — сказал кто-то. — *Tant mieux*, — отозвался маркиз. — Мистер Ю., чудесной души человек, сердечно поблагодарил его за то и за другое.

Просветив меня на этот счет, хозяин кликнул Ла Флера (так назывался молодой человек, о котором он мне говорил), — предварительно, впрочем, заметив, что он ничего не смеет сказать о его талантах — мосе лучше может судить, что ему подходит; но за преданность Ла Флера он готов поручиться всем своим состоянием.

Хозяин сказал это таким подкупающим тоном, что я решил сразу же покончить с занимавшим меня делом — и Ла Флер, который поджидал за дверью, затаив дыхание, как это доводилось в свой черед каждому из детей природы, вошел ко мне.

МОНТРЕЙ

Я способен с первого же взгляда почувствовать расположение к самым различным людям, в особенности когда какой-нибудь бедняк является предложить свои услуги такому бедняку, как я; зная за собой эту слабость, я всегда допускаю некоторое ограничение моего суждения — большее или меньшее, в зависимости от расположения духа и обстоятельств, — а также, могу добавить, пола особы, поступающей ко мне на службу.

Когда Ла Флер вошел в мою комнату и я мысленно выправил все, что могла преувеличить моя чувствительность, открытый взор и честное лицо парня сразу решили дело в его пользу; поэтому я сначала его понял, — а затем стал спрашивать, что он умеет. — Я обнаружу его таланты, — сказал я, — когда в них встретится надобность, — кроме того, француз — на все руки мастер.

Оказалось, что бедный Ла Флер единственно только и умеет, что бить в барабан да дудеть два-три марша на флейте. Я решил положиться на его дарования и должен сказать, что моя слабость никогда не подвергалась таким насмешкам со стороны моей мудрости, как при этой попытке.

Как большинство французов, Ла Флер храбро начал свое жизненное поприще, проведя в молодости несколько лет на службе. По окончании ее, удовлетворив свое тщеславие и найдя, что честь бить в барабан, по-видимому, заключает награду в себе самой, так как она не открывала ему никаких дальнейших путей к славе, — он удалился à ses terres¹ и жил comme il plaisait à Dieu — то есть чем бог пошлет.

— И так, — сказала Мудрость, — для своего путешествия по Франции и Италии ты нанял себе в слуги барабанщика! — Так что ж? — отвечал я. — Разве половина наших дворян не предельвает этого самого пути с каким-нибудь фетюком в качестве *compagnon de voyage*², платя вдобавок и за черта, и за дьявола, и за всякую всячину? — когда человек способен выпутаться с помощью *острого словца* в таком неравном состязании, дела его вовсе не так плохи. — Ведь вы умеете делать еще что-нибудь, Ла Флер? — спросил я. — О *qu'oui*³, — он умеет шить гетры и немного играет на скрипке. — Bravo! — воскликнула Мудрость. — Я сам играю на виолончели, — сказал я, — мы отлично поладим. А умеете вы брить и оправлять немного парик, Ла Флер? — У него охота ко всему на свете. — Этого довольно для неба, — перебил я его, — а для меня так и подавно. — И вот, когда подоспел ужин и по одну сторону моего стула поместился резвый английский спаниель, а по другую — француз-слуга со всей той веселостью на лице, какую способна изобразить на наших лицах природа, — я от всей души остался доволен моей державой и думаю, что если бы монархи знали, чего они хотят, то и они были бы так же довольны, как я.

МОНТРЕЙ

Так как Ла Флер сопровождал меня в течение всего моего путешествия по Франции и Италии и будет не раз еще появляться на сцене, то я должен немного более расположить читателя в его пользу, сказав, что никогда движения сердца, обыкновенно определяющие мои поступки, не давали мне меньше поводов к раскаянию, чем в отношении этого парня, — то

¹ В свои края (*франц.*).

² Попутчика (*франц.*).

³ О, да (*франц.*).

была самая прямая, любящая и простая душа, какой когда-либо приходилось тащиться по пятам за философом; хотя его выдающиеся дарования по части барабанного боя и шитья гетр оказались для меня довольно бесполезными, однако я был ежедневно вознаграждаем веселостью его нрава — она возмещала все его недостатки. — Глаза его всегда давали мне поддержку во всех моих несчастиях и затруднениях, я чуть было не добавил — и его тоже; но Ла Флера ничем нельзя было пронять; в самом деле, какие бы невзгоды судьбы ни постигали его в наших странствиях: голод ли, жажда, холод или бессонные ночи, — по лицу его о них ничего нельзя было прочесть — он всегда был одинаков; таким образом, если я являюсь чуточку философом, как это время от времени внушает мне лукавой, — гордость моя этим званием бывает сильно задета, когда я размышляю, сколь многим обязан я жизнерадостной философии этого бедного парня, посрамившего меня и научившего высшей мудрости. При всем том у Ла Флера был легкий налет фатовства, — но фатовство это казалось с первого взгляда скорее природным, чем искусственным; и не прожил я с ним и трех дней в Париже, как убедился, что он вовсе не фат.

МОНТРЕЙ

Когда Ла Флер на следующее утро приступил к исполнению своих обязанностей, я вручил ему ключ от моего чемодана вместе с описью полдюжины рубашек и пары шелковых штанов и велел уложить все это в карету, а также распорядиться, чтоб запрягли лошадей, — и попросить хозяина принести счет.

— *C'est un garçon de bonne fortune*¹, — сказал хозяин, показывая в окно на полдюжину девиц, столпившихся вокруг Ла Флера и очень дружественно с ним прощавшихся, в то время как кучер выводил из конюшни лошадей. Ла Флер несколько раз поцеловал всем девицам руку, трижды вытер глаза и трижды пообещал привезти им всем из Рима отпущение грехов.

— Этого юношу, — сказал хозяин, — любит весь город, и едва ли в Монрее есть уголок, где не почувствуют его отсутствия. Единственное его несчастье в том, — продолжал хозяин, —

¹ Этот парень пользуется успехом у женщин (*франц.*).

что «он всегда влюблен». — От души этому рад, — сказал я, — это избавит меня от хлопот класть каждую ночь под подушку свои штаны. — Я сказал это в похвалу не столько Ла Флеру, сколько самому себе, потому что почти всю свою жизнь был влюблен то в одну, то в другую принцессу, и, надеюсь, так будет продолжаться до самой моей смерти, ибо твердо убежден в том, что если я сделаю когда-нибудь подлость, то это непременно случится в промежуток между моими увлечениями; пока продолжается такое междуцарствие, сердце мое, как я заметил, всегда заперто на ключ, — я едва нахожу у себя шестипенсовик, чтобы подать нищему, и потому стараюсь как можно скорее выйти из этого состояния; когда же я снова воспаляюсь, я снова — весь великодушнее и добротнее и охотно сделаю все на свете для кого-нибудь или с кем-нибудь, если только мне поручатся, что в этом не будет греха.

— Однако, говоря так, — я, понятно, восхваляю любовь, — а вовсе не себя.

ОТРЫВОК

Город Абдера, несмотря на то что в нем жил Демокрит, старавшийся всей силой своей иронии и насмешки исправить его, был самым гнусным и распутным городом во всей Фракии. Каких только отравлений, заговоров и убийств, — каких поношений и клеветы, каких бесчинств не бывало там днем, — а тем более ночью.

И вот, когда дальше идти уже было некуда, случилось, что в Абдере поставлена была «Андромеда» Еврипида, которая привела в восторг весь театр; но из всех пленивших зрителей отрывков ничто так сильно не подействовало на их воображение, как те нежные звуки природы, которыми поэт оживил страстную речь Персея: *О Эрот, властитель богов и людей*, и т. д. На другой день почти все жители города говорили правильными ямбами, — только и слышно было о Персее и о его страстном обращении: «О Эрот, властитель богов и людей», — на каждой улице Абдеры, в каждом доме: «О Эрот! Эрот!» — во всех устах, подобно безыскусственным звукам сладостной мелодии, произвольно из них вырывающейся, — единственно только: «Эрот! Эрот! Властитель богов и людей». — Огонь вспыхнул — и весь город, подобно сердцу отдельного человека, отверзся для Любви.

Ни один аптекарь не мог продать ни крупинки чемерицы — ни у одного оружейного мастера не лежало сердце ковать орудия смерти. — Дружба и Добродетель встречались друг с другом и целовались на улице — золотой век вернулся и почил над городом Абдерой — все абдериты достали пастушеские свирели, а абдеритки, отложив свою пурпурную ткань, целомудренно садились слушать песню. —

Сделать это, — гласит Отрывок, — в силах был лишь тот бог, чье владычество простирается от неба до земли и даже до морских глубин.

МОНТРЕЙ

Когда уже все готово к отъезду и каждая статья счета гостиницы обсуждена и оплачена, вам всегда приходится, если вы не очень раздражены этой процедурой, уладить возле дверей, перед тем как вы сядете в карету, еще одно дело — с сыновьями и дочерьми бедности, которые вас обступают. Никогда не говорите: «Пусть убираются к черту», — ведь это значит посылать в тяжкий путь нескольких несчастных, которые и без того довольно страдали. Я всегда предпочитал взять в горсть несколько су и посоветовал бы каждому благородному путешественнику последовать моему примеру; он может обойтись без подробной записи, по каким соображениям он роздал свои деньги — все это будет зачтено ему в другом месте.

Что касается меня, то никто не дает так мало, как я; ведь лишь у немногих из тех, кого я знаю, такая скудная кошелек. Все-таки, поскольку это был первый мой публичный акт благотворительности во Франции, я отнесся к нему с большим вниманием.

— Увы! — сказал я, — у меня всего-навсего восемь су, — я раскрыл руку и показал деньги, — а здесь на них рассчитывают восемь бедных мужчин и восемь бедных женщин.

Бедный оборванец без рубахи немедленно взял назад свое притязание, выступив на два шага из круга и сделав поклон в знак отказа от своей доли. Если бы весь партер закричал в один голос: *Place aux dames*¹, это и наполовину не выразило бы чувства уважения к слабому полу, которое заключено было в жесте бедняка.

¹ Место дамам (*франц.*).

Праведный боже! По каким мудрым основаниям устроил ты, чтобы крайняя степень нищеты и изысканная вежливость, которые в таком разладе в других странах, нашли здесь дорогу к согласию?

— Я все-таки подарил ему одно су просто за его politesse¹. Подвижный паренек крошечного роста, стоявший в круге как раз напротив меня, сунул под мышку какой-то предмет, когда-то бывший шляпой, вытащил из кармана табакерку и щедро предложил по шепотке соседям направо и налево: дар был настолько внушителен, что те из скромности отказались. — Бедный карлик проявил, однако, настойчивость: — Prenez-en — prenez², — сказал он, приветливо им кивнув, но глядя в другую сторону; тогда каждый из них взял по шепотке. — Жаль, если твоя табакерка когда-нибудь опустеет, — сказал я про себя и положил в нее два с у, — но, чтобы повисить их ценность, сам взял при этом из нее небольшую шепотку. — Бедняга почувствовал вес второго одолжения сильнее, чем вес первого, — им я оказал ему честь — первое же было только милостыней — и он поблагодарил меня за него земным поклоном.

— Вот! — сказал я старому однорукому солдату, участвовавшему в походах и до смерти измученному на службе отечества, — вот тебе два с у. — Vive le Roi!³ — отвечал старый вояка.

После этого у меня осталось только три су. Одно я отдал просто pour l'amour de Dieu⁴, так как на этом основании его у меня попросили. — У бедной женщины было вывихнуто бедро, и потому ей и нельзя было подать по каким-нибудь другим соображениям.

— Mon cher et très charitable Monsieur⁵. — На это ничего невозразишь, — сказала я.

— My Lord Anglais⁶, — самый звук этих слов стоил денег — и я отдал за него *мое последнее су*. Но в пылу раздачи я проглядел одного pauvre honteux⁷, для которого некому было попросить су и который, я уверен, скорее погиб бы, чем попросил для себя сам. Он стоял возле кареты немного в стороне от кружка обступивших меня нищих и вытирал слезу на лице, видевшем, как мне показалось, лучшие дни. — Праведный

¹ Вежливость (франц.).

² Берите же — берите (франц.).

³ Да здравствует король! (франц.).

⁴ Ради бога (франц.).

⁵ Дорогой и милостивый господин (франц.).

⁶ Милорд английский (франц.).

⁷ Застенчивого бедняка (франц.).

боже! — сказал я, — а у меня не осталось для него ни одного с у . — Да ведь у тебя их тысяча! — громко закричали все зашевелившиеся во мне силы природы, — и вот я дал ему — не важно, сколько — теперь мне стыдно сказать, *как много*, — а тогда было стыдно подумать, как мало. Таким образом, если читатель способен составить какое-нибудь представление о моем тогдашнем состоянии, то, пользуясь этими двумя твердыми отправными точками, он может отгадать величину моего подаяния с точностью до одного или двух ливров.

Для остальных у меня не нашлось ничего, кроме Dieu vous bénisse. — Et le bon Dieu vous bénisse encore¹, — сказали старый солдат, карлик и пр. Но pauvre honteux ничего не в силах был сказать — он достал маленький носовой платок и, отвернувшись, вытер глаза — и мне показалось, что он благодарен мне больше, чем все остальные.

БИДЕ

Устроив все эти маленькие дела, я сел в почтовую карету с таким удовольствием, как еще никогда в жизни не садился в почтовые кареты, а Ла Флер, закинув один огромный ботфорт на правый бок маленького *биде*², другую же свесив с левого бока (ног его я в расчет не принимаю), поскакал передо мной легким галопом, счастливым и статный, как принц. —

— Но что такое счастье! что такое величие на пестрой сцене жизни! Не проехали мы и одного лье, как галоп Ла Флера внезапно был остановлен мертвым ослом — его лошадка не пожелала пройти мимо трупа — между нею и седоком завязался спор, и бедный парень первым же взмахом ее копыт был выброшен из своих ботфорт.

Ла Флер перенес свое падение, как истый француз-христианин, сказав по его поводу всего-навсего: Diable! — он мигом встал и снова навалился верхом на свою лошадку, принявшись колотить ее так, как будто под ним был его барабан.

Лошадка метнулась от одного края дороги к другому — потом обратно — туда-сюда, словом, готова была идти куда угодно, только не мимо павшего о с л а . — Ла Флер настаивал на своем — и лошадка его сбросила.

¹ Да благословит вас бог. — И вас да благословит господь бог (*франц.*).

² Почтовая лошадь. — *Л. Стерн.*

— Что случилось с твоим конем, Ла Флер? — спросил я. — Monsieur, — сказал он, — c'est un cheval le plus opiniâtre du monde¹. — Ну, если это такая упрямая скотина, так пусть себе идет, куда знает, — отвечал я. После этого Ла Флер отпустил коня, хорошенько стегнув его, а тот поймал меня на слове и во весь опор помчался назад в Монтрей. — Peste! — сказал Ла Флер.

Не будет mal-à-propos² заметить здесь, что, хотя Ла Флер прибегнул в этой передраге только к двум восклицаниям, а именно: Diable! и Peste! — однако во французском языке их существует три; подобно положительной, сравнительной и превосходной степеням, то или иное из них употребляется в жизни при каждом неожиданном стечении обстоятельств.

Le Diable! — первая — положительная степень — употребляется главным образом при обыкновенных душевных движениях, когда что-нибудь случается вопреки нашим ожиданиям — например, когда при игре в кости выпадает одинаковое число очков, — когда вас, как Ла Флера, сбрасывает лошадь, и так далее. — Наставление мужу рогов по этой же причине всегда вызывает возглас: Le Diable!

Но если неожиданная случайность заключает в себе нечто вызывающее, как это было, когда лошадка бросилась наутек, оставив опешившего Ла Флера в ботфортах, — это уж вторая степень.

Тогда говорят: Peste!

Что же касается третьей —

— Но здесь сердце мое сжимается от жалости и сочувствия, когда я раздумываю, как тяжек должен быть удел столь утонченного народа и какие горькие страдания должен был он претерпеть, чтобы быть вынужденным ее употреблять. —

Вкладывайте мне в уста, о силы, одевающие язык наш красноречием в несчастии! — что бы ни выпало на мою долю, — вкладывайте мне в уста одни лишь пристойные слова для выражения моих чувств, и я дам волю моим естественным порывам.

— Но так как подобные слова были не в ходу во Франции, то я решил принимать каждую приключившуюся со мной беду молча, не отзываясь на нее никаким восклицанием.

Ла Флер, такого договора с собой не заключавший, проводил упрямую лошадь глазами, пока не потерял ее из виду, —

¹ Сударь, это самая упрямая лошадь па свете (франц.).

² Некстати (франц.).

после чего предоставляю вам самим догадаться, если угодно, каким словом заключил он всю эту передрагу.

Так как не могло быть и речи о том, чтобы Ла Флеру в ботфортах гнаться за напуганной лошадей, то мне оставалось только взять его или на запятки, или в карету. —

Я предпочел последнее, и в полчаса мы доехали до почтового двора в Нанпоне.

МЕРТВЫЙ ОСЕЛ НАНПОН

— А это, — сказал он, складывая хлебные корки в свою котомку, — это составило бы твою долю, если бы ты был жив и мог ее разделить со мной. — По тону, каким это было сказано, я подумал, что он обращается к своему ребенку; но он обращался к своему ослу, тому самому ослу, труп которого мы видели на дороге и который был причиной злключения Ла Флера. Человек, по-видимому, очень горевал по нем, и это вдруг напомнило мне оплакивание Санчо своего осла, но в тоне голоса незнакомца звучало больше искренности и естественности.

Горевавший сидел на каменной скамье у дверей, а рядом с ним лежали вьючное седло и уздечка осла, которые он время от времени приподнимал — потом клал на землю — смотрел на них — и качал головой. Потом он снова вынул из котомки хлебную корку, как будто собираясь ее съесть, — подержал некоторое время в руке — положил на удила ослиной уздечки — задумчиво поглядел на устроенное им маленькое сооружение — и тяжело вздохнул.

Трогательная простота его горя привлекла к нему, пока закладывали лошадей, множество народа, в том числе и Ла Флера; так как я остался в карете, то мог все слышать и видеть через головы собравшихся.

— Он сказал, что недавно прибыл из Испании, куда ездил из отдаленного конца Франконии, и проделал вот уж какой конец обратного пути, когда пал его осел. Всем, по-видимому, хотелось узнать, что могло побудить такого старого и бедного человека пуститься в такое далекое путешествие.

— Небу угодно было, — сказал он, — благословить его тремя сыновьями — молодцами, каких больше не сыскать во всей

Германии; но когда двух старших в одну неделю унесла оспа, а младший свалился от этой же болезни, он испугался, что лишится всех своих детей, и дал обет, если небо но возьмет от него последнего, в благодарность совершить паломничество в Сант-Яго, в Испанию.

Дойдя до этого места, объятый горем рассказчик остановился, чтобы заплатить дань природе, — он горько заплакал.

— Небо, — сказал он, — приняло его условия, и он отправился из своей хижины с этим бедным созданием, которое терпеливо делило тягости его путешествия — всю дорогу ело с ним его хлеб и было ему как бы другом.

Все собравшиеся слушали бедняка с участием, — Ла Флер предложил ему денег. — Горевавший сказал, что он в них не нуждается — дело не в цене осла, — а в его утрате. Осел, — сказал он, — без всякого сомнения, его любил, — и тут он рассказал слушателям длинную историю о постигшем его и осла при переходе через Пиренеи несчастье, которое на три дня их разлучило; в течение этого времени осел искал его так же усердно, как сам он искал осла, и оба они почти не прикасались ни к еде, ни к питью, пока не встретились друг с другом.

— После потери этого животного у тебя есть, мой друг, по крайней мере, одно утешение: я уверен, что ты был для него милосердным хозяином. — Увы, — сказал горевавший, — я тоже так думал, пока он был жив, — но теперь, когда он мертв, я думаю иначе. — Боюсь, мой вес вместе с грузом моих горестей оказались для него непосильными — они сократили дни бедного создания, и, боюсь, ответственность за это падает на меня. — Позор для нашего общества! — сказал я про себя. — Если бы мы любили друг друга, как этот бедняк любил своего осла, — это бы кое-что значило. —

КУЧЕР НАНПОН

Печаль, в которую поверг меня рассказ бедняка, требовала к себе бережного отношения; между тем кучер не обратил на нее никакого внимания, пустившись вскачь по *равé*¹.

Изнывающий от жажды путник в самой песчаной Аравийской пустыне не мог бы так томиться по чашке холодной воды,

¹ Бульжной мостовой (*франц.*).

как томилась душа моя по чинным и спокойным движениям, и я составил бы высокое мнение о моем кучере, если бы тот тихонько повез меня, так сказать, задумчивым шагом. — Но едва только удрученный горем странник кончил свои жалобы, как парень безжалостно стегнул каждую из своих лошадей и с грохотом помчался как тысяча чертей.

Я во всю мочь закричал ему, прося, ради бога, ехать медленнее, — но чем громче я кричал, тем немилосрднее он гнал. — Черт его побери вместе с его гонкой, — сказал я, — он будет терзать мои нервы, пока не доведет меня до белого каления, а потом поедет медленнее, чтобы дать мне досыта насладиться яростью моего гнева.

Кучер бесподобно справился с этой задачей: к тому времени, когда мы доехали до подошвы крутой горы в полулье от Нанпона, — я был зол уже не только на него — но и на себя за то, что отдался этому порыву злобы.

Теперь состояние мое требовало совсем другого обращения: хорошая встряска от быстрой езды принесла бы мне существенную пользу.

— Ну-ка, живее — живее, голубчик! — сказал я.

Кучер показал на гору — тогда я попробовал мысленно вернуться к повести о бедном немце и его осле — но нить оборвалась — и для меня было так же невозможно восстановить ее, как для кучера пустить лошадей рысью —

— К черту всю эту музыку! — сказал я. — Я сижу здесь с самым искренним намерением, каким когда-либо одушевлен был смертный, обратить зло в добро, а все идет наперекор этому благому намерению.

Против всех зол есть, по крайней мере, одно успокоительное средство, предлагаемое нам природой; я с благодарностью принял его из ее рук и уснул; первое разбудившее меня слово было: *Амьен*.

— Господи! — воскликнул я, протирая глаза, — да ведь это тот самый город, куда должна приехать бедная моя дама.

АМЬЕН

Едва произнес я эти слова, как почтовая карета графа де Л***, с его сестрой в ней, быстро прокатила мимо: дама успела только кивнуть мне — она меня узнала, — однако кивнуть особенным образом, как бы показывая, что наши отношения она

не считает поконченными. Доброта ее взгляда не была обманчивой: я еще не поужинал, как в мою комнату вошел слуга ее брата с запиской, где она говорила, что берет на себя смелость снабдить меня письмом, которое я должен лично вручить мадам Р*** в первое утро, когда мне в Париже нечего будет делать. К этому было добавлено сожаление (но в силу какого *renchant*¹, она не пояснила) по поводу того, что обстоятельства ей помешали рассказать мне свою историю, но она продолжает считать себя в долгу передо мной; и если моя дорога когда-нибудь будет проходить через Брюссель и я к тому времени еще не позабуду имени мадам де Л***, то мадам де Л*** будет рада заплатить мне свой долг.

— И так, — сказал я, — я встречу с тобой, прелестная душа, в Брюсселе — мне стоит только вернуться из Италии через Германию и Голландию и направиться домой через Фландрию — всего десять лишних перегонов; но хотя бы и десять тысяч! Какой душеспасительной отрадой увенчается мое путешествие, приобшившись печальным перипетиям грустной повести, рассказанной мне такой страдальцей! Видеть ее плачущей! Даже если я не в состоянии осушить источник ее слез, какое все-таки утонченное удовольствие доставит мне вытирать их на щеках лучшей и красивейшей из женщин, когда я молча буду сидеть возле нее всю ночь с платком в руке.

В чувстве этом не заключалось ничего дурного, а все-таки я сейчас же упрекнул в нем мое сердце в самых горьких и резких выражениях.

Как я уже говорил читателю, одной из благодатных особенностей моей жизни является то, что почти каждую минуту я в кого-нибудь несчастливо влюблен; и когда последнее пламя мое погашено было вихрем ревности, налетевшим на меня при внезапном повороте дороги, я вновь зажег его месяца три тому назад от чистого огня Элизы — поклявшись, что оно будет гореть у меня в течение всего путешествия. — К чему таить? Я поклялся ей в вечной верности — она получила право на все мое сердце — делить свои чувства значило бы ослаблять их — выставлять их напоказ значило бы ими рисковать, а где есть риск, там возможна и потеря. — Что же ответишь ты тогда, Йорик, сердцу, столь преисполненному доверия и надежд — столь доброму, столь нежному и безупречному?

— Я не поеду в Брюссель! — воскликнул я, обрывая свои рассуждения, — но мое воображение разыгралось — я вспомнил

¹ Побуждения (*франц.*).

ее взоры в ту решительную минуту нашего расставания, когда ни один из нас не нашел силы сказать «прощай»! Я взглянул на портрет, который она повесила мне на шею на черной ленточке, — и покраснел, когда увидел его, — я отдал бы целый мир, чтобы его поцеловать, но мне стало стыдно. — Неужто этот нежный цветок, — сказал я, сжимая его в руках, — будет подломлен под самый корень, — и подломлен, Йорик, тобой, обещавшим укрыть его на своей груди?

— Вечный источник счастья, — сказал я, становясь на колени, — будь моим свидетелем, — и все чистые духи, тебя вкушающие, будьте и вы моими свидетелями, что я не поеду в Брюссель, если не будет вместе со мной Элизы, хотя бы дорога эта вела меня на небо.

В состоянии иступления сердце, вопреки рассудку, всегда скажет много лишнего.

ПИСЬМО

АМЬЕН

Счастье не улыбалось Ла Флеру; с рыцарскими подвигами ему не повезло — и со времени поступления на службу ко мне, то есть в течение почти целых суток, ему не представилось ни одного случая проявить свое усердие. Бедняга сгорал от нетерпения, и потому с жадностью ухватился за явившегося с письмом слугу графа де Л***, который давал ему такой случай; чтобы оказать честь своему хозяину, он отвел слугу в заднюю комнату гостиницы и угостил стаканом-двумя лучшего пикардийского вина; в свою очередь, слуга графа де Л***, чтобы не остаться перед Ла Флером в долгу по части учтивости, привел его в дом графа. *Обходительность* Ла Флера (один его взгляд служил ему рекомендательным письмом) вскоре расположила к нему всю прислугу на кухне; а так как француз никогда не отказывается блеснуть своими талантами, в чем бы они ни заключались, то не прошло и пяти минут, как Ла Флер вытащил свою флейту и, с первой же ноты пустившись в пляс, увлек за собой *fille de chambre*, *maître d'hôtel*¹, повара, судомойку и всех домочадцев, собак и кошек, со старой обезьяной в придачу: я думаю, что со времени всемирного потопа не бывало на свете такой веселой кухни.

¹ Горничную, дворецкого (*франц.*).

Мадам де Л***, проходя из комнат брата к себе, услышала это шумное веселье и позвонила своей *fille de chambre* спросить, в чем дело; узнав, что это слуга английского джентльмена так распотешил своей флейтой весь дом, она велела позвать его к себе.

Бедняга никак не мог явиться с пустыми руками, и потому, поднимаясь по лестнице, он запасся тысячей комплиментов мадам де Л*** от своего господина — присоединил к ним длинный список апокрифических расспросов о здоровье мадам де Л*** — сказал ей, что мосье, господин его, *au désespoir*¹, не зная, отдохнула ли она после утомительного путешествия, — и, в довершение всего, что мосье получил письмо, которое мадам сооблаговолила. — И он сооблаговолил, — сказала мадам де Л***, перебивая Ла Флера, — прислать мне ответ.

Мадам де Л*** сказала это таким не допускающим сомнений тоном, что у Ла Флера не хватило духу обмануть ее ожидание — он трепетал за мою честь — а возможно, был не совсем спокоен и за свою, поскольку служил у человека, способного сплеховать *en égards vis-à-vis d'une femme*². Поэтому, когда мадам де Л*** спросила Ла Флера, принес ли он письмо, — *O qu'ouï*, — отвечал Ла Флер, после чего, положив шляпу на пол, ухватил левой рукой за клапан своего правого кармана и правой стал шарить в нем, отыскивая письмо, потом наоборот — *Diable!* — потом обшарил все карманы один за другим, не забыв и карманчика для часов в штанах — *Peste!* — потом Ла Флер опорожнил все карманы на пол — вытащил грязный галстук — носовой платок — гребенку — плетку — ночной колпак — потом заглянул внутрь своей шляпы — *Quelle étoufferie*³. Он оставил письмо на столе в гостинице — он сбегает за ним и через три минуты его доставит.

Я только что поужинал, когда вошел Ла Флер и представил отчет о своем приключении; он безыскусственно рассказал мне все, как было, и только прибавил, что если мосье (*par hazard*)⁴ забыл ответить мадам на ее письмо, то счастливое стечение обстоятельств дает ему возможность исправить этот *faux pas*⁵, — если же нет, то пусть все остается, как было.

¹ В отчаянии (*франц.*).

² По части почтения к женщине (*франц.*).

³ Какая рассеянность (*франц.*).

⁴ Случайно (*франц.*).

⁵ Промах (*франц.*).

Признаться, я был не вполне уверен насчет требований *этикета*: следовало мне писать даме или не следовало; но если бы я написал — сам дьявол не мог бы рассердиться: ведь это было только горячее усердие исполненного благих намерений существа, которое преклось о моей чести; и если бы даже Ла Флер совершил оплошность или своим поступком привел меня в замешательство — сердце его было безупречно — меня же ничто не обязывало писать — а самое главное — он совсем непохож был на человека, совершившего оплошность.

— Все это превосходно, Ла Флер, — сказал я. — Этого было достаточно. Ла Флер, как молния, вылетел из комнаты и вернулся с пером, чернилами и бумагой в руке; подойдя к столу, он разложил все это передо мной с таким сияющим видом, что я не мог не взять в руку перо.

Я начинал и снова начинал; хотя мне нечего было сказать и выразить это можно было в шести строчках, я перепробовал шесть различных начал и всеми ими остался недоволен.

Словом, я был не расположен писать.

Ла Флер снова вышел и принес немного воды в стакане, чтобы разбавить мои чернила, потом отправился за песком и сургучом. — Ничто не помогало: я писал, перечеркивал, рвал, жег и писал снова. — *Le Diable l'emporte!*¹ — проворчал я, — я не в состоянии написать это письмо, — и, сказав это, в отчаянии бросил перо.

Как только я это сделал, Ла Флер с почтительнейшим видом подошел к столу и, принеся тысячу извинений за смелость, которую он берет на себя, сказал, что у него в кармане есть письмо, написанное барабанщиком его полка жене капрала, которое, по его мнению, подойдет к данному случаю.

Меня заинтересовала затея бедняги. — Пожалуй ста, — сказал я, — покажи.

Ла Флер мигом вытащил засаленную записную книжечку, всю набитую записочками и *billets-doux*², в печальном состоянии, положил ее на стол, распустил шнурок, которым все это было перевязано, и быстро переглядел бумажки, пока не нашел нужного письма. — *La voilà!*³ — радостно проговорил он, хлопая в ладоши, после чего развернул письмо и положил передо мной, а сам отступил на три шага от стола, пока я его читал.

¹ Черт его побери! (*франц.*).

² Любовными письмами (*франц.*).

³ Вот оно! (*франц.*).

ПИСЬМО

Madame,

Je suis pénétré de la douleur la plus vive, et réduit en même temps au désespoir par ce retour imprévu du Corporal, qui rend notre entrevue de ce soir la chose du monde la plus impossible.

Mais vive la joie! et toute la mienne sera de penser à vous.

L'amour n'est *rien* sans sentiment.

Et le sentiment est encore *moins* sans amour.

On dit qu'on ne doit jamais se désespérer.

On dit aussi que Monsieur le Corporal monte la garde Mercredi: alors ce sera mon tour.

Chacun a son tour.

En attendant — Vive l'amour! et vive la bagatelle!

Je suis, Madame,

Avec toutes les sentiments les plus respectueux et les plus tendres tout à vous, Jacques Roque¹.

Стоило только заменить капрала графом — да умолчать о вступлении в караул в среду — и письмо получалось довольно сносное. И вот, чтобы доставить удовольствие бедному парню, трепетавшему за мою и свою честь, а также за честь своего письма, — я осторожно снял с него сливки и, взбив их по своему вкусу, запечатал написанное и отослал с Ла Флером мадам де Л*** — а на следующее утро мы продолжали нашу поездку в Париж.

¹ Мадам, я исполнен живейшей скорби и в то же время приведен в отчаяние неожиданным возвращением капрала, которое исключает всякую возможность нашего свидания сегодня вечером.

Но да здравствует радость! И вся моя радость будет — думать о вас.

Любовь без чувства — *ничто*.

А чувство без любви еще *меньше*, чем ничто.

Говорят, что никогда не надо отчаиваться.

Говорят также, что господин капрал в среду вступает в караул: тогда наступит мой черед.

Каждому свой черед.

А до тех пор — Да здравствует любовь и да здравствуют интрижки! Остаюсь, мадам, с самыми почтительными и самыми нежными чувствами, весь ваш

Жак Рок (франц.).

Если человек способен блеснуть красивым выездом и поднять кругом суматоху посредством полудюжины лакеев и двух поваров, — это отлично действует в таком месте, как Париж, — он может вкатить в любую улицу этого города.

Но бедному монарху, у которого нет кавалерии и вся пехота которого насчитывает только одного человека, лучше всего оставить поле битвы и проявить свои способности в кабинете министров, если только он в силах подняться к ним — я говорю: *подняться к ним*, — ибо не может быть и речи о величественном нисхождении к ним со словами: «*Me voici, mes enfants!*» — я здесь — что бы ни думали на этот счет иные.

Признаться, первые мои ощущения, когда я остался совершенно один в отведенной мне комнате гостиницы, оказались далеко не столь обнадеживающими, как я воображал. Я чинно подошел в запыленном черном кафтане к окну и, поглядев в него, увидел, как все, от мала до велика, в желтом, синем и зеленом несутся на кольцо наслаждения. — Старики с поломанным оружием и в шлемах, лишенных забрала, — молодежь в блестящих доспехах, сверкающих, как золото, и разубранных всеми яркими перьями Востока, — все — все бросаются на него с копьями наперевес, как некогда зачарованные рыцари на турнирах бросались за славой и любовью. —

— Увы, бедный Йорик! — воскликнул я, — что тебе здесь делать? При первом же натиске всей этой сверкающей сутолоки ты обратишься в атом — ищи — ищи какой-нибудь извилистый переулок с рогаткой на конце его, по которому не проезжала ни одна повозка и который ни разу не озарялся светом факела — там можешь ты утешить душу свою сладким разговором с какой-нибудь гризеткой о жене цирюльника и проникнуть в их общество! —

— Провались я, если я это сделаю! — сказал я, доставая письмо, которое должен был передать мадам де Р*** — Я явлюсь с визитом к этой даме, вот что я сделаю прежде всего. — И, кликнув Ла Флера, я распорядился, чтобы он немедленно отыскал мне цирюльника — а затем почистил мой кафтан.

ПАРИК

ПАРИЖ

Вошедший цирюльник наотрез отказался что-нибудь сделать с моим париком: это было или выше, или ниже его искусства. Мне ничего не оставалось, как взять готовый парик по его рекомендации.

— Но я боюсь, мой друг, — сказал я, — этот локон не будет держаться. — Можете погрузить его в океан, — возразил он, — все равно он будет держаться —

Какие крупные масштабы прилагаются к каждому предмету в этом городе! — подумал я. — При самом крайнем напряжении мыслей английский парикмахер не мог бы придумать ничего больше, чем «окунуть его в ведро с водой». — Какая разница! Точно время рядом с вечностью.

Признаться, я терпеть не могу трезвых представлений, как не терплю и порождающих их убогих мыслей, и меня обыкновенно так поражают великие произведения природы, что если бы на то пошло, я никогда бы не брал для сравнения предметов меньших, чем, скажем, горы. Все, что можно возразить в данном случае против французской выпренности, сводится к тому, что величия тут больше *в словах*, чем *на деле*. Несомненно, океан наполняет ум возвышенными мыслями; однако Париж настолько удален от моря, что трудно было предположить, будто я отправлюсь за сто миль на почтовых проверять слова парижского цирюльника на опыте, — произнося их, он ничего не думал —

Ведро воды, поставленное рядом с океанскими пучинами, конечно, образует в речи довольно жалкую фигуру — но, надо сказать, оно обладает одним преимуществом — оно находится в соседней комнате, и прочность буклей можно в одну минуту проверить в нем без больших хлопот.

По честной правде и более беспристрастном исследовании дела, *французское выражение обещает больше, чем исполняет*.

Мне кажется, я способен усмотреть четкие отличительные признаки национальных характеров скорее в подобных нелепых *minutiae*¹, чем в самых важных государственных делах, когда великие люди всех национальностей говорят и ведут себя до такой степени одинаково, что я не дал бы девятипенсовика за выбор между ними.

¹ Мелочах (*лат.*).

Я так долго находился в руках цирюльника, что было слишком поздно думать о визите с письмом к мадам Р*** в этот же вечер; но когда человек с головы до ног принарядился для выхода, от его размышлений мало проку; вот почему, записав название Hôtel de Modène, где я остановился, я вышел на улицу без определенной цели. — Пораздумаю об этом, — сказал я, — дорогой.

ПУЛЬС

ПАРИЖ

Хвала вам, милые маленькие обиденные услуги, ибо вы облегчаете дорогу жизни! Подобно грации и красоте, с первого же взгляда зарождающих расположение к любви, вы открываете двери в ее царство и впускаете туда чужеземца.

— Пожалуйста, мадам, — сказал я, — будьте добры указать, где мне повернуть, чтобы пройти к Oréga comique¹. — С большим удовольствием, мосье, — отвечала она, откладывая свою работу.

По пути я заглянул в десяток лавок, высматривая лицо, которого не потревожило бы мое нескромное обращение; наконец лицо этой женщины мне приглянулось, и я вошел.

Она вязала кружевные рукавички, сидя на низенькой скамеечке в глубине лавки, против двери —

— Très volontiers — с большим удовольствием, — сказала она, складывая свою работу на стоявший рядом стул и поднимаясь с низенькой скамеечки, на которой она сидела, таким проворным движением и с таким приветливым взглядом, что, издержки я у нее пятьдесят луидоров, я все-таки сказал бы: «Эта женщина восхитительна!»

— Вам надо повернуть, мосье, — сказала она, подходя со мной к дверям лавки и показывая переулок вниз, по которому я должен был пойти, — вам надо повернуть сперва налево — mais prenez garde² — там два переулочка; так, будьте добры, поверните во второй — затем спуститесь немного вниз, и вы увидите церковь, а когда ее минуете, потрудитесь сразу повернуть направо, и эта улица приведет вас к Pont Neuf³,

¹ Комическая опера (франц.).

² Но будьте внимательны (франц.).

³ Новый мост (франц.).

который вам надо будет перейти — а там каждый с удовольствием вам покажет. —

Она трижды повторила свои указания — с тем же благодушным терпением в третий раз, что и в первый, — и если *тон и манеры* имеют некоторое значение, — а они его, несомненно, имеют и лишены только для глухих к ним сердец, — то она, по видимому, была искренне озабочена тем, чтобы я не заблудился.

Не хочу думать, что красота этой женщины (хотя, помоему, она была прелестнейшей гризеткой, которую я когда-либо видел) повлияла на впечатление, оставленное во мне ее любезностью; помню только, что, говоря, как много я ей обязан, я смотрел ей слишком прямо в глаза — и что я поблагодарил ее столько же раз, сколько раз она повторила свои указания.

Не отошел я и десяти шагов от лавки, как обнаружил, что забыл до последнего слова все сказанное ею, — вот почему, оглянувшись и увидя, что она все еще стоит на пороге, как бы желая убедиться, правильной ли дорогой я пошел, — я вернулся к ней, чтобы спросить, надо ли мне повернуть сперва направо или сперва налево — так как я совершенно забыл. — Возможно ли! — сказала она, смеясь. — Очень даже возможно, отвечал я, — когда мужчина больше думает о женщине, чем о ее добром совете.

Так как это была сущая правда — то она приняла ее, как принимает должное каждая женщина, с легким реверансом.

— Attendez!¹ — сказала она, положив руку мне на плечо, чтобы удержать меня, а в это время подозвала мальчика из задней комнаты и велела ему приготовить сверток перчаток. — Я как раз собираюсь, — сказала она, — послать его с пакетом в тот квартал; и если вы будете так любезны зайти, все мигом будет готово, и он проводит вас до места. — Я вошел с ней в лавку и взял оставленный ею на стуле рукавчик, как бы с намерением освободить место и сесть; когда же она опустилась на свою низенькую скамейку, я немедленно занял место рядом с ней.

— Через минуту он будет готов, мосье, — сказала она. — Как бы мне хотелось, — отвечал я, — сказать вам в эту минуту что-нибудь очень приятное за все ваши милые услуги. Случайную услугу способен оказать каждый, но когда одна услуга следует за другой, это уже свидетельствует о теплоте сердца; и бесспорно, — добавил я, — если кровь, вытекающая из сердца,

¹ Подождите! (франц.).

та же самая, что достигает конечностей (тут я коснулся ее запястья), то я уверен, что у вас лучший пульс, какой когда-либо бывал у женщины. — Пощупайте, — сказала она, протягивая руку. Я отложил шляпу и взял ее одной рукой за пальцы, а два пальца другой руки положил ей на артерию —

— Вот славно было бы, дорогой Евгений, если бы ты прошел мимо и увидел, как я, разнежившись, сижу в черном кафтане и считаю один за другим удары пульса с таким благоговейным вниманием, точно подстерегаю критический отлив или прилив ее лихорадки! — Как бы ты посмеялся и поиронизировал над моей новой профессией! — А тебе было бы над чем посмеяться и над чем поиронизировать. — Поверь, дорогой Евгений, — сказал бы я тебе, — «на свете есть занятия похуже, чем *щупать пульс у женщины*». — Но пульс гризетки! — ответил бы ты, — да еще в открытой лавке! Ах, Йорик —

— Тем лучше! Ведь если мои намерения открыты, Евгений, мне все равно, хотя бы целый мир смотрел, как я это делаю.

МУЖ

ПАРИЖ

Я насчитал двадцать ударов и уже близился к сороковому, как неожиданно вошедший из задней комнаты муж немного сбил меня со счета. — Ничего, это только ее муж, сказала она, — так что я начал новый десяток. — Мосье так добр, сказала она мужу, когда тот проходил мимо нас, — что взял на себя труд послушать мой пульс. — Муж снял шляпу и, поклонившись мне, сказал, что я делаю ему слишком много чести, — сказав это, он надел шляпу и вышел.

Праведный боже, — сказал я себе, когда он вышел, — и может же такой человек быть мужем такой женщины!

Пусть не посетуют на меня немногие, которым понятны причины моего восклицания, если я объясню его тем, кому они непонятны.

В Лондоне жена лавочника кажется плотью от плоти и костью от кости своего мужа; в отношении различных природных способностей, как душевных, так и телесных, преимущество принадлежит иногда мужу, иногда жене, но в общем они бывают ровней и соответствуют друг другу в той степени, в какой это нужно для мужа и жены.

В Париже, напротив, едва ли найдется два разряда более различных существ: ведь, поскольку законодательная и исполнительная власть в лавке зиждется не на муже, он редко там показывается — где-нибудь в темной и унылой задней комнате сидит он, ни с кем не знаясь, в ночном колпаке с кисточкой, такой же неотесанный сын Природы, каким Природа произвела его.

Так как гений народа, у которого только монархия основана на *салическом* законе, предоставил эту отрасль, наряду с разными другими, в повластное распоряжение женщин, — то в непрерывном торге с покупателями всех званий и положений с утра до ночи они, подобно грубым камушкам, долго перетряхиваемым в мешке, стирают в дружеских препирательствах все свои шероховатости и острые углы и не только становятся круглыми и гладкими, но иные из них приобретают еще и блеск, как бриллианты, — между тем как мосье *le Mari*¹ немногим лучше булыжника, на который вы ступаете —

— Право же — право, человек! не добро тебе сидеть одному — ты создан был для общительности и дружественных приветствий, в доказательство чего я ссылаюсь на последовавшее от них улучшение природных наших качеств.

— Ну, как он бьется, мосье? — спросила она. — Со всей благоприятностью, — отвечал я, спокойно глядя ей в глаза, — которой я ожидал. — Она собиралась сказать в ответ какую-то любовь², — сказал я, — мне самому нужны две пары.

ПЕРЧАТКИ

ПАРИЖ

Когда я это сказал, прекрасная гризетка поднялась, прошла за прилавок, достала пакет и развязала его; я подошел к противоположной стороне прилавка: все перчатки были велики. Прекрасная гризетка прикидывала их, пару за парой, к моей руке — размеры их от этого не менялись. — Она попросила меня надеть одну пару, с виду наименьшую. — Она расстегнула одну перчатку и подставила мне — моя рука в один миг проскольз-

¹ Муж (*франц.*).

² Кстати (*франц.*).

нула в нее. — Не подойдет, — сказал я, покачав головой. — Нет, не подойдет, — сказала она, тоже покачав головой.

Бывают такие встречные взгляды, исполненные невинного лукавства — где прихоть, рассудительность, серьезность и плутовство так перемешаны, что все языки вавилонского столпотворения, вместе взятые, не могли бы их выразить — они передаются и схватываются столь молниеносно, что вы почти не в состоянии сказать, которая из сторон является источником заразы. Предоставляю людям, которые за словом в карман не лезут, исписывать на эту тему страницы, — сейчас довольно будет снова сказать, что перчатки не желали подходить; скрестив руки, мы оба облокотились о прилавок — он был узенький, так что между нами мог поместиться только сверток перчаток.

Прекрасная гризетка по временам бросала взгляд на перчатки, потом в сторону, на окно, потом на перчатки — и потом на меня. Я был не расположен нарушать молчание — я последовал ее примеру: взглянул на перчатки, потом на окно, потом на перчатки и потом на нее — и так далее, попеременно.

Я заметил, что при каждой атаке несущий значительный урон — у нее были живые черные глаза, и она стреляла ими сквозь длинные шелковые ресницы с таким проникновением, что взоры ее западали мне в самое сердце, в самое нутро. — Может показаться странным, но у меня действительно было такое ощущение —

— Нужды нет, — сказал я, взяв лежавшие возле меня две пары и сунув их в карман.

Я был убежден, что прекрасная гризетка запросила с меня не больше одного ливра сверх положенной цены, — мне захотелось, чтобы она спросила еще ливр, и я ломал голову, как бы это устроить. — Неужели вы думаете, милостивый государь, — сказала она, неверно истолковав мое замешательство, — что я способна запросить лишнее су с иностранца — и притом с иностранца, который больше из вежливости, чем нуждаясь в перчатках, сделал мне честь, доверившись мне? *M'en croyez sарable?*¹ — Клянусь вам, нет! — сказал я. — Но если бы вы и были на это способны, вы бы только доставили мне удовольствие. — С этими словами, отсчитав ей денег в руку и поклонившись ниже, чем принято кланяться женам лавочников, я удалился, и ее мальчик с пакетом последовал за мной.

¹ Вы меня считаете на это способной? (*франц.*).

ПЕРЕВОД

ПАРИЖ

В ложе, куда меня впустили, не было никого, кроме старого приветливого французского офицера. Я люблю этот тип; не только потому, что уважаю человека, манеры которого облагорожены профессией, делающей дурных людей еще худшими, но и потому, что когда-то знал одного — его уже нет! — Отчего не спасти мне одну страницу от поругания, написав на ней имя его и поведав миру, что то был капитан Тобайас Шенди, самый любезный мне из моих друзей и моей паствы, при мысли о человеколюбии которого, через столько лет после его смерти, глаза мои неизменно наполняются слезами? Ради него я питаю пристрастие ко всему сословию ветеранов; итак, перешагнув через два задних ряда скамеек, я поместился возле него.

Старый офицер внимательно читал какую-то книжечку (может быть, либретто оперы), вооружившись большими очками. Как только я сел, он снял очки и, положив их в футляр из шагреновой кожи, спрятал вместе с книжкой в карман. Я пристал и поклонился ему.

Переведите это на любой из языков цивилизованного мира — и смысл получится такой: «Вот вошел в ложу бедный иностранец — с виду он как будто ни с кем не знаком, да вероятно ни с кем и не познакомится, проводи он хотя бы семь лет в Париже, если всякий, к кому он подходит, будет держать очки па носу — ведь это значит наглухо запирает перед ним дверь дружеского разговора и обращаться с ним хуже, чем с немцем».

Французский офицер мог бы отлично сказать все это вслух, и тогда я бы, конечно, тоже перевел сделанный ему поклон на французский язык и сказал ему: «Я тронут его вниманием и приношу ему за него тысячу благодарностей».

Нет тайны, столь способствующей прогрессу общительности, как овладение искусством этой *стенографии*, как уменье быстро переводить в ясные слова разнообразные взгляды и телодвижения со всеми их оттенками и рисунками. Лично я вследствие долгой привычки делаю это так механически, что, гуляя по лондонским улицам, всю дорогу занимаюсь таким переводом; не раз случалось мне, постояв немного возле кружка, где не было сказано и трех слов, вынести оттуда с собой десятка два различных диалогов, которые я мог бы в точности записать, поклявшись, что ничего в них не сочинил.

Однажды вечером в Милане я отправился на концерт Мартини и уже входил в двери зала как раз в тот миг, когда оттуда выходила с некоторой поспешностью маркизина де Ф*** — она почти налетела на меня, прежде чем я ее заметил, и я отскочил в сторону, чтобы дать ей пройти. Она тоже отскочила, и в ту же сторону, вследствие чего мы стукнулись лбами; она моментально бросилась в другую сторону, чтобы выйти из дверей; я оказался столь же несчастлив, как и она, потому что прыгнул в ту же сторону и снова загородил ей проход. — Мы вместе кинулись в другую сторону, потом обратно — и так далее — потеха, да и только; мы оба страшно покраснели; наконец я сделал то, что должен был сделать с самого начала — стал неподвижно, и маркизина прошла без труда. Я не нашел в себе силы войти в зал, пока не дал ей удовлетворения, состоявшего в том, чтобы подождать и проводить ее глазами до конца коридора. — Она дважды оглянулась и все время шла сторонкой, точно желая пропустить кого-то, поднимавшегося навстречу ей на лестнице. — Нет, — сказала, — это дрянной перевод: маркизина имеет право на самые пылкие извинения, какие только я могу принести ей; и свободное место оставлено ею для меня, чтобы, заняв его, я это сделал. — Вот почему я подбежал к ней и попросил прощения за причиненное беспокойство, сказав, что я намеревался лишь уступить ей дорогу. Она ответила, что руководилась тем же намерением по отношению ко мне — так что мы взаимно поблагодарили друг друга. Она стояла на верхнем конце лестницы; не видя возле нее *чичисбея*, я попросил разрешения проводить ее до кареты. — Так спустились мы по лестнице, останавливаясь на каждой третьей ступеньке, чтобы поговорить о концерте и о нашем приключении. — Честное слово, мадам, — сказал я, усадив ее в карету, — я шесть раз подряд пытался выпустить вас. — А я шесть раз пыталась впустить вас, — отвечала она. — О, если бы небо внушило вам желание попытаться в седьмой раз! — сказал я. — Сделайте одолжение, — сказала она, освобождая место возле себя. — Жизнь слишком коротка, чтобы долго возиться с ее условностями, — поэтому я мигом вскочил в карету, и моя соседка повезла меня к себе домой. — А что случилось с концертом, о том лучше меня знает святая Цецилия, которая, я полагаю, была на нем.

Прибавлю только, что знакомство, возникшее благодаря этому переводу, доставило мне больше удовольствия, чем все другие знакомства, которые я имел честь завязать в Италии.

КАРЛИК

ПАРИЖ

Никогда в жизни ни от кого не слышал я этого замечания, — нет, раз слышал, от кого — это, вероятно, обнаружится в настоящей главе; значит, поскольку я почти вовсе не был предубежден, должны были существовать причины, чтобы поразить мое внимание, когда я взглянул на *партер*, — то была непостижимая игра природы, создавшей такое множество карликов. — Без сомнения, природа по временам забавляется почти в каждом уголке земного шара; но в Париже конца нет ее забавам — шаловливость богини кажется почти равной ее мудрости.

Унеся с собой эту мысль по выходе из *Oréga comique*, я мерил каждого встречного на улицах. — Грустное занятие! Особенно когда рост бывал крохотный, — лицо исключительно смуглое — глаза живые — нос длинный — зубы белые — подбородок выдающийся, — видеть такое множество несчастных, выброшенных из разряда себе подобных существ на самую границу другого — мне больно писать об этом — каждый третий человек — пигмей! — у одних рахитичные головы и горбы на спинах — у других кривые ноги — третьи рукою природы остановлены в росте на шестом или седьмом году — четвертые в совершенном и нормальном своем состоянии подобны карликовым яблоням; от самого рождения и появления первых проблем жизни им положено выше не расти.

Путешественник-медик мог бы сказать, что это объясняется неправильным пеленанием, — желчный путешественник сослался бы на недостаток воздуха, — а пытливый путешественник в подкрепление этой теории стал бы измерять высоту их домов — ничтожную ширину их улиц, а также подсчитывать, на каком малом числе квадратных футов в шестых и седьмых этажах совместно едят и спят большие семьи *буржуазии*; но я помню, как мистер Шенди-старший, который все объяснял иначе, чем другие, разговаривавшись однажды вечером на эту тему, утверждал, что дети, подобно другим животным, могут быть выращены почти до любых размеров, лишь бы только они правильно являлись на свет; но горе в том, что парижские граждане живут чрезвычайно скученно, и им буквально негде производить детей. — По-моему, это не значит что-то произвести, — сказало он, — это все равно что ничего не произвести. — Больше того, — продолжал он, вставая в пылу спора, — это хуже, чем не произвести ничего, если ваше произведение, после затраты на него в течение двадцати или двадцати пяти лет

нежнейших забот и отборной пищи, в заключение окажется ростом мне по колени. — А так как мистер Шенди был росту очень маленького, то к этому больше нечего добавить.

Я не занимаюсь научными изысканиями, а только передаю то, что услышал, довольствуясь истиной этого замечания, подтверждаемой в каждой парижской уличке и переулке. Раз я шел по той, что ведет от Карузель к Пале-Роялю, и, увидев маленького мальчика в затруднительном положении на краю канавы, проведенной посредине улицы, взял его за руку и помог ему перейти. Но когда после переправы я поднял ему голову, чтобы взглянуть в лицо, то обнаружил, что мальчику лет сорок. — Ничего, — сказала, — какой-нибудь добрый дяденька сделает то же для меня, когда мне будет девяносто.

Во мне есть кое-какие правила, побуждающие меня относиться с участием к этой бедной искалеченной части моих ближних, не наделенных ни ростом, ни силой для преуспеяния в жизни. — Я не переносу, когда на моих глазах жестоко обращаются с кем-нибудь из них; но только что я сел рядом со старым французским офицером, как с отвращением увидел, что это как раз и происходит под нашей ложей.

На краю кресел, между ними и первой боковой ложей, оставлена небольшая площадка, на которой, когда театр полон, находят себе приют люди всякого звания. Хотя вы стоите, как в партере, вы платите столько же, как за место в креслах. Одно бедное беззащитное создание, из тех, о которых я веду речь, каким-то образом оказалось втиснутым на это злополучное место, — стояла духота, и оно окружено было существами на два с половиной фута выше его. Карлика беспощадно зажали со всех сторон, но больше всего мешал ему высокий дородный немец, футов семи ростом, который торчал прямо перед ним и не давал никакой возможности увидеть сцену или актеров. Бедный карлик ловчился изо всех сил, чтобы взглянуть хоть одним глазком на то, что происходило впереди, выискивая какую-нибудь щелочку между рукой немца и его туловищем, пробуя то с одного бока, то с другого; но немец стоял стеной в самой неуступчивой позе, какую только можно вообразить, — карлик чувствовал бы себя не хуже, оказавшись на дне самого глубокого парижского колодца, откуда тянут ведро на веревке; поэтому он вежливо тронул немца за рукав и пожаловался ему на свою беду. — Немец обернулся, поглядел на карлика сверху вниз, как Голиаф на Давида, — и безжалостно стал в прежнюю позу. Как раз в это время я брал щепотку табаку из роговой табакерки моего приятеля мона-

х а . — О, как бы ты, со своей кротостью и учтивостью, мой милый монах! столь приученный *сносить и терпеть!* — как ласково склонил бы ты ухо к жалобе этой бедной души!

Мой сосед, старенький французский офицер, увидев, как я с волнением поднял глаза при этом обращении, взял на себя смелость спросить, в чем дело. — Я в трех словах рассказал ему о случившемся, прибавив, как это бесчеловечно.

Тем временем карлик дошел до крайности и в первом порыве бешенства, который обыкновенно бывает безрассудным, пригрозил немцу, что отрежет ножом его длинную косу. — Немец обернулся и с невозмутимым видом сказал карлику, пусть сделает одолжение, если только он до нее достанет.

Оскорбление, приправленное издевательствами, кто бы ни был его жертвой, возмущает каждого, в ком есть чувство: я готов был выскочить из ложи, чтобы положить конец этому бесчинству. — Старенький французский офицер сделал это гораздо проще и спокойнее: перегнувшись немного через барьер, он кивнул часовому и при этом показал пальцем на непорядок — часовой сейчас же двинулся в том направлении. — Карлику не понадобилось излагать свою жалобу — дело само за себя говорило; мигом оттолкнув немца мушкетом, часовой взял бедного карлика за руку и поставил его перед немцем. — Вот это благородно! — сказал я, хлопая в ладоши. — А все-таки, — сказал старый офицер, — вы бы этого не позволили в Англии.

— В Англии, милостивый государь, — сказал я, — *мы все рассаживаемся удобно.*

Будь я в разладе с собой, старый французский офицер восстановил бы во мне душевную гармонию, — тем, что назвал мой ответ *bon mot*, — а так как *bon mot* всегда чего-нибудь стоит в Париже, он предложил мне щепотку табаку.

РОЗА ПАРИЖ

Теперь пришла моя очередь спросить старого французского офицера: «В чем дело?» — ибо возглас «*Haussez les mains, Monsieur l'Abbé!*»¹, раздавшийся из десяти различных мест партера, был для меня столь же непонятен, как мое обращение к монаху было непонятно для офицера.

¹ Поднимите руки, господин аббат! (*франц.*).

Он сказал мне, что возглас этот относится к какому-нибудь бедному аббату в одной из верхних лож, который, по его мнению, притаился за двумя гризетками, чтобы послушать оперу; а партер, высмотрев его, требует, чтобы во время представления он держал обе руки поднятыми кверху. — Разве можно предположить, — сказал я, — чтобы духовное лицо залезло в карман к гризетке? — Старый французский офицер улыбнулся и, пошептав мне на ухо, открыл двери тайн, о которых я не имел понятия —

— Праведный боже! — сказал я, побледнев от изумления и я, — возможно ли, чтобы столь тонко чувствующий народ был в то же время столь неопрятен и столь непохож на себя! — *Quelle grossièreté!*¹ — добавил я.

Французский офицер пояснил мне, что это грубоватая насмешка над церковью; она берет начало в театре в те времена, когда Мольер поставил на сцену «Тартюфа», — но, подобно другим остаткам готических нравов, теперь выходит из употребления. — У каждого народа, — продолжал он, — есть утонченные манеры и *grossièretés*, в которых им поочередно принадлежит первенствующая роль, переходящая от одних к другим, — он побывал во многих странах, но среди них не было такой, где он не нашел бы некоторых тонкостей, в других как будто отсутствующих. *Le Pour et le Contre se trouvent en chaque nation*²; хорошее и худое, — сказал он, — повсюду преобладают в некотором равновесии, и только знание, что дело обстоит именно так, может освободить одну половину человечества от предубеждений, которые она питает против другой половины. — Польза путешествия в отношении *savoir vivre*³ заключается в том, что оно позволяет увидеть великое множество людей и обычаев; оно учит нас взаимной терпимости; а взаимная терпимость, — заключил он с поклоном в мою сторону, — учит нас взаимной любви.

Старый французский офицер произнес это с такой прямо-той и так дельно, что во мне сильно укрепилось первоначальное благоприятное впечатление от него — я вообразил, что люблю этого человека; но боюсь, я ошибся насчет предмета моих чувств — им был мой собственный образ мыслей, но только с тем различием, что я бы не мог и вполнину так хорошо его выразить.

¹ Какая грубость! (*франц.*).

² У каждой нации находятся свои «за» и «против» (*франц.*).

³ Умение жить (*франц.*).

И для всадника и для его коня одинаково неудобно, если последний идет, прядя ушами и всю дорогу вздрагивая перед предметами, которых он никогда раньше не видел. — Хотя мучения этого рода мне свойственны меньше, чем кому-нибудь, все-таки я честно признаюсь, что многие вещи действовали на меня болезненно и что в первый месяц я краснел от многих слов — которые потом находил безобидными и совершенно невинными.

Мадам де Рамбуйе после шестинедельного знакомства со мной удостоила меня чести прокатить в своей карете за город. — Мадам де Рамбуйе приличнейшая из всех женщин, и я не думаю, чтобы мне случилось когда-нибудь встретить женщину более добродетельную и более чистую сердцем. — На обратном пути мадам де Рамбуйе попросила меня дернуть шнурок. — Я спросил, не хочет ли она чего. — Rien que pisser, — сказала мадам де Рамбуйе.

— Не посетуй, благовоспитанный путешественник, на мадам де Рамбуйе за то, что она сошла п...ь. — И вы, прелестные, таинственные нимфы, ступайте каждая *сорвать свою розу*, и разбросайте их по пути, — ведь мадам де Рамбуйе не сделала ничего больше. — Я помог мадам де Рамбуйе выйти из кареты, и, будь я даже жрецом целомудренной *Касталии*, я не мог бы с большим благоговением совершить службу у ее источника.

ПАРИЖ

Сказанное старым французским офицером о путешествиях привело мне на память совет Полония сыну на тот же предмет — совет Полония напомнил мне «Гамлета», а «Гамлет» остальные пьесы Шекспира, так что по дороге домой я остановился на набережной Конти купить все собрание сочинений этого писателя.

Книгопродавец сказал, что у него нет его и в помине. — Comment! ¹ — сказал я, вынимая том из собрания, лежавшего на прилавке между нами. — Он ответил, что книги эти присланы ему только для того, чтобы их переплести, и завтра утром он должен отослать их обратно в Версаль графу де Б****.

— Разве граф де Б****, — сказала я, — читает Шекспира? — C'est un esprit fort ², — отвечал книгопродавец. — Он любит

¹ Как! (франц.).

² Это вольнодумец (франц.).

английские книги и, что делает ему еще больше чести, мосье, он любит также англичан. — Любезность в а ш а , — сказал я , — прямо обязывает англичан истратить один или два луидора в вашей л а в к е . — Книгопродавец поклонился и собирався что-то сказать, как в лавку вошла молодая благопристойная девушка лет двадцати, по внешнему виду и платью *fille de chambre*¹ какой-нибудь набожной светской дамы; она спросила «*Les égarements du cœur et de l'esprit*». Книгопродавец немедленно дал ей эту книгу; девушка вынула зеленый атласный кошелек, перевязанный лентой такого же цвета, и, засунув в него большой и указательный пальцы, достала деньги и заплатила. Так как мне больше нечего было делать в лавке, то мы вместе вышли на улицу.

— На что вам понадобились, м и л а я , — сказал я , — *Заблуждения сердца*, ведь вы, должно быть, еще даже не знаете, что оно у вас есть? Пока тебе не сказала о нем любовь или пока не сделал ему больно какой-нибудь вероломный пастушок, ты не можешь быть уверена в его существовании. — *Le Dieu m'en garde!*² — сказала девушка. — Правильно, — отвечал я , — потому что, если сердце у тебя доброе, жаль будет, если его украдут: оно — твое маленькое сокровище и придает лицу твоему больше красоты, чем жемчуга, которые ты бы надела на себя.

Молодая девушка слушала с покорным вниманием, держа все время за ленту атласный кошелек. — Какой он маленький и й , — сказал я , подхватывая кошелек за донышко — она протянула его ко м н е , — и в нем очень немного, моя м и л а я , — сказал я , — но если ты будешь настолько же доброй, насколько ты пригожа, небо наполнит е г о . — В руке моей было зажато несколько крон на покупку Шекспира; так как девушка совсем выпустила кошелек, я сунул в него одну крону и, завязав ленту бантиком, вернул ей.

Молодая девушка сделала мне реверанс не столько глубокий, сколько почтительный, — то было одно из тех молчаливых, полных признательности приседаний, в которых сама душа преклоняется — тело же только дает знать об этом. Ни разу в жизни не получал я и половины такого удовольствия, даря какой-нибудь девушке крону.

— Совет мой, милая, не стоил бы ломаного гроша, — сказал я , — не присоедини я к нему этой монеты; но теперь вы

¹ Горничная (*франц.*).

² Боже меня сохрани от этого! (*франц.*).

будете вспоминать о нем при каждом взгляде на крону, — не тратьте же ее, милая, на ленты.

— Честное слово, с э р , — серьезным тоном сказала девушка а , — я на это не способна. — Сказав это, она, как принято в маленьких сделках на честное слово, протянула мне руку. — En vérité, Monsieur, je mettrai cet argent à part¹, — проговорила она.

Когда между мужчиной и женщиной заключен целомудренный договор, он санкционирует самые интимные их прогулки; поэтому, хотя уже стемнело, мы без всякого смущения пошли вместе по набережной Конти под тем предлогом, что дороги наши лежали в одну сторону.

Она вторично сделала мне реверанс, перед тем как тронуться в путь, но не отошли мы и двадцати ярдов от дверей лавки, как моя спутница, словно ей все еще было мало сделанного, на минуточку остановилась, чтобы еще раз меня поблагодарить.

— То была скромная дань , — отвечал я , — невольно принесенная мной добродетели, и ни за что на свете я не хотел бы ошибиться относительно женщины, которой я ее воздал, — но я вижу невинность на вашем лице, дорогая, — и да падет позор на того, кто расставит когда-нибудь сети на ее пути!

Девушка, по-видимому, была так или иначе тронута тем, что я сказал, — она глубоко вздохнула — я счел себя не вправе расспрашивать о причине ее вздоха — поэтому не сказал ни слова, пока не дошел до угла Неверской улицы, где мы должны были расстаться.

— Точно ли этим путем можно пройти до гостиницы Модена, милая? — спросил я. Она ответила, что можно — или же можно пойти по улице Генего, на которую я сверну за ближайшим углом. — Так я пойду, милая, по улице Генего, — сказал я, — по двум причинам: во-первых, это мне самому доставит удовольствие, а потом, и вам позволит дольше идти под моей защитой. — Девушка была тронута моей учтивостью — и сказала, что ей было бы очень приятно, если бы гостиница Модена находилась на улице Святого Петра. — Вы там живете? — спросил я. — Девушка ответила, что она fille de chambre у мадам Р * * * . — Праведный б о ж е , — воскликнул я , — да ведь это та самая дама, которой я привез письмо из Амьена! — Девушка сказала, что мадам Р * * * , кажется, действительно ждет иностранца с письмом и очень хочет поскорее его увидеть, — тогда я попросил ее передать от меня поклон мадам

¹ Право, сударь, я отложу эти деньги (*франц.*).

Р*** и сказать, что я обязательно приду к ней с визитом завтра утром.

Мы все время стояли на углу Неверской улицы, пока шел этот разговор. — Потом я еще на минутку остановился, чтобы дать моей спутнице возможность распорядиться с *Egarements du cœur* etc. удобнее, чем нести их в руке, — сочинение это было в двух томах; я подержал второй, пока она засовывала первый себе в карман; после этого она подставила карман, и я засунул в него второй вслед за первым.

Сладко ощущать, какими тоненькими нитями связываются наши взаимные чувства.

Мы снова тронулись в путь, и, сделав третий шаг, девушка взяла меня под руку — я только что хотел ей предложить — но она сделала это сама с той нераздумывающей простотой, которая показывала, как мало она озабочена тем, что никогда раньше меня не видела. Я же почувствовал такое твердое убеждение в нашем кровном родстве, что невольно повернулся, чтобы взглянуть на ее лицо и увидеть, не могу ли я обнаружить на нем какую-нибудь черту семейного сходства. — Чего там! — сказал я. — Разве мы все не родственники?

Когда мы дошли до поворота на улицу Генего, я остановился, чтобы попрощаться с ней всерьез. Девушка снова поблагодарила меня за то, что я ее проводил и был с нею так добр. — Она дважды со мной попрощалась — столько же раз попрощался и я с ней, и прощание наше было так задушевно, что, происходи оно где-нибудь в другом месте, я не поручусь, что не запечатлел бы его поцелуем христианской любви, теплым и святым, как поцелуй апостола.

Но так как в Париже целуются только мужчины — то я сделал вещь равнозначную —

— Я от души пожелал, чтобы бог благословил ее.

ПАСПОРТ

ПАРИЖ

Когда я вернулся в гостиницу, Ла Флер сказал, что обо мне справлялся лейтенант полиции. — Черт побери! — сказал я, — я знаю почему. — Пора осведомить об этом также и читателя, потому что в том порядке, как происходили события, я обошел этот случай молчанием; не то чтобы он выпал у меня

из памяти, но если бы я рассказал о нем тогда, он был бы, вероятно, теперь позабыт — а как раз теперь он мне нужен.

Я так спешил, уезжая из Лондона, что мне ни разу не пришла на ум война, которую мы тогда вели с Францией; только приехав в Дувр и разглядывая в подзорную трубу холмы за Булонью, я о ней вспомнил, а в связи с ней о том, что во Францию нельзя являться без паспорта. Когда я дохожу хотя бы только до конца улицы, мне до смерти бывает противно возвращаться назад ничуть не более умным, чем я был, отправляясь в путь; а так как настоящая поездка была величайшим моим усилием ради приобретения знаний, то мысль о возвращении была для меня тем более невыносима; вот почему, прослышав, что граф де *** нанял пакетбот, я попросил его взять меня в свою свиту. Граф немного меня знал и потому согласился почти без всяких затруднений — сказал только, что его готовность служить мне не может простираться дальше Кале, так как он намерен вернуться в Париж через Брюссель; впрочем, самое важное переправиться через Ла-Манш, а там уж я без помехи доеду до Парижа; но только в Париже мне надо будет приобрести друзей и изворачиваться самому. — Дайте мне только добраться до Парижа, господин граф, — сказал я, — и я устроюсь великолепно. — Так я сел на корабль и больше не думал об этом деле.

Когда же Ла Флер сказал, что обо мне справлялся лейтенант полиции, — вся история мгновенно ожила в моей памяти — и в то время как Ла Флер обстоятельно мне докладывал, в комнату вошел хозяин гостиницы сказать мне то же самое, с тем лишь добавлением, что главным образом осведомлялись о моем паспорте. — Надеюсь, он у вас есть, — такими словами закончил свою речь хозяин гостиницы. — Честное слово, нет! — сказал я.

Когда я это объявил, хозяин гостиницы отступил от меня на три шага, как от зачумленного, — а бедный Ла Флер, напротив, приблизился ко мне на три шага тем движением, каким добрая душа прибегает на помощь человеку, с которым приключилось несчастье, — парень покорило им мое сердце; по одной этой черте я так основательно узнал его характер и мог так твердо на него положиться, как если бы он верой и правдой служил мне семь лет.

— Mon Seigneur!¹ — воскликнул хозяин гостиницы, но, опомнясь при этом возгласе, сейчас же переменял тон. — Если у

¹ Господи! (франц.).

мосье, — сказал он, — (arrangement)¹ нет паспорта, то, по всей вероятности, у него есть друзья в Париже, которые могут ему достать этот документ. — Нет, я никого не знаю, — отвечал я равнодушным видом. — Так вас, certes², — сказал он, — отправят в Бастилию или в Шатле, au moins³. — Ба! — сказал я, — французский король — добрая душа, он никому не сделает зла. — Cela n'empêcheras⁴, — сказал он, — вас непременно отправят завтра утром в Бастилию! — Однако я снял у вас помещение на месяц, — отвечал я, — и ни для каких французских королей на свете не освобожу его даже за день до срока. — Ла Флер шепнул мне на ухо, что никто не может противиться французскому королю.

— Pardi! — сказал хозяин, — ces Messieurs Anglais sont des gens très extraordinaires⁵, — сказав это и утвердив клятвой, — он вышел вон.

ПАСПОРТ ПАРИЖСКАЯ ГОСТИНИЦА

Я не нашел в себе мужества расстроить Ла Флера серьезным отношением к постигшей меня неприятности, почему и разговаривал о ней так пренебрежительно; а чтобы показать ему, как мало я придаю значения этому делу, я вовсе перестал им заниматься и, когда Ла Флер прислуживал мне за ужином, с преувеличенной веселостью заговорил с ним о Париже и об Oréga comique. — Ла Флер тоже был там и шел за мной по улицам до лавки книгопродавца; однако, увидя, что я вышел оттуда с молоденькой fille de chambre и что мы направились вместе по набережной Конти, Ла Флер счел излишним сделать еще хотя бы шаг за мной, — по некотором размышлении он избрал более короткий путь — и, явившись в гостиницу, успел разузнать о деле, начатом полицией по поводу моего приезда.

Но когда этот честный малый убрал со стола и пошел вниз ужинать, я начал немного серьезнее раздумывать о своем положении. —

¹ По-видимому (франц.).

² Конечно (франц.).

³ По крайней мере (франц.).

⁴ Это ничего не значит (франц.).

⁵ Ей-ей, эти господа англичане престранные люди (франц.).

— Я знаю, ты улыбнешься, Евгений, вспомнив о коротеньком диалоге, который произошел между нами перед самым моим отъездом, — я должен привести его здесь.

Евгений, зная, что я обыкновенно так же мало бываю обременен деньгами, как и благоразумием, отвел меня в сторону и спросил, сколько я припас в дорогу; когда я назвал ему сумму, Евгений покачал головой и сказал, что этого будет мало, после чего достал кошелек, чтобы опорожнить его в мой. — Право же, Евгений, для меня будет довольно, — сказал я. — Право же, Йорик, будет мало, — возразил Евгений, — я лучше вашего знаю Францию и Италию. — Но вы упускаете из виду, Евгений, — сказал я, отклоняя его предложение, — что не проведу я в Париже и трех дней, как непременно скажу или сделаю что-нибудь такое, за что меня упрячут в Бастилию, где я месяца два проживу на полном содержании французского короля. — Простите, — сухо сказал Евгений, — я действительно позабыл об этом источнике существования.

И вот обстоятельство, над которым я подшучивал, угрожало причинить мне серьезные неприятности.

Глупость ли то была, беспечность, философский взгляд на вещи, упрямство или что иное, — но в конце концов, когда Ла Флер ушел и я остался совершенно один, я не мог заставить себя думать об этой истории иначе, чем я говорил о ней Евгению.

— А что касается Бастилии, то весь ужас только в этом слове! — Изошрайтесь, как угодно, — думал я, — а все-таки Бастилия не что иное, как крепость — крепость же не что иное, как дом, из которого нельзя выйти. — Несчастные подагрики! Ведь они два раза в год оказываются в таком положении. — Однако с девятью ливрами в день, с пером, чернилами, бумагой и терпением человек, даже если он обречен сидеть в заключении, может чувствовать себя очень сносно — по крайней мере, в течение месяца или шести недель, по прошествии которых, если он существо безобидное, его невиновность раскроется, и, выйдя на свободу, он будет лучше и мудрее, чем был до своего заключения.

Когда я пришел к этому выводу, мне зачем-то понадобилось (а зачем, я забыл) выйти во двор, и помню, что, спускаясь по лестнице, я был очень доволен убедительностью своего рассуждения. — Прочь *мрачную* кисть! — сказал я хвастливо, — я не завидую ее искусству изображать бедствия жизни в суровых и мертвенных тонах. Душа наша приходит в ужас при виде предметов, которые сама же преувеличила и очернила;

верните им их настоящие размеры и цвета, и она их даже не заметит. — Правда, — сказал я, — исправляя свое рассуждение, — Бастилия не из тех зол, которыми можно пренебрегать — но уберите ее башни — засыпьте рвы — удалите заграждения перед ее воротами — назовите ее просто местом заключения и предположите, что вас держит в ней тирания болезни, а не человека — как все ее ужасы рассеются, и вы перенесете вторую половину заключения без жалоб.

В самый разгар этого монолога меня прервал чей-то голос, который я принял было за голос ребенка, жаловавшегося на то, что «он не может выйти». — Осмотревшись по сторонам и не увидев ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, я вышел, больше не прислушиваясь.

На обратном пути я услышал на том же месте те же слова, повторенные дважды; тогда я взглянул вверх и увидел скворца, висевшего в маленькой клетке. — «Не могу выйти. — Не могу выйти», — твердил скворец.

Я остановился посмотреть на птицу; слышав чьи-нибудь шаги, она порхала в ту сторону, откуда они приближались, с той же жалобой на свое заточение. — «Не могу выйти», — говорил скворец. — Помоги тебе бог, — сказал я, — все-таки я тебя выпущу, чего бы мне это ни стоило. — С этими словами я обошел кругом клетки, чтобы достать до ее дверцы, однако она была так крепко оплетена и переплетена проволокой, что ее нельзя было отворить, не разорвав клетку на куски. — Я усердно принялся за дело.

Птица подлетела к месту, где я трудился над ее освобождением, и, просунув голову между прутьями, в нетерпении прижалась к ним грудью. — Боюсь, бедное создание, — сказал я, — мне не удастся выпустить тебя на свободу. — «Нет, — откликнулся скворец, — не могу выйти, — не могу выйти», — твердил скворец.

Клянусь, никогда сочувствие не пробуждалось во мне с большей нежностью, и я не помню в моей жизни случая, когда бы рассеянные мысли, потешавшиеся над моим разумом, с такой быстротой снова собрались вместе. При всей механичности звуков песенки скворца, в мотиве ее было столько внутренней правды, что она в один миг опрокинула все мои стройные рассуждения о Бастилии, и, понуро поднимаясь по лестнице, я отрекался от каждого слова, сказанного мной, когда я по ней спускался.

— Рядисты как угодно, Рабство, а все-таки, — сказал я, — все-таки ты — горькая микстура! и от того, что тысячи людей всех времен принуждены были испытать тебя, горечи в тебе не

убавилось. — А тебе, трижды сладостная и благодатная богиня, — обратился я к *Свободе*, — все поклоняются публично или тайно; приятно вкусить тебя, и ты останешься желанной, пока не изменится сама *Природа*, — никакие *грязные* слова не запятнают белоснежной твоей мантии, и никакая химическая сила не обратит твоего скипетра в железо, — поселянин, которому ты улыбаешься, когда он ест черствый хлеб, с тобою счастливей, чем его король, из дворцов которого ты изгнана. — Милостивый боже! — воскликнул я, преклоняя колени на предпоследней ступеньке лестницы, — дай мне только здоровья, о великий его Податель, и пошли в спутницы прекрасную эту богиню, — а епископские митры, если промысел твой не видит в этом ничего плохого, возложи в изобилии на головы тех, кто по ним тужит!

УЗНИК

ПАРИЖ

Образ птицы в клетке преследовал меня до самой моей комнаты; я подсел к столу и, подперев голову рукой, начал представлять себе невзгоды заключения. Мое душевное состояние очень подходило для этого, так что я дал полную волю своему воображению.

Я собирался начать с миллионов моих ближних, получивших в наследство одно лишь рабство; но, обнаружив, что, несмотря на всю трагичность этой картины, я не в состоянии наглядно ее представить и что множество печальных групп на ней только мешают мне —

— Я выделил одного узника и, заточив его в темницу, заглянул через решетчатую дверь в сумрачную камеру, чтобы запечатлеть его образ.

Увидев его тело, наполовину разрушенное долгим ожиданием и заключением, я познал, в какое глубокое уныние повергает несбывшаяся надежда. Всмотревшись пристальнее, я обнаружил его бледность и лихорадочное состояние: за тридцать лет прохладный западный ветерок ни разу не освежил его крови — ни солнца, ни месяца не видел он за все это время — и голос друга или родственника не доносился до него из-за решетки, — его дети —

— Но тут сердце мое начало обливаться кровью, и я принужден был перейти к другой части моей картины.

Он сидел на полу, в самом дальнем углу своей темницы, на жиденькой подстилке из соломы, служившей ему попеременно скамьей и постелью; у изголовья лежал незатейливый календарь из тоненьких палочек, сверху донизу испещренных зарубками гнущих дней и ночей, проведенных им здесь; — одну из этих палочек он держал в руке и ржавым гвоздем нацарапывал еще день горя в добавление к длинному ряду прежних. Когда я заслонил отпущенный ему скудный свет, он посмотрел безнадежно на дверь, потом опустил глаза в землю, — покачал головой и продолжал свое грустное занятие. Я услышал звяканье цепей на его ногах, когда он повернулся, чтобы присоединить свою палочку к связке. — Он испустил глубокий вздох — я увидел, как железо вонзается ему в душу — я залился слезами — я не мог вынести картины заточения, нарисованной моей фантазией — я вскочил со стула и, кликнув Ла Флера, велел ему заказать для меня извозчицью карету с тем, чтобы в девять утра она была подана к дверям гостиницы. — Поеду прямо, — сказал я, — к господину герцогу де Шуазелю.

Ла Флер с удовольствием уложил бы меня в постель; но, не желая, чтобы он увидел на щеке моей нечто, способное причинить этому честному слуге огорчение, я сказал, что лягу без его помощи — и велел ему последовать моему примеру.

СКВОРЕЦ ДОРОГА В ВЕРСАЛЬ

В назначенный час я сел в заказанную карету. Ла Флер вскочил на запятки, и я приказал кучеру как можно скорее везти нас в Версаль.

— Так как на этой дороге не было ничего примечательного или, вернее, ничего, что меня интересует в путешествии, то лучше всего заполнить пустое место коротенькой историей той самой птицы, о которой шла речь в последней главе.

Когда достопочтенный мистер *** ждал в Дувре попутного ветра, птичку эту, которая еще не умела хорошо летать, поймал на утесах юноша-англичанин, его грум; не пожелав губить скворца, он принес его за пазухой на пакетбот, — занявшись его кормлением и взяв под свое покровительство, привязался к нему и в целости привез в Париж.

В Париже грум купил за ливр для скворца маленькую клетку, и так как в пять месяцев его пребывания здесь вместе с хозяином ему почти нечего было делать, то он выучил скворца трем простым словам на своем родном языке (чем и ограничился) — за которые я считаю себя в большом долгу перед этой птицей.

При отъезде своего хозяина в Италию — мальчик подарил скворца хозяину гостиницы. — Но так как его песенка о свободе раздавалась на непонятном в Париже языке, то скворец не был в большом почете у содержателя гостиницы, и Ла Флер купил его для меня вместе с клеткой за бутылку бургундского.

По возвращении из Италии я привез скворца в ту страну, на языке которой он выучил свою мольбу, и когда я рассказал его историю лорду А. — лорд А. выпросил у меня птицу — через неделю лорд А. подарил ее лорду Б. — лорд Б. преподнес ее лорду В. — а камердинер лорда В. продал его камердинеру лорда Г. за шиллинг — лорд Г. подарил его лорду Д. — и так далее — до половины алфавита. — От этих высокопоставленных лиц скворец перешел в нижнюю палату и прошел через руки стольких же ее членов. — Но так как последние все желали *войти* — а моя птица желала *выйти*, — то скворец был в Лондоне почти в таком же малом почете, как и в Париже.

Не может быть, чтобы среди моих читателей нашлось много таких, которые о нем бы не слышали; и если иным случилось его видать — позволю себе сообщить им, что птица эта была моя — или же дрянная копия, сделанная в подражание ей. Мне больше нечего сказать о ней, кроме того, что с той поры я поместил бедного скворца на своем гербе в качестве нашлемника. И пусть гербоведы свернут ему шею, если посмеют.

ОБРАЩЕНИЕ

ВЕРСАЛЬ

Мне было бы неприятно, если бы мой недруг заглянул мне в душу, когда я собираюсь просить у кого-нибудь покровительства; поэтому я обыкновенно стараюсь обходиться без чужой помощи; но моя поездка к господину герцогу де Ш*** была вынужденной — будь она добровольной, я бы ее совершил, вероятно, как и другие люди.

Сколько низких планов гнусного обращения сложило по дороге мое раболепное сердце! Я заслуживал Бастилии за каждый из них.

Когда же показался Версаль, я больше ни на что не был способен, как только подбирать слова и сочинять фразы, а также придумывать позы и тон голоса, при помощи которых я мог бы снискать благорасположение господина герцога де Ш***. — Это подойдет, — сказала я. — Точь-в-точь так, — возразил я себе, — как кафтан, который сшил бы ему предприимчивый портной, не сняв предварительно мерки. — Дурак! — продолжал я, — взгляни раньше на лицо господина герцога — присмотришь, какой характер написан на нем, — обрати внимание, в какую он станет позу, выслушивая тебя, — подметь все изгибы и выражения его туловища, рук и ног — а что касается тона голоса — первый звук, слетевший с его губ, подскажет его тебе; на основании всего этого ты и составишь тут же на месте обращение, которое не может не прийтись по вкусу герцогу — ведь все приправы будут заимствованы у него же, и, по всей вероятности, он их охотно проглотит.

— Хорошо, — сказал я, — скорей бы все это миновало. — Опять ты трусишь! Разве люди не равны на всей поверхности земного шара? А если они таковы на поле сражения — почему им не быть равными также и с глазу на глаз, в кабинете? Поверь мне, Йорик, когда это не так, мы действуем предательски по отношению к себе и десять раз ставим под удар наши вспомогательные силы там, где природа сделает это всего раз. Ступай к герцогу де Ш*** с Бастилией во взорах — головой ручаюсь, через полчаса тебя отошлют под конвоем в Париж.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал я. — В таком случае, клянусь небом, я явлюсь к герцогу с самым веселым и непри-
нужденным видом. —

— Вот и снова ты не прав, — возразил я. — Спокойное сердце, Йорик, не мечется от одной крайности к другой — оно всегда помещается в середине. — Хорошо, хорошо! — воскликнул я, когда кучер завернул в ворота, — мне кажется, я отлично справлюсь, — и к тому времени, когда карета, описав круг по двору, подкатила к подъезду, я обнаружил на себе такое благоприятное действие собственных наставлений, что двинулся по лестнице не так, как поднимается по ней жертва правосудия, которой предстоит расстаться с жизнью на верхней ступеньке, — но и не с тем проворством, с каким я единым духом взлетаю к тебе, Элиза, чтобы обрести жизнь.

Когда я вошел в двери приемной, меня встретил человек,

который, может быть, был дворецким, но больше походил на младшего секретаря, и я услышал от него, что герцог де Ш*** з а н я т. — Мне совершенно неизвестны, — сказал я, — формальности для получения аудиенции, так как я здесь человек чужой и, вдобавок, что еще хуже при нынешнем положении вещей, я — англичанин. — Он возразил, что обстоятельство это не увеличивает затруднений. — Я сделал ему легкий поклон и сказал, что у меня важное дело к господину герцогу. Секретарь посмотрел в сторону лестницы, словно изъявляя готовность позволить мне подняться к кому-то с моим делом. — Но я не хочу вводить вас в заблуждение, — сказал я, — то, что я собираюсь сообщить, не представляет никакой важности для господина герцога де Ш***, но чрезвычайно важно для меня. — C'est une autre affaire¹, — отвечал он. — Для человека учтивого — нисколько, — сказал я. — Но скажите, пожалуйста, милостивый государь, — продолжал я, — когда же иностранец может надеяться получить *доступ*? — Не раньше, чем через два часа, — сказал секретарь, взглянув на часы. Количество экипажей во дворе как будто оправдывало слова секретаря, что мне нечего рассчитывать быть принятым скорее, — так как распахивать взад и вперед по приемной, где я ни с кем не мог перемолвиться словом, было в то время так же невесело, как находиться в самой Бастилии, то я немедленно вернулся к моей карете и велел кучеру везти меня в Cordon Bleu², ближайшую версальскую гостиницу.

Мне кажется, в этом есть что-то роковое: я редко дохожу до того места, куда я направляюсь.

LE PÂTISSIER³

ВЕРСАЛЬ

Не проехал я и половины улицы, как изменил свое намерение: уж если я в Версале, — подумал я, — то прекрасно могу осмотреть город; вот почему я дернул за шнурок и приказал кучеру прокатить меня по главным улицам. — Город, я думаю, не велик, — сказал я. — Кучер извинился за то, что меня поп-

¹ Это другое дело (*франц.*).

² «Синяя лента»; здесь может быть в значении также «искусная кухарка» (*франц.*).

³ Пирожник (*франц.*).

равляет, и сказал, что, напротив, Версаль город пышный и что многие первые герцоги, маркизы и графы имеют здесь свои дома. — Я вдруг вспомнил графа де Б***, о котором так лестно говорил накануне книгопродавец с набережной Конти. — А почему бы мне не зайти, подумал я, к графу де Б***, который такого высокого мнения об английских книгах и об англичанах, — и не рассказать ему приключившейся со мной истории? Так я во второй раз переменял намерение. — По правде говоря — в третий, — ведь я собирался в этот день к мадам де Р*** на улицу Святого Петра и почтительнейше передал ей через ее *fille de chambre*, что обязательно ее навещу — но я не в силах управлять обстоятельствами, — они мной управляют; вот почему, увидя человека, стоявшего с корзиной на другой стороне улицы, словно он что-то продавал, я велел Ла Флеру подойти к нему и расспросить, где находится дом графа.

Ла Флер вернулся немного побледневший и сказал, что это кавалер ордена св. Людовика, который продает *râtes*¹. — Не может быть, Ла Флер, — сказал я. — Ла Флер так же мало мог объяснить это явление, как и я, но упорно стоял на своем: он видел, по его словам, оправленный в золото крест на красной ленточке, продетой в петлицу, а также заглянул в корзину и видел *râtes*, которые продавал кавалер; таким образом, он не мог ошибиться.

Такое крушение в жизни человека пробуждает лучшие чувства, чем любопытство: я не в силах был оторвать от него взор, сидя в карете — чем дольше я на него смотрел, на его крест и на его корзину, тем сильнее внедрялись они в мой мозг, — я вылез из кареты и подошел к нему.

На нем был чистый полотняный фартук, спускавшийся ниже колен, а также род детского передничка, доходившего до половины груди; повыше передничка, немного спускаясь над его верхним краем, висел крест. Корзина с маленькими *râtes* была покрыта белой камчатной салфеткой; другая такая же салфетка была разостлана на дне корзины; на всем этом лежала печать *propreté*² и опрятности, так что его *râtes* можно было кушать не только из сострадания, но и вследствие аппетитного их вида.

Он никому их не предлагал, но безмолвно стоял с ними на углу одного дома, дожидая покупателей, которые брали бы их по собственному почину, без его просьбы.

¹ Пирожки (*франц.*).

² Чистоты (*франц.*).

Это был человек лет сорока восьми — с виду солидный и даже, пожалуй, важный. Я не выразил удивления. — Подойдя скорее к корзине, чем к нему, я приподнял салфетку, взял один из его pâtés — и попросил его объяснить тронувшее меня явление.

Он сообщил мне в немногих словах, что лучшую часть своей жизни провел на военной службе, где, истратив небольшое родовое имущество, он получил роту, а вместе с ней и крест; но после заключения последнего мира полк его был распущен, и весь офицерский персонал, вместе с персоналом некоторых других полков, остался без всяких средств к существованию; он увидел, что у него нет на свете ни друзей, ни денег — и вообще ничего, — сказал о н , — кроме этой вещицы , — говоря это, он показал на свой крест . — Бедный кавалер пробудил во мне жалость, а к концу этой сцены завоевал также мое уважение.

Король, сказал он, щедрейший из всех государей, но его щедрость не может облегчить или вознаградить каждого; ему не повезло, и он оказался в числе обойденных. У него есть милая жена, сказал он, которую он любит, она ему печет pâtisseries¹; он не видит, прибавил он, никакого бесчестья в том, что охраняет таким образом ее и себя от нужды — если providence не послало ему ничего лучшего.

Было бы нехорошо отнять удовольствие у добрых людей, обойдя молчанием то, что случилось с этим несчастным кавалером ордена св. Людовика месяцев девять спустя.

По-видимому, у него вошло в привычку останавливаться у железных ворот, которые ведут ко дворцу, и так как его крест бросался в глаза многим, то многие обращались к нему с теми же расспросами, что и я. — Он всем рассказывал ту же историю, всегда с такой скромностью и так разумно, что она достигла наконец ушей короля. — Узнав, что кавалер был храбрым офицером и пользовался уважением всего полка, как человек честный и безупречный — король положил конец его скромной торговле, назначив ему пенсию в полторы тысячи ливров в год.

Я рассказал эту историю, чтобы доставить удовольствие читателю, — так пусть же он доставит удовольствие мне, позволив рассказать другую, выпадающую из порядка повествования , — обе эти истории бросают свет одна на другую — и было бы жалко их разъединять.

ШПАГА
РЕНН

Если государства и империи знают периоды упадка, если и для них наступает черед почувствовать, что такое нужда и бедность, — так почему же мне не рассказать о причинах, которые постепенно привели к падению дом д'Е*** в Бретани. Маркиз д'Е*** с большим упорством боролся за свое положение; ему очень хотелось сохранить, а также показать свету кое-какие скудные остатки того, чем были его предки, — их безрассудства сделали для него это непосильным. Оставалось достаточно для поддержания скромного существования в тени, — но у него было два мальчика, которые тянулись к свету, ожидая от него помощи — и он полагал, что они ее заслуживают. Он попытал свою шпагу — она не могла открыть ему дорогу — *восхождение* было слишком дорого — простая бережливость его не окупала — оставалось последнее средство — торговля.

Во всякой другой провинции французского королевства, за исключением Бретани, это значило подрубить под самый корень дерево, которое его гордость и любовь желали бы видеть зацветшим вновь. — Но в бретонских законах существует оговорка на этот счет, и он ею воспользовался; подождав созыва штатов в Ренне, маркиз явился на заседание в сопровождении обоих сыновей и, сославшись на один древний закон герцогства, который, хотя к нему и редко обращаются, сказал он, все-таки остается в силе, снял с себя ш п а г у . — Вот о н а , — сказал о н , — возьмите ее и бережно храните, пока лучшие времена не позволят мне потребовать ее обратно.

Председатель принял шпагу маркиза — тот остался еще несколько минут, чтобы присмотреть, как ее положат в архив его рода, и удалился.

На другой день маркиз отплыл со всей семьей на Мартику, и после двадцатилетней удачной торговли, получив вдобавок несколько неожиданных наследств от далеких своих родственников, вернулся на родину, чтобы потребовать обратно дворянское звание и с достоинством нести его.

По счастливой случайности, выпадающей единственно только чувствительному путешественнику, я прибыл в Ренн как раз во время этого торжественного требования; я называю его торжественным — таким оно было, по крайней мере, для меня.

Маркиз явился в залу суда со всей своей семьей: он вел под руку жену, старший его сын вел под руку сестру, а младший находился по другую сторону, возле своей матери — два раза поднес он к лицу платок —

— Стояла мертвая тишина. Приблизившись к трибуналу на расстояние шести шагов, он поручил жену младшему сыну, выступил на три шага перед своей семьей — и потребовал обратно свою шпагу. Шпага была ему возвращена, и, приняв ее, маркиз почти целиком ее обнажил — перед ним было сияющее лицо друга, от которого он некогда отступился — он внимательно ее осмотрел, начиная от эфеса, словно желая удостовериться, что она та с а м а я , — как вдруг, заметив небольшую ржавчину, появившуюся на ней у самого острия, поднес ее к глазам и склонил над ней голову — мне сдается, я увидел, как на эту ржавчину упала слеза. Я не мог ошибиться, судя по тому, что последовало.

«Я найду *другой способ* ее уничтожить», — сказал он. Сказав это, маркиз вложил шпагу в ножны, поклонился ее хранителям — и вышел с женой и дочерью, а оба сына последовали за ним.

О, как я позавидовал его чувствам!

ПАСПОРТ ВЕРСАЛЬ

Я был беспрепятственно допущен к господину графу де Б***. Собрание сочинений Шекспира лежало перед ним на столе, и он перелистывал томики. Подойдя к самому столу и взглянув на книги с видом человека, которому они хорошо известны, — я сказал графу, что явился к нему, не будучи никем представлен, так как рассчитывал встретиться у него с другом, который сделает мне это одолжение. — То мой соотечественник, великий Шекспир, — сказал я, показывая на его сочинения, — *et ayez la bonté, mon cher ami, —* прибавил я, обращаясь к духу писателя, — *de me faire cet honneur — là¹ —*

Этот необычный способ рекомендоваться вызвал у графа улыбку; обратив внимание на мою бледность и нездоровый вид, он очень настойчиво попросил меня сесть в кресло; я сел и,

¹ Будьте добры, дорогой друг, оказать мне эту честь (*франц.*).

чтобы не затруднять хозяина догадками о цели этого визита, сделанного вне всяких правил, рассказал ему про случай в книжной лавке и почему случай этот побудил меня обратиться с просьбой помочь в одном постигшем меня маленьком затруднении именно к нему, а не к кому-нибудь другому во Франции. — В чем же ваше затруднение? Я вас слушаю, — сказал граф. — Тогда я рассказал ему всю историю совершенно так, как я рассказал ее читателю. —

— Хозяин моей гостиницы, — сказал я в заключение, — уверяет, господин граф, что меня непременно отправят в Бастилию, но я совершенно спокоен, — продолжал я, — потому что, попав в руки самого цивилизованного народа на свете и не зная за собой никакой вины, — я ведь не пришел высматривать наготу земли этой, — я почти не думал о том, что нахожусь в его полной власти. — Французам не пристало, господин граф, — сказал я, — проявлять свою храбрость на инвалидах.

Яркий румянец выступил на щеках графа де Б***, когда я это сказал. — Ne craignez rien — не бойтесь, — сказал он. — Право же, я не боюсь, — повторил я. — Кроме того, — продолжал я шутливо, — я проделал весь путь от Лондона до Парижа смеясь, и думаю, что господин герцог де Шуазель не такой враг веселья, чтобы отослать меня назад плачущим от причиненных мне огорчений.

— Моя покорнейшая просьба к вам, господин граф де Б*** (при этом я низко ему поклонился), похлопотать перед ним, чтобы он этого не делал.

Граф слушал меня с большим добродушием, иначе я не сказал бы и половины мною сказанного — и раз или два произнес — C'est bien dit¹. — На этом я покончил со своим делом — и решил больше к нему не возвращаться.

Граф направлял разговор; мы толковали о безразличных вещах — о книгах и политике, о людях — а потом о женщинах. — Бог да благословит их всех! — произнес я, после того как мы долго о них говорили, — нет человека на земле, который бы так любил их, как я: несмотря на все их слабости, мною подмеченные, и множество прочитанных мною сатир на них, я все-таки их люблю, будучи твердо убежден, что мужчина, не чувствующий расположения ко всему их полу, никогда не способен как следует полюбить одну из них.

— Eh bien! Monsieur l'Anglais, — весело сказал граф. — Вы не пришли высматривать наготу земли нашей — я вам верю — ni

¹ Хорошо сказано (франц.).

encore¹, смею сказать, *наготу* наших же н щ и н . — Но разрешите мне высказать предположение — если, *par hazard*², она попадется вам на пути, разве вид ее не тронет ваших чувств?

Во мне есть что-то, в силу чего я не выношу ни малейшего намека на непристойность: увлеченный веселой болтовней, я не раз пробовал побороть себя и путем крайнего напряжения сил отваживался в обществе десяти женщин на тысячу вещей — самой ничтожной части которых я бы не посмел сделать с каждой из них в отдельности даже за райское блаженство.

— Извините меня, господин г р а ф , — сказал я, — что касается наготы земли вашей, то если бы мне довелось ее увидеть, я взглянул бы на нее со слезами на глазах, — а в отношении наготы ваших женщин (я покраснел от самой мысли о ней, вызванной во мне графом) я держусь евангельских взглядов и полон такого сочувствия ко всему *слабому* у них, что охотно прикрыл бы ее одеждой, если бы только умел ее накинуть. — Но я бы очень же л а л , — продолжал я, — высмотреть *наготу их сердец* и сквозь разнообразные личины обычаев, климата и религии разглядеть, что в них есть хорошего, и в соответствии с этим образовывать собственное сердце — ради чего я и приехал.

— По этой причине, господин г р а ф , — продолжал я, — я не видел ни Пале-Рояля — ни Люксембурга — ни фасада Лувра — и не пытался удлинить списков картин, статуй и церквей, которыми мы располагаем. — Я смотрю на каждую красавицу, как на храм, и я вошел бы в него и стал бы любоваться развешанными в нем оригинальными рисунками и беглыми набросками охотнее, чем даже «Преображением» Рафаэля.

— Жажда этих откровений, — продолжал я, — столь же жгучая, как та, что горит в груди знатока живописи, привела меня из моей родной страны во Францию, а из Франции поведет меня по Италии. — Это скромное путешествие сердца в поисках *Природы* и тех приятных чувств, что ею порождаются и побуждают нас любить друг друга — а также мир — больше, чем мы любим теперь.

Граф сказал мне в ответ на это очень много любезностей и весьма учтиво прибавил, как много он обязан Шекспиру за то, что он познакомил меня с н и м . — *A-propos*, — сказал он, — Шекспир полон великих вещей, но он позабыл об одной маленькой формальности — не назвал вашего имени — так что вам придется сделать это самому.

¹ Ни также (*франц.*).

² Случайно (*франц.*).

ПАСПОРТ

ВЕРСАЛЬ

Для меня нет ничего затруднительнее в жизни, чем сообщить кому-нибудь, кто я та кой, — ибо вряд ли найдется человек, о котором я не мог бы дать более обстоятельные сведения, чем о себе; часто мне хотелось уметь отрекомендоваться всего одним словом — и конец. И вот первый раз в жизни представился мне случай осуществить это с некоторым успехом — на столе лежал Шекспир — вспомнив, что он обо мне говорит в своих произведениях, я взял «Гамлета», раскрыл его на сцене с могильщиками в пятом действии, ткнул пальцем в слово *Йорик* и, не отнимая пальца, протянул книгу графу со словами — *Me voici!*¹

Выпала ли у графа мысль о черепе бедного Йорика благодаря присутствию черепа вашего покорного слуги или каким-то волшебством он перенесся через семьсот или восемьсот лет, это здесь не имеет значения — несомненно, что французы легче схватывают, чем соображают — я ничему на свете не удивляюсь, а этому меньше всего; ведь даже один из глав нашей церкви, к прямоте и отеческим чувствам которого я питаю высочайшее почтение, впал при таких же обстоятельствах в такую же ошибку. — Для него невыносима, — сказал он, — самая мысль заглянуть в проповеди, написанные шутком датского короля. — Хорошо, ваше преосвященство, — сказала я, — но есть два Йорика. Йорик, о котором думает ваше преосвященство, умер и был похоронен восемьсот лет тому назад; он преуспевал при дворе Горвендиллуса; другой Йорик — это я, не преуспевавший, ваше преосвященство, ни при каком дворе. — Он покачал головой. — Боже мой, — сказала я, — вы с таким же правом могли бы смешать Александра Великого с Александром-Медником, ваше преосвященство. — Это одно и то же, — возразил он —

— Если бы Александр, царь македонский, мог перевести ваше преосвященство в другую епархию, — сказал я, — ваше преосвященство, я уверен, этого не сказали бы.

Бедный граф де Б*** впал в ту же *ошибку* —

— *Et, Monsieur, est-il Yorick?*² — воскликнул граф. — *Je le suis*, — отвечал я. — *Vous? — Moi — moi qui a l'honneur de*

¹ Вот я! (*франц.*).

² Неужели, мосье, вы — Йорик? (*франц.*).

vous parler, Monsieur le Comte. — Mon Dieu! — проговорил он, обнимая меня. — Vous êtes Yorick!¹

С этими словами граф сунул Шекспира в карман и оставил меня одного в своей комнате.

ПАСПОРТ ВЕРСАЛЬ

Я не мог понять, почему граф де Б*** так внезапно вышел из комнаты, как не мог понять, почему он сунул в карман Шекспира. — *Тайны, которые должны разъясниться сами, не стоят того, чтобы терять время на их разгадку*; лучше было почитать Шекспира; я взял «Много шума из ничего» и мгновенно перенесся с кресла, в котором я сидел, на остров Сицилию, в Мессину, и так увлекся доном Педро, Бенедиктом и Беатриче, что перестал думать о Версале, о графе и о паспорте.

Милая податливость человеческого духа, который способен вдруг погрузиться в мир иллюзий, скрашивающих тяжелые минуты ожидания и горя! — Давно-давно уже завершили бы вы счет дней моих, не проводи я большую их часть в этом волшебном краю. Когда путь мой бывает слишком тяжел для моих ног или слишком крут для моих сил, я сворачиваю на какую-нибудь гладкую бархатную тропинку, которую фантазия усыпала розовыми бутонами наслаждений, и, прогулявшись по ней, возвращаюсь назад, окрепший и посвежевший. — Когда скорби тяжко гнетут меня и нет от них убежища в этом мире, тогда я избираю новый путь — я оставляю мир, — и, обладая более ясным представлением о Елисейских полях, чем о небе, я силой прокладываю себе дорогу туда, подобно Энею — я вижу, как он встречает задумчивую тень покинутой им Дидоны и желает ее признать, — вижу, как оскорбленный дух качает головой и молча отворачивается от виновника своих бедствий и своего бесчестья, — собственные мои чувства растворяются в ее чувствах и в том сострадании, которое вызывали обыкновенно во мне ее горести, когда я сидел на школьной скамье.

Поистине это не значит витать в царстве пустых теней — и не попусту доставляет себе человек это беспокойство — чаще

¹ Да, я Йорик. — Вы? — Я — я, имеющий честь с вами разговаривать, господин граф. — Боже мой! Вы — Йорик! (франц.).

пустыми бывают его попытки доверять успокоение своих волнений одному только разуму. — Смело могу сказать про себя: никогда я не был в состоянии так решительно подавить дурное чувство в моем сердце иначе, как призвав поскорее на помощь другое, доброе и нежное чувство, чтобы сразить врага в его же владениях.

Когда я дочитал до конца третьего действия, вошел граф де Б*** с моим паспортом в руке. — Господин герцог де Ш***, — сказал граф, — такой же прекрасный пророк, смею вас уверить, как и государственный деятель. — Un homme qui rit, — сказал герцог, — ne sera jamais dangereux¹. — Будь это не для королевского шута, а для кого-нибудь другого, — прибавил граф, — я не мог бы раздобыть его в течение двух часов. — Pardonnez-moi, Monsieur le Comte², — сказал я, — я не королевский шут. — Но ведь вы Йорик? — Да. — Et vous plaisantez?³ — Я ответил, что действительно люблю шутить, но мне за это не платят — я это делаю всецело за собственный счет.

— У нас нет придворных шутов, господин граф, — сказал я, — последний был в распутное царствование Карла Второго — а с тех пор нравы наши постепенно настолько очистились, что наш двор в настоящее время переполнен патриотами, которые ничего не желают, как только преуспевания и богатства своей страны — и наши дамы все так целомудренны, так безупречны, так добры, так набожны — шуту там решительно нечего вышучивать —

— Voilà un persiflage!⁴ — воскликнул граф.

ПАСПОРТ

ВЕРСАЛЬ

Так как паспорт предлагал всем наместникам, губернаторам и комендантам городов, генералам армий, судьям и судебным чиновникам разрешать свободный проезд вместе с багажом господину Йорику, королевскому шуту, — то, признаюсь, торжество мое по случаю получения паспорта было не-

¹ Человек, который смеется, никогда не будет опасен (*франц.*).

² Простите, господин граф (*франц.*).

³ И вы шутите? (*франц.*).

⁴ Вот это шутство! (*франц.*).

мало омрачено ролью, которая мне в нем приписывалась. — Но на свете ничего нет незамутненного; некоторые солиднейшие наши богословы решаются даже утверждать, что само наслаждение сопровождается вздохом — и что величайшее *из им известных* кончается *обыкновенно* содроганием почти болезненным.

Помнится, ученый и важный Беворискиус в своем комментарии к поколениям от Адама очень натурально обрывает на половине одно свое примечание, чтобы поведать миру о паре воробьев, расположившихся на наружном выступе окна, которые все время мешали ему писать и наконец совершенно оторвали его от генеалогии.

— Странно! — пишет Беворискиус. — Однако факты достоверны, потому что из любопытства я отмечал их один за другим штрихами пера — за короткое время, в течение которого я успел бы закончить вторую половину этого примечания, воробей-самец ровно двадцать три с половиной раза прерывал меня повторением своих ласк.

Как милостиво все-таки не бо , — добавляет Беворискиус, — к своим созданиям!

Злосчастный Йорик! Степеннейший из твоих собратьев способен был написать для широкой публики слова, которые заливают твоё лицо румянцем, когда ты только переписываешь их наедине в своем кабинете.

Но это не относится к моим путешествиям. — И потому я дважды — дважды прошу извинить меня за это отступление.

Х А Р А К Т Е Р

В Е Р С А Л Ь

— Как вы находите французов? — спросил граф де Б***, вручив мне паспорт.

Читатель легко догадается, что после столь убедительного доказательства учтивости мне не составило труда ответить комплиментом на этот вопрос.

— Mais passe, pour cela¹. — Скажите откровенно, — настаивал он , — нашли вы у французов всю ту вежливость, которую весь мир так предупредительно нам приписывает? — Я нашел

¹ Хорошо, оставим это (*франц.*).

всевозможные ее подтверждения, — отвечал я. — *Vraiment*, — сказал г р а ф , — *les Français sont polis*¹. — Даже слишком, — отвечал я.

Граф обратил внимание на слово *слишком* и стал утверждать, что я не высказываю всего, что думаю. Долго я всячески оправдывался — он настаивал, что у меня есть какая-то задняя мысль, и требовал высказаться откровенно.

— Я думаю, господин г р а ф , — сказал я, — что человек, подобно музыкальному инструменту, имеет известный диапазон и что его общественные и иные занятия нуждаются поочередно в каждой тональности, так что, если вы возьмете слишком высокую или слишком низкую ноту, в верхнем или в нижнем регистре непременно обнаружится пробел, и гармония будет нарушена. — Граф де Б*** ничего не понимал в музыке и потому попросил меня объяснить мою мысль как-нибудь иначе. — Перед образованной нацией, мой милый г р а ф , — сказал я, — каждый чувствует себя должником; кроме того, учтивость сама по себе, подобно прекрасному полу, заключает столько прелести, что язык не повернется сказать, будто она может причинить зло. А все-таки я думаю, что существует известный предел совершенства, достижимый для человека, взятого в целом, — переступая этот предел, он, скорее, разменивает свои достоинства, чем приобретает их. Не смею судить, насколько это приложимо к французам в той области, о которой мы говорим, — но если бы нам, англичанам, удалось когда-нибудь при помощи постепенной шлифовки приобрести тот лоск, которым отличаются французы, то хотя бы даже мы не утратили при этом *politesse du cœur*², располагающей людей больше к чело-веколюбивым, чем к вежливым поступкам, — мы непременно потеряли бы присущее нам разнообразие и самобытность характеров, которые отличают нас не только друг от друга, но и от всех прочих народов.

У меня в кармане было несколько шиллингов времен короля Вильгельма, гладких, как стекляшки; предвидя, что они мне пригодятся для иллюстрации моей гипотезы, я взял их в руку, когда дошел до этого места —

— Взгляните, господин г р а ф , — сказал я, вставая и раскладывая их перед ним на столе, — семьдесят лет ударялись они друг о друга и подвергались взаимному трению в карманах разных людей, отчего сделались настолько похожими между

¹ Право, французы вежливы (*франц.*).

² Деликатности (*франц.*).

собой, что вы с трудом можете отличить один шиллинг от другого.

Подобно старинным медалям, которые хранились бережнее и проходили через небольшое число рук, англичане сохраняют первоначальные резкие черты, приданные им тонкой рукой природы — они не так приятны на ощупь — но зато надпись так явственна, что вы с первого же взгляда узнаете, чье изображение и чье имя они носят. — Однако французы, господин граф, — прибавил я (желая смягчить свои слова), — обладают таким множеством достоинств, что могут отлично обойтись без этого, — они самый верный, самый храбрый, самый великодушный, самый остроумный и самый добродушный народ под небесами. Если у них есть недостаток, так только тот, что они — слишком *серьезны*.

— Mon Dieu! — воскликнул граф, вскакивая со стула.

— Mais vous plaisantez¹, — сказал он, исправляя свое восклицание. — Я положил руку на грудь и с самым искренним и серьезным видом заверил его, что таково мое твердое убеждение.

Граф выразил крайнее сожаление, что не может остаться и выслушать мои доводы, так как должен сию минуту ехать обещать к герцогу де Ш***.

— Но если вам не очень далеко приехать в Версаль откусывать со мной тарелку супу, то прошу вас перед отъездом из Франции доставить мне удовольствие послушать, как вы будете брать назад ваше мнение — или как вы его будете защищать. — Но если вы собираетесь его защищать, господин англичанин, — сказал он, — вам придется пустить в ход все свои силы, потому что весь мир против вас. — Я обещал графу принять его приглашение пообедать с ним до отъезда в Италию — и откланялся.

ИСКУШЕНИЕ

ПАРИЖ

Когда я сошел с кареты у подъезда гостиницы, швейцар доложил, что сию минуту меня спрашивала молодая женщина с картонкой. Не зная, — сказал швейцар, — ушла она уже или нет. — Я взял у него ключ от своей комнаты и поднялся наверх; не доходя десяти ступенек до площадки перед моей

¹ Вы шутите (*франц.*).

дверью, я встретился с посетительницей, которая неторопливо спускалась по лестнице.

То была хорошенькая *fille de chambre*, с которой я прошелся по набережной Конти: мадам де Р*** послала ее с какими-то поручениями к *marchande des modes*¹ в двух-трех шагах от гостиницы Модена; так как я не явился к ней с визитом, то она велела девушке узнать, не уехал ли я из Парижа, и если уехал, то не оставил ли адресованного ей письма.

Хорошенькая *fille de chambre* находилась совсем близко от моей двери, а потому вернулась назад и зашла со мной в мою комнату подождать две-три минуты, пока я напишу несколько слов.

Был прекрасный тихий вечер в самом конце мая — малиновые занавески на окне (того же самого цвета, что и полог у кровати) были плотно задернуты — солнце садилось и бросало сквозь них отблеск такого теплого тона на лицо хорошенькой *fille de chambre* — мне показалось, будто она краснеет — мысль об этом бросила меня самого в краску — мы были совершенно одни, и это обстоятельство навело на мои щеки второй румянец прежде, чем с них успел сойти первый.

Бывает такой приятный полупреступный румянец, в котором повинна больше кровь, чем помыслы, — она бурно приливает из сердца, а добродетель спешит за ней вдогонку — не с тем, чтобы ее отогнать, а чтобы придать ощущению большую сладость для нервов — она с ней сочетается. —

Но я не буду на этом останавливаться. — Сначала я почувствовал в себе нечто не вполне созвучное с уроком добродетели, который я ей преподавал накануне, — пять минут искал я листка бумаги — я знал, что у меня нет ни одного. — Я взял перо — и снова положил его — рука моя дрожала — бес сидел во мне.

Я знаю не хуже других, что, если этому противнику дать отпор, он от нас убежит — однако я редко даю ему отпор из страха, что, одолев его, я все-таки могу в схватке пострадать — поэтому ради безопасности я отказываюсь от торжества над ним, и вместо того чтобы думать об обращении его в бегство, обыкновенно убегаю сам.

Хорошенькая *fille de chambre* подошла к самому столу, на котором я искал бумагу, — сначала подняла брошенное мной перо, а потом предложила подержать мне чернильницу: она это сделала так мило, что я уже собирался принять перо — но

¹ Модистке (*франц.*).

не посмел. — Мне не на чем писать, душенька, — сказал я. — Напишите, — сказала она простодушно, — на чем-нибудь —

Я чуть было не воскликнул: так я напишу, красotka, на твоих губах! —

Если я это сделаю, — сказал я, — я погиб. — Вот почему я взял ее за руку и повел к дверям, попросив не забывать преподанного ей урока. — Она сказала, что, конечно, не забудет — и, произнеся эти слова с некоторым возбуждением, обернулась и протянула мне обе свои руки, сложенные вместе, — в таком положении невозможно было не пожать их — я хотел их выпустить: все время, пока я их держал, я мысленно упрекал себя за это — и все-таки продолжал держать. — Через две минуты я обнаружил, что должен повторить всю борьбу сначала — при этой мысли я почувствовал дрожь в ногах и во всем теле.

Кровать находилась в полутора ярдах от того места, где мы стояли, — я все еще держал ее за руки — как это вышло, не могу понять, только я не просил ее — и не тащил — и не думал о кровати — но вышло так, что мы оба сели на кровать.

— Сейчас я вам покажу, — сказала хорошенькая *fille de chambre*, — кошелек, который я сшила сегодня, чтобы хранить в нем вашу крону. — С этими словами она засунула руку в свой правый карман, ближайший ко мне, и несколько мгновений шарилась в нем — потом в левый. — «Она его потеряла». — Никогда ожидание не казалось мне столь мало тягостным — наконец кошелек нашелся в ее правом кармане — она его вынула; он был из зеленой тафты, подбитой кусочком белого стеганого атласа, и в нем могла поместиться только эта корона — она дала его мне подержать — такой хорошенький кошелек; я держал его десять минут, положив руку ей на колени — поглядывая то на кошелек, то немного вбок от него.

На складках моего жабо распустилось несколько стежков — хорошенькая *fille de chambre*, ни слова не говоря, достала свою рабочую шкатулочку, продела нитку в тоненькую иголку и привела жабо в порядок. — Я предвидел, что ее усердие помрачит блеск этого дня; когда она во время шитья несколько раз молча провела рукой у самой моей шеи, я почувствовал, что лавры, которыми я мысленно увил главу мою, готовы с нее свалиться.

Во время ходьбы у нее распустился ремешок, так что пряжка от башмака едва держалась. — Смотрите, — сказала *fille de chambre*, поднимая ногу. — Мне, конечно, ничего не остава-

лось, как в знак признательности прикрепить ей пряжку и вдеть ремешок — после этого я поднял ее другую ногу, чтобы посмотреть, все ли там в порядке, — но сделал это слишком внезапно — хорошенькая *fille de chambre* не могла удержать равновесие — и тогда —

ПОБЕДА

Да — и тогда — Вы, чьи мертвенно холодные головы и тепловатые сердца способны побеждать логическими доводами или маскировать ваши страсти, скажите мне, какой грех в том, что они обуревают человека? Или как дух его может отвечать перед Отцом духов только за то, что действовал под их влиянием?

Если Природа так соткала свой покров благодати, что местами в нем попадаются нити любви и желанья, — следует ли разрывать всю ткань для того, чтобы их выдернуть? — Бичуй таких стойков, великий Правитель природы! — сказал я про себя. — Куда бы ни закинуло меня твое провидение для испытания моей добродетели — какой бы я ни подвергся опасности — каково бы ни было мое положение — дай мне изведать во всей их полноте чувства, которые из него возникают и которые мне присущи, поскольку я человек, — если я буду владеть ими должным образом, я спокойно доверю решение твоему правосудию; ибо ты создал нас, а не сами мы себя создали.

Окончив это обращение, я поднял хорошенькую *fille de chambre* за руку и вывел ее из комнаты — она остановилась возле меня, когда я запираю дверь и прятал ключ в карман — *и тогда* — так как победа была решительная — только тогда я прижался губами к ее щеке и, снова взяв ее за руку, благополучно проводил до ворот гостиницы.

ТАЙНА

ПАРИЖ

Кому ведомо человеческое сердце, тот поймет, что мне невозможно было сразу вернуться в свою комнату — это было все равно что по окончании музыкальной пьесы, взволновавшей все наши чувства, перейти вдруг от мажорного созвучия в минорную терцию. — Вот почему, выпустив руку *fille de chambre*, я некоторое время стоял у ворот гостиницы, разгля-

дывая каждого прохожего и строя о нем догадки, пока внимание мое не было привлечено одиноким субъектом, спутавшим все мои предположения о нем.

То был высокий мужчина с философским, серьезным и жгучим взглядом, который неторопливо расхаживал взад и вперед по улице, делая шагов по шестидесяти в ту и в другую сторону от ворот гостиницы — ему на вид было года пятьдесят два — он держал под мышкой тоненькую тросточку — одет был в темный, тускло-коричневый кафтан, жилет и штаны, видно послужившие ему не мало лет — хотя они были еще чистые, и на всей его внешности лежала печать бережливой *propreté*. По тому, как он снимал шляпу — по той позе, в какую он становился, обращаясь ко многим прохожим на улице, я понял, что он просит милостыню; поэтому я достал из кармана и держал наготове несколько су, чтобы подать ему, если бы он обратился ко мне. Но он прошел мимо, ничего у меня не попросив, — а между тем, не сделав и пяти шагов дальше, обратился за подающим к одной скромного вида женщине — хотя скорее мог рассчитывать получить у меня. — Не успел он отойти от этой женщины, как уже снял шляпу перед другой, направлявшейся в ту же сторону. — Навстречу ему медленно прошел почтенного вида пожилой господин — за ним молодой щеголь — он пропустил их обоих, ничего у них не попросив. Я простоял, наблюдая за ним, с полчаса, и за это время он раз двенадцать прошел взад и вперед, неизменно придерживаясь одного и того же плана.

В поведении его были две большие странности, заставившие меня поломать голову, хотя и без всякого успеха, — первая: почему этот человек рассказывал свою историю *только* прекрасному полу, — и вторая: что это была за история и что за красноречие пускал он при этом в ход, которое смягчало сердца женщин и которое, он знал, бесполезно пробовать на мужчинах?

Были еще два обстоятельства, запутавшие эту тайну, — первое: каждой женщине он говорил свои таинственные слова на ухо и с таким видом, точно он сообщал секрет, а не просил подавания, — и второе: он не знал неудачи — каждая женщина, которую он останавливал, непременно доставала кошелек и без колебаний подавала ему что-нибудь.

Я никак не мог придумать удовлетворительное объяснение этому явлению.

Мне задана была загадка, над разрешением которой можно было скоротать остаток вечера, и с расчетом на это я поднялся вверх в свою комнату.

ДЕЛО СОВЕСТИ

ПАРИЖ

Почти по пятам за мной поднялся хозяин гостиницы, вошедший ко мне в комнату сказать, чтобы я искал себе другое помещение. — Как так, мой друг? — спросил я. — Он отвечал, что я сегодня вечером провел два часа, запершись в своей спальне с молодой женщиной, а это против правил его дома. — Прекрасно, — сказал я, — тогда зачем же нам ссориться — ведь девушке от этого не стало хуже — и мне не стало хуже — и вы останетесь точно таким, как я вас нашел. — Этого достаточно, сказал он, чтобы погубить репутацию его гостиницы. — *Vous-voez, Monsieur*¹, — сказал он, показывая на конец кровати, где мы сидели. — Признаться, это было нечто похожее на улику; но так как гордость не позволила мне входить в подробности случившегося, то я посоветовал хозяину спокойно лечь спать, как я сам решил это сделать, а завтра утром я заплачу ему все, что следует.

— Я бы ничего не имел против, *Monsieur*, — сказал он, — даже если бы у вас побывало двадцать девушек. — Это на два десятка больше, — возразил я, прервав его, — чем я когда-нибудь рассчитывал. — При условии, — продолжал он, — чтобы вы их принимали только утром. — Разве в Париже различное время дня делает и грех различным? — Оно делает различным скандал, — сказал он. — Мне очень нравятся четкие разграничения, и не могу сказать, чтобы я был так уж выведен из себя этим человеком. — Я согласен, — снова взял слово хозяин гостиницы, — что в Париже иностранцу должна быть предоставлена возможность купить себе кружево, шелковые чулки, рукавички *et tout cela*² — и ничего нет худого, если к нему пойдет женщина с картонкой. — Да, это верно, — сказал я, — у нее была картонка, но я в нее даже не заглянул. — Значит, *Monsieur*, — сказала он, — ничего не купил. — Решительно ничего, — отвечал я. — Так я, — сказал он, — мог бы вам порекомендовать одну, которая обошлась бы с вами *en conscience*³. — Я должен увидеть ее сегодня же, — сказал я. — Хозяин отвесил мне низкий поклон и спустился вниз.

¹ Вы видите, мосье (*франц.*).

² И все такое (*франц.*).

³ По совести (*франц.*).

Вот когда я буду торжествовать над этим maître d'hôtel'ем! — воскликнул я. — А потом что? — Потом покажу, что мне известно, какая у него грязная душа. — А что потом? Что потом! — Я чуть было не сказал, что делаю это ради других. — У меня не осталось ни одного подходящего ответа — в замысле моем было больше желчи, чем убеждения, и он мне опротивел прежде, чем я приступил к его осуществлению.

Через несколько минут ко мне вошла гризетка с картонкой кружев. — Все равно ничего не куплю, — сказал я про себя.

Гризетка хотела мне показать все — угодить мне было трудно: девушка делала вид, будто этого не замечает; она открыла свой маленький склад и выложила передо мной одно за другим все свои кружева — разворачивала каждую штуку и снова ее сворачивала с ангельским терпением — я мог купить — мог не купить — она готова была отдать мне все по цене, какую я сам назначу — бедняжке, видно, очень хотелось заработать несколько грошей; она изо всех сил старалась меня задобрить, не столько прибегая к притворству, сколько действуя, я это чувствовал, простотой и лаской.

Если в человеке нет некоторой дозы неподдельного легковерия, тем хуже для него — сердце мое смягчилось, и я отказался от второго решения так же спокойно, как и от первого. — С какой стати буду я карать одного за преступление другого? Если ты платишь дань этому тирану-хозяину, — подумал я, посмотрев ей в лицо, — тем тяжелей достается тебе твой хлеб.

Если бы даже в кошельке у меня было не больше четырех луидоров, все-таки я бы не мог решиться встать и указать ей на дверь, не истратив сначала трех из них на пару рукавчиков.

— Ей придется разделить свой доход с хозяином гостиницы — что за беда — в таком случае, я только заплатил, как многие бедняки платили до меня, за поступок, которого *не мог* совершить, о котором не мог даже помыслить.

ЗАГАДКА

ПАРИЖ

Явившись прислуживать за ужином, Ла Флер передал мне сожаление хозяина гостиницы о том, что он оскорбил меня, предложив искать другое помещение.

Человек, знающий цену спокойного ночного сна, не ляжет в постель со злобой в сердце, если он может примириться со

своим противником. — Вот почему я велел Ла Флеру передать хозяину гостиницы, что и я, с своей стороны, сожалею, что дал ему повод к неудовольствию, — вы можете даже сказать ему, Ла Флер, — добавил я, — что, если эта молодая женщина снова зайдет ко мне, я ее не приму.

Я приносил эту жертву не ради хозяина, а ради собственного спокойствия, потому что, с таким трудом избежав беды, решил больше не подвергать себя опасностям, а покинуть Париж, по возможности сохранив нетронутыми все добродетели, с которыми я сюда приехал.

— C'est déroger à noblesse, Monsieur ¹, — сказал Ла Флер, кланяясь мне чуть не до земли. — Et en core, — продолжал он, — Monsieur, может быть, переменит свое мнение — и если (par hazard) он вздумает развлечься. — Я не нахожу в этом развлечения, — сказал я, прерывая его.

— Mon Dieu! — произнес Ла Флер — и удалился.

Через час он пришел уложить меня в постель и был услужливее, чем обыкновенно — что-то просилось ему на язык, он хотел что-то сказать мне или о чем-то меня спросить, но не решался. Я не мог понять, что его так заботит, да, по правде говоря, не очень и старался это разгадать, потому что занят был другой, гораздо более интересовавшей меня загадкой, которую представлял человек, просивший милостыню у подъезда гостиницы — я бы дал что угодно, чтобы доискаться, в чем здесь дело; и вовсе не из любопытства — любопытство, в общем, такой низменный повод исследования, что за удовлетворение его я не заплатил бы и двух су — секрет же, думал я, так быстро и так верно смягчающий сердце каждой женщины, к которой вы подходите, по меньшей мере равноценен философскому камню: владей я обеими Индиями, я бы охотно отдал одну из них, чтобы получить его в свое распоряжение.

Почти всю ночь мозги мои трудились над разрешением этой загадки, но безрезультатно; когда я проснулся утром, то почувствовал, что дух мой так же встревожен *снами*, как некогда ими встревожен был дух царя Вавилонского; и я без колебания готов утверждать, что все парижские мудрецы пришли бы в такое же замешательство при попытке их истолковать, как и мудрецы халдейские.

¹ Это отказ от прав благородного звания, сударь (*франц.*).

LE DIMANCHE ¹
ПАРИЖ

Было воскресенье, и когда Ла Флер явился утром с кофе-ем и круглой булочкой с маслом, он был так разнаряжен, что я едва его узнал.

Я обещал в Монтрее подарить ему по приезду в Париж новую шляпу с серебряной пуговицей и серебряным позументом и четыре луидора rouge s'adoniser², и бедняга Ла Флер, надо отдать ему справедливость, сделал на них чудеса.

Он купил блестящий, чистый, хорошей сохранности ярко-красный кафтан и такого же цвета штаны. — Он даже на крону не изношен, — сказал он, — я готов был послать его к черту за эти слова. — Костюм его имел такой свежий вид, что хотя я и знал, что это не так, а все-таки предпочитал тешиться мыслью, будто я купил его для своего слуги новым, только бы не слушать о его происхождении с Rue de Friperie³.

Но в Париже тонкость эта не причиняет большого огорчения.

Сверх того, слуга мой купил красивый голубой атласный жилет, довольно замысловато вышитый — он, правда, сильнее потерпел от долгой службы, но был тщательно вычищен — золото было подновлено, и в целом он имел скорее эффектный вид, — а так как его голубой цвет был не яркий, то он отлично подходил к кафтану и штанам. Ла Флер, вдобавок выкроил из этих денег новый кошелек для волос и черный шелковый бант к нему, а также выторговал у friperie⁴ пару золотых подвязок для штанов у колен. — Он купил муслиновые рукавички, bien brodées⁵, за четыре ливра из собственных денег — да за пять ливров пару белых шелковых чулок — и в довершение всего природа наделила его приятной наружностью, не взяв с него за это ни одного су.

В этом наряде он вошел ко мне в комнату, причесанный на загляденье, с красивым букетом на груди — словом, все на нем имело праздничный вид, сразу напомнивший мне о том, что было воскресенье, — и, сопоставив одно с другим, я мигом сообразил, что милость, о которой он хотел попросить меня накануне вечером, заключалась в разрешении ему провести

¹ Воскресенье (франц.).

² Чтобы принарядиться (франц.).

³ Барахолки (франц.).

⁴ Старьевщика (франц.).

⁵ Красиво вышитые (франц.).

день так, как его всякий проводит в Париже. Только что сделал я это предположение, как Ла Флер с бесконечной скромностью, но с полным доверием во взгляде, как если бы возможность отказа была исключена, попросил меня отпустить его на этот день *pour faire le galant vis-à-vis de sa maîtresse*¹.

Как раз это самое собирался сделать и я *vis-à-vis* мадам де Р*** — нарочно для этого я удержал нанятую карету, и тщеславие мое не было бы оскорблено, если бы на запятках ее стоял такой нарядный слуга, как Ла Флер; никогда еще не было мне так трудно обойтись без него.

Но в подобных затруднительных случаях надо не уместовать, а прислушиваться к тому, что говорит *чувство* — сыновья и дочери услужения, заключая с нами договор, расстаются со своей свободой, а не с требованиями своей природы; у них есть плоть и кровь, и в доме неволи им так же присущи маленькие суетные желанья, как и тем, кто задает им работу, — конечно, за свое самоотречение они назначают цену — и их ожидания так неумеренны, что я часто с удовольствием их бы разочаровал, если бы их положение не давало мне на это слишком больших прав.

Смотри! — *Смотри,* — я твой слуга — это сразу отнимает у меня все права господина.

— Можешь идти, Ла Флер, — сказал я.

— Как же ты успел, Ла Флер, — сказал я, — за такой короткий срок обзавестись в Париже возлюбленной? — Ла Флер положил руку на грудь и сказал, что это *petite demoiselle* в доме графа де Б***. — Ла Флер обладал сердцем, созданным для общества, и, сказать правду, так же редко упускал случай, как и его господин, — словом, так или иначе, а как — господь ведает — он завязал знакомство с *demoiselle* на площадке лестницы в то время, как я занят был своим паспортом; и если этого времени мне было достаточно, чтобы расположить графа в свою пользу, то и Ла Флеру удалось в этот же срок расположить к себе девушку. — Граф со всеми своими домочадцами, очевидно, собирался на этот день в Париж, и Ла Флер условился с девушкой и еще двумя или тремя слугами графа погулять по *бульварам*.

Счастливей народ! Ведь он живет в уверенности, что, по крайней мере, раз в неделю может отрешиться от всех своих забот; может танцевать, петь и веселиться, скинув бремя горестей, которое так угнетает дух других наций.

¹ Чтобы поухаживать за своей возлюбленной (*франц.*).

ОТРЫВОК
ПАРИЖ

Ла Флер оставил мне одну вещь, которая развлекала меня в тот день больше, чем я ожидал и чем могло прийти в голову ему или мне.

Он принес мне небольшой кусок масла на листке смородины; и так как утро было теплое, то он выпросил лист макулатуры и положил его между листком смородины и своей ладонью. — Бумага эта вполне могла служить тарелкой, и потому я велел поставить масло на стол в том виде, как он его принес; приняв решение провести весь день дома, я приказал ему сходить к *traiteur'y*¹ и заказать для меня обед, объявив, что завтракать я буду один.

Съев масло, я выбросил листок смородины за окно и собирался поступить таким же образом с листом макулатуры — но остановился, пожелав сначала прочитать строчку написанного на ней, от первой строчки меня потянуло к другой и к третьей — я рассудил, что лист этот достоин лучшей участи, закрыл окно, придвинул стул к бумаге и сел читать.

Текст был на старофранцузском языке времен Рабле и, насколько я понимаю, мог быть написан им самим — вдобавок готические буквы от сырости и давности настолько выцвели и стерлись, что мне стоило огромного труда разобрать хоть что-нибудь. — Я бросил бумагу и написал письмо Евгению — потом взял ее опять и снова принялся истощать над ней свое терпение — а потом, чтобы дать ему отдых, написал письмо Элизе. — Бумага по-прежнему занимала меня, и трудность разобрать текст только увеличивала желание это сделать.

Пообедав и прояснив свой ум бутылкой бургундского, я снова засел за чтение — и после двух или трех часов сосредоточенной работы, потребовавшей от меня почти такого же глубокого внимания, какое Грутер или Яков Сион уделяли когда-нибудь непонятной надписи, мне показалось, будто я добрался до смысла прочитанного; а чтобы в этом окончательно удостовериться, я решил перевести старофранцузский текст на английский язык и посмотреть, что получится. Я принялся за работу не спеша, как ничем не занятый человек: писал фразу — потом прохаживался по комнате — потом подходил к окну и смотрел, что на свете делается; таким образом, я кончил свою работу только в девять часов вечера — тогда я прочитал все сначала, и получилось следующее:

¹ Трактирщику (*франц.*).

ОТРЫВОК

ПАРИЖ

Когда жена нотариуса слишком горячо заспорила с нотариусом относительно этого пункта — я хотел бы, — сказал нотариус (бросая наземь пергамент), — чтобы здесь был еще один нотариус только для того, чтобы записать и засвидетельствовать все это —

— А что бы вы делали потом, мосье? — сказала она, поспешно вставая, — жена нотариуса была женщина немного вспыльчивая, и нотариус почел благоразумным избежать бури при помощи мягкого ответа. — Я бы пошел, — отвечал он, — спать. — Можете пойти хоть к черту, — отвечала жена нотариуса.

Случилось, что у них в доме была только одна кровать (две другие комнаты, как это принято в Париже, не были обставлены), и нотариус, не чувствуя никакого желания лечь в одну кровать с женщиной, которая только сейчас ни с того ни с сего послала его к черту, взял шляпу и палку, накинул короткий плащ, так как ночь была очень ветреная, и в дурном расположении духа зашагал по направлению к Pont Neuf.

Кому случалось проходить по Pont Neuf, тот не может не признать, что из всех когда-либо построенных мостов это благороднейший — изящнейший — величественнейший — легчайший — длиннейший и широчайший мост, какой только соединял берег с берегом на поверхности нашего состоящего из суши и воды шара —

Отсюда как будто следует, что автор этого отрывка не был француз.

Тягчайшее обвинение, которое могут возбудить против него богословы и доктора Сорбонны, состоит в том, что если в Париже или возле Парижа найдется хотя бы горсточка ветра, то его кланут там кощунственней, чем на каком-либо другом открытом месте во всем городе, — и кланут совершенно правильно и основательно, Messieurs; — ведь он бросается на вас, не крикнув предварительно garde d'eau¹, и такими непредвиденными порывами, что среди немногих пешеходов, вступающих на него со шляпой на голове, не сыщется и одного на пятьдесят, который не рисковал бы двумя с половиной ливрами, составляющими красную цену шляпы.

Бедный нотариус инстинктивно прижал ее сбоку палкой, как раз когда проходил мимо часового; однако, поднимая пал-

¹ Берегись воды (франц.).

ку, он зацепил концом ее за позумент на шляпе часового и перекинул ее через перила моста прямо в Сену —

— *Плох тот ветер*, — сказал поймавший ее лодочник, — *что никому добра не надует*.

Часовой-гасконец мигом подкрутил усы и навел свою аркебузу.

В те дни из аркебуз стреляли при помощи фитилей; тут случилось, что у одной старухи на конце моста задуло бумажный фонарь, и она заняла у часового фитиль, чтобы его засветить, — это дало время остынуть крови гасконца и позволило ему обратиться происшествие в свою пользу. — *Плох тот ветер*, — сказал он, срывая с нотариуса кастановую шляпу и узаконивая ее присвоение пословицей лодочника.

Бедный нотариус перешел мост и направился по улице Дофина в Сен-Жерменское предместье, изливая по дороге такие жалобы:

— Незадачливый я человек! — говорил нотариус, — всю свою жизнь быть игрушкой ураганов — родиться для того, чтобы везде, где бы я ни появился, против меня и моей профессии поднималась буря ругани, — быть вынужденным громами церкви к браку с женщиной-вихрем — быть выгнанным из собственного дома семейными ветрами и лишиться кастановой шляпы от порыва ветров мостовых — находиться с непокрытой головой в ненастную ночь, в полной зависимости от игры случайности — где приклоню я главу мою? — Несчастный человек! Какой же ветер из обозначенных на тридцати двух румбах компаса навевет тебе наконец что-нибудь хорошее, как прочим твоим ближним?

Когда нотариус, жалуясь таким образом на свою судьбу, проходил мимо одного темного переулка, чей-то голос подозвал девушку и велел ей бежать за ближайшим нотариусом — и так как наш нотариус был ближайший, то, воспользовавшись своим положением, он отправился по переулку к дверям, и его ввели через старомодную приемную в большую комнату без всякого убранства, кроме длинной боевой пики — нагрудных лат — старого заржавленного меча и перевязи, висевших на стене на равных расстояниях друг от друга.

Пожилой человек, который когда-то был дворянином и, если упадок благосостояния не сопровождается порчей крови, оставался им и по сие время, лежал в постели, подперев голову рукой; к постели придвинут был столик с горящей свечой, а возле столика стоял стул — нотариус сел на него и, достав из кармана чернильницу и несколько листов бумаги, положил

их перед собой, после чего обмакнул перо в чернила, прислонился грудью к столу и все приготовил, чтобы составить последнюю волю и завещание пригласившего его дворянина.

— Увы! Господин нотариус, — сказал дворянин, немного приподнявшись на постели, — я не могу завещать ничего, что покрыло хотя бы издержки по составлению завещания, за исключением истории моей жизни, которую непременно должен оставить в наследство миру, иначе я не в состоянии буду спокойно умереть; доходы от нее я завещаю вам в награду за взятый на себя труд записать ее — это такая необыкновенная история, что ее обязательно должен прочитать весь человеческий род — она принесет богатство вашему дому — нотариус обмакнул перо в чернильницу. — Всемогущий распорядитель всей моей жизни! — сказал старый дворянин, с горячим убеждением возведя взор и подняв руки к небу, — ты, чья рука привела меня по такому лабиринту извилистых переходов на это безрадостное поприще, приди на помощь слабеющей памяти убитого горем немощного старика — да направляет языком моим дух извечной твоей правды, чтоб этот незнакомец запечатлел на бумаге лишь то, что написано в *Книге*, согласно показаниям которой, — сказал он, стиснув руки, — я буду осужден или оправдан! — Нотариус держал кончик пера между свечой и своими глазами —

— История эта, господин нотариус, — сказал дворянин, — окажет живое действие на чувство каждого — она убьет мягкосердечного и пробудит сострадание в сердце самой жестокости —

— Нотариус горел желанием начать, и в третий раз погрузил перо в чернильницу — тогда старый дворянин, повернувшись к нотариусу, начал диктовать свою историю следующим образом —

— А где же остальное, Ла Флер? — спросил я, так, как слуга мой в эту минуту вошел в комнату.

ОТРЫВОК И БУКЕТ

ПАРИЖ

Когда Ла Флер подошел ближе к столу и я ему растолковал, чего мне не хватает, он мне сказал, что было еще только два таких листа, но он завернул в них, чтобы цветы крепче держались, букет, который преподнес своей *demoiselle na буль-*

варах. — Так, пожалуйста, Ла Флер, — сказал я, — ступай к ней сейчас же в дом графа де Б*** и *посмотри, нельзя ли раздобыть эти листы.* — Разумеется, можно, — сказал Ла Флер — и выбежал вон.

Через самое короткое время бедняга прибежал обратно, совсем запыхавшись, с выражением более глубокого разочарования на лице, чем то, что могло быть вызвано непоправимой утратой отрывка — *Juste ciel!*¹ Не прошло и двух минут после того, как бедняга самым нежным образом с ней распростился, — неверная его возлюбленная отдала его *gage d'amour*² одному из лакеев графа — лакей отдал молоденькой швее, — а швея скрипачу с моим отрывком, в который он был завернут. — Неудачи наши переплелись между собой — я вздохнул — и вздох Ла Флера эхом раздался в моих ушах —

— Какое вероломство! — воскликнул Ла Флер. — Какое несчастье! — сказал я —

— Я бы не сокрушался, мосье, — проговорил Ла Флер, — если бы она его потеряла. — Я тоже, Ла Флер, — сказал я, — если бы я его нашел.

Нашел я его или нет, это будет видно дальше.

АКТ МИЛОСЕРДИЯ

ПАРИЖ

Человек, который гнушается или боится заходить в темные закоулки, может обладать превосходнейшими качествами и быть способным к сотне вещей; но из него никогда не получится хорошего чувствительного путешественника. Я не придаю большого значения многому из того, что вижу среди бела дня на больших открытых улицах. — Природа стыдлива и не любит играть перед зрителями; но в укромном уголке вы иногда увидите исполненную ею отдельную коротенькую сцену, стоящую всех *sentiments* дюжины французских пьес, взятых вместе, — хотя они *безусловно* изящны; — и каждый раз, когда мне предстоит более торжественное выступление, чем обыкновенно, я не задумываясь беру из них тему для моей проповеди, ведь они годятся для проповедника не хуже, чем для героя — а что

¹ Праведное небо! (*франц.*).

² Залог любви (*франц.*).

касается текста, то — «Каппадокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия» — подойдет к ней с таким же успехом, как и всякий другой текст из Библии.

Есть длинный темный проход, ведущий от Opéra comique в одну узкую улицу; им пользуются немногие посетители театра, терпеливо дожидаящиеся fiacre'a¹ или желающие спокойно пойти пешком по окончании оперы. Ближайший к театру конец этого прохода освещается тоненькой свечкой, но свет ее пропадает еще раньше, чем вы прошли половину пути, а возле дверей свеча служит скорее для украшения, чем для практического применения: вам она представляется неподвижной звездой самой последней величины; она горит — но, насколько нам известно, миру от нее мало пользы.

Возвращаясь домой по этому проходу, я различил в пяти или шести шагах от дверей двух дам, стоявших рука об руку спиной к стене, должно быть, в ожидании фиакра, — так как они были ближе к дверям, то я решил, что им принадлежит право первенства, и, потихоньку подойдя на расстояние ярда или немного более, стал спокойно ждать — благодаря черному костюму я был почти незаметен в темноте.

Дама, стоявшая ближе ко мне, была высокая худощавая женщина лет тридцати шести; другой, такого же роста и сложения, было лет сорок; в наружности их не заключалось ни одной черты, которая говорила бы, что они женщины замужние или вдовы — с виду это были две добродетельные сестры-весталки, не истощенные ласками, не надломленные нежными объятиями: у меня могло бы возникнуть желание их осчастливить — в этот вечер счастьем суждено было прийти к ним с другой стороны.

Тихий голос в изящно построенных и приятных для слуха выражениях обращался к обеим дамам с просьбой подать, ради Христа, монету в двенадцать су. Мне показалось странным, что нищий назначает размер милостыни и что просимая им сумма в двенадцать раз превосходит то, что обыкновенно подают в темноте. Обе дамы были, по-видимому, удивлены не меньше моего. — Двенадцать су! — сказала одна. — Монету в двенадцать су! — сказала другая, — и ни та, ни другая ничего не ответили нищему.

Бедный человек сказал, что у него язык не поворачивается попросить меньше у дам такого высокого звания, и поклонился им до самой земли.

¹ Извозчичья карета. — *Л. Стерн.*

— Гм! — сказали о н и , — у нас нет денег.

Нищий хранил молчание минуту или две, а потом возобновил свои просьбы.

— Не затыкайте передо мной ваших благосклонных ушей, прекрасные молодые да м ы , — сказал о н . — Честное слово, почтенный, — отвечала младш а я , — у нас нет мелочи. — Да благословит вас б о г , — сказал бедняк, — и да умножит те радости, которые вы можете доставить другим, не прибегая к мелочи! — Я заметил, что старшая сестра опустила руку в карман. — Посмотрю, — сказала о н а , — не найдется ли у меня одного с у . — Одного су! Дайте двенадцать, — сказал проситель. — Природа была к вам так щедра, будьте же и вы щедры к бедняку.

— Я бы дала от всего сердца, мой друг, — сказала младш а я , — если бы у меня было что дать.

— Милосердная красавица! — сказал нищий, обращаясь к старшей. — Что же, как не доброта и человеколюбие, придает ясным вашим очам ласковый блеск, от которого даже в этом темном проходе они сияют ярче утра? И что сейчас побудило маркиза де Санterra и его брата так много говорить о вас обеих, когда они проходили мимо?

Обе дамы были, по-видимому, очень растроганы; повинувшись какому-то внутреннему побуждению, они обе одновременно опустили руку в карман и вынули каждая по монете в двенадцать су.

Пререкания между ними и бедным просителем больше не было — оно продолжалось только между сестрами, которой из них следует подать монету в двенадцать су — и, чтобы положить конец спору, обе они подали вместе, и нищий удалился.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ

ПАРИЖ

Я поспешно зашагал вслед за ним: это был тот самый человек, который просил милостыню у женщин возле подъезда гостиницы и поставил меня в тупик своим успехом. — Я сразу открыл его секрет или, по крайней мере, основу этого секрета — то была лесть.

Восхитительная эссенция! Как освежающе действуешь ты на природу! Как могущественно склоняешь на свою сторону все ее силы и все ее слабости! Как сладко проникновение

твое в кровь и как ты облегчаешь движение ее к сердцу по самым трудным и извилистым протокам!

Бедняк, не будучи стеснен недостатком времени, отпустил более крупную дозу этим женщинам; разумеется, он владел искусством давать ее в меньшем количестве при многочисленных неожиданных встречах на улице; но каким образом ухитрялся он приспособлять ее к обстоятельствам, подслащивать, стучать и разбавлять, — я не стану утруждать свой ум этим вопросом — довольно того, что нищий получил две монеты по двенадцати су — а остальное лучше всего могут рассказать те, кому удалось добыть этим способом гораздо больше.

ПАРИЖ

Мы преуспеваем в свете, не столько оказывая услуги, сколько получая их: вы берете увядшую веточку и втыкаете в землю, а потом поливаете, потому что сами ее посадили.

Господин граф де Б***, потому только, что он оказал мне услугу при получении паспорта, пожелал пойти дальше и в несколько дней, проведенных им в Париже, оказал мне другую услугу, познакомив с несколькими знатными особами, которым пришлось представить меня другим, и так далее.

Я овладел моим *секретом* как раз вовремя, чтобы извлечь из оказанного мне внимания кое-какую пользу; в противном случае, как это обыкновенно бывает, новые мои знакомые пригласили бы меня раз-другой к обеду или к ужину, а затем, *переводя* французские взгляды и жесты на простой английский язык, я бы очень скоро *заметил*, что завладел *couvert'*ом¹ какого-нибудь более интересного гостя; и мне, конечно, пришлось бы уступить одно за другим все мои места просто потому, что я бы не мог их удержать. — Но при сложившихся обстоятельствах дела мои пошли не так уж плохо.

Я имел честь быть представленным старому маркизу де Б****: в былые дни он отличился кой-какими рыцарскими подвигами на *Cour d'armes*² и с тех пор всегда рядился соответственно своему представлению о поединках и турнирах — маркизу де Б**** хотелось, чтобы другие думали, что они разыгрываются не только в его фантазии. «Он был бы очень не прочь прокатиться в Англию» и много расспрашивал об

¹ Тарелка, салфетка, нож, вилка и ложка. — *Л. Стерн.*

² Поле любви (*франц.*).

английских дамах. — Оставайтесь во Франции, умоляю вас, господин маркиз, — сказал я. — Les messieurs Anglais к без того едва могут добиться от своих дам милостивого взгляда. — Маркиз пригласил меня ужинать.

Мосье П***, откупщик податей, проявил такую же любознательность по части наших налогов. — Они у нас, как он слышал, очень внушительны. — Если бы мы только знали, как их собирать, — сказала я, низко ему поклонившись.

На других условиях я бы ни за что не получил приглашения на концерты мосье П***.

Меня ложно отрекомендовали мадам де К*** в качестве esprit¹. — Мадам де К*** сама была esprit; она сгорала от нетерпения увидеть меня и послушать, как я говорю. — Еще не успел я сесть, как заметил, что ее ни капельки не интересует, есть у меня остроумие или нет. Я был принят, чтобы убедиться в том, что оно есть у нее. — Призываю небеса в свидетели, что я ни разу не открыл рта у нее в доме.

Мадам де К*** клялась каждому встречному, что «никогда в жизни она ни с кем не вела более поучительного разговора».

Владычество французской дамы распадается на три эпохи. — Сначала она кокетка — потом деистка — потом dévoté². В течение всего этого времени она ни на минуту не выпускает власти из рук — она только меняет подданных: когда к тридцати пяти годам в ее владениях редуют толпы рабов любви, она вновь их населяет рабами неверия — а потом рабами церкви.

Мадам де В*** колебалась между первыми двумя эпохами: румянец ее быстро блекнул — ей бы следовало сделаться деисткой за пять лет до того, как я имел честь сделать ей мой первый визит.

Она посадила меня рядом с собой на диван, чтобы таким образом вплотную обсудить вопрос о религии. — Словом, мадам де В*** призналась мне, что она ни во что не верит.

Я сказал мадам де В***, что пусть таковы ее убеждения, но я считаю, что не в ее интересах срывать форпосты, без которых для меня непонятна возможность защиты такой крепости, как та, которой владеет она, — что для красавицы нет более опасной вещи на свете, чем быть деисткой, — что мой долг человека верующего запрещает мне скрывать это от нее — что не просидел я и пяти минут на диване рядом с ней,

¹ Остряка (франц.).

² Богомолка (франц.).

как уже начал строить замыслы, — и что же, как не религиозные чувства и убеждение, что они теплятся и в ее груди, могло задушить эти нечистые мысли в самом их зародыше?

— Мы не каменные, — сказал я, беря ее за руку, — и мы нуждаемся во всевозможных средствах обуздания, пока к нам не подкрадется в положенное время возраст и не наденет на нас своей узды, — однако, дорогая леди, — сказал я, целуя ей руку, — вамеще слишком, — слишком рано —

Могу смело утверждать, что по всему Парижу про меня пошла слава, будто я вернул мадам де В*** в лоно церкви. — Она уверяла мосье Д**** и аббата М***, что я за полчаса больше сказал в пользу религии откровения, чем вся Энциклопедия сказала против нее. — Я был немедленно принят в Coterie¹ мадам де В***, и она отсрочила эпоху деизма еще на два года.

Помню, в этой Coterie среди речи, в которой я доказывал необходимость *первой причины*, молодой граф де Fainéant² взял меня за руку и отвел в дальний угол комнаты, чтобы сказать мне, что мой *солитер* приколот слишком плотно ушей. — Он должен быть plus badinant³, — сказал граф, взглядывая на свой, — однако одного слова, мосье Йорик, мудрому —

— И от мудрого, господин граф, — отвечал я, делая ему поклон, — будет достаточно.

Граф де Fainéant обнял меня с таким жаром, как не обнимал меня еще ни один из смертных.

Три недели сряду я разделял мнения каждого, с кем встречался. — Pardi! ce Mons. Yorick a autant d'esprit que nous autres. — Il raisonne bien, — говорил другой. C'est un bon enfant⁴, — говорил третий. — И такой ценой я мог есть, пить и веселиться в Париже до окончания дней моих; но то был позорный *счет* — я стал его стыдиться. — То был заработок раба — мое чувство чести возмутилось против него — чем выше я поднимался, тем больше попадал в *положение нищего* — чем избраннее Coterie — тем больше детей Искусственности — я затосковал по детям Природы. И вот однажды вечером, после того как я гнуснейшим образом продавался полудюжине различных людей, мне стало тошно — я лег в постель — и велел Ла Флеру заказать наутро лошадей, чтобы ехать в Италию.

¹ Круг близких знакомых (франц.).

² Бездельник (франц.).

³ Свободнее (франц.).

⁴ Ей-ей, этот господин Йорик так же остроумен, как и мы. — Он здраво рассуждает. — Славный малый (франц.).

МАРИЯ
МУЛЕН

До сих пор никогда и ни в каком виде не испытывал я, что такое горе от изобилия — проезжать через Бурбонне, прелестнейшую часть Франции — в разгар сбора винограда, когда Природа сыплет свое богатство в подол каждому и глаза каждого смотрят вверх, — путешествие, на каждом шагу которого музыка отбивает такт *Труду*, и все дети его с ликованием собирают гроздья, — проезжать через все это, когда твои чувства переливаются через край и когда их воспламеняет каждая стоящая впереди группа — и каждая из них чревата приключениями.

Праведное небо! — этим можно было бы наполнить двадцать томов — тогда как, увы! у меня в настоящем осталось лишь несколько страничек, на которые все это надо втиснуть, — причем половина их должна быть отведена бедной Марии, которую мой друг, мистер Шенди, встретил вблизи Мулена.

Рассказанная им история этой помешавшейся девушки немало взволновала меня при чтении; но когда я прибыл в места, где она жила, все с такой силой снова встало в моей памяти, что я не в силах был противиться порыву, увлекшему меня в сторону от дороги к деревне, где жили ее родители, чтобы расспросить о ней.

Отправляясь к ним, я, признаться, похож был на Рыцаря Печального Образа, пускающегося в свои мрачные приключения и я, — но не знаю почему, а только я никогда с такой ясностью не сознаю существования в себе души, как в тех случаях, когда сам пускаюсь в такие приключения.

Старушка мать вышла к дверям, лицо ее рассказало мне грустную повесть еще прежде, чем она открыла рот. — Она потеряла мужа; он умер, по ее словам, месяц тому назад от горя, вызванного помешательством Марии. — Сначала она боялась, добавила старушка, что это отнимет у ее бедной девочки последние остатки рассудка — но это, напротив, немного привело ее в себя — все-таки она еще не может успокоиться — ее бедная дочь, сказала она с плачем, бродит где-нибудь возле дороги —

— Отчего же мой пульс бьется так слабо, когда я это пишу? и что заставило Ла Флера, сердце которого казалось

приспособленным только для радости, дважды провести тыльной стороной руки по глазам, когда женщина стояла и рассказывала? Я дал знак кучеру, чтобы он повернул назад, на большую дорогу.

Когда мы были уже в полулье от Мулена, я увидел в просвет на боковой дороге, углублявшейся в заросли, бедную Марию под тополем — она сидела, опершись локтем о колено и положив на ладонь склоненную набок голову — под деревом струился ручеек.

Я велел кучеру ехать в Мулен, — а Ла Флеру заказать мне ужин — объявив ему, что хочу пройти пешком.

Мария была одета в белое, совсем так, как ее описал мой друг, только волосы ее, раньше убранные под шелковую сетку, теперь падали свободно. — Как и раньше, через плечо у нее, поверх кофты, была перекинута бледно-зеленая лента, спадавшая к талии; на конце ее висела свирель. — Козлик ее оказался таким же неверным, как и ее возлюбленный; вместо него она достала собачку, которая была привязана на веревочке к ее поясу. — «Ты меня не покинешь, Сильвио», — сказала она. Я посмотрел Марии в глаза и убедился, что она думает больше об отце, чем о возлюбленном или о козлике, потому что, когда она произносила эти слова, слезы заструились у нее по щекам.

Я сел рядом с ней, и Мария позволила мне утирать их моим платком, когда они падали, — потом я смочил его собственными слезами — потом слезами Марии — потом своими — потом опять утер им ее слезы — и, когда я это делал, я чувствовал в себе неопишное волнение, которое, я уверен, невозможно объяснить никакими сочетаниями материи и движения.

Я нисколько не сомневаюсь, что у меня есть душа, и все книги, которыми материалисты наводнили мир, никогда не убедят меня в противном.

МАРИЯ

Когда Мария немного пришла в себя, я спросил, помнит ли она худощавого бледного человека, который сидел между нею и ее козликом года два тому назад? Она сказала, что была в то время очень расстроена, но запомнила это по двум причи-

нам — во-первых, хотя ей было нехорошо, она видела, что проезжий ее жалеет, а во-вторых, потому, что козлик украл у него носовой платок и за кражу она его прибила — она выстирала платок в ручье, сказала она, и с тех пор всегда носит его в кармане, чтобы вернуть моему знакомому, если когда-нибудь снова его увидит, а он, прибавила она, наполовину ей это обещал. Сказав это, она вынула платок из кармана, чтобы показать мне; она его бережно завернула в два виноградных листа и перевязала виноградными усиками, — развернув его, я увидел на одном из углов метку «Ш».

С тех пор она, по ее словам, совершила путешествие в самый Рим и обошла однажды вокруг собора Святого Петра — потом вернулась домой — она одна отыскала дорогу через Апеннины — прошла всю Ломбардию без денег — а Савойю, с ее каменистыми дорогами, без башмаков — как она это вынесла и как преодолела, она не могла объяснить — но для *стриженной овечки*, — сказала Мария, — *бог унимает ветер*.

— И точно стриженной! До живого мяса, — сказал я. — Будь ты на моей родине, где есть у меня хижина, я взял бы тебя к себе и приютил бы тебя: ты ела бы мой хлеб и пила бы из моей чашки — я был бы ласков с твоим Сильвио — во время твоих припадков слабости и твоих скитаний я следил бы за тобой и приводил бы тебя домой — на закате солнца я читал бы молитвы, а по окончании их ты играла бы на свирели свою вечернюю песню, и фимиам моей жертвы был бы принят не хуже, если бы он возносился к небу вместе с фимиамом разбитого сердца.

Естество мое размягчилось, когда я произносил эти слова; и Мария, заметив, когда я вынул платок, что он уже слишком мокрый и не годится для употребления, пожелала непременно выстирать его в ручье. — А где же вы его высушите, Мария? — спросил я. — Я высушу его у себя на груди, — отвечала она, — мне будет от этого лучше.

— Разве сердце ваше и до сих пор такое же горячее, Мария? — сказал я.

Я коснулся струны, с которой связаны были все ее горести, — она несколько секунд пытливо смотрела мне в лицо помутившимся взором; потом, ни слова не говоря, взяла свою свирель и сыграла на ней гимн Пресвятой деве. — Струна, которой я коснулся, перестала дрожать — через одну-две минуты Мария снова пришла в себя — выронила свирель — и встала.

— Куда же вы идете, Мария? — спросил я. — В Мулен, — сказала она. — Пойдемте, — сказала я, — вместе. — Мария взяла меня под руку, отпустила подлиннее веревочку, чтобы собака могла бежать за нами, — в таком порядке вошли мы в Мулен.

МАРИЯ

МУЛЕН

Хотя я терпеть не могу приветствий и поклонов на рыночной площади, все-таки, когда мы вышли на середину площади в Мулене, я остановился, чтобы в последний раз взглянуть на Марию и сказать ей последнее прости.

Мария была хоть и невысокого роста, однако отличалась необыкновенным изяществом сложения — горе наложило на черты ее налет чего-то почти неземного — все-таки она сохранила женственность — и столько в ней было всего, к чему тянется сердце и чего ищет в женщине взор, что если бы в мозгу ее могли изгладиться черты ее возлюбленного, а в моем — черты Элизы, она бы *не только ела мой хлеб и пила из моей чашки*, нет — Мария покоилась бы на груди моей и была бы для меня как дочь.

Прощай, бедная, несчастливая девушка! Пусть раны твои впитают елей и вино, проливаемые на них теперь состраданием чужеземца, который идет своей дорогой, — лишь тот, кто дважды тебя поразил, может уврачевать их навек.

БУРБОННЕ

Ничто не сулило мне такого буйного и веселого пира ощущений, как поездка по этой части Франции во время сбора винограда; но так как я проник туда через ворота горя, то страдания сделали меня совершенно невосприимчивым: в каждой праздничной картине видел я на заднем плане Марию, задумчиво сидящую под тополем; так я доехал почти до Лиона и только тогда приобрел способность набрасывать тень на ее образ —

— Милая *Чувствительность!* неисчерпаемый источник всего драгоценного в наших радостях и всего возвышающего в наших горестях! Ты приковываешь твоего мученика к соломенному ложу — и ты же возносишь его на *Небеса* — вечный родник наших чувств! — Я теперь иду по следам твоим — ты и есть то «*божество, что движется во мне*» — не потому, что в иные мрачные и томительные минуты «*моя душа страшится и трепещет разрушения*» — пустые звонкие слова! — а потому, что я чувствую благородные радости и благородные тревоги за пределами моей личности — все это исходит от тебя, великий — великий *Сенсорium* мира! Который возбуждается даже при падении волоса с головы нашей в отдаленнейшей пустыне твоего творения. — Движимый тобою, Евгений задерживает занавески, когда я лежу в изнеможении, — выслушивает от меня перечисление симптомов болезни и бранит погоду за расстройство собственных нервов. Порой ты одеяешь частицей естества твоего самого грубого крестьянина, бредущего по самым неприятным горам, — он находит растерзанного ягненка из чужого стада. — Сейчас я увидел, как он наклонился, прижавшись головой к своему посоху, и жалостливо смотрит на него! — Ах, почему я не подоспел минутой раньше! — он истекает кровью — и чувствительное сердце этого крестьянина истекает кровью вместе с ягненком —

Мир тебе, благородный пастух! — Я вижу, как ты с сокрушением отходишь прочь — но печаль твоя будет заглушена радостью — ибо счастлива твоя хижина — и счастлива та, кто ее с тобой разделит — и счастливы ягнята, резвящиеся вокруг тебя!

УЖИН

Так как в самом начале подъема на гору Тарар у коренника на передней ноге расшаталась подкова, то кучер слез, открутил ее и положил в карман; между тем подъем этот тянется пять или шесть миль, и на коренника была вся наша надежда, почему я настойчиво потребовал, чтобы подкова была снова как-нибудь прикреплена нашими собственными средствами; но кучер выбросил гвозди, а так как без них от молотка, лежавшего в ящике под козлами, было мало пользы, то я покорился, и мы поехали дальше.

Не поднялись мы в гору и полумили, как незадачливый конь потерял на каменистом участке дороги другую подкову, и притом с другой передней ноги; тогда я уже не шутя вышел из кареты и, увидя в четверти мили налево от дороги дом, уговорил кучера, хотя и не без некоторого труда, повернуть к нему. Когда мы подъехали ближе, вид дома и всего, что находилось возле него, скоро примирил меня с постигшим нас несчастьем. — То был домик фермера, окруженный виноградником и хлебным полем площадью акров в сорок, — а к самому дому примыкали с одной стороны potagerie¹ акра в полтора, где было в изобилии все, что составляет достаток в хозяйстве французского крестьянина, — а с другой стороны рошица, дававшая дрова, чтобы все это стряпать. Было часов восемь вечера, когда я подошел к ферме, — кучера я оставил управляться с подковами, как он знает, — а сам направился прямо в дом.

Семья состояла из старого, убеленного сединой фермера и его жены, с пятью или шестью сыновьями или зятьями и их женами, а также веселым их потомством.

Все они сидели вместе за чечевичной похлебкой; большой пшеничный каравай лежал посреди стола, а кувшины вина на каждом конце его сулили веселье в перерывах между едой — то был пир любви.

Старик поднялся навстречу мне и с почтительной сердечностью пригласил меня сесть за стол; сердце мое было с ними уже с минуты, когда я вошел в комнату; вот почему я, не чинясь, подсел к ним, как член семьи; чтобы как можно скорее войти в эту роль, я немедленно попросил нож у старика, взял каравай и отрезал себе внушительный ломоть; когда я это сделал, я увидел в глазах каждого выражение не просто радушного привета, но привета, соединенного с благодарностью за то, что у меня не возникло на этот счет никаких сомнений.

Потому ли, — а если нет, то скажи мне, Природа, по какой другой причине — так сладок был для меня этот кусок — и какому волшебству обязан я тем, что глоток, выпитый мной из их кувшина, тоже был так восхитителен, что и по сей час я чувствую во рту их вкус?

Если ужин фермеров пришелся мне по душе — то еще гораздо более по душе пришлась молитва по его окончании.

¹ Правильнее «potager» — огород и фруктовый сад (франц.).

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА

Когда ужин был кончен, старик постучал по столу рукояткой ножа — то был знак приготовиться к танцам; как только он был дан, все женщины и девушки разом бросились в заднюю комнату заплести волосы — а молодые люди — к дверям, чтобы умыться и переменить свои сабо; через три минуты все уже собрались на лужайке перед домом, готовые начать. — Старый фермер и его жена вышли последними и, поместив меня между собой, сели на дерновую скамью возле дверей.

Лет пятьдесят назад старик был большой искусник в игре на рыхлах — да еще и теперь, несмотря на преклонные годы, мог недурно исполнить на этом инструменте музыку для танцев. Жена его время от времени тихонько подпевала — потом умолкала — потом снова вторила старику, в то время как их дети и внуки танцевали на лужайке.

Лишь на середине второго танца, по маленьким паузам в движении, во время которых все они как будто возводили взоры к небу, мне почудилось, будто я замечаю в них некоторое воспарение духа, непохожее на то, что бывает причиной или действием простой веселости. — Словом, мне показалось, что я вижу осенившую танец *религию* — но так как я еще никогда не наблюдал ее в таком сочетании, то принял бы это за обман вечно сбивающего меня с толку воображения, если бы старик по окончании танца не сказал мне, что так у них принято и что он всю свою жизнь ставил себе правилом приглашать свою семью после ужина к танцам и веселью; ибо, по его словам, он твердо верил, что радостная и довольная душа есть лучший вид благодарности, который может принести небу неграмотный крестьянин —

— А также ученый прелат, — сказал я.

ЩЕКОТЛИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Когда вы достигли вершины горы Тарар, вы тотчас начинаете спускаться к Лиону — прощай тогда быстрое передвижение! Ехать надо с осторожностью; чувствам нашим тоже полезно, если мы с ними не торопимся; таким образом, я дого-

ворился с *voiturin'*¹, чтобы он не очень усердно погонял пару своих мулов и благополучно довел меня в собственной моей карете в Турин через Савойю.

Бедный, терпеливый, смиренный, честный народ! Не бойся: мир не позарится на твою бедность, сокровищницу простых твоих добродетелей, и долины твои не подвергнутся его нашествию. — Природа! при всех твоих неустройствах, ты все же милостива к тобою созданной скудости, — по сравнению с великими твоими произведениями, мало оставила ты на долю косы и серпа — но эту малость взяла ты под свою защиту и покровительство, и радуют взор жилища, которым обеспечена такая надежная охрана.

Пусть измученный ездой путешественник изливает свои жалобы на крутые повороты и опасности твоих дорог — на твои скалы — на твои пропасти — на трудности подъемов — на ужасы спусков — на неприступные горы — и водопады, низвергающие с вершин огромные камни, которые преграждают ему путь. — Крестьяне целый день трудились, убирая такую глыбу между Сен-Мишелем и Моданой, и когда мой возница подъехал к этому месту, они провозились еще добрых два часа, прежде чем проезд был кое-как расчищен: нам оставалось только терпеливо ждать. — Ночь была сырая и бурная, так что вследствие непредвиденной задержки, а также по случаю непогоды возница мой вынужден был, не доезжая пяти миль до своей станции, завернуть в маленький опрятный постоялый двор у самой дороги.

Я немедленно расположился в отведенной мне спальне — велел затопить камин — заказал ужин; я благодарил небо, что не случилось ничего худшего — как вдруг подкатила карета, в которой сидела какая-то дама со своей служанкой.

Так как другой спальни в доме не было, то хозяйка, не долго думая, привела приезжих в мою, сказав в дверях, что там никого нет, кроме одного английского джентльмена, — что там стоят две хорошие кровати, а в каморке рядом есть еще третья — тон, которым она упомянула об этой третьей кровати, мало говорил в ее пользу — во всяком случае, сказала она, на троих приезжих есть три кровати — и она решается выразить уверенность, что английский джентльмен постарается все уладить. — Я не дал даме ни минуты на размышление — и немедленно объявил о своей готовности сделать все, что в моих силах.

¹ Возница (*франц.*).

Так как это не означало полной уступки моей спальни, то я еще настолько чувствовал себя в ней хозяином, чтобы иметь право принимать гостей, — поэтому я предложил даме садиться — заставил ее занять самое теплое место — велел подкинуть дров — попросил хозяйку расширить программу ужина и потчевать нас самым лучшим вином.

Погревшись минут пять у огня, дама начала оборачиваться и поглядывать на кровати; и чем чаще она кидала взоры в ту сторону, тем с большей озабоченностью их отводила. — Я почувствовал сострадание к ней — и к самому себе, потому что очень скоро ее взгляды и вся обстановка привели меня в такое же замешательство, какое, вероятно, испытывала она сама.

Достаточной причиной нашего смущения могло служить уже то, что кровати, в которые мы должны были лечь, стояли в одной комнате — но их расположение (они поставлены были параллельно и так близко одна от другой, что между ними едва умещался маленький плетеный стул) делало обстановку комнаты для нас еще более стеснительной, — кроме того, кровати находились у самого огня, и выступ камина с одной стороны, а с другой широкая балка, пересекавшая комнату, создавали для них род углубления, совсем не подходящего для людей с деликатными чувствами — к этому можно еще присоединить, если сказанного недостаточно, что обе кровати были очень узенькие, и это лишало даму всякой возможности лечь вместе со своей горничной; если бы это было осуществимо, то расположиться на соседней кровати было бы для меня, правда, вещь нежелательной, но не настолько все же ужасной, чтобы она способна была оскорбить мое воображение.

Что же касается соседней каморки, то она не представляла для нас ничего утешительного: сырой, холодный закуток с полуразбитым ставнем и окном, в котором не было ни стекол, ни промасленной бумаги, чтобы защищать от бушевавшей на дворе бури. Я не сделал попытки сдержать свой кашель, когда дама украдкой заглянула туда; таким образом, перед нами неизбежно возникала альтернатива: — либо дама пожертвует здоровьем ради своей щепетильности и поместится в каморке, предоставив кровать рядом со мной горничной — либо девушка займет каморку и т. д. и т. д.

Дама была пьемонтка лет тридцати с пышущими здоровьем щеками. — Ее горничная была двадцатилетняя лионка, на редкость проворная и живая французская девушка. — За-

труднения возникали со всех сторон — и загородившая наш путь каменная глыба, которая поставила нас в это критическое положение, сколь ни огромной она казалась нам, когда крестьяне возлились над ней, была не больше булыжника по сравнению с тем, что лежало теперь на нашем пути. — К этому надо добавить, что угнетавшая нас тяжесть ничуть не облегчалась нашей чрезмерной деликатностью, мешавшей нам высказать друг другу свое мнение по поводу сложившейся обстановки.

Мы сели ужинать, и если бы у нас не было более хмельного вина, чем то, какое можно было достать на маленьком постоялом дворе в Савойе, языки наши не развязались бы, пока им не предоставила бы свободы сама необходимость — но у дамы в карете было бургундское, и она послала свою *fille de chambre* принести две бутылки, так что, поужинав и оставшись одни, мы почувствовали в себе достаточно присутствия духа, по крайней мере, для того, чтобы откровенно потолковать о нашем положении. Мы перевертывали вопрос на все лады, обсуждали и рассматривали его в самом разнообразном свете в течение двухчасовых переговоров; по завершении их были окончательно установлены все статьи соглашения между нами, которому мы придали форму и вид мирного договора, — проявив, я убежден, столько же добросовестности и доверия с обеих сторон, сколько их когда-нибудь было проявлено в договорах, удостоившихся чести быть переданными потомству.

Статьи были следующие:

Во-первых. Поскольку право на спальню принадлежит Monsieur и он считает, что ближайшая к огню кровать является более теплой, то он настаивает на согласии со стороны дамы занять ее.

Принято со стороны Madame; с условием, чтобы (так как полог над этой кроватью сделан из тонкой, прозрачной бумажной материи, а кроме того, он, по-видимому, слишком короток и не может быть плотно задернут) *fille de chambre* или заколола бы отверстие большими булавками, или зашила бы его так, чтобы занавески эти можно было рассматривать, как достаточное ограждение от Monsieur.

Во-вторых. Со стороны Madame предъявлено требование, чтобы Monsieur лежал всю ночь напролет в *robe de chambre*¹.

¹ Халат (франц.).

Отвергнуто: поскольку у Monsieur нет robe de chambre, так как все содержимое его чемодана исчерпывается шестью рубашками и парой черных шелковых штанов.

Упоминание о паре шелковых штанов привело к полному изменению этой статьи — ибо штаны признаны были эквивалентом robe de chambre; таким образом, было договорено и условлено, что я пролежу всю ночь в черных шелковых штанах.

В-третьих. Со стороны дамы поставлено было условие, и она на нем настаивала, чтобы после того как Monsieur ляжет в постель и будут потушены свеча и огонь в камине, Monsieur не произнес ни одного слова всю ночь.

Принято: при условии, что произнесение Monsieur молитв нельзя считать нарушением договора.

В этом договоре упущен был один только пункт, а именно: каким способом дама и я должны раздеться и лечь в постель — возможен был только один способ, и я предоставляю читателям угадать его, торжественно заявляя при этом, что если названный способ окажется не самым деликатным на свете, то виной будет исключительно воображение читателя — на которое это не первая моя жалоба.

И вот, когда мы легли в постели, — от новизны ли положения или от чего другого, не знаю, — но только я не мог сомкнуть глаз. Я пробовал лежать и на одном боку и на другом, переворачивался и так и этак до часу пополудни — пока не истощил всех сил и терпения. — Ах, боже мой! — вырвалось у меня —

— Вы нарушили договор, мосье, — сказала дама, которая спала не больше моего. — Я попросил тысячу извинений — но настаивал, что слова мои были всего лишь молитвенным восклицанием — она же утверждала, что это полное нарушение договора, — а я утверждал, что это предусмотрено в оговорке к третьей статье.

Дама ни за что не желала уступить, хотя своим упорством она ослабила разделявшую нас перегородку; ибо в пылу спора я расслышал, как две или три булавки упали с полога на пол.

— Даю вам честное слово, мадам, — сказал я, протягивая руку с кровати в знак клятвенного утверждения —

— (Я собирался прибавить, что я ни за какие блага на свете не погрешил бы против самых ничтожных требований приличия) —

— Но *fille de chambre*, услышав, что между нами идет пререкание, и боясь, как бы за ним не последовало враждебных действий, тихонько выскользнула из своей каморки и под прикрытием полной темноты так близко прокралась к нашим кроватям, что попала в разделявший их узкий проход, углубилась в него и оказалась как раз между своей госпожой и мною —

Так что, когда я протянул руку, я схватил *fille de chambre* за — —

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» («The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman») публиковался анонимно на протяжении восьми лет (1760—1767). Первые два тома вышли в 1760 г.; третий и четвертый тома — в начале 1761 г.; пятый и шестой — в конце 1761 г.; седьмой и восьмой тома в 1765 г., и девятый том — в 1767 г.

«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» («A Sentimental Journey through France and Italy») было опубликовано (также без имени автора, но со ссылкой на «Йорика», что позволяло читателям установить связь этой книги с «Тристрамом Шенди») в 1768 г. в двух томах. Это составляло около половины всего задуманного Стерном сочинения, которое предполагалось издать в четырех томах. Но смерть помешала осуществлению этого замысла; вторая, «итальянская» половина «Сентиментального путешествия» осталась ненаписанной.

Первые переводы из «Тристрама Шенди» появились в России в начале 90-х годов XVIII в. В 1791 г. «Московский журнал» (ч. II, кн. 1—2) опубликовал отрывки из «Сентиментального путешествия» и «Тристрама Шенди». В 1792 г. там же появился подписанный инициалом «К.» перевод «Истории Ле-Февра» из «Тристрама Шенди», принадлежавший Н. М. Карамзину (ч. V, февраль).

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди» в шести томах вышли в 1804—1807 гг. (СПб., Имп. тип.). Другой русский перевод романа вышел только в конце XIX в.: «Тристрам Шенди», пер. И. М — ва, СПб. 1892.

«Сентиментальное путешествие» переводилось гораздо чаще: «Стерново путешествие по Франции и Италии под именем Йорика...», пер. А. Колмакова, тип. Академии наук, СПб. 1783, 3 ч. «Чувственное путешествие Стерна во Францию», М. 1803, 2 ч. «Путешествие Йорика по Франции», Унив. тип., М. 1806, 4 ч. «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», пер. П. П. Лыжина. — В кн.: Классические иностранные писатели в русском переводе, кн. 1, СПб. 1865. «Сентименталь-

ное путешествие по Франции и Италии», пер. Д. В. Аверкиева. — «Вестник иностранной литературы», 1891, № 2—3 (переиздано Сувориным в 1892 г.; новое издание, под ред. и с примечаниями П. К. Губера, Госиздат, М.—Пг. 1922 («Всемирная литература»). «Сентиментальное путешествие. Мемуары. Избранные письма», пер. Н. Вольпин. Ред., вступ. статья и комментарии С. Р. Бабуха, Гослитиздат, М. 1935.

В настоящем издании перепечатываются переводы, выполненные А. А. Франковским:

«Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник», пер. и примечания А. А. Франковского, Гослитиздат, М. 1940, и «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», пер. и примечания А. А. Франковского, Гослитиздат, М. —Л. 1949.

Адриан Антонович Франковский (1888—1942), безвременно погибший в Ленинграде во время блокады, был одним из замечательных мастеров советского художественного перевода и глубоким знатоком английской культуры. Его переводы «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия» представляют собой настоящий подвиг научного исследования и художественного воссоздания оригинала.

А. Елистратова

«ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ ТРИСТРАМА ШЕНДИ,
ДЖЕНТЛЬМЕНА»

ТОМ I

Стр. 25. Эпиграф (ταρασσι τοὺς...) заимствован Стерном у философа-стоика Эпиктета (I в. до н. э.) из книги «ἑγχειρίσιον» («Руководство»), гл. V.

Досточтимому мистеру Питту. — Посвящение Питту написано было Стерном для второго издания первых двух томов «Тристрама» по приезде его в Лондон в марте 1760 г. Вильям Питт Старший (1708—1778) был тогда военным министром и главным организатором английских сил в Семилетнюю войну (1756—1763).

Стр. 26. Жизненные духи. — Понятие это мы встречаем уже в античной физиологической психологии, у перипатетиков и стоиков. В XVII и XVIII вв. оно получило широкое распространение благодаря французскому философу Декарту и его последователям, согласно которым жизненные духи являются тончайшей газообразной материей, циркулирующей в крови и в нервной системе.

Стр. 27. Гомункул — человек; в обычном словоупотреблении — искусственный человек, которого алхимики (особенно Парацельс) мечтали создать лабораторным путем. Сводку всего, что было сказано о гомункуле, Стерн мог прочесть в примечаниях к поэме «Гудибрас» Сэмюэля Батлера, составленных кембриджским «ученым» Захарией Греем.

Туллий — Марк Туллий Цицерон, римский политический деятель и оратор (106—43 до н. э.).

Пуффендорф Самуил (1632—1694) — немецкий юрист, автор книги «*De jure naturali et gentium*» («О праве естественном и международном») и «*De officio hominis et civis*» («Об обязанностях человека и гражданина»), в которых он устанавливает нормы естественного права, освобождая его от философской схоластики.

Стр. 29. «Путь паломника» — аллегорическое произведение Джона Беньяна (1628—1688), английского сектанта-проповедника. В конце XVII и в XVIII в. оно пользовалось в Англии огромной популярностью.

Монтень Мишель (1533—1592) — французский писатель, автор «Опытов», книги наблюдений и размышлений, имевшей большое влияние на Стерна.

Ab ovo (лат.) — от яйца, от зародыша — выражение Горация в «*Ars poetica*», подразумевавшего яйцо Леды, из которого вышла Елена. Гораций хвалит Гомера за то, что он приступает прямо к делу, а не начинает своего повествования с рождения его героини.

Стр. 30. Локк Джон (1632—1704) — английский философ, автор книги «Опыт о человеческом разуме». Психологическое учение Локка явилось одной из существенных предпосылок художественного метода Стерна, несмотря на ряд иронических его высказываний об этом философе.

Вестминстерская школа — одно из старейших аристократических учебных заведений Англии (основано в XVI в.).

Стр. 33. Ди д и й. — Под этим именем Стерн выводит Йоркского юриста, доктора Топема, который вел дела местного духовенства (архиепископа и соборного капитула) и с которым у Стерна произошло столкновение.

Кунастрокий. — Стерн намекает на весьма популярного в первой половине XVIII в. лондонского врача Ричарда Мида (1673—1754).

Стр. 36. Додсли Джемс (1724—1797) — лондонский книгопродавец-издатель, с которым 8 марта 1760 г. Стерн заключил договор на второе издание первых двух томов «Тристрама Шенди».

Стр. 37. Кунигунда — героиня философского романа Вольтера «Кандид», вышедшего в 1759 г.

Стр. 38. Приключение с ингуасскими погонщиками — рассказано в XV гл. первой части «Дон Кихота».

Стр. 42. Греческий огонь — зажигательная смесь, употреблявшаяся в морских войнах VII—XV вв.

Стр. 43. Саксон Грамматик — автор полуполюгендарной истории Дании, живший во второй половине XII в.

Стр. 45. Один французский остроумец. — Как обнаружил Маркс (письмо к Энгельсу от 26 июня 1869 г., К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2, т. 32, стр. 261), остроумцем этим является Ларошфуко (1613—1680), автор сборника «Максимы и моральные размышления». В подлин-

нике это определение читается так: «La gravité est un mystère du corps, inventé pour cacher les défauts de l'esprit» (267-я максима).

Стр. 46. Схолиаст — толкователь древних текстов.

Стр. 47. Евгений. — Под этим именем Стерн выводит как в «Тристраме Шенди», так и в «Сентиментальном путешествии» своего приятеля Холла-Стивенсона, с которым он подружился, еще будучи студентом Кембриджского университета. Холл, человек весьма эксцентричный, любил бросать вызов английскому лицемерию и чопорности. В его замке собирался кружок веселых людей, «бесноватых», в число которых входил и Стерн. В своем романе он иронически наделяет Евгения «благоразумием».

Стр. 49. Хохотал весь стол. — «Гамлет», акт V, сц. 1. Пер. М. Лозинского.

Стр. 50. Рапсодическое произведение. — Стерн употребляет здесь слово «рапсодический», имея в виду пестроту и разносоставность своего романа, сшитого из отдельных самостоятельных кусков, так как слово «рапсод», согласно античному толкованию, значит: «сшиватель песен».

Стр. 58. Маннингем Ричард (1690—1759) — лондонский врач-акушер, издавший в 1740 г. «Компендий акушерского искусства».

Ученый хирург — Йоркский врач и археолог, доктор Джон Бертон (1710—1771), издавший в 1751 г. руководство под заглавием «Опыт совершенно новой системы акушерства». В качестве лидера Йоркских тори он был политическим противником Стерна; особенно острые столкновения между ними происходили в 1741 г. во время парламентских выборов, когда Стерн писал в местных газетах агитационные статьи в пользу кандидатов партии вигов. В «Тристраме» Стерн вывел его в карикатурном образе доктора Слопа.

Стр. 61. Роберт Фильмер (ум. в 1653 г.) — английский политический писатель, развивавший теорию божественного происхождения королевской власти и наследственной монархии.

Стр. 64. Ники и Симкин — пренебрежительно-уменьшительные от имен Никлас и Саймон.

Стр. 65. Цицерон, Квинтилиан, Исократ, Аристотель и Лонгин — общественные деятели, ораторы и ученые древних Рима и Греции, приведенные здесь в качестве авторов, писавших об ораторском искусстве. Сочинение «De oratore» принадлежит не Квинтилиану, а Цицерону.

Фоссий, Скиоптий (Шопп, Гаспар), Рам (Пьер ла Раме) и Фарнеби — филологи XVI и XVII вв., оставившие руководства по грамматике и риторике.

Стр. 67. Нампс — уменьшительное от Хамфри; нампс — болван; *Ник* — уменьшительное от Никлас, а также — черт, леший.

Эпифонема, эротесис — риторические фигуры: первая — сентенциозное восклицание, заключающее речь, второй — риторический вопрос, то есть вопрос, предполагающий отрицательный ответ.

Стр. 69. «Паризм» и «Паризмен» — романы английского писателя Э. Форда (1598 и 1599) о принце богемском, материалом которых воспользовался Шекспир в «Зимней сказке».

«*Семь английских героев*» — Стерн, вероятно, имеет в виду «Семь героев христианства» — средневековое сказание о семи христианских «просветителях» (Андрее, Иакове, Патрике и т. д.).

Фома Аквинат (Аквинский; 1226—1274) — богослов-схоласт, до сих пор являющийся для католиков непререкаемым авторитетом в вопросах богословия и философии.

Стр. 70. Девентер Генрих (ум. в 1739 г.) — голландский врач, книга которого по акушерству была переведена на французский язык. Из этой книги Стерн и позаимствовал нижеприведенный документ.

Стр. 77. Осада Намюра — эпизод из войн Англии с Францией, которые велись в конце XVII и в начале XVIII в. за гегемонию в Европе. Намюр, крепость во Фландрии (нынешняя Бельгия), был взят англичанами и их союзниками — голландцами 27 мая 1795 г.

Стр. 79. Лиллибуллиро — припев к сатирической балладе, сочиненной в 1688 г. Томасом Вортоном, одним из лидеров партии вигов, по случаю назначения наместником Ирландии католика Тирконнеля, задачей которого было реорганизовать расположенную там армию, заменив в ней англичан (протестантов) католиками — ирландцами. Король Иаков II рассчитывал создать таким образом силу, на которую он мог бы опираться в борьбе за утверждение абсолютизма в Англии, и тем сделал свое мероприятие вдвойне ненавистным для англичан. — Баллада Вортона, положенная на музыку известным композитором Перселом, который воспользовался мотивом старинной ирландской детской песенки, приобрела и Англии, особенно в английской армии, широкую популярность и была у всех на устах во время низложения и изгнания короля Иакова II в конце 1688 г.; насвистывание дядей Тоби «Лиллибуллиро» — очень меткий штрих для характеристики ветерана войн Вильгельма Оранского, сменившего на английском престоле Иакова I I. — Бессмысленное слово «лиллибуллиро» было, говорят, паролем ирландских повстанцев в 1641 г.

Стр. 80. Джозеф Холл (1574—1656) — епископ Эксетерский, моралист и сатирик, был одним из любимых писателей Стерна. Стерн немало от него позаимствовал — как в «Тристраме», так и в своих проповедях.

Стр. 82. Согласно предложению лукавого критика Мома. — Мом — бог насмешки и злословия в греческой мифологии. Стерн намекает здесь на диалог «Гермотим» Лукиана, греческого писателя II в. н. э.

Оконный сбор — налог, взимавшийся в Англии до 1851 г. с каждого дома по числу окон, выходящих на улицу.

Стр. 84. Non naturalia — термин старой английской медицины; так назывались в ней внешние условия жизни и здоровья, не заложенные в природе тела, как-то: воздух, пища и питье, движение и покой и т. п.

Стр. 85. От Йорка до Дувра, — от Дувра до Пензенса в Корнуэльсе и от Пензенса обратно до Йорка... — то есть от одного конца Англии до другого.

ТОМ II

Стр. 88. Эпиграф — см. прим. к стр. 25.

История войн короля Вильгельма. — Как в настоящее время установлено, основным источником Стерна при описании многочисленных эпизодов из англо-французских войн конца XVII и начала XVIII в. была «История Англии» Рапена до Туара, переведенная с французского и продолженная от революции 1688 г. до вступления на престол короля Георга II (1727) Николаем Тиндалем. Книга эта содержит много иллюстраций, карт и планов городов, в частности план города Намюра, который играет такую большую роль в «Тристреме». Описывая сражения, в которых участвовал дядя Тоби, Стерн часто заимствует оттуда, слегка перефразируя, целые пассажи.

Стр. 89. Доктор Джемс Макензи (1680—1761) — опубликовал в 1758 г. книгу под заглавием «История здоровья и искусство его сохранения».

Стр. 91. Это был бы бранный ответ. — Здесь намек на то место комедии Шекспира «Как вам это понравится», где Оселок характеризует различные степени опровержения (акт V, сц. 4). Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

Стр. 92. Мальбрани Николай (1638—1725) — французский философ, последователь Декарта.

Стр. 93. Артур — один из старейших лондонских игорных клубов.

Стр. 93—94. Гобезий (Леонард Гобезий?), *Агостино Рамолли*, *Джироламо Катанео*, *Симон Стевин*, *Маролис* (Самюэль Маролуа), *шевалье де Виль*, *Лорини*, *барон ван Коегорн* (укрепивший Намюр), *Иоганн-Бернард фон Шейтер*, *граф де Паган*, *Себастьян Ле Претр де Вобан*, *Франсуа Блондель* — фламандские, итальянские, голландские, немецкие и французские математики, инженеры и архитекторы XVI, XVII и XVIII вв., авторы книг по фортификации и баллистике. Гениальный физик Галилео Галилей (1564—1642) вместе со своим учеником Эванджелиста Торричелли (1608—1647) приведены здесь в качестве ученых, установивших законы параболического движения тел.

Стр. 97. Мосье Ронжа. — Тиндаль (см. прим. к стр. 88) отмечает в своей книге, что этот хирург вправлял королю Вильгельму III ключицу после оказавшегося роковым для последнего падения с лошади.

Стр. 98. Сражение при Ландене — происходило 29 июля 1693 г.

Стр. 100. Ихнография — изображение какой-нибудь постройки в горизонтальном плане.

Стр. 106. Идея длительности и простых ее модусов. — См. Локк, Опыт, кн. II, гл. 14.

Стр. 107. «Анализ Красоты» (1753) — книга знаменитого английского художника Вильяма Хогарта (1697—1764), иллюстрировавшего «Тристрама Шенди», по просьбе Стерна, двумя гравюрами.

Вистон Вильям (1667—1752) — математик, астроном и богослов, последователь Ньютона.

Стр. 108. Пресуществление — претворение одного вещества в другое; намек на католическое учение, согласно которому хлеб и вино претворяются во время таинства евхаристии в тело и кровь Христа.

Стр. 109. Сенсорий — буквально: чувствилище — часть нервной системы, являющаяся средоточием ощущений.

Стевин. — См. прим. к стр. 93—94.

Стр. 110. Люцина — богиня родов у древних римлян (букв.: дающая свет жизни).

Пилумн — бог, сохранявший дома, где были новорожденные.

Стр. 111. Куртинами и горнверками — Непереводимая игра слов; эти фортификационные термины означают также: первое — занавеску, второе — супружескую измену.

Деннис Джон (1657—1734) — английский поэт и критик.

Стр. 112. Дю Канж Шарль (1610—1688) — французский филолог, автор монументального словаря средневековой латыни, из которого заимствовано это слово (*sortina*).

Стр. 115. ...эту горячность, она досталась мне от матери. — Шекспир, Юлий Цезарь, акт IV, сц. 3.

Стр. 116. Принц Мориц Оранский, граф Нассау (1567—1625) — голландский штатгальтер, выдающийся полководец.

Пейреския (Переск) Никола-Клод (1580—1637) — французский ученый-филолог.

Стр. 119. Получил бы алебарду — то есть был бы произведен в сержанты.

Стр. 121. Проповедь эта была произнесена Стерном в Йорском соборе 27 июля 1750 г. и тогда же издана отдельной брошюрой.

Стр. 130. Темпл — группа зданий в Лондоне, на берегу Темзы, сосредоточенных вокруг старинного храма рыцарей ордена тамплиеров

(храмовников). В Темпле помещаются некоторые судебные учреждения. Свою проповедь Стерн прочел для членов выездной сессии суда при- сяжных.

Стр. 138. Маны (римск. мифол.) — души или тени умерших.

Стр. 141. Зенон и Хрисипп — философы-стоики III в. до н. э., кото- рым приписывается изобретение соритов, то есть сложных силлогизмов приведенного здесь типа.

Стр. 143. Кольонисимо Борри Джузепе-Франческо (1627—1695) — миланский алхимик-шарлатан (*coglonissimo* значит по-итальянски «глу- пейший»); *Бертолини* Томазо (1616—1686) — профессор анатомии в Ко- пенгагене.

Стр. 144. Lithopaedus Senonensis Icon, — В этом юмористическом примечании Стерн намекает на полемику между двумя гинекологами: доктором Вильямом Смелли из Глазго (Стерн его называет Адрианом Смольфогтом) и доктором Дж. Бертоном (Слопом). Бертон изобличил своего собрата в том, что тот превратил рисунок (*icon*) окаменелого ребенка (*lithopaedus* — сочетание греческих слов: «камень» и «ребенок») из одного старинного медицинского трактата в никогда не существовав- шего ученого.

Стр. 146. Гермес Тризмегист — Гермес трижды величайший. Эпитет этот был дан греками Гермесу, которого они отождествляли с египет- ским богом Тотом за то, что он считался изобретателем букв и чисел и некоторых полезных искусств.

Эдуард VI (1537—1553) — английский король, умерший шест- надцати лет.

Стр. 148. Алкиз (Алькифа) и *Урганда* — волшебники из испанских рыцарских романов «Бельянис Греческий» и «Амадис Гальский», упо- минаемых Сервантесом в первых главах «Дон Кихота».

ТОМ III

Третий и четвертый тома «Тристрама Шенди» написаны были Стерном во второй половине 1760 г. и вышли в свет 28 января 1761 г. в Лондоне.

Стр. 149. Иоанн Сольсберийский (1110—1180) — английский фило- соф, политический деятель и поэт.

Стр. 151. Рейнольдс Джошуа (1725—1792) — знаменитый англий- ский художник, написавший три портрета Стерна.

В конце царствования королевы Анны. — Английская королева Анна умерла в 1714 г.

Стр. 152. Зенон, Клеанф, Диоген Вавилонский, Дионисий Гераклеот, Антипатр, Панэций и Посидоний среди греков; — Катон, Варрон и Сенека среди римлян — греческие и римские философы (стоики и эклектики) III в. до н. э. — I в. н. э. *Пантен и Климент Александрийский* — христианские богословы II—III вв.

Стр. 153. В прошедшем мае. — Хвалебные отзывы лондонских журналов о «Тристраме Шенди» в первые месяцы по его выходе в свет сменились начиная с конца апреля 1760 г. резкой критикой и потоком брошюр, пародирующих и высмеивающих произведение Стерна.

Авизон Чарльз (1710—1770) — английский композитор; *Скарлатти* Доменико (1683—1757) — итальянский композитор; оба писали преимущественно сонаты для клавесина и скрипки.

Стр. 156. Кабал-истический. — Игра слов: *caballus* по-латыни значит «лошадь».

Стр. 157. Герцог Монмут (1649—1685) — внебрачный сын английского короля Карла II; после смерти своего отца поднял восстание против короля Иакова II, брата и преемника Карла II, но был разбит и казнен.

Стр. 159. Эрнульф (1040—1124) — епископ Рочестерский, был составителем сборника документов, касающихся английской церковной и гражданской истории, в число которых входит и приводимое Стерном «Отлучение». Сборник этот известен под названием «*Textus roffensis*», то есть Рочестерский сборник (*Roffa* — латинское наименование Рочестера); он был опубликован в 1720 г.

Стр. 161. Отлучение. — Русский перевод несколько отклоняется от латинского текста. Переводчик в данном случае последовал за Стерном, который сам дал перевод латинского оригинала, снабдив его своими шутивными добавлениями.

Стр. 167. Сид Ахмет Бен-инхали — вымышленный автор «Дон Кихота», которому Сервантес приписывает некоторые рассказы о своем герое (часть первая, гл. XV).

Стр. 169. Боссю — Ле Боссю Рене (1651—1680), французский писатель, автор часто переиздававшегося «Трактата об эпической поэме», который был высоко ценим Буало.

Стр. 171. В десятом году — то есть в 1710 г.

Стр. 176. Привыкли к минутам, часам. — Локк, Опыт, кн. II, гл. 14, § 19.

Фонаря, вращающегося от тепла свечи — цитата из Локка, «Опыт», кн. II, гл. 14, § 9.

См. Локк. — Опыт, кн. II, гл. 14, § 3.

Стр. 178. Остроумие и рассудительность никогда не идут рука об руку. — Мнение о несовместимости остроумия и рассудительности (точности суждения) считалось твердо установленным в английской поэтике благодаря авторитету Локка. «Можно указать, — пишет он, — некоторые основания для общеизвестного наблюдения, что люди с большим остроумием и живой памятью не всегда обладают самым ясным суждением и глубоким умом. Ведь остроумие главным образом состоит в подборе идей, представлений и быстром и разнообразном сопоставлении тех из них, в которых можно найти какое-нибудь сходство или соответствие, чтобы нарисовать в воображении привлекательные картины и приятные видения; суждение, наоборот, состоит в совершенно ином, в заботливом разъединении идей, в которых можно подметить хотя бы самую незначительную разницу, чтобы не быть введены в заблуждение сходством и не принять по взаимной близости одну вещь за другую. Этот способ движения прямо противоположен метафорам и намекам, в которых в большинстве случаев лежит вся занимательность и прелесть остроумия» («Опыт», кн. II, гл. XI, § 2).

Стр. 180. Да охраняют нас ангелы господни! — Шекспир, Гамлет, акт I, сц. 4, пер. М. Лозинского.

Стр. 181. Свидя — греческий лексикограф X в. н. э.

Стр. 186. Magna charta — «Великая Хартия» (вольностей), которую английские бароны заставили подписать короля Иоанна Безземельного в 1215 г. и которая с тех пор считается основным английским законом.

Стр. 188. Несу две ступы. — Непереводимая игра слов: mortar по-английски «ступа» и «мортира».

Сражение при Марстон-Муре — эпизод из гражданской войны в Англии; в этом сражении Кромвель одержал решающую победу над королевскими войсками 2 июля 1644 г.; Марстон-Мур — поле в Йоркском графстве.

Стр. 189. Изготовлением моста. — Опять игра слов: bridge значит по-английски «мост» и «переносица».

Стр. 191. Пакувий Марк — римский трагический поэт II в. до н. э.; *Боссю* — см. прим. к стр. 169; *Риккобони* Луиджи Андреа (1676—1755) — итальянский актер, оставивший несколько сочинений о театральном искусстве.

Стр. 193. Винея — подвижный оборонительный навес, употреблявшийся при осадных работах у римлян.

Кардинал Альберони Джулио (1664—1752) — министр испанского короля Филиппа V; попытался вернуть утраченные по Утрехтскому миру испанские владения в Италии и занял с помощью сильного флота остров Сардинию, отошедший от Испании по этому миру к Австрии, а потом Сицилию, доставшуюся Савоие. Захват этот вызвал противо-

действие Англии и Франции, которые заключили между собой союз, несмотря на происки Альберони, старавшегося отвлечь Англию подержкой претендента на английский престол (сына изгнанного Иакова II Стюарта) и переговорами с шведским королем Карлом XII, который также должен был оказать претенденту помощь. После поражения, нанесенного испанскому флоту английской эскадрой у города Мессины в 1718 г., Альберони вынужден был очистить оба острова.

Стр. 195. Маркиз де Лопиталь Гийом-Франсуа-Антуан (1661—1704) — французский математик; *Бернулли* Иоганн (1667—1748) — швейцарский математик.

Стр. 199. Остров Энназин. — См. Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. IV, гл. IX.

Стр. 202. В прошлом году — то есть в первых двух томах «Гристрама», выпущенных за год до выхода III и IV томов.

Кодексы Григория и Гермогена — дошедшие до нас в отрывках кодексы римского права конца III и начала IV в. н. э.; ими пользовались в качестве материала составители кодекса Юстиниана (VI в.). — Кодексом Людовика (Луи) иногда называют королевские ордонансы (повеления) 1669 и 1670 гг. во Франции.

Стр. 204. Брюскамбиль — театральным псевдоним актера Делорье, автора ряда юмористических книг в стиле Рабле, к числу которых принадлежит и вышедшая в 1612 г. под заглавием «*Fantaisies facétieuses*» («Забавные фантазии»), где находится пролог о длинных носах.

Стр. 205. Парей — Паре Амбруаз (1517—1590), французский врач, прославившийся открытием лигатуры (перевязки) артерий; *Буше* Гийом де Броккур (1513—1594) — автор «*Soirées*» («Вечерних бесед»), вышедшего в 1584 г. сборника шуток и прибауток, анекдотов, подчас непристойных, образец галльского остроумия, рассеянного в старых фаблю и сказках.

Эразм Роттердамский (1467—1536) — знаменитый голландский гуманист. Цитируемое здесь место из его «*Colloquia*» («Разговоров»), появившихся в 1518 г., находится в диалоге «*De captandis sacerdotiis*» («О погоне за церковными должностями»).

Паралипоменон (греч.) — означает «опущенное»; так называются в Библии исторические книги, которые служат дополнением к «Книгам царей».

Стр. 206. Мораль следующей мраморной страницы... закрашенной черным. — В английских изданиях Стерна здесь действительно находился вкладыш из мраморной бумаги, а XII глава первой книги заканчивалась закрашенной черным страницей.

Стр. 207. Витфильд Джордж (1714—1770) — был (вместе с Джоном Весли) основателем методизма — секты, получившей широкое распространение в XVIII в.

Стр. 210. Тальякоцци — латинизированная фамилия итальянского хирурга Гальякоцци (1546—1599).

Нос укрепляется, вскармливается. — Ср. Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. I, гл. XL, заключительный абзац.

Стр. 211. Понократ и Грангузье — персонажи из «Гаргантюа и Пантагрюэля»: Понократ — воспитатель Гаргантюа, Грангузье — его отец.

Стр. 212. Посредством интуиции. — См. Локк, Опыт, кн. IV, гл. 17, § 14.

Стр. 213. По справедливому замечанию Локка... — «Опыт», кн. IV, гл. 17, § 18. Стерн дословно выписывает у Локка окончание абзаца, заменив слово «дома» словом «кегельбаны».

Стр. 215. Это решение Грангузье. — См. Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. I, гл. XL.

ТОМ IV

Стр. 219. Эпиграф — см. прим. к стр. 149.

Перевод «Повести Слокенбергия» является переводом английского, а не латинского текста, так что в ряде случаев они значительно друг от друга отличаются. Этот английский перевод сделан самим Стерном, и все расхождения предусмотрены автором. Они идут главным образом по линии расширения текста и снятия двусмысленностей латинского оригинала. Такого рода сглаживающий перевод достигает усиления комического эффекта для всякого, заглядывающего в латинский текст.

Стр. 228. Царица Мэб. — Шекспир, Ромео и Джульетта, акт I, сц. 4, пер. Т. Щепкиной-Куперник.

Аббатиса Кведлинбургская — Кведлинбург — старинный имперский город, в шестнадцати километрах от Магдебурга, резиденция аббатис, которым до французской революции 1789 г. принадлежал этот город с его монастырями и обширными земельными владениями.

Стр. 231. Хрисипп и Крантор — греческие философы II в. до н. э.: первый — стоик, второй — последователь Платона.

Стр. 233. Petitio principii (лат.) — буквально «требование основания», логическая ошибка, заключающаяся в том, что при доказательстве какого-нибудь положения мы опираемся на основание, в свою очередь требующее доказательства.

Стр. 234. Яков Стурмий. — По-видимому, Стерн имеет в виду Иоанна Штурма (1507—1589), немецкого гуманиста и педагога, который в течение сорока пяти лет был ректором страсбургской протестантской гимназии.

Nonnulli ex nostratibus... — Стерн пародирует приемы аргументации и ссылок, употреблявшиеся в юридической практике того времени.

Стр. 235. Алекто, Тизифона и Мегера — три эриннии, или фурии — богини проклятия, мести и кары, по верованиям древних греков и римлян.

Лука Гаврский (1476—1558) — итальянский математик, астролог и прелат; работал над реформой юлианского календаря, осуществленной в 1582 г. папой Григорием XIII.

Стр. 243. Страсбург... попал-таки в руки французов. — Страсбург был захвачен войсками Людовика XIV врасплох в период мира, 28 сентября 1681 г.

Стр. 247. Полк Макая. — Английский генерал Гью Макай был убит в сражении при Стенкерке 24 июля 1692 г.

Стр. 249. Офицерский патент. — До 1871 г. офицерские чины в английской армии являлись частной собственностью лиц, их занимавших, так что, выходя в отставку, офицер продавал или передавал свой чин.

Стр. 250. Фреска «Афинская школа». — Эта фреска Рафаэля находится в Станцах Ватикана. На ней действительно можно найти фигуры, описываемые Стерном.

Стр. 253. Авиценна (Ибн-Сина; 980—1037) — знаменитый арабский философ и врач, многим обязанный науке и философии Древней Греции; *Лицетус* (Личети Фортунно; 1577—1657) — итальянский врач и философ.

Приводимый Стерном анекдот помещен в книге французского писателя А. Байе (1649—1706) «Замечательные дети» (1688), который почерпнул его из книги итальянца Микеле Джустиниани (1612—1680) «Лигурийские писатели». Бернар де ла Монне (1641—1728) — автор народных песенок «Бургундские нозели», выпустил переработанное издание книги Байе с предисловием Пьера Бейля, автора известного словаря.

Стр. 255. Эй — ты, носильщик! — Подразумевается носильщик портшеза, закрытого кресла, которое переносилось на прикрепленных к нему шестах двумя носильщиками. Это был весьма распространенный способ передвижения по улицам больших городов Англии и Франции.

Стр. 259. «Бог да благословит. — сказал Санчо Панса...» — «Дон Кихот», часть II, гл. LXVIII.

Стр. 267. Седрах, Мисах и Авденаго — библейские имена, заимствованные из книги пророка Даниила.

Menagiana — сборник бесед, которые происходили у французского писателя XVII в. Жюль Менажа. Сборник этот вышел в 1693 г.

Стр. 268. Герцог Ормондский, Джеймс (1665—1745) — английский генерал, сменивший в 1712 г. главнокомандующего английской армией герцога Мальборо. Так как в то время уже начались мирные перегово-

ры, которые вело торийское правительство королевы Анны, то он не предпринимал никаких решительных действий против Франции. После смерти королевы Анны и создания вигского министерства, враждебно относившегося к заключенному в 1713 г. Утрехтскому миру, он был обвинен в государственной измене и бежал во Францию. В 1718 г. он принял участие в попытке претендента (сына короля Иакова II) высадиться в Англии, но потерпел неудачу.

Стр. 269. Официал — чиновник при епископе для ведения светских дел.

Стр. 270. Турпилий Римлянин — римский комедиограф II в. до н. э., подражатель Менандра; *Гольбейн Младший* Ганс (1497—1545) — немецкий художник, работавший первоначально в Базеле, а затем в Англии.

Правый пояс (термин геральдики) — полоса, пересекающая наискось гербовый щит от правого верхнего угла до левого нижнего.

Гарри (Генрих) VIII (1491—1547) — английский король.

Стр. 275. Во всем словаре Джонсона. — Словарь Сэмюэля Джонсона — один из первых толковых словарей английского языка, вышедший в 1755 г. и пользовавшийся огромной популярностью. Популярность эта сделала его автора в широких кругах английской буржуазии непогрешимым литературным арбитром, и в качестве такового он вынес Стерну обвинительный приговор, объявив, что тот не знает английской грамматики. Стерн оплатил педанту-лексикографу этим ироническим замечанием.

Стр. 278. «Человек, неистоимый на шутки» — Шекспир, Гамлет, акт V, сц. 1.

Стр. 282. Брук, или Брок, Роберт (ум. в 1588 г.) — главный судья общин тяжб. Полное заглавие его сочинения, на которое ссылается Стерн: «Большое извлечение из погодных отчетов о судебных казусах».

Лорд Кук, или Кок, Эдвард (1552—1634) — английский юрист и политический деятель.

Свинберн Генри (1560—1623) — знаток церковного права. Написал «Краткий трактат о завещаниях и духовных».

Стр. 284. Сельден Джон (1584—1654) — английский юрист, публицист и политический деятель, знаток древнееврейского права, автор книги «Еврейская женщина, или О браках и разводах у евреев. Три книги» (1646).

Стр. 286. Миссисипская компания — закончившееся грандиозным крахом спекулятивное предприятие известного шотландского финансиста Джона Ло для эксплуатации земель Луизианы. Тиндаль (см. прим. к стр. 88) насчитывает семь выпусков акций этого предприятия и говорит, что наиболее высокий их курс стоял в ноябре — декабре 1719 г.

Пятый и шестой тома «Тристрама Шенди» написаны были Стерном в Коксволде летом и осенью 1761 г. и вышли в Лондоне 21 декабря того же года.

Стр. 291. Эпиграф (Dixero si quid...) — Гораций, Сатиры, I, IV, 103.

Эпиграф (Si quis calumniatur...) — Эразм Роттердамский.

Эпиграф (Si quis Clericus...) — Из постановлений Второго карфагенского собора.

Лорд Спенсер (1734—1785) — правнук герцога Мальборо, богатый и влиятельный человек, покровительствовавший Стерну, игравший по отношению к нему роль «патрона» в стиле той эпохи. Стерн познакомился с ним в 1761 г., когда приезжал в Лондон для издания III и IV томов «Тристрама Шенди».

Стр. 292. *Стилтон* и *Стемфорд* — местечки по дороге из Лондона в Йорк. Стерн намекает на свою поездку в июле 1761 г.

Вечно будем мы... — Этот и следующий абзацы заимствованы Стерном из «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона, английского писателя-юмориста начала XVII в. «Анатомия меланхолии», вышедшая в 1621 г. и в последующих изданиях переработанная автором, трактует о причинах и симптомах меланхолии, о лечении меланхолии, о меланхолии любовной и религиозной. В предисловии «Демокрит читателю» Бертон (Демокрит Младший) сообщает о своих занятиях и о своих слабостях, характеризуя себя как человека, удалившегося от общества людей, от людских безрассудств, нелепостей, но с интересом все это наблюдающего, точно зрелище на театральной сцене. Тонкий анализ и остроумные размышления, в которых всегда звучит юмористическая нота, подкрепляются и поясняются множеством цитат как из древних, так и из новых писателей; часто перегружая текст, они всегда подобраны очень искусно и кстати. Кроме Стерна, Бертона высоко ценили Мильтон, Байрон, Кольридж и особенно Китс, а также известный критик начала XIX в. Чарльз Лемб. В письме к Ламплу, приславшему ему «Анатомию меланхолии», Энгельс говорит: «И вот обнаруживается, что это произведение — тоже продукт наилучшего периода английской литературы — начала XVII века. Я с удовольствием взялся за нее и уже прочел достаточно, чтобы убедиться, что эта книга будет для меня постоянным источником наслаждения» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2, т. 39, стр. 169). — Цитаты, о которых здесь идет речь, взяты из предисловия к «Анатомии меланхолии», стр. 6 и 7, изд. 1881 г., Лондон; все дальнейшие ссылки сделаны на это издание.

Стр. 293. *Неужели человек...* — Этот абзац также заимствован Стерном, правда, не дословно, из «Анатомии меланхолии»; он воспроизводит первые строки первой части.

Шекина (евр.) — светлое облако над ковчегом завета в скинии как знак присутствия Иеговы.

Дома коростовых. — Непереводимая игра слов: короста по-английски *farcy*; *faragical* означает и «коростовый» и «фарсовый, шутовской».

Стр. 294. Королева Наваррская, Маргарита (1492—1549) — автор сборника новелл «Гептамерон».

Стр. 295—296. Один день... кузина, тетя, сестра... — Сцена эта персонафицирует рассуждение Бертона о милосердии — «Анатомия меланхолии», ч. III, стр. 487 (Милосердие).

Стр. 296. Эстелла. — Такой город действительно существует в Испании в провинции Наварра.

Стр. 298. Карта Сансона. — Автором этой карты был основоположник французской географии Николай Сансон (1600—1667). «Новый атлас», составленный его сыновьями, многократно переиздавался в конце XVII и начале XVIII в.

Стр. 299. Когда Агруптине... — Исследователь творчества Стерна Ферриар показывает, что сведения эти Стерн почерпнул не у Тацита, а из той же «Анатомии меланхолии» (ч. II).

Или Платон, или Плутарх... — Было бы педантизмом комментировать этот шуточный список и вообще ученый багаж настоящей главы, в которой Стерн осмеивает псевдоученость и начиненных ею эрудитов. Достаточно сказать, что багаж этот почти целиком заимствован у Бертона из «Анатомии меланхолии», ч. II, стр. 409—410.

Стр. 303. Не лучше ли вовсе не чувствовать голода... — Лукиан, О скорби, 16.

Стр. 304. Веспасиан умер... — Примеры эти, по мнению Ферриара, заимствованы из «Опыта о смерти» Френсиса Бэкона.

Звучит резко и пронзительно. — «Жена» по-английски *wife* (вайф).

Рапен — см. прим. к стр. 88.

Стр. 306. Локк недаром написал главу о несовершенстве слов. — См. «Опыт», кн. III, гл. 9.

Стр. 314. Иосиф Флавий (57—100) — еврейский историк, написавший по-гречески историю войны евреев с римлянами (окончившейся разрушением Иерусалима) и «Иудейские древности».

Стр. 315. Великий философ перечисляет своих единомышленников. — Платон, Апология Сократа, 34.

Стр. 316. По примеру Ксенофонта. — Как известно, греческий писатель Ксенофонт (конец V — начало IV в. до н. э.) был автором политического романа «Киропедия» (воспитание Кира), в котором описывается воспитание идеального правителя на почве вымышленной истории персидского царя Кира Старшего.

Стр. 317. Джованни делла Каса (1503—1556) — архиепископ Беневентский, один из выдающихся итальянских поэтов XVI в., действи-

тельно написал «Книгу хорошего тона» («Галатео»), которая вышла в свет уже после его смерти (в 1560 г.).

Стр. 319. За разметкой циферблата солнечных часов. — Слова эти навеяны заключительной строфой «Завещания», стихотворения английского поэта Джона Донна (1573—1631):

And all your graces no more use will have
Then a sun dial in a grave —

«И все ваши прелести окажутся столь же ненужными, как солнечные часы в могиле».

Стр. 322. Граф Сольмс Генрих (1636—1695) — голландский генерал, сопровождавший Вильгельма Оранского в конце 1688 г. во время похода последнего в Англию для свержения Иакова II; с 1691 г. он снова в Голландии в качестве командующего голландскими войсками; англичане обвиняли его в том, что в сражении под Стенкерком (3 августа 1692 г.) он не оказал эффективной помощи англичанам и был причиной их поражения.

Стр. 323. Батальон Камтса, — Макая, — Энгеса, — Грейема — и Ливна — имена генералов аристократических английских и шотландских фамилий.

Стр. 327. Спенсер Джон (1630—1695) — профессор Кембриджского университета, ориенталист, книга его вышла в 1685 г.

Троглодиты — жители пещер. Древнегреческие географы называли так обитателей берегов Арабского залива у нынешней Абиссинии.

Стр. 328. Ил — согласно «Илиаде» Гомера, троянский царь, предок Приама.

Филон Александрийский (20 до н. э. — 54 н. э.) — греческий философ еврейского происхождения, написал аллегорический комментарий Библии.

Бошар Сэмюэль (1599—1667) — французский богослов, филолог и географ, написал «Географию священных мест».

Санхунитон — финикийский историк, время жизни которого неизвестно, или, может быть, заглавие финикийских книг, переведенных в I в. н. э. на греческий язык и дошедших до нас в отрывках.

Стр. 329. Единоборство между Гимнастом и капитаном Трипе. — Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. I, гл. 35. Эта глава «Тристрама» является почти дословной выпиской из Рабле.

Стр. 331. Полициан — Анджело Полициано (1454—1494), итальянский гуманист, поэт и историк.

Гесиод — греческий поэт конца VIII в. и начала VII в. до н. э., автор эпической поэмы бытового дидактического характера «Труды и дни».

Стр. 332. Институции Юстиниана — учебник римского права в четырех книгах, составленный в 529 г. юристом Трибонианом по распоряжению византийского императора Юстиниана.

Стр. 335. Лорд Веруламский — Френсис Бэкон (1561—1626), английский философ и политический деятель. Кажется странным, что основоположник эмпирической философии, творец индуктивного метода преподносит читателю эти нелепые гипотезы; однако у Бэкона можно встретить довольно много подобного рода поспешных обобщений, и место, приводимое Стерном в главе XXXV, является почти дословной цитатой из латинского сочинения Бэкона «*Historia vitae et mortis*» («История жизни и смерти»).

Стр. 337. Ван Гельмонт Ян-Баптист (1577—1644) — фламандский химик и врач, открывший желудочный сок.

Осада Лимерика — эпизод из войны Вильгельма III с низложенным Иаковом II, который переправился в Ирландию, опираясь на организованную им ирландскую армию и вспомогательный французский корпус. Лимерик, город на западном побережье Ирландии, в устье реки Шенона, где укрылись разбитые ирландские войска, выдержал осаду, продолжавшуюся с перерывом более года (1690 и 1691). В своем описании снятия осады (август—сентябрь 1690 г.) Стерн довольно близко следует Тиндалу.

Стр. 341. От букваря до Малахии. — Книга пророка Малахии — последняя книга Ветхого завета в протестантских Библиях.

Стр. 342. Скалигер — Скалиджеро, Джулио Чезаре (1484—1558), итальянский гуманист, филолог и врач; *Дамиан* Петр (988—1072) — итальянский богослов.

Бальд, или Бальдоски (1325—1400), — итальянский юрист, написал комментарий к дигестам императора Юстиниана.

Архидам — спартанский царь IV в. до н. э.; *Ксенократ* — греческий философ, последователь Платона, стоявший во главе Академии в конце IV в. до н. э.

Северо-западный проход — морской путь между Атлантическим и Тихим океанами вокруг Северной Америки от пролива Девиса до Берингова пролива. Теоретически это кратчайший путь из Европы к восточным берегам Азии (до прорытия Панамского канала); практически был пройден впервые Р. Амундсеном в 1903—1906 гг.

Раймонд Луллий (1235—1275) — испанский философ и алхимик, пытавшийся достигнуть искусства мыслить механически при помощи изобретенной им логической машины. — Неясно, какого Пелегрини имеет здесь в виду мистер Шенди.

Стр. 345. Эпиграф (Dixero si quid...) и эпиграф (Si quis calumniatur...) — см. прим. к стр. 291.

Стр. 346—347. Перечисленные на этих страницах знаменитости, у которых, в противоположность лицам, названным в 42-й главе V тома, умственные дарования проявились уже в младенческом возрасте, которые, как мы бы сказали теперь, все были «вундеркиндами», заимствованы Стерном из книги упомянутого им в примечании на стр. 253 французского эрудита А. Байе «Замечательные дети». — *Кардинал Бембо*, итальянский гуманист, жил в начале XVI в., *Альфонс, или Алонсо Тостадо*, испанский эрудит, — в первой половине XV в. (о Пейрескии см. прим. к стр. 116, о Стевине — прим. к стр. 93—94), *Гуго Гроций*, голландский юрист и дипломат, — в первой половине XVII в. (о Скиоппии см. прим. к стр. 65), *Гейнзий Даниэль*, голландский гуманист, историк и филолог, — в первой половине XVII в. (о Полициане см. прим. к стр. 331), *Паскаль Блез*, французский математик, физик и философ, — в середине XVII в., *Иосиф Скалигер*, итальянский филолог, живший в Голландии, — во второй половине XVI в., *Фердинанд Кордовский*, испанский эрудит, — во второй половине XV в., *Липсий* (Липсе Юст), фламандский филолог, — во второй половине XVI в.

Никий Эрмпрей (он же Росси, Витторе) — итальянский эрудит, жил в первой половине XVII в.

Стр. 348. *Одна из ваших папистских итучек.* — Непереводаемая игра слов: shift значит «уловка, хитрость», а также «женская рубашка».

Стр. 349. *Марк Аврелий и сын его Коммод* — римские императоры в 161—192 гг.

Григорий Назиаизин (328—389) — один из отцов церкви; *Юлиан* (331—363) — римский император, прозванный Отступником за свое отречение от христианства; *Амвросий* (340—397) — архиепископ Медиоланский (Миланский), один из виднейших христианских писателей; *Демокрит* и *Протагор* — греческие философы V в. до н. э.

Стр. 351. *Союзники взяли Дендермонд* (город во Фландрии) — в 1705 г.

Стр. 352. *Рокелор* — особого покроя широкий мундир-плащ, который введен был в моду герцогом де Рокелором в начале XVIII в.

Стр. 353. *Часы смерти* — название жука-древоточца, производящего однообразный шум, подобный тиканью часов.

Стр. 358. *Колесо над колодезем.* — Библия, книга Экклезиаста, гл. 12, 6.

Стр. 363. *Евгений Савойский, принц* (1663—1736) — один из выдающихся полководцев своего времени. Француз по происхождению, он

счел себя оскорбленным Людовиком XIV и перешел на службу Австрии, под знаменем которой сражался против Франции, а потом против Турции.

Поражение турок под Белградом — 5 августа 1717 г.

Стр. 366. Lit de justice — торжественное заседание парижского парламента под председательством короля. Lit в данном выражении означает «трон»; Стерн, любитель игры слов, переводит буквально: «посель».

Клуверий (Клувер) Филипп (1580—1623) — немецкий географ и историк.

Стр. 370. Альберт Рубений (Рубенс; 1618—1657) — сын знаменитого фламандского художника П.-П. Рубенса, занимался изучением греческих и римских древностей.

Стр. 371. Latus clavus (лат.) — Стерн в шутку придает этому названию загадочный и спорный смысл. — Перечисленные им ниже ученые (Эгнаций и т. д.) XV и XVI вв. занимались изучением греческих и римских древностей.

Стр. 374. С газетой в руке. — Подразумевается тогдашний правительственный орган «Лондонская газета», начавший выходить в конце XVII в.

Стр. 375. Взятие Льежа и Руремонда — 14 и 7 октября 1702 г.

Стр. 376. После взятия одного за другим Амберга, Бонна... — в 1703 г.

Стр. 377. Попали в наши руки Гент и Брюгге — в конце 1708 г.

Шапка монтеро — охотничья шапка, которую носили кавалеристы (монтеро — по-испански охотник).

Стр. 378. Парик рамилы — парик с заплетенной косой, названный так в память победы герцога Мальборо над французами у деревни Рамилы в 1706 г.

Стр. 384. Утрехтский мир — заключен был в 1713 г. между Англией (вместе с ее союзниками) и Францией. Мир этот положил конец двенадцатилетней войне за Испанское наследство и явился основой английского морского могущества. Английские виги, взгляды которых по этому вопросу разделял, как видно, и дядя Тоби, остались, однако, им недовольны, считая его слишком мягким по отношению к разбитой Франции Людовика XIV.

Кале не оставил в сердце Марии... — Кале, в течение нескольких столетий принадлежавший Англии, был отвоеван Францией в 1558 г., при английской королеве Марии Тюдор, которая не могла примириться с этой потерей.

Стр. 385. Тертуллиан — христианский богослов начала III в.

Стр. 386. «Гай граф Ворик» — очень популярный в Англии средневековый роман (XIV в.).

Стр. 388. Кардан Джеронимо (1501—1576) — итальянский математик, врач и философ.

Стр. 389. Между королевой... — Подразумевается английская королева Анна, заключившая мир раньше некоторых других своих союзников.

Стр. 391. Фичино Марсилио (1433—1493) — итальянский философ-гуманист, перевел на латинский язык сочинения греческих философов Платона и Плотина.

Стр. 392. Разий (Рази) — арабский врач конца IX и начала X в.; *Диоскорид* Педаний — греческий врач I в. н. э., сочинение которого «О предмете медицины» пользовалось авторитетом до XVII в.

Аэций — греческий врач V в., служивший при константинопольском дворе.

Гордоний (Гордон) — французский врач конца XIII — начала XIV в.

ТОМ VII

Седьмой и восьмой тома «Тристрама Шенди» вышли в свет 22 января 1765 г. у Бэкета в Лондоне; таким образом, их отделяет от пятого и шестого томов трехлетний промежуток. Объясняется это пребыванием Стерна с начала 1762 г. до половины 1764 г. во Франции, куда он поехал с целью полечиться. Попытки работать во Франции оказались безуспешными, и Стерн написал эти два тома уже по возвращении в Англию, в Коксволде. Первоначальным его намерением было рассказать любовную историю дяди Тоби и вдовы Водмен, к каковой он и приступил в Тулузе осенью 1762 г. Но, остановившись на полуслове, Стерн бросил ее и решил вставить в «Тристрама» юмористическое описание своего путешествия по Франции в 1762 г. Целью его было высмеять увлечение осмотром достопримечательностей, перечисляемых в путеводителях, привычку путешественников ходить в шорах и показать, что куда интереснее и поучительнее смотреть на вещи непредвзятыми глазами, как делал он сам, записывая свои непосредственные впечатления и мелкие дорожные приключения, которые под пером его приобретали такую своеобразную прелесть. Тогдашним «бедкером» для путешественников по Франции была книга французского географа Пигавиоля де ла Форс (1673—1753) «Новое путешествие по Франции», выдержавшая, начиная с 1724 г., много изданий; она является сокращенным изданием его пятнадцатитомного «Географического и исторического описания Франции» и снабжена картами, планами и множеством практических указаний для путешественников, на которые неоднократно намекает Стерн.

Стр. 398. *Плиний Младший* (62—114) — римский администратор и писатель, прославившийся своими письмами, которые дошли до нас собранными в девять книг.

А в другом месте... — См. стр. 82. наст. изд.

Стр. 399. *И в шесть прыжков очутился в Дувре.* — Стерн действительно был очень болен, уезжая во Францию в начале января 1762 г., — настолько, что составил перед отъездом завещание.

Стр. 400. *Фома Бекет* — архиепископ Кентерберийский, был убит по приказанию короля Генриха II в 1170 г.; его останки перенесены были в одну из часовен Кентерберийского собора в 1220 г.

Стр. 403. *В отличие от наших скверов.* — Square по-английски значит буквально «квадрат».

Стр. 404. *Филипп Французский* — сын французского короля Филиппа-Августа, женившийся на графине Булонской; возвел вокруг Кале укрепления в 1224 г.

Осада Кале английским королем Эдуардом III продолжалась около года (1346—1347).

Эташ де Сен-Пьер. — Когда Кале капитулировал, Эдуард III согласился пощадить его обитателей только при условии выдачи шестерых именитых горожан, которые должны были выйти к нему босиком, с веревками на шее и обречь себя на казнь; первым вызвался участвовать в этой процессии Эташ де Сен-Пьер; однако по ходатайству королевы, находившейся в английском лагере, все шестеро горожан были помилованы.

Стр. 405. *Шестерка и Очко.* — Подразумевается игра в кости.

Стр. 408. *Быть мне в рисовании... лошадь, которая тащит...* — Здесь игра слов: по-английски draw (отсюда draught-horse) значит «тащить» и «рисовать».

Стр. 410. *Молю... чтобы она настигла меня не дома.* — Это, выраженное здесь в полужутливой форме, пожелание Стерна сбылось: он умер в наемной квартире в Лондоне, один, вдали от родных.

Большое турне — традиционная поездка английских аристократов по Европе (преимущественно по Франции и Италии).

Епископ Холл — см. прим. к стр. 80.

Колесо Иксиона (греч. мифол.) — вечно вращающееся огненное колесо в подземном царстве, к которому привязан был Зевсом Иксион, царь лапифов в Фессалии, за покушение на богиню Геру.

Стр. 411. *Лессий* Леонгард и *Ривер* Франсиско — иезуитские богословы XVI в. Их рассуждения Стерн заимствовал из «Анатомии меланхолии» Бертона, ч. II, стр. 318—319.

Стр. 412. *Приап* — сын Диониса и Афродиты, бог плодородия, полей и стад у древних греков.

Стр. 414. Сен-Дени — один из древнейших французских монастырей, в восьми километрах к северу от Парижа, служивший усыпальницей французских королей.

Фонарь Иуды — католическая реликвия.

Стр. 416. Лили Джон (1554—1606) — английский писатель, доведший до крайности тот цветистый, вычурный, аффектированный слог, который, по заглавию его романа «Евфуэс» (1579—1580) — грациозный, буквально: хорошего роста, — принято называть «эвфуистическим». Известно, что Шекспир, сам не чуждый эвфуизма в своих ранних произведениях, осмеял его в «Бесплодных усилиях любви».

Стр. 418. На берега Гаронны — то есть в Тулузу, климат которой считался в то время полезным для легочных больных.

Стр. 419. Муж из Листры — хромым от рождения, упоминаемый в «Деяниях апостолов», гл. 14, 6.

Стр. 420. Горячие воды Бурбона — курорт в средней Франции (в провинции Бурбонне).

Стр. 428. Карл Великий, Людовик Благочестивый и Карл Лысый — короли франков Каролингской династии (768—877).

Стр. 430. Принджелло — псевдоним автора одного из рассказов, помещенных в сборнике «Crazy tales», который выпущен был приятелем Стерна Холлом-Стивенсоном (см. прим. к стр. 47) в 1762 г. и получен Стерном в Париже перед отъездом в Тулузу.

Мосье Слиняк — хозяин дома, нанятого Стерном в Тулузе. Павильон, о котором здесь идет речь, — загородная дача, принадлежавшая тому же хозяину и предоставленная в распоряжение Стерна.

Эрмитаж и Кот-Роти — название виноградников на берегах Роны, славившихся превосходными винами.

Стр. 432. Работы Липпия из Базеля. — Базельский механик Николай Липпий изготовил эти часы в 1598 г.

Стр. 434. Спон Яков (1647—1685) — французский археолог, уроженец Лиона.

Санта Каса — «дом богородицы» в итальянском городке Лорето. Католическим духовенством сочинена легенда, будто этот дом в конце XIII в., после завоевания Палестины мусульманами, был чудесно перенесен ангелами из Назарета сперва в Далмацию, а затем в Лорето.

Стр. 444. У всех иезуитов приключились колики — намек на запрещение иезуитского ордена во Франции в 1762 г.

Стр. 445. Герцог Ормондский — см. прим. к стр. 268.

Стр. 447. Равнинными историями. — Английское выражение «plain stories» двусмысленно: оно может означать «равнинные истории» и «простые, безыскусственные истории».

Стр. 448. Пель-Мель и Сент-Джемс-стрит — самые оживленные улицы в Лондоне.

Стр. 450. Эпиграф — см. прим. к стр. 398.

Стр. 452. *Bonjour!* — *Доброе утро!*. — Ср. Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, предисловие к четвертой книге.

Одного архиепископа. — Прадед Стерна Ричард был архиепископом Йоркским.

Стр. 454. *Лонгин* (213—273) — греческий оратор, которому приписывается сочинение «О возвышенном», ставшее очень популярным в Западной Европе, особенно после перевода его на французский язык Буало.

Стр. 461. *Гипаллаг* (греч.) — риторическая фигура, заключающаяся в присвоении известному слову в фразе того, что должно относиться к другому слову той же фразы.

Стр. 464. *От Дана до Вирсавии* — библейское выражение, означающее: от северного до южного конца Палестины.

Стр. 465. *Бушен* — крепость в северной Франции, у бельгийской границы. В 1711 г. она была взята союзными войсками, но в 1712 г. отвоевана французами.

Клюни — город в центральной Франции, где находился известный бенедиктинский монастырь, основанный в X в.

Стр. 469. *Урбекондита* (ab urbe condita) — латинское выражение, означающее «от основания города», то есть Рима; от этой даты, соответствующей 753 г. до н. э., римляне вели свое летосчисление.

Скромность едва дотрагивается... — Стерн намекает на картину итальянского художника Гвидо Рени, написанную на этот сюжет.

Прикрыть осаду Кенуа. — Крепость Кенуа на севере Франции, у бельгийской границы, была осаждена и взята имперскими (австрийскими) войсками под командой принца Евгения 4 июля 1712 г. Английские войска, которыми командовал герцог Ормондский, не принимали участия в этой операции.

Фагель Фр.-Николай (ум. в 1718 г.) — голландский генерал, принимавший деятельное участие в войнах с Францией.

Стр. 471. *Как мог Мальборо совершить... поход от берегов Мааса...* — Далее дядя Тоби перечисляет главные этапы марша Мальборо из Нидерландов в Баварию, который привел к поражению французов у деревни Бленгейм 15 августа 1704 г., расстроившему их планы похода на Вену. В своем описании Стерн следует Гиндалю, искажая, однако, некоторые собственные имена (Бельбург вместо Бедбург, Ланденбург вместо Ландербург и т. д.).

Стр. 472. *Венцеслав IV* — король чешский, с 1378 по 1417 г. император германский.

Шварц Бертольд (1318—1384) — немецкий монах, которому приписывают изобретение пороха; *Бэкон* Роджер (1214—1294) — английский монах, естествоиспытатель.

Стр. 475. Сорвать... лавры с чела Люксембурга. — Герцог Люксембургский, Франсуа-Анри (1628—1695) был победителем Вильгельма III 23 июля 1693 г. в сражении при Ландене; *Принц де Конти* (1664—1709) участвовал в нем в качестве одного из французских генералов; *Толмеш* Томас (1651—1694) — английский генерал, руководил отступлением английских войск.

Стр. 481. В архивы Готам. — «Город Готам» по-английски то же, что по-русски «город Глупов».

Стр. 485. Битва под Виннендалем — безуспешная попытка французов под командой графа де Ла Мота атаковать 28 сентября 1708 г. у фландрской деревни Виннендаль обоз с провиантом и боеприпасами, который направлялся из Остенде к осаждавшим Лилль союзным войскам.

Стр. 488. Иларион-пустынный. — «При помощи этого средства (поста) Иларион отучал своего осла, как он называл свое тело, становиться на дыбы (так повествует о нем Иероним в его житии), когда диавол искушал его на одно из таких гнусных дел» (Бертон, *Анатомия меланхолии*, ч. III — «Лечение любовной меланхолии»).

Стр. 489. Как поживает ваш Осел? — Вся эта глава построена на игре слов, непере译имой двусмыслице, возникающей вследствие одинакового произношения слов *ass* (осел) и *arse* (задница).

Стр. 491. Существуют две любви. — Эта фраза Платона («Пир», 180) и сопутствующие ей рассуждения заимствованы Стерном из «Анатомии меланхолии» Бертона, ч. III, стр. 473 («Предметы любви»); *Лиона* — по греческой мифологии, дочь Урана и Геи (неба и земли) или Океана и Фемиды. Заимствование из «Анатомии меланхолии» подтверждается еще и ссылкой на мозг и печень (в начале главы), которые Бертон в этой же связи называет «главными органами, поражаемыми любовью».

Стр. 495. Элиан Клавдий — греческий компилятор III в. н. э., автор «Пестрых историй» и «Рассказов о животных». Эти медицинские советы заимствованы Стерном из «Анатомии меланхолии», ч. III, стр. 587 («Лечение любовной меланхолии»).

ТОМ IX

Девятый — последний том «Тристрама Шенди» вышел 30 января 1767 г., спустя два года после выхода седьмого и восьмого. Этот перевод объясняется тем, что летом и осенью 1765 г. Стерн занят был подготовкой к печати третьего и четвертого томов своих проповедей,

а зимой и весной 1765—1766 гг. совершил путешествие по Франции и Италии. Только летом 1766 г., вернувшись в Коксволд, он получил возможность заняться «Тристрамом», причем на этот раз, вследствие болезни легких, сопровождавшейся частыми кровотечениями, написал только один том своего знаменитого произведения.

Стр. 497. Эпиграф (Si quid...) — взят Стерном из «Анатомии меланхолии», ч. III, предисловие; согласно Бертону, с этими словами Джулио Скалигер обратился к Кардану, прося последнего не бранить его книгу, если она покажется легкомысленной.

Посвящение великому человеку — как и в первом томе, адресовано Вильяму Питту Старшему.

Стр. 505. Бедной девушки-негротянки. — Стерн поместил этот эпизод по просьбе одного своего читателя, негра Игнатия Санчо, как видно из писем, которыми они обменялись 21 и 27 июля 1766 г. «Я думаю, сэ р, — писал Санчо, — вы простите и, может быть, даже одобрите усердную мою просьбу к вам уделить полчаса внимания рабству, существующему в настоящее время в Вест-Индии; осветив этот предмет свойственным вам одному образом, вы облегчите иго многих, может быть даже вызовете коренное преобразование на наших островах». В своем ответе Стерн возмущается отношением к неграм как к низшей расе. «Целая половина человечества, — пишет о н, — не находит ничего ненормального в том, чтобы обращаться с другой его половиной, как со скотами, и всеми силами старается сделать из нее настоящих скотов... Если мне удастся вплести написанный мной рассказ в произведение, над которым я сижу, он послужит к защите угнетенных».

Стр. 507. Граф де Ла Мот — см. прим. к стр. 485.

Стр. 508. «Божественная миссия Моисея» — многотомное произведение епископа Вильяма Ворбертона (1698—1779), в котором он полемизирует с деистами, отрицавшими загробное воздаяние. Ставя на одну доску эту галиматью с классической «Сказкой про бочку» Свифта, Стерн делает иронический выпад против кичившегося своей ученостью Ворбертона, который вздумал однажды «преподать ему урок».

Стр. 511. Кюветы. — Игра слов: «кювет» по-английски означает одно из фортификационных сооружений, а также «таз».

Стр. 515. Ферсит — персонаж из «Илиады» (II, 212).

Архиепископ Беневентский — см. прим. к стр. 317.

Стр. 524. Воззвание. — Ср. аналогичное воззвание к музе у Фильдинга («Том Джонс», кн. XIII, гл. I).

Стр. 525. По пяти наоли. — Паоло — папская серебряная монета, немного более полуфранка.

Стр. 527. Прощай, Мария! — Эпизод с Марией развивается Стерном в «Сентиментальном путешествии», стр. 641—644.

Зевксис — один из прославленных живописцев Древней Греция (464—398 до н. э.).

Стр. 528. Пекари из Лерне. — См. Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. I, гл. XXV.

Стр. 529. Верят, как в реальное присутствие. — Подразумевается вера католиков в то, что в облатках, раздаваемых священником во время причастия, содержится подлинные тело и кровь Христа.

Стр. 531. Дрейк Джеймс (1667—1707) — английский врач и политический деятель, автор «Новой системы анатомии» (1707); *Вортон* Томас (1610—1673) — английский врач, автор «Описания желез всего тела» (1655); *Грааф* Ренье (1641—1673) — голландский физиолог и врач.

Стр. 538. Проленсис (греч.) — риторическая фигура, означающая предвосхищение возможных возражений и их опровержение.

Стр. 539. Владелец большой десятины. — Десятиной в католических странах, в том числе и в средневековой Англии, назывался натуральный налог в пользу церкви в размере десятой части дохода. Большая десятина — налог с произведений земли: зерна, сена и дров. В эпоху Реформации распоряжение этим налогом частично перешло к крупному дворянству, захватившему монастырские земли.

Стр. 540. Подошел бы для самой Европы. — Намек на древнегреческий миф о похищении дочери финикийского царя Европы Зевсом, превратившимся в быка.

Коллегия докторов (Doctors Commons) — судебное учреждение, ведавшее регистрацией браков и разводов. Упразднено в 1857 г.

«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ»

Стр. 548. Дезоближан. — Прилагательное *désobligeant* значит нелюбезный, причиняющий неприятности. «Дезоближан», как название экипажа, в соответствии с французской *la désobligeant* употреблялось и в России в XVIII в.

Мосье Дессен — лицо не вымышленное, он содержал в Кале гостиницу, называвшуюся «Hotel d'Angleterre», и пользовался большой популярностью среди проезжавших через Кале поклонников Стерна; в «Письмах русского путешественника» о нем упоминает Карамзин, посетивший Кале в 1790 г. по дороге из Парижа в Лондон. После смерти Стерна Дессен повесил в комнате, где тот останавливался, его портрет, а на двери написал большими буквами: «комната Стерна»; комната эта, естественно, привлекла множество путешественников; она еще сохранялась во времена Теккеря, который в ней ночевал. О популяр-

ности Стерна в конце XVIII в. свидетельствует следующий ответ Дессена на заданный ему в 1782 г. английским драматургом Фредериком Рейнольдсом вопрос, помнит ли он мосье Стерна: «Соотечественник ваш мосье Стерн был великий, да, великий человек, он и меня увековечил вместе с собой. Много денег заработал он своим сентиментальным путешествием — но я, я заработал на этом путешествии больше, чем он на всех своих путешествиях вместе, ха, ха!» Словом, одно лишь упоминание мосье Дессена в «Сентиментальном путешествии» сделало его одним из самых богатых людей в Кале.

Перипатетик — философ школы Аристотеля.

Стр. 549. Оксфорд, Эбердин и Глазго — подразумевается: университетами, находящимися в этих городах.

Стр. 552. Визави — двухместная коляска с сиденьями, расположенными одно против другого.

Стр. 553. Мон-Сени — гора в Альпах на границе между Францией и Италией.

Стр. 555. Со дна Тибра — то есть как произведение античной скульптуры.

Стр. 556. Ездра — еврейский ученый V в. до н. э., принимавший участие в составлении Библии и написавший для нее несколько книг.

Стр. 560. Пребендарий — священник, получающий пребенду, то есть долю доходов в соборной церкви, за то, что он в установленное время совершает в ней службы и проповедует. Стерн был пребендарием Йоркского собора.

Стр. 562. Имперцы — австрийцы, в чьих руках находилась теперешняя Бельгия после Утрехтского мира (1713). Брюссель был занят французами во время войны за австрийское наследство (1740—1748).

Стр. 566. Смелфунгус — Смоллет, чье путешествие по Франции и Италии вышло в 1766 г. В своем журнале «Critical Rewiew» Смоллет неизменно проявлял враждебное отношение к Стерну, начиная с выхода первых томов «Тристрама Шенди» в 1760 г.

«Говорил о бедствиях на суше и на морях...» — цитата из «Отелло» Шекспира, акт 1, сц. 3.

Мундунгус — доктор Сэмюэль Шарп (1700—1778), лондонский хирург, выпустил в 1766 г. «Письма из Италии», которые Стерн имеет здесь в виду.

Стр. 568. ...спросил мистера Ю., не он ли поэт Ю. — Стерн имеет в виду обед у английского посла в Париже лорда Гертфорда в начале мая 1764 г., на котором присутствовал он сам и известный английский философ и историк Давид Юм; один французский маркиз принял его за писателя Джона Юма, автора нашумевшей трагедии «Даглас» (1754).

Ла Флер — созданный драматургом Реньяром (1655—1709) тип ловкого, проницательного, но честного слуги; тип этот фигурирует во

многих французских комедиях XVIII в. Слуга Стерна, получивший от него это прозвище, по-видимому, лицо не вымышленное; он сопровождал Стерна в течение всего путешествия по Франции и Италии, но остался во Франции; рассказ о путешествии Стерна с его слов появился в журнале «European Magazine» за 1790 г. (Перевод этого рассказа помещен был в издававшемся Карамзиным «Вестнике Европы» за 1802 г.).

Стр. 571. Отрывок. — Материал для этого отрывка и восклицание «О, Эрот!» Стерн заимствовал из рассуждения греческого писателя II в. н. э. Лукиана «Как следует писать историю», где говорится об «евриподомании» жителей города Абдеры, овладевшей ими после представления (ныне утраченной) трагедии Еврипида «Андромеда».

Стр. 572. Чемерица — по старинному поверью, считалась средством от сумасшествия.

Стр. 576. Плакание Санчо своего осла... — См. «Дон Кихот», ч. I, глава XXIII.

Стр. 584. Несутся на кольцо... — Намек на воинское упражнение, заключающееся в том, чтобы на полном скаку лошади снять копьём или пикой подвешенное кольцо.

Стр. 586. Hôtel de Modène — гостиница Модена действительно существовала тогда в Париже, в Сен-Жерменском предместье, улица Жакоб, № 14.

Стр. 588. Евгений — этим именем Стерн называет своего друга Джона Холла-Стивенсона, о котором подробнее см. в прим. к стр. 47.

Стр. 589. Салический закон — запрещал женщинам во Франции наследовать престол.

Стр. 592. Святая Цецилия — считается католиками покровительницей музыки.

Стр. 593. Партер — в тогдашних театрах в партере стояли; только у самой сцены, возле оркестра, было несколько рядов кресел, называвшихся во французских и английских театрах оркестром (название это сохранилось и до сих пор).

Стр. 597. Касталия — в греческой мифологии, нимфа родника в горе Парнасе, источника поэтического вдохновения.

Граф де Б. — Клод де Тиар, граф де Бисси (1721—1810), близкий ко двору французский офицер, занимавшийся на досуге английской литературой (он перевел «Короля-патриота» Болингброка). Стерн говорит о нем также в своих письмах.

Стр. 598. Les égarements... — «Заблуждения сердца и ума». Покупка девушкой этого романа Кребильона-младшего (1736), наполненного очень откровенными картинами разврата высшего общества Франции, придает немало иронии изображаемой Стерном сцене. Уже при первом посещении Парижа в 1762 г. Стерн познакомился с Кребильоном.

Стр. 600. Лейтенант полиции — глава французской полиции того времени.

Стр. 601. Война, которую мы тогда вели с Францией. — Стерн имеет в виду Семилетнюю войну, закончившуюся Парижским миром в 1763 г., и, следовательно, свою первую поездку во Францию в январе 1762 г.

Стр. 602. Шатле — парижская тюрьма, упраздненная и скрытая в конце XVIII в.

Стр. 606. Герцог де Шуазель (1719—1785) — министр иностранных дел и военный министр; он был до 1770 г. фактическим главой французского правительства.

Стр. 610. Орден св. Людовика — давался во Франции того времени за военные заслуги.

Стр. 614. Высматривать наготу земли... — то есть шпионить. Это обвинение бросает библейский Иосиф своим братьям, явившимся в Египет купить хлеба.

Стр. 616. Один из глав нашей церкви... — Разговор, подобный приведенному ниже, вероятно, происходил в действительности между Стерном и одним из английских епископов после выхода в свет (в 1760 г.) его проповедей под заглавием «Проповеди мистера Йорика». Об этом можно судить хотя бы по рецензии, появившейся в журнале «Monthly Review», где они рассматривались как величайшее оскорбление приличий после возникновения христианства.

Александр-медник — библейский образ.

Стр. 628. Царя Вавилонского. — Намек на библейский рассказ о снах Навуходоносора, которых не могли истолковать халдейские мудрецы.

Стр. 629. Кошелек для волос. — Кончик париков того времени заключался на спине в матерчатый мешочек (кошелек) с бантом.

Стр. 631. Грутер Ян (1560—1627) — гуманист и археолог, голландец по происхождению, прославившийся главным образом своим трудом «Сокровищница латинских надписей» (1601). *Яков Спон (1647—1085)* — французский археолог, совершивший большое путешествие в Италию, Грецию и Малую Азию и опубликовавший ценный материал по истории древнего мира.

*Стр. 638. Старый маркиз де Б***** — герцог де Бирон, Луи-Антуан (1700—1785), маршал.

*Стр. 639. Мосье П***, откупщик податей* — Александр Жозеф де Ла Поплиньер (1692—1762), богатый откупщик и меценат.

*Стр. 640. Мосье Д**** и аббат М**** — Дидро (1713—1784) и аббат Морелле (1727—1819); аббат Морелле — экономист, деятельный сотрудник руководимой Дидро Энциклопедии.

Солитер — кружевной галстук того времени, прикалывавшийся к воротнику.

Стр. 641. Которую мой друг, мистер Шенди, встретил вблизи Мулена. — См. стр. 526—527.

Рыцарь Печального Образа — Дон Кихот.

Стр. 643. Для стриженной овечки бог унимает ветер — перевод французской пословицы: «A brebis tondue dieu mesure le vent».

Стр. 645. «Божество, что движется во мне» и «Моя душа страшится...» — цитаты из пятого действия трагедии Аддисона «Катон».

Стр. 647. Щекотливое положение. — Стерн пересказывает в этой главе в несколько измененном виде приключение своего приятеля Джона Кроферда (с которым он встретился в Париже по дороге в Италию); в комнату к последнему приведена была хозяйкой переполненной гостиницы приехавшая поздно вечером фламандская дама с горничной; Кроферд и эта дама разыграли кровати в карты, и ей досталась маленькая кровать в каморке. Происшествие это записал камердинер Кроферда — Джон Макдональд, тот самый, что присутствовал при последних минутах Стерна в его лондонской квартире.

Стр. 648. Сен-Мишель и Модана — местечки в Савоие.

А. Франковский

СОДЕРЖАНИЕ

А. Елистратова. Лоренс Стерн 5

ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ ТРИСТРАМА ШЕНДИ, ДЖЕНТЛЬМЕНА *Перевод А. Франковского*

| | |
|-------------------------|-----|
| Том первый | 25 |
| Том второй | 88 |
| Том третий | 149 |
| Том четвертый | 219 |
| Том пятый | 291 |
| Том шестой | 345 |
| Том седьмой | 398 |
| Том восьмой | 450 |
| Том девятый | 497 |

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ
Перевод А. Франковского 543

Примечания *А. Елистратовой, А. Франковского* 655

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 61

Лорен Стерн

ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ ТРИСТРАМА ШЕНДИ,
ДЖЕНТЛЬМЕНА
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ

*

Редактор А. Мурик
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Портрет Л. Стерна
Джошуа Рейнольдса
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор М. Доценко

*

Сдано в набор 2/II 1968 г. Подписано
к печати 22/V 1968 г. Бумага типограф-
ская № 1, 60x84^{1/16}, 43 печ. л. = 40,12 усл.
печ. л. Уч.-изд. л. 37,97+1 вкл. +6 наки-
док=38,75. Тираж 300 000 экз.
Заказ № 2349. Цена 1 р. 71 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28



«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



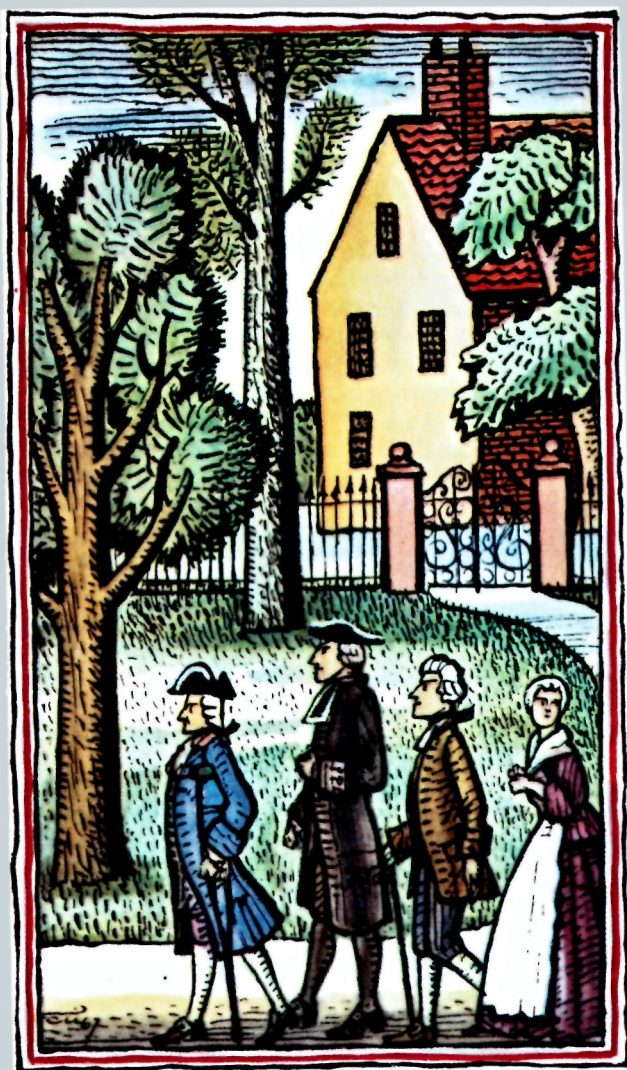
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



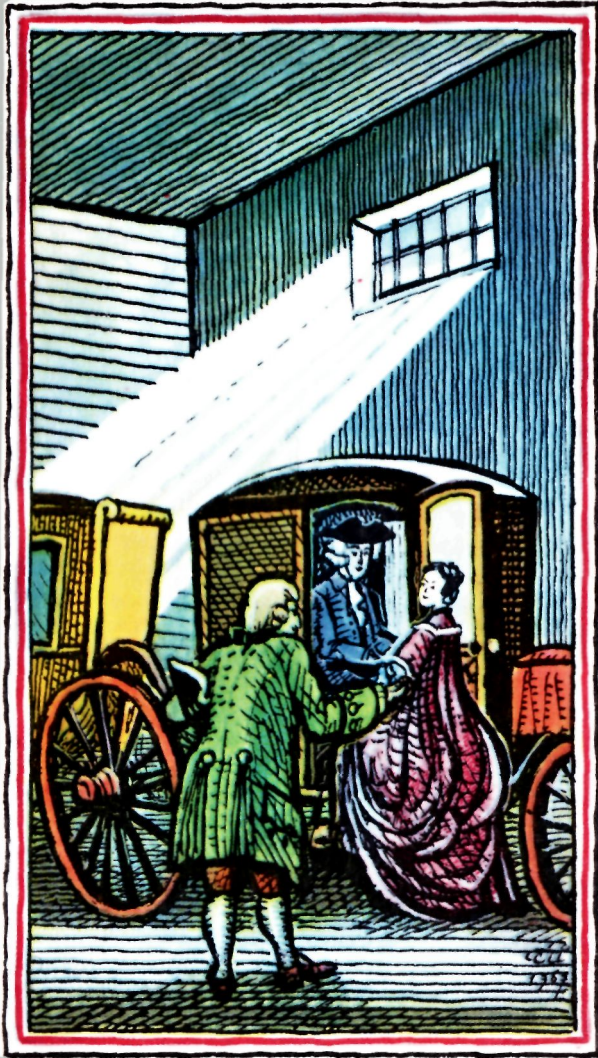
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



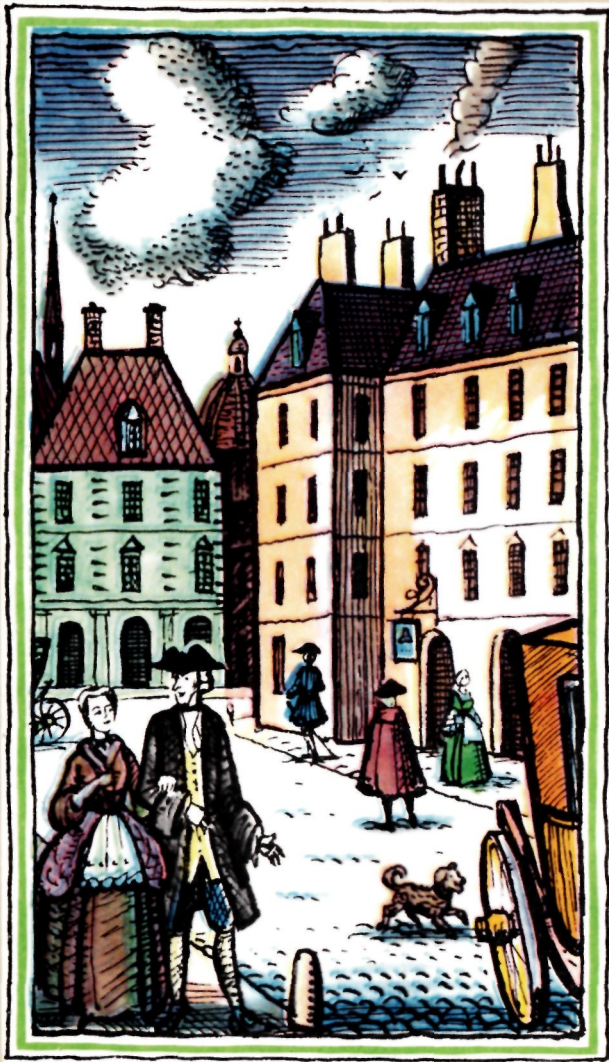
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



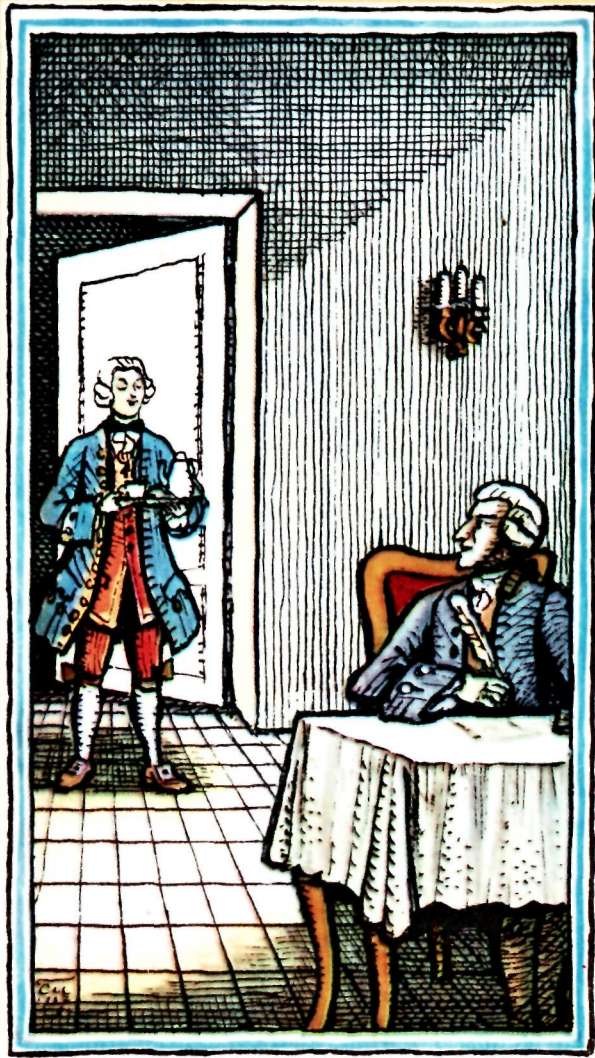
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»



«Сентиментальное путешествие»



«Сентиментальное путешествие»



«Сентиментальное путешествие»

